



МУРАСАКИ СИКИБУ ПОВЕСТЬ О ГЭНДЗИ

МУРАСАКИ
СИКИБУ
ПОВЕСТЬ
О ГЭНДЗИ

源氏物語

1

ГИПЕРИОН



ЯПОНСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

源
氏
物
語

Мурасаки Сикибу

ПОВЕСТЬ
О ГЭНДЗИ

Перевод с японского
Т. А. Соколовой-Делюсиной

*Издание второе,
переработанное и дополненное*

Санкт-Петербург

ГИПЕРИОН 

2010



国際交流基金

*The publisher gratefully acknowledges the support of
the Japan Foundation in the publication of this book*

Мурасаки Сикибу

М91 Повесть о Гэндзи : В 3 т. / Мурасаки Сикибу ; пер. с яп., вступ. ст., приложение и коммент. Т. А. Соколовой-Делюсиной. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Т. 1. — СПб. : Гиперион, 2010. — 592 с. — (Японская классическая библиотека. XXIV).

ISBN 978-5-89332-162-3

ISBN 978-5-89332-163-0 (Том 1)

«Повесть о Гэндзи» («Гэндзи-моногатари»), написанная в начале XI века придворной дамой, известной под именем Мурасаки Сикибу, принадлежит к самым значительным произведениям не только японской, но и мировой литературы. Проследивая жизненный путь главного героя «Повести», Блистательного Гэндзи, рисуя судьбы связанных с ним женщин и намечая судьбы его потомков, автор делится с читателями размышлениями, затрагивающими наиболее важные стороны человеческой жизни.

Это новое, переработанное и дополненное издание русского перевода «Повести о Гэндзи» состоит из двух томов и отдельного тома «Приложение», куда входят материалы, призванные помочь читателю ориентироваться в сложном мире этого произведения.

ББК 85(5Яп)

ISBN 978-5-89332-162-3

ISBN 978-5-89332-163-0 (Том 1)

© Т. А. Соколова-Делюсина, перевод
на русский язык, вступительная статья,
приложение, комментарии, 2010
© Издательство «Гиперион», 2010

От переводчика

«Люди слагают песни, сочиняют стихи, записывая же их, ставят свои имена, и вот проходит сто, тысяча лет, другие люди читают записанное, и у них возникает чувство, будто они беседуют с самим сочинителем, — право, в этом есть что-то необыкновенно трогательное», — говорится в «Мумёдзоси» («Безымянных записках»), одном из первых японских трактатов по литературе, появившемся в самом конце XII в.

Без малого десять веков тому назад в Японии придворная дама по прозванию Мурасаки Сикибу написала роман, в котором изобразила окружающий ее мир, рассказала о своих современниках, поведала о том, что волновало и тревожило ее душу.

Читая «Повесть о Гэндзи», словно переносишься на тысячу лет назад в прекрасную древнюю японскую столицу Хэйан (современный Киото), встречаешься с живущими там людьми, видишь, чем заполнена их повседневная жизнь, как устроен их быт, и — что самое главное — проникаешь в их мысли и чувства, узнаешь, во что они верили, что их радовало, а что печалило, что они считали прекрасным, а что безобразным. И все время перед тобой незримой собеседницей — автор: она то предоставляет своим героям возможность самим говорить о себе, то дополняет ими сказанное, освещая его по-иному или высказывая свою собственную точку зрения, свое собственное отношение к происходящему.

Ощущение соприсутствия, соучастия, которое возникает у каждого человека, читающего «Повесть о Гэндзи», — едва ли не самое ценное свойство этого уникального произведения, уникального не только в японской, но и в мировой литературе. «Повесть о Гэндзи» — «...один из самых ранних образцов большого повествовательного жанра, появившегося около 1000 г., когда ничего похожего на реалистический, обладающий детально разработанной фабулой, построенный на бытовом материале роман в мировой литературе еще не было», — писал в 20-е годы XX в. выдающийся российский востоковед Н. И. Конрад, который впервые познакомил русских читателей с шедевром Мурасаки, переведя несколько глав романа.

«Повесть о Гэндзи» была создана на рубеже X–XI вв., в ту замечательную эпоху, когда закладывались основы национальной японской культуры, происходило становление и бурное развитие всех литературных жанров. «В эпоху Хэйан, — говорил известный японский писатель, лауреат Нобелевской премии Кавабата Ясунари, — была заложена традиция прекрасного, которая не только в течение восьми веков влияла на последующую литературу, но и определила ее характер. “Повесть

о Гэндзи” — вершина японской прозы всех времен. До сих пор нет ничего ей подобного. Теперь и за границей многие называют мировым чудом то, что уже в Х в. появилось столь замечательное и столь современное по духу произведение».

Мы предлагаем читателям полный перевод романа Мурасаки на русский язык. Работая над ним, переводчик стремился прежде всего к тому, чтобы сохранить, насколько возможно, неповторимый аромат подлинника и вместе с тем сделать его доступным для читателей, воспитанных в иной культурной традиции.

Художественная ткань произведения, изобилующая эвфемизмами, иносказаниями, цитатами, настолько сложна и емка, что уже в конце XI в., всего через сто лет после появления на свет «Повести о Гэндзи», возникла потребность в комментариях, ибо то, что современниками Мурасаки понималось с полуслова, стало загадкой для их потомков. Мы можем только догадываться о том, как должна была восприниматься эта проза в момент ее создания, какой эффект должны были производить те или иные приемы, но насладиться ими непосредственно, так, как наслаждались первые читатели «Повести», мы, дети другого времени, к сожалению, уже не можем. Впрочем, подобные потери неизбежны. Современные читатели, обогащенные иным жизненным и литературным опытом, смотрят на произведение Мурасаки другими глазами. У них возникают другие ассоциации, другие сопоставления, и, возможно, им открывается то, что проходило мимо внимания современников. В этом особенность любого великого произведения — возможности его неисчерпаемы, и каждая эпоха находит в нем то, что важно и ценно именно ей. Донесенная гениальной кистью осязаемая конкретность образов далекого прошлого таит в себе громадный потенциал извечных человеческих переживаний, открывая перед читателем последующих поколений возможность новых подходов, трактовок и интерпретаций. Сколь бесконечно многообразны, например, пути прочтения одного из ведущих мотивов «Повести», традиционного обозначаемого понятием «моно-но аварэ» («печальное очарование вещей»), соединяющего тему манящей красоты вещного мира с мыслью о его зыбкости и недолговечности.

«Повесть о Гэндзи» на русском языке включает в себя «Приложение», которое содержит сведения, призванные помочь читателям лучше ориентироваться в том сложном и далеком от нас мире, в котором живут герои Мурасаки. (Собственно говоря, именно с «Приложения» и следовало бы начинать знакомство с «Повестью».)

В заключение мне хотелось бы выразить свою глубокую признательность всем, кто на разных этапах оказывал мне содействие в работе над переводом, и прежде всего моим японским друзьям, руководителям издательства Иванами — Мидорикава Тору и Иванами Юдзиро, любезно снабжавшими меня всей необходимой литературой, а также профессора Кимура Хироси, на всем протяжении моей работы оказывавшему мне поистине неоценимую помощь. Я искренне благодарна сотрудникам токийского музея Сантори и работникам Нью-Йоркской библиотеки, предоставившим в мое распоряжение фотокопии старинных свитков «Повести о Гэндзи», которые были использованы в оформлении первого русского издания «Повести» (М. : Наука, 1992). Большую помощь в работе над китайскими стихами оказали Л. З. Эйблин и Ду Исинь. Особо хотелось бы поблагодарить В. Н. Горегляда, И. А. Боронину, Л. М. Ермакову и Т. П. Григорьеву за ценные советы и дружескую поддержку.

Мурасаки Сикибу

ПОВЕСТЬ О ГЭНДЗИ

ТОМ 1





ПАВИЛЬОН ПАВЛОНИИ

Основные персонажи*

Государь (император Кирицубо) — отец Гэндзи

Дама из павильона Павлонии, миясудокоро (наложница Кирицубо) — мать Гэндзи

Адзэти-но дайнагон — отец наложницы Кирицубо

Дама из дворца Щедрых наград (нёго Кокидэн, будущая императрица Кокидэн) — дочь Правого министра, наложница императора Кирицубо

Первый принц, принц Весенних покоев (будущий император Судзаку) — старший сын императора Кирицубо и наложницы Кокидэн

Юный господин, мальчик (Гэндзи) — сын императора Кирицубо и дамы из павильона Павлонии

Четвертая принцесса, принцесса из павильона Глицинии (Фудзицубо) — наложница императора Кирицубо, будущая императрица Фудзицубо

Принц Хёбукё (принц Сикибукё) — брат принцессы из павильона Глициний (Фудзицубо)

Левый министр — тесть Гэндзи

Дочь левого министра (Аои) — супруга Гэндзи

Куродо-но сёсё (То-но тюдзё) — сын Левого министра, брат Аои

ПРИ КАКОМ же Государе то было?.. Много дам разных званий служило тогда во Дворце, и была среди них одна — не сказать, чтобы очень высокого ранга, но снискавшая чрезвычайную благосклонность Государя.

Особы, когда-то вступившие в высочайшие покои с гордой думой: «Ну, уж лучше меня...», теперь уничтожали ее презрением, равные же ей или низшие от зависти совсем лишились покоя. Даже обычные утренние и вечерние обязанности свои во Дворце исполняя, ничего, кроме досады,

не возбуждала она в сердцах окружающих, постоянно навлекала на себя их гнев и — как знать, не оттого ли — чахла, падала духом и все больше времени проводила в отчем доме. Государь же роптал, изнемогая от жалости к ней и не помышляя о том, сколь предосудительным может показаться людям подобное слабодушие. Словом, любовь его к этой даме была такова, что слухи о ней, несомненно, дойдут до будущих поколений.

«Невозможно смотреть на столь чрезмерную приверженность Государя этой особе, — ворчали, пряча глаза, важные сановники и простые придворные. — Вспомните, именно при подобных обстоятельствах начинались когда-то смуты в Китайской земле»*.

Скоро ропот пошел по всей Поднебесной, имя этой дамы стало поводом к возмущению, готовы были вспомнить и случай с Ян Гуйфэй*, так что горести ее множились с каждым днем, но по-прежнему жила она во Дворце, опору находя в несравненной, поистине необъяснимой благосклонности Государя.

Отец дамы, Адзэти-но дайнагон*, уже скончался, а мать, госпожа Северных покоев его дома*, будучи особой старинных правил и обладая врожденным благородством, старалась, чтобы во время всех церемоний дочь ее ни в чем не уступала дамам, которые имели обоих родителей и чье значение в свете не вызывало сомнений. И все-таки не было у нее влиятельного покровителя, и случись что — она осталась бы совсем одна, без всякой опоры.

Потому ли, что существовала меж ними связь, уходящая далеко в прежние жизни, или по какой-то иной причине, но только родился у них мальчик, каких еще не бывало в мире, прекрасный, словно драгоценная жемчужина. Государь, сгорая от нетерпения — ах, когда же? — распорядился, чтобы его как можно быстрее перевезли во Дворец*, взглянув же, убедился — в самом деле редкостной красоты ребенок.

Первый принц был рожден дамой в звании нёго* — дочерью Правого министра* и обладал могущественным покровителем, а посему, полагая этого принца бесспорным наследником престола, все ласкали и баловали его чрезвычайно. Но новый младенец затмил даже его. Государь по-прежнему благоволил к старшему сыну, но его любовь к младшему была воистину безмерна, он лелеял и холил его словно самое драгоценное свое достояние.

Мать младшего принца никогда не принадлежала к числу дам, постоянно прислуживающих в высочайших покоях. Ее значение при дворе было гораздо выше, да и внешне она ничем не отличалась от самых знатных особ. Вот только Государь ни на шаг не отпускал ее от себя, обнаруживая при этом, пожалуй, излишнюю настойчивость. Собирались ли во Дворце музицировать или другие увеселения затевали — при каждом удобном случае именно ее призывал он прежде других, а иногда насильно удерживал рядом, принуждая прислуживать себе и после ночи, проведенной ею в высочайших покоях, — словом, вел себя так, что ее можно было принять за особу самого простого звания. Однако после появления на свет нового принца в отношении Государя к этой даме произошли столь явные перемены, что даже у нёго, матери Первого принца, зародились в душе сомнения: «А вдруг удача изменит нам, и преемником назначат именно его?»

Нёго эта появилась во Дворце раньше других, и Государь дарил ее особым вниманием, к тому же она была матерью его детей, так мог ли он не считаться с ее обидами?

А та, хоть и осеняло ее милостивое покровительство, немало имела при дворе недоброжелателей, пользующихся любым случаем, дабы унижить ее, выставить не посмеяние. К тому же, будучи слаба здоровьем, да и положение имея весьма шаткое, она скорее страдала от высочайшей благосклонности, нежели радовалась ей. Занимала же эта дама павильон Павлонии, Кирицубо*.

Государь слишком часто навещался туда, минуя покои остальных дам, и естественно, у них были причины для недовольства. Когда же — а это бывало нередко — в высочайшие покои отправлялась она сама, завистники, подстерегая ее по пути — то там, то здесь, на перекидных мостиках, переходах, — позволяли себе крайне неблагоприятные выходки, отчего подолы провозжавших и встречавших ее дам оказывались порой в самом неприглядном виде. Более того, часто, сговорившись, они с двух сторон запирали двери висячего перехода, который миновать ей было невозможно, и она попадала в унижительное, мучительнейшее положение. Обиды и оскорбления, множась от случая к случаю, повергали несчастную во все большее уныние, и в конце концов, сжалившись, Государь приказал перевести ее во дворец Грядущей прохлады — Корёдэн, переселив давно уже проживавшую там даму в звание кои в другое помещение. Нетрудно себе представить, сколь велика была обида этой кои!

Когда младенцу исполнилось три года, с невиданной пышностью справили обряд Надевания хакама*. Ради такого случая — об этом позаботился сам Государь — было извлечено все самое ценное, что хранилось в дворцовых сокровищницах и кладовых. До сих пор лишь Первый принц уداивался подобной чести. По этому поводу тоже злословили немало, но мальчик рос, и недоброжелателей у него становилось все меньше. Трудно было устоять перед удивительной прелестью этого ребенка. Люди, проникшие в душу вещей, увидав его, замирали пораженные: «Неужели и такие бывают в нашем мире?..»

Летом того же года мясудокоро из павильона Павлонии*, занедужив, собралась было покинуть Дворец, но Государь все не отпускал ее.

— Подождем еще немного, быть может... — просил он, привыкший к тому, что в последнее время ей нездоровилось довольно часто.

Однако состояние больной все ухудшалось, прошло дней пять или шесть, и она совсем ослабела. Мать, рыдая, умоляла Государя отпустить ее. Даже теперь, не желая подвергаться новым унижениям — а вдруг? — мясудокоро предпочла уехать тайком, оставив во Дворце маленького сына. Всему есть предел, и Государь более не удерживал ее, но как же тяжело ему было при мысли, что даже проводить ее ему не дозволено*. Лицо мясудокоро, всегда пленявшее яркой красотой, осунулось, глубокая печаль проглядывала в ее чертах. Не в силах вымолвить ни слова, несчастная лишь вздыхала, и, видя, как быстро она угасает, Государь забыл о прошедшем и о грядущем, лишь горько плакал он и шептал ей разные клятвы, но она уже и ответить не могла: лежала в забытии, глаза глядели устало, бессильно поникло тело... «Что же делать?» — растерялся Государь. Хоть и отдал он распоряжение о паланкине, но вошел в ее покои, и снова не может расстаться с ней...

— Мы ведь поклялись друг другу вместе вступить и на этот последний путь. Вы не можете уйти без меня, — говорит он, и с безысходной печалью во взоре глядит она на него.

— Вот и конец —
 Наши пути расходятся.
 Как это грустно!
 Я ведь хотела и дальше
 Идти по дороге жизни...

О, когда б ведала я, что так случится... — молвит мясудокоро, еле дыша, и, видно, хочет что-то еще сказать, но силы окончательно изменяют ей, и Государь: «Коли так, будь что будет, не отпускаю ее» — решает, но тут приходит гонец.

— К молитвам, которые намечены на сегодня и ради которых приглашены почтенные монахи, должно приступить не позднее нынешнего вечера, — торопит он больную, и Государь, как ни тяжело ему, вынужден смириться.

С омраченной душою остался он в своих покоях и до самого рассвета не мог сомкнуть глаз.

Еще не пришло время вернуться гонцу, в ее дом посланному, а Государь уже места себе не находил от беспокойства, бесконечные жалобы свои изливая на окружающих.

Между тем гонец, подойдя к дому, услышал громкие стечения.

— Не перевалило и за полночь, как ее не стало, — сообщили ему, и, удрученный, поспешил он обратно.

Какое же смятение овладело душой Государя, когда дошла до него эта горестная весть! Безучастный ко всему на свете, затворился он в своих покоях. Сына же, несмотря ни на что, видеть хотел, но, поскольку никогда прежде в подобных случаях дитя во Дворце не оставляли, пришлось отослать его в дом матери. А тот, ничего не понимая, лишь дивился, глядя на горько плачущих приближенных, на слезы, нескончаемым потоком струившиеся по щекам Государя. Расставаться с любимым сыном всегда тяжело, а если только что скончалась его мать...

Однако всему есть предел — пришла пора приступить к установленным обрядам, и мать ушедшей возопила в бессильной тоске:

— О, когда б и я могла вознестись с этим дымом!..*

Вослед за дамами, провожавшими бранные останки, села она в карету и скоро достигла Отаги*, где уже началась пышная церемония. Достанет ли слов, чтобы выразить всю глубину материнского горя!

Сначала речи ее были вполне разумны.

— Я понимаю, теперь бессмысленно думать о дочери как о живой, — говорила она, вглядываясь в лежащую перед ней пустую оболочку. — Может быть, увидев, как превратится ее тело в пепел, я смогу наконец поверить, что мое дорогое дитя покинуло этот мир...

Но постепенно такое отчаяние овладело несчастной, что она едва не выпала из кареты.

— Ах, мы так и знали! — И дамы принялись хлопотать вокруг нее.

Прибыл гонец из Дворца с вестью о том, что умершей присвоен Третий ранг*, и когда особо присланный чиновник начал оглашать указ, новая печаль овладела собравшимися.

Видимо, жалея ушедшую, которую при жизни никогда не называли её, Государь рассудил: «Пусть хоть на одну ступень, да поднимется» — и решил повысить ее в ранге. Увы, даже это многие встретили с возмущением. Люди же, постигшие смысл вещей, вспоминали, какой редкостной красотой обладала ушедшая, как добра она была и мягкосердечна. Да на нее просто невозможно было сердиться! Право, когда б не подобная благосклонность Государя, никто бы и не подумал относиться к ней с пренебрежением или неприязнью. Даже дамы, прислуживающие в высочайших покоях, и те тосковали, вспоминая ее милый нрав и чувствительное сердце. Похоже, что именно в таких обстоятельствах и было когда-то сказано: «Но вот — тебя нет, и сердце...» (1).

Унылой, однообразной чередой тянулись дни. Когда совершались поминальные службы, Государь посылал в дом покойного Адзэти-но дайнагона гонцов с соболезнованиями. Время шло, но не рассеивался мрак, воцарившийся в его душе. Государь перестал оставлять на ночь в своих покоях придворных дам, лишь дено и ночью лил горькие слезы. У приближенных его тоже ни на миг не просыхали рукава. Так обильны были росы в ту осень...

Только во дворце Кокидэн*, дворце Щедрых наград, и теперь не прощали умершую: «Надо же было так привязать к себе Государя! Ведь вот уж нет ее, а до сих пор смущает людские сердца».

Глядя на старшего принца, Государь с тоской вспоминал о нежной прелести младшего и то и дело посылал доверенных прислужниц и кормилиц, дабы справиться о нем.

Как-то вечером, когда налетел пронизывающий поля ветер и внезапно похолодало, воспоминания нахлынули с такой силой, что Государь решил послать в дом ушедшей мясудокоро даму по прозванию госпожа Югэи.

Была прекрасная лунная ночь. После того как посланница удалилась, Государь долго еще смотрел на луну, предаваясь печальным раздумьям. Прежде в такие часы они любили музицировать вдвоем. Как нежно пели струны под ее пальцами! Самые случайные слова, слетавшие с ее уст, пленяли неповторимым изяществом: ах, она была так прекрасна, так непохожа на других... Как живая стояла она перед его взором, и все же это была даже не «явь, промелькнувшая в ночи...» (2).

Когда госпожа Югэи, приблизившись к дому ушедшей, въехала во двор, взору ее предстала картина, исполненная печального очарования. Как ни одиноко, по-вдовьи жила мать ушедшей, прежде ради дочери она всегда следила за порядком в доме и ей удавалось создавать хотя бы видимость благополучия... Теперь же, погрузившись во мрак отчаяния (3), она не поднималась с ложа, травы тянулись все выше и выше, бушующий в саду ветер еще более усугублял царящее вокруг запустение. Лишь лунный свет проникал в дом, видно, «даже этот густой подмаренник ему путь преградить не мог» (4).

У южной стороны дома* гостью вывели из кареты, но ни она, ни несчастная мать долго не могли вымолвить ни слова.

— И без того горько, что задержалась в этом мире, а уж теперь, когда высочайшая посланница изволила смахнуть росу с листьев полыни у моего дома, я готова сгореть со стыда... — говорит наконец мать и, не в силах сдержаться, плачет.

— Госпожа Найси-но сукэ* уже рассказывала Государю: «Придешь в дом ушедшей, и становится еще тяжелее, просто сердце разрывается». Увы, это правда, даже мне, неспособной проникнуть в душу вещей, трудно справиться... — отвечает госпожа Югэи и, немного помедлив, передает слова Государя: «Сначала я пребывал в растерянности и все думал — не сон ли? Но, постепенно овладев собой, понял, что пробуждения не будет, и мне стало еще тяжелее. И ведь рядом нет никого, кто мог бы разделить мое горе... Вот если бы вы приехали потихоньку во Дворец... Тревожусь и за дитя, мучительно сознавать, что придется ему влачить дни среди густой росы... О, приезжайте скорее!» — Он не смог договорить, а ведь и заплакать было неловко: «Не подобает мне обнаруживать перед людьми свою слабость». — Ах, как больно было глядеть на него! Едва выслушав поручение, я поспешила к вам. — И она передала матери ушедшей письмо.

— Все померкло в глазах моих, но это милостивое послание — словно луч света... — говорит та и читает.

«Я ждал, что время хоть немного развеет мою печаль, но напрасно; проходят дни и луны, а в сердце все живет мучительная тоска. К милому сыну устремляю думы свои, удрученный тем, что не вместе лелеем его. Будем же видеть в нем память об ушедшей, и, прошу Вас, скорее приезжайте с ним во Дворец», — любезно писал Государь.

Ветер капли росы
Разметал по Дворцовой равнине*.
Шуму его
Внимаю, а думы в тревоге
Стремятся к кустику хаги* —

такой песней заключалось высочайшее послание, но несчастная мать и дочитать не смогла.

— Теперь я поняла, сколь тяжким испытанием может быть долголетие, — говорит она. — Стыдно становится «при одной лишь мысли: что думают сосны из Такасаго?» (5). Тем более неуместно появляться мне теперь за Стокаменными стенами*. Как ни признательна я Государю за частые послания, все же решиться трудно... А дитя... Что у него на сердце? Наверное, только и мечтает о том, как бы поскорее оказаться во Дворце. Его желание понятно, но, увы, печально сознавать... Так и передайте потихоньку Государю. О, я понимаю, что оставаться в доме столь злосчастной особы ему тоже нельзя. Не к добру, да и слишком высоко его положение, чтобы жить в этом бедном жилище...

Мальчик тем временем лег почивать.

— Хотела я повидать маленького господина, чтобы подробно рассказать о нем во Дворце, но Государь ждет меня, да и поздно уже... — И госпожа Югэи спешит откланяться.

— О, как желала бы я поделиться с вами своими горестями, дабы хоть мимолетный просвет узреть во «мраке блужданий» (3), — говорит мать ушедшей. — Заходите ко мне просто так, без дела, чтобы мы могли побеседовать неторопливо. Все эти годы лишь с радостными и торжественными вестями наведывались вы сюда, и вот теперь — какому посланию одолжена я удовольствием видеть вас! Снова и снова думаю я о том, сколь горестна

моя доля! А какие надежды подавала моя бедная дочь с самого рождения! Покойный Адзэти-но дайнагон до последнего своего часа все наставлял меня: «Непременно выполни мое заветное желание — отдай дочь во Дворец. Не падай духом и не теряй надежды из-за того, что меня не будет рядом». И хотя мне-то самой казалось, что становиться придворной дамой, не имея надежного покровителя, не так уж и почетно, скорее наоборот, все-таки, не желая нарушить его завета, отдала я ее во Дворец, и что же? Именно на ней остановился милостивый взор Государя, отчего сделалась она предметом беспрерывных оскорблений и грубостей со стороны остальных. О, она не жаловалась и продолжала жить во Дворце, однако все больше злобы скапливалось в сердцах ее соперниц, невзгоды сыпались на нее со всех сторон, и в конце концов бедняжка занемогла тяжелой болезнью, которая и пресекла ее жизнь. Потому-то я скорее с горечью думаю о великой благосклонности Государя. Но, ведь вы понимаете, причиной тому мое неразумное «сердце, блуждающее во мраке...» (3) — И, не сумев договорить, она задохнулась от слез.

Между тем настала глубокая ночь.

— Так же изволит думать и сам Государь. «Я прихожу в отчаяние, — говорит он, — при мысли, что столь короткий срок был отпущен нам и по моей вине. Право же, если бы я не предавался влечению чувств столь безоглядно, если бы не навлекал на себя неудовольствие окружающих необузданностью своих желаний... Мне казалось, что я никого ничем не обидел, я и не подозревал, что из-за нее многие чувствовали себя глубоко уязвленными. И вот я остался один, и сердце мое не может обрести покоя. Как жалок и смешон я, должно быть, в глазах людей. Хотел бы я знать, в чем причина этих несчастий? Что было с нами там, в предыдущей жизни?» — так повторяет он снова и снова, а слезы бегут по его щекам, — рассказывает госпожа Югэи.

Долго еще беседовали они, но вот, заплакав, гостя:

— Уже совсем поздно, надобно отнести Государю ответ, пока не рассветло, — сказала и заспешила обратно во Дворец.

Луна вот-вот скроется за краем гор, небо чистое и светлое, дует прохладный ветерок, стрекотание насекомых в траве вызывает невольные слезы... Право, трудно расстаться с этими зарослями бурияна.

— Сверчок-колокольчик
Звенит и звенит не смолкая
В этой долгой ночи.
А из глаз моих слезы
Все льются и льются... —

произносит госпожа Югэи и никак не может сесть в карету.

— Сверчки
Звонят так печально. Зачем же
Еще и росой
Ты наш сад окропила, спустившись
Из Заоблачного чертога?*

Но я опять жалею, простите... — отвечает через одну из своих прислужниц мать ушедшей.

При таких обстоятельствах не принято обмениваться дорогими дарами, поэтому она посылает с письмом лишь оставшийся от дочери придворный наряд и шкатулку с принадлежностями для прически, сбереженную ею как память об умершей нарочно для такого случая.

О том, в каком горе пребывали молодые прислужницы ушедшей, и говорить нечего. К тому же, привыкшие к блеску придворной жизни, они скучали и, то и дело вспоминая Государя, торопили госпожу, но та никак не могла решиться, думая: «Присутствие столь злосчастной особы неизбежно вызовет нежелательные толки. А расставаться с внуком даже на короткое время слишком тяжело, места себе не найду от тревоги».

Госпожа Югэи весьма тронута была, увидев, что Государь еще не лег почивать. Он делал вид, будто любитесь пышным цветением во внутреннем дворике и коротал часы ожидания за беседой с несколькими самыми чувствительными дамами из своего окружения.

В последние дни предметом их задушевных бесед чаще всего становились свитки с картинами к поэме «Вечная печаль»*. Картины эти, которые Государь рассматривал денно и ночно, принадлежали кисти императора Тэйдзи*, японские же песни и китайские стихи были написаны Исэ и Цураюки*.

С пристрастием расспрашивал Государь о том, что увидела госпожа Югэи в доме ушедшей. Она же, поведав, сколь трогательно-печальное зрелище предстало ее взору, подала ему письмо.

«Милости Государя воистину безграничны, и я в смущении... Увы, Ваше любезное послание привело мои чувства в еще большее смятение, и душа погрузилась в бездну уныния.

Вот и засохла
Ветка, его укрывавшая
От буйных ветров.
И сердце терзает тревога —
Что станет с кустиком хаги?»

Мать ушедшей писала довольно нескладно и не совсем учтиво, но Государь скорее всего простил ее, рассудив, что она еще не успела оправиться от горя.

Как ни старался Государь вновь обрести душевный покой: «Не увидят люди моей печали», ему не удавалось превозмочь тоски, и мысли его беспрестанно обращались к ушедшей. Он перебирал в памяти разные связанные с ней случаи, начиная с того давнего дня, когда она впервые появилась во Дворце. «Раньше даже на короткое время тяжело было расстаться, но вот миновало столько дней и лун... — думал он, сам себе удивляясь. — Я всегда полагал, что смогу достойно вознаградить мать ушедшей, которая, храня верность завету супруга, отдала дочь во Дворец. Но увы, теперь все тщетно... — вздыхал он, и печальные думы его устремлялись к несчастной матери. — Что ж, вырастет дитя, может, еще и представится случай. Пусть только постарается подольше прожить...»

Госпожа Югэи показывает ему дары.

«О, когда б эта шпилька* была памятным знаком, принесенным из обители умершей...» — мечтает он, но увы...

Будь у меня
 Даос, готовый отправиться
 На поиски милой,
 Я хотя б от него узнал,
 Где душа ее обитает.

На картине лицо Ян Гуйфэй кажется каким-то бесцветным. Как ни славен художник, ее изобразивший, видно, существует все же предел для кисти. Ее сравнивали с цветами фузун на озере Тайи, с ивами Вэйянских дворцов*, а здесь привлекает внимание прежде всего великолепии наряда. Государь вспоминает ту, другую, такую кроткую, нежную, — о да, рядом с ней тускнели даже цветы и пение птиц не казалось столь сладостным... По утрам и по вечерам неизменно клялись они друг другу: «Чтобы нам в небесах птиц четой неразлучной летать, чтобы нам на земле раздвоенной веткой расти!»*, но напрасны были все клятвы, она покинула этот мир, и ему оставалось лишь сетовать на судьбу, так рано разлучившую их.

Внимая шуму ветра, голосам насекомых, Государь коротал часы, погруженный в печальные думы, а во дворце Кокидэн звучала громкая музыка. Стояла прекрасная лунная ночь, и, очевидно, нёго, давно уже не показывавшаяся в высочайших покоях, не захотела лишать себя удовольствия.

«Можно ли быть такой бесчувственной!» — думал Государь. Придворно-служители и дамы, свидетелями его горя бывшие, тоже негодовали. Нёго Кокидэн, всегда отличавшаяся строптивым нравом, и теперь вела себя так, словно ничего не случилось.

Но скоро луна зашла.

Лик осенней луны
 Даже здесь, в чертоге Заоблачном,
 От слез потемнел.
 Так может ли быть он светел
 В жилище, заросшем бурьяном?

Переносясь мысленно в дом ушедшей, Государь бодрствовал, пока не угас сиротливый фонарь*. Вот послышались голоса ночных караульных из Правой личной охраны — должно быть, уже стража Быка...* Не желая привлекать к себе любопытных взглядов, Государь отправился в опочивальню, но сон долго не шел к нему. Когда ранним утром поднялся он с ложа, ему вспомнилось неволью: «Порой забывали, что бывает рассвет...» (6). Вряд ли в тот день он проявил должное внимание к делам правления. Самые изысканные яства оставляли Государя равнодушным. Он еле дотронулся до утреннего риса, во время же большой дневной трапезы мысли его витали столь далеко, что прислуживавшие за столом дамы вздыхали украдкой, глядя на его измученное лицо. Да, все находившиеся подле — и мужчины, и женщины — были в полной растерянности. «Вот беда-то!» — сетовали они. «Как видно, таково у Государя предопределение. Ни толки людские, ни всеобщее осуждение не смущали его, казалось, он совсем потерял рассудок, ею одной поглощенный, а теперь вот, смотрите, начинает пренебрегать и делами государственными — похвально ли это?» — перешептывались придворные, намекая на некоего чужеземного государя*, и удрученно вздыхали.

Шли дни и луны, и наконец юный принц вступил во Дворец. Он был так хорош собой, что казался существом из иного мира, и всякого, кто смотрел на него, охватывал невольный трепет: «Может ли быть долговечной подобная красота?»

На следующую весну было намечено провозглашение нового наследного принца, и нельзя сказать, чтобы у Государя не возникало желания отказаться от своего прежнего намерения, но, поскольку младший сын не имел могущественного покровителя, подобное назначение скорее повредило бы ему, тем более что и двор никогда не одобрил бы такого выбора. И Государь никому не сказал ни слова. «Да, как ни велика его любовь к младшему, — говорили люди, — всему, видно, есть предел». А дама из дворца Кокидэн обрела наконец покой.

Бабка мальчика, госпожа Северных покоев в доме ушедшего Адзэти-но дайнагона, так и не сумев превозмочь тоски, по прошествии недолгого времени — уж не оттого ли, что желала поскорее соединиться с дочерью? — скончалась. Новой скорби не было границ. Мальчику исполнилось уже шесть лет, и он горько плакал, подавленный тяжестью утраты. В последнее время старая госпожа, успевшая привязаться к внуку, часто говорила ему, как печалит ее мысль о предстоящей разлуке.

Теперь мальчик жил только во Дворце. Когда ему исполнилось семь лет, провели церемонию Первой книги*, во время которой он обнаружил ясный ум и дарования столь редкие в нашем мире, что Государь наблюдал за ним даже с некоторым страхом.

— Разве можно его ненавидеть? Теперь все должны ласкать его хотя бы потому, что у него нет матери, — говорил Государь и всюду, даже во дворец Кокидэн, брал сына с собой — так вместе с ним и входил в самые сокровенные покои. Суровый воин, не ведающий пощады, враг, недоброжелатель — даже они улыбнулись бы, глядя на это прелестное дитя, и нёго из дворца Кокидэн не смела открыто пренебрегать им. Она родила Государю двух принцесс, но никто не мог затмить младшего принца.

Другие дамы тоже не сторонились его. Уже теперь мальчик был так мил и так поразительно хорош собой, что они, сохраняя, разумеется, приличную церемонность, с удовольствием принимали участие в его забавах. Стоит ли говорить о том, какие успехи оказывал он в положенных науках*, ежели даже на кото и на флейте играл так*, что приходила в волнение вся Заоблачная обитель? Впрочем, если продолжать перечисление всех его достоинств, создастся образ столь совершенный, что и поверить будет невозможно.

Однажды прослышал Государь, будто среди приехавших в столицу корейцев есть весьма искусный предсказатель-физиономист, а как приглашению одного во Дворец препятствовало предостережение государя Уда*, то, окружив дело полной тайной, он отправил сына в Посланнический приказ*. Повел его туда Удайбэн, исправлявший при мальчике должность попечителя, причем было решено, что он представит его как собственного сына.

Изумленный кореец долго всматривался в лицо мальчика, недоуменно покачивая головой.

— Черты сего отрока о том говорят, — изрек он наконец, — что может он стать Отцом государства и достичь высочайшего звания Властителя страны, однако возвышение его сопряжено будет со смутами и бедствиями.



Возможно, ему предназначено сделаться оплотом высочайшего дома, первым попечителем Поднебесной, но, увы, и этого я не могу сказать с полной уверенностью.

Удайбэн также был мужем весьма ученым, а посему беседа их оказалась чрезвычайно поучительной. Обменялись они и сложенными к случаю стихами, причем предсказатель сумел удачно передать свое настроение, которого смысл сводился к следующему: «Не сегодня завтра должно мне покинуть вашу страну, и радость, испытанная от встречи с человеком столь необычайных достоинств, соединяется в моем сердце с печалью разлуки». Мальчик ответил ему трогательным стихотворением, и безмерно восхищенный предсказатель поднес ему великолепные дары. Из Дворца тоже было прислано щедрое вознаграждение.

Слух о предсказании каким-то образом распространился, как ни старался Государь сохранить его в тайне. Правый министр, дед принца Весенних покоев, и прочие забеспокоились, недоумевая: «Что же все это значит?»

Государь, неутомимый в благоволении своем к сыну, уже раньше изволил изучить его черты по местным гадательным таблицам и, очевидно, сам пришел к какому-то заключению, во всяком случае, он до сих пор не жаловал мальчика даже званием принца крови — мико. Теперь же, поразмыслив обо всем, подумал: «А ведь предсказатель этот подлинно мудр» — и принял окончательное решение: «Нельзя пускать его по волнам жизни принцем без

ранга, не имеющим влиятельного покровителя со стороны матери. Ведь моя власть над миром недолговечна. Нет, пусть, оставшись простым подданным, возьмет на себя заботы о высочайшем семействе, только так можно обеспечить ему надежное будущее».

И Государь постоянно поощрял сына к совершенствованию в науках и искусствах.

При том, что мальчик достиг замечательных успехов во всех занятиях своих, крайне жаль было оставлять его простым подданным, но положение принца крови привлекло бы к нему немало взыскательных взоров. Государь обратился также к самым мудрым астрологам, но их предсказания лишь подтвердили предыдущие, а посему, окончательно укрепившись в первоначальном решении, он причислил сына к роду Минамото, иначе Гэндзи*.

Текли луны и годы, а Государь ни на миг не забывал об ушедшей. В надежде, не развеется ли тоска, призывал он к себе подходящих вроде бы дам, но, увы, разве могли они сравниться с ней? — ничего, кроме неприязни, не вызывали они в его сердце.

Как раз в это время распространилась по миру молва о необыкновенной красоте Четвертой дочери прежнего Государя, взлелеянной с отменной заботливостью матерью своей, Государыней-супругой. Оказалось, что Найси-но сукэ, дама, прислуживающая в высочайших покоях, служила и предыдущему государю, почему и была близка с принцессой, которую знала с малолетства, и с которой даже теперь изредка встречалась.

— Трем государям прислуживала я, но ни разу не видела женщины, похожей на ушедшую мясудокоро. И только дочь прежней Государыни-супруги... Так, воистину редкой красоты особа! — доложила она Государю, и сердце его забилося в надежде: «Неужели?»

Он обратился к матери принцессы с почтительной просьбой, но та медлила, тревожась за судьбу дочери. «Всем известно, какой злой нрав у матери принца Весенних покоев*, — думала она. — Достаточно вспомнить, сколько мучений выпало на долю обитательницы павильона Павлонии. Нет, нет, не к добру...»

Так и не успев дать ответа, она неожиданно скончалась, и принцесса осталась одна, без всякой опоры.

— Я мог бы заботиться о ней просто как о дочери, — настаивал Государь, и прислуживающие девушке дамы, лица, оказывающие ей покровительство, старший брат ее, принц Хёбукё, рассудив: «Лучше уж ей жить во Дворце, чем тосковать в одиночестве, быть может, там она утешится немного», отдали ее Государю. Прозвали же ее Фудзицубо — принцесса из павильона Глицинии.

В самом деле, и чертами лица, и всем обликом своим она удивительно походила на умершую, а высокое положение в мире делало ее еще прекраснее в глазах окружающих. Никто не смел смотреть на нее свысока, и Государь мог беспрепятственно дарить ее благоволением своим — словом, ничто не мешало назвать этот союз совершенным. Быть может, тогда именно неодобрение окружающих и разожгло до такой степени страсть Государя, кто знает... Нельзя сказать, чтобы вовсе покинули Государя думы о прошлом, но помыслы его, естественно, приняли иное направление, и постепенно он утешился. Да, все мимолетно в мире, и, когда думаешь об этом, щемящая печаль пронзает душу...

Юный господин Гэндзи повсюду следовал за Государем, и особа, к которой тот наведывался чаще, чем к другим, не могла постоянно прятаться от него.

Возможно ли отыскать во Дворце даму, которая полагала бы себя хуже других? Бесспорно, каждая имела свои достоинства, но ведь лет им было уже немало, одна лишь принцесса из павильона Глицинии сверкала свежей, юной красотой. Как ни старалась она прятать лицо, мальчику удалось украдкой разглядеть ее. Образ матери даже смутной тенью не сохранился в его памяти, но он часто слышал от Найси-но сукэ, что принцесса чрезвычайно похожа на умершую, и в его юной душе зародилась невольная нежность к ней. «О, если б я мог приходить сюда когда вздумается и без всяких церемоний...» — мечтал он. Государь же, безмерно любя обоих, нередко просил:

— Не отталкивайте от себя это дитя. Удивительно, но порой и я вижу в вас его мать. Будьте же снисходительны к мальчику и постарайтесь его полюбить. Вы так похожи, что его вполне можно принять за вашего сына.

Мальчик же всем сердцем привязался к принцессе и в простоте душевной использовал любой повод — будь то неприметный цветок или алый листочек клена — чтоб излить перед ней свои чувства.

Этого не могла не заметить нёго Кокидэн, никогда не питавшая приязни к даме из павильона Глицинии, и в сердце ее вспыхнула давняя ненависть.

Государь же души не чаял в сыне, которому равного не было, казалось, в целом свете. В самом деле, даже прекрасная обитательница павильона Глицинии не могла затмить его. Люди называли мальчика Блистательным, а поскольку принцесса из павильона Глицинии почти не уступала ему в красоте и оба они занимали равное место в сердце Государя, ее прозвали принцессой Лучезарного солнца.

Досадно было менять отроческий облик Гэндзи, но мальчик достиг уже двенадцати лет, настала пора совершить обряд Покрытия главы*. Сам Государь хлопотал неустанно, готовясь к предстоящему торжеству, и многое сумел добавить к тому, что предписано правилами. По пышности и размаху церемония не должна была ни в чем уступать той, что несколько лет назад проводилась в Южном дворце по случаю совершеннолетия принца Весенних покоев, а завершающие ее повсеместные пиршества предполагалось провести с великолепием, еще невиданным в мире, ибо Государь, сочтя, очевидно, что официальные торжественные трапезы, которые в подобных случаях устраиваются служителями дворцовой сокровищницы и рисовых хранилищ, недостаточно пышны, отдал на этот счет особые распоряжения.

В восточных передних покоях дворца Чистой прохлады, Сэйрёдэн, установили трон, обратив его к востоку, а перед ним — сиденья для достигшего совершеннолетия и покрывающего главу, которого роль исполнял сам министр*.

И вот в стражу Обезьяны появился Гэндзи. Вдоль его щек круглились жгуты детской прически «мидзура», лицо блистало яркими красками... Как же он мил и как жаль, что таким его больше никто не увидит. Глава Ведомства по делам казны приступил к «подвязыванию волос». Невозможно было оставаться равнодушным, глядя, как он подстригает эти прекрасные волосы, и у Государя вдруг больно сжалось сердце: «О, когда б она видела его теперь!..» Но усилием воли он сдержал себя.

После совершения обряда Гэндзи удалился в покои для придворных, где ему сменили платье, а затем спустился в сад. Глядя, как он исполнял благодарственный танец*, люди роняли слезы. Что же говорить о Государе? Ему было еще труднее сохранять самообладание. Снова нахлынули печальные думы о прошлом, которое, казалось, начинало уже изглаживаться из памяти.

«Он слишком мал, взрослая прическа вряд ли будет ему к лицу», — опасался Государь, но причесанный по-новому мальчик стал лишь прекраснее.

У Левого министра, исполнявшего во время обряда обязанности покрывающего главу, была единственная дочь, рожденная принцессой крови и составлявшая главнейший предмет попечения родителей. На нее были виды у принца Весенних покоев, но министр медлил с согласием, ибо тайно намеревался отдать ее Гэндзи. Поэтому, когда Государь, также склонность к этому союзу высказывающий, предложил: «Что ж, раз нет у мальчика достойного опекуна, можно сразу же перейти к обряду Укладывания вместе*», министр немедленно согласился.

Между тем гости перешли в покои для придворных, где для них было приготовлено угощение, и Гэндзи занял подобающее ему место — следующее за принцами крови. Министр пытался намекнуть на свое намерение, но мальчик, будучи еще слишком юным и робким, не знал, что ему ответить. По прошествии некоторого времени Найси-но сукэ передала министру повеление Государя явиться в высочайшие покои, и тот вышел. Прислуживающая в высочайших покоях дама вручила министру дары — вознаграждение за участие в церемонии: большое белое утики* и полный придворный наряд — словом, все, что принято дарить в таких случаях. Пригубив чашу с вином, Государь многозначительно произнес, явно желая вывести его намерения:

— Детские пряди
Впервые связаны крепко.
Укрепился ли ты
В желанье — на долгие годы
Две судьбы воедино связать?

— Крепким узлом
Я связал эти пряди, желанья
Неизменны мои.
И если лиловый шнур
Яркости не утратит... —

ответил министр и, спустившись с Длинного моста, исполнил благодарственный танец. От Левой императорской конюшни подвели коня, от Императорского архива поднесли сокола. Знатные вельможи и принцы крови, выстроившиеся в ряд у лестницы, получили дары сообразно званию каждого. Яства в кипарисовых коробках, плоды в привязанных к веткам корзинах в соответствии с высочайшими указаниями были подготовлены для этого дня все тем же Удайбэном. Подносы с рисовыми колобками, китайские коробки с дарами для участников заполнили все вокруг, их оказалось даже больше, чем в день совершеннолетия принца Весенних покоев. Впрочем и всё остальное было куда великолепнее.



В ту же ночь юноша отправился в дом Левого министра. Там торжественно встретили будущего зятя, и церемония прошла с невиданной доселе пышностью. Совсем еще дитя, Гэндзи тем не менее был так красив, что каждого, кто смотрел на него, охватывало невольное беспокойство: «Может ли быть долговечной подобная красота?» Дочь министра была чуть старше и, увидев, как юн Гэндзи, застыдилась.

Левый министр сумел снискать особую благосклонность Государя, коего единоутробной сестрой была мать этой девицы, так что его положение в мире было весьма прочным. Теперь же, когда Левому министру удалось заполучить и Гэндзи, Правый министр, имевший внуком наследного принца и, казалось бы, обладавший безраздельной властью над миром, вовсе утратил свое влияние.

У Левого министра было много детей от разных жен. Один из его сыновей, рожденный все той же принцессой крови, имел чин сёсё и звание куро-до и прозывался Куродо-но сёсё. Он был очень молод и так хорош собой, что Правый министр, несмотря на неприязнь, питаемую к его отцу, не смог пренебречь юношей и отдал за него свою нежно любимую Четвертую дочь. Заботились о нем не меньше, чем о Гэндзи, — словом, и тот, и другой союз были воистину безупречны.

Государь постоянно призывал к себе Гэндзи, и тот не мог подолгу оставаться в доме министра. В сердце же его жил один лишь образ — принцессы

из павильона Глицинии, ибо не было ей равных на свете. «Вот бы и мне найти подобную ей, — думал Гэндзи. — Но, увы, таких больше нет. Дочь министра тоже красива, в доме холят ее и лелеют, но не лежит к ней душа». Так, одна страсть владела его юным сердцем, доставляя порой невыносимые мучения.

Теперь, когда Гэндзи стал взрослым, Государь уже не позволял ему ходить во внутренние покои особ, к которым еще недавно имел он свободный доступ. Но когда во Дворце музицировали, голос его флейты сливался с пением струн ее кото, а иногда из-за ширм доносился едва слышный нежный голос, полня сердце сладостным трепетом... Наверное, именно потому жизнь во Дворце и казалась ему такой привлекательной. Проводя там по пять-шесть дней кряду, Гэндзи лишь иногда дня на два, на три возвращался в дом министра, но тот не осуждал его, считая, что в столь юные годы... И ласкал зятя по-прежнему. В услужение супругам министр отдал самых изящных молодых прислужниц. Он затевал разные увеселения, дабы привлечь зятя в свой дом, — словом, старался угодить ему, чем только мог.

Покои Светлых пейзажей — Сигэйса — перешли к Гэндзи. Не желая разлучать дам, некогда прислуживавших его матери, Государь отдал их в услужение сыну. Ремонтные мастерские и Плотницкое управление, получив соответствующие указания, перестроили ее родной дом — и он не имел себе равных. Усадьба эта и раньше славилась живописными уголками, густыми купами деревьев, изысканными горками, а теперь решено было расширить пруд, работа кипела, и в конце концов сад, как и дом, засверкал невиданным доселе великолепием.

«Когда б я мог поселить здесь особу, подобную той, единственной, к которой постоянно обращаются мои мысли...» — думал юноша, вздыхая.

Говорят, что прозвище Блистательный дал Гэндзи тот предсказатель-кореец, искренне восхищенный его красотой.





ДЕРЕВО-МЕТЛА

Основные персонажи

Гэндзи, 17 лет — сын императора Кирицубо и наложницы Кирицубо

То-но тюдзё — сын Левого министра, брат Аои, первой супруги Гэндзи

Дочь Левого министра (Аои) — супруга Гэндзи

Левый министр — тесть Гэндзи

Правитель Кии — сын правителя Иё

Принц Сикибукё (принц Момодзono) — отец Асагао, брат императора Кирицубо

Эмон-но ками — отец Когими и Уцусэми

Когими — младший брат Уцусэми

Супруга правителя Иё (Уцусэми)

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ Гэндзи... Несомненно, имя значительное, но бывает, что и у обладателя одного оказывается немало слабостей, кои, вызывая пересуды, могут умалить его блеск... Правда, Гэндзи старался скрываться от людских взоров, опасаясь, что слух о его шалостях дойдет до будущих веков, закрепив за ним славу неисправимого повесы, но ведь в мире и самое тайное обычно становится явным — воистину злы людские языки. Впрочем, чаще всего он вел себя крайне осмотрительно и степенно, а потому на любовной стезе ничего замечательного с ним не происходило. Катано-но сёсё* наверняка посмеялся бы над ним!

Имея пока еще чин тюдзё, Гэндзи большую часть времени проводил во Дворце, лишь иногда наведываясь в дом Левого министра.

Разумеется, там возникали порой подозрения — не слишком ли смятанным был узор на платье (7), но надо сказать, что Гэндзи вовсе не имел обычной для юношей его круга

склонности к вполне заурядному, откровенному любострастию. Зато у него было другое, причем весьма досадное свойство: словно наперекор самому себе вдруг целиком предаваться какой-нибудь безрассудной страсти, нередко побуждавшей его к непозволительным действиям.

Однажды, когда шли долгие, беспросветные дожди, а во Дворце были дни Удаления от скверны*, Гэндзи совсем перестал бывать в доме министра, и там волновались и досадовали, однако же продолжали присылать ему заботливо сшитые великолепные наряды и разные другие мелочи, а сыновья министра, желая услужить Гэндзи, частенько наведывались в его дворцовые покои. Один из них, То-но тюдзё, рожденный принцессой крови, сошелся с Гэндзи ближе, нежели другие, он был неизменным участником всех его забав и развлечений, и отношения между юношами установились самые непринужденные. Как видно, То-но тюдзё тоже не пришлось по душе жилище тестя, где лелеяли его безмерно, — он был большим ветренником, охочим до любовных походов. То-но тюдзё позаботился о том, чтобы его покои в доме Левого министра были убраны как можно роскошнее, и, когда там появлялся Гэндзи, друзья не расставались. Дни и ночи, часы занятий и часы досуга проводили они вместе, причем То-но тюдзё ни в чем не уступал Гэндзи. Он повсюду следовал за ним, юноши привыкли, не чинясь, поверять друг другу сокровенные мысли свои и привязались друг к другу необычайно.

Как-то раз тихим вечером, когда не переставая лил томительно-тоскливый дождь, а во Дворце было безлюдно, Гэндзи расположился в своих покоях, где также стояла непривычная тишина, и, придвинув к себе светильник, рассматривал разные книги. То-но тюдзё, подойдя к стоявшему неподалеку шкафчику, извлек из него разноцветные листки писем, и на лице его отразилось горячее желание немедленно прочесть их, однако Гэндзи не позволил, сказав:

— Некоторые я, так и быть, тебе покажу, но есть ведь и такие, которые не для чужих глаз...

— Да, но как раз на те, которые «не для чужих глаз», мне и хотелось бы взглянуть, — недовольно возразил То-но тюдзё. — Обычных, заурядных писем достаёт и в переписке столь недостойного человека, как я. Нет, меня интересуют совсем другие письма — либо написанные в порыве досады и полные упреков, либо сочиненные в сумерках и передающие тоску ожидания.

Что ж, скорее всего у Гэндзи не было причин беспокоиться — письма особенно ему дорогие, которые должно тщательно скрывать от чужих глаз, он наверняка запрятал куда-нибудь подальше, а в этом шкафчике хранились лишь самые незначительные.

И вот уже То-но тюдзё разглядывает их одно за другим.

— Какие разные письма, — говорит он и наугад спрашивает: — Это от такой-то? А это... — причем иногда угадывает правильно, иной же раз, оказываясь крайне далеким от истины, принимается донимать Гэндзи ревнивыми подозрениями, немало того забавляя, но, отделяваясь ничего не значащими словами, Гэндзи так и не раскрывает своих тайн и наконец, отобрав у То-но тюдзё письма, прячет их.

— У тебя самого должно быть полным-полно писем, — говорит Гэндзи. — Вот бы взглянуть на них хоть одним глазком! Тогда бы и я с радостью превеликой открыл для тебя этот шкафчик.

— Вряд ли у меня найдется что-нибудь стоящее, — отвечает То-но тюдзё, затем продолжает: — Я все более утверждаюсь в мысли, что мудроно отыскать женщину во всем совершенную. Разумеется, вокруг немало достойных особ, на первый взгляд вполне утонченных, бойко владеющих кистью, способных прилично случаю, складно ответить на письмо. Но если попытаешься выбрать истинно совершенную, вряд ли хоть одна выдержит испытание. Большинство чванливы, надменны, на всех смотрят свысока. А бывает, пока воспитывается девушка за занавесями в доме родителей, которые пекутся о ней неустанно, никто и не знает о ней ничего, только слухи о ее достоинствах, распространяясь, волнуют сердца. Пока она хороша собой, простодушна, пока светская суета еще не коснулась ее, она стремится усвоить какие-то незначительные навыки от окружающих и, естественно, в чем-то достигает особенных успехов. Домашние обычно замалчивают ее недостатки и, приукрашивая достоинства, превозносят их повсюду, и разве можно без всяких на то оснований отнестись к их словам к недоверием — да не может, мол, того быть! — и пренебречь ею? Нет, думаешь: «Ах, неужели?» — и ищешь с ней встречи. И всегда тебя ждет разочарование.

Тут То-но тюдзё вздохнул, и Гэндзи невольно позавидовал его искушенности, а поскольку кое-что из сказанного совпадало с его собственными мыслями, он, улыбнувшись, спрашивает:

— А разве есть в мире женщины, вовсе лишенные достоинств?

— Наверное, есть, но таким просто никого не удастся обмануть. Впрочем, полагаю, что женщин никчемных, не вызывающих ничего, кроме презрения, столь же мало, сколь и во всем безупречных, о которых можно сказать: «Вот она, само совершенство!»

Женщина, принадлежащая по рождению своему к самому высокому состоянию, взлелеянная заботливыми родителями, чаще всего сокрыта от чужих взоров, и в ней можно предполагать любые достоинства.

Но возьмем женщин среднего состояния — здесь сразу видны присущие каждой свойства и наклонности, потому-то и разобраться в большинстве случаев куда легче. Что же касается женщин из низших слоев, то о них и говорить не стоит, — отвечает То-но тюдзё, причем вид у него такой, словно нет для него в мире тайн, и Гэндзи, подстрекаемый любопытством, спрашивает:

— Что ты имеешь в виду, говоря о состоянии, и кого к какому состоянию должно причислить? Бывает ведь, что человек благородного происхождения по воле судьбы оказывается внизу, ранг имеет невысокий, его и не замечает никто... Или наоборот, какой-нибудь простолюдин, вдруг возвысившись, становится знатным вельможей, начинает кичиться: «Вот мол, я каков, посмотрите», наполняет свой дом всеми причудами роскоши и о том лишь печется, как бы не оказаться хуже других. К какому состоянию должно их причислить?

Тут пришли приехавшие во Дворец, дабы прислуживать Государю в дни Удаления от скверны, Главный левый конюший Хидари-но ума-но kami и То-сикибу-но дзо из Церемониального ведомства. А так как оба они большие повесы, да и краснобаи изрядные, То-но тюдзё, словно только их и ждал, сразу же вовлек их в спор о том, кого к какому состоянию причислить должно. И сказано ими было немало такого, что противно слуху.

— Как бы высоко ни поднялся человек, если не благородного он происхождения, люди все равно будут относиться к нему с предубеждением, — говорит Ума-но ками. — Но бывает и так, что человек безупречного, казалось бы, происхождения, лишившись опоры в мире и потеряв прежнее влияние, оказывается в бедственном положении. Душа его, разумеется, остается благородной, но ему приходится терпеть нужду, а это не может не сказаться на отношении к нему окружающих. Поэтому обоих я отнес бы к среднему состоянию.

Или вот люди, называемые правителями, радеющие о делах провинций, — казалось бы, мы имеем дело с вполне определенным сословием, но и там есть свои различия, в нынешние времена можно назвать немало правителей, вполне достойных быть причисленными к среднему состоянию. Право, скороспелому вельможе я всегда предпочту того, кто, не имея еще звания советника, остановился на Четвертом ранге, но успел заслужить немалое уважение в мире. Часто такой человек и в родовитости не уступает прочим, живет он спокойно, держится с достоинством и впечатление производит самое приятное. Дом у него — полная чаша, дочери содержатся в роскоши и ни в чем не испытывают нужды, из подобных семейств нередко выходят вполне достойные женщины. Известно немало случаев, когда дочь такого человека, поступив на службу во Дворец, оказывалась счастливее более знатных своих соперниц.

— То есть в любом случае должно иметь дело с женщинами из преуспевающих семейств, — улыбается Гэндзи.

— Кто-то другой и мог бы так сказать, но ты... — сердится То-но тюдзё.

— Трудно себе представить, чтобы женщина из семейства не только родовитого, но и влиятельного была чем-то нехороша. Если и встретишь такую, не сможешь сдержать удивления: «Как же ее воспитывали?» Зато никто не удивляется, обнаружив, что выросшая в почтенном семействе особа превосходит своими достоинствами других женщин. «Что ж, так и должно быть», — подумает каждый. И вряд ли кто-нибудь станет восторгаться ее совершенствами. Впрочем, не мне, ничтожному, судить о высших из высших.

По-моему, куда больше причин для восторга бывает тогда, когда в каком-нибудь домике за воротами, увитыми хмелем, в уединенном, пустынном месте повстречаешь неожиданно прелестную особу, о существовании которой никто и не подозревает. «Такая — и здесь?» — подумаешь пораженный, и сердце невольно устремится к ней.

Или еще. Отец — старый, грубый толстяк, брат — безобразнее свет не выдывал... Казалось бы, при всем желании невозможно отыскать в их доме ничего замечательного, и вот где-нибудь в дальних покоях встречаешь женщину с нежной, возвышенной душой, сумевшую достичь редкой утонченности в самых пустяковых навыках и умениях. И даже если таланты ее проявляются лишь в какой-нибудь незначительной области, разве может не привлечь к ней внимания сама неожиданность подобного открытия?

Разумеется, если задаешься целью найти женщину, наделенную только совершенствами и вовсе лишенную недостатков, то такая, может быть, и не подойдет, но, уверяю вас, расстаться с ней будет непросто... — Говоря это, Ума-но ками бросил взгляд на То-сикибу-но дзо.

«Наверное, он имеет в виду мою сестру, о которой как раз начинают говорить в мире», — догадался тот, но промолчал.

А Гэндзи, должно быть, подумал: «Быть того не может, ведь даже среди высших трудно найти достойную...»

Облаченный в мягкое белое платье, поверх которого кое-как наброшено одно носи*, с распущенными шнурками, он полулежит, облокотясь на скамеечку-подлокотник, его лицо, озаренное огнем светильника, невыразимо прекрасно. Вот если бы он был женщиной! Так, для него хоть лучшую из лучших выбери — и та не подойдет.

Между тем юноши продолжают перебирать разных женщин.

— Увы, так бывает всегда, — говорит Ума-но ками, — даже если речь идет о женщинах безупречных во всех отношениях. Когда приходится из многих выбирать одну, чтобы, назвав ее своей, сделать опорой в жизни, оказывается просто невозможным остановить на ком-то свой выбор. Всем известно, как нелегко найти мужа, который, прислуживая Государю, мог бы стать надежным столпом Поднебесной, редко у кого есть все необходимые для того достоинства. Как ни мудр человек, никогда не бывает так, чтобы один или двое ведали всеми делами правления. Высшим помогают низшие, низшие склоняются перед высшими — любые дела улаживаются путем взаимных соглашений и уступок. Когда же идет речь о выборе женщины, которой предстоит ведать делами сравнительно небольшого семейства, то получается, что она непременно должна сочетать в себе множество разных, совершенно необходимых качеств. А ведь чаще всего бывает так, что женщина, преуспевающая в одном, в другом проявляет полную неосведомленность. Вот и получается, что постоянно попадаешь впросак (8). Трудно отыскать такую, с присутствием которой можно было бы примириться, глядя сквозь пальцы на ее недостатки.

Дело вовсе не в том, что нам нравится перебирать женщин, потакая собственному любострастию. Нет, просто каждый хочет найти одну-единственную, способную стать ему надежной опорой в жизни. В конце концов все равно придется остановить на ком-то свой выбор — от этого никуда не уйдешь, потому-то и хочется отыскать женщину, если не совершенную, то по крайней мере не вовсе дурную, которая не требовала бы постоянного внимания и не имела бы неискоренимых пороков. Но, увы, даже это нелегко.

Бывает, что мужчина, полагая для себя невозможным порвать однажды завязанные узы, оказывается соединенным с женщиной, которая ему вовсе не по душе. Имя его овеяно славой честного мужа, а в женщине, с ним связанной, предполагают особые душевные качества. И все же... Поверьте, сколько любовных союзов ни видел я на своем веку, ни один не показался мне безупречным. Я уж не говорю о вас — выше вас нет, какая женщина окажется вас достойной? Но ведь даже в нашей среде, хоть и не скажешь, что выбор невелик...

Женщины молодые, миловидные о том лишь заботятся, как бы какая пыlinkа к ним не пристала. Получишь от такой письмо — слова самые утонченные, строки бегут тончайшей паутинкой, словно кисть едва касалась бумаги, и взволнуешься, конечно. Начнешь мечтать: «Как бы рассмотреть ее получше?», но всевозможными уловками тебя заставляют ждать. Когда же удастся приблизиться к ней настолько, чтобы голос ее услышать, она, ловко

скрывая свои недостатки, старается говорить как можно меньше, да к тому же так тихо, словно не слова, а вздохи срываются с ее губ. Покоренный ее кроткой женственностью, сблизившись с ней, окружишь заботами, а она окажется ветреницей. Ветреность же должно считать наипервейшим для женщины пороком.

Поскольку важнейшей обязанностью женщины является забота о муже, можно подумать, что ей ни к чему изысканные манеры, умение проникать в душу вещей и по любому поводу высказывать свою чувствительность. Однако же разве лучше, когда женщина, словно простая служанка, постоянно хлопочет по дому с озабоченным выражением лица и волосами, заложенными за уши, совершенно не заботясь о впечатлении, которое производит? Станешь ли ты рассказывать постороннему человеку о том, что произошло на службе, какие новости при дворе и в том или ином семействе, что случилось хорошего, что дурного — словом, обо всем, что поразило зрение, взволновало слух? Разумеется, каждому захочется поделиться с человеком близким, способным выслушать тебя и понять. А что остается мужу такой особы? Он то смеется сам с собой, то плачет. Вот что-то рассердит его, возмущение просится наружу, но — «что толку ей о том рассказывать?» — подумает и, отвернувшись, улыбается потихоньку своим мыслям или вздыхает тайком, а жена лишь растерянно глядит на него снизу вверх: «Да что это с ним?» Ну разве не досадно?

Казалось бы, можно взять жену по-детски простодушную, кроткую и самому заняться ее воспитанием. Как ни много с ней забот, приятно чувствовать, что старания твои не напрасны... И в самом деле, видя такую женщину рядом с собой, многое ей прощаешь — уж очень мила. Но что делать, ежели придется оставить ее на время одну? Наставляешь ее как полагается, однако даже с самыми простыми повседневными обязанностями не умеет она справиться самостоятельно, ни на что недостает ей разума, будь то важное дело или какой-нибудь пустяк. Обидно до крайности, да и как положиться на нее? Так вот и мучишься. Напротив, женщина обычно суровая, неласковая может вдруг проявить себя с лучшей стороны.

Ума-но ками говорил так, словно не было для него тайн в мире, но, увы, и он не смог прийти к какому-то определенному заключению и только вздохнул:

— Оставим же в стороне вопрос о происхождении и не будем говорить о наружности. Если женщина не проявляет удручающе дурных наклонностей, если она благоразумна и не строптивая, этого вполне достаточно, чтобы мужчина решился остановить на ней свой выбор. Благодарю судьбу, если обнаружишь в супруге редкие дарования и душевную чуткость, и не старайся придирчиво выискивать недостатки. В женщине важен кроткий, миролюбивый нрав, а дополнить эти качества внешней утонченностью не так уж и мудрено.

Бывают женщины нежные и робкие, которые в любых обстоятельствах стараются подавлять жалобы и притворяться спокойными и беззаботными. Такая не упрекнет мужа даже тогда, когда он этого заслуживает. Все обиды копит она в сердце, когда же чаша терпения переполнится, изольет душу в невыразимо горьких словах или в трогательной песне и, оставив мужу дар, на который глядя должен он, о ней вспоминая, мучиться угрызениями

совести, скрывается в горной глуши или на диком морском побережье и живет там, отрекшись от всякого сообщения с миром. Когда я был ребенком и дамы читали при мне повести подобного содержания, я неизменно чувствовал себя растроганным: «Что за печальная, прекрасная судьба! Как это возвышенно!» — и даже ронял слезы. Теперь же поведение таких женщин представляется мне вызывающе легкомысленным и нарочитым. Право же, нелепо оставлять любящего тебя мужа потому лишь, что он показался тебе недостаточно внимательным, убежать и прятаться, делая вид, что тебе неведомы его истинные чувства, повергать сердце мужа в тревогу, осуждать и себя, и его на долгие годы страданий только ради того, чтобы испытать, постоянен ли он в своих привязанностях. А ведь, воодушевленная похвалами окружающих («Ах, как глубоко умеет она чувствовать!»), такая женщина может даже постричься в монахини. Решаясь на столь опрометчивый шаг, она искренне верит, что сердце ее совершенно очистилось и ничто больше не привязывает ее к бренному миру. Но вот кто-то из давних знакомых заходит ее проведать: «Печально сознавать... Как вы могли...» Весть о перемене в ее судьбе доходит и до мужа, который так и не сумел ее забыть, и он льет горькие слезы, о чем ей незамедлительно сообщает кто-нибудь из служанок или престарелых кормилиц: «Господин был так трогателен в своей привязанности к вам, а вы... Ах, какое горе!» И вот уже она сама с ужасом ощупывает волосы у лба, бессильное отчаяние овладевает ею, и лицо искажается от сдерживаемых рыданий. Как ни крепится она, слезы текут по щекам, и с каждой каплей все более нестерпимым представляется ей ее нынешнее положение и все сильнее мучит раскаяние. Пожалуй, и Будда подумает, на нее глядя: «Да ведь ее душа не только не очистилась, а, напротив...» В самом деле, человек, отказавшийся от мира, но не освободившийся от суетных помышлений, наверняка попадет на одну из дурных дорог гораздо быстрее, чем тот, кто живет, погрязнув в мирской суете. Если супругов связывают достаточно крепкие узы, которым начало положено было еще в прошлом рождении, то мужу иногда удастся разыскать и вернуть жену прежде, чем она примет постриг, но и тогда разве не будут воспоминания о ее поступке причиной постоянного взаимного недовольства? Разве не кажется вам более прочным и трогательным такой союз, когда супруги переживают вместе дурное и хорошее, стараясь не замечать слабостей друг друга и прощать невольные обиды? А в сердцах этих двоих навсегда поселится тревога, и вряд ли смогут они доверять друг другу.

Не менее глупо, когда жена позволяет себе открыто выражать свое недовольство и отворачивается от мужа потому лишь, что он вступил в какую-нибудь мимолетную, случайную связь. Пусть даже устремились к другой его думы, лучше, не обращая на то внимания, покориться судьбе, вспоминать с нежностью, как сильны были его чувства в дни первых встреч, и не забывать, что вспышки ревности неизбежно ведут к разрыву.

При любых обстоятельствах женщине следует сохранять спокойствие. Когда есть повод для ревности, лучше ограничиться ненавязчивым намеком, обиды же следует высказывать как бы между прочим, без излишней суровости, тогда и привязанность мужа только усилится. Ведь в большинстве случаев сердечные движения мужчины целиком зависят от живой рядом с ним женщины. Впрочем, если жена, предоставив мужу полную сво-

боду, не будет обращать на его поведение вовсе никакого внимания, в его отношении к ней, несмотря на доверие и нежность, начнет проскальзывать пренебрежение. В самом деле, мало кому покажется заманчивой судьба «непривязанного челнока»*. Не так ли? — обращается к собеседникам Ума-но ками, и То-но тюдзё кивает в ответ.

— Пожалуй, неприятнее всего подозревать в неверности человека милого, красивого, успевшего пленить твое сердце. Стараешься, не давая повода для ревности, делать вид, будто не замечаешь ничего в надежде, что таким образом удастся в конце концов исправить положение, но, увы, и это не всегда помогает.

Так или иначе, самым большим достоинством представляется мне умение смиренно принимать все, даже противное твоим собственным желаниям, — говорит То-но тюдзё, думая про себя: «Именно так и поступает моя сестра...» Заметив же, что Гэндзи заснул и отвечать не собирается, он обижено умолкает.

Между тем Ума-но ками, окончательно освоившись с ролью знатока по части женских достоинств и недостатков, продолжает разглагольствовать. «Послушаем, что он еще скажет», — жадно внимает ему То-но тюдзё, поощряя к дальнейшим рассуждениям.

— Посмотрите, как обстоит дело в других областях. Возьмем, к примеру, столярное ремесло. Некоторые мастера охотно делают разные вещицы из дерева, вырезают как им заблагорассудится, но ведь все это не имеет истинной ценности, так, безделушки, возникшие вследствие мгновенной прихоти вне всяких правил и канонов. Глядя даже на самые вычурные из них, подумаешь: «Да, в этом тоже что-то есть...» — и только. Подобные изделия интересны лишь как дань вкусам времени, не более. Бесспорно, некоторые из них по-своему привлекательны. Но попробуйте их сравнить с вещами по-настоящему прекрасными, изготовленными согласно канонам, с полным пониманием их значения, и сразу поймете, чем отличается рука подлинного мастера.

В Дворцовых живописных мастерских немало знатоков своего дела, там собраны лучшие рисовальщики. Рассматривая их работы, сразу и не скажешь, кто одареннее. Находятся живописцы, которые, не жалея красок, изображают удивительные, поистине невероятные вещи: недоступную человеческому взору гору Хорай*, чудовищную рыбу посреди бушующего моря, свирепых зверей Китайской земли, страшных демонов, которых не дано видеть простым смертным. Давая волю собственному воображению, стремятся они поразить людские взоры, и им совершенно неважно, что в жизни не бывает ничего подобного.

Но когда надо изобразить обыкновенные горные склоны с бегущими по ним ручьями, привычные глазу человеческие жилища на фоне простых, но милых сердцу пейзажей, так чтобы невозможно было усомниться в их подлинности, когда надо расположить друг над другом отрешенные от мирской суеты далекие горные вершины, поросшие густым лесом и не пугающие своей крутизной, перенести на бумагу то, что находится за близлежащей оградой, и все это сделать в соответствии с канонами — для посредственного художника многое оказывается недоступным, и руку истинного мастера отличишь сразу.

То же и в искусстве каллиграфии. Возьмется за кисть человек, не особенно глубоко проникший в тайны мастерства, и напишет так, что только диву даешься: здесь, там — вытянутые линии, какие-то странные завитки... Другой же, строго следуя истинным законам искусства, на первый взгляд вроде бы ничего замечательного и не создаст, но сравните с предыдущим образцом и без труда поймете, который вышел из-под кисти настоящего мастера.

Так обстоят дела в столь незначительных областях. Что же говорить о человеческом сердце? Никогда не стоит полагаться на чувства, преувеличенно пылкие, нарочно выставляемые напоказ. Вот послушайте, что произошло когда-то со мной. Боюсь только, что рассказ мой может показаться вам немного фривольным... — говорит Ума-но kami, пододвигаясь ближе к Гэндзи, и тот просыпается.

То-но тюдзё, стараясь не пропустить ни слова, сидит напротив, подперев щеку рукою. Ну не забавно ли? Словно почтенный наставник в Учении держит речь перед учениками, помогая им постичь сокровенный смысл явлений. Впрочем, чаще всего именно в такие минуты и открываются самые душевные тайны.

— Так вот, давным-давно, будучи еще весьма низкого звания, я увлекся одной женщиной. Наружность ее была далека от совершенства, совсем как у тех, о ком я вам только что рассказывал, и я, к беспутству юности склонный, вовсе не собирался останавливать на ней окончательный выбор. Питая к ней неизменную доверенность, я тем не менее не умел ограничиться ею одной и частенько искал развлечения в других местах, заставляя ее терзаться от ревности. Она не упускала случая попенять мне за непостоянство, и это мне не нравилось. «Неужели так трудно владеть собой? — досадовал я. — Будь она снисходительней к моим шалостям...» Так, с одной стороны, меня тяготили ее постоянные, иногда совершенно необоснованные подозрения, с другой — я невольно ей сочувствовал. «Что за незавидная судьба — сосредоточить все помышления свои на столь ничтожном муже?» — думал я и старался вести себя благоразумнее.

Отличалась же эта женщина тем, что ради меня готова была на все. Она старательно скрывала свои недостатки, дабы не огорчать меня, стремилась предупреждать любое мое желание. Я предполагал в ней характер властный, деятельный, но она оказалась на редкость кроткой и ласковой, во всем послушной моей воле. Желая сохранить мою привязанность, она постоянно заботилась о своей наружности, надеясь сделать ее по возможности привлекательной, и никому не показывалась, дабы не навлечь на меня нелестной молвы, — словом, вела себя в высшей степени благоразумно.

Постепенно привыкнув к ней, я перестал находить ее такой уж недостойной, и только ее ревнивый нрав по-прежнему удручал меня. И вот пришла мне как-то в голову такая мысль: «Она, несомненно, привязана ко мне и боится меня потерять. Что, если попробовать напугать ее — для того лишь, чтобы проучить. Может, это заставит ее одуматься, и она перестанет докучать мне своими жалобами. Сделаю-ка я вид, что, устав от ее подозрений, готов разорвать наш союз. Если она действительно привязана ко мне, это будет для нее хорошим уроком». Так решив, я стал притворяться, что совсем охладел к ней, когда же женщина, по обыкновению своему вознегодовав, принялась осыпать меня упреками, сказал ей следующее: «Если жена

обладает вздорным нравом, даже самый прочный союз может распасться, и супруги никогда больше не увидят друг друга. Если вам угодно положить конец нашим встречам, продолжайте преследовать меня неразумными подозрениями. Но ежели вы рассчитываете и далее идти со мной по пути, что лежит перед нами, вам придется примириться с моими слабостями и, как ни тяжело это, сносить их молча, тем более что таков удел женщины в этом мире. Если вам удастся превозмочь себя, моя нежность к вам лишь умножится. А когда я выбьюсь в люди и окончательно стану на ноги, вам нечего будет бояться соперниц».

Я говорил с большим воодушевлением, думая про себя: «Можно ли быть убедительнее?» — но стоило мне замолчать, как она усмехнулась и сердито сказала: «С вашим низким, прямо сказать, ничтожным положением я еще могу примириться и готова спокойно, не выказывая никакого недовольства, ждать дня, когда вы наконец выбьетесь в люди. Но сносить ваше поведение, теща себя несбыточной надеждой, что вы когда-нибудь наконец образумитесь — это выше моих сил, а потому, пожалуй, нам и в самом деле лучше расстаться».

Слова ее привели меня в ярость, много неприятного наговорил я ей, а она, не в силах, видно, совладать с собой, схватила меня за руку и укусила за палец. Притворившись, что мне очень больно, я стал громко кричать: «Ах, вы еще и изувечили меня! Как я покажусь во Дворце? Мое звание и так слишком ничтожно! А теперь со мной и вовсе не станут считаться! Одно остается — удалиться от мира!» Затем грозно воскликнул: «Итак, с этого дня между нами все кончено!» — И бросился вон, но напоследок, потрясая рукой с укушенным пальцем, произнес:

«Считая по пальцам
Все, что вытерпеть здесь пришлось мне,
Могу ли сказать,
Что одним этим пальцем исчерпан
Счет тобой нанесенным обидам?

Теперь вы вряд ли посмеете упрекать меня».

Услышав мои слова, она все-таки заплакала и ответила:

«Тайно в душе
И сама я вела счет обидам.
И все ж не могу
Поверить в то, что навеки
Мы руки должны разнять...»

На самом деле у меня вовсе не было намерения порывать с этой женщиной окончательно, однако долгое время я жил, предаваясь мимолетным утехам, и даже не писал к ней. Но однажды, поздним вечером, когда сеялся унылый не то дождь, не то снег, я, глядя, как придворные, завершив приготовления к Чрезвычайному празднеству Камо*, расходятся по домам, вдруг призадумался и понял, что мне-то, кроме как к ней, идти некуда. «Ночевать одному во Дворце неприятно, если же пойти к кому-нибудь из дам, которые ни на миг не забывают о своей утонченности, придется дрожать всю ночь от холода, любясь снегом», — подумал я, да и любопытно стало: «Как-то

она теперь?» И вот, стяхивая с платья снег, я отправился к ней. Признаюсь, чувствовал я себя весьма неловко, но в конце концов решил: «Будь что будет, может, она смягчится, увидев, что я пришел в такую непогоду». И что же? Смотрю: светильник отодвинут к стене и озаряет комнату слабым светом, теплое домашнее платье греется, разложенное на подставке, все занавеси, какие только можно поднять, подняты, словно надеялась она: «Уж этой-то ночью...» «Впрочем, ничего другого я и не ожидал», — самодовольно подумал я, но, увы, самой женщины дома не оказалось. Меня встретили прислужницы, от которых я узнал, что госпожа еще вечером уехала в родительский дом.

С того дня, как мы расстались, она хранила упорное молчание, я не получал от нее ни любовных стихов, ни писем со значением, у меня даже возникла мысль, что, разочаровавшись во мне, она бранила и попрекала меня нарочно, чтобы ускорить наш разрыв. Правда, никаких доказательств у меня не было, но какая-то смутная тревога постоянно терзала душу, и что же я вижу — совсем как прежде лежит приготовленное для меня платье, сшитое еще искуснее, чем бывало, оттенки, покррой — лучшего и желать нечего, сразу видно, что, даже будучи брошенной, женщина не переставала думать обо мне.

«Похоже, что она все-таки не собирается от меня отказываться», — возрадовался я и попытался возобновить наши прежние отношения. Женщина не избегала меня, не скрывалась: «Пусть, мол, помучается», отвечая, не старалась уязвить, но твердо стояла на своем: «Я не потерплю измен и согласна встречаться с вами, только если вы остепенитесь и распроститесь с прежними привычками». Однако же, полагая, что раньше или позже она все равно уступит, и упорствуя в своем намерении преподать ей урок, я не стал давать никаких обещаний: «Хорошо, дескать, исправлюсь» — и нарочно продолжал вести себя по-прежнему. Женщина тосковала, плакала и в конце концов скончалась. Только тогда я понял, сколь опасны подобные шутки.

Теперь-то я знаю, что именно на такую женщину можно положиться совершенно во всем. Она была мне надежной помощницей и советчицей в любых делах: и в пустяковых, и в самых мудреных. Я уже не говорю о том, какой искусной была она мастерицей — с самой декой Тацута* могла бы соперничать, да и Небесной Ткачихе* вряд ли в чем-нибудь уступила бы.

Вспоминая умершую, Ума-но ками горестно вздыхает, а То-но тюдзё говорит:

— Разумеется, неплохо, когда женщина умеет хорошо шить, но лучше бы вы походили на небесную чету прочностью союза. Наверное, твоя дева Тацута и в самом деле не имела себе равных. Цветы, алые листья кленов исчезнут, не привлекиши ни единого взора, растут мимоцветной росой, коли не лягут на них краски соответствующего времени года... Да, боюсь, что тебе уже не найти столь же совершенной особы.

Он явно подстрекает рассказчика к дальнейшим откровениям.

— Примерно в то же самое время, — продолжает Ума-но ками, — я был связан с еще одной женщиной. Она принадлежала к более знатному роду, чем первая, была прекрасно воспитана и обладала тонкой, чувствительной душой: умело слагала стихи, искусно писала, превосходно играла на кото — словом, наделена была в полной мере всеми достоинствами. В довершение

всего она была хороша собой, и я, имея постоянное пристанище у той, ревнивицы, иногда тайком навещал и эту, с каждым днем привязываясь к ней все больше. Когда же та, первая, скончалась, что, по-вашему, мне оставалось делать? Жаль мне ее было безмерно, но не век же тосковать и печалиться! Я стал чаще бывать у второй, но, узнав ее ближе, открыл в ней немало неприятных черт — и кичлива она была, и ветрена чрезмерно. Рассудив, что полагаться на такую невозможно, я отдалился от нее, и, очевидно, как раз в это время вступила она в тайную связь с другим.

Однажды — дело было на Десятую луну, — выходя прекрасной светлой ночью из Дворца, я встретил знакомого придворного, и поехали мы с ним в одной карете. Я намеревался остановиться на ночлег у Дайнагона, а спутник мой сказал: «Меня ждут сегодня в одном доме, и я очень беспокоюсь...» Дом же этот был как раз по дороге.

Сквозь полуразрушенную стену смутно виднелась поблескивающая гладь пруда, в котором даже «месяц нашел себе приют» (9), так мог ли я пройти мимо? Неожиданно для самого себя я тоже вышел из кареты. Как видно, довольно давно уже заключили они сердечный союз, во всяком случае мой попутчик, весьма взволнованный, устроился на галерее неподалеку от ворот и некоторое время сидел там, любуясь луною. Хризантемы пленительно поблекли, багряные листья кружатся в воздухе, не в силах противостоять внезапным порывам ветра, — право, более чарующей картины и вообразить невозможно. Вынув из-за пазухи флейту, мужчина заиграл, сам себе подпевая: «Тени там так густы...»* Тут и женщина — как видно, ее японское кото* было настроено заранее — начала подыгрывать ему искусно, и мелодия была под стать этой прекрасной лунной ночи. Мелодии в ладу «рити»* всегда кажутся особенно изысканными, если их извлекают из струн нежные женские пальцы и если к тому же они долетают до вас из-за занавесей. Восхищенный мужчина подошел поближе.

«Похоже, что эти алые листья никем еще не примяты (10), — насмешливо заметил он. Затем, сорвав хризантему, произнес:

Пение струн,
Лунный свет — несказанно прекрасны
В доме твоём,
Но разве сумели они удержать
Того, кто к тебе равнодушен?

Надеюсь, вы простите мне мою бесцеремонность... Сыграйте же еще. Можно ли скупиться, имея рядом столь благодарного слушателя?» — попросил он и добавил что-то шутовское, а женщина жеманно ответила:

«С ветром осенним
Голос флейты звучит согласно.
Вот только как
В моем доме его удержать?
Таких слов я, увы, не знаю...»

Так они любезничали, не ведая о том, что рядом находится человек, которого все происходящее крайне раздражает. Женщина, взяв на этот раз кото «со»*, настроила его в тональности «бансики»* и заиграла в изящной,

современной манере. Нельзя было не отдать справедливой дани ее мастерству, но, откровенно говоря, ее игра не доставила мне особого удовольствия. Не спорю, развязность манер, легкость нрава могут быть уместны в женщинах, прислуживающих во Дворце. С ними встречаешься от случая к случаю, обмениваешься речами... Но в женщине, которую ты собираешься сделать своей единственной опорой в жизни... Возмущение мое не имело границ, и под предлогом увиденного в ту ночь я вовсе перестал ее навещать.

Сопоставляя эти два случая, я, как ни молод был, понял, что женщины, привлекающие своей исключительной утонченностью, очень часто не заслуживают доверия и связывать с ними судьбу опасно. Уверен, что будущее лишь укрепит меня в этом мнении. Вот вас сейчас, верно, привлекают женщины пленительно-нежные, хрупкие, во всем покорные вашей воле, они словно капли росы на ветках хаги, «захочешь сорвать — упадут» (11), словно градинки на листьях бамбука, дотронешься — тотчас растают... Но лет через семь вы меня поймете. Я недостойн давать вам советы, и все же: опасайтесь слишком податливых женщин. Они легко впадают в заблуждение, навлекая позор на головы пекущихся о них мужчин, — поучает юношей Умано ками.

То-но тюдзё привычно кивает головой, а Гэндзи улыбается, как видно думая про себя: «Что ж, может быть, и так...»

— Не вижу ничего хорошего ни в том, ни в другом случае, — говорит он. — Обе эти особы кажутся мне в равной степени непривлекательными.

Тут вступает То-но тюдзё:

— А теперь я расскажу вам об одной глупой женщине. Я начал посещать ее тайно, вовсе не предполагая делать ее единственным предметом своих помышлений, но мало-помалу поддался ее очарованию и, как ни редки были наши встречи, не забывал ее. Да и она привыкла во всем полагаться на меня. Порою, несмотря на ветреность, свойственную моему возрасту, я невольно задумывался: «Питая ко мне такое доверие, может ли она равнодушно взирать на мои измены?» Но женщина вела себя так, будто ничего не замечала, никогда я не слышал от нее ни слова упрека и, возвращаясь к ней после долгого отсутствия, находил ее все такой же ласковой и приветливой. Ее поведение казалось мне столь трогательным, что я не упускал случая подать ей надежду на свое постоянное покровительство.

Она не имела родителей и была совершенно беспомощна, я же умилился, видя, что она готова верить мне свою жизнь. Поскольку женщина никогда не выказывала беспокойства, я чувствовал себя свободным и с легким сердцем оставлял ее одну. И вот однажды случилось так, что я не навещал ее довольно долго, а тем временем — я об этом узнал значительно позже — особа, которая находится под моим постоянным покровительством, сумела, воспользовавшись чьим-то посредничеством, оскорбить ее слух жестокими, отвратительными намеками. Не ведая о нанесенной ей обиде, я продолжал пренебрегать несчастной и даже писем к ней не писал, хоть и не забывал ее, конечно. Долго не получая от меня никаких вестей, женщина окончательно пала духом, а как еще и дитя малое на руках имела, то однажды, не в силах превозмочь тревоги, сорвала цветок гвоздики и отправила мне... — Тут То-но тюдзё заливается слезами.

— Но что же она написала? — спрашивает Гэндзи.

— Что написала? Да, кажется, ничего особенного... — отвечает То-но тюдзё, — что-то вроде:

Пусть обветшал
Плетень у хижины горной,
Хотя б иногда
Являй свою милость, роса,
Цветочку нежной гвоздики... (82)

Разумеется, я поспешил ее навестить. Как и прежде, сердце ее было полностью мне открыто, но, когда взирала она на блистающий росой сад, где, как и в доме, было пусто, уныло и дико, лицо ее выражало глубокую печаль, а порой из груди вырывались рыдания, соединявшиеся с тоскливым хором звенящих в труве насекомых. Совсем как в старинной повести...

В пышном цветенье
Смешались цветы, не знаю,
Какой предпочесть?
И все же других затмевает
Нежной прелестью «вечное лето»*.

Так, отодвигая на второе место славный цветочек гвоздики, я хотел показать, как велика моя любовь к ней самой. Говорят же: «Ни единой пылинке...» (12)

«Промок от росы
Рукав, коснувшийся ложа...
О, “вечное лето”!
Вместе с холодным ветром
Осень в наш сад пришла...» —

произнесла она как бы между прочим, и виду не подавая, что сердце ее глубоко уязвлено. Струящиеся по щекам слезы приводили ее в смущение, и она робко пыталась их скрыть, больше всего на свете не желая огорчить меня. Уверившись, что ничего дурного произойти не может, я снова перестал ее навещать, и тут она куда-то исчезла, скрылась бесследно. Не знаю, жива ли она еще, а если жива, то наверняка терпит нужду, влекомая изменчивым течением жизни. Увы, если б эта женщина в те дни, когда волновала мое сердце, не была так робка в проявлениях своей привязанности, ей не пришлось бы теперь бедствовать. Я бы не оставлял ее надолго одну и сумел бы создать ей приличное положение, позволяющее мне поддерживать ее своими заботами. А маленькая гвоздичка? Ведь и она мила мне чрезвычайно... Я долго искал их, но, увы, тщетно. Видимо, эту особу тоже можно отнести к «ненадежным», о которых мы сегодня говорили. Обманутый ее безмятежностью, я и мысли не допускал, что она таила в душе обиду, и, хотя никогда не переставал любить ее, что толку? Ведь она так и не сумела понять... Постепенно ее образ изглаживается из памяти, но иногда вдруг придет в голову: «А что, если она и теперь не может забыть и вечерами томится от тоски, понимая, что ей некого винить, кроме себя самой?..» Да, такие не созданы для длительного союза, и полагаться на них невозможно. Вот и выходит — о твоей ревнивице забыть трудно, но жить с ней рядом тяжкое испытание, ведь в конце концов ничего, кроме ненависти, не останется в

сердце. Та, вторая, как ни много у нее достоинств, как ни искусна она в игре на кото, слишком уж легкомысленна. Особа же, судьба которой по-прежнему мне безразлична, своей чрезмерной скрытностью невольно навлекает на себя подозрения. Да, начав выбирать, вряд ли сможешь на ком-то остановиться. Таков наш мир. Впрочем, женщин трудно сравнивать — у каждой свое. Где вы найдете женщину, соединившую в себе все достоинства тех трех особ и лишенную их недостатков? Представьте, к примеру, что ваши помыслы устремились к богине Китидзэ*, так и здесь вас скорее всего ждет разочарование: ничего человеческого, пропахла насквозь сутрами, ну как к такой подступиться?

Юноши смеются, а То-но тюдзэ, повернувшись к То-сикибу-но дзо, говорит:

— Уверен, что у Сикибу есть, чем нас позабавить. Давай же, рассказывай!

— Разве может найтись что-нибудь достойное вашего внимания у меня, низшего из низших? — отнекивается То-сикибу-но дзо, но То-но тюдзэ не отстает, торопит, и тот задумывается: «О чем же рассказать?» — и вот начинает:

— Когда я был всего лишь несмышленным школяром, мне встретилась одна женщина — истинно кладезь премудрости. С ней, как и с той, о которой рассказывал Ума-но kami, можно было советоваться в любых случаях, даже если речь шла о службе. Она превосходно справлялась с самыми сложными житейскими делами, знаниями же своими посрамила бы и новоявленных ученых мужей, я и слова вымолвить не смел в ее присутствии. Встретился я с ней в те дни, когда посещал одного ученого, наставлявшего меня в науках. Узнав, что в его доме много дочерей, я, не помню уж, при каких обстоятельствах, заговорил с одной из них, отец же, о том проведая, не замедлил вынести задравную чашу и, обратившись ко мне, торжественно произнес: «Послушайте песню мою о двух путях»*. Нельзя сказать, чтобы я питал к этой девице особенно глубокие чувства, однако, уважая волю учителя, все-таки стал время от времени ее навещать. Она же, привязавшись ко мне, окружила меня трогательной заботой.

По утрам, не успев подняться с ложа, обучала меня всяким премудростям, давала разнообразные наставления, которым следуя, я обеспечил бы себе успешное продвижение по службе. Письма ее были безукоризненны, как будто принадлежали настоящему ученому: она не употребляла азбуки «кана» и писала одними «истинными знаками»*. Естественно, я не мог расстаться с нею и учился у нее всему, как у учителя, даже сочинять китайские стихи, правда, весьма неуклюжие, научила меня она, за что я ей по сей день благодарен. Тем не менее окончательно связывать с ней свою жизнь я не собирался хотя бы потому, что слишком часто пришлось бы мне, неучу, представлять перед ней в невыгодном свете. А уж вам-то, благородным юношам, и вовсе не годится прибегать к услугам столь деятельных, подавляющих своей ученостью женщин. Словом, хотя и понимал я — ненадежная, жалкая особа, — сердце помимо воли влеклось к ней — видно, таково было предопределение судьбы. Мужчины бывают весьма непоследовательны, когда дело касается женщин.

Тут То-сикибу-но дзо умолкает, но остальные, желая узнать, чем кончилась эта история, принимают его подбадривать, восклицая: «Право, что

за удивительная особа!», и тот, понимая, что над ним подшучивают, все-таки, гордый вниманием, продолжает:

— Так вот, однажды я долго не навещал ее, а когда наконец зашел, не помню уж, по какому случаю, она приняла меня не в обычных наших покоех, где ничто не стесняло моей свободы, а в другом месте, да еще, к величайшей моей досаде, и занавесом отгородилась: «Уж не хочет ли она упрекнуть меня в неверности?» — подумал я. Нелепо, конечно, но чем не предлог?

Однако ж эта ученая дама была достаточно разумна, чтобы не ревновать попусту. Она давно уже постигла все тонкости любовных отношений и никогда не докучала мне упреками. И вот слышу из-за занавеса ее голос, отчетливо произносящий слова: «Я всегда была подвержена простудным заболеваниям и как раз сейчас, ощутив новый приступ этого недуга, приняла горячий отвар из целебных трав. Посему от меня исходит зловоние*, и я не имею возможности принять вас как полагается. Но если имеете ко мне неотложное дело, я готова обсудить его с вами через разделяющую нас преграду».

Все это было сказано с трогательной заботливостью, хотя и весьма чопорно, и что я мог ответить? «Ах, вот, значит, как, понимаю...» — только и сумел произнести и хотел было удалиться, но женщине, видно, уже наскучило одиночество, и она громко закричала: «Заходите же непременно, когда запах исчезнет...» Пропустить эти слова мимо ушей значило обидеть ее, но оставаться дольше я тоже не мог, все вокруг и в самом деле было пропитано отвратительным, резким запахом, а потому, уловив подходящий для бегства миг, я произнес:

«Вот и вечер настал,
О котором тебя, несомненно,
Паук известил* (13),
Так зачем говорить: “Пережди,
Слишком удушливый день...”

Как это понимать?» — Не договорив, я выскочил вон, однако ж ответ ее успел настичь меня:

«Когда крепок союз,
Когда ночи единой без встречи
Невозможно прожить,
Никакой удушливый день
Не помеха супругам...»

— Да, нельзя не отдать ей должного, ответила она быстро, — неторопливо рассказывает То-сикибу-но дзо, а юноши, дивясь: «Ну и история!», смеются:

— Ты все это просто выдумал...

— Где такую найдешь?

— Приятнее иметь дело со злым демоном. Вот ужас! — недовольно морщатся они, рассердившись. — Нашел о чем рассказывать!

— Может, вспомнишь что-нибудь более достойное нашего слуха? — пристают юноши к То-сикибу-но дзо.

— А по-моему, ничего более необычного вам не услышать, — обиженно отвечает тот и умолкает.

— Дурно воспитанные люди, и мужчины и женщины, как правило, тщатся выставить напоказ все свои знания, даже самые поверхностные, — говорит Ума-но ками. — Право, ничто не может быть неприятнее. Женщина, постигшая все тонкости Трех историй и Пяти книг*, в моих глазах скорее проигрывает в привлекательности. Правда, не могу сказать, что предпочел бы иметь дело с особой, ничего не смыслящей ни в придворной службе, ни в частной жизни. Женщин не принято обучать наукам, но, обладая даже самой малой долей сообразительности, они могут познать многое. Достаточно лишь видеть и слышать. Находятся и такие, которые в конце концов начинают ловко писать «истинными знаками» и, потеряв всякое чувство меры, перегружают ими свои письма, причем нередко обращенные к женщине же, что вовсе недопустимо. На такое послание глядя, невольно содрogaешься от отвращения: «Право, не мешало бы ей изъясняться изящнее...» Сама-то она, возможно, и не замечает, какое нелепое впечатление производит ею написанное, но стоит прочесть вслух!.. И ведь зачастую так пишут дамы самого высокого ранга.

А некоторые мнят себя поэтессами, просто шагу не могут ступить без стихов, то и дело, причем, как правило, некстати, шлют тебе свои произведения, где в первой же строке непременно содержится намек на какое-либо выдающееся событие древности, и ты оказываешься в весьма затруднительном положении. Не ответишь вовсе — прослывешь бесчувственным мужем, не ответишь достойно — позор на твою голову! Бывает, спешешь утром во Дворец либо на праздник Пятой луны*, либо по случаю иного какого торжества, до аира ли тут? А тебе приносят письмо с многозначительными намеками на какие-то корни... Или на Девятый день* — обдумываешь тему для сложнейших китайских стихов, ни минуты свободной, а тут — новое послание и какие-то намеки на росу, лепестки хризантем... Приходится выдумывать что-то, хотя мысли заняты совершенно другим. Получи ты это письмо в другое время, оно наверняка показалось бы тебе занятым, даже, может быть, трогательным, но, придя слишком уж некстати, оно так и останется не оцененным по достоинству. Причиной же тому — невнимательность к чувствам и обстоятельствам других людей, качество, свидетельствующее скорее о недостатке истинной душевной тонкости.

Так же и в остальном. Когда человек не обладает внутренним чувством, помогающим ему понять, что уместнее в тот или иной миг, при тех или иных обстоятельствах, он будет производить куда более приятное впечатление, ежели постарается держаться поскромнее и не станет при каждом удобном случае требовать от окружающих признания своей утонченности. Более того, даже когда тебе что-то доподлинно известно, лучше делать вид, будто ничего не знаешь, а уж если очень захочется о чем-то рассказать, то по крайней мере не выкладывай всего сразу, а постарайся о некоторых обстоятельствах умолчать...

Так поучает юношей Ума-но ками, а Гэндзи снова и снова уносится думами к той, единственной: «В ней одной сосредоточены все возможные совершенства, недостатков же у нее нет никаких. Увы, второй такой не найти». И сердце его сжимается от тоски.

Так юноши и не решили, какие женщины лучше, все более и более неправдоподобные истории извлекались из памяти, а ночь тем временем подошла к концу.

Похоже, что погода наконец исправилась, во всяком случае, день обещал быть ясным. Хорошо представляя себе, как раздосадованы его долгим отсутствием в доме Левого министра, Гэндзи прежде всего отправился туда.

Дом министра поражал величественной роскошью убранства. Ничто не нарушало царившего в покоях безукоризненного порядка. Все предметы, окружавшие госпожу, носили на себе отпечаток тонкого вкуса и сообщали облику ее еще большую утонченность. «Пожалуй, именно о таких женщинах и говорили вчера как о наиболее достойных, — подумал Гэндзи. — Они-то якобы и бывают самыми надежными женами». К сожалению, холодное великолепие дочери Левого министра не располагало к доверительной близости. Она была так надменна и так сурова, что в ее присутствии Гэндзи невольно терялся. Вот и теперь, стараясь преодолеть смущение, принялся шутить с Тюнагон, Накацукаса и прочими достойными молодыми дамами, которые восхищенно взирали на него. Истомленный жарой, с распущенными шнурками носи, юноша и в самом деле был удивительно хорош собой.

Зашел сюда и сам министр, но, увидев, что Гэндзи прилег отдохнуть, остался за занавесом и оттуда завел с ним разговор.

— В такую жару... — недовольно поморщился Гэндзи, и дамы засмеялись. — Тише! — остановил он их и принялся полулежа беседовать с министром.

Да, сразу было видно, что в этом доме он чувствует себя совершенно свободно! Скоро стемнело, и вот кто-то из дам говорит:

— Этой ночью наш дом находится в неблагоприятном направлении от Дворца, следует остерегаться встречи со Срединным богом*.

— А ведь верно, — спохватывается Гэндзи, обычно он старается не появляться здесь в такие дни. — Но и дом на Второй линии расположен в том же направлении. Где же мне искать убежища? Я и так утомлен крайне. — И Гэндзи направляется в опочивальню.

— Нет-нет, вам ни в коем случае нельзя оставаться здесь! — Взволнованные дамы начинают оживленно шептаться, обсуждая разнообразные возможности. — Господин может провести ночь у правителя Кии*, с которым изволит быть близко знакомым, — предлагают они наконец. — Правитель Кии имеет дом в окрестностях Срединной реки, Накагава. Он недавно запрудил реку и отвел воду к себе в сад, теперь там прохладно.

Гэндзи сразу же соглашается:

— Ничего не может быть лучше! Только я очень устал и хотел бы иметь возможность подъехать к самому дому.

Разумеется, Гэндзи мог переждать неблагоприятное время в любом другом месте — в столице было немало домов, тайно им посещаемых, но, видно, не хотелось ему огорчать министра, который непременно подумал бы: «После столь долгого отсутствия приехать, как нарочно, в самый неблагоприятный день! Не для того ли, чтобы немедленно отправиться к другой?»

Тут же снеслись с правителем Кии, и тот поспешил изъявить согласие, не преминув при этом тихонько поделиться своими опасениями с окружающими:

— Надо же такому случиться! Как раз сейчас в доме правителя Иё* дни Удаления от скверны, и дамы на это время перебрались ко мне. Из-за них в доме тесно, боюсь, что господин будет недоволен...



Узнав об этом, Гэндзи сказал:

— Напротив, я буду рад оказаться в подобном соседстве. Меня всегда пугали ночи, проведенные вдали от женщин, одинокое ложе странника не по мне. И если найдется для меня местечко где-нибудь за занавесями...

«Похоже, что лучше этого дома нам и в самом деле не найти», — так решив, приближенные Гэндзи тотчас выслали гонца.

Полагая, что обстоятельства не требуют особенной торжественности, Гэндзи выехал сразу же вслед за ним, взяв с собой лишь нескольких, самых преданных телохранителей и никому, в том числе и министру, не сказав ни слова. Скоро они прибыли на место.

— Ах, простите, не успели подготовиться... — сетовал правитель Кию, но никто его и не слушал.

Гэндзи разместился в поспешно приведенных в порядок восточных покоях главного дома.

Журчащие по камням ручьи были и в самом деле прекрасны. Тщательно ухоженный сад окружала сплетенная на деревенский манер тростниковая изгородь. Что могло быть пленительнее этого вечернего часа? Легкий ветерок навевал прохладу, где-то в траве звенели невидимые взору насекомые, в воздухе мерцали бесчисленные светлячки. Любуясь чистыми струями, вытекавшими из-под галереи, спутники Гэндзи угощались вином. Хозяин суетился вокруг, словно на берегу Коюруги угощение искал*, и Гэндзи, на-

блюдая за ним, вспомнил вчерашний разговор: «А ведь он-то как раз и принадлежит к среднему состоянию».

Мысль о том, что где-то в доме скрывается женщина, о которой в свое время столь одобрительно отзывались при дворе, возбуждала в нем желание увидеть ее. Он напряг слух — и вот почудилось ему, что в западных покоях кто-то есть: оттуда доносились молодые, нежные голоса, шелест платьев... Долетел до его слуха и чей-то приглушенный смех. Видимо, служанки подняли решетки*, но хозяин стал браниться: «Как неосторожно!» Поэтому их поспешно опустили и зажгли огонь в светильниках — с северной стороны сквозь перегородку просачивался тусклый свет. Гэндзи тихонько приблизился к перегородке в надежде хоть что-нибудь увидеть, но ни одной щели обнаружить ему не удалось. Некоторое время он стоял, прислушиваясь. Судя по всему, женщины находятся по соседству, в главных покоях. Слышно, как они переговариваются шепотом, разговор идет о нем.

— Он кажется гораздо старше своих лет. Его слишком рано соединили узами брака с одной высокороденной особой, но, говорят, она ему не по душе. Впрочем, он и теперь даром времени не теряет, многие удостаиваются его тайных посещений.

Тут сердце Гэндзи, которого помыслами безраздельно владела та, единственная, сжимается от томительного предчувствия: «А что, если когда-нибудь я услышу, как судачат и о ней?»

Ничего особенно занятого в разговоре дам не было, и он перестал прислушиваться, успев лишь уловить, как кто-то из них произнес в несколько искаженном виде стихотворение, посланное им вместе с цветком «утренний лик»* дочери принца Сикибукё.

«Дамы у нее весьма бойкие, — подумал Гэндзи, — и к стихам имеют страсти. Боюсь, что меня ждет разочарование». Тут вошел хозяин, повесил новые фонари и, поправив фитили светильников, чтобы горели ярче, поднес гостю угощение.

— А как же «занавеси и шторы»?* Достоин ли похвалы хозяин, об этом не позаботившийся? — пеняет ему Гэндзи.

— Да ведь «чем угостить?» — и того не могу придумать, — смущается правитель Кии.

Гэндзи устраивается поближе к галерее — так, подремать немного, — а скоро и спутники его затихают. Тут же неподалеку располагаются на ночь сыновья хозяина, один милее другого. Лица некоторых кажутся Гэндзи знакомыми, он не раз видел их во Дворце. Вместе с ними и сыновья Иё-но сукэ. Среди всех этих мальчиков выделяется благородством черт один — лет двенадцати-тринадцати.

— Где чьи дети? — любопытствует Гэндзи, и правитель Кии принимается объяснять:

— Вот тот — младший сын Эмон-но ками. Отец, весьма баловавший его, скончался, когда мальчик был совсем еще мал, и вместе со старшей сестрой своей он оказался у нас. Способностей он изрядных, да и нрава недурного, помышляю я отдать его во Дворец, только вряд ли легко будет это осуществить.

— Какая жалость! Выходит, его сестра вам теперь вместо матушки?

— Да, вы совершенно правы.

— Слишком уж неподходящая для вас мать. Я слышал о ней от Государя, кажется, покойный Эмон-но kami прочил ее на придворную службу. Так, помнится, совсем недавно Государь изволил интересоваться, что с нею стало. Воистину, как все превратно в мире! — говорит Гэндзи, словно человек, в полной мере жизненным опытом умудренный.

— О да, ее брак с моим отцом был для всех большой неожиданностью. Впрочем, как вы изволили заметить, мир полон превратностей, особенно когда дело касается супружества. Уж здесь-то никогда не приходилось и не приходится рассчитывать на постоянство. А судьба женщины особенно зыбка, как это ни печально... — отвечает правитель Кии.

— Наверное, ваш отец дорожит своей новой супругой и находится целиком под ее властью?

— А как же иначе? Он готов полностью ей подчиниться, чего все мы, в том числе и ваш покорный слуга, не одобряем, полагая, что не годится так терять голову из-за женщины.

— Так или иначе, вам, молодым повесам, он ее вряд ли уступит. Господин Иё-но сукэ и сам имеет немало достоинств, к тому же, судя по всему, знает себе цену.

Так беседовали они о том о сем, и вот, улучив миг, Гэндзи спрашивает:

— Но где же она теперь?

— Женщины должны были удалиться в людскую. Но кажется, кое-кто остался здесь, — отвечает хозяин.

Наконец захмелевшие гости заснули, расположившись на галерее, и в доме стало тихо. Только Гэндзи не мог уснуть и лежал, сокрушаясь о том, что и эту ночь ему предстоит провести «в одиночестве праздном» (14). Но вот слух его уловил неясный шорох за северной перегородкой: «Верно, там она и скрывается». Подстрекаемый любопытством, Гэндзи поднялся и, затаив дыхание, приблизился к перегородке. Он услышал голос того самого отрока, о котором они говорили с правителем Кии, ломающийся и вместе с тем довольно приятный.

— Где же вы? — зовет мальчик.

— Я здесь. Гостя уже устроили почивать? Я боялась, что он окажется слишком близко, но, по-видимому, мои опасения были напрасны, — отвечает женщина. Ее глуховатый сонный голос очень похож на голос мальчика и, догадавшись: «Это сестра его», Гэндзи напрягает слух.

— Гостя поместили в передних покоях. Наконец-то я увидел его своими глазами. Молва не обманывает, он и в самом деле прекрасен, — шепчет мальчик.

— Будь сейчас день, я бы тоже постаралась разглядеть его потихоньку, — сонно бормочет женщина. Голос ее звучит приглушенно — очевидно, она прикрыла лицо рукавом.

«Какая досада! — сетует Гэндзи. — Могла бы по крайней мере еще что-нибудь спросить».

— Я лягу здесь. О, как темно! — говорит мальчик, по всей видимостиправляя фитиль. Ложе женщины скорее всего расположено в самом дальнем углу за перегородкой.

— А где же госпожа Тюдзё? — спрашивает женщина. — В доме словно ни души, страшно одной.

Слышно, как откликается одна из устроившихся у порога прислужниц:

— Пошла в людскую умыться. Сказала, что тотчас вернется.

Но вот, кажется, все и уснули. Отодвинув засов, Гэндзи обнаруживает, что с той стороны перегородки не заперта. У входа стоит переносной занавес, тусклый огонь светильника освещает какие-то сундуки, повсюду разбросаны вещи. Переступая через них, Гэндзи проходит внутрь и, заметив, что у противоположной стены кто-то лежит, сразу же направляется туда. Женщина недовольна, что ее потревожили, но, до тех пор пока Гэндзи не откидывает прикрывающее ее верхнее платье, продолжает пребывать в полной уверенности, что вошла та самая дама, которую она звала.

— Вы ведь, кажется, звали Тюдзэ?* Неужели услышаны наконец мои тайные молитвы? Или мне только почудилось? — говорит Гэндзи, но женщина по-прежнему ничего не понимает. Испугавшись, что в дом пробрался кто-то чужой, она пытается закричать, но тщетно — платье, брошенное на голову, заглушает голос.

— Не удивлюсь, если вы подумаете, что меня привела сюда случайная прихоть, и не поверите в мою искренность, — нежно шепчет Гэндзи, — но знали б вы, как давно стремится к вам мое сердце, как долго ждал я возможности открыть вам свою душу, и вот наконец... Ужели столь долгое ожидание не убедит вас в глубине моих чувств?

Право, злобный демон и тот бы не прогневался, что же говорить о слабой женщине? Растерявшись, она не находит в себе сил крикнуть: «Помогите, здесь чужой!»

«Я не должна, это невозможно», — в отчаянии думает она и лепечет испуганно:

— Боюсь, что вы принимаете меня за другую...

Голос ее тише вздоха. Несчастная вот-вот лишится чувств, и вид ее внушает невольную жалость. Вместе с тем она так трогательно-прелестна в своем замешательстве, что Гэндзи чувствует себя окончательно плененным:

— О нет, безошибочный голос сердца привел меня сюда, и не стоит притворяться, будто вы ничего не понимаете. Я ни в коем случае не хотел бы показаться вам сумасбродным повесой. Просто почитаю долгом своим хоть отчасти высказать чувства, которые до сих пор таил в глубине души, — говорит Гэндзи.

Женщина столь мала и хрупка, что он легко поднимает ее и, нежно прижимая к груди, направляется к перегородке, но тут появляется та самая Тюдзэ, которую ранее призывала к себе госпожа.

— Ах! — восклицает Гэндзи, и дама принимается испуганно шарить по сторонам, но, ощутив, что воздух вокруг напоен необычайным благоуханием, тут же обо всем догадывается и, ошеломленная своим открытием, замирает в растерянности, не в силах вымолвить ни слова. Будь перед ней простой человек, она немедленно вытолкала бы его без всяких церемоний. Впрочем, и тогда не удалось бы избежать пересудов, и что стало бы с госпожой? Вне себя от волнения, она следует за Гэндзи, а он, не обращая на нее ровно никакого внимания, проходит за полог в глубине покоев и, задвигая за собой перегородку, молвит: — Приходите за госпожой на рассвете.

Сама же госпожа готова расстаться с жизнью от одной лишь мысли: «Что могла подумать Тюдзэ?» Холодный пот струится по ее лицу, тяжкие вздохи

теснят грудь. Подавив жалость, шевельнувшуюся было в его сердце, Гэндзи по обыкновению своему старается тронуть ее нежными, чувствительными речами — и где только берет он слова такие? — но женщина слишком напугана.

— О нет, это не может быть явью, — говорит она. — Да и смею ли я поверить, что внушила вам глубокое чувство? Ведь я столь ничтожна... Увы, каждому свое...

Непритворная досада звучит в ее голосе, и Гэндзи становится стыдно. Растроганный, он принимается утешать ее рассудительно и многословно:

— Да, я слышал, что люди принадлежат к тому или иному сословию, но, признаться, я настолько еще неискушен, что не очень хорошо понимаю, какая меж ними разница. Досадно, что вы сочли меня обычным повесой. Вы не могли не слышать обо мне и должны знать, что не имею я склонности к безрассудствам, обыкновенно юности свойственным. Сюда же привела меня сама судьба. О, вы вправе презирать меня... Мне и самому странно...

Но женщина упорно молчит. Да и может ли она справиться со смущением, видя рядом с собой прекраснейшего из мужей? «Пусть я покажусь ему черствой, нечуткой, по крайней мере он сочтет меня недостойной своих притязаний и оставит в покое», — думает она, и напрасно старается Гэндзи смягчить ее сердце. Обычно кроткая и уступчивая, женщина принуждает себя проявить несвойственную ей твердость — она подобна бамбуку, который покорно гнется, но не ломается. В конце концов, недовольная собой, удрученная упорством Гэндзи, женщина дает волю слезам. Печаль ее столь трогательна, что нельзя не принять в ней участия, но «разве лучше было бы вовсе не видеть ее?» — думает Гэндзи.

— Для чего отвращаете вы от меня свой взор? — пеняет он ей, потеряв надежду ее утешить. — Постарайтесь привыкнуть к мысли, что наша случайная встреча предопределена судьбой. Вы не можете быть вовсе не сведущи в делах мирских. Не пытайтесь уверить меня в противном.

— О, когда б ваше сердце открылось мне раньше, чем определилась моя злосчастная судьба! — отвечает женщина. — Тогда, быть может, я и стала бы тешить себя пустыми надеждами — мол, «увидимся после...» (15). Но теперь... Поверьте, одна лишь мысль об этой мимолетной, случайной встрече повергает меня в безысходное отчаяние. Постарайтесь же не обмолвиться никому, что «в доме бывали моем...» (16).

Грустно глядит она, но может ли быть иначе?

Нетрудно представить себе, сколько ласковых слов нашел Гэндзи, дабы утешить ее, сколько пылких клятв произнесли его уста...

Но вот прокричал петух, и в доме начали просыпаться. Слышно, как переговариваются спутники Гэндзи:

— Да, заспались мы сегодня. Пора подавать карету господину.

Выходит и правитель Ки:

— Вы так спешите, будто у вашего господина любовное свидание... Взгляните, ведь совсем еще темно.

«Увы, такого случая в другой раз не дождешься, — вздыхает Гэндзи. — Разве смогу я приехать к ней без всякого повода? Даже писать и то бессмысленно...» — И сердце его больно сжимается.

Тут из внутренних покоев появляется госпожа Тюдзё, вид у нее крайней растерянный. Отпустив было женщину, Гэндзи снова удерживает ее.

— Как же мне писать к вам? Ваша невиданная холодность и моя пылкость в равной степени достойны того, чтобы память об этой ночи навсегда осталась в сердцах, — говорит он, и как же прекрасно его мокрое от слез лицо! Снова и снова кричит петух, и Гэндзи торопливо произносит:

— Еще не успел
Попенять тебе за суровость,
Как забрезжил рассвет,
И крик петуха внезапно
Нас вырывает из сна...

Но женщина все еще робеет, полагая себя недостойной внимания столь знатной особы, и самые пылкие клятвы оставляют ее безучастной. Перед ее глазами неотступно стоит правитель Иё, которого она всегда презирала, считая грубым мужланом, несчастная содрогается от ужаса, представляя себе, что будет, если хотя бы во сне откроется ему ее тайна.

Не успела еще
Я судьбы своей горькой оплакать,
Ночь к концу подошла,
И петух своим криком
Вторит рыданиям моим.

Быстро светало, и Гэндзи проводил женщину до входа в ее покои. В доме и на дворе уже шумели люди, когда, расставшись с ней, он тихонько задвинул дверцу. На сердце у него было неизъяснимо тяжело, словно он и в самом деле увидел «разделившую их заставу» (17).

Облекшись в носи, Гэндзи подошел к южным перилам и некоторое время стоял там, любясь садом. Вот, с западной стороны поспешно приподнимают решетки — наверное, кто-то наблюдает за ним оттуда. Скорее всего это легкомысленные молодые прислужницы, восхищенные красотой его лица, смутно белеющего в утренней мгле над небольшим экраном, установленным посередине галереи.

В начинающем светлеть небе еще виднеется луна, сияние ее поблекло, но очертания вырисовываются вполне отчетливо. Право, как часто на рассвете она бывает прекраснее, чем ночью! В такие мгновения даже бесстрастное небо, отражая настроения и чувства того, кто глядит на него, может казаться одному исполненным очарования, другому — печали...

Покидая дом правителя Кии, Гэндзи то и дело оглядывался. Грудь его сжималась мучительной тоской: увы, даже писать к ней он вряд ли сможет...

Вернувшись в дом Левого министра, Гэндзи сразу же прошел в опочивальню, но сон не шел к нему. Надежды на новую встречу у него не было, и это приводило его в отчаяние. Мысли беспрестанно устремлялись к супруге правителя Иё, и сердце тоскливо сжималось: «Что она чувствует теперь?» Наружность у нее самая обыкновенная, и вместе с тем есть в ней что-то удивительно милое. А ведь, наверное, она-то как раз и принадлежит к среднему состоянию... Да, прав был всеведущий знаток женских сердец.

Теперь большую часть времени Гэндзи проводил в доме Левого министра. С грустью вспоминал он супругу правителя Иё, и с каждым днем все тревожнее становилось у него на душе: «Что может подумать она, не имея

от него вестей?» И наконец, совершенно измученный, Гэндзи послал за правителем Кии.

— Не пришлете ли вы ко мне того мальчика, сына Эмон-но ками? — говорит он. — Он произвел на меня весьма приятное впечатление. Пусть пока прислуживает мне лично, а со временем я сам попробую определить его на придворную службу.

— О, ваше предложение — большая честь для нас, — отвечает правитель Кии. — Я сообщу об этом его сестре...

Сердце Гэндзи радостно забилося, но, как ни в чем не бывало, он продолжает:

— Верно, она — я имею в виду его сестру — уже подарила вам младшего брата?

— Пока нет. Всего два года прошло с тех пор, как стала она супругой Иё-но сукэ, и все кручинится, что нарушила завет родителей. Судя по всему, такая жизнь ей не по душе.

— Ах, бедняжка! А ведь о ней в свое время весьма благосклонно отзывались в свете. Она и в самом деле так хороша? — спрашивает Гэндзи.

— Возможно, и недурна. Отношения у нас не слишком короткие. Вы ведь знаете, люди, связанные подобными узами, чаще всего остаются друг другу чужими.

Прошло еще пять или шесть дней, и правитель Кии привел к Гэндзи мальчика. Сложения тот был весьма хрупкого и более, чем красотой, привлекал нежной приятностью черт и благородством манер. Подозвав мальчика к себе, Гэндзи принялся ласково беседовать с ним.

«Как же он прекрасен! Мог ли я мечтать о таком счастье!» — простодушно радовался мальчик.

Гэндзи с пристрастием расспрашивал его о сестре, но тот отвечал с церемонной краткостью, смущаясь и робея, и выведать у него что-нибудь было весьма трудно. Тем не менее Гэндзи довольно быстро удалось ему объяснить...

«Вот оно что...» — отметил про себя мальчик. Открытие должно было бы поразить его, но, увы, юность беспечна, и, не утруждая себя размышлениями, он отправился к сестре.

Увидев его с письмом, супруга Иё-но сукэ затрепетала, и глаза ее наполнились слезами. С трудом скрывая смущение: «Что может подуматься это дитя?» — она все-таки развернула письмо, держа его перед собой, дабы никто не увидел ее лица. Письмо оказалось весьма длинным.

«Вздыхаю в тоске:

Приснится ль когда-нибудь снова

Тот сон мимолетный?

Но такая настала пора —

Глаз ни на миг не смыкаю...

Так, теперь и ночами...» (18) — вот что было написано там среди всего прочего.

Столь прекрасного почерка она и не видывала никогда, но слезы туманили взор, мешая проникать в смысл написанного. Всю ночь пролежала она без сна, размышляя о своей жизни, которой непостижимая судьба ниспослала новое испытание.

На следующий день Гэндзи прислал за Когими, и тот, поспешно собравшись, зашел к сестре за ответом.

— Передай своему господину, что в нашем доме нет никого, к кому бы могло быть обращено его письмо, — сказала она. Он же ответил, улыбаясь:

— Возможно ли? Господин изволил выразить свое желание вполне определенно...

Услыхав это, супруга Иё-но сукэ окончательно лишилась покоя. «Видно, он рассказал ему все, ничего не утаил», — решила она, и отчаянию ее не было границ.

— Тебе еще слишком мало лет, чтобы говорить об этом. Будет лучше, если ты вообще больше не пойдешь туда, — сердито сказала она брату.

— Но господин прислал за мной, могу ли я ослушаться? — ответил тот и ушел.

А надо сказать, что правитель Кии, отличавшийся весьма ветреным нравом, стал с некоторых пор проявлять изрядный интерес к своей мачехе и не упускал случая услужить ей, а потому ласкал ее брата и всюду брал его с собой.

Призвав к себе мальчика, Гэндзи принялся ему выговаривать:

— Вчера я прождал тебя весь день, а ты... Увы, видно, и в тебе не встречается отклика мое чувство.

Слушая его упреки, Когими только краснел.

— Так где же ответ? — спросил Гэндзи, и слово за слово мальчик поведал ему о том, что произошло.

— Стыдись, ты недостойн моего доверия. — И Гэндзи вручил ему новое письмо.

— Тебе, наверное, неизвестно, что я начал встречаться с твоей сестрой гораздо раньше, чем этот старец из Иё, — сказал он, — однако, полагая меня человеком слишком ветреным и ненадежным, она отвернулась от меня, предпочтя заручиться покровительством более важной особы. Так останься со мной хоть ты и будь мне сыном. Ведь тому, кто ныне опорой ей служит, не так уж долго предстоит идти по жизни.

«Вот оно что... Какая досада!» — подумал Когими, и Гэндзи невольно залюбовался им: «Какое милое дитя!» Он не отпускал мальчика ни на шаг и, даже во Дворец отправляясь, брал его с собой. Служительницы покоев Высочайшего Ларца* в доме Гэндзи получили распоряжение сшить для Когими полный придворный наряд — словом, Гэндзи и в самом деле опекал мальчика, как родного сына.

Между тем Гэндзи продолжал писать к супруге Иё-но сукэ. Она же если и отвечала, то крайне сдержанно. «Брат еще мал, — думала она. — Легко может статься, что тайна моего сердца просочится наружу и имя мое будет опорочено. Увы, не к лицу мне дурная слава... Только от твоего положения зависит — считать происходящее с тобой за благо или нет».

Нельзя сказать, чтобы ей удалось изгладить в памяти воспоминания о той ночи, когда прекрасное видение явилось перед ней в полумраке; напротив, мысли снова и снова возвращались к тому мгновению, и женщина содрогалась от ужаса, представляя себе, что могло бы случиться, не прояви она достаточной твердости.

А Гэндзи, беспрестанно помышляя о ней, тосковал и терзался. Ее печальное лицо стояло перед его мысленным взором, тяжкие вздохи теснили грудь, и не было средства рассеять мрачные думы. Разумеется, он мог бы, дав волю своим желаниям, попытаться снова проникнуть в ее покои, но вправе ли он подвергать ее такой опасности? В доме было слишком много посторонних — подобное безрассудство вряд ли осталось бы незамеченным. И Гэндзи лишь томился, не зная, на что решиться.

Он провел несколько дней во Дворце, выжидая, пока расположение запретных направлений будет ему благоприятствовать. Затем приказал отвезти его к Левому министру, но по дороге неожиданно свернул к Срединной реке. Изумленный правитель Кии радостно склонился перед гостем: «О, какая честь моему саду...»

Гэндзи еще днем посвятил в свое намерение Когими, и они обо всем условились. В последнее время мальчик всюду сопровождал своему господину, и никто не удивился, когда, уезжая вечером из Дворца, Гэндзи призвал его прежде других.

Супруге Иё-но сукэ было отправлено письмо соответствующего содержания, и могла ли она не убедиться в искренности Гэндзи, узнав, к каким уловкам пришлось прибегнуть ему, чтобы увидеться с ней? И тем не менее: «Я не должна позволять ему приближаться, — в смятении думала она. — После той ночи, промелькнувшей, как сон, тоска постоянно снедает мое сердце, так стоит ли навлекать на себя еще большие беды?» Не допуская и мысли о возможности новой встречи, женщина улучила миг, когда Когими ушел к Гэндзи, и сказала дамам:

— Меня смущает, что покои мои оказались в непосредственной близости с покоями гостя. Мне нездоровится, и я как раз собиралась попросить кого-нибудь из вас размять мне поясницу. Пожалуй, лучше мне перебраться куда-нибудь подальше... — В конце концов она устроилась в укромном уголке на переходной галерее, который в обычное время занимала дама по прозвищу Тюдзё.

Томимый тайным желанием, Гэндзи пораньше отправил своих спутников спать и послал к супруге Иё-но сукэ Когими с письмом, но тот не мог ее найти. По всему дому разыскивал он сестру и лишь, выйдя на галерею, с трудом обнаружил ее убежище. Чуть не плача — «какое поразительное жестокосердие!» — мальчик осыпал сестру упреками:

— Господин опять скажет, что я не стою его доверия.

Но его жалобы лишь рассердили ее:

— Возможно ли так упорствовать в своем безрассудстве? Ты совсем еще дитя, и не годится тебе ходить с подобными поручениями! Объясни господину, что, испытывая некоторое недомогание, я оставила при себе дам, попросив их растереть мне поясницу. Иди же, твое присутствие может показаться подозрительным.

Она говорила весьма уверенно, но про себя думала: «О, когда б не решена была еще моя участь, когда б я по-прежнему жила в своем старом доме, где витает дух ушедшего отца, с каким радостным волнением ждала бы я встреч с ним, пусть даже и были бы они крайне редки. Теперь же у меня нет иного выхода. Пусть думает, что я дерзка, самонадеянна, я найду в себе силы...»

Но, увы, как ни велика была ее решимость, сердце разрывалось от боли и смятенно путались мысли: «Так или иначе, моя судьба определена, и бесповоротно. Будет лучше, если он окончательно укрепитесь в мысли, что я глупа, бесчувственна и недостойна его внимания».

А Гэндзи лежал, ожидая возвращения Когими: «Удастся ли ему уговорить ее? Он ведь и вправду совсем еще дитя». Но вот тот возвратился, дабы сообщить Гэндзи о неудаче, их предприятие постигшей.

— Более жестокой женщины я еще не встречал, — сказал Гэндзи. — Мне становится стыдно за свою настойчивость.

Трудно было его не пожалеть. Некоторое время Гэндзи молчал, печально вздыхая и в душе кляня женщину за жестокосердие.

«Не ведая,
Что у тебя на душе,
Дерево-метла*,
Заблудился в лугах Сонохара
И дорогу никак не найду... (19)

Найду ли слова, способные убедить Вас...» — написал он ей наконец.

А женщина лежала без сна, хотя, казалось бы...

«Дни коротаю
В ничтожном, бедном жилище.
Дням унылым давно
Потеряла я счет: есть ли, нет ли —
Таёт в воздухе дерево-метла», —

ответила она.

Когими, всей душой жалея своего господина, ходил туда и обратно, забыв о сне, пока супруга правителя Иё, опасаясь, что дамы заподозрят неладное, не запретила ему появляться в ее покоях.

Спутники Гэндзи, как обычно, крепко спали, и лишь сам он, томясь и тоскуя, не смыкал глаз.

— Я еще не встречал женщины столь неприступной. Она слишком сурова, и эта суровость не исчезает, когда к ней приближаешься, напротив... — сетовал он, но, право, не будь она неприступна, его вряд ли влекло бы к ней с такой силой. Казалось бы, на столь бесчувственную особу и внимания обращать нечего, но, увы, не так-то просто было от нее отказаться...

— Проведи меня к ней! — просил он Когими.

— Это невозможно, там все заперто крепко-накрепко, и людей вокруг много, — отвечал тот. Юное же сердце его разрывалось от жалости.

— Тогда хоть ты не покидай меня, — попросил Гэндзи, и мальчик лег рядом. Глядя на своего молодого, доброго господина, он радовался своему счастью, а тот скорее всего думал: «Право, это дитя куда милее своей жестокосердной сестрицы...»



ПУСТАЯ СКОРАУПКА ЦИКАДЫ

Основные персонажи

Гэндзи, 17 лет

Когими — младший брат Уцусэми

Правитель Кии — сын Иё-но сукэ, пасынок Уцусэми

Супруга правителя Иё (Уцусэми)

Госпожа Западных покоев (Нокиба-но оги) —

дочь правителя Иё, падчерица Уцусэми

— ДО СИХ ПОР никто никогда не относился ко мне с такой неприязнью, — говорил Гэндзи, не в силах уснуть. — Только теперь я понял, сколько горечи может таиться в любви. Какой позор! Вряд ли я сумею оправиться...

Обливаясь слезами, Когими лежал рядом. «Какой милый», — залюбовался им Гэндзи. Мальчик живо напомнил ему сестру: та же изящная хрупкость тела, память о котором еще хранили его пальцы, такие же недлинные волосы. Возможно, это сходство существовало только в воображении Гэндзи, но, так или иначе, было в этом ребенке что-то трогательное, чарующее.

Разумеется, Гэндзи мог предпринять новую, более решительную попытку проникнуть к ней, и, возможно, это ему удалось бы, несмотря на все преграды, но стоило ли подвергать себя опасности быть уличенным в столь неблагоприятном поведении? Всю ночь он не смыкал глаз, мысли, одна другой тягостнее, теснились в его голове, и вопреки обыкновению он почти не разговаривал с Когими.

Было совсем темно, когда Гэндзи покинул дом правителя Кии, и мальчик вздыхал печально: «Как жаль! Без него так тоскливо».

У женщины тоже было тяжело на душе, между тем послания от Гэндзи перестали приходить. «Видно, моя холодность

образумила его. — думала она. — Что ж, немного досадно, что он так легко отступился, однако еще труднее было бы выносить его недостойные притязания. Так, сейчас самое время положить всему конец...» Но, увы, мысли эти не приносили облегчения, и с каждым днем она становилась все задумчивее.

Гэндзи же, сетуя на ее неуступчивость, не хотел мириться с поражением и, к ней одной устремляясь сердцем, терзался так, что вид его возбуждал любопытство окружающих.

— Ты и вообразить не можешь, какие муки приходится мне испытывать, какая боль живет в моем сердце! — жаловался он Когими. — О, я стараюсь забыть ее, но, увы, сердцу не прикажешь. Молю же тебя, улучи подходящий миг, устрой как-нибудь, чтобы я встретился с ней.

Мальчик, понимая, сколь трудно будет выполнить эту просьбу, радовался хотя бы такому проявлению доверия и по-детски нетерпеливо ждал: «Когда же?»

По прошествии некоторого времени правитель Кию уехал в свою провинцию, и в доме остались одни женщины, в ленивой праздности коротающие часы. И вот однажды под покровом ночной темноты, в час, когда «неспокоен путь» (20), Когими решился привезти Гэндзи в дом у Срединной реки в своей карете.

«Право, он совсем еще дитя, могу ли я рассчитывать...» — волновался Гэндзи, но всякое промедление казалось ему невыносимым, и, одевшись поскромнее, он поспешил выехать, дабы успеть, пока не закрыли ворота. Подведя карету с той стороны, где ничей взор не мог бы ее заметить, Когими помог Гэндзи выйти. Особого волнения он не испытывал, зная, что его юный возраст — надежная защита от пристального внимания и докучных попечений сторожей.

Подведя Гэндзи к восточной боковой двери, Когими принялся громко звать и стучать по крайней южной решетке. Скоро он скрылся внутри.

— Нас могут увидеть! — рассердились на него дамы.

— Для чего в такую жару опускать решетки? — спросил Когими и услышал в ответ:

— У нас с полудня гостит госпожа Западных покоев, они с нашей госпожой изволят играть в «го»*.

«Поглядеть бы на них за игрой», — и Гэндзи, покинув свое убежище, тихонько проскользнул в щель между дверцей и занавесями. Решетку в том месте, где прошел Когими, еще не успели опустить, и покои были хорошо видны снаружи. Приблизившись, Гэндзи заглянул внутрь. Крайняя створка стоявшей неподалеку ширмы была сложена, а полотнища переносных занавесов, обычно скрывающие сидящих за ними дам от посторонних взглядов, возможно из-за жары, оказались подвязанными к верхним перекладинам, поэтому ничто не мешало взору проникать в глубину покоев.

Рядом с женщинами горел светильник. Одна из них сидела у столба, боком к Гэндзи. «Это она», — обрадовался он и принялся ее разглядывать.

На ней темно-лиловое нижнее платье из узорчатого шелка, а сверху еще что-то, что именно — не видно. Маленькая головка, изящные мелкие черты — ничего яркого, бросающегося в глаза. Даже от гостыи своей, сидящей напротив, она старательно прячет лицо. Тонкие руки прикрыты рукавами.



Вторая сидит лицом к востоку и видна вся как на ладони. Одета она довольно небрежно: на нижнее платье из тонкой полупрозрачной белой ткани кое-как наброшено лиловое верхнее, грудь открыта почти до пояса и виднеются алые шнуры хакама. Женщина эта красива сверкающей, влекущей красотой. Белое нежное тело, округло-пышные формы, высокий рост, прекрасный овал лица, благородно вылепленный лоб, очаровательные глаза и рот. По плечам живописно рассыпаются не очень длинные, но чрезвычайно густые волосы. На первый взгляд наружность ее кажется безупречной. «Право, не зря ее отец так ею гордится, — думает Гэндзи, с любопытством разглядывая эту прелестную особу. — Была бы только она чуть скромнее...»

Впрочем, нельзя не отдать должного сообразительности гостыи: к концу игры ей ловко удается занять своими камнями почти все позиции «дамэ»*. При этом она не перестает оживленно болтать, но тут женщина, сидящая в глубине, спокойно замечает:

— Подождите, там, кажется, ничья. Лучше обратите внимание на эту группу. Видите, здесь создалось положение «ко»*.

Однако гостья, воскликнув:

— Нет, все равно на этот раз проиграла я. Что тут у нас в углах, подсчитаем-ка! — начинает загибать пальцы. — Десять, двадцать, тридцать, сорок...

Похоже, что она не затруднилась бы пересчитать даже купальни Иё*. Утонченности ей явно не хватает...

Собеседница ее с неподражаемым изяществом прикрывается рукавом, и лица ее почти не видно, но Гэндзи все-таки удается разглядеть ее профиль. Ее глаза чуть припухли, линию носа нельзя назвать правильной, а начинающая блекнуть кожа уже утратила свежесть и яркость красок. Строго говоря, она скорее некрасива, но одета с таким вкусом и держится так прелестно, что кажется едва ли не более привлекательной, чем сидящая напротив красавица. Есть в ней какое-то особенное очарование. Та же, пленяющая милой живостью нрава, сознающая силу своей красоты, ведет себя свободно, смеется, шутит... Ее юное лицо дышит свежестью, и хочется вовсе не отрывая от него взора.

«Что за ветреная особа!» — думает Гэндзи, но, увы, так непостоянно его сердце, что уже и ее боится он упустить.

Женщины, которых Гэндзи знал до сих пор, не позволяли себе в его присутствии ни малейшей вольности, держались крайне церемонно, больше всего заботясь о том, чтобы их не увидели, поэтому он имел весьма смутное представление об их наружности. А подглядывать за кем-то вот так, в естественной домашней обстановке, Гэндзи ни разу не приходилось, поэтому, как ни жаль ему было этих ни о чем не подозревающих и ведущих себя столь свободно особ, хотелось смотреть на них еще и еще, но тут послышались шаги Когими, и Гэндзи тихонько проскользнул обратно к выходу на галерею.

— У сестры неожиданная гостья... — говорит Когими, явно чувствуя себя виноватым. — Мне не удалось даже приблизиться к ней.

— Не хочешь ли ты сказать, что мне и этой ночью придется уйти ни с чем?! — возмущается Гэндзи. — Это просто невысказано!

— О нет, зачем же. Если господин соблаговолит подождать, пока гостья не уйдет, я что-нибудь постараюсь придумать, — успокаивает его мальчик.

«Значит, у него все-таки появилась надежда добиться ее согласия, — думает Гэндзи. — Право, совсем еще дитя, а как спокоен и уверен в себе — видно, уже научился проникать в тайные помыслы людей и сущность явлений».

Но вот, кажется, игра закончилась. До Гэндзи доносится шелест платьев. Судя по всему, дамы расходятся по покоям.

— Где же молодой господин? Пора закрывать, — говорит кто-то, и тут же раздается стук решетки.

— Похоже, все уже легли. Пойди и постарайся что-нибудь устроить, — говорит Гэндзи.

Мальчик же, зная, сколь благонравна его сестра, и понимая, как трудно будет склонить ее к измене, тем более что в такой поздний час ему вряд ли удастся отыскать средство даже переговорить с ней, решает просто: «Как только все улягутся, впуссу его».

— Младшая сестра правителя Кии тоже здесь? Мне хотелось бы посмотреть на нее потихоньку, — просит Гэндзи, но Когими отвечает:

— К сожалению, это невозможно. Ведь помимо решетки там еще и занавес.

«Да, и все-таки я... — удовлетворенно думает Гэндзи, но, жалея мальчика, решает не говорить ему о том, что уже видел ее, и лишь вздыхает нетерпеливо: — Ах, скорее, скорее бы наступала ночь!»

Когими, постучав на этот раз в боковую дверь, входит в дом. А там уже совсем тихо, все легли почивать.

— Устроюсь-ка я на ночь здесь, у входа. Обдувай меня, ветерок! — говорит Когими и, разостлав циновку, ложится.

Дамы, а их немало, судя по всему, расположились в восточных покоях. Девочка-служанка, открывшая дверь, проходит туда же и ложится, а Когими некоторое время притворяется спящим, затем, загородив свет ширмой, в наступившей полутьме потихоньку выпускает Гэндзи.

«Что-то меня ждет? Боюсь, добром это не кончится...» — думает тот, чувствуя себя весьма неловко, но покорно следует за своим проводником. Вот, приподняв полу занавеса, стоящего у входа в главные покои, он пытается тихонько проникнуть туда — среди сонной ночной тишины раздается явственный шелест его платья, хотя, казалось бы, сшито оно из самой мягкой ткани...

«Какое счастье, что он наконец забыл меня!» — думает между тем супруга Иё-но сукэ, но, увы, навязчиво преследует ее воспоминание о той мгновенным сновидением промелькнувшей ночи и ни на миг не удастся «безмятежным забыться сном» (21). Так, «просыпаюсь ночами, днем смотрю, уныло вздыхая...» (22). Право, хоть и не весна теперь... И она долго еще сидит задумавшись.

Госпожа Западных покоев, с которой играли они в «го», заявив: «Я сегодня тоже здесь лягу», оживленно болтая, устраивается рядом. Засыпает она быстро — ничто ведь не тревожит ее сердца.

Вдруг слышится какой-то шорох, и в воздухе разливается чудесный аромат. Приподняв голову, женщина вглядывается сквозь прорези переносного занавеса и замечает в темноте отчетливые очертания приближающейся фигуры. Не помня себя от страха, она тихонько поднимается с ложа и, накинув на плечи шелковое нижнее платье, выскальзывает вон.

Войдя в покои, Гэндзи вздыхает с облегчением: женщина спит одна. Две прислужницы расположились в некотором отдалении, ближе к галерее. Откинув покрывало, Гэндзи проскальзывает к спящей и с удивлением замечает, что она гораздо крупнее, чем ему показалось в прошлый раз, однако пока еще ни о чем не догадывается. Постепенно Гэндзи начинает прозревать истину, и нетрудно себе представить, сколь велико его замешательство. «Какая нелепость! — думает он. — Проснувшись, она сразу поймет, что стала жертвой простого недоразумения, и почувствует себя оскорбленной. Но не менее глупо, да и тщетно искать теперь ту, ради которой я пришел сюда, тем более что она столь явно меня избегает». Впрочем, мысли его тут же принимают иное направление: «Коли это та прелестница, которую видел я в огне светильника, что же...» Воистину непростительное легкомыслие!

Тут девушка наконец просыпается и, совершенно потерявшись от неожиданности, не успевает ни сообразить ничего, ни предпринять. Испуганный вид ее возбуждает жалость...

Однако для своего возраста, в котором мало кто бывает сведущ в житейских делах, она оказывается весьма искушенной и не обнаруживает чрезмерной робости.

Сначала Гэндзи предполагал не открывать ей своего имени, но ведь впоследствии она наверняка стала бы размышлять над обстоятельствами, приведшими к их встрече, и скорее всего догадалась бы... Не то чтобы это представляло опасность для него самого, но ведь та, жестокосердная, так



страшилась огласки... Несмотря на обиду, Гэндзи не хотел причинять ей вреда, а потому постарался, призвав на помощь все свое красноречие, убедить девушку в том, что всякий раз искал в этом доме пристанища для того лишь, чтобы встретиться с ней.

Окажись на ее месте женщина проницательная, умудренная опытом, она, несомненно, догадалась бы обо всем, но девушка была еще слишком юна, хоть и развита не по годам, а потому ей и в голову не пришло усомниться в его словах. Новая возлюбленная Гэндзи была очень недурна собой, но могла ли она возбудить пылкую страсть в его сердце, которое по-прежнему стремилось к той, жестокой? «Спряталась где-нибудь и радуется, что сумела сыграть со мной злую шутку. Подобной упрямцы свет не выдывал», — сетовал Гэндзи. И мысли его были полны лишь ею одной. Однако это не мешало ему клясться в верности лежащей рядом с ним юной особе. Ведь она была так мила, так трогательно-простодушна...

— Еще древние находили в тайном союзе куда больше очарования, чем во всемирном признании, — привычно говорит он. — Позвольте же мне надеяться на взаимность. Мое положение в мире обязывает к сдержанности, и я не могу во всем следовать своим желаниям. Да и ваши близкие, как это ни печально, вряд ли одобряют... Но ждите меня и не забывайте.

— Боюсь, что я не смогу даже писать к вам, ведь служанки могут заподозрить неладное, — простодушно признается она.

— Да, лучше, чтоб никто ничего не знал. Впрочем, можно обмениваться письмами через моего юного телохранителя. Постарайтесь же не выдавать себя. — И, подобрав сброшенное той, другой, верхнее платье, Гэндзи выходит.

Когими лежал поблизости и, когда Гэндзи принялся будить его, тотчас вскочил — видно, беспокойные мысли не давали ему крепко уснуть. Когда же тихонько открыл он дверь, раздался испуганный голос старой служанки:

— Эй, кто там?

— Я, — смущенно отвечает Когими.

— Для чего же вы разгуливаете по ночам? — И старуха, излишнюю услужливость проявляя, выглядывает наружу.

— Да я никуда не собираюсь, просто вышел ненадолго, — отвечает раздосадованный Когими, выталкивая Гэндзи наружу, но, внезапно заметив челоуескую фигуру, старуха спрашивает:

— А кто это там с вами? Уж не госпожа ли Мимбу? И в самом деле, кто еще может похвастаться таким ростом...

Мимбу — так звали прислужницу очень высокого роста, который делал ее предметом всеобщих насмешек. Подумав, что именно с ней вышел Когими, старуха говорит:

— Скоро, совсем уж скоро и вы, молодой господин, сравняетесь с ней ростом, — и тоже выходит наружу.

Право, затруднительное положение, но ведь обратно в дом ее не втолкнешь. Отойдя в сторону, Гэндзи останавливается у входа на галерею и стоит там, стараясь держаться так, чтобы лунный свет не падал ему на лицо. Приблизившись, старуха говорит:

— Вы сегодня провели ночь в покоях госпожи? А у меня уже третий день болит живот, да так, что сил нет терпеть, потому я и хотела переночевать в людской, а тут вдруг госпожа сама изволила позвать. Иди, говорит, а то в доме слишком безлюдно. Вот я с вечера к вам и перебралась. Совсем боли замучили, — жалуется она, и не дожидаясь ответа, вскрикивает: — Ох, опять схватило, опять!.. Ладно, после поговорим, извините...

Старуха поспешно удаляется, и Гэндзи наконец получает возможность выйти. Только теперь он начинает понимать, с какими опасностями сопряжены столь легкомысленные похождения. Посадив Когими сзади в карету, Гэндзи отправляется в дом на Второй линии.

Рассказывая мальчику о событиях прошедшей ночи, он недовольно ворчит:

— Все-таки ты совсем еще дитя. — И, уязвленный до глубины души, разражается упреками.

Жалея его, Когими не произносит ни слова в свое оправдание.

— Твоя сестра питает ко мне такое отвращение, что я и сам себе становлюсь противен. Неужели она не могла хотя бы из простой любезности ответить на мое письмо? Конечно, мне далеко до Иё-но сукэ, но все же... — обиженно ворчит Гэндзи, однако, укладываясь спать, укрывается сначала ее платьем и только поверх него своим. Когими он устраивает рядом, дабы иметь возможность излить на него свои обиды.

— Ты очень мил, но твое родство с этой бессердечной особой вряд ли будет способствовать согласию меж нами, — говорит Гэндзи весьма строгим тоном, и Когими совсем падает духом.

Некоторое время Гэндзи оставался в опочивальне, но сон не шел к нему. Повелев принести тушечницу, он принялся что-то писать на листке бумаги, не письмо, нет, просто так, случайные мысли...

«Под деревом
Сбросила платье цикада.
С тоскою гляжу
На пустую скорлупку,
О ней вспоминая тайком», —

так начертал он, а Когими, спрятав листок бумаги за пазуху, унес его.

— А та, другая, о чем она теперь думает?

Но как ни жаль ему было бедняжку, поразмыслив, он все-таки решил оставить ее без положенного в таких случаях послания. Тонкое же платье, сохранившее аромат любезной ему особы, Гэндзи положил рядом с собой и любовался им.

Когда Когими вернулся домой, сестра уже поджидала его и принялась отчитывать со всей суровостью:

— Твое поведение возмутительно! Хотя мне благодаря счастливой случайности и удалось расстроить ваши намерения, у многих наверняка возникли подозрения, и положение мое ужасно. А твой господин, какого он будет о тебе мнения, увидев, что ты неспособен подчиняться голосу рассудка? — стыдила она Когими.

Одни лишь упреки слыша и с той и с другой стороны, мальчик совсем растерялся, но все-таки решился вытащить из-за пазухи сложенный листок бумаги. И женщина, несмотря на негодование, взяла его и стала читать.

«Наверное, поблекла, словно платье рыбачки из Исэ» (23), — думала она, представляя себе эту «пустую скорлупку», и печалилась.

А госпожа Западных покоев в крайнем замешательстве возвратилась к себе. Никто из прислуживающих ей дам и не подозревал о случившемся, и она украдкой вздыхала, замирая от страха и надежды, когда видела Когими, но, увы, тщетно.

Откуда ей было знать, что она оказалась жертвой ошибки? Прежде жизнерадостная и беззаботная, девушка с каждым днем становилась все печальнее. Впрочем, и та, жестокая, хоть и удавалось ей сохранять наружное спокойствие... Могла ли она предполагать, что сумеет пробудить в сердце Гэндзи столь глубокое чувство? «О, если б я жила так, как в те давние дни», — думала она, но, увы, вернуть прошлое невозможно. Как-то раз, не в силах сдерживать тоски, написала она на том же самом листке:

«Обильно роса
На крылья цикады ложится.
Под сенью ветвей
Никто не увидит — мои рукава
Сегодня промокли до нитки».



ВЕЧЕРНИЙ ЛИК

Основные персонажи

Гэндзи, 17 лет

Дама с Шестой линии (Рокудзё-но миясудокоро), 24 года — возлюбленная Гэндзи

Дайни — кормилица Гэндзи

Корэмицу — сын кормилицы Дайни, приближенный Гэндзи

Монах Адзари — сын кормилицы Дайни

Госпожа Сёсё — дочь кормилицы Дайни

Супруга правителя Иё (Уцусэми)

Правитель Иё (Иё-но сукэ) — супруг Уцусэми, отец правителя Кии и Нокиба-но оги

Дочь правителя Иё, ранее — госпожа Западных покоев (Нокиба-но оги)

Когими — брат Уцусэми

Молодая госпожа из дома Левого министра (Аои), 21 год — дочь Левого министра, супруга Гэндзи

Укон — прислужница Югао

То-но тюдзё — сын Левого министра, брат Аои, первой супруги Гэндзи

Дама из дома с цветами «вечерний лик» (Югао), 19 лет — возлюбленная То-но тюдзё, потом Гэндзи

Куродо-но бэн — сын Левого министра, младший брат То-но тюдзё и Аои

Государь (император Кирицубо) — отец Гэндзи

Левый министр — тесть Гэндзи

В ТЕ ДНИ, когда Гэндзи тайно посещал некую особу, жившую на Шестой линии, он как-то раз, возвращаясь из Дворца, решил навестить свою кормилицу Дайни, которая занемогла тяжелой болезнью и приняла постриг*.

Разыскав ее дом на Пятой линии, Гэндзи подъехал к нему, но ворота оказались запертыми, и, послав за Корэмицу, он стал ждать, пока их откроют, разглядывая между тем невзрачные окрестности. Рядом с домом кормилицы стоял небольшой домик, окруженный новой кипарисовой изгородью. Кое-где верхние створки решеток были подняты, и в отверстиях белели опрятные шторы, сквозь которые просвечивали прелестные женские головки — женщины с любопытством поглядывали на улицу. Наблюдая за их передвижениями по дому, Гэндзи мысленно нарисовал себе их фигуры и они показались ему чрезмерно высокими*. «Кто же там живет?» — заинтересовался он — слишком уж все это было необычно.

Гэндзи приехал сюда в самой скромной карете и даже без «передовых». «Кто меня здесь узнает?» — успокаивал он себя, украдкой выглядывая из кареты. Ворота у дома, привлечшего его внимание, были подняты, и взору Гэндзи предстало столь тесное и бедное жилище, что он вздохнул, растроганный: «Где в целом мире...» (24). Впрочем, ведь и драгоценные хоромы не лучше.

Изгородь, сбитая из поперечных планок, была увита зеленью, из которой, горделиво улыбаясь, выглядывали белые цветы.

— «Я спросил у той, что стояла» (25), — невольно вырвалось у Гэндзи, и один из спутников его, почтительно склонившись, ответил:

— Это белое, пышно цветущее (25) называют «вечерний лик»*. Имя — словно у женщины... Но на какой неприглядной изгороди приходится им цвести.

Да, вокруг теснились бедные домишки, там и сям — покосившиеся, ветхие стены... А по застрехам, увы, тоже не отличавшимся крепостью, висели цветы.

— Что за жалкая судьба у этих цветов! — сказал Гэндзи. — Сорвите мне один.

Кто-то из приближенных, пройдя сквозь приподнятую створку ворот, сорвал цветок. Тут приоткрылась дверца — как ни странно, довольно изящная — и на пороге появилась прелестная девочка-служанка, за ней тянулись длинные хакама из нелощеного желтого шелка. Поманив приближенного Гэндзи, она протянула ему благоуханный белый веер и сказала:

— Не желаете ли поднести цветы на веере? Боюсь, что их стебли недостаточно красивы...

Как раз в этот миг, открыв ворота, появился Корэмицу и взял цветы, чтобы самому поднести их Гэндзи.

— Прошу простить мне столь долгое отсутствие, — рассыпался он в извинениях. — К несчастью, куда-то затерялись ключи. Разумеется, никому из здешних жителей и в голову не придет... Но заставить вас ждать на этой грязной улице...

Карету ввели во двор, и Гэндзи вышел. У ложа больной сидели старший брат Корэмицу, монах Адзари*, зять — правитель Микава, дочь... Все они радостно склонились перед дорогим гостем. Больная и та приподнялась на ложе.

— Поверьте, я вовсе не дорожу своей жизнью, но до сих пор мне трудно было смириться с мыслью об уходе из этого мира по той лишь причине, что я не смогу больше прислуживать вам, ловить ваш милостивый взгляд... По-

тому и медлила я, но был мне ниспослан знак, что принят мой обет — болезнь отступила, а сегодня еще и вы удостоили меня своим посещением. Теперь я буду со спокойной душой дожидаться, когда озарит меня свет будды Амиды*, — говорит она и, обессилив, плачет.

— Все эти дни я не переставал сокрушаться о том, что выздоровление ваше затягивается. С сердцем, стесненным от горести, воспринял я весть о вашем решении отказаться от мира. Вы должны жить долго, дабы увидеть, сколь высоких чинов я достигну. После же ничто не помешает вам занять самое почетное из девяти мест в Чистой земле*. Говорят, что дурно уходить из мира, когда хоть что-то привязывает к нему, это может неблагоприятно сказаться на будущем, — отвечает Гэндзи, глотая слезы.

Все кормилицы одинаковы — питомца своего, которого воспитание составляло главнейший предмет их попечений, даже самого никчемного готовы они считать средоточием всех мыслимых совершенств, а уж как не гордиться кормилице Гэндзи? Разумеется, ей кажется, что, прислуживая ему, она и сама стала особой весьма значительной, высочайших милостей удостоившейся. И разве удивительно, что, глядя на него теперь, она то и дело заливается беспричинными слезами? Дети же ее неодобрительно переглаживают: «Ну не дурно ли так плакать, могут подумать, что слишком трудно ей окончательно расстаться с миром, от которого она отреклась...» А Гэндзи, чувствуя себя глубоко растроганным, говорит:

— В малолетстве потерял я тех, чьи попечения должны были поддерживать мое существование, после этого многие принимали меня под свои крылья, но не могу вспомнить никого, к кому был бы я привязан так, как к вам. С тех пор как я стал взрослым, многочисленные предписания не позволяют мне иметь вас постоянно рядом с собой, я не могу даже навещать вас так часто, как мне этого хочется, но, поверьте, я всегда тоскую, когда долго не вижусь с вами. О, когда б «не было в мире неизбежных разлук...» (26).

Пока Гэндзи любезно беседовал с кормилицей, аромат от рукавов, которыми отирал он слезы, распространился по всему дому, и окружающие невольно задумались: «Сколь необычно все же предопределение этой женщины!» Так, даже дети, ранее осуждавшие монахиню, теперь рыдали, и рукава их поблекли от слез.

— Пора снова приступать к обрядам, — распорядившись, Гэндзи собрался уезжать, но перед отъездом попросил Корэмицу принести зажженный факел и в его свете принялся разглядывать присланный ему веер. Веер оказался насквозь пропитанным нежным ароматом благовоний, которыми, как видно, пользовалась его владелица. Внимание Гэндзи привлекла сделанная с отменным изяществом надпись:

«Не он ли?» — в душе
Возникла догадка смутная...
Перед взором моим
На мгновенье мелькнул «лик вечерний»
В ослепительном блеске росы.

Содержание песни было довольно неопределенным, но в почерке чувствовалось явное благородство, и в сердце Гэндзи неожиданно пробудился интерес к хозяйке веера.

— Кто живет в соседнем доме с западной стороны? Ты случайно не узнавал? — спрашивает он у Корэмицу, а тот, подумав: «Ну вот, снова...», все же, сдержав слова укоризны, отвечает, правда, весьма недовольным тоном:

— Я здесь уже пять или шесть дней, но заботы о больной занимают все мое время, и мне некогда расспрашивать о соседях.

— Ты, кажется, осуждаешь меня? Но, поверь, есть в этом веере что-то такое, что невольно вызывает желание проникнуть в его тайну. Позови же кого-нибудь, кому ведомы местные обстоятельства, и расспроси его, — просит Гэндзи, и Корэмицу, войдя в дом, призывает к себе сторожа и принимает его расспрашивать. Вернувшись же, сообщает:

— Дом этот принадлежит одному человеку в звании почетного помощника правителя* какой-то провинции. Сам хозяин уехал, и в доме осталась его супруга — молодая и, судя по всему, весьма утонченная особа, сестры ее служат во Дворце и частенько сюда навещаются... — вот все, что мог сказать мне сторож. Большого трудно ожидать от простого слуги.

«Должно быть, надпись на веере сделана одной из сестер, — подумал Гэндзи. — Почерк довольно уверенный, видно, что писавшая знает толк в таких делах». Он понимал, что скорее всего его ждет разочарование, но чувство, побудившее женщину взяться за кисть, нашло отклик в его душе, и мог ли он остаться равнодушным? Увы, Гэндзи никогда не умел противиться искустельным стремлениям сердца. И вот на листке бумаги, нарочно изменив почерк, написал:

«Подойди,
Только тогда и увидишь,
Какого цветка
Вечерний лик промелькнул
Пред тобой в полумраке».

Письмо это он отослал с одним из своих приближенных, с тем самым, который принял у девочки-служанки веер.

Тем временем женщина, не получая ответа, начала уже раскаиваться в своем легкомыслии. Она написала эту так взволновавшую Гэндзи песню, поддавшись мгновенному порыву, ибо, хотя никогда до сих пор не видела его, мелькнувший перед ее взором профиль почти не оставлял места для сомнений.

Но вот наконец появился долгожданный посланец, и дамы, сразу же оживившись, зашептались: «Ах, но что же ответить?» Посланец же, пренебрежительно взглянув на вызванный его появлением переполох, поспешил удалиться.

Между тем Гэндзи, стараясь не попадаться никому на глаза, двинулся в путь по дороге, освещенной скудным светом нескольких факелов, которые несли его телохранители. Верхние створки решеток в соседнем доме были уже опущены. Сквозь щели пробивался тусклый, слабее, чем у светлячков (27), свет, придавая этому печальному жилищу какое-то таинственное очарование.

Путь Гэндзи лежал к дому, окруженному прекраснейшими деревьями и цветами, где все носило на себе отпечаток утонченной роскоши и благополучия. Его приняли с церемонной учтивостью, хозяйка же дома была так

хороша собой и так непохожа на других женщин, что наверняка Гэндзи и думать забыл о бедной кипарисовой изгороди.

На следующее утро он проснулся поздно и вышел, когда солнце стояло высоко над землей. Мягкий утренний свет сообщал его красоте особое очарование, право, недаром люди так восхищались им. Возвращаясь домой, Гэндзи снова проехал мимо тех же самых ворот. Впрочем, скорее всего он не раз проезжал здесь и прежде, просто не обращал на них внимания, и только вчерашнее приключение, само по себе крайне незначительное, возбуждало его любопытство, и он с интересом разглядывал бедное жилище: «Кто же все-таки живет там?»

Через несколько дней зашел к нему Корэмицу.

— Больная была в тяжелом весьма состоянии, и все это время я не уходил от нее, — сообщил он, затем, подойдя поближе, заговорил о другом: — После того нашего разговора я нашел человека, знакомого с положением дел в интересующем вас доме, и распорядился, чтобы его расспросили, но оказалось, что и ему толком ничего не известно. Говорят, какая-то дама тайно живет там примерно с Пятой луны, но кто она — того не открывают даже домашним. Я пытался подглядеть сквозь щели изгороди, отделяющей наш дом от соседнего, — в самом деле, за занавесями мелькают фигуры молодых женщин. Судя по тому, что у них у всех для порядка подвязано сзади к поясу нечто похожее на сибиря*, в доме явно есть кто-то, кому они прислуживают. А вчера, когда вечернее солнце осветило весь дом полностью, вплоть до самого последнего уголка, я увидел наконец и госпожу. Она держала в руке кисть и, судя по всему, сочиняла письмо. Ее прекрасное лицо было печально, а сидящие рядом прислужницы украдкой вытирали слезы, — рассказывал Корэмицу, а Гэндзи, улыбнувшись, подумал: «Хотел бы я знать, кто она...»

«Разумеется, господину прежде всего должно заботиться о своем добром имени, но он так молод, и все им так восхищаются... — думал между тем Корэмицу. — Боюсь, что, будь он благоразумнее и расчетливее в своих действиях, это скорее повредило бы его обаянию. Право, даже мужчинам, которые не пользуются таким успехом, бывает трудно устоять перед искушением».

— Надеюсь хоть что-нибудь разузнать, я придумал приличный предлог и отправил туда письмо, — продолжал Корэмицу. — Ответ пришел незамедлительно и был написан искусной рукой. Создается впечатление, что среди ее прислужниц есть весьма достойные молодые дамы.

— Постарайся найти средство проникнуть туда, — попросил Гэндзи. — Обидно оставаться в неведении.

Правда, в столь бедном жилище могла жить лишь женщина, принадлежащая к числу тех, что были когда-то презрительно названы низшими из низших, но что, если его ждет приятная неожиданность и за этими невзрачными стенами обнаружится прелестная особа?

Надо сказать, что Гэндзи до сих пор не мог забыть, как жестоко поступила с ним та «пустая скорлупка цикады», Уцусэми, — право, не многие женщины способны на такое коварство. Впрочем, как знать, окажись она послушной его воле, возможно, единственным следствием той мимолетной встречи стало бы сожаление о случайно совершенной ошибке... Так или иначе, он потерпел поражение, и самолюбие его было глубоко уязвлено.

Прежде Гэндзи просто не обратил бы внимания на столь заурядную особу, но тот разговор в дождливую ночь открыл ему глаза на существование различных сословий, из которых каждое имело свои преимущества, и круг его сердечных устремлений расширился. Нельзя сказать, чтобы Гэндзи совсем не привлекала дочь правителя Иё, должно быть искренне желавшая встречи с ним, но ему становилось не по себе при мысли, что ее жестоко-сердная мачеха будет наблюдать за ними так, словно она здесь совершенно ни при чем. «Нет, лучше сначала выведать, каковы ее собственные намерения», — решил Гэндзи, а тут в столицу вернулся правитель Иё.

Прежде всего он поспешил к Гэндзи. Тяготы морского пути не пошли на пользу сему почтенному мужу: лицо его осунулось и покрылось загаром, облаченная в платье странствий фигура казалась неуклюжей. Вместе с тем нельзя было отказать Иё-но сукэ и в определенных достоинствах: он принадлежал к весьма знатному роду и обладал приятной наружностью и самыми благородными манерами.

Внимая его рассказу о делах провинции Иё, Гэндзи испытывал сильнейшее желание спросить: «Так сколько же купален?..», но вовремя вспомнил, что совесть его нечиста, и, смутившись, промолчал. Да, прав был Ума-но ками: когда б подчинился он в свое время голосу рассудка, а не потакал собственным прихотям, ему не пришлось бы теперь краснеть перед этим степенным мужем. И разве холодность Уцусэми, показавшаяся ему самому едва ли не оскорбительной, не достойна высшей похвалы в глазах ее супруга?

Услышав о том, что правитель Иё намеревается, поручив свою дочь работам надежного человека, уехать с супругой в провинцию, Гэндзи окончательно лишился покоя и решил посоветоваться с Когими: «Нельзя ли еще хоть раз увидеться с нею?»

Но, увы, даже если бы его искания не были ей противны, и тогда проникнуть к ней было бы нелегко. Поскольку же она упорно избегала его, полагая непреодолимой преградой различие их состояний... Словом, Гэндзи пришлось в конце концов отказаться от всяких попыток добиться новой встречи.

А супруга Иё-но сукэ при всей своей непоколебимости, видимо, не хотела, чтобы Гэндзи забыл ее, во всяком случае она довольно любезно отвечала на письма, которые он присылал, пользуясь любой возможностью. В строках, небрежно начертанных ее рукою, было что-то до крайности трогательное, и никогда не забывала она вставить в письмо свое несколько изящных намеков, призванных вызвать должный отклик в его сердце. Поэтому Гэндзи всегда помнил о ней, хотя и чувствовал себя обиженным.

Что касается дочери Иё-но сукэ, то слухи о ней не особенно волновали Гэндзи — уж она-то уступит ему при самом суровом супруге.

Настала осень. Имев немало сердечных забот и волнений, которым причиной чаще всего бывало его же собственное легкомыслие, Гэндзи редко появлялся в доме Левого министра, и молодая госпожа не скрывала своего недовольствия.

Была еще и особа с Шестой линии, но, заставив ее забыть о приличиях, он очень скоро переменялся к ней и начал от нее отдаляться. Многие жалели ее, а как в столице еще жива была память о том, каким безумствам предавался некогда Гэндзи, стараясь сломить ее сопротивление, столь быстрое

охлаждение неизбежно возбудило толки. Женщина эта, обладавшая на редкость тонкой и чувствительной душой, не могла не страдать, зная, что имя ее стало предметом пересудов. К тому же она была старше Гэндзи и стыдилась этого. Словом, причин для печали у нее было немало, а последнее время все чаще и чаще приходилось ей в одиночестве коротать бессонные ночи, и она была близка к отчаянию.

Однажды утром, когда окрестности терялись в густом тумане, Гэндзи долго не мог проснуться, и прислужницам госпожи пришлось несколько раз будить его. В конце концов он выходит, печально вздыхая. Вид у него совсем сонный. Молодая дама по прозвищу Тюдзё, словно желая сказать: «Проводите же хоть взглядом!», приподнимает решетку, отодвигает переносной занавес, и госпожа, оторвав голову от изголовья, выглядывает наружу. Гэндзи медлит, не в силах расстаться с садом, где цветы в живописнейшем беспорядке сплетаются друг с другом, и нет на свете человека прекраснее. Вот он направляется к переходу, и Тюдзё выходит его проводить. В платье цвета астра-сион*, приличествующего этому времени года, и тонком мо*, подвязанном на талии яркими лентами, она кажется воплощением миловидности и изящества. Взглянув на эту прелестную особу, Гэндзи не может устоять перед искушением и задерживает ее у перил в углу галереи. Ее застывшая в почтительной позе фигурка, свисающие вдоль щек подстриженные пряди волос восхитительны.

— Не хотел бы прослать
Я до новых цветов охотником,
И все ж не могу
Сегодня мимо пройти,
Не сорвав тебя, «утренний лик»...

Что же прикажете мне делать? — вопрошает он, взяв ее руку, а Тюдзё отвечает с привычной поспешностью, сделав вид, будто речь идет о госпоже:

— Не дождавшись, пока
Туман рассеется утренний,
Спешись ты уйти.
Наверное, к здешним цветам
Сердце твое равнодушно.

Прелестный мальчик-придворный, одетый ради такого случая особенно нарядно, проходит в самую гущу цветов и, сорвав «утренний лик», в мокрых от росы шароварах, возвращается к Гэндзи — картина, достойная кисти художника.

Вчуже глядя и то невозможно было не плениться красотой Гэндзи. Даже грубый житель гор не прочь отдохнуть в тени прекрасных цветов, так стоит ли удивляться тому, что все, кого осенял свет этой удивительной красоты, — каждый сообразно званию своему — об одном лишь помышляли: «Вот бы отдать ему нашу нежно взлеянную дочь!» Если же у кого-то — будь он самого низкого звания — имелась миловидная младшая сестра, самым горячим его желанием было пристроить ее в услужение к Гэндзи.

А имевшие возможность обмениваться с ним письмами или близко видеть его прекрасное лицо? Они тем более не могли оставаться равнодуш-

ными, по крайней мере те из них, кто проник в душу вещей. Без сомнения, и госпожа Тюдзё, и прочие дамы из дома на Шестой линии сожалели о том, что не проводит он там все дни напролет.

Да, вот еще что: Корэмицу по поручению своего господина продолжал подглядывать за обитателями того бедного жилища, и ему удалось вывести немало нового. В один прекрасный день, представ перед Гэндзи, он сообщил ему следующее:

— Установить, кто там живет, мне так и не удалось. По всей видимости, ее пребывание в доме окружено строжайшей тайной. Иногда дамы, не зная, чем занять себя, выходят в южную галерею, где есть решетки с открывающимися верхними створками, и, заслышав шум проезжающей кареты, выглядывают наружу. Время от времени к ним выходит и та особа, которая, судя по всему, является их госпожой. Я не сумел хорошенько разглядеть ее, но кажется, она весьма миловидна. Однажды, заметив проезжающую по улице карету с передовыми, девочки-служанки закричали: «Ах, госпожа Укон, скорее же, посмотрите! Ведь это господин То-но тюдзё проезжает мимо». На крик вышла прислужница постарше, весьма достойной наружности и замахала на них руками: «Тише, тише! Почему вы решили, что это он? Сейчас я сама взгляну». С этими словами она заторопилась на галерею. А надо сказать, что проходят туда обычно по особому мостику, вроде перекидного. Женщина двигалась очень быстро и, не заметив, как подол ее платья за что-то зацепился, споткнулась и чуть не упала вниз. «Ох уж этот бог Кадзураки!», — рассердилась она — и желания смотреть на улицу как не бывало.

Проезжающий господин был облачен в носи и окружен свитой. «Это такой-то, а это такой-то», — называли девочки-служанки его спутников, а поскольку имена, которые они произносили, и в самом деле принадлежали телохранителям и челядинцам господина То-но тюдзё, никаких сомнений быть не могло — проезжал действительно он, — рассказывал Корэмицу.

— Ах, когда б я сам увидел его карету! — вздохнул Гэндзи, и тут в голове его мелькнула смутная догадка: «А что, если это та самая женщина, которую То-но тюдзё не может забыть?» Заметив, что Гэндзи заинтересован, Корэмицу продолжал:

— Я вступил в сношения с одной из тамошних прислужниц, и это помогло мне ознакомиться с домом до мельчайших подробностей. Однако хожу я туда с таким видом, будто и ведать не ведаю об истинном положении дел, и молодая особа уверена, что ей удалось-таки провести меня, внушив мысль, будто все дамы, живущие в доме, равны по положению. Но как ни радуются они, полагая, что сумели ловко всех обмануть, все равно то одна, то другая из девочек-служанок, вдруг забывшись, начинает обращаться к госпоже с почтительностью, уместной лишь в разговоре со знатной особой. О, как они принимают тогда суетиться, пытаюсь отвлечь от нее внимание, как стараются уверить, будто никого, кроме них, обычных прислужниц, в доме нет!.. — смеясь, рассказывал Корэмицу.

— Когда я в следующий раз приеду навестить твою почтенную матушку, дашь и мне посмотреть сквозь ограду, — попросил Гэндзи. «По всей видимости, эта женщина поселилась там временно, — думал он, — но, судя по ее нынешнему жилищу, она-то скорее всего и принадлежит к низшим из низ-

шим, которые, как говорилось в ту ночь, и внимания недостойны. Но вдруг она хороша собой, умна? Разве не заманчиво неожиданно обнаружить престелное существо в таком месте?»

Корэмицу почитал первейшей обязанностью своей предупреждать любое желание господина, а будучи к тому же человеком, не менее хозяина своего искушенным в любовных делах, он, проявив немалую изобретательность и ловкость, в конце концов, правда с большим трудом, добился того, что Гэндзи начал посещать этот дом. Но подробности, право же, утомительны, и я по обыкновению своему их опускаю.

Не спрашивая женщину, кто она, Гэндзи не открывал ей и своего имени. Приходил он к ней в простом платье и — что самое необыкновенное — пешком. «Такого еще не бывало!» — дивился Корэмицу и обычно уступал своего коня Гэндзи, а сам бежал рядом.

— Может ли уважающий себя любовник приходить на свидание пешком? А если меня кто-нибудь увидит? — ворчал он, но Гэндзи, не желая никого посвящать в свою тайну, брал с собой лишь того самого приближенного, который когда-то сорвал для него цветок «вечерний лик», и мальчика-слугу, никому в тех местах не известного. Опасаясь, что тайна его будет раскрыта, Гэндзи не заходил даже в соседний дом.

Тем временем женщина терялась в догадках, не зная, чем объяснить столь странную скрытность. Она украдкой отправляла кого-нибудь следом за посланными Гэндзи, надеясь узнать, где живет ее возлюбленный, поручала слуге выведать, куда уводит его рассветная тропа, но тщетно — ее соглашения неизменно оказывались обманутыми. Между тем Гэндзи все более привязывался к женщине, видеть ее стало для него необходимостью, он беспрестанно помышлял о ней и, кляня себя за недостойное легкомыслие, все же очень часто навещался в бедное жилище за кипарисовым забором. Так, на этой стезе теряют голову и благонравнейшие из людей. Гэндзи, никогда не забывавший о приличиях и старавшийся не навлекать на себя осуждения, ныне испытывал такие муки страсти, что и сам дивился: расставаясь утром с возлюбленной, он с трудом дожидался вечера, невыносимо тягостными казались ему дневные часы. Он пытался, как мог, охладить свой пыл, говоря себе: «Остановись! Разве стоит она подобных безумств?» Женщина была кротка и послушна, но, пожалуй, ей недоставало живости ума и уверенности в себе. Она казалась совсем юной, но неискушенной ее тоже назвать было нельзя. Вряд ли она могла принадлежать к знатному роду. «Но что же тогда так влечет меня к ней?» — беспрестанно недоумевал Гэндзи.

Отправляясь на свидания с возлюбленной, он старался до неузнаваемости изменить свою внешность, переодевался в грубое охотничье платье*, скрывал лицо, приходил же и уходил ночью, когда все в доме спали, так что у женщины порой возникало опасение: уж не оборотень ли это, какие бывали в старину? Однако даже случайное прикосновение убеждало ее в том, что перед ней человек, причем человек отнюдь не простого звания. «Но кто же он?»

Ее подозрения пали на Корэмицу: «Этот молодой повеса, живущий по соседству, наверняка здесь замешан». Но того, казалось, совершенно не занимало происходящее, словно и не подозревая ни о чем, он по-прежнему посещал их дом в поисках собственных развлечений, и женщине остава-

лось только недоумевать и теряться в догадках: «Что же все это значит?» Но не знал покоя и Гэндзи: «А вдруг, усыпив бдительность мою своей покорностью, она внезапно скроется? Где мне искать ее тогда? Этот дом — не более чем временное пристанище, она может покинуть его в любое время, и я не уверен, что меня поставят об этом в известность...» Разумеется, если бы действительно произошло нечто подобное и Гэндзи, бросившись на поиски, вынужден был отступить, так ничего и не добившись, он скорее всего легко примирился бы с тем, что блаженство, дарованное ему судьбой, оказалось столь быстротечным, но пока он и помыслить об этом не мог без ужаса.

В те ночи, когда, отдавая дань приличиям, Гэндзи воздерживался от свиданий, невыносимая, мучительная тревога овладевала всем его существом. «А не перевезти ли ее тайно в дом на Второй линии? — думал он. — Несомненно, люди сразу же начнут судачить и неприятностей не избежать. Но ни к одной женщине еще не влекло меня с такой силой. Какое же предопределение соединило нас?»

— Позвольте мне найти какое-нибудь тихое местечко, где нам не нужно будет опасаться свидетелей, — предлагал Гэндзи, но женщина, беспомощно глядя на него, отвечала:

— Все это слишком неожиданно. Ваши речи ласкают слух, но вы ведете себя так странно, это пугает меня...

— В самом деле, — улыбался Гэндзи, — кто же из нас лисица-оборотень? Не противься же моим чарам, — ласково говорил он, и женщина покорялась ему, думая: «Что ж, видно, так тому и быть».

«Да, она готова уступить любому моему желанию, каким бы необычным, даже нелепым оно ни было. Удивительно трогательное свойство», — думал Гэндзи, и снова возникало у него подозрение: уж не ее ли То-но тюдзё называл «вечным летом»? Ему вспомнилось все, что тот рассказывал, но, понимая, что у женщины могли быть свои причины таиться, он не решался докучать ей расспросами.

Трудно было себе представить, чтобы такая женщина оказалась способной вдруг обидеться и уехать неизвестно куда, но, как знать, возможно, она и изменилась бы, если б Гэндзи стал навещать ее реже, оставляя надолго одну. Сам-то он полагал, что иные увлечения — возникни они у него — лишь умножили бы его нежность к ней.

Пятнадцатой ночью Восьмой луны яркий лунный свет, просачиваясь сквозь редкую деревянную кровлю, заливал все уголки дома, отчего и без того необычная обстановка казалась Гэндзи совсем уж диковинной. Ночь близилась к концу. В соседнем доме, видно, проснулись. Послышался неприятно грубый мужской голос:

— Ну и холода наступили! В нынешнем году дела идут из рук вон плохо! В провинцию ехать тоже бессмысленно... Да, надежд никаких. Эй, сосед, слышишь? — такие примерно фразы долетали до слуха Гэндзи.

Люди вставали, готовые приступить к своим жалким каждодневным трудам, тут же за стеной слышался шум, раздавались громкие голоса, и женщина совсем смутилась. Какая-нибудь надменная, привыкшая к роскоши особа на ее месте сквозь землю готова была бы провалиться от стыда. Но ни тяготы житейские, ни невзгоды, ни горести не ожесточали кроткого сердца воз-

любленной Гэндзи. Нежная, девически хрупкая, она словно не понимала, что происходит вокруг, не замечала ни скудного убранства покоев, ни бесцеремонной шумливости соседей, и это пленяло Гэндзи куда больше, чем если бы она стыдилась и краснела.

Почти у самого изголовья грохотали ступы, в которых что-то толкли.

«Отроду не слыхивал ничего подобного!» — подумал Гэндзи, прислушиваясь к этому грохоту, которого происхождение оставалось для него тайной. Множество других, не менее странных звуков доносились до его слуха. Со всех сторон слышались приглушенные расстоянием удары вальков, которыми отбивали грубые полотняные одежды; по небу с громкими криками летели дикие гуси...* Все это, вместе взятое, трудно было вынести.

Они лежали у выхода на галерею. Гэндзи раздвинул дверцы и выглянул наружу: в крохотном, негде повернуться, садике рос благородный китайский бамбук, и роса на листьях блистала не менее ослепительно, чем в великолепном саду какого-нибудь вельможи. Совсем рядом назойливо звенел многоголосый хор насекомых, а ведь Гэндзи даже к «стрекотанью сверчка под стеной»* привык прислушиваться издалека. Но необычность обстановки лишь забавляла его. Чувство его было столь глубоко, что он охотно мирился со всеми неудобствами.

Женщина обладала вполне обыкновенной наружностью, но что-то чрезвычайно милое и трогательное было в ее хрупкой фигурке, облаченной в светло-лиловое мягкое платье, из-под которого выглядывало нижнее, белое. Не обладая никакими исключительными достоинствами, она пленяла удивительной нежностью и изяществом черт. Стоило же ей заговорить, столько в ней обнаруживалось прелести, что трудно было сдержать вздох умиления. «Вот только будь она чуть увереннее в себе...» — подумал Гэндзи, но так хотелось ему насладиться ее близостью без всяких помех, что он предложил:

— А что, если мы встретим рассвет в каком-нибудь тихом, уютном домике неподалеку? Оставаться здесь невыносимо.

— Можно ли так сразу? Это слишком неожиданно, — робко отвечала она.

Но Гэндзи с такой пылкостью клялся ей в верности не только в этой, но и в грядущей жизни, что в конце концов, успокоившись, она уступила.

Право, все в ней было будто не так, как в других женщинах, она казалась такой юной, такой неопытной, что Гэндзи окончательно потерял голову. Уже не считаясь с тем, что могут о них подумать, он подозвал Укон и, кликнув спутников своих, велел выводить карету. Прислуживающие госпоже дамы, как ни велико было их беспокойство, во всем полагались на Гэндзи, успев убедиться в искренности его чувств.

Близился рассвет. Еще молчали петухи, лишь слышно было, как какой-то старик, бормоча молитвы, бил головой об пол. Похоже было, что каждое движение, которое совершал он, творя обряды, давалось ему с трудом, и Гэндзи невольно посочувствовал ему: «В этом мире, непременно, словно утренняя роса, чего алкая, может он молиться?» Впрочем, скорее всего этот старик держит пост, готовясь подняться на священную вершину Митакэ»*.

— Хвалу возношу тебе, о Грядущий учитель... — бормотал старик.

— Прислушайтесь! Ведь вот и он не только об этой жизни помышляет, — растроганно сказал Гэндзи. —

Пойдем по пути,
Который нам открывает
Праведный муж.
Будут прочны и в грядущем
Узы, связавшие нас.

Клятва, данная когда-то в «чертоге Долголетия»*, вряд ли могла считаться хорошим предзнаменованием, вот Гэндзи и обратил свои мысли к грядущему миру будды Мироку, вместо того чтобы напомнить своей возлюбленной о «птиц неразлучной чете». Но не слишком ли опрометчиво давать подобные обещания, когда речь идет о столь отдаленном будущем?

Этот горький удел
Знаю, достался мне
От прошлых миров,
И как же трудно теперь
Уповать на грядущее...

Да, такую вот песню она сложила; видимо, уверенности в будущем у нее не было.

Луна замерла в нерешительности у самого края гор, а женщина все медлила: «Так сразу уехать неведомо куда...» Пока Гэндзи уговаривал ее, луна вдруг скрылась за облаком, светлеющее небо было прекрасно. «Надо ехать, пока совсем не рассвело». — И с обычной своей поспешностью Гэндзи вышел из дома. Легко приподняв женщину, он посадил ее в карету, туда же села Укон.

Остановившись у некоей усадьбы, расположенной неподалеку, Гэндзи велел вызвать сторожа. Заброшенные ворота заросли папоротником «синобу», купы деревьев в саду хранили густую тень. Все вокруг окутывал плотный туман, на листьях лежала обильная роса, и, приподнимая в карете занавеси, Гэндзи замочил рукава:

— Со мной никогда еще не случалось ничего подобного. Оказывается, не так-то просто...

Ужель в старину
Блуждали люди вот так же
По рассветной тропе?
А я до сих пор никогда
И не ступал на нее...

А с вами бывало когда-нибудь такое? — спрашивает Гэндзи, и женщина, робко потупившись, отвечает:

— Не знает луна,
Что таят далекие горы,
И склоняется к ним...
Ужель на небесном пути
Померкнет ее сиянье?

Мне так тревожно...

На лице ее отражаются страх и мучительная растерянность. «Наверное, ей кажется, что здесь слишком безлюдно, — думает Гэндзи, с умилением на нее глядя. — Она ведь не привыкла...»

Карету вводят во двор и, прислонив оглобли к перилам, оставляют стоять так, пока для гостей готовят Западный флигель. Укон, радостно оживленная, тайком вспоминает прежние времена. Увидев, как подобострастно склонился перед приехавшими сторож, она, разумеется, догадалась, кто их таинственный покровитель.

Сквозь туман начинают смутно проступать очертания предметов, когда гостей наконец приглашают в дом. Покои оказываются опрятными и изящно убранными — даром что готовились наспех.

— Не пристало господину обходиться без слуг, — укоризненно говорит сторож.

Это хорошо знакомый Гэндзи младший служитель Домашней управы, не раз прислуживавший ему в доме Левого министра. Войдя прямо в покои, он предлагает:

— Разрешите мне позвать кого-нибудь, как полагается?

Но Гэндзи сразу же замыкает его уста:

— Я нарочно подыскал дом, куда никто не заходит. Схорони и ты эту тайну на дне своей души.

Сторож спешит принести рис, но даже подать его некому. Непривычен Гэндзи этот случайный ночлег в пути, но остается лишь вспомнить о клятве реки Окинага (28).

Солнце было уже высоко, когда Гэндзи, встав, собственноручно поднял решетку.

Ничто не препятствует взору проникать в глубину запущенного, пустынного сада, туда, где темнеют беспорядочные купы деревьев. К самому дому подступают буйные травы — везде царит «запустенье осенних лугов» (29), пруд и тот зарос водорослями... Что и говорить, место унылое... Правда, небольшое строение, отделенное от главного дома, имеет жилой вид, и там, очевидно, кто-то есть, но оно так далеко отсюда.

— Как здесь дико! Но не бойтесь, со мной вам не страшны ни демоны, ни злые духи, — говорит Гэндзи.

Женщина явно обижена — ведь он до сих пор прячет свое лицо. «В самом деле, стоит ли скрываться?»

Случайно твой взор
Упал на цветок придорожный,
И его лепестки,
Вечерней росой увлажненные,
Перед тобою раскрылись.

— Ну как блеск росы? — спрашивает он. А она, взглянув искоса, еле слышно отвечает:

— Капли росы,
На «лик вечерний» упавшие,
Невиданным блеском
Сверкнули, но, может быть, в сумерках
Обманулся невольно мой взор...

— Чудесно! — восхищается Гэндзи.

Впрочем, про себя-то она подумала, что никогда еще не видала столь прекрасного лица. Потому ли, что место было такое унылое, или по какой другой причине, но только сегодня в облике Гэндзи проглядывало что-то почти нечеловеческое, повергающее окружающих в благоговейный трепет.

— А ведь я решил было не открываться вам в отместку за вашу собственную скрытность. Назовите же хоть теперь свое имя! Ваше молчание пугает меня... — просит Гэндзи, и женщина роняет в ответ:

— Увы, я «дитя рыбака»... (30).

Но Гэндзи мила даже ее сдержанность:

— Что ж, видно, не зря говорят: «Я сама...» (31).

Он то осыпает ее упреками, то ласкает, а день между тем склоняется к вечеру. Разыскав их, приходит Корэмицу и приносит угощение. Однако же, стесняясь Укон — что скажет она теперь? — в покои войти не решается.

Его забавляет, что Гэндзи настолько потерял голову. «Наверное, она действительно недурна. А ведь я и сам имел возможность к ней приблизиться, но уступил ему. Вот подлинное великодушие!» — думает Корэмицу не без некоторой досады.

Гэндзи любит поразительно тихим вечерним небом. Видя, что женщину пугает темнота внутренних покоев, он поднимает наружные шторы и устраивается у выхода на галерею, там, куда падают лучи заходящего солнца. Женщина не может отделаться от ощущения невероятности происходящего, но, глядя на Гэндзи, забывает все свои горести и перестает робеть, отчего становится еще прелестнее.

Весь день она льнет к Гэндзи, по временам вздрагивая от страха, и ее детская пугливость умиляет его. Пораньше опустив решетку, он велит зажечь светильник.

— Обидно, что даже теперь, когда нечего нам таить друг от друга, вы все-таки не хотите открыть мне свою душу, — пеняет он ей.

«Во Дворце, наверное, уже замечено мое отсутствие. Интересно, где меня разыскивают? — думает он. — Право, сколь непостижимы движения даже собственного сердца. Представляю, как огорчена особа с Шестой линии! Конечно, ее упреки справедливы, но как тяжело их слушать! — Взглянув с умилением на доверчиво обращенное к нему лицо, Гэндзи не может удержаться от сравнения: — Увы, если б и та была помягче...»

Ночь близилась к концу, когда Гэндзи наконец задремал. Внезапно он увидел у изголовья замечательной красоты женщину.

— Забыв о той, что отдала вам сердце, вы привезли сюда эту жалкую особу и дарите ее милостями своей любви. О, не снести мне такой обиды! — услышал он и увидел, что эта странная женщина склонилась над его возлюбленной и пытается ее разбудить.

Испугавшись, что они оказались во власти злого духа, Гэндзи проснулся — огонь в светильнике давно погас.

Охваченный страхом, Гэндзи обнажил меч и, положив его у изголовья, кликнул Укон. Та подошла, тоже дрожа от страха.

— Разбуди моих людей на галерее и вели им принести факелы, — распоряжается Гэндзи.

— Как же я пойду? Там темно, — пугается Укон.

— Что за детские страхи? — пеняет ей Гэндзи и, через силу улыбнувшись, хлопает в ладоши. Ему отвечает лишь эхо, от которого становится совсем жутко. Похоже, что никто не слышал его призыва, во всяком случае никто не приходит. Женщину бьет дрожь, и состояние ее не может не внушать опасений. Холодный пот струится по ее лицу, кажется, она вот-вот лишится чувств.

— Госпожа робка и пуглива, — говорит Укон. — Как же она должна теперь страдать!

«Она слишком хрупка, — думает Гэндзи, — даже днем все поглядывала на небо... Бедняжка...»

— Пойду сам разбужу людей. Невыносимо слушать это жуткое эхо. Побудь здесь, рядом с ней. — И, усадив Укон возле ложа, Гэндзи направляется к западной боковой двери, которую открыв видит, что света нет и снаружи. По галерее гуляет ветер, а многочисленная стража спит. Да и охраняли-то дом всего трое: сын сторожа, бывший доверенным слугой Гэндзи, мальчик-придворный и тот самый телохранитель, о котором уже говорилось. На зов Гэндзи один из них поднимается и подходит к нему.

— Принесите факелы. Людям же велите не переставая звенеть тетивой и громко кричать. Можно ли в столь пустынном месте спокойно предаваться сну? Мне казалось, что господин Корэмицу был здесь.

— Был, но удалился, сказав: «Коли нет во мне нужды, заеду за господином на рассвете».

Человек, к которому обратился Гэндзи, служил стражем Водопада*, а по сему он тут же направился к покоям сторожа, умело звеня тетивой и подкрепляя звон громкими криками: «Берегись огня, берегись!» Гэндзи невольно вспомнился Дворец. «Там теперь как раз миновал час переклички придворных, и настал черед стража Водопада». Да, судя по всему, было не так уж и поздно*.

Вернувшись в покои, Гэндзи приближается к ложу: женщина остается в прежнем положении, а подле ничком лежит Укон.

— Что это значит? Видно, страх лишил тебя разума. Конечно, в столь уединенных местах шалют иногда лисы и прочие твари, пугая людей, но я-то ведь рядом, так стоит ли их бояться? — говорит Гэндзи, пытаясь поднять перепуганную прислужницу.

— О ужас! Мне вдруг стало дурно, и я упала без памяти. Боюсь, что бедной моей госпоже не по силам такие испытания.

— Но что с ней?! — воскликнув, Гэндзи склоняется над женщиной, а она и не дышит.

Он принимается тормошить ее, но, покорно поддаваясь движениям его рук, она не обнаруживает никаких признаков жизни, и Гэндзи, отчаявшись, отступает: «Видно, какой-то злой дух воспользовался ее беспомощностью».

Наконец слуга приносит факел. Укон не может двинуться с места, поэтому Гэндзи, собственноручно придвинув стоящий рядом занавес, распоряжается:

— Подойди поближе.

Услышав столь необычное приказание, слуга растерялся*, не решаясь приблизиться, не смея даже порог переступить.

— Ближе, еще ближе, все хорошо в свое время, — торопит его Гэндзи, но вот свет факела освещает ложе, и у изголовья возникает женская фигура — та самая, которую он видел во сне; мелькнув неясной тенью, она тотчас исчезает. Да, такое бывает только в старинных повестях. Сердце Гэндзи замирает от страха, но сильнее страха — тревога за возлюбленную — что с нею? Забыв о себе, он ложится рядом, зовет ее, трясет, пытаясь привести в чувство, но тело ее холодеет, и скоро становится ясно, что это конец. Ах, если бы рядом с Гэндзи был человек, способный поддержать его своими советами! Разумеется, в таких случаях уместнее всего присутствие монаха, но увы... Несмотря на проявленную твердость, Гэндзи был совсем еще молод и, увидев, что его возлюбленная готова покинуть этот мир, растерялся. И только молил, сжимая ее в объятиях:

— Очнитесь, очнитесь же! Не будьте со мной так жестоки.

Но, увы, тело ее все холодеет, а вскоре начинают искажаться черты. Укон, которая до сих пор, остолбенев от ужаса, лишь молча смотрела на свою госпожу, разражается громкими рыданиями.

Гэндзи невольно вспоминается история с неким министром, которому угрожал злой дух из Южного дворца*, и, постаравшись взять себя в руки, он говорит:

— Нет, не может она вот так сразу умереть. О, как ужасны эти рыдания в ночи! Замолчи же! — уещевает он Укон, но, видно, происшедшее и для него самого было слишком большим потрясением. Призвав сына сторожа, Гэндзи говорит ему:

— Какой-то странный недуг внезапно овладел госпожой, я думаю, уж не злой ли дух тому виною? Вели гонцу, чтобы немедленно шел за господином Корэмицу. А если застанет там почтенного монаха Адзари, пусть и его попросит пожаловать. Да скажи, чтоб говорил потише, дабы не услыхала монахиня, она ведь всегда осуждала меня за подобные похождения.

Он держался довольно уверенно, но как же тяжело было у него на душе! Он чувствовал себя виноватым в смерти госпожи, к тому же в этом доме было так жутко.

Ночь близилась к концу. Подул неистовый ветер, громче прежнего зашумели сосны, раздался пронзительный крик какой-то неведомой птицы. «Может быть, это те самые совы?»* — невольно подумалось Гэндзи. Мысли одна другой тягостней теснились в его голове, помощи же ждать было неоткуда, вокруг не было ни души, даже человеческие голоса сюда не доносились.

«Для чего выбрал я это глухое место?» — раскаивался он, но, увы... Укон, ничего не понимая, не отходила от него ни на шаг и дрожала так, словно и сама готова была расстаться с этим миром. Тревожась: «Как бы и она...», Гэндзи крепко прижимал ее к себе. Только он один сохранял ясность мысли, но что он мог придумать? Огонь тускло мерцал, и в верхней части ширмы, стоявшей на границе главных покоев, сгущаясь, дрожали тени. Иногда ему чудились приближающиеся шаги, вдруг начинал скрипеть пол, словно кто-то шел по галерее. «Поскорее бы приходил Корэмицу!» — думал Гэндзи. Но поскольку никому не было известно точно, где тот ночевал, гонец долго разыскивал его повсюду, а рассвет никак не наступал, казалось, прошла уже тысяча ночей (32). Наконец вдалеке раздался крик петуха. «А ведь я и сам был недалек от гибели, — думал Гэндзи. — Чему в своей прошлой

жизни обязан я такому несчастью? Уже не возмездие ли это за мое легкомыслие, за непозволительные, недостойные помышления? Своим поведением я сам подаю повод к молве. Как ни таись, от людей ничего не скроешь, скоро слух о происшедшем дойдет до Государя, а там и по столице пойдут пересуды, и станут обо мне сплетничать испорченные юнцы. Кончится тем, что имя мое будет окончательно опорочено.

Наконец появился Корэмицу. Обыкновенно готовый в любое время дня и ночи исполнять прихоти своего господина, сегодня он, к величайшей досаде Гэндзи, оказался далеко и даже на призыв явиться откликнулся с опозданием. Все же Гэндзи велел ему войти, но не сразу нашел в себе силы рассказать о том, что произошло.

Весть о прибытии Корэмицу заставила Укон вспомнить, с чего все началось, и слезы снова покатались у нее по щекам. Гэндзи тоже утратил последний остаток сил. До сих пор он один сохранял присутствие духа и поддерживал Укон, но стоило появиться Корэмицу, как, словно впервые осознав всю тяжесть утраты, он предался горю. Долго плакал Гэндзи, не в силах остановиться. Затем, немного успокоившись, сказал:

— Тут у нас приключилось нечто весьма странное. Можно сказать даже, нечто невероятное, но, пожалуй, и этого слова недостаточно. Я слышал, что в таких чрезвычайных обстоятельствах положено читать сутру, и велел позвать монаха Адзари, дабы он совершил все необходимое и произнес положенные молитвы...

— Почтенный вчера удалился в горы. Но сколь все это неожиданно! Возможно, какой-то тайный недуг давно уже подтачивал ее?

— Да нет, ничего подобного. — Заплаканное лицо Гэндзи было прелестно и так трогательно, что Корэмицу тоже не мог удержаться от слез.

Надобно ли сказывать, что при столь горестном стечении обстоятельств весьма полезен человек пожилой, искушенный в житейских делах, а они оба были совсем еще молоды. Что они могли придумать? В конце концов Корэмицу сказал:

— Сторожа не стоит в это посвящать. Сам-то он человек верный, но ведь у него есть родные, и они могут проговориться. В любом случае прежде всего следует покинуть этот дом.

— Так, но более укромного места нам не найти.

— И в самом деле. Если вернуться на Пятую линию, дамы, обезумев от горя, начнут плакать и стенать, а как соседние дома населены весьма плотно, найдется немало местных жителей, готовых нас осудить, и молва об этом происшествии быстро распространится. Лучше всего перевезти госпожу в горный монастырь, уж там-то никто не обратит на нас внимания. — И, подумав немного, Корэмицу добавил: — Одна дама, которую я знал когда-то, недавно, став монахиней, перебралась к Восточным горам. Она была кормилицей моего отца, но теперь состарилась и решила уехать из столицы. Места там многочисленные, но живет она обособленно.

И вот под покровом предрассветной мглы к дому подвели карету. Гэндзи совсем лишился сил, и Корэмицу, завернув тело умершей в парчовую полстину, сам отнес его в карету. Женщина была хрупка и прелестна, даже теперь ничто в ее облике не пробуждало неприятного чувства, хотя, казалось бы... Корэмицу недостаточно умело завернул ее, и наружу выбивались бле-

стоящие пряди волос. Увидел их Гэндзи, и свет померк у него в глазах, а сердце мучительно сжалось. «Будь что будет, но я должен быть рядом с ней до конца!» — в смятении думал он. Однако Корэмицу был много мнения.

— Скорее берите коня, — заявил он, — и отправляйтесь в дом на Второй линии, пока дороги безлюдны.

Сам же усадил в карету Укон и, подвернув шаровары, пешком — коня-то ведь он отдал Гэндзи — отправился следом. Право, вряд ли ему приходилось когда-нибудь участвовать в столь странном погребальном обряде, но, видя истерзанное горестью лицо господина, он забывал о себе. А тот в беспмятстве добрался до дома на Второй линии.

— Откуда господин наш изволил вернуться? Он кажется таким измученным... — вопрошали домочадцы, но Гэндзи прошел прямо в опочивальню и лег. Мысли его были в беспорядке, и невыносимая тоска сжимала сердце: «Зачем не поехал я вместе с ними? Что она подумает, если жизнь вдруг вернется к ней? О, как горько будет ей сознавать, что я покинул ее». Вздохи теснили его грудь, в глазах темнело. Скоро почувствовал он боль в голове и сильный жар во всем теле. «Все так мимолетно в этом мире, — подумал он, — видно, и мой конец недалек».

Солнце поднялось совсем высоко, но Гэндзи не вставал. Дамы, недоумевая, предлагали ему угощение. Но он настолько пал духом, что отказывался даже от самой легкой пищи.

Между тем из Дворца прибыл гонец. Государь, которому не удалось вчера разыскать Гэндзи, изволил беспокоиться. Приходили и сыновья Левого министра, но Гэндзи удостоил беседой лишь То-но тюдзё:

— Подойди сюда, но не садись, — сказал он ему.

Разговаривали они через занавес*.

— Особа, бывшая прежде моей кормилицей, — говорит Гэндзи, — с Пятой луны нынешнего года занемогла тяжкою болезнью. Приняв постриг, она дала соответствующие обеты, и, быть может, поэтому стало ей лучше, но недавно болезнь возобновилась, и силы ее иссякают. «Навестите меня еще хоть раз», — передали мне ее слова, а как с младенческих лет находился я на ее попечении, жестоко было бы не откликнуться на ее просьбу теперь, когда жизнь ее подошла к своему крайнему пределу. Вот я и отправился к ней, но оказалось, что один из ее слуг, давно уже снедаемый каким-то недугом, в одночасье скончался, прежде чем его успели перевезти в другое место*. Позже я узнал, что из уважения ко мне они удалили его бранные останки из дома только к вечеру. Зная, что близится время торжественных богослужений, я подумал, что мое присутствие во Дворце будет весьма некстати. К тому же у меня с утра болит голова, возможно, я простудился. Надеюсь, мне простят мою неучтивость.

— Что ж, я так и передам, — отвечает ему То-но тюдзё. — Вчера вечером, когда во Дворце музицировали, Государь милостиво изволил разыскивать тебя повсюду и был весьма обеспокоен. — То-но тюдзё выходит, но тут же возвращается*. — Так что же это за скверна? Твой рассказ не показался мне достаточно убедительным, — замечает он, и Гэндзи, вздрогнув, отвечает:

— Тебе нет нужды рассказывать Государю все подробности, доложи просто, что я неожиданно столкнулся со скверной. Право, мое пренебрежение обязанностями своими заслуживает порицания.

За наружным спокойствием, которое Гэндзи напускал на себя, скрывалась мучительная, неизъяснимая тоска. Он чувствовал себя совсем больным и не хотел никого видеть. Лишь призвав Куродо-но бэн, настоятельно попросил его доложить обо всем Государю. Затем отправил гонца в дом Левого министра: мол, не может прибыть, ибо такая вот неприятность с ним приключилась.

Когда стемнело, явился Корэмицу.

— Осквернен, уж не обессудьте, — говорил Гэндзи всем, кто приходил его навестить, и гости удалялись, не присаживаясь, поэтому в доме было безлюдно. Призвав Корэмицу, Гэндзи спрашивает его:

— Что? Неужели в самом деле конец? — И закрывается рукавом, чтобы скрыть слезы. Глядя на него, плачет и Корэмицу.

— Да, надеяться больше не на что. Мне неудобно было так долго оставаться там. Но я договорился обо всем с почтенным старым монахом, давним моим знакомцем, и, поскольку завтра день благоприятный... — общается он Гэндзи.

— А женщина, которая была с нею?

— Вряд ли и она выживет. Все твердит, словно лишившись рассудка: «Не останусь здесь без госпожи...» Утром я боялся, как бы не пришла ей в голову мысль «броситься вниз в ущелье» (496). Потом ей взбрело в голову пойти и рассказать обо всем домашним. Я с трудом удержал ее, говоря: «Подождите, сначала надо все хорошенько обдумать», — рассказывает Корэмицу, а Гэндзи слушает, тяжело вздыхая.

— Я и сам чувствую себя совсем больным, — признается он, — неизвестно еще, каковы могут быть последствия.

— Что горевать теперь? Все предопределено судьбой, — возражает Корэмицу. — Я позабочусь о том, чтобы никто ничего не узнал. Доверьтесь мне.

— Да, ты прав. И все же слишком тягостно сознавать, что я взвалил на себя бремя такой вины, что мимолетная прихоть моего непостоянного сердца стоила ей жизни. Прошу тебя, не рассказывай ничего госпоже Сёсё. А уж тем более монахине, она не раз предостерегала меня, мне будет очень стыдно...

— Не только им, но и монахам я все представил в несколько ином свете, — заверяет Корэмицу, и Гэндзи во всем полагается на него. Дамы, уловившие, что произошла какая-то неприятность, недоумевают:

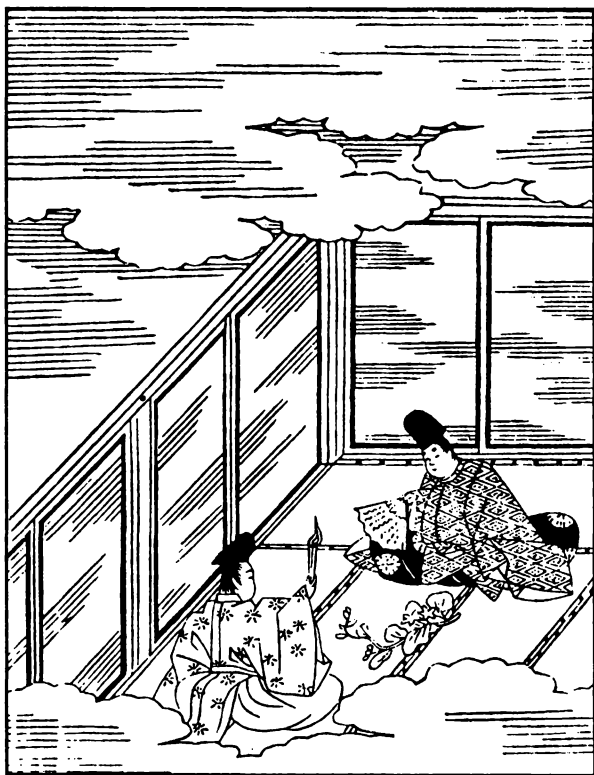
— Странно. Что же случилось? Говорит, будто осквернился, даже во Дворец не ходит, только шепчется о чем-то с Корэмицу и плачет...

— Проследи, чтобы все прошло как положено. — И Гэндзи напоминает Корэмицу, какие должны быть совершены обряды.

— Не извольте беспокоиться. К тому же в данном случае не может быть и речи о какой бы то ни было пышности, — отвечает тот, готовый двинуться в путь, и Гэндзи становится совсем грустно.

— Боюсь, что ты сочтешь мое поведение неразумным, но я буду в полном отчаянии, если не увижу хоть раз еще ее бранные останки. Я поеду верхом... — говорит он, и Корэмицу, подумав про себя: «Что за нелепое желание!», отвечает:

— Коль скоро вы решились, не смею останавливать вас. Но мы должны выезжать немедленно, дабы вернуться до наступления темноты.



Переодевшись в охотничье платье, нарочно сшитое недавно для тайных походов, Гэндзи собрался в путь. Мысли его были расстроены, невыносимая тоска сжимала сердце. Хотя и решился он на столь необычное путешествие, все же, помня о пережитой недавно опасности, не мог избавиться от мучительных сомнений. Но слишком велико было его горе: «Коль не теперь, то когда, в каком мире увижу ее лицо?» И, преодолевая страх, Гэндзи отправился в путь, по-прежнему сопровождаемый Корэмицу и тем самым телохранителем.

Им казалось, что ехали они очень долго. На небо выплыла семнадцатидневная луна. Скоро они достигли реки, тускло светились факелы в руках у передовых, вдали виднелась вершина горы Торибэ. Казавшаяся всегда такой злобшей, сегодня она не произвела на Гэндзи ровно никакого впечатления: он был в таком смятении, что окружавшие предметы нисколько не занимали его.

Монахиня жила в месте, которое производило весьма мрачное впечатление, но само жилище — крытая деревом хижина и небольшая молебеня рядом — было полно неизъяснимого очарования. Сквозь стены пробивались отблески священного огня. В хижине одиноко плакала женщина, а снаружи несколько монахов беседовали и нарочито приглушенными голосами шептали молитвы Будде. В окрестных храмах уже закончились вечерние службы* и было тихо. Только у храма Киёмидзу* мерцали огоньки и виднелись человеческие фигуры.

Досточтимый монах, сын монахини, торжественно произносил слова сутры, и Гэндзи показалось, что ему никогда не удастся осушить слез. Войдя в хижину, он увидел, что светильники отодвинуты в сторону, а Укон лежит за ширмой. «Бедняжка, как ей тоскливо, должно быть!» — подумал Гэндзи. Взглянув на умершую, он не ощутил неприязни, напротив, она показалась ему прелестной, совсем такой же, как прежде.

Взяв ее руку, Гэндзи зарыдал:

— О, если б я мог хоть раз еще услышать твой голос! Что такого совершили мы в прошлом, за что ниспослано нам это наказание? Зачем так долго дано мне было любить тебя? Для чего оставила ты меня одного, ввергнув в бездну отчаяния? О горе!

Слезы нескончаемым потоком текли по его щекам. Почтенные монахи, не ведая, кто перед ними, только дивились и тоже роняли слезы.

— Ты поедешь со мной в дом на Второй линии, — сказал он Укон, но она ответила, захлебываясь от рыданий:

— С самого раннего детства я питала к госпоже своей нежную привязанность и ни на миг не расставалась с ней, так куда же пойду я теперь, когда она покинула меня столь внезапно? Мне придется рассказать остальным прислужницам о том, что случилось. И без того тяжело, а они поднимут шум, будут винить меня во всем. О, если б я могла стать дымом и последовать за нею!

— Горе твое понятно, но так уж устроен мир. Разлука не может не печалить, но раньше ли, позже ли каждый из нас придет к своему жизненному пределу. Так что утешься и доверься мне, — увещевал ее Гэндзи, но тут же признался:

— Ах, ведь и я вряд ли сумею пережить это горе...

Воистину, ненадежная опора.

— Ночь близится к рассвету. Пора возвращаться, — напоминал Корэмицу, и Гэндзи с сердцем, стесненным от горести, вышел, то и дело оглядываясь.

Дорога была покрыта росой, окрестности тонули в густом утреннем тумане, так и казалось — блуждаешь неведомо где. Гэндзи вспоминал, как она лежала, ничуть не изменившаяся, прикрытая его алым платьем, тем самым, которым накрывались они и в ту, последнюю ночь. «Чем навлек я на себя эту беду?» — размышлял Гэндзи. Он с трудом держался в седле, и ехавшему рядом Корэмицу приходилось поддерживать его. Около плотины Гэндзи, соскользнув с коня, все-таки упал и, придя в еще более мрачное расположение духа, воскликнул:

— Ужели суждено мне остаться здесь и вечно блуждать по этой дороге? Боюсь, что не смогу и до дома добраться...

Услыхав эти слова, Корэмицу растерялся: «Мне следовало бы прояснить твердость и не брать его с собой, невзирая на самые настоятельные просьбы».

Положение и в самом деле было отчаянное. Не зная, что предпринять, Корэмицу омыл в реке руки и принялся возносить молитвы богине Каннон, покровительнице храма Киёмидзу. В конце концов Гэндзи удалось обрести присутствие духа, и, творя про себя молитвы Будде, опираясь на верного Корэмицу, он добрался до дома на Второй линии. Встрешенные столь необычно поздним возвращением господина, дамы сетовали, вздыхая:

— И что за беда такая! В последнее время господин наш совсем лишился покоя, не проходит и ночи, чтобы он не уехал куда-нибудь тайком. Вот и вчера совсем измученный вернулся, так для чего надо было снова уезжать?

Что ж, они были правы. Гэндзи слег, и ему становилось все хуже. Прошло дня два или три, и стало заметно, что силы его угасают. Слух о том дошел до Дворца, всех встревожив безмерно. В разных храмах беспрестанно заказывались молебны, невозможно и перечислить все богослужения, очистительные и прочие обряды. Несравненная красота Гэндзи приводила людей в трепет, и мог ли кто-нибудь остаться равнодушным теперь, когда по Поднебесной разнеслась тревожная весть: «Верно, недолго осталось ему жить...»

Несмотря на нездоровье, Гэндзи не забыл Укон и, призвав ее к себе, выделил ей покои рядом со своими и ввел в число прислужниц. Корэмицу, как ни тяжело было у него на сердце, тоже делал все возможное, дабы помочь ей свыкнуться с новыми обязанностями, да и мог ли он не принять в ней участия, ведь она осталась без всякой поддержки. Как только болезнь немного отпускала, Гэндзи, призвав к себе Укон, давал ей различные поручения, и она весьма быстро освоилась в доме. Облаченная в черное платье, эта молодая особа не отличалась миловидностью, но совсем уже непривлекательной ее тоже назвать было нельзя.

— Сколь неожиданно кратким оказался наш союз! Вряд ли и я, связанный с нею клятвой, задержусь в этом мире надолго. Ты же потеряла свою единственную опору и не можешь не страдать от одиночества. О, когда б только суждено мне было остаться в живых! Я постарался бы облегчить твою горе своими попечениями, но, увы, боюсь, что и я скоро последую за ней. Печально, право, — слабым голосом говорил он Укон и тихонько плакал. Глядя на него, она забывала о своем горе — ведь госпожу уже не вернешь, — и жалость к Гэндзи сжимала ее сердце.

Обитатели дома на Второй линии, словно почву потеряв под ногами, метались в тревоге. Гонцы из Дворца стремились сюда нескончаемым потоком. Крайнее беспокойство, выказываемое Государем, заставляло Гэндзи напрягать все свои душевные силы, дабы превозмочь болезнь. Левый министр, окружив зятя неусыпными попечениями, ежедневно приходил справиться о его здоровье, заказывал необходимые в таких случаях молебны — и, как знать, может быть, именно благодаря неустанным заботам окружающих тяжкий недуг, снедавший Гэндзи более двадцати дней, начал отступать, и скоро всякая опасность миновала. Тут как раз подошел к концу срок Удаления от скверны, и Гэндзи, желая избавить Государя от дальнейшего беспокойства, перебрался в свои дворцовые покои. Левый министр привез зятя в собственной карете, по дороге изрядно утомив его наставлениями о необходимости соблюдать разного рода воздержания. Гэндзи долго еще не мог прийти в себя, все казалось ему, что он возродился в ином мире.

К Двадцатому дню Девятой луны Гэндзи вполне оправился, и о перенесенной болезни напоминало лишь сильно осунувшееся лицо. Впрочем, худоба придавала ему, пожалуй, еще большее очарование.

Целыми днями Гэндзи сидел, вздыхая, и слезы катились по его щекам. Это не укрылось от внимания прислуживающих ему дам, и они забеспокоились:

— Уж не злой ли дух овладел господином?

В тихие вечерние часы Гэндзи полюбил, призвав к себе Укон, беседовать с ней.

— И все-таки странно... — говорил он. — Отчего она так таилась? Боялась, как бы я не узнал ее имени? Пусть даже она и в самом деле «дитя рыбака», стоило ли скрываться от меня? Или она не понимала, сколь велика моя нежность к ней? Ее недоверие — вот что обижало меня больше всего.

— Помилуйте, да разве могли у нее быть сколько-нибудь важные причины таиться? Просто случая не было, а то госпожа наверняка назвала бы вам свое незначительное имя. Сначала она никак не могла опомниться, столь невероятным казался ей союз с вами. «Просто не верится, что все это наяву, — говорила она. — Он не открывает мне своего имени, но, видно, этого требует его положение...» И все же она страдала, думая, что вы просто пренебрегаете ею, — рассказывала Укон.

— Как же нелепо, что мы старались превзойти друг друга в скрытности! — сокрушался Гэндзи. — У меня вовсе не было намерения скрывать свое имя, просто я не привык еще совершать поступки, которые считаются предосудительными. Государь неустанно наставляет меня, стараясь укрепить в благонравии, да и высокое положение сковывает свободу действий. Любая шутка, случайно слетевшая с моих губ, тут же подхватывается молвой, приобретая ложную значительность. Словом, живется мне нелегко. А твоя госпожа с первой встречи завладела моей душой, какая-то неодолимая сила влекла меня к ней. Во всем, что произошло, видится мне предопределение. Эта мысль умиляет и печалит меня, но в ней же — источник нестерпимой горечи. Для чего она пленила мое сердце, ежели судьбе угодно было связать нас на такой короткий срок? Расскажи же мне о ней все, что знаешь. Стоит ли скрывать теперь? Через каждые семь дней надобно будет писать имена будд*, но для кого? И о ком мне молиться?

— Разве могут быть у меня от вас тайны? Да, до сих пор я молчала, полагая, что не пристало мне после кончины госпожи легкомысленно разглашать то, что сама она предпочитала держать в тайне, но теперь... — отвечала Укон. — Родители ее рано ушли из этого мира. Отец, имея чин тюдзё и Третий ранг, прозывался Самми-но тюдзё. Он нежно любил дочь, но, видно, пришлось ему претерпеть немало невзгод, связанных с продвижением по службе, и недостало сил влачить эту жалкую жизнь. Вскоре после того как его не стало, случай свел ее с господином То-но тюдзё (тогда он был еще сёсё). Около трех лет дарил он ее своим вниманием, но вот осенью прошлого года из дома Правого министра* пришло письмо, полное угроз и оскорблений, и моя робкая госпожа, потеряв голову от страха, поспешила укрыться у своей кормилицы в Западном городе*. Однако жить в столь неприглядном месте было ей не под силу, и она решила перебраться куда-нибудь в глухое горное селение, а поскольку в нынешнем году это направление оказалось под запретом*, временно поселилась в том жалком жилище. Ах, как она страдала, что вы обнаружили ее там! Госпожа была очень застенчива и больше всего на свете боялась, что кто-нибудь может проникнуть в ее тайные думы. Наверное, поэтому она и показалась вам слишком скрытной.

«Да, так и есть», — думал Гэндзи, сопоставляя ее рассказ с историей, когда-то услышанной от То-но тюдзё, и с еще большей нежностью вспоминал ушедшую.

— То-но тюдзё сетовал, что никак не может найти дитя, — сказал он. — Значит, в самом деле...

— Так, позапрошлой весной у нее родилась девочка, и премилая.

— Где же она теперь? Привези ее сюда, никого не ставя о том в известность. Я был бы счастлив получить прощальный дар от той, чью утрату никогда не перестану оплакивать, — просил Гэндзи. — Я понимаю, что следовало бы сообщить обо всем То-но тюдзё, но не хочу навлекать на себя необоснованные упреки. Так или иначе, коли возьму я это дитя к себе, кто посмеет меня осудить? Постарайся же придумать какой-нибудь убедительный предлог для кормилицы — ведь есть же у нее кормилица? — и привези девочку сюда.

— А как я была бы этому рада! — отвечала Укон. — Мне невыносима мысль, что дочери моей госпожи придется расти в Западном городе. Не нашлось никого, кому можно было бы доверить ее воспитание, вот и пришлось отдать кормилице...

Этот тихий вечерний час был исполнен особенного очарования. Трава в саду перед домом уже засохла, еле слышно звенели насекомые, а листья на деревьях сверкали яркими красками — словом, красиво было, как на картине. Любуясь садом, Укон подумала: «Чаяла ли я когда-нибудь, что буду жить среди такого великолепия?» Ей стыдно было даже вспоминать бедное жилище за изгородью, увитой цветами «вечерний лик».

Из зарослей бамбука донеслись не очень благозвучные стоны домашних голубей, и перед мысленным взором Гэндзи возникла прелестная фигурка ушедшей: как напугали ее эти птицы в том заброшенном доме!

— Сколько же ей было лет? Она казалась удивительно хрупкой, слабой, я никогда не встречал подобной женщины. Но, может быть, причина в том, что дни ее были уже сочтены?

— Госпоже едва исполнилось девятнадцать. Когда ее кормилица, а моя мать, покинув нас, перешла в мир иной, отец моей госпожи, господин Самми-но тюдзё, взял меня к себе, и я выросла вместе с его дочерью, ни на миг не разлучаясь с ней. А теперь... Ужели я смогу и дальше жить в этом мире? Право, не зря говорят: «Не спеши привыкать» (33). И в ней, такой слабой, такой беспомощной, я все эти долгие годы видела свою единственную опору.

— Своей беспомощностью женщины и пленяют. Я не знаю мужчины, который ценил бы супругу свою за властный и твердый нрав, — заметил Гэндзи. — Вот я, например, будучи человеком мягким и нерешительным, всегда предпочту женщину робкую, застенчивую, готовую в любых обстоятельствах — даже если ей грозит опасность быть обманутой — покориться воле мужа. Такую можно воспитать по своему усмотрению, и она никогда не потеряет очарования.

— Именно такой женщиной была моя госпожа, — вздыхая, отвечала Укон. — Ах, какое горе, какое горе! — И она залилась слезами.

Небо затянулось тучами, подул холодный ветер. Задумчиво глядя куда-то вдаль, Гэндзи сказал, словно про себя:

— Почудится вдруг:
То не тучка вдали, а дым
От костра погребального...
И таким неожиданно близким
Ночное покажется небо.

Но Укон и ответить не могла. «Ах, если б госпожа была здесь», — подумала она, и сердце ее тоскливо сжалось.

Теперь Гэндзи вспоминал с нежностью даже назойливый стук вальков, услышанный тогда в ее доме. Так, «самые длинные ночи...»* — произнес он, укладываясь на ложе.

Иногда к нему навещался Когими, однако Гэндзи больше не передавал через него писем, как бывало прежде, и супруга Иё-но сукэ с сожалением думала о том, что он, вероятно, окончательно разочаровался в ней. Но тут пришла весть о его болезни и чрезвычайно ее опечалила. Мысль о предстоящем отъезде в дальнюю провинцию приводила ее в отчаяние, хотя, казалось бы... И вот решила она испытать: помнит ли он ее или уже забыл?

«До меня дошел слух о Вашей болезни. Могу ли выразить словами...

Ты мне не пишешь,
На мое молчанье не сетуешь,
День проходит за днем...
Ах, когда бы ты знал, какое
Смятение царит в душе...

О, как верно сказано: «Меньше всех на земле...» (34)» — вот что написала она Гэндзи.

Послание это было для него приятной неожиданностью. Впрочем, Гэндзи часто вспоминал о ней.

«Стоит ли продолжать?... (34) — спрашиваете Вы. Но подумайте, кто из нас имеет большее право...

Я изведal давно:
Безотраден наш мир, пустой,
Как скорлупка цикады.
Но на легких крыльях слов твоих
Ко мне снова вернулась жизнь.

Да, все так зыбко...»

Он писал неверной рукой, изобличающей телесную и душевную слабость, что, впрочем, сообщало его почерку необыкновенную изысканность. Значит, не забыл Гэндзи «скорлупку цикады» — и в сердце женщины печаль мешалась с радостью.

Так вот обменивались они посланиями отнюдь не без взаимной приязни, но супруга Иё-но сукэ не допускала и мысли о возможности более близких отношений. Очевидно, ей просто не хотелось, чтобы Гэндзи счел ее вовсе не достойной своего внимания...

Между тем до Гэндзи дошел слух, что ту, вторую, женщину, которую он встретил когда-то в доме правителя Кии, начал посещать Куродо-но сёсё. «Странно! — удивился он. — Интересно, как бы он отнесся?...» Не желая

ранить чувства Куродо-но сёсё и вместе с тем не в силах противиться искушению узнать что-нибудь о его супруге, Гэндзи решился передать ей с Когими письмо.

«Знаете ли Вы, что я умираю от тоски?..

Мискант у стрехи,
С ним связал я судьбу однажды.
А когда б не связал,
Не пришлось бы росой упреков
Теперь его листья кропить».

Прикрепив письмо к длинному стеблю мисканта, Гэндзи, наставляя юного гонца своего, сказал:

— Смотри, чтоб тебя никто не заметил.

А сам подумал: «Даже если мальчик допустит оплошность и письмо упадет в руки Куродо-но сёсё, тот догадается, что это был я, и она наверняка будет прощена». Поразительная самонадеянность, не так ли?

Когими передал женщине послание Гэндзи, когда Куродо-но сёсё не было рядом, и она так обрадовалась — хотя и смутилась, конечно, — что не задумываясь ответила письмом, неумелость которого объясняется отчасти тем, что отвечать пришлось слишком быстро:

«Ветра нежный порыв
Надежду вселяет, но все же
Слишком низко растет
Мискант, и листья его,
Увядают, блекнут от инея...»

Несовершенство почерка она постаралась возместить нарочитой изощренностью, но изящества в письме не было. Гэндзи мысленно представил себе ее лицо, озаренное огнем светильника. «А та, другая, чинно сидела напротив, и одного взгляда довольно было, чтобы понять — забыть ее будет нелегко. Эта же, не проявляя особой душевной тонкости, веселилась и болтала не переставая, вполне довольная собой», — вспоминал он, но, судя по всему, и дочь Иё-но сукэ не оставила его равнодушным. Так, видно, оказался «напрасен урок», и он готов был «снова для толков досужих дать повод» (35)...

На сорок девятый день Гэндзи тайно справил все положенные обряды в павильоне Цветка Закона на горе Хиэ*. Он уделил особое внимание подготовке одеяний для монахов, необходимых пожертвований и прочего, не говоря уже о дарах для читавших сутры. Украшения для свитков со священными текстами и для картин с изображениями будд поражали великолепием.

Брат Корэмицу, монах Адзари, славный благочестием своим, позаботился о том, чтобы все церемонии были проведены наилучшим образом. В свою очередь, Гэндзи призвал магистра словесности, своего наставника в китайских науках, с которым был в доверительных отношениях, и, попросив помочь ему с поминальными молениями, показал текст, уже составленный им самим, где в трогательных весьма выражениях изъяснялась надежда на то, что будда Амида примет душу некогда любезной ему, Гэндзи, особы, об имени которой он вынужден умолчать.

— Пусть так и остается, — сказал магистр. — К этому уже ничего не добавишь.

Как ни сдерживался Гэндзи, слезы неудержимым потоком текли по его щекам, и, видя его в таком горе, магистр недоумевал: «Кто же она? Я не слышал, чтобы в мире называли какое-то имя... Видно, не простой судьбы эта женщина, раз ее кончина заставляет господина так сокрушаться».

А Гэндзи, вытащив тайком приготовленные хакама*, произнес:

— Обливаясь слезами,
Я сегодня стяну потуже
На платье шнурки.
Но когда, в каком из миров
Развязать их удастся снова?

«О, по какой из дорог определено устремиться ее душе, до сих пор блуждавшей в этом мире?»* — думал он, проникновенно повторяя слова молитвы.

Теперь при встречах с То-но тюдзё у Гэндзи почему-то начинало сильно биться сердце, его обуревало желание рассказать другу о том, как подрастает маленькая гвоздичка, но, страшась упреков, он не решался даже намекнуть...

Обитательницы дома с цветами «вечерний лик» тревожились, не понимая, куда исчезла их госпожа, но тщетно пытались они отыскать ее следы. Укон тоже не появлялась, и дамам оставалось лишь недоумевать и печалиться. Ничего определенного они, разумеется, знать не могли, но, догадавшись по некоторым признакам, кто именно навещал их госпожу, тихонько делились друг с другом догадками и упрекали Корэмицу, но тот ходил как ни в чем не бывало и, отделяваясь пустыми отговорками, по-прежнему не упускал случая поразвлечься, так что дамы жили словно во сне. «Может быть, сын какого-нибудь наместника воспыал к госпоже нежными чувствами и, страшась гнева господина То-но тюдзё, увез ее к себе в провинцию?» — гадали они. Дом, в котором они поселились, принадлежал дочери кормилицы, проживавшей в Западном городе. У кормилицы этой было трое детей, Укон же никак не была с ними связана.

— Мы ей чужие, должно быть, поэтому она и сочла возможным оставить нас в неведении, — сетовала хозяйка. Укон между тем боялась навлечь на себя гнев остальных прислужниц, к тому же она хорошо знала, что Гэндзи не желает предавать дело огласке, и не решалась разузнавать даже о девочке. Шло время, а обитательницы дома на Пятой линии по-прежнему недоумевали, не ведая, куда исчезла их госпожа.

Гэндзи же был безутешен. «Когда б хоть во сне...» — думал он, денно и ночью оплакивая свою утраченную возлюбленную. Но вот закончились поминальные службы, и на следующую же ночь явился ему призрак женщины, которую видел он в тот страшный миг у изголовья ушедшей: да, это, несомненно, была она. «Видно, злой дух, обитающий в том уединенном жилище, почему-то преследует меня. Из-за этого все и случилось», — подумал Гэндзи, и неизъяснимый ужас охватил его.

На Первый день Десятой луны Иё-но сукэ должен был выехать в свою провинцию. Зная, что вместе с ним едут дамы, Гэндзи особое внимание уде-

лил подготовке прощальных даров. Никому о том не сообщая, он тайком отослал в дом Иё-но сукэ изящные, прекрасной работы гребни, веера*, с многозначительной заботливостью подготовил приношения для храма. Среди прочего было и то самое платье...

Как чудесный залог
Я хранил это платье, надеясь
На новую встречу.
Взгляни на его рукава —
Они истлели от слез...

Были в его письме еще кое-какие подробности, но вряд ли стоит на них останавливаться. Посланец Гэндзи вернулся без ответа, зато позже женщина сама прислала Когими с письмом, в котором говорилось только о платье:

«Цикада
Свои крылья сменила на новые.
Этот летний наряд
Возвратился ко мне, на него
Не могу я глядеть без слез».

«Воистину, редкая для женщины твердость духа! Она так решительно отвергла меня, а теперь еще и уезжает...» — подумал Гэндзи.

В первый день зимы, как полагается в такую пору, сеял холодный дождь, а небо было исполнено печального очарования. До самого вечера Гэндзи просидел, погруженный в раздумья:

Навеки ушла
Одна, а сегодня другая
Меня покидает —
В путь неблизкий пустились обе
На исходе осенней поры.

Только теперь он вполне постиг, сколько страданий влечет за собой тайная страсть.

Поскольку подобные истории могли дать повод к злословию, Гэндзи старался тщательно их скрывать, я же, сочувствуя ему, тоже не хотела поначалу описывать эти события, но нашлись люди, которые сочли мою повесть пустой выдумкой. «Что ж получается, — говорили они, — только потому, что он сын Государя, все, даже те, кому известно истинное положение вещей, наперебой восхваляют его совершенства, а недостатки замалчивают?»

Боюсь только, что теперь мне трудно будет избежать обвинений в нескромности...





ЮНАЯ МУРАСАКИ

Основные персонажи

Тюдэ (Гэндзи), 18 лет

Куродо, сын правителя Харима (Ёсикиё) — приближенный Гэндзи

Корэмичу — сын кормилицы Дайни, приближенный Гэндзи

Монах Содзу — брат бабки Мурасаки

Бывший правитель Харима (Вступивший на Путь из Акаси)

Монахиня — бабка Мурасаки, около 40 лет

Девочка (Мурасаки), около 10 лет

Сёнагон — кормилица Мурасаки

Адзэти-но дайнагон — дед Мурасаки

Принц Хёбукё (принц Сикибукё) — отец Мурасаки

То-но тюдзё — сын Левого министра, брат Аои, супруги Гэндзи

Куродо-но бэн — сын Левого министра

Государь (император Кирицубо)

Левый министр — тесть Гэндзи

Молодая госпожа из дома Левого министра (Аои), 22 года — супруга Гэндзи

Принцесса из павильона Глицинии (Фудзицубо), 23 года — наложница императора Кирицубо

Госпожа Омёбу — прислужница Фудзицубо

Бэн — прислужница Фудзицубо, дочь ее кормилицы

ГЭНДЗИ страдал от жестокой лихорадки, и великое множество монахов призывалось для свершения молитв и заклинаний, но признаков улучшения все не было, болезнь снова и снова возвращалась к нему, и вот однажды кто-то сказал:

— Я слышал, что в Северных горах, Китайяма, при каком-то монастыре живет некий премудрый монах — свершитель молитв. Минувшим летом, когда по миру ходили болезни и оказались бессильными заклинания других врачей, а

многих сумел он исцелить. Следует немедленно прибегнуть к его помощи, нельзя допускать, чтобы недуг совершенно овладел господином.

Послал тогда Гэндзи за монахом, но, увы:

— Обремененный летами и недугами, давно уже не покидаю я своей хижины, — ответствовал старец.

«Как же мне быть? Поеду к нему сам, тайно», — решил Гэндзи и, сопровождаемый тремя или четырьмя самыми верными своими прислужниками, чуть свет отправился в путь.

Монастырь же тот находился далеко в горах. Третья луна была на ущербе, и в столице давно миновала пора цветения, но горные вишни стояли в полном цвету (36). Чем дальше в горы уводила путников дорога, тем прекраснее становились очертания стелющейся по склонам дымки, и Гэндзи наслаждался пленительными пейзажами, совершенно новыми для него, ибо, будучи человеком высокого звания, он почти никогда не покидал столицы.

Вид самого монастыря тоже был полон очарования. Достойный отшельник жил высоко среди горных вершин и диких утесов. Поднявшись к его келье, Гэндзи не назвал себя, но, несмотря на скромное платье, старец сразу же угадал в нем знатную особу и, изумленный, сказал, с улыбкой глядя на гостя:

— О, заслуживаю ли я... Это вы, верно, присылали за мною? Увы, давно уже не помышляю я о делах мирских, и правила свершения чудотворных молитв — исчезли они из памяти. А вы изволили сами почтить меня... Не напрасно ли?

Этот монах был известен в мире своими добродетелями. Пока, приготовив все, что надобно было приготовить, подносил он Гэндзи свои снадобья, пока свершал необходимые обряды, солнце поднялось довольно высоко. Выйдя за миг наружу, Гэндзи окинул взглядом горы: с высокой вершины, на которой он находился, были ясно видны разбросанные внизу монашеские кельи.

— Взгляните, вон вьется по склону тропа, а дальше — тростниковая изгородь, такая же, как и остальные, но отмеченная особым изяществом. За ней — опрятный домик с галереей, а рядом в саду — красивые деревья. Хотел бы я знать, кто там живет? — обращается Гэндзи к своим спутникам, и один из них отвечает:

— Жилище это принадлежит некоему Содзу, монаху-настоятелю. Уже два года живет он здесь затворником.

— Вот оно что... Боюсь, что в столь неприглядном виде не совсем прилично показываться ему на глаза, — сетует Гэндзи. — Надеюсь, он не узнает...

Сверху хорошо видно, как из домика с галереей стайкой выбегают милотвидные девочки-служанки, подносят священную воду*, собирают цветы.

— Похоже, что в доме есть и женщина.

— Не может быть, чтобы монах-настоятель...

— Кто же она? — переговариваются спутники Гэндзи. Некоторые спускаются вниз и сияются разглядеть что-нибудь.

— Там в домике — прелестная девочка, молодые прислужницы, служанки, — сообщают они.

Пока творились обряды, солнце поднялось совсем высоко, и Гэндзи с тревогой ждал обычного возвращения болезни, но тут один из спутников его говорит:

— Господину следовало бы отвлечься от мрачных мыслей.

Выйдя на горный склон позади кельи, Гэндзи устремляет взор в сторону столицы.

— Весенняя дымка застилает окрестности, а сквозь нее неясно проступают купы деревьев... Совсем как на картине. Право, живущему здесь не о чем сожалеть, — молвил Гэндзи.

— В этих горах нет ничего необыкновенного, — отвечает кто-то из его приближенных. — Вот если бы довелось вам узреть моря и горы других провинций, вы наверняка достигли бы еще большего совершенства в живописи. О да, гора Фудзи, вершина такая-то...

Другие, желая развлечь его, восхваляют живописные заливы и скалистые берега Западных земель*.

— Из близлежащих мест заслуживает внимания бухта Акаси в провинции Харима. Ничего особенного в этой бухте вроде бы нет, но стоит окинуть взглядом морскую гладь — и на тебя нисходит удивительное, небывалое умиротворение... Замечателен и дом прежнего правителя, не так давно принявшего обет* и имеющего единственную дочь, которой воспитание составляет главнейший предмет его попечений. Сам он из семьи министра, все прочили ему блестящее будущее, но, оказавшись человеком весьма причудливого нрава, он не смог служить во Дворце и отказался от звания тюдзё, после чего в соответствии с собственным желанием получил назначение на должность правителя Харима, но и там, видно, не сумел прижиться. «Возвращение в столицу несовместно с моей честью», — заявил он и принял обет. Но и тут повел себя странно, не так, как принято в мире: не стал искать уединения в горной глуши, а поселился на берегу моря. В провинции Харима немало мест, куда человек может удалиться от мирской суеты, но, наверное, его супруга и дочь не пожелали влачить дни средь горных вершин, вдалеке от человеческого жилья. А может быть, он надеялся, что ему удастся изгладить в своем сердце память о прошлых неудачах...

Не так давно, попав в Харима, я заехал его навестить, и что же — этот человек, не сумевший занять достойного положения в столице, имеет там прекрасное, даже, можно сказать, роскошное жилище, чем, несомненно, обязан своей должности правителя, на которой находясь успел обеспечить себя имением, достаточным для того, чтобы в довольстве прожить остаток лет. Он отдает немало сил заботам и о будущей жизни, так что принятие обета оказало на него весьма благотворное влияние.

— А что же дочь? — спросил Гэндзи.

— Она недурна и лицом, и нравом. Правители той земли один за другим устремляли к ней свои думы и пытались заручиться согласием ее родителя, но он отказывал всем, дочери же говорил: «Пусть сам я и пал столь низко, ты у меня одна, и для тебя желаю иной доли. Когда же чаяния мои окажутся тщетными и я покину мир, так и не обеспечив твоего будущего, ты должна будешь броситься в море».

Занимательная история, не правда ли? Гэндзи выслушал ее с немалым интересом.

— Значит, этот попечительный родитель прочит дочь свою в супруги Морскому Дракону? — осведомился кто-то из приближенных.

— Так подобное честолюбие отнюдь не вызывает приязни, — посмеиваясь, ответил рассказчик.

Рассказал же эту историю сын нынешнего правителя Харима, юноша в звании куродо, которому в новом году присвоили Пятый ранг.

— Этот повеса, видно, сам не прочь заставить ее нарушить завет Вступившего на Путь.

— Наверняка слоняется вокруг ее дома целыми днями, — переговариваются спутники Гэндзи.

— И все же, что ни говори, она, наверное, совсем провинциалка.

— С младенческих лет расти в такой глуши, имея перед собой лишь старомодных родителей, разумеется...

— Но ведь мать, должно быть, из благородной семьи?

— Да, и, заручившись поддержкой достойнейших столичных семейств, она подыскала благовоспитанных девиц, девочек-служанок, и сумела создать для своей дочери безукоризненное окружение.

— Коли отправят туда правителем человека жестокосердного, вряд ли этому семейству удастся и впредь жить столь же беззаботно.

Прислушиваясь к пересудам спутников своих, Гэндзи замечает:

— Хотел бы я знать, что думал он, столь решительно завещая дочери броситься в море? Оказаться на дне, среди водорослей, как это неприятно...

Видно было, что судьба девушки ему безразлична.

Пристрастие Гэндзи ко всему необычному, диковинному не было тайной для его приближенных, потому они и рассказали ему эту историю, надеясь — и не без оснований, — что она развлечет его.

— Уже смеркается, а никаких признаков возвращения болезни нет. Не пора ли в обратный путь? — беспокоились они, но монах возразил:

— Будет лучше, если вы задержитесь до утра. Боюсь, что в господина вселился какой-то злой дух, а потому следовало бы продолжать обряды и ночью.

— Да, наверное, так и в самом деле будет лучше, — согласились все, а Гэндзи предложение монаха показалось чрезвычайно заманчивым, ведь до сих пор ему никогда не приходилось останавливаться на ночлег в горной келье.

— Что ж, отправимся на рассвете, — решил он.

День тянулся томительно долго, и, изнемогая от праздности, Гэндзи под покровом вечерней дымки дошел до той тростниковой изгороди. Отправив назад всех спутников своих, кроме Корэмицу, он подошел к ней совсем близко, заглянул внутрь. И что же? Прямо перед ним в покоех, обращенных к западу, стоит статуя Будды, а рядом монахиня творит молитвы. Бамбуковая штора чуть приподнята, и видно, как женщина подносит Будде цветы. Потом, приблизившись к столбу, она садится подле, положив свиток с текстом сутры на скамеечку-подлокотник. Невозможно себе представить, чтобы эта монахиня, устало читающая сутру, была вовсе незначительной особой. Ей, судя по всему, уже перевалило за сорок, благородная художавость подчеркивает приятную округлость пленяющего белизной лица; концы подстриженных волос* падают на плечи, придавая облику особую изысканность. Право, будь они длинными, это скорее портило бы впечатление.

Рядом с монахиней сидят две милovidные прислужницы, тут же резвятся девочки, то вбегая в дом, то выскакивая наружу. Вот одна из них — лет

как будто около десяти — вбегает в покои. Одета в мягкое белое нижнее платье и верхнее цвета керрия*, она выделяется особенной миловидностью, обещая со временем стать настоящей красавицей. Девочка побегает к монахине — волосы рассыпались по плечам, словно раскрытый веер, щеки пылают...

— Что приключилось? Поссорилась со служанками? — поднимает глаза монахиня.

«Наверное, это ее дочь», — предполагает Гэндзи, подметив черты сходства в их лицах.

— Инуки выпустила моего воробышка, который под корзиной сидел! — жалуется девочка. Видно, что раздосадована она не на шутку.

— Опять эта негодница виновата, — сердится одна из прислужниц. — То и дело приходится бранить ее. Куда же он мог улететь? Такой милый, почти совсем уже ручной. Как бы вороне на глаза не попался...

И, поднявшись, она отправляется на поиски. Густые блестящие волосы ниспадают почти до самого пола. Судя по всему, она весьма недурна собой. Остальные называют ее кормилицей Сёнагон, очевидно, она присматривает за девочкой.

— Что за неразумное дитя! Разве можно так себя вести? Ты совершенно не задумываешься над тем, что не сегодня завтра оборвется моя жизнь, и беспокоишься только о воробьях! А ведь сколько раз говорила я тебе: «Наказание не замедлит...»* О, как это грустно! — И, тяжело вздохнув, монахиня подзывает девочку к себе.

Та приближается. Личико ее прелестно, брови туманятся легкой дымкой*, открытый лоб и по-детски откиннутые назад волосы удивительно хороши. «Посмотреть бы на нее, когда вырастет», — думает Гэндзи, не сводя глаз с этого милого существа, и вдруг замечает, что девочка поразительно похожа на владычицу его тайных дум. Не этим ли сходством и пленила она его воображение? Слезы навертываются у него на глазах. Между тем монахиня, поглаживая девочку по волосам, говорит:

— Какие чудные волосы! Хотя ты так не любишь, когда их расчесывают. Увы, ты совсем еще дитя, и это не может не беспокоить меня. Многие в твоём возрасте ведут себя совершенно иначе. Твоя покойная мать в двенадцать лет осталась без отца — да, такое горе! — но она в ту пору уже многое понимала. А коли я покину тебя теперь, как ты будешь жить одна в этом мире?

Слезы текут по ее щекам, и вряд ли кто-то остался бы равнодушным на нее глядя.

Посмотрев на монахиню, девочка смущенно опускает голову, и блестящие, дивной красоты волосы закрывают ее лицо.

Не может роса
В одночасье растаять, оставив
Этот нежный росток.
Где он приютится, как будет расти,
Ведь даже это неведомо...

— О, как это верно! — вздыхают, роняя слезы, прислужницы, и кто-то из них отвечает:

Неужели роса
Решится наш мир покинуть,
Узнать не успев,
Каким этот юный росточек
Станет в грядущие годы?

Тут входит монах Содзу.

— Разве можно сидеть здесь, у всех на виду? — пеняет он дамам. — Именно сегодня вы почему-то решили устроиться у самой галереи! А между тем наверху в келье досточтимого старца изволит находиться сам Гэндзи-но тюдзё, которого пытаются исцелить от лихорадки посредством соответствующих обрядов. Мне только что сообщили об этом. Его посещение окружено строгой тайной, и я ничего не знал, а то бы непременно поспешил засвидетельствовать ему свое почтение.

И монахиня, воскликнув:

— О ужас! Неужели нас кто-нибудь видел! При том, что я так скверно выгляжу... — торопливо опускает шторы.

— Блистательный Гэндзи, о котором столько говорят в мире! Наконец-то и нам предоставляется случай поглядеть на него! Если верить слухам, красота его такова, что при виде его у любого продлевается жизнь, даже отрешившийся от мира монах способен забыть о мирских печалях. Что ж, отправляюсь к нему с поклоном.

Услышав, что монах выходит, Гэндзи поспешил вернуться.

«Сколько очарования в этой девочке! Должно быть, моим приближенным, этим любителям приключений, случай часто дарит столь же нечаянные встречи. Ведь я так редко выезжаю, и вот... Право, мог ли я ожидать? — изумлялся он. — И все же... Какое прелестное дитя! Хотел бы я знать, кто она? Увы, никто другой не мог бы стать утешением моих дней и ночей, заменив мне ту, к которой тщетно стремится сердце...» — Раз возникнув, эта мысль глубоко запала ему в душу.

Гэндзи уже лег почивать, когда служка монаха Содзу вызвал Корэмицу. Келья была столь тесна, что Гэндзи слышал каждое его слово:

— Мой господин просит передать благороднейшему господину Тюдзё следующее: «Я был чрезвычайно огорчен, узнав о том, что господин Тюдзё, соблаговолив почтить своим посещением сии окрестности, проехал мимо моего бедного жилища. Разумеется, я все равно должен был немедленно засвидетельствовать ему свое почтение, и извинить меня может лишь столь прискорбное для меня обстоятельство, что, зная о моем затворничестве в здешней обители, господин Тюдзё, тем не менее, изволил окружить свой приезд строжайшей тайной. Право, жаль, что он не счел более уместным постелить свою подстилку из трав в моей хижине...»

— Уже более десяти дней я страдаю от жестоких приступов лихорадки. С каждым разом переносить их становилось все мучительнее, и, наконец, поддавшись на уговоры близких, я поспешил сюда. Понимая, что досточтимый старец, будучи человеком необыкновенным, огорчится несоизмеримо больше обычного монаха, коли заклинания не возымеют желанного действия, я намеревался сохранить свое посещение в тайне. Но теперь ничто

не мешает мне навестить господина Содзу, — передал настоятелю Гэндзи. И тот не замедлил явиться.

Этот монах принадлежал к стариннейшему столичному семейству и пользовался большим влиянием в мире, поэтому Гэндзи чувствовал себя в его присутствии довольно неловко. Да и в самом деле — принимать столь важную особу в простом дорожном платье...

Рассказывая об уединенной жизни в горах, настоятель сказал между прочим:

— Моя тростниковая хижина ничем не лучше этой, но смею думать, что журчащий рядом прохладный ручей достоин даже вашего внимания...

Столь велика была его настойчивость, что Гэндзи решил все-таки посетить его, хотя, вспоминая, в каких поистине преувеличенных выражениях описывал монах его достоинства тем никогда не видевшим его женщинам, испытывал мучительное смущение. Возможно, когда б не тайная надежда разузнать о прелестной девочке...

В самом деле, в саду монаха Содзу даже вполне привычные деревья и цветы поражали какой-то необыкновенной, изысканной красотой. Ночи в ту пору стояли безлунные, и над прихотливыми ручейками развесили светильники, зажгли огонь в каменных фонарях. Особой утонченностью отличалось убранство южных покоев. В воздухе витали томительно-сладостные ароматы, пахло молитвенными курениями, с ними смешивалось неповторимое благоухание, исходившее от платья Гэндзи при каждом его движении и заставлявшее трепетать сердца обитательниц внутренних покоев.

Монах Содзу неторопливо беседует с гостем — о тщете этого мира, о грядущих мирах, и Гэндзи думает про себя: «Сколь велико бремя моих прегрешений, сколь глубоко проникли в душу непозволительные желания. Видимо, суждено мне терзаться до конца дней своих в этом мире, а о будущем и помыслить страшно. О, если бы и я мог жить вот так...» Но тут же перед его мысленным взором возникает дневное видение, и сердце томительно сжимается.

— Что за особа изволит у вас проживать? — обращается он к монаху. Мне недавно приснилось, будто я вас о ком-то расспрашиваю, и вот, видите, сегодня этот сон наконец сбывается.

— Поистине, неожиданный сон! — с улыбкой отвечает монах. — Боюсь только, что, узнав ее историю, вы будете разочарованы. Немало лет минуло с того дня, когда Адзэти-но дайнагон покинул этот мир, вы вряд ли изволили слышать о нем. Госпожой Северных покоев в его доме была младшая сестра вашего покорного слуги. После кончины супруга отвернулась она от мира, а недавно, удрученная тяжелой болезнью, решила прибегнуть к моей помощи и поселилась в этой глуши, ведь я не могу переехать в столицу.

— Слышал я, что у покойного Адзэти-но дайнагона была дочь... Поверьте, я не имею в виду ничего дурного... — наугад спрашивает Гэндзи.

— Дочь? Да, у них была единственная дочь, но и она покинула этот мир более десяти лет тому назад. Покойный Адзэти-но дайнагон, желая, чтобы дочь его поступила на службу во Дворец, немало сил отдал ее воспитанию, но скончался, увы, раньше, чем осуществилась его мечта. После его кончины монахине одной пришлось заботиться о дочери, и тут — может, и свел их кто? — завязались у нее тайные отношения с принцем Хёбукё. А надо сказать,

что госпожа Северных покоев в доме принца принадлежит к весьма знатной фамилии, и вот из-за нее-то и пришлось бедняжке пережить немало горя. Целыми днями предавалась она печали, и скоро ее не стало. Так, узрели мы воочию, как тоска губит человека.

«Наверное, девочка, которую я видел, — ее дочь, — догадывается Гэндзи. — Ее и принца Хёбукё, отсюда и сходство*». Это открытие не могло не взволновать его, и желание поближе познакомиться с девочкой стало еще сильнее. «Ее черты так благородны и прекрасны, никаких же недостатков в ней я не заметил. Ах, когда бы я мог взять ее к себе и сам заняться ее воспитанием!»

— Какая печальная и трогательная история! — говорит он. — Неужели никакой памяти о себе не оставила она в этом мире?

Ему явно хочется получить более подробные сведения. И вот что отвечает монах Содзу:

— Есть дитя, появившееся незадолго до ее кончины. Тоже девочка. Постоянный источник волнений для сестры моей, чьи годы близятся к концу.

«Да, это она», — решает Гэндзи.

— Боюсь, что вы сочтете мою просьбу несколько странной. Но не согласитесь ли вы отдать девочку на мое попечение? Поверьте, у меня есть причины... Правда, узы супружества уже связывают меня с одной особой, но не по душе мне этот союз, и я чаще живу один. И не говорите: «Она слишком мала!» Надеюсь, вы не сочтете меня обычным ветреником...

— О, я хорошо понимаю, сколь лестно для нас ваше предложение, но вы и сами видите, что девочка еще совсем мала, и даже в шутку трудно представить себе... Разумеется, женщина взрослеет, когда находится человек, готовый о ней позаботиться... Так или иначе, дать вам окончательный ответ я пока не могу. Прежде я должен поговорить с сестрой.

Монах глядел сурово, явно не одобряя намерения Гэндзи, и тот не стал настаивать на продолжении этого разговора.

— Мне пора в храм будды Амида для свершения молитв. Настало время вечерней службы. Я быстро управлюсь с ней и вернусь.

С этими словами монах вышел.

Гэндзи нездоровилось, а тут начал накрапывать дождь, налетел холодный ветер с гор, водопад, наполнившись водой, громче прежнего загрохотал по камням. До слуха долетали сонные, невнятные голоса, произносящие слова сутры... Во власти этого печального очарования оказался бы и человек, не отличающийся особой чувствительностью, а уж Гэндзи тем более... Задумавшись, он долго лежал без сна. Монах говорил о вечерней службе, но стояла глубокая ночь.

Судя по всему, не спали и во внутренних покоях, хотя обитательницы их и старались ничем не выдать своего присутствия. До Гэндзи доносилось слабое постукивание четок о скамеечку-подлокотник, благородный, восхитительно близкий шелест платьев... Невелико было жилище монаха, и внутренние покои находились совсем рядом. Чуть-чуть отодвинув ширму, Гэндзи легонько ударил по ней веером. Как ни велико было изумление дам, они все же не решились сделать вид, будто ничего не слышали, и скоро появляется одна из прислужниц. Подавшись немного назад, она произносит недоуменно:

— Что за диво? Уж не ослышались ли мы?

— Вedomый Буддой собьется ли с пути во мраке? — отвечает Гэндзи.

Услышав его нежный, юный голос, женщина испуганно лепечет:

— Но куда ведет Великий? Не разумею...

— Так, слова мои слишком неожиданны, и недоумение ваше понятно, но все же...

Однажды мой взор
Приметил нежную зелень
Молодого ростка.
С тех пор рукава в изголовье
Не просохнут никак от росы.

Не передадите ли это госпоже?

— Но господину должно быть известно, что в доме нет никого, к кому могли бы быть обращены его слова. Кому же их передать? — все еще недоумевает прислужница.

— Поверьте, у меня есть основания так говорить, — настаивает Гэндзи и, вернувшись, она сообщает обо всем монахине.

— Как изящно сказано! Видно, господин Тюдзё изволит полагать, что наша юная госпожа достигла вполне сознательного возраста. Только как ему удалось подслушать мои слова о юном ростке? — удивилась монахиня и, совсем растерявшись, долго не решалась ответить. Но в конце концов, вняв настояниям прислужниц, считавших подобное промедление несовместным с приличиями, передает следующее:

«Одну только ночь
На покрытом росой изголовье
Ты, о странник, провел.
Не равняй же его с вечном влажным
Изголовьем из мха в горной келье...»

Именно его-то и трудно высушить...»

— Я не привык беседовать через посредника. Боюсь, что я злоупотребляю вашим вниманием, но все же, поскольку я здесь, нельзя ли поговорить с вами более обстоятельно? — просит Гэндзи.

— Господина Тюдзё, очевидно, ввели в заблуждение. Да и о чем я могу говорить с таким важным гостем? Один вид его повергает меня в смущение... — теряется монахиня.

— Но вообще не давать ответа тоже неприлично, — напоминают прислужницы.

— В самом деле, скорее вам, молодым, не пристало беседовать с ним. К тому же это такая честь, и если он желает... — И монахиня выходит к Гэндзи.

— Вряд ли вы ожидали от меня такой настойчивости и, наверное, готовы осудить меня за легкомыслие, но, поверьте в помыслах моих нет ничего дурного, сам Будда тому свидетель, — начинает он, но, взглянув на исполненную спокойного достоинства фигуру монахини, смущенно умолкает.

— О да, столь неожиданный случай свел нас здесь, вправе ли мы считать, что наши судьбы никак не связаны? — говорит монахиня.

— Вы и вообразить не можете, как тронула меня печальная участь юной госпожи. Не позволите ли мне заменить ушедшую? Я тоже был совсем мал, когда потерял самого близкого мне человека, и с тех пор вот уже много лет странное чувство зыбкости моего существования владеет мною. Судьбы наши схожи, и я решился просить вас позволить нам познакомиться ближе. Вряд ли можно ожидать другого такого случая, поэтому я открываюсь вам вполне, не страшась вашего осуждения.

— Мне льстит ваше доверие, — отвечает монахиня. — Но боюсь, что у вас сложилось не совсем правильное представление... Так, есть в этом доме особа, не имеющая в жизни иной опоры, кроме ничтожной монахини, с которой вы изволите теперь беседовать, но она еще совсем мала, к тому же вам трудно будет снисходительно относиться к ее недостаткам. Поэтому я и не могу принять ваше милостивое предложение.

— Я знаю о ней все. Не будьте со мной столь церемонны, постарайтесь понять, что я совсем по-особенному отношусь к вашей питомице, — молит Гэндзи, но монахиня так и не дает определенного ответа, все еще опасаясь: «Верно, не ведает он, как мало ей лет».

Тут возвращается монах-настоятель, и Гэндзи задвигает ширму.

— Что же, начало положено. По крайней мере есть на что надеяться.

Светает, ветер, дующий с горных вершин, приносит из павильона Цветка Закона голоса, произносящие покаянные молитвы*. Они звучат величественно, соединяясь с шумом водопада:

Ветер с горных вершин
Заставляет душу очнуться
От суетных снов.
Слушаю шум водопада,
И падают слезы из глаз*.

Твои рукава
Напитались водою
Горных ключей
Омыто давно мое сердце,
Что может его взволновать?

— Видно, слишком привычны звуки эти моему слуху, — добавляет монах.

Светлеющее небо было подернуто утренней дымкой, вокруг, невидимые взору, щебетали горные птички. Цветы неведомых деревьев и трав украсили землю многоцветным узором, словно драгоценной парчой; вокруг бродили олени — все вокруг радовало глаз новой, непривычной красотой, и Гэндзи совершенно забыл о своем недуге. Досточтимый старец, которому каждое движение стоило великого труда, все же нашел в себе силы приступить к оградительному обряду*. Когда беззубым, шамкающим ртом произносил он заклинания, его старческий, сиплый голос звучал особенно трогательно, невольно наводя на мысль об осеняющей сего добродетельного старца высшей благодати.

Тут появились приближенные Гэндзи, приехавшие за ним из столицы, и велика была их радость, когда увидели они господина своего исцеленным. Приехал и посланец от самого Государя. Монах Содзу потчевал гостей не-

виданными, диковинными плодами, в поисках которых его слуги обшарили все окрестности до самых глухих ущелий.

— Свято соблюдая обет, данный мною на этот год*, я не имею возможности проводить вас. Увы, иногда самое благое намерение может стать источником досады, — говорит монах, подливая гостю отменного вина.

— Пленили мою душу эти горы и воды, — говорит Гэндзи. — Но боюсь огорчить Государя долгим отсутствием. Я навещу вас снова, не успеют опасть цветы...

В столицу к друзьям
Поспешу теперь и скажу им:
«До горных вишен
Постарайтесь добраться быстрее,
Чем ветер до них долетит».

Право, невозможно без восхищения ни смотреть на него, ни слушать его:

— Кажется мне:
Предо мною расцвел наконец
Цветок удумбара*.
Так может ли горная вишня
Сегодня мой взор привлечь? —

говорит монах Содзу, а Гэндзи, улыбаясь, замечает:

— Воистину, редкость — узреть цветок, раскрывающийся один лишь раз за столько лет... — И передает чашу почтенному старцу.

— Закрыта всегда
Сосновая дверь горной кельи.
Но сегодня ее
Я открыл, и цветок невиданный
Явил предо мною свой лик, —

произносит тот со слезами на глазах и подносит Гэндзи оберег токо*. Увидев это, монах Содзу берет четки из семян священного дерева бодхи*, привезенные когда-то принцем Сётоку-тайси* из страны Кудара*, чудесные четки, сделанные драгоценными камнями, и кладет их в вывезенную из той же страны китайскую шкатулку. Шкатулку же, завязав ее в узелок из прозрачной ткани, прикрепляет к ветке пятиигольчатой сосны. Потом берет горшочки из темно-синего лазурита и, наполнив их целебными снадобьями, привязывает к веткам глициний и вишен. Все это, не говоря уже о прочих приличных случаю дарах, он подносит гостю. Гэндзи же заранее послал в столицу слугу за разными вещами, без которых не обойтись на обратном пути, в том числе за приношениями для почтенного старца и монахов, читавших сутры, и теперь все, вплоть до бедных горных жителей, получают дары, сообразные званию каждого. Воздав за чтение сутр, Гэндзи собирается в путь.

Монах Содзу спешит во внутренние покои, дабы сообщить сестре о предложении гостя, но монахиня отвечает:

— Пока я не могу сказать ничего определенного. Коли намерение господина Тюдзё останется неизменным, лет через пять можно будет и подумать об этом, но теперь...

Так почтенный Содзу и передает Гэндзи, ничего не добавляя от себя. Тот же, отнюдь не удовлетворенный, через мальчика-слугу, прислуживающего монаху, отправляет монахине письмо следующего содержания:

«В полумраке вечернем
На миг перед взором предстала
Расцветшая вишня.
Вот уж утро настало, но дымка
Медлит у горных вершин...»

«В самом ли деле
Дымке трудно расстаться с цветами?
Не время теперь
Об этом судить, подождем,
Пока прояснится небо...» —

отвечает монахиня. Почерк ее пленяет изящной простотой и необычайным благородством.

Гэндзи уже садился в карету, когда появились шумной толпой юноши из дома Левого министра, посланные ему навстречу.

— Можно ли исчезать, никому не сказав ни слова? — возмущались они. Приехали То-но тюдзё, Куродо-но бэн и многие другие.

— Зная, с какой радостью мы сопровождали бы вас, столь бессердечно пренебречь нашим обществом... А теперь... Неужели вы хотите, чтобы мы вернулись назад, даже не отдохнув в тени этих дивных цветов?

И вот, усевшись на мох под скалами, они угощаются вином. Рядом водопад, и как же прекрасны его светлые струи!

То-но тюдзё, вытащив из-за пазухи флейту, подносит ее к губам. Куродо-но бэн поет, негромко отбивая такт веером:

— К западу от храма Тоёра...*

Эти юноши многих превосходят своей красотой, но стоит посмотреть на Гэндзи, устало прислонившегося к камню... Он так прекрасен, что хочется вовсе не отрывать взора от его лица. Вместе с тем каждого, кто взглядывает на него, охватывает невольный трепет: «Право, может ли быть долговечной подобная красота?»

Как всегда, среди приближенных Гэндзи нашлись юноши, играющие на простых флейтах «хитирики»*, а у молодых придворных оказались с собой флейты «сё»*. Монах Содзу и тот принес семиструнное кото «кин»*.

— Сделайте милость, сыграйте, потешьте горных пташек, — настаивал он, а Гэндзи, воспротивившись было: «Но я еще слишком слаб», все же исполнил в конце концов весьма приятную мелодию.

Наконец юноши уехали.

— Не успели насладиться сполна, и вот... Какая досада! — сетовали все до одного монахи и служки, роняя слезы.

Стоит ли говорить о том, что творилось во внутренних покоях? Пожилые монахини, которым отроду не доводилось видеть человека столь замечательной наружности, вопрошали друг друга:

— Может ли он принадлежать нашему миру?

Даже сам настоятель отирал слезы, приговаривая:

— Ах, как трогательно и как печально, что человек столь редкостной красоты родился в злополучной стране Солнца, да еще в пору Конца Закона*! Хотел бы я знать, что послужило тому причиной?

А девочка, по-детски простодушно восхищаясь красотой Гэндзи, сказала:

— Он красивее даже господина принца*.

— Значит, ты согласна стать его дочерью? — спросили ее, и она кивнула, подумав: «Вот славно было бы».

С той поры, играла ли она в куклы, рисовала ли, один образ занимал ее воображение — «господин Гэндзи», которого она наряжала в роскошные одежды и нежно лелеяла.

Вернувшись в столицу, Гэндзи прежде всего поехал во Дворец, дабы рассказать Государю о том, что произошло с ним за это время.

— Ты очень осунулся, — молвил Государь, и невольный страх за сына сжал его сердце. Он расспрашивал Гэндзи о почтенном врачевателе, и тот рассказывал, не жалея подробностей.

— Право, этот монах вполне достоин сана адзари*. Мне кажется странным, что, несмотря на великие заслуги свои, он совершенно неизвестен во Дворце, — отдавая должное добродетелям старца, говорит Гэндзи.

В высочайших покоях как раз находился и Левый министр.

— Я сам было собрался поехать за вами, но не решился — вы покинули нас тайно, и кто знает... Вам следовало бы денек-другой отдохнуть в моем доме, — сказал он и тут же добавил: — Я мог бы прямо сейчас отвезти вас туда.

Гэндзи не хотелось ехать к министру, но тот был слишком настойчив, и отказываться было неудобно. Вдвоем вышли они из Дворца, министр усадил зятя в свою карету, а сам примостился сзади. Увы, столь трогательная заботливость скорее смущала Гэндзи, нежели радовала.

В доме Левого министра все оказалось готовым к его приезду. Он давно уже не бывал здесь и только дивился, глядя на роскошно убранные драгоценные чертоги.

Молодая госпожа по обыкновению своему прячется, упорствуя в своем нежелании показаться супругу, и министру с трудом удается уговорить ее выйти. Дамы бережно усаживают ее перед Гэндзи, и, застывшая в церемонной неподвижности, она кажется ему нарисованной на картине героиней старинной повести. Право, сколь трогательной была бы их встреча, когда б он мог поведать ей о недавнем путешествии в горы, высказать свои мысли и чувства в полной уверенности, что она отзовется на них с теплым участием... Но, увы, в целом свете нет женщины чопорнее. В каждом движении ее проглядывает принужденность, присутствие Гэндзи явно тяготит ее. С годами супруги все больше отдалялись друг от друга, и это вдруг показалось Гэндзи столь мучительным, что неожиданно для себя самого он говорит:

— Я почел бы за особенное счастье, когда б хоть иногда вы вели себя так, как это принято между супругами. Состояние мое в эти дни было весьма тяжелым, а вы не проявили никакого сочувствия. Я, разумеется, к этому привык, но все же обидно...

— А мне всегда казалось, что не проявляет сочувствия скорее тот, кто «прекращает свиданий искать» (37), — нехотя отвечает госпожа, искоса взглянув на супруга. Ее гордая, величавая красота повергает его в трепет.

— Вы столь редко удостоиваете меня беседой, и что же я слышу? «Искать свиданий» не пристало супругу, так говорят в иных случаях. Как вы жестоки! По-видимому, все мои попытки смягчить ваше сердце производят противное действие, я лишь возбуждаю ваше нерасположение к себе. Право, «когда бы хоть жизнь...» (38) — вздохнув произносит он, проходя за полог.

Но госпожа не спешит следовать за ним. Не решаясь ее позвать, Гэндзи ложится один, громко вздыхая, но она остается безучастной, поэтому, притворившись спящим, он закрывает глаза и принимается перебирать в памяти события недавних дней. «Поглядеть бы, как будет расти-тянуться этот юный росток... Впрочем, они правы, говоря, что девочка еще слишком мала. Приблизиться к ней будет нелегко. Что бы такое придумать, чтобы без особого шума перевезти ее к себе и сделать утешением дней своих и ночей? Принц Хёбукё не блещет красотой, хотя черты его благородны и приятны. Откуда же это удивительное сходство? Впрочем, они единокровные брат и сестра, видимо, потому-то...»

Теперь, когда Гэндзи знал, что девочка столь тесно связана с предметом его помышлений, она казалась ему еще желанней. «Но как же все-таки...» — думал он.

На следующий день Гэндзи отправил письмо монахине. Нетрудно догадаться, что он не преминул намекнуть на свое желание и самому настоятелю. Вот что Гэндзи написал монахине:

«Смущенный Вашей суровостью, я так и не сумел открыть Вам своего сердца. Надеюсь, что моя настойчивость убедит Вас в необычности моих намерений...»

А на отдельном, тщательно свернутом листочке бумаги было написано следующее:

«Образ твой
Неотступно стоит перед взором,
Горная вишня.
Видно, сердце мое осталось
Там, в далеких горах...

Тревожусь: “Не слишком ли сильно дул этой ночью ветер?”» (39)

Надобно ли говорить о необычайном изяществе почерка Гэндзи? Монахини, давно миновавшие пору расцвета, пришли в восторг уже от того, как изящно было свернуто это крошечное послание, и слезы умиления потекли из их померкших очей. «О, как же теперь быть? Что ответить ему?» — растерялись они.

«Я не приняла всерьез нашего прощального разговора, но вот Вы снова возвращаетесь к нему. И что я могу ответить? Увы, это дитя и «нанивадзу» вряд ли сумеет написать до конца*, стоит ли обращаться к ней? О да,

Пока не опала
Вишня на горной вершине,
Обдуваемой ветром,
Она твое сердце волнует,
Но как же миг этот краток!

Мне так тревожно...» — написала монахиня.

К великой досаде Гэндзи, монах Содзу ответил примерно так же, поэтому, выждав дня два или три, Гэндзи снарядил Корэмицу.

— Помнится мне, есть там кормилица Сёнагон, найди ее и переговоры обо всем.

«Да, ничто не укроется от его взгляда! Она совсем еще дитя, и все же...» — изумлялся Корэмицу, вспоминая прелестную девочку, мельком увиденную в тот вечер.

Пока монах Содзу, снова получивший от Гэндзи письмо, подыскивал слова, способные выразить его признательность, Корэмицу сумел добиться встречи с кормилицей Сёнагон и, не скупясь на подробности, рассказал ей о чувствах и намерениях Гэндзи. В высшей степени наделенный даром красноречия, он умело нанизывал слова одно за другим, но присутствующие при разговоре дамы, все как одна, отнеслись к услышанному весьма неодобрительно: «Она совсем еще дитя, можно ли думать об этом?»

Монахине Гэндзи написал теплое, искреннее письмо, и в него снова была вложена маленькая записка:

«Взглянуть бы хоть раз на знаки, неуверенно начертанные Вашей рукой!

Неглубокой зовут
Эту речку, но чувства глубокие
Зародились в душе.
Почему же так далеко ты,
Отраженье в горном колодце?» (41)

«Зачерпнуть не спеши,
Зачерпнешь — и расквасишься после.
Колодцу в горах
Отраженье решишь ли доверить?
Он, молва говорит, мелковат...» —

ответила монахиня. Да и сам Корэмицу не мог сообщить ничего утешительного.

«Если обстоятельства будут благоприятствовать нам и состояние больной улучшится, мы переедем в столицу. Тогда я смогу ответить более определенно». Вот все, что сказала кормилица, и Гэндзи влачил дни в мучительном беспокойстве и нетерпении.

Тем временем принцесса из павильона Глицинии занемогла и покинула Дворец. Государь тосковал и печалился, и, разумеется, Гэндзи было жаль его, но вместе с тем смутная надежда заставляла трепетать его сердце: «Ах, быть может, хотя бы теперь...» Никуда не выезжая, он в унылой праздности коротал дни во Дворце или дома, а когда спускался вечер, ни на шаг не отставал от госпожи Омёбу. И кто знает, как удалось ей все устроить! Так или иначе, настал наконец миг, когда заветное желание Гэндзи исполнилось. Увы, ему казалось, что это всего лишь сон, и печаль сжимала его сердце. Невесела была и принцесса. Еще совсем недавно, вспоминая о своей непростительной слабости, омрачившей ее существование бесконечными терзаниями, она твердо решила, что случившееся никогда больше не повторится, но вот опять...^{*} Лицо ее выражало глубокое уныние, но нежные черты казались еще нежнее, а милая застенчивость, с которой она отворачивалась от

Гэндзи, сообщала ее облику что-то необыкновенное трогательное. Она была так прекрасна, что Гэндзи невольно робел перед нею.

«Право, будь она хоть в чем-то несовершенно...» — думал он не без некоторой досады. Увы, могли ли слова выразить чувства, переполнявшие его душу? На горе Мрака, горе Курабу найти бы приют, ведь эти летние ночи так жестоко кратки (42), и встречи скорее печалят...

— Ты сегодня со мной.
Но дождусь ли я новой встречи?
Сном мимолетным
Ночь промелькнет... Ах, когда бы я мог
В этом сне раствориться, исчезнуть... —

говорит он, рыдая, и, не в силах превозмочь невольной жалости к нему, она отвечает:

— Достояньем молвы
Мое имя станет, я знаю.
Даже если прервет
Бесконечно печальную жизнь
Сон, не знающий пробужденья.

Право, ей было от чего приходиться в отчаяние, и сердце Гэндзи сжималось от жалости, когда он глядел на нее.

Омёбу принесла носы и прочие вещи Гэндзи. Вернувшись в дом на Второй линии, он целый день проплакал, не вставая с ложа. Омёбу сообщила, что госпожа, как и прежде, отказалась прочесть его письмо, и, хотя ничего другого Гэндзи не ожидал, сердце его было глубоко уязвлено, и дня два или три он не выходил из своей опочивальни, с ужасом думая о том, что Государь, встревоженный его отсутствием, должно быть, недоумевает: «Что же еще с ним приключилось?»

Принцесса тоже печалилась, сокрушаясь о злополучной доле своей. С каждым днем она чувствовала себя все хуже и не решалась прервать своего затворничества, хотя Государь то и дело присылал гонцов, прося ее поторопиться с возвращением. Дело осложнялось еще и тем, что ее недомогание было не совсем обычным, и, оставаясь одна, она частенько задумывалась: «Что же тому причиной?» Самые тягостные подозрения омрачали ее душу, мысли о будущем повергали в отчаяние. Пока стояла жара, принцесса и во все не поднималась с ложа. Миновало три луны, и причина ее недомогания стала очевидной. Ловя на себе недоуменные взгляды, она терзалась, сетуя на свою несчастную судьбу. Ни о чем не подозревавшие прислужницы дивились: «До сих пор не открыться Государю?» Но могли ли они знать... Ее молочная сестра Бэн, Омёбу и некоторые другие дамы, близко прислуживающие ей в купальне, раньше прочих угадали истинную причину ее недуга, и удивлению их не было пределов, но о таких вещах не принято говорить вслух, поэтому Омёбу только молча ужасалась, сетуя на предопределение, которого никому не дано избежать. В конце концов Государю сообщили, что вмешательство злых духов не позволило сразу распознать причину недомогания. И все вокруг на этом успокоились. Государь, еще большую нежность

питая теперь к принцессе, то и дело присылал в ее дом гонцов, не давая ей ни на миг отвлечься от мрачных мыслей.

Между тем господину Тюдзё приснился удивительный, странный сон. Призвал он к себе толкователя, чтобы узнать, что этот сон ему предвещает, и услышал нечто непостижимое, совершенно невероятное.

— Но предвещает этот сон и большие несчастья, а потому вам следует вести себя крайне осмотрительно, — предупредил его толкователь, и Гэндзи, спохватившись, объяснил:

— Этот сон видел не я, а совсем другой человек. Прошу вас, не говорите о нем никому, пока он не сбудется.

Однако услышанное повергло его в сильнейшее беспокойство. «Что же все это значит?» Тут дошел до него слух о принцессе из павильона Глицинии. «Неужели?..» — возникла догадка, и, окончательно лишившись покоя, он стал отчаянно молить ее о встрече, но Омёбу, судя по всему, поразмыслив, пришла к выводу, что теперь посредничество ее может иметь несоизмеримо худшие последствия, чем прежде; во всяком случае, короткие письма, которые и раньше-то были редки, совсем перестали приходить.

На Седьмую луну принцесса наконец переехала во Дворец. После столь долгого отсутствия она показалась Государю еще прекраснее, и благосклонность его не ведала пределов. Она уже немного раздалась в талии, лицо же ее осунулось, и томная бледность сообщала ему особое очарование. Ни днем, ни ночью не покидал Государь ее покоев, а поскольку стояла прекрасная пора, располагавшая к изящным утехам, то и дело призывал во Дворец Гэндзи, дабы тот услаждал его слух игрой на кото или на флейте. Как ни старался Гэндзи сохранять хладнокровие, на лице его слишком часто отражались чувства, волновавшие душу, и принцесса не могла отвлечься от постоянно снедавшей ее мучительной тревоги.

Тем временем состояние старой монахини настолько улучшилось, что она решилась покинуть горную обитель. Разыскав ее жилище в столице, Гэндзи стал иногда обмениваться с ней письмами. Вряд ли стоит удивляться тому, что никаких изменений в отношении к нему монахини за это время не произошло. Впрочем, Гэндзи настолько был поглощен своими печальными думами, которые день ото дня лишь множились, что ничто другое не занимало его.

В исходе осени тоска стала просто невыносимой, и Гэндзи погрузился в мрачное уныние. Однажды прекрасной лунной ночью решил он наконец навестить одну из своих возлюбленных. Моросил по-зимнему мелкий, холодный дождик. Путь Гэндзи лежал к Шестой линии, переправе у Столичного предела. Ехал он из Дворца, и дорога начинала уже казаться бесконечной, как вдруг попался ему на глаза заброшенный домик, почти скрытый купой старых, хранящих густую тень деревьев. И сказал ему Корэмицу, спутник неотлучный:

— Это дом покойного Адзэти-но дайнагона. На днях я был здесь по какому-то делу, и сказали мне: «Монахиня совсем слаба, а чем помочь ей, не знаем».

— Печально! Я давно должен был навестить ее. Для чего ты не сообщил мне, что ей хуже? Войдем же и спросим, не примет ли она меня? И Гэндзи выслаз вперед человека, дабы сообщил хозяевам о его приближении. —

Скажи: «Господин Тюдзё нарочно приехал сюда», — приказал он ему, и тот вошел в дом со словами:

— Господин Тюдзё изволил пожаловать сюда, дабы справиться о здоровье больной.

В доме поднялась суматоха.

— Ах, как неловко! За эти дни она так ослабела, что вряд ли сможет принять господина Тюдзё, — говорили одни, но другие возражали:

— Отправлять его обратно тем более неучтиво.

В конце концов для гостя устраивают сиденье в южном переднем покое и проводят его туда.

«Обстановка здесь весьма неприглядная, но, решив, что следует хотя бы поблагодарить вас за любезность... Вы приехали так внезапно, что мы не успели приготовить для вас ничего, кроме этой темной и тесной каморки, уж не взыщите...» — передает монахиня через прислуживающих ей дам.

В самом деле, Гэндзи никогда еще не приходилось бывать в таком бедном жилище.

— Я давно уже намеревался навестить вас, но робел, памятуя о вашей неизменной суровости, к тому же никто не сообщил мне о том, что состояние ваше ухудшилось, и мне, право, жаль... — отвечает он.

«Долгое время страдаю я от тяжелой болезни, и вот жизнь моя подошла к своему крайнему пределу. Я весьма признательна вам за, увы, незаслуженное внимание. К сожалению, я не имею возможности сама принять вас как подобает. Что же касается нашего прежнего разговора, то, если намерения ваши не переменятся, пусть наша юная госпожа войдет в число тех, о ком имеете вы попечение, лишь только достигнет подходящего возраста. Я оставляю ее совсем одну, без всякой опоры. Страх и тревога за ее судьбу, словно путы на ногах (43), мешают мне идти к желанной цели», — передает ему монахиня.

Покои ее совсем рядом, и до Гэндзи доносится слабый, прерывающийся голос.

— Смели ли мы рассчитывать на подобную милость? Как жаль, что она совсем еще неразумна и не может достойным образом выразить вам свою благодарность!..

— Поверьте, я не дерзнул бы открыть вам свои намерения, не будь они совершенно чисты, — говорит Гэндзи, растроганный ее словами. — Видно, существует связь между нашими судьбами: с того самого дня, как увидел я вашу питомицу, в сердце моем поселилась нежность к ней. Увы, наверное, напрасно я тешу себя пустыми надеждами, — добавляет он. — О если бы мне позволили хоть раз услышать ее детский голосок...

Но Сёнагон отвечает:

— Ах нет, нет, она уже крепко спит, не ведая ни о чем.

Как раз в этот миг слышался звук приближающихся шагов.

— Бабушка, говорят, к нам приехал господин Гэндзи, тот самый, что был тогда в монастыре. Почему мне нельзя его видеть? — спрашивает девочка, и дамы, всполошившись: «Вот беда!», шепчут:

— Тише, тише...

— Но почему? Вы ведь сами говорили: «Стоит увидеть его, и сразу легче на душе», — не умолкает девочка, явно довольная тем, что ей удалось найти столь неопровержимый довод.

«Что за милое дитя!» — умиляется Гэндзи, но, понимая, в каком затруднительном положении оказались дамы, притворяется, будто ничего не слышал, и, самым учтивым образом распрощавшись, уезжает.

«Видно, она и в самом деле совсем еще мала. Но я сумею ее воспитать», — думал он. А на следующий день, проявляя необыкновенную заботливость, снова поспешил осведомиться о самочувствии монахини. В письме его, как и прежде бывало, обнаружили крохотную записку.

«Услышал однажды
Журавленка младенческий лепет,
И душа навсегда
Покой потеряла, а лодка
Застряла в прибрежной осоке...

“К тебе одной неизменно...”» (44) — писал он намеренно детским почерком, который показался дамам столь изысканным, что они решили: «Пусть так и служит ей прописью».

Ответила ему Сёнагон:

«Особа, о самочувствии которой Вы изволите справляться, вряд ли переживет и нынешний день. Как раз сейчас мы отправляемся в горную обитель. Поэтому благодарить Вас за столь любезное участие она будет, очевидно, уже не из этого мира», — прочел Гэндзи, и томительная печаль сжала его сердце.

Осенние вечера в ту пору были для Гэндзи особенно тоскливы. Он беспрестанно помышлял о прекрасной обитательнице павильона Глицинии, и в душе его крепло желание (быть может, и в самом деле преждевременное) забрать к себе тот юный росток, что возрос от единого корня с предметом его тайных помышлений. То ему вспоминался вечер, когда было сказано: «Не может роса в одночасье растаять...», то его охватывало невольное беспокойство: «Она, конечно, мила, но, возможно, меня ждет разочарование...»

Когда же, сорвав,
Тобой налюбуюсь вдоволь,
Юный росток,
От одних возросший корней
С желанным цветком мурасаки...*

На дни Десятой луны была намечена церемония Высочайшего посещения дворца Красной птицы — Судзаку*. Предполагалось, что для участия в танцах будут выбраны достойнейшие из достойнейших, поэтому все, начиная с принцев крови и министров, без устали совершенствовали свое мастерство. Вспомнив как-то, что давно уже не сносился с горной обителью, Гэндзи отправил туда письмо и получил ответ от монаха Содзу. «В двадцатых числах минувшей луны сестра покинула нас и я не могу не печалиться, хотя и понимаю, что таков всеобщий удел».

Читая письмо, Гэндзи вздыхал, сокрушаясь о тщете всего, этому миру принадлежащего. «Каково теперь бедной сиротке, которой судьба так волновала умершую? Велико, должно быть, ее горе! Вот и меня покинула миясудокоро...» Печальные воспоминания пробудились в его душе, и он послал в горы гонца с самыми искренними соболезнованиями.

Сёнагон весьма достойно ответила ему. По прошествии срока, установленного для поминальных обрядов, женщины вернулись в столицу, и Гэндзи, выждав некоторое время, однажды тихим вечером отправился их навестить.

Ужасающее запустение царило в доме, покинутом почти всеми его обитателями. Как, должно быть, страшно было жить в таком месте столь юному существу!

Введя гостя в те же передние покои, Сёнагон, обливаясь слезами, рассказала ему о последних днях старой монахини, и рукава его невольно увлажнились.

— Некоторые дамы считали, что юную госпожу следует перевезти в дом принца, — сообщила кормилица. — Но ушедшая никогда с ними не соглашалась: «Во-первых, мать юной госпожи, будь она жива, вряд ли позволила бы отдать дочь в дом, где с ней самой когда-то обращались столь жестоко, — говорила она. — Во-вторых, выйдя из младенческого возраста, девочка еще не приобрела достаточного опыта в житейских делах и не научилась читать в сердцах людей. Ей наверняка трудно будет ужиться с другими детьми принца, в которых она встретит скорее презрение, нежели приязнь». Она была права, и мы имели немало возможностей в этом убедиться. Поэтому ваше милостивое предложение — пусть и сделанное мимоходом — явилось для нас великой радостью, и хотя невозможно поручиться за будущее... Но, к сожалению, наша юная госпожа вряд ли подойдет вам, она еще слишком мала, да к тому же наивна — более, чем положено в ее возрасте, и мы просто в растерянности...

— Неужели вы до сих пор не верите мне? А ведь я столько раз уже давал вам понять... Нет никаких сомнений в том, что судьбы наши связаны, иначе меня вряд ли пленило бы такое дитя. О, когда б я мог поговорить с ней сам, без посредников!

В Песенной бухте,
Тростником заросшей, не разглядеть
Травы морские.
Неужели волне придется
Так и отхлынуть ни с чем?

Не слишком ли вы безжалостны? — сетует Гэндзи.

— В самом деле, такая милость... И все же:

Ужели, не ведая,
Что у волны на сердце,
В бухту Песен за ней
Повлекутся травы морские,
Покорившись зыбкой судьбе?

— Увы, не стоит и говорить об этом... — привычно быстро отвечает Сёнагон, и сердце Гэндзи смягчается.

— Отчего ж до сих пор неприступна... (46) — произносит он нараспев, и молодые прислужницы внимают, затаив дыхание.

Девочка, которая в последние дни, оплакивая умершую, почти не вставала, услышав от юных наперсниц своих: «Приехал какой-то человек в носы. Уж не господин ли принц?», поднимается и выходит.

— Сёнагон, где человек в носи? Это господин принц приехал? — спрашивает она, приблизившись. Какой нежный у нее голосок!

— Нет, я не принц, но и мной пренебрегать не стоит. Подойдите же, — говорит Гэндзи.

«Ведь это тот господин, которого приезд так взволновал тогда всех! — узнает его девочка. — Наверное, дурно, что я так сказала», — смущается она и, прильнув к кормилице, просит:

— Пойдем же, мне спать хочется.

— Для чего вы прячетесь от меня? Прилягте лучше здесь, положите голову мне на колени. Подойдите же, не бойтесь, — говорит Гэндзи.

— Вот вы и сами изволите видеть. Совсем дитя неразумное... — жалуется кормилица, пытаясь подтолкнуть к нему девочку.

Та простодушно приближается, и Гэндзи, просунув руку за занавес, касается ее волос, ниспадающих блестящими прядями на платье из мягкого шелка. Нетрудно себе представить, сколь прекрасны эти волосы — густые, вплоть до самых кончиков, распушившихся под его пальцами. Гэндзи берет ее руку в свои, но девочка, испугавшись внезапной близости этого чужого ей человека, вырывается:

— Я же сказала: хочу спать!

С этими словами она поспешно скрывается во внутренних покоях, но Гэндзи проскальзывает за ней:

— Теперь о вас буду заботиться я. Не надо меня бояться.

Кормилица в растерянности:

— Но как же... Разве можно... Какое безумие! Ведь она даже не поймет ничего из того, что вы ей изволите сказать...

— Пусть это вас не волнует. Я прекрасно все понимаю. Мне просто хочется, чтобы вы еще раз убедились в том, сколь необычны мои намерения.

По крыше стучит град, крошечная тьма окружает дом.

«Нельзя ей жить в таком унылом, безлюдном месте», — думает Гэндзи, и слезы навертываются ему на глаза. Разве может он оставить ее здесь одну?

— Опустите решетки. Видно, ночь предстоит тревожная. Я останусь здесь и буду охранять ваш покой. Собирайтесь-ка все поближе, — распоряжается Гэндзи и привычно, словно делает это каждый день, проходит за полог.

Дамы, ошеломленные столь невероятной дерзостью, провожают его изумленными взглядами. А кормилица, как ни велико ее возмущение, только вздыхает. Впрочем, ничего другого ей и не остается, ведь в таких обстоятельствах вряд ли стоит поднимать шум.

Юная госпожа, растерявшись, дрожит, ее прекрасное тело покрывается гусиной кожей, словно от холода. Растроганный Гэндзи закутывает ее в нижнее платье и пытается успокоить нежными речами, хотя в глубине души не может не признать, что его поведение и в самом деле граничит с безрассудством.

— Приезжайте ко мне в гости. У меня много красивых картин, можно играть в куклы.

Он старался говорить о том, что, по его мнению, могло привлечь внимание столь юного существа, и ему удалось настолько расположить к себе девочку, что страх почти покинул ее, но совершенно успокоиться она так и не сумела, и сон не шел к ней. Всю ночь напролет бушевал ветер.

— Право, если б не господин Тюдзё, мы бы всю ночь тряслись от страха. Да, не будь наша госпожа так мала... — тихонько перешептывались дамы.

Обеспокоенная кормилица легла поближе к пологу. Под утро, когда ветер наконец стих, Гэндзи покинул их дом, и могло показаться, будто что-то было меж ними...

— Госпожа ваша так дорога сделалась моему сердцу, что теперь я буду тосковать и на самый краткий миг расставаясь с ней, а потому я хочу перевезти ее в жилище, где в печали влачу свои дни и ночи. Подумайте сами, могу ли я оставить ее в этом доме? Неужели вы не боитесь здесь жить? — сказал Гэндзи на прощание, а Сёнагон ответила ему так:

— Господин принц тоже высказывал намерение забрать ее к себе, мы думаем, что это произойдет после того, как закончатся положенные сорок девять дней*.

— Принц, несомненно, будет для нее надежной опорой, но ведь она уже привыкла жить с ним розно, и для нее он такой же чужой человек, как и я. Поверьте, хоть я совсем недавно познакомился с вашей юной госпожой, мои чувства уже теперь настолько глубоки, что наверняка окажутся сильнее отцовских.

Погладив девочку по голове, Гэндзи вышел, то и дело оглядываясь.

Небо было затянуто густым туманом, а земля побелела от инея. Этот ранний час таил в себе особое очарование, и Гэндзи с некоторой досадой подумал о том, что теперь весьма кстати было бы и настоящее любовное свидание. Вдруг вспомнилось ему, что по этой дороге он не раз пробирался тайком к одной из своих возлюбленных. Не долго думая, Гэндзи послал телохранителя постучать в ворота ее дома, но на стук никто не отозвался. Тогда Гэндзи велел одному из своих приближенных, у которого был самый красивый голос, произнести:

— На ранней заре
Заблудился в густом тумане,
Но все равно
Мимо ворот твоих,
Не сумел я пройти (47).

Дважды были произнесены эти стихи, и вот из дома выслали миловидную служанку.

— Если даже туман
Тебе помешать не сумел
Мой дом отыскать,
Разве задержит тебя
Замок, сплетенный из трав? —

ответила она и тотчас скрылась. Больше никто не вышел. Досадно было Гэндзи уезжать ни с чем, но небо быстро светлело, делая всякое промедление нежелательным, и он поспешил домой. Уединившись в опочивальне, он долго лежал без сна, с нежностью вспоминая милое детское личико, и невольно улыбался.

Когда Гэндзи проснулся, солнце стояло высоко. Он тотчас же принялся сочинять письмо юной госпоже, а как содержание его должно было быть

особенным*, долго размышлял над ним, то и дело откладывая кисть. Вместе с письмом он послал несколько красивых картинок.

В тот же самый день девочку навестил и принц Хёбукё. Он давно уже не бывал в этом старом доме и царящее кругом запустение поразило его. Просторные покои пусты, на всем лежит печать уныния. Оглядевшись, принц Хёбукё говорит:

— Даже на короткое время нельзя оставлять столь юное существо в этом жилище. Я перевезу госпожу к себе. Уверен, что в моем доме ей будет удобно. Кормилица тоже получит комнату и будет по-прежнему прислуживать ей. В доме много детей, не сомневаюсь, что она прекрасно поладит с ними.

Принц подзывает дочь к себе, и в воздухе распространяется чудесное благоухание, перешедшее на ее одежды с платья Гэндзи. «Что за прекрасный аромат! Но как дурно она одета...» — с горечью думает он, затем говорит:

— Я давно уже предлагал, чтобы моя дочь, все это время находившаяся под присмотром старой, больной женщины, увы, ныне покинувшей нас, переехала ко мне, тогда бы она смогла постепенно привыкнуть к новому окружению. Но девочка почему-то всегда недолюбливала обитательницу Северных покоев моего дома, успев, в свою очередь, возбудить ее нерасположение к себе. Разве не печально, что ей придется впервые входить в дом теперь, при столь горестных обстоятельствах?..

— Стоит ли говорить об этом, — возражает Сёнагон. — Как ни уныло это старое жилище, по-моему, юной госпоже следует остаться здесь на некоторое время. Когда же она хоть немного проникнет в душу вещей, вы заберете ее к себе. Право, так будет лучше... Денно и ночью оплакивает она свою утрату, отказываясь даже от самой легкой пищи.

И в самом деле, за последнее время девочка заметно осунулась, но это нисколько не повредило ее красоте, напротив, ее нежные черты стали еще прелестнее.

— Для чего так терзать свое сердце? Не тщетно ли печалиться о тех, кого нет уже в нашем мире? Подумай, ведь я остаюсь с тобой, — утешал дочь принц Хёбукё, но вот день склонился к вечеру, и он собрался уходить.

«Ах, без него станет еще тоскливее», — подумала девочка, и слезы потекли по ее щекам. Принц тоже заплакал и сказал:

— Постарайся же не падать духом. Не сегодня завтра я приеду за тобой.

Не раз и не два повторил он эти слова, стараясь успокоить ее, и наконец ушел.

Расставшись с отцом, юная госпожа долго и безутешно плакала. Собственное будущее не волновало ее, она печалилась об ушедшей. «Мы никогда не расставались, я привыкла, что она рядом, и вот теперь ее нет». Девочка была совершенно подавлена тяжестью этой мысли, столь непривычной для ее юных лет, и даже прежние забавы были забыты. Если днем еще удавалось отвлечься, то вечерами ею овладевало такое безысходное уныние, что кормилица говорила:

— Ну можно ли? Как же вы будете жить дальше?

Но все ее попытки утешить госпожу оказывались тщетными, и она лишь плакала вместе с ней.

Скоро Гэндзи прислал к ним Корэмицу.

«Я собирался навестить вас, но призван был Государем... Могу ли я оставаться спокойным, зная, что юная госпожа живет в столь жалком окружении?..»

Прислал он и служителя, дабы охранял их, ночуя в доме.

— Вот уж не ожидали! — возмутились дамы. — Даже если и не принимать их союз всерьез, такое начало не делает чести господину Тюдзё...*

— Если слух о том дойдет до принца Хёбукё, его гнев немедленно обратится на нас.

— Смотрите же, не проговоритесь случайно, — наставляли они девочку, но мысли ее были далеко.

Сёнагон поделилась своими сомнениями и с Корэмицу.

— Пройдет время, и, если уж уготована ей такая участь, вряд ли удастся ее избежать. Но пока несоответствие слишком велико. Господин Тюдзё изволил вести здесь весьма странные речи, немало взволновавшие меня, тем более что я не в силах уразуметь, что же истинно у него на сердце. Сегодня посетил нас господин принц и, наказав нам беречь юную госпожу, предупредил, что не потерпит ни малейшего нерадения. Я в полном отчаянии и содрогаюсь от ужаса, вспоминая, сколь безрассудно вел себя ваш господин... — сказала она, но, спохватившись: «Как бы он не подумал, будто меж ними и в самом деле что-то произошло!», предусмотрительно воздержалась от дальнейших сетований. Корэмицу тоже недоумевал: «Что же это значит?»

Вернувшись, он рассказал обо всем Гэндзи, но тот, как ни велика была его нежность к девочке, навещать ее не спешил, ибо боялся прослыть ветренником, извращенным сластолюбцем, и, лишь мечтая украдкой: «Вот перевезу ее к себе!..», посылал к ней письмо за письмом. Под вечер же, как обычно, отправил туда Корэмицу.

— Различные неотложные дела мешают моему господину навестить вас, но он не отступится от своих намерений...

— Господин принц изволил известить нас, что приедет за госпожой не позднее чем завтра, и мы в полной растерянности. Да и можно ли было сохранить присутствие духа, ведь, что ни говори, грустно покидать эту затерянную в зарослях полины хижину, — сообщила кормилица и почти сразу же удалилась.

Заметив, что дамы целиком поглощены шитьем и прочими приготовлениями, Корэмицу поспешил уйти.

Господин Тюдзё в то время находился в доме Левого министра. Его молодая супруга, как обычно, не выказывала особого желания беседовать с ним. Раздосадованный, он тихонько (как говорится, «перебирая осоку»*) перебирал струны восточного кото и нежнейшим голосом напевал: «Далёко в Хитати тружусь я на поле своем...»*

Когда пришел Корэмицу, Гэндзи сразу же подозвал его к себе. Услышав же о том, что произошло, встревожился немало: «Увезти ее из дома отца мне уже не удастся, ведь не могу же я подвергать себя опасности прослыть неисправимым ветренником или даже похитителем малолетних. А потому надобно забрать ее раньше, чем за ней приедет принц, и некоторое время держать все в тайне, строго-настрого наказав ее прислужницам молчать».

— На рассвете мы отправимся туда. Карету оставь как есть и возьми с собой одного или двух телохранителей, — распорядился он, и Корэмицу вышел.

«Как же быть? По миру пойдет обо мне дурная слава, меня станут называть коварным соблазнителем. Когда бы речь шла о взрослой и разумной особе, люди, решив: «Очевидно, они заключили союз по обоюдному согласию», не стали бы осуждать меня. Но в этом случае... Если принцу откроется истина, я окажусь в весьма затруднительном положении».

Гэндзи медлил, не зная, на что решиться, но слишком досадно было упустить такой случай, и, не дожидаясь рассвета, он покинул дом министра. Молодая госпожа по обыкновению своему держалась принужденно и не приветливо.

— Я вспомнил вдруг об одном важном деле, за исполнением которого мне надлежит присмотреть самому. Поэтому я уезжаю, но скоро вернусь. — С этими словами Гэндзи удалось выскользнуть из опочивальни незамеченным.

Пробравшись в свои покои, он переоделся в носы и скоро, сопутствуемый одним Корэмицу, отправился в путь.

На их стук ворота сразу же, не подозревая ни о чем, открыли и карету тихо ввели во двор. Корэмицу, стукнув в боковую дверь, кашлянул, и Сёнагон, узнав его, вышла.

— Изволил пожаловать господин Тюдзё, — сообщает Корэмицу.

— Наша юная госпожа уже легла почивать. Почему вы так поздно? — спрашивает Сёнагон, а сама думает: «Не иначе, как возвращается от какой-нибудь из своих возлюбленных...»

— До меня дошел слух, что госпожу собираются перевозить в дом принца, вот я и решил поговорить с ней, пока она еще здесь. — объясняет Гэндзи.

— О чем? Неужели господин изволит полагать, что это дитя способно ему отвечать? — смеется Сёнагон. Но Гэндзи, не слушая ее, проходит во внутренние покои.

— Здесь у нас пожилые дамы, — растерявшись, бормочет кормилица, — они спят, совершенно не рассчитывая, что их может кто-то увидеть.

— Госпожа, наверное, еще не проснулась. Что же, я сам разбужу ее. Можно ли спать, когда так прекрасен утренний туман? — И Гэндзи входит за полог, да так быстро, что дамы и ахнуть не успевают. Девочка безмятежно спит, и Гэндзи, приподняв ее, пытается разбудить. «Наверное, это отец». — думает она, так и не проснувшись окончательно, а он, приглаживая ей волосы, говорит:

— Поедьте со мной! Я приехал от господина принца.

Взглянув на него, девочка вздрагивает от неожиданности: «Но ведь это же не принц!»

— Вам должно быть стыдно. Разве я хуже принца? — говорит Гэндзи и, взяв девочку на руки, выходит, провожаемый недоуменными восклицаниями Корэмицу, Сёнагон и прочих.

— Я же говорил вам, что тревожусь, не имея возможности навещать вас достаточно часто, и просил перевезти юную госпожу в более приличное для нее место. Вы же, пренебрегая моими просьбами, отправляете ее к принцу, куда мне даже писать нельзя будет. Одна из вас может сопровождать ее, — обращается он к дамам.

— Поверьте, вы выбрали самое неподходящее время. — говорит взволнованная Сёнагон. — Завтра приедет господин принц, а что мы ему скажем?

Подождите еще немного, и если союз ваш действительно предопределен... Ах, вы ставите нас в крайне затруднительное положение...

— Хорошо, вы можете приехать позже, — говорит Гэндзи и велит подвести карету поближе к дому.

Дамы, растерявшись, не знают, что делать, а девочка плачет от страха. Поняв, что удержать госпожу не удастся, Сёнагон собирает сшитые вчера вечером наряды и, переодевшись сама в приличное случаю платье, садится в карету.

Дом на Второй линии недалеко. Прибыв туда еще затемно, они останавливают карету у Западного флигеля, и Гэндзи выходит сам и выносит девочку, нежно прижимая ее к груди. Сёнагон же медлит:

— Ах, я все еще словно во сне. Что мне теперь делать? — сетует она, а Гэндзи отвечает:

— Это уж как вашей душе угодно. Госпожу я перевез, а вы, если хотите, можете ехать обратно, я распоряжусь, чтобы вас отвезли.

Что тут поделаешь? Приходится и Сёнагон выйти из кареты. О, как все это неожиданно, невероятно, тревожно!

«Что подумает, что скажет господин принц? И что станет с госпожой? Какое несчастье быть покинутой всеми своими близкими!» — сокрушается Сёнагон и плачет. Однако, сообразив, что слезы теперь не к добру, заставляет себя успокоиться.

В Западном флигеле обычно никто не жил, поэтому там не было даже полога. Призвав Корэмицу, Гэндзи поручил ему повесить полог, поставить ширмы — словом, привести все в надлежащий вид. Для начала же ограничились тем, что опустили полы переносного занавеса, разложили на полу сиденья и, послав в Восточный флигель за спальными принадлежностями, легли почивать. Девочка, совсем оробев, дрожала от страха, однако громко плакать не решалась.

— Я лягу с Сёнагон, — сказала она милым детским голоском.

— Теперь вам нельзя будет спать с Сёнагон, — объяснил Гэндзи, и, тихонько всхлипывая, она послушно легла рядом с ним.

Кормилица же, совершенно измученная, не имея даже сил лечь, просидела без сна до самого рассвета. Но вот небо посветлело, и она смогла оглядеться. Стоит ли говорить о доме и его убранстве? Даже песок в саду сверкал так, будто рассыпали по земле драгоценный жемчуг. Ей стало стыдно за свой скромный наряд, но, к счастью, рядом никого не было.

В обычное время в Западном флигеле принимали случайных гостей, здесь никто не жил, кроме немногочисленной челяди, помещавшейся за тростниковой шторой.

До некоторых из домохозяев уже дошел слух о том, что Гэндзи кого-то привез, и они шептались: «Кто же она? Вряд ли просто очередное увлечение...»

Воду для умывания и утренний рис подали в Западный флигель. Солнце стояло уже совсем высоко, когда Гэндзи поднялся.

— Вас должно стеснять отсутствие дам. Пошлите же вечером за теми, без чьих услуг вам не обойтись, — сказал Гэндзи и распорядился, чтобы из Восточного флигеля прислали девочек-служанок.

— Выберите самых юных, — приказал он, и скоро привели четырех весьма миловидных девочек.

Юная госпожа по-прежнему лежала, закутанная в платье Гэндзи, но он заставил ее подняться:

— Не сердитесь. Будь я дурным человеком, разве так бы я обращался с вами? Женщине полагается быть кроткой.

Судя по всему, он решил сразу же заняться ее воспитанием.

Сегодня девочка показалась ему еще прелестнее. Гэндзи ласково беседовал с ней, потом послал за красивыми картинками и игрушками, надеясь, что они помогут ему отыскать путь к ее детскому сердцу. В конце концов она поднялась и, подойдя к нему в своем измятом темно-сером платье, просто-душно улыбнулась, от чего стала еще милее. Глядя на нее, невольно улыбнулся и Гэндзи. Скоро он удалился в Восточный флигель, а юная госпожа, выйдя из внутренних покоев, сквозь ширму стала смотреть на деревья и пруд. Поблекшие от инея цветы возле пруда были прекрасны, как на картине, по саду сновали никогда ею прежде не виданные придворные Четвертого и Пятого рангов. «Да, здесь и в самом деле хорошо», — подумала она. Разглядывая ширмы, любуясь красивыми картинами, девочка быстро утешилась. Так, детское горе непродолжительно.

Несколько дней кряду Гэндзи не ездил даже во Дворец и часами беседовал со своей юной питомицей, постепенно приучая ее к себе. Он приготовил для нее многочисленные образцы — дабы совершенствовалась в каллиграфии и живописи — и как бы между прочим создал немало замечательных произведений.

Бывало, напишет на листке лиловой бумаги: «Но услышу: “долина Мусаси” — и вздыхаю тайком...» (48) — и девочка, взяв листок в руки, любитесь необыкновенно изящными знаками, созданными его кистью. А он на краешке того же листка напишет совсем мелко:

Сердце пленил
Этот росток несорванный.
Связан корнями
Он с цветком из Мусаси,
Недоступным в густой росе...

И, обращаясь к девочке, просит:

— Теперь вы напишите...

— Я еще не умею, — отвечает она, поднимая на Гэндзи глаза, такая простодушная и прелестная, что невозможно не улыбнуться, на нее глядя.

— Нехорошо все время повторять: «Не умею». Я вам покажу, как надо... — говорит Гэндзи.

И юная госпожа, отвернув от него лицо, начинает писать. Пишет она совсем еще неумело и кисть держит по-детски, но, как это ни странно, даже ее неловкость умиляет его.

Застыдившись, что написала неправильно, девочка прячет написанное, но он, отобрав у нее листок, заглядывает в него:

«Понять не могу,
В чем тайный смысл твоей песни.
Неведомо мне,
С каким цветком оказалась
Столь тесно связанной я».

Пишет она изящно, округлыми знаками, и почерк у нее весьма многообещающий — даром что совсем еще детский. Что-то в нем напоминает руку умершей монахини.

«Если изучит она все современные прописи*, то будет писать прекрасно», — думал Гэндзи, разглядывая написанное ею. Он строил домики для ее кукол и, играя с ней, забывал о своих печалях.

Между тем принц Хёбукё приехал за дочерью, и оставшиеся в доме прислужницы были в полном отчаянии, не зная, что ему отвечать. Памятуя наказ Гэндзи хранить все в тайне и следуя наставлениям Сёнагон, также строго-настрого запретившей им болтать лишнее, они в ответ на все вопросы твердили одно:

— Куда она уехала, нам неизвестно. Сёнагон увезла ее, ничего никому не сказав.

Поняв, что дальнейшие расспросы бессмысленны, принц Хёбукё сказал:

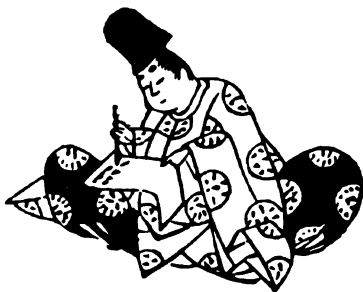
— Умершая монахиня всегда противилась моему намерению взять дочь к себе, и кормилица, особа весьма решительная, не смея отказать мне прямо, все же сочла своим долгом увезти ее. Коли узнаете что, сообщите, — просил он, повергая дам в еще большее смущение, и вскоре, обливаясь слезами, уехал.

Принц пытался выведать что-нибудь у монаха Содзу, но нигде не нашел никаких следов и лишь с нежностью и печалью вспоминал милые черты девочки. Госпожа Северных покоев тоже была раздосадована столь неожиданным поворотом событий, ибо, в последнее время позабыв о своей неприязни к бывшей сопернице, радовалась, что дитя будет полностью предоставлено ее попечениям.

Тем временем в Западном флигеле постепенно собрались все прислуживающие девочке дамы. Маленькие наперсницы и наперсники ее игр безмятежно резвились, всех пленяла яркая красота юной госпожи...

Лишь когда господина не бывало дома и приходилось коротать вечера в одиночестве, девочка горько плакала, с тоской вспоминая старую монахиню. А об отце она почти и не думала. С малолетства привыкшая видеться с ним крайне редко, она всей душой привязалась к новому своему покровителю. Когда Гэндзи возвращался домой, она прежде других выбегала ему навстречу, ласково беседовала с ним, уже не стыдясь и не смущаясь, когда он обнимал ее, удивительно трогательная в своей непосредственности.

«Взрослая женщина, разумная и проницательная, очень часто бывает склонна по любому поводу осложнять супружескую жизнь до крайности. Мужчина должен быть всегда настороже, как бы не заметила она какой перемены в его чувствах, да и она постоянно чем-то раздражена или обижена... А с моей питомицей — легко и приятно коротать время в утонченных забавах. С дочерьми, когда они достигают такого возраста, подобная близость немыслима, невозможно ведь проводить вместе и дни, и ночи. Право, мне досталось редкостное сокровище» — так скорее всего думал Гэндзи.



ШАФРАН

Основные персонажи

Тюдзё (Гэндзи), 18–19 лет

Пустая Скорлупка Цикады (Уцусэми) — супруга правителя Иё

Мискант у Стрехи (Нокиба-но оги) — падчерица Уцусэми

Госпожа Таю — дочь госпожи Саэмон, кормилицы Гэндзи

Дочь принца Хитати (Суэцумухана)

То-но тюдзё — сын Левого министра, брат Аои, супруги Гэндзи

Левый министр — тесть Гэндзи

Госпожа Оомия (Третья принцесса) — супруга Левого министра, мать Аои и То-но тюдзё

Дзидзю — прислужница Суэцумухана, дочь ее кормилицы

Юная госпожа (Мурасаки), 10–11 лет, воспитанница Гэндзи

ГОДЫ текут, но позабыть он не в силах, как, оставив его, росой мимолетной растаял «вечерний лик», чьей красою не успел он сполна насладиться*.

Связанные с ним женщины — и та, и другая* — словно старались превзойти друг друга в чопорности и гордой неприступности, от них веяло холодом, и мысли его невольно устремлялись к ушедшей, такой открытой, доверчивой и милой, такой ни на кого не похожей и потому особенно привлекательной.

«Вот бы встретить какую-нибудь прелестную особу, никому не ведомую, кроткую, мягкосердечную...» — мечтал Гэндзи, как видно, забыв о полученном уроке, и надобно ли сказывать, что от внимания его не укрывалась ни одна женщина, о достоинствах которой шла по миру молва. К некоторым, если почемуж-либо они возбуждали в нем особый интерес («быть может, наконец...»), он писал письма — всего несколько слов, намекающих на его чувства, — ибо успел

привыкнуть к тому, что ни одна не противилась его желаниям, ни одна не отвечала отказом.

Правда, иногда случай сталкивал его с женщинами неприступными, твердыми духом. Как правило, они отличались редким недостатком чувствительности, мешавшим им постичь душу вещей. Время показало, что и они не могли упорствовать до бесконечности и раньше или позже, смирившись, вступали в союз с самыми заурядными мужчинами. Впрочем, таким Гэндзи чаще всего сразу же переставал писать.

Нередко он с сожалением вспоминал о Пустой Скорлупке Цикады, а порой, когда подвертывался благоприятный случай доверить письмо посланцу-ветру, напоминал о себе и Мисканту у Стрехи. Как хотелось ему еще раз увидеть их обоих — чтоб они сидели друг против друга и огонь светильника освещал их... Так, не умел Гэндзи совершенно забывать однажды встреченных женщин.

Дочь кормилицы Саэмон, к которой после Дайни Гэндзи питал самую большую привязанность, прозывалась госпожой Таю. Служила она во Дворце, и отцом ей был Хёбу-но таю из Военного ведомства, благородный муж, в чьих жилах текла высочайшая кровь. Эта весьма бойкая юная особа нередко оказывала различные услуги и самому Гэндзи. Мать ее, став супругой правителя Тикудзэн, покинула столицу, и госпожа Таю жила в доме отца, откуда ездила во Дворец.

Однажды по какому-то случаю рассказала она Гэндзи историю дочери покойного принца Хитати, появившейся на свет незадолго до его смерти. Нежно любимая отцом, осталась она теперь одна на свете и влачила жалкое существование.

Весьма тронутый участием девушки, Гэндзи невольно заинтересовался ею и принялся расспрашивать Таю.

— Не могу сообщить вам ничего достоверного ни о нраве ее, ни о наружности. Живет она замкнуто, сторонится людей. Я иногда захожу к ней по вечерам, и мы беседуем через ширму. Судя по всему, самым приятным собеседником она считает семиструнное кото, — рассказывала Таю, и Гэндзи заметил:

— О да, «три друга»...* Второй из них не пользуется особой приязнью у женщин. — Затем он добавил: — Я хотел бы послушать ее игру, и если бы ты что-нибудь придумала... Отец ее, принц, был прекрасным музыкантом, полагаю, что и дочь должна выделяться среди прочих.

— Это так, но все же не настолько, чтобы угодить вашему вкусу, — отвечала Таю.

— Ты нарочно хочешь меня раздражить! Я отправлюсь к ней тайком в ночной час, когда на небо выйдет туманная луна. Постарайся и ты освободиться на это время от своих обязанностей, — просил Гэндзи, и госпожа Таю, подумав про себя: «Хлопотливое дело», тем не менее в тихий весенний день, когда во Дворце не устраивалось никаких развлечений, приехала к девушке.

Отец госпожи Таю жил теперь в другом месте и лишь иногда навещал дочь умершего. Сама же Таю, не ужившись с мачехой, полюбила дом принца Хитати и частенько бывала там.

Так вот, в ночь, когда шестнадцатидневная луна была особенно прекрасна, Гэндзи, как и обещал, подъехал к дому, где жила особа, возбудившая его любопытство.

— Ах, какая жалость, в такую ночь трудно добиться чистого звучания! — сокрушалась Таю, но Гэндзи не отступал:

— Пойди к ней и попроси поиграть хоть немного. Слишком обидно уходить ни с чем.

Тогда Таю провела его в свои довольно небрежно убранные покои, а сама, встревоженная и смущенная, ушла в главный дом. Там еще не опускали решеток, и дочь принца Хитати любовалась садом, по которому разливалось благоухание сливовых цветов. «Какая удача!» — подумала Таю и говорит:

— Мне показалось, что в такую ночь кто-то должно звучать особенно прекрасно и я не устояла перед искушением... К сожалению, я все время занята, захожу к вам редко и ненадолго, потому и не успеваю насладиться вашей игрой...

— О да, когда рядом есть человек, способный понять... Но играть перед вами, входящей за «стокаменные стены»... — отвечает девушка, но все-таки придвигает к себе кото, и госпожа Таю замирает: «Понравится ли ему?»

Дочь принца тихонько перебирает струны, и чудесная мелодия, проникающая сквозь занавеси, доносится до слуха Гэндзи. Играет девушка не так уж искусно, но ее кото отличается весьма своеобразным звучанием, и это сообщает музыке особую притягательность.

В унылом, запущенном жилище ничто не напоминает о тех днях, когда принц Хитати на старинный лад, в строгом благонравии воспитывал свою дочь, и может ли она не печалиться теперь?

«Если верить старинным повестям, именно в таких местах и происходит самое трогательное», — думает Гэндзи. «Хорошо бы заговорить с ней», — приходит ему в голову, но, испугавшись, что она сочтет его слишком дерзким, он не двигается с места.

Таю, особа весьма смышленная, решив, что не стоит утомлять его слух, говорит:

— Похоже, собираются тучи... Ко мне должен прийти гость, как бы он не подумал, что я им пренебрегаю... Надеюсь, что когда-нибудь мне удастся насладиться вашей игрой без спешки...

И, более не поощряя девушку, уходит к себе.

— Так быстро? Право, стоило ли вообще... Обидно! Разве за столь короткое время можно что-нибудь понять? — сетует Гэндзи. Судя по всему, он не на шутку заинтересован.

— Раз уж я здесь, позволь мне стать где-нибудь поближе и послушать, — просит он, но Таю, подумав: «Ну нет, именно теперь, когда пробудился в его сердце интерес к ней...», — отвечает:

— Увы, существование госпожи и без того столь непрочное, столь горестное. Я никогда себе не прощу...

«Разумеется, Таю права, — вздыхает Гэндзи. — Надобно принадлежать к совершенно иному кругу, чтобы, едва узнав друг друга, пускаться в откровенно душевные разговоры. Ее же положение слишком высоко».

— Все же постарайся как-нибудь намекнуть госпоже на мои чувства, — говорит он, весьма тронутый участью дочери принца. А поскольку ждут его и в другом месте, собирается уходить.

— Я всегда недоумеваю, слыша, как Государь изволит сокрушаться, пеняя вам за «чрезмерно строгий нрав». Сомневаюсь, что ему приходилось когда-

нибудь видеть вас в этой простой одежде... — замечает Таю, и Гэндзи, повернувшись к ней, улыбается:

— Право же, не тебе меня осуждать. Если уж мое поведение считать легкомысленным, то что можно сказать о некоторых женщинах?

Гэндзи нередко упрекал Таю в ветрености, и теперь, застыдившись, она не смеет оправдываться.

«Может быть, подойдя к ее покоям, я что-нибудь и услышу», — подумав, Гэндзи тихонько проходит к дому. Решив спрятаться за той частью ветхой ограды, которая еще сохранилась, он вдруг замечает, что там уже кто-то стоит.

«Кто же это? Какой-нибудь повеса, плененный дочерью принца?» — недоумевает Гэндзи и, отойдя, прячется в тени.

А был это То-но тюдзё. Вечером он вышел из Дворца вместе с Гэндзи, но заметил, что тот, распрощавшись с ним, не поехал ни к министру, ни на Вторую линию. «Куда это он?» — Подстрекаемый любопытством, То-но тюдзё последовал за другом, хотя ему и самому было куда ехать. Он был верхом, на самой простой лошади, в скромном охотничьем платье — так мог ли Гэндзи его узнать? То-но тюдзё же, увидев, что Гэндзи вошел в дом не со стороны главных покоев, остановился в недоумении. Тут вдруг заиграли на кото, и он так и остался стоять, прислушиваясь и с нетерпением ожидая появления Гэндзи.

Между тем Гэндзи, не догадываясь, что перед ним То-но тюдзё, и не желая быть узнанным, тихонько отошел и попытался было скрыться, как вдруг увидел, что таинственный незнакомец приближается к нему.

— Раздосадованный твоим явным желанием ускользнуть, я решил не отставать...

Вышли мы вместе
За пределы Дворцовой горы*,
Но куда и когда
Ты зашла — того я не видел,
О, луна шестнадцатой ночи!

Услыхав подобные упреки, Гэндзи рассердился было, но в следующий же миг догадался, кто перед ним, и гнев его сменился удивлением.

— Вот уж не думал! — восклицает он, затем произносит:

— Светом луны
Везде и всюду любуются,
Но когда за горой
Исчезает она, вряд ли стоит
Ее разыскивать там.

— Но что ты со мной сделаешь, если я буду вот так следовать за тобой по пятам? — спрашивает То-но тюдзё и тут же переходит в наступление: — Нет нужды уверять тебя в том, что благоприятный исход подобных прогулок нередко целиком и полностью зависит от спутника. Так что впредь не стоит пренебрегать моим обществом. Когда бродишь по столице в столь невзрачном облачении, следует быть готовым ко всяким неожиданностям.

Разумеется, Гэндзи было обидно, что слишком редко удавалось ему ускользнуть от зоркого взгляда То-но тюдзё, однако о «маленькой гвоздичке» тот так и не узнал. Вспоминая об этом, Гэндзи испытывал тайное удовлетворение, будто в том была его собственная заслуга.

Преисполненные теплых чувств друг к другу, юноши поняли, что не в силах расстаться даже ради ожидающих их возлюбленных, поэтому в конце концов уселись в одну карету и, согласно играя на флейтах, вместе поехали в дом Левого министра по дороге, освещенной мягким светом прекрасной, проглядывающей сквозь облака луны.

Не имея с собой передовых, они украдкой пробрались в дом и, послав за носи, переоделись в безлюдной галерее, после чего, как ни в чем не бывало, словно только что вернувшись из Дворца, вошли в покои, тихонько наигрывая на флейтах.

Левый министр, по обыкновению своему не желая упускать такого случая, вышел к ним с корейской флейтой*. Он был весьма искусен, и флейта в его руках звучала прекрасно. Послали за кото, и скоро к музицирующим присоединились обитательницы внутренних покоев, из которых многие обладали поистине незаурядными дарованиями. Госпожа Накацукаса превосходно играла на бива, но, поскольку ни для кого не являлось тайной, что, избегая ухаживаний То-но тюдзё, она не могла противиться нежной прелести столь редко посещающего их дом Гэндзи, госпожа Оомия не благоволила к ней, и даже теперь бедняжка, погруженная в глубокую задумчивость, с удрученным видом сидела в сторонке. Впрочем, вряд ли ей стало бы легче, решишь она перейти на службу в другое семейство и никогда больше не видеть Гэндзи. Наоборот, одна лишь мысль об этом вовлекала ее в уныние и повергала в смятение все ее чувства.

Юношам невольно вспомнились недавно слышанные звуки кото, и мысли их невольно устремились к тому трогательно-печальному, прекрасному в своей необычности жилищу. «Ведь может случиться и так, — думал То-но тюдзё, — прелестная, обаятельная женщина коротает там безотрадные дни и годы... Я начинаю навещать ее и привязываюсь к ней всей душой. И вот уже страсть целиком завладевает мною, и даже в свете начинают о том поговаривать...»

Но, судя по всему, Гэндзи тоже имел вполне определенные виды на эту особу, трудно было предположить, что он сразу же отступится от нее, поэтому То-но тюдзё беспокоился и мучился ревностью.

Скорее всего и тот, и другой отправили к дочери принца Хитати соответствующие послания, но ни один не получил ответа. Не понимая, что кроется за этим молчанием, То-но тюдзё чувствовал себя крайне уязвленным. «Вот странно, — размышлял он, — женщине, живущей в таком месте, не следует упускать случая для проявления своей чувствительности. Она должна научиться использовать любое, самое незначительное обстоятельство — будь то ничтожный цветок, дерево или облачко, по небу плывущее. Когда не пренебрегая ничем, станет она возбуждать в сердце мужчины сочувствие собственным настроениям, он просто не сможет не поддаться ее очарованию. Особа же, которая живет затворницей только потому, что того требует ее высокое звание, вряд ли кому-то покажется привлекательной».

Пожалуй, То-но тюдзё был увлечен даже больше, чем Гэндзи. Привыкший всем делиться с другом, он и теперь жаловался ему:

— Ответила ли она тебе хоть раз? Я попытался было намекнуть ей на свои чувства, но, увы, тщетно, поэтому я и писать перестал.

«Так и есть, он все-таки предпринял попытку сблизиться с ней», — улыбнулся Гэндзи и ответил:

— Что я могу сказать? Я не стремился получить ответ, может быть, потому и не получил его, а впрочем...

«Значит, она только мной пренебрегает», — понял То-но тюдзё, и ему стало совсем обидно.

Намерения Гэндзи с самого начала не были столь уж решительными, а когда выяснилось, что дочь принца Хитати лишена всякой чувствительности, он вовсе потерял к ней интерес, однако, заметив, что То-но тюдзё пытается добиться ее благосклонности, подумал: «Она может склониться к тому, кто более настойчив, и мне будет весьма неприятно, если То-но тюдзё, почувствовав себя победителем, станет смотреть на меня свысока, как на отвергнутого воздыхателя». И он призвал госпожу Таю для доверительной беседы.

— Досадно, что твоя госпожа, решившись, как видно, вовсе не сообщаться со мной, даже не отвечает на мои письма. Уж не подозревает ли она во мне обычного повесу? А между тем непостоянство не столь уж и присуще моему сердцу. Обыкновенно все неприятности, которым причину видят в моем легкомыслии, происходят из-за того, что женщина оказывается слишком неуступчивой. Будь она терпелива, кротка и во всем покорна моей воле, я навсегда остался бы ей предан, особенно если нет у нее вечно недовольных отца и братьев, распоряжающихся ею по своему усмотрению, — сказал он.

— И все же боюсь, что ее дом не подходит для того, чтобы там «пережидал дождь»* столь утонченный человек, — отвечала Таю. — Вряд ли вы найдете где-нибудь еще особу столь робкую, столь замкнутую...

И она рассказала Гэндзи все, что было ей известно о дочери принца Хитати.

— Похоже, что твоей госпоже недостает изысканности и особыми талантами она не блещет, но я всегда предпочту иметь дело с женщиной хоть и недалекой, но простодушной и кроткой, — заявил Гэндзи, до сих пор не забывший цветы «вечерний лик»...

Вскоре после того Гэндзи заболел лихорадкой, затем овладела им тайная любовная тоска — и сердце его не знало покоя. Так прошли весна и лето.

Настала осень. Гэндзи коротал дни в тихих раздумьях, и даже стук вальков, так раздражавший когда-то его слух, вспоминал он теперь с томительной тоской...

Время от времени посылал он письма к дочери принца Хитати, но она по-прежнему не отвечала. Уязвленный столь явным пренебрежением приличиями, не желая мириться с поражением, Гэндзи решил высказать свои обиды Таю.

— Чем можешь ты объяснить ее молчание? Никогда еще со мной не было ничего подобного! — сетовал он. И, пожалев его, Таю ответила:

— Поверьте, я никогда не пыталась внушить госпоже, что союз с вами недопустим. Я полагаю, что причина ее молчания кроется в чрезмерной застенчивости — и только.

— Но, право же, подобная застенчивость выходит за рамки приличий! Будь твоя госпожа неопытной девицей, полностью зависящей от воли родителей и не ведающей о любовном томлении, ее поведение еще было бы объяснимо, но она показала мне особой вполне самостоятельной, потому что я и решился... Мне часто бывает тоскливо, я чувствую себя таким одиноким в этом мире и почел бы за счастье услышать от нее хоть слово сочувствия. Поверьте, на этот раз я далек от обычных намерений, мне было бы достаточно постоять иногда на заброшенной галерее у ее дома. Но она ведет себя крайне неопределенно, и, по-видимому, добиться ее согласия мне не удастся, поэтому, как ни досадно мне поступать вопреки ее воле, прошу тебя что-нибудь придумать. Я обещаю не предпринимать ничего такого, что могло бы показаться оскорбительным, — упрасивал Гэндзи.

«О да, так бывало всегда, — подумала Таю. — Равнодушно внимает он рассказам о разных женщинах, и вдруг какая-то привлекает его внимание. Однажды в тоскливые часы ночного бдения я рассказала ему об этой особе, и теперь он домогается ее, ставя меня в столь затруднительное положение. А ведь в ней нет ничего утонченного, ничего, что могло бы ему понравиться. И ежели я все-таки соглашусь стать в этом деле посредницей, к хорошему это не приведет, наоборот — последствия могут быть самыми неприятными для госпожи».

Но Гэндзи был слишком настойчив, и могла ли она противиться? Он наверняка обвинил бы ее в нечуткости, а этого ей тоже не хотелось.

Еще при жизни принца, отца девушки, всех ужасало запустение, царившее в доме, и люди редко заглядывали сюда, а теперь уж и вовсе никто не оставлял следов на густой траве в саду, поэтому, когда нечаянно проник сюда свет столь редкостной красоты, ничтожные служанки и те совсем помешались от радости. «Ну, ответьте же ему, ответьте...» — увещевали они госпожу, но, увы, застенчивость ее превосходила все пределы, она и не читала писем Гэндзи.

«Раз так, ничего страшного не случится, если при удачном стечении обстоятельств он поговорит с ней через ширму. Скорее всего она не придется ему по вкусу, тогда на этом все и кончится. А если вдруг вступит он с ней хотя бы в недолгую связь, вряд ли кто-то меня осудит», — такое решение созрело в легкомысленной головке Таю. Но даже отцу своему она ничего не сказала.

Давно миновал Двадцатый день Восьмой луны. Стояли ночи, когда появления луны приходилось ждать почти до самого рассвета. В небе ярко сияли одни лишь звезды, а ветер, поющий в кронах сосен, навевал тоску. Рассказывая Таю о своей прежней жизни, дочь принца Хитати заливалась слезами.

«Другого такого случая не дожدهшься», — подумала Таю и, наверное, известила Гэндзи, потому что он не замедлил прийти, по обыкновению своему таясь от чужих глаз.

Вот наконец на небе появилась луна. Дочь принца Хитати сидела, уныло созерцая ветхую изгородь, затем, вняв настояниям прислужниц, начала тихонько перебирать струны кото, и звучали они весьма мелодично. Но ветреннице Таю и этого было мало. «Играла бы госпожа понежнее и не так старомодно», — думала она. Посторонних в доме не было, и Гэндзи без труда

проник во внутренние покои, а проникнув, вызвал Таю. Та изобразила удивление, словно до сего мига и не ведала ни о чем.

— Не знаю, что и делать! Изволил пожаловать господин Тюдзё. Он неоднократно сетовал на ваше молчание, когда же я решительно отказала ему в помощи, говоря, что от меня здесь ровно ничего не зависит, заявил: «Пойду и объясню ей все сам». Что прикажете ему отвечать? Человек он непростой, и выезжать ему нелегко, поэтому было бы жестоко оставлять его без ответа. Пожалуй, лучше вам самой побеседовать с ним через ширму, — советует Таю, и девушка отвечает, застыдившись:

— Но я, право, не знаю, что нужно говорить...

Она пытается скрыться в глубине дома, проявляя тем самым полную свою неискушенность. Таю смеется:

— Вы словно дитя неразумное. Нехорошо! Женщине даже самого высокого звания не возбраняется вести себя подобным образом, когда она имеет родителей, которых ласки и попечения поддерживают ее существование. Но вы совсем одиноки, и вам не подобает упорствовать в своем неприятии мира, — говорит она, а та, будучи, несмотря ни на что, особой весьма покладистой, не может долго противиться и лишь просит:

— Нельзя ли не отвечать ему, а только слушать? Тогда лучше опустить решетку и сесть вот здесь...

— О нет, такого гостя неприлично оставлять на галерее. Уверю вас, он ни в коем случае не позволит себе никакой дерзости, никакого безрассудства, — уговаривает ее Таю и, собственноручно сдвинув перегородки, отделяющие покои от домашней молельни, кладет за ними сиденье для гостя и принимается поспешно прибирать все вокруг. Глядя, как она хлопочет, госпожа еще более смущается, но поскольку сама она и ведать не ведала, как надобно беседовать со столь важной особой, то решает во всем положиться на Таю, которая, уж наверное, знает, что делает.

Настал миг, когда старушка-кормилица и другие прислужницы, разойдясь по своим покоям, легли, и вечерняя дрема одолела их. Лишь две или три молодые дамы суетились возле госпожи, сгорая от желания узреть наконец того, чья красота привлекала к себе все взоры. Облачив дочь принца в ее лучшее платье, они попытались, как могли, приукрасить ее наружность, в то время как сама она сохраняла полное безразличие. Гэндзи, приложивший немало усилий к тому, чтобы сделать неприметной для любопытных взоров несравненную красоту свою, был, несмотря на это, столь прекрасен, что Таю невольно вздохнула: «Показать бы его сейчас тому, кто способен оценить! А в этом заброшенном доме... право, досадно!» Тихий, незлобивый нрав госпожи внушал надежду на благоприятный исход, по крайней мере можно было не опасаться никаких неуместных выходов с ее стороны. Тем не менее на душе у Таю было беспокойно, ибо она понимала, что, освобождаясь от мучительного бремени постоянных попреков Гэндзи, она невольно становится причиной будущих страданий дочери принца Хитати.

А Гэндзи, памятуя о высоком звании девушки, предполагал в ней какую-то особенную прелесть, во всяком случае ему казалось, что она должна выгодно отличаться от тщеславных жеманниц, стремящихся во всем следовать современным веяниям.

Наконец по едва заметным признакам он угадал, что девушка, вняв увещеваниям дам, приблизилась к перегородке. Спокойное достоинство ее движений, равно как и чарующий аромат сандаловых курений, распространившийся в воздухе, позволяло Гэндзи надеяться на то, что ожидания его не были напрасны.

Весьма убедительно рассказывал он ей о тоске, поселившейся с некоторого времени в его душе, но, увидев его рядом, девушка окончательно лишилась дара речи. «Увы, безнадежна...» — вздохнул Гэндзи.

— Сколько же раз
Отступался я, побежденный
Молчаньем твоим.
Скажи хоть: «Больше не слова!» —
Тогда перестану надеяться.

Ответьте мне прямо, к чему этот «путаный узел» (49)? — сетует он.

Тут молочная сестра госпожи, весьма бойкая особа по прозвищу Дзидзю, не снеся столь неуместного молчания, произносит, приблизившись:

— Вовсе я не хочу,
Тебя колокольчика звоном*
К молчанью призвать,
Отчего же медлю с ответом?—
Того и сама не знаю...

Услышав совсем еще юный, лишенный всякой значительности голос, Гэндзи, не подозревая, что имеет дело с посредницей, невольно дивится: «Не слишком ли она развязна для особы столь высокого звания?» Но тем не менее спешит заметить:

— Столь редкостная удача выпала на мою долю, что теперь уже я не в силах вымолвить ни слова...

Мне известно давно,
Что молчанье бывает дороже
Самых пылких речей.
Но твое молчанье упорное
Отзывается болью в сердце.

И он продолжает говорить — о всяких пустяках, о том о сем, то шутя, то серьезно, но, увы, напрасно!

«Как это понимать? Неужели она так отлична от других женщин и наруганностью, и образом мыслей своих?» — Рассердившись, Гэндзи решительно раздвигает перегородки и проходит во внутренние покои.

«Что же это? Совершенно усыпив мою бдительность...» — негодует Таю. Однако же, как ни жаль ей госпожу, она предпочитает удалиться к себе, сделав вид, будто и не ведает ни о чем. А молодые прислужницы, готовые все простить тому, чья несравненная красота окружена такой славой в мире, не решаются даже сетовать громко. Их беспокоит одно — что внезапное вторжение застало госпожу врасплох. Сама же госпожа, не испытывая ничего, кроме мучительной растерянности, вот-вот лишится чувств от стыда и страха.



«Именно такие женщины и кажется мне теперь прелестными. Воспитанные в строгости, не тронутые влиянием света...» — думал Гэндзи, стараясь быть снисходительным. Но вряд ли от его внимания укрылись некоторые досадные странности ее натуры. Да и чем она могла привлечь его?

Тяжело вздыхая, Гэндзи покинул ее дом задолго до рассвета. Таю лежала без сна, прислушиваясь. «Чем же все кончилось?» — волновалась она, но, рассудив, что благоразумнее не вмешиваться, сделала вид, будто ничего не замечает, и даже не окликнула Гэндзи обычным: «Позвольте проводить!» Впрочем, он и сам старался никому не попадаться на глаза.

Вернувшись в дом на Второй линии, Гэндзи лег, продолжая размышлять о том, сколь далек от совершенства наш мир. Не мог он не беспокоиться и о дочери принца Хитати, ибо пренебрегать особой такого звания было недопустимо. Так лежал он, погруженный в мучительные раздумья, когда пришел к нему То-но тюдзё.

— До сих пор изволишь почивать? Уж наверное, не без причины.

И Гэндзи, поднявшись, отвечает:

— О да, разнежился на привольно одиноком ложе. Ты из Дворца?

— Совершенно верно, оттуда. Вчера вечером мне сообщили, что сегодня должны быть выбраны музыканты и танцоры для церемонии Высочайшего посещения дворца Судзаку. Я приехал, дабы известить о том министра, а потом сразу же вернусь во Дворец.

По-видимому, он очень спешил.

— Коли так, и я с тобой, — говорит Гэндзи и, повелев принести утренний рис, угощается сам и потчует гостя, после чего, хотя у ворот стояли наготове обе кареты, они сели вместе в одну и отправились во Дворец. Причем по дороге То-но тюдзё продолжает уличать Гэндзи в чрезмерной сонливости и упрекать за скрытность.

В тот день во Дворце шли поспешные приготовления к церемонии, и Гэндзи совершенно не имел досуга. Иногда он с раскаянием вспоминал, что не отправил дочери принца Хитати положенного письма, но только поздно вечером ему удалось наконец его написать.

Пошел дождь, однако, судя по всему, Гэндзи не испытывал ни малейшего желания снова «пережидать его» в доме принца — видно, ему довольно было и одного раза.

Давно уже миновало время, когда можно было ждать письма, и Таю, кляня себя, жалела госпожу. Сама же девушка, до крайности смущенная происшедшим, даже не понимала, сколь оскорбительна подобная задержка обычного утреннего послания.

В письме же было написано вот что:

«Вечерний туман
Еще не успел рассеяться,
А теперь этот дождь —
Жестоким тоской сокрушает
Смятенную душу мою...

Охваченный нетерпением, жду, когда тучи наконец разойдутся...»

Уязвленные явным нежеланием Гэндзи приезжать к ним сегодня, дамы тем не менее старались уговорить госпожу написать ответ, но, растерявшись, она оказалась неспособной сочинить даже самого простого послания и, только вняв настояниям Дзидзю — «Медлить нельзя, скоро совсем стемнеет», — заставила себя написать следующее:

«Подумай о том,
Как ночами ненастными
Жду я луну.
Пусть даже душою
Ты от меня и далек...»

Когда-то лиловая бумага пожелтела от старости и казалась удивительно старомодной. Знаки, начертанные весьма уверенной рукой, были выдержаны в старинном стиле*, а строчки равны по длине — словом, ничего достойного внимания в письме не было, и Гэндзи сразу же отложил его.

«Интересно, что она подумала обо мне? — тревожился он. — Вот, оказывается, что это такое — запоздалое раскаяние. И все же что мне делать? Придется, видно, запастись терпением и заботиться о ней до конца своих дней», — решил наконец Гэндзи, но, не подозревая об этом, девушка предавалась печали.

С наступлением ночи Левый министр покинул Дворец, и Гэндзи поехал с ним.

В последнее время в доме министра было особенно шумно. Там собирались юноши из благороднейших столичных семейств и, предвкушая удовольствие, связанные с церемонией Высочайшего посещения, коротали дни в оживленных беседах, совершенствовались в разнообразнейших танцах. С утра до вечера в доме звучала громкая музыка, юноши выбивались из сил, стараясь затмить друг друга... В обычное время такого не бывает. Звонко пели большие флейты «хитирики», им вторили флейты «сякухати»*, юноши подкатили к перилам даже большой барабан «тайко»* и сами били в него.

Не имея досуга, Гэндзи лишь иногда, уловив миг, навещал дорогих его сердцу особ, но в том заброшенном доме не показывался вовсе. Приближалась к концу осень, дочь принца Хитати не смела уже и надеяться, а дни и луны текли, сменяя друг друга. Совсем немного осталось до дня Высочайшего посещения, музыкальные занятия были в самом разгаре, и вот тут-то в покоях Гэндзи появилась Таю.

— Как поживает твоя госпожа? — спросил ее Гэндзи, которому, несмотря ни на что, было искренне жаль девушку.

Рассказав ему о том, как обстоят дела в доме покойного принца Хитати, Таю со слезами на глазах добавила:

— Ваше явное пренебрежение удручает не только госпожу, но и всех ее домочадцев.

«Она хотела пробудить в моем сердце интерес к своей госпоже, не более. Я же разрушил ее замыслы, и она вправе считать меня бессердечным», — подумал Гэндзи. Представив же себе печально поникшую молчаливую фигуру дочери принца, почувствовал жалость.

— Теперь я совершенно не имею досуга. Увы, не в моей власти... — вздохнул он, но тут же улыбнулся. — Я надеюсь, что мне удастся исправить положение и обогатить ум твоей госпожи знаниями, приличными ее полу, а то она показалась мне довольно невежественной особой.

Глядя на его прекрасное юное лицо, Таю не могла не улыбнуться в ответ. «Ах, право, было бы только странно, если бы женщины, с ним связанные, не испытывали мук ревности. И разве не понятно его стремление во всем потакать своим желаниям, ни с кем особенно не считаясь?» — подумала она.

Когда остались позади самые беспокойные дни, Гэндзи стал время от времени навещать дочь принца Хитати.

С тех пор как в доме на Второй линии появилась некая юная особа, связанная с чудесным цветком мурасаки, он, очарованный ею, отдалился от своих прежних возлюбленных и даже на Шестой линии бывал крайне редко. Тем более тяготила его обязанность посещать этот заброшенный дом, хотя он жалел и не забывал его обительницу. У него никогда не возникало желания получше разглядеть эту стыдливую особу, пока однажды не пришла ему в голову мысль, что, может быть, она вовсе не так дурна, как кажется. В самом деле, трудно полагаться только на осязание... «Вот бы увидеть ее!» — загорелся Гэндзи, но не мог же он позволить себе откровенно разглядывать ее при ярком свете? Поэтому однажды ночью, когда дамы были одни и чувствовали себя вполне свободно, Гэндзи тайком пробрался в дом и стал смотреть сквозь решетку.

Как и следовало ожидать, увидеть госпожу ему не удалось. Обветшавшие переносные занавесы, судя по всему, годами стояли на одних и тех же ме-

стах, их никогда не отодвигали и не переставляли, поэтому Гэндзи так и не сумел удовлетворить своего любопытства, и пришлось ему ограничиться созерцанием четырех или пяти прислужниц, которые, сидя поодаль, ели что-то крайне непривлекательное и жалкое, хотя и поданное на китайском фарфоре изысканно зеленоватого оттенка*. Другие сидели в углу, дрожа от холода, их когда-то белые платья были немислимо засалены, а подвязанные сзади к поясу грязные платки сибиря придавали еще более отталкивающий вид их и без того безобразным фигурам. Тем не менее в прическах у них, как полагается, торчали гребни*, правда, готовые того и гляди выпасть. «Я-то думал, что таких можно встретить лишь в Танцевальной палате или в Отделении дворцовых прислужниц», — недоумевал Гэндзи. Он и представить себе не мог, что подобные особы могут входить в свиту благородной девицы.

— Какой холодный выдался год! Впрочем, поживешь с мое — и не такое придется испытать, — говорит одна из прислужниц, обливаясь слезами.

— Подумать только, мы могли еще на что-то жаловаться, когда наш господин был с нами! В такой нищете, не имея опоры, и то живем как-то... — сетует другая, дрожа так, словно вот-вот взлетит.

Смущенный тем, что невольно подслушал, как поверяют они друг другу свои горести, Гэндзи тихонько отошел, потом, словно только что приехав, постучал по решетке.

— Ах, какая радость! — оживились прислужницы. Поярче засветив светильники, они подняли решетку и впустили Гэндзи.

Дзидзю на сей раз отсутствовала, эта молодая особа прислуживала еще и жрице Камо. Остальные, не отличаясь миловидностью и вид имея весьма провинциальный, представляли собой непривычное для Гэндзи окружение.

Снег, о котором дамы только что говорили с таким страхом, действительно пошел, и все вокруг покрылось белой пеленой. На небо было страшно взглянуть, бушевал ветер, светильники погасли, и некому было их зажечь. Гэндзи вспоминалась та ночь, когда злой дух напал на его возлюбленную из дома с цветами «вечерний лик», но он утешал себя тем, что жилище покойного принца при всей его запущенности было гораздо меньше, да и не такое безлюдное. Так или иначе, ночь, судя по всему, предстояла унылая и бессонная. Однако же была в этой ночи какая-то своеобразная трогательная красота, способная необычностью своей пленить сердце Гэндзи, и когда б не упорное молчание госпожи...

Наконец небо посветлело, и, собственноручно приподняв решетку, Гэндзи взглянул на покрытый снегом сад. Пустынное пространство, которого белизну не нарушали ничьи следы, навевало уныние... Мог ли он уйти, оставив женщину в одиночестве?

— Посмотрите, какое прекрасное небо! Как жаль, что вы до сих пор чуждаетесь меня? — пеняет он ей.

Еще довольно темно, но сияние снега — достойное обрамление для юной красоты Гэндзи, и даже старые дамы, глядя на него, расцветают улыбками.

— Выйдите же к нему скорее. Нехорошо! Женщина должна быть мягкой и послушной, — поучают они госпожу, и, уступчивая по натуре, она наряжается, как может, и выходит к Гэндзи. Он же, словно не замечая ее появления, любит садом, а сам украдкой разглядывает ее. «Какова же она? Вот будет радость, если она окажется более привлекательной, чем

казалось!» — думает он, по обыкновению своему сообразуясь лишь с собственными желаниями, но, увы... Прежде всего ему бросается в глаза, что она слишком высока ростом, это заметно, даже когда она сидит. «Ну вот, так я и знал», — расстраивается Гэндзи. Вторая выдающаяся и не менее неприятная черта в ее наружности — нос. Он сразу же приковывает к себе внимание, заставляя вспомнить о небезызвестном существе, на котором восседает обычно бодхисаттва Фугэн*. Нос на диво крупный, длинный, с загнутым книзу кончиком. Но, пожалуй, самое в нем неприятное — это цвет. Лицо же бледное, соперничающее белизной со снегом, с несоразмерно вытянутой нижней частью и с чересчур выпуклым узким лбом. Женщина так худа, что невозможно смотреть на нее без жалости. Даже сквозь платье видно, какие у нее угловатые плечи.

«Уж лучше бы я ее не видел!» — думает Гэндзи, не в силах тем не менее оторвать глаз от ее лица. И в самом деле, зрелище редкостное! Впрочем, форма головы ничуть не хуже, чем у женщин самой безупречной наружности, волосы же просто прекрасны. Длинные — длиннее платья, — они тянутся за ней шлейфом.

Может быть, не совсем хорошо с моей стороны останавливаться еще и на подробностях ее наряда, но ведь не даром в старинных повестях знакомство с героиней всегда начинается с описания ее одежды.

Так вот, облачена она в нижнее платье дозволенного оттенка*, но совершенно выцветшее и в почерневшее от времени утики* с наброшенной поверх него роскошной благоухающей накидкой из куньего меха. Эта накидка — вещь сама по себе старинная и благородная — слишком тяжела для столь молодой особы, и это несоответствие сразу бросается в глаза. Впрочем, не будь накидки, бедняжка неизбежно замерзла бы — и Гэндзи смотрит на нее с сочувствием. Он не может вымолвить ни слова, будто на этот раз немота поразила его, потом все же — «Попробую еще раз разбить ее молчание» — решает и пытается завести с ней разговор о том о сем, но женщина только робеет и, словно невежественная провинциалка, закрывает рот рукавами, становясь при этом удивительно похожей на участника торжественной церемонии, который горделиво выступает, расставив в стороны локти*. Она старается улыбаться, но улыбка получается слишком принужденной и не идет ей. Вид у нее такой жалкий и несчастный, что Гэндзи спешит уйти.

— Ведь у вас нет никакой опоры в жизни. Так почему бы вам не отнестись с большим доверием и приязнью к человеку, который готов о вас позаботиться? Ваше упорное молчание обижает меня, — говорит он, видя, однако, в этом молчании неплохой предлог для того, чтобы поскорее удалиться.

— Утром на солнце
Тянут сосульки под крышей.
Отчего же,
Сердце твое по-прежнему
Сковано крепким льдом? —

произносит он, но женщина только бессмысленно хихикает, и, видя, что она не в состоянии выдать из себя ни слова, Гэндзи уходит, дабы более не смущать ее.

Срединные ворота, к которым подают его карету, совсем обветшали и скособоились. Ночью многочисленные изъязы не были так заметны, хотя догадаться об их существовании не составляло труда. Теперь же перед Гэндзи открывается такая печальная картина запустения, что сердце его мучительно сжимается. Только снег, пухлыми шапками покрывающий ветви сосен, кажется теплым и придает саду то очарование, какое бывает у уединенной горной усадьбы.

«Так вот они, «ворота, увитые хмелем», о которых тогда говорилось. Когда б я мог поселить здесь женщину беспомощно нежную, томиться от любви, ждать встреч!.. Ужели не удалось бы мне отвлечься от непозволительных дум? Но, увы, особа, здесь живущая, не подходит для этой цели... — думает Гэндзи. — Вряд ли кто-нибудь другой мог проявить большее терпение. Верно, душа покойного принца, тревожно витающая вокруг дочери, привела меня к ней».

Призвав одного из спутников своих, он велит ему стряхнуть снег с померанцевого дерева. Тут, — уж не от зависти ли? — вздрагивают ветки сосны, и с них тоже сыплется снег, словно «небесные волны захлестнули их...» (50).

«Как жаль, что рядом нет женщины, способной хоть как-то откликнуться на мои чувства, даже не выказывая при этом особой глубины понимания», — думает Гэндзи.

Ворота еще закрыты, принимаются искать ключника и вот он выходит — совсем уже дряхлый старик. Женщина неопределенного возраста — то ли дочь его, то ли внучка, — запачканным платьем своим резко выделяющаяся на фоне белого снега, зябко поеживаясь, держит в руке обернутую концом рукава какую-то странную плошку, в которой тлеет несколько крошечных угольков. Старик никак не может открыть ворота, и женщина, подойдя, принимается тянуть вместе с ним — зрелище не из приятных. Наконец вмешивается кто-то из спутников Гэндзи, и ворота поддаются.

— На голову старца,
Убеленную снегом, взглянув,
Подумал невольно:
Этим утром его рукава
Вряд ли влажнее моих...

«Юным нечем прикрыть наготу...»* — говорит Гэндзи и невольно улыбается, вспоминая покрасневший нос, который придавал девушке такой озябший вид.

«Когда бы увидел ее То-но тюдзё! Какое сравнение пришло бы ему в голову? Он всегда следит за мной, вряд ли для него осталось тайной, что я пощаю ее», — думает Гэндзи с некоторым беспокойством.

Будь дочь принца заурядной, ничем не примечательной особой, он скорее всего сразу же покинул бы ее, но она оказалась так трогательно жалка, что он не решился ее оставить и время от времени писал к ней, хотя письма его были вовсе не похожи на любовные. Он посылал ей шелк, узорчатую парчу, хлопчатые ткани, чтобы было чем заменить кунью накидку, одаривал приличными нарядами ее пожилых прислужниц, не забыл даже древнего старика ключника — словом, имел попечение как о высших, так и о низших.

Поскольку женщину, по-видимому, ничуть не смущало, что заботы Гэндзи о ней носили исключительно житейский характер, он со спокойной душой решил и впредь таким же образом опекать ее и входил во все самые ничтожные, самые сокровенные ее нужды.

Привлекательной нельзя было назвать и Уцусэми, которую в ту давнюю ночь застал врасплох его взор, однако, обладая умением скрывать свои недостатки, она не казалась жалкой. А ведь эта особа занимает в мире куда более высокое положение... Воистину, достоинства женщины не зависят от ее звания...

Надо сказать, что Гэндзи и теперь довольно часто вспоминал супругу правителя Иё, такую спокойную, изящную, но, увы, потерянную для него навсегда.

Год подошел к концу. Однажды, когда Гэндзи был в своих дворцовых покоях, зашла к нему госпожа Таю. Она нередко помогала ему с прической и оказывала другие услуги, но отношения меж ними были скорее дружескими, нежели любовными. Гэндзи считал ее милой собеседницей и часто шутил с ней. Даже когда он не призывал ее, она приходила сама, коли было у нее чем с ним поделиться.

— Ах, все это так странно... Я в полной растерянности, но было бы просто дурно не рассказать вам... — говорит она, улыбаясь, и замолкает.

— А что такое? Уж от меня-то ты можешь ничего не скрывать, — отзывается Гэндзи.

— Да разве я скрываю? Со своими печальями я сразу прихожу к вам, порой даже злоупотребляя вашей благосклонностью, но... дело-то слишком щекотливое... — И она, смешавшись, умолкает.

— Неужели нельзя не жеманиться! — сердится Гэндзи.

— Я с письмом от госпожи... — говорит она наконец и вытаскивает письмо.

— А тут уж какие могут быть тайны? — удивляется Гэндзи и берет письмо, а Таю смотрит, затаив дыхание.

Толстый, покособившийся лист бумаги «митиноку»*, правда старательно пропитанный благовониями... Написано неплохо. Вот и стихи:

Китайский наряд
Сшит из жесткого шелка, жестоко
Сердце твое.
Потому и мои рукава
Промокают все больше ...

Гэндзи в недоумении склоняет голову, а Таю, разложив кусок ткани, ставит на него тяжелый старомодный ларец.

— Вы и представить себе не можете, как мне неприятно... Но ведь это платье она нарочно приготовила к первому дню года! Я не посмела пренебречь таким даром. Хотела было, ничего никому не говоря, оставить платье себе, но госпожа наверняка обиделась бы... Потому и решила: покажу вам, а потом... — оправдывается она.

— Было бы крайне досадно, если бы ты оставила его у себя. Что может быть дороже такого дара для человека, рядом с которым нет никого, кто высушил бы его рукава (51)...

Больше Гэндзи ничего не мог сказать, а про себя с сожалением подумал: «И все же... Как неизящно сказано! По-видимому, эти строки — предел ее собственного мастерства. Жаль, что Дзидзю не поправила... Судя по всему, другого наставника, искусно владеющего кистью, у нее нет».

Представив себе, каких мучений, какого умственного напряжения стоило дочери принца это письмо, Гэндзи улыбнулся.

— Пожалуй, самым ценным даром можно считать именно стихотворение, — говорит он, рассматривая пожелтевший листок бумаги, и Таю заливаается краской.

Из ларца торчат концы какого-то одеяния. Судя по всему, это нижнее платье модной расцветки*, но невероятно поблекшее, старинного покроя, а также темное — и с лица, и с изнанки — носи. И то, и другое сшиты весьма дурно.

— «Что за диковинный наряд?» — думает Гэндзи и как бы между прочим пишет что-то на краешке развернутого письма... Таю заглядывает сбоку и видит:

«Вряд ли цветом своим,
О шафран, ты прельстить меня можешь,
Но с красным цветком —
Почему, я и сам не знаю —
Расстаться никак не могу*.

“Всегда ярко-алым мне этот цветок казался”, но, увы...» (52)

«Очевидно, не без причины сетует он на красные цветы», — догадывается Таю, но, как ни жаль ей госпожу, чье лицо она не раз имела возможность видеть в лунном свете, стихотворение Гэндзи приводит ее в неописуемый восторг.

— Алый наряд,
Один только раз окрашенный,
Блекнет так быстро...
Но и его не стоит
Молве отдавать на суд.

Увы, тяжело жить в этом мире, — привычно, как бы между прочим, отвечает Таю.

Стихотворение ее не представляет собой ничего особенного, но Гэндзи снова и снова сокрушается: «Когда бы та сумела хоть так ответить...» Однако высокое звание дочери покойного принца Хитати требовало сочувствия, и менее всего ему хотелось, чтобы из-за подобных мелочей страдало ее доброе имя. Тут подходят прислуживающие в его покоях дамы, и Гэндзи говорит, вздыхая:

— Лучше спрячем это платье. Уж очень оно не похоже на обычное подношение.

«Для чего я показала ему? Теперь он и меня будет считать полной невеждой...» — Совсем смутившись, Таю тихонько выходит.

На следующий день Таю прислуживала во Дворце и, заметив ее в Столовом зале*, Гэндзи бросил ей записку, сказав:

— Вот ответ на вчерашнее. Надеюсь, он не покажется слишком дерзким...

— Что, что такое? — заинтересовались дамы.

— Ах, и ту прекрасную деву забыв,
Деву с горы Микаса,
Чье лицо словно алой сливы цветок...* —

произнес Гэндзи и вышел.

Таю была восхищена, а не знающие, в чем дело, дамы недоумевали:

— Что же его так развеселило?

— Да ничего особенного. Верно, подглядел, какой оттенок приобретает нос у того, кто любит носить алое платье по утру, когда выпадет иней... А как хороша его песня, не правда ли? — сказала Таю.

— Но она более чем неуместна. Где он увидел здесь ярко-алые цветы? Вот если бы среди нас были госпожа Сакон или Хиго-но унэбэ...* — переговаривались так ничего и не понявшие дамы.

Когда Таю принесла письмо в дом дочери принца, дамы, собравшись в покоях госпожи, с восторгом прочли его:

«Немало меж нами
Ночей, проведенных розно,
Так неужели
Ты хочешь еще одним платьем
Нас отделить друг от друга?» (53)

Эти строки, начертанные весьма небрежно на простой белой бумаге, показались дамам верхом совершенства.

Как-то к вечеру, в конце года, Таю явилась в дом дочери принца Хитати с тем же ларцом, на сей раз заключающим в себе праздничные одежды, очевидно приготовленные кем-то для самого Гэндзи. Там был один полный наряд, верхнее платье из бледно-лиловой узорчатой ткани, еще одно — цвета керрия и множество других вещей.

— Может быть, господину Тюдзё не понравился цвет посланного нами платья? — догадался было кто-то из пожилых дам, но они тут же успокоились, решив: «Да нет, как можно, оно ничуть не хуже этого, такое нарядное!»

— А сколько искренности и простоты в стихах, сложенных госпожой! Ответ же господина Тюдзё пусть и искусен по форме... — переговаривались они.

Но госпожа, зная, каких трудов стоило ей собственное стихотворение, поспешила переписать стихотворение Гэндзи на отдельный листок бумаги и спрятала его.

Миновал Первый день года, а как на нынешний год намечено было провести Песенное шествие*, в столице царило обычное предпраздничное оживление, которое, однако, не мешало Гэндзи с сердечным участием вспоминать унылое жилище покойного принца. И вот на Седьмой день, как только закончились праздничные церемонии* и на землю опустилась ночь, он покинул высочайшие покои, сделав вид, будто идет в свою дворцовую опочивальню, а сам, как только совсем стемнело, отправился к дочери принца.

За последнее время в ее доме произошли заметные перемены, он приобрел вполне жилой вид и сделался ничуть не хуже других столичных усадеб. Изменилась и сама госпожа, став более мягкой, женственной. «Может быть, она и собой теперь не так дурна?» — подумалось Гэндзи.

На следующее утро он нарочно медлил, дожидаясь, пока взойдет солнце. Восточная боковая дверь главного дома оказалась открытой, над полуразрушенной галереей с противоположной стороны не было крыши, поэтому солнечные лучи беспрепятственно проникали в дом, а сияние выпавшего за ночь снега позволяло еще отчетливее видеть все, что происходит внутри.

Госпожа полулежала неподалеку от галереи, глядя, как Гэндзи облачается в носи. Форма ее головы и ниспадающие по спине волосы были безукоризненны.

«Ах, если бы и сама она изменилась к лучшему...» — подумал Гэндзи, открывая решетку. Помня о прежнем, весьма печальном опыте, он не стал поднимать ее до конца, а чтобы она не опустилась, подставил скамеечку-подлокотник. Затем ему понадобилось привести в порядок растрепавшиеся на висках волосы, и дамы вынесли невероятно старомодное зеркало, китайскую шкатулку для гробней и ларец с разноцветными шнурками. Вопреки его ожиданиям в шкатулке нашлись не только женские, но и мужские гробни, хоть и в малом количестве — обстоятельство, в котором увиделось ему нечто в высшей степени утонченное.

Наряд госпожи на сей раз не произвел на него неприятного впечатления, ибо на ней было платье, им самим же и присланное. Впрочем, Гэндзи не узнал его, лишь удивился тому, что накидка с красивыми узорами почему-то показалась ему знакомой.

— Смею ли я надеяться, что в новом году вы удостоите меня возможности иногда слышать ваш голос? Право, когда другие ожидают соловья, я с таким же нетерпением жду, не станете ли вы со мной поласковее (54), — говорит Гэндзи, и вдруг раздается робкий, дрожащий голосок:

— «Расщечутся пташки.. Одна только я...» (55)

— Вот и прекрасно, теперь я вижу, что и в вашей жизни начался новый год, — улыбается Гэндзи.

— «Не сон ли?...» (56) — произносит он и выходит, а госпожа провожает его взглядом. Она прикрывает нижнюю часть лица, и виден лишь яркий цветок шафрана... Что за неприятное зрелище!

В доме на Второй линии Гэндзи встретила юная госпожа Мурасаки, прелестная в своей полувзрослости. «Оказывается, и алый цвет может быть красивым...» — подумал Гэндзи, на нее глядя. Живая и непосредственная, девочка была очень мила в мягком, без узоров платье хосонага цвета «вишня»*. Из-за приверженности старой монахини к обычаям прошлого девочке до сих пор не чернили зубов, но сегодня Гэндзи распорядился, чтобы ее лицу придали соответствующий нынешним требованиям вид, и она была особенно хороша с начерченными зубами и четко очерченными бровями.

«Для чего я растрачиваю время на унылые связи, лишая себя возможности чаще видеть это трогательное существо?» — думал Гэндзи, как обычно играя с девочкой в куклы. Они рисовали на бумаге картинки и раскрашивали их. К многочисленным рисункам, сделанным юной госпожой, Гэндзи присоединил свои. Он нарисовал женщину с длинными волосами, а нос ее слегка тронул алой краской. Увы, даже нарисованная на бумаге, она была неприятна ему. Глядя на свое отражение в зеркале, Гэндзи дотронулся кистью с алой краской до кончика собственного носа — и что же? Даже его

прекрасное лицо стало уродливым, когда на нем появилось яркое алое пятно. Юная госпожа изумленно смотрела на него и громко смеялась.

— А что, если я навсегда останусь таким? Что вы тогда скажете? — спрашивает Гэндзи.

— Нет, мне так не нравится, — отвечает она, невольно забеспокоившись: «А вдруг краска и правда не смывается?» А Гэндзи, делая вид, будто стирает пятно, говорит озабоченно:

— Видите, не стирается. Вот до чего игры доводят! Что теперь скажет Государь?

Встревожившись, девочка подбегает к нему и пытается сама стереть краску.

— Только не прибавляйте еще и туши, как Хэйтю*. Пусть уж лучше останется красным, — шутит Гэндзи. Право, вряд ли встретишь где-нибудь более прелестную чету!

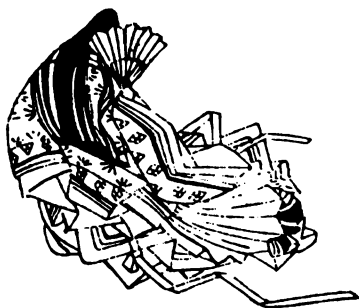
Дни стояли ясные, и душа томилась: когда же, когда появятся цветы на деревьях, окутанных легкой дымкой? Бросались в глаза набухшие, в любой миг готовые лопнуть бутоны на ветках сливы. А алая слива, растущая подле крыльца, уже украсилась прекрасными цветами, как обычно, раньше всех...

— Не пойму отчего,
Но с алым цветом всегда я
Был не в ладах,
Хоть и пленяют меня
Цветущие сливы...

Увы... — невольно вздохнул Гэндзи.

Кто знает, что станет с ними со всеми?





ПРАЗДНИК АЛЫХ КЛЕНОВ

Основные персонажи

Тюдзё (Гэндзи), 18–19 лет

Государь (император Кирицубо) — отец Гэндзи

Принцесса из павильона Глицинии (императрица Фудзицубо), 23–24 года — наложница императора Кирицубо

То-но тюдзё — брат Аои, супруги Гэндзи

Нёго Весенних покоев (императрица Кокидэн) — наложница императора Кирицубо, мать наследного принца

Четвертый принц — сын императора Кирицубо от наложницы Дзёкёдэн

Юная госпожа (Мурасаки), 10–11 лет — воспитанница Гэндзи

Принц Хёбукё (принц Сикибукё) — отец Мурасаки

Омёбу — прислужница Фудзицубо

Сёнагон — кормилица Мурасаки

Инуки — служанка Мурасаки

Дочь Левого министра (Аои), 22–23 года — супруга Гэндзи

Маленький принц (будущий император Рэйдзэй) — сын Фудзицубо

Гэн-найси-но сукэ — придворная дама императора Кирицубо

ВЫСОЧАЙШЕЕ посещение дворца Судзаку было намечено провести по прошествии Десятого дня Десятой луны. Ожидалось, что церемония превзойдет по великолепию все, когда-либо имевшие место, и велика была досада благородных дам, лишенных возможности насладиться столь удивительным зрелищем*. Государь же, огорченный прежде всего тем, что предстоящую церемонию не увидит обитательница павильона Глицинии, принял решение устроить предварительный смотр танцам в своих покоях.

Гэндзи-но тюдзё исполнял танец «Волны на озере Цинхай»*. В паре с ним выступал То-но тюдзё из дома Левого министра. Сей юноша, выделявшийся среди прочих как нежной прелестью лица, так и благородством осанки, рядом с Гэндзи казался неприметным горным деревом, выросшим подле цветущей вишни. В то поистине незабываемое мгновение, когда лучи заходящего солнца внезапно осветили высочайшие покои, а музыка зазвучала громче, стало ясно, что этот танец никогда еще не исполнялся танцором с таким несравненно прекрасным лицом и такой величественной поступью.

Когда же Гэндзи стал нараспев произносить китайские стихи, собравшимся показалось, будто слышат они голос калавинки*, птицы Будды. Право, столь трогательна была его красота, что Государь отирал невольные слезы, и скоро уже плакали все: и знатные вельможи, и принцы. Когда же, закончив декламировать, порозовевший от волнения Гэндзи поправил рукава и стоял некоторое время неподвижно, ожидая нового вступления музыкантов, он более, чем когда-либо, заслуживал прозвания Блистательный.

Нёго Весенних покоев, недовольная столь явным превосходством Гэндзи, сказала:

— Наверняка боги и демоны восторгаются, взирая на него с небес. Есть что-то неприятное в такой красоте.

Молодые же прислужницы осуждали госпожу за подобное жестокосердие.

А принцесса из павильона Глицинии думала: «Когда б не связывала нас с ним эта ужасная тайна, насколько больше радости доставил бы мне его танец!» — и происходящее казалось ей сном.

На эту ночь она осталась во Дворце.

— После «Волн на озере Цинхай» на другие танцы и смотреть было невозможно, не правда ли? — спрашивает Государь, и она через силу отвечает:

— О да, замечательно...

— Второй танцор тоже недурен. Юноши из благородных семейств всегда вносят что-то свое, особенное в рисунок танца, движения рук. Я отнюдь не желаю умалять достоинства наших прославленных танцоров, но им, как правило, недостает непосредственности и живости. Боюсь только, что, исчерпав сегодня все свои возможности, юноши окажутся куда беспомощнее под сенью алых кленов... Но мне так не хотелось лишать вас этого удовольствия...

На следующее утро принесли письмо от господина Тюдзё.

«Как Вам понравились танцы? Когда б Вы знали, в каком смятении была моя душа...

Владеют душой
Безотрадные думы,
И мне не до танцев.
Ах, был ли тебе понятен
Язык моих рукавов?..

Смею ли я рассчитывать на Вашу снисходительность?»

Могла ли Фудзицубо, перед мысленным взором которой все еще стоял его пленительный образ, оставить это письмо без ответа?..

«Увы, мне неведом
 Мудреный язык заморских
 Старинных танцев,
 Но движенья твои вчера
 Не могли меня не пленить...

О, когда б могла я смотреть вчуже...» — ответила она, и, восхищенный ее письмом, Гэндзи невольно подумал: «Так, даже в этой области она осведомленнее многих. Ее мысль простирается к далеким векам чужеземных владык*. Уже теперь она достойна называться государыней». Он улыбнулся и, бережно, словно драгоценную реликвию, развернув письмо, долго любовался им.

В день Высочайшего посещения Государя сопровождали все без исключения придворные, не говоря уже о принцах крови. Разумеется, был среди них и принц Весенних покоев. По пруду, как обычно, кружили лодки с музыкантами, и исполнялось великое множество танцев: корейские приходили на смену китайским. Повсюду разносились звуки музыки, барабанный бой.

Государь, мучимый дурными предчувствиями, которым причиной послужила необычайная красота, излучаемая вчера вечером лицом Гэндзи, повелел в разных храмах читать сутры, и прослышавшие об этом говорили сочувственно: «Воистину, не зря...» Только мать принца Весенних покоев по-прежнему злилась: «Ни к чему все это».

Музыканты круга* были избраны исключительно из тех придворных и лиц более низкого звания, коих мастерство заслужило всеобщее признание. Сазмон-но ками и Уэмон-но ками, одновременно состоявшие в чине государственных советников, руководили соответственно «левыми» и «правыми» музыкантами*.

Участники танцев долго готовились к этому дню: затворившись каждый в своем доме, они совершенствовали мастерство под наблюдением лучших в мире наставников.

Под сенью высоких кленов, убранных багряными листьями, собралось сорок музыкантов, невыразимо сладостно пели флейты, им вторил ветер в соснах, он гулял над землей, будто настоящий вихрь, прилетевший с далеких гор, срывая и увлекая за собой листья, и в их багряном кружении светящийся облик исполнителя «Волн на озере Цинхай» был так прекрасен, что страх за него невольно сжимал сердца присутствующих. Листья почти осыпались с ветки, украшавшей его прическу, и слишком ничтожной казалась она рядом с его цветущим лицом, поэтому Садайсё поспешил заменить ее сорванными тут же в саду хризантемами.

К вечеру стал накрапывать дождик, словно с единственной целью: показать, что и небеса тронуты до слез. Необычайная красота Гэндзи приобрела особенную значительность в тот миг, когда, украшенный прихотливо поблекшими хризантемами, выступал он в заключительном танце, в котором именно сегодня ему удалось достичь предела своего удивительного мастерства. Последние движения повергли собравшихся в благоговейный трепет; казалось, что подобная красота создана не для нашего печального мира.

Даже невежественные простолоюдины, укрывшиеся за деревьями и скалами под сенью багряной листвы, во всяком случае те из них, которые хоть и не очень глубоко, но все же сумели проникнуть в душу вещей, проливали слезы умиления.

Следующим танцем, привлечшим внимание собравшихся, был «Осенний ветер» в исполнении Четвертого принца, малолетнего сына обитательницы Дзёкёдэн, дворца Одаривающего ароматами. Эти два танца исчерпали восхищение зрителей, и на остальные никто уже и смотреть не мог, казалось даже, что они скорее умаляют значительность зрелища.

В тот вечер Гэндзи-но тюдзё был удостоен действительного Третьего ранга, а То-но тюдзё повысили до низшей степени действительного Четвертого. Остальные благородные юноши также ликовали, вознагражденные каждый сообразно своим заслугам, и, видя в их успехе отблеск славы Гэндзи, люди спрашивали: чему в своей прошлой жизни обязан он умением поражать людские взоры и ублажать сердца?

Тем временем принцесса Фудзицубо, покинув Дворец, поселилась в своем родном доме, и Гэндзи, снова о том лишь помышляя, как бы свидеться с нею, навлекал на себя неудовольствие дочери Левого министра. Слух о появлении в доме на Второй линии некоего юного росточка быстро распространился среди прислужниц молодой госпожи, и, подслушав как-то их разговоры, она встревожилась больше прежнего. Ее беспокойство было тем более понятно, что она не знала об истинном положении вещей. Разумеется, когда б она повела себя так, как на ее месте повела бы себя любая другая женщина, то есть когда б она открыто высказала свое недовольство супругу, Гэндзи наверняка сумел бы рассеять ее подозрения, откровенно все рассказав. Но она имела весьма неприятное свойство злиться молча, толкуя его действия самым невероятным образом, что в конечном счете скорее всего и побуждало его искать утешения в сомнительных приключениях.

Наружность молодой госпожи было совершенна настолько, что самый придирчивый ценитель не смог бы отыскать в ней хоть какой-то изъян. К тому же Гэндзи узнал ее ранее других женщин, а потому не оставлял надежды: «Возможно, она не сразу поймет, как дорога мне, как я ценю ее, но придет время, и это случится. Она столь разумна, столь постоянно ее сердце, когда-нибудь...» — думал он, неизменно ставя ее на особое место среди тех, о ком имел попечение.

Тем временем юная особа, постепенно осваиваясь в доме на Второй линии, все краше становилась лицом и милее нравом. При этом она не утратила былой непосредственности и по-детски льнула к Гэндзи. Решив пока никому, даже домочадцам своим, не открывать, кто его питомица, Гэндзи оставил ее в отдаленном флигеле, который согласно его распоряжению был убран с редким изяществом. Там он и сам проводил теперь дни, обучая юную госпожу разным премудростям. Он писал для нее прописи, которые изучая, она совершенствовалась в искусстве письма. Иногда ему казалось, что она — дочь его, с которой ранее он был разлучен и которую вернул ему счастливый случай. Гэндзи выделил ей отдельную прислугу, начиная с Домашней управы* и управляющих, дабы довольствовались ей всем, чего только душа пожелает. Люди, за исключением Корэмицу, пребывали в недоумении. Даже отец юной госпожи и тот ничего не ведал. Часто вспоминая о про-

шлом, девочка тосковала по старой монахине. Только присутствие Гэндзи способно было рассеять ее печали, но он редко проводил ночи в доме на Второй линии, вынужденный посещать многочисленных своих возлюбленных, и каждый раз, когда под вечер он собирался уезжать, она не умела скрыть своего огорчения, отчего казалась ему еще трогательнее и милее. Иногда дня на два, на три Гэндзи оставался во Дворце, откуда сразу же ехал в дом Левого министра. Возвращаясь после долгого отсутствия, он неизменно находил юную госпожу в столь подавленном состоянии, что невольно чувствовал себя виноватым, она казалась ему беспомощной сиротой, оставленной на его попечение, и тревожно было у него на душе, когда приходилось проводить ночи вне дома.

Монах Содзу, услышав, что «так, мол, и так», возрадовался, хоть и озадачен был немало. Когда совершались поминальные службы, Гэндзи послал весьма значительные пожертвования.

Однажды, желая узнать о состоянии принцессы из павильона Глицинии, Гэндзи отправился в дом на Третьей линии, где был встречен Омёбу, Тюнагон, Накацукаса и прочими прислужницами. «Она явно избегает меня», — с горечью подумал он, но, постаравшись взять себя в руки, принялся беседовать с дамами на разные отвлеченные темы. Тут-то и пожаловал принц Хёбукё. Узнав, что в доме изволит находиться господин Тюдзё, он пожелал видеть его. Украдкой поглядывая на своего собеседника, всегда пленявшего его нежной прелестью черт, Гэндзи думал: «Будь он женщиной...» Разумеется, у него были причины испытывать к принцу особенно теплые чувства, и, пожалуй, никогда еще он не беседовал с ним столь доверительно. «Что и говорить, редкая красота», — думал и принц, любуясь непринужденно изящными движениями Гэндзи. Далекий от мысли, что видит перед собой будущего зятя, он предавался сластолюбивым мечтаниям: «Ах, будь он женщиной...»

Когда стемнело, принц Хёбукё прошел за занавеси, а Гэндзи, проводив его завистливым взором, с горечью вспомнил о том, как в былые дни, сопутствуя Государю, вот так же входил в покои принцессы и беседовал с ней, не прибегая к посредникам. Теперь же она так беспредельно далека... Но, увы, даже думать об этом было тщетно.

— Мне следовало навещать вас почаще, но, не имея к вам никакого дела, я боялся показаться излишне навязчивым... Был бы крайне признателен, если бы вы сочли возможным давать мне какие-нибудь поручения... — церемонно молвил он, уходя.

Даже госпожа Омёбу не находила средств помочь ему. В последнее время принцесса, как видно, мучимая еще большим, чем прежде, раскаянием, выказывала столь явное нежелание сообщаться с Гэндзи, что отчасти из жалости к ней, отчасти сознавая собственную вину, Омёбу не решалась даже словечко за него замолвить, и так скучной вереницей тянулись дни. «О превратная судьба!» — думали оба, предаваясь беспредельному отчаянию.

А Сёнагон радовалась нечаянной удаче, выпавшей на долю ее госпожи. Уж не сам ли Будда явил такую милость в ответ на мольбы умершей монахини, которые воссылала она, охваченная тревогой за судьбу своей маленькой внучки? Нельзя сказать, чтобы не было у Сёнагон оснований для беспокойства, ведь помимо многочисленных тайных возлюбленных суще-

ствовала еще и дочь Левого министра, связанная с Гэндзи самыми прочными узами. Все это предвещало немало сложностей, но особое благоволение, коим дарил Гэндзи юную госпожу, позволяло надеяться на лучшее.

По родственникам с материнской стороны положено носить одеяние скорби в течение трех лун, и к концу года с юной госпожи сняли темное платье. Поскольку же монахиня вырастила ее одна, без матери, наряды девочки и теперь не отличались яркостью, она носила розовые, светло-лиловые или светло-желтые гладкие платья, которые были ей удивительно к лицу.

Отправляясь на церемонию Поздравления*, господин Тюдзё зашел взглянуть на свою питомицу.

— Чувствуете ли вы себя повзрослевшей с нынешнего дня? — спрашивает он, и дамы смотрят на него с восхищением. В самом деле, трудно себе представить что-нибудь более прекрасное, чем его улыбающееся лицо.

Юная госпожа неизвестно когда выставила своих кукол и теперь озабоченно суетится вокруг. Гэндзи приготовил для нее шкафчик высотой в три сакю*, где среди всего прочего были маленькие кукольные домики, сделанные им самим, и она расставила их повсюду так, что и места свободного не осталось.

— Инуки сказала: «Надо изгонять злых духов»* — и поломала все, вот я теперь исправляю, — жалуется девочка, целиком поглощенная своими игрушками.

— Да, она и в самом деле слишком небрежна. Я велю все починить. А вы постарайтесь воздерживаться сегодня от недобрых слов и не плачьте*, — наставляет ее Гэндзи и выходит, окруженный свитой столь многочисленной, что она заполняет все вокруг. Дамы собираются у занавесей, желая полюбоваться этим великолепным зрелищем. Вместе с ними выходит и юная госпожа. Вернувшись потом в свои покои, она берет одну из кукол — как будто это господин Гэндзи — и наряжает ее, готовя к отправлению во Дворец.

— Надеюсь, что в нынешнем году вы станете наконец взрослой. Вам уже больше десяти лет, пора расстаться с куклами. У вас есть супруг, и вы должны держаться спокойно, с достоинством, как подобает взрослой женщине. А вы даже причесать себя как следует не даёте, — пеняет ей Сёнагон. Она говорит все это, желая пристыдить девочку, у которой на уме одни игры, но внимание юной госпожи привлекает другое: «Значит, у меня теперь есть муж? И такой молодой и красивый, не то что у дам...»

Да, девочка все-таки повзрослела, раз такие мысли стали приходить ей в голову. Тем не менее ее малолетство, скрыть которое было не так-то легко, по-прежнему повергало в недоумение обитателей дома на Второй линии. Они ведь и представить себе не могли, что не совсем обычные узы связывают их господина с этой юной особой.

Из Дворца Гэндзи отправился в дом Левого министра, где его приняли с обычной холодной учтивостью. Раздосадованный упорным нежеланием супруги смягчить свое сердце, Гэндзи сказал:

— О, если б я мог надеяться, что в новом году вы перестанете чуждаться меня и подарите своим доверием...

Но, увы, с того самого дня, как до молодой госпожи дошел слух о некоей особе, поселившейся в доме на Второй линии, она еще больше отдалилась от супруга и терзала себя ревнивыми подозрениями, полагая, что ее сопер-

ница будет непременно выдвинута на первое место. Правда, когда Гэндзи, делая вид, будто не замечает ее холодности, пытался шутить с ней, она, не упрямясь, отвечала, да так тонко, как не всякая сумела бы. Будучи на четыре года старше супруга, госпожа подавляла его своей зрелой, достигшей полного расцвета красотой. «Разве можно сказать, что она чем-то нехороша? — думал Гэндзи. — Всею виной мое собственное непостоянство, она вправе чувствовать себя обиженной».

Будучи единственной дочерью Левого министра, снискавшего исключительное благоволение Государя, и принцессы крови, молодая госпожа выросла, окруженная неусыпными заботами близких, и, обладая чрезвычайно гордым нравом, весьма болезненно воспринимала малейшее пренебрежение со стороны супруга. Гэндзи тоже не шел на уступки, думая: «Почему я должен ей потакать?» — и наверное по этой причине все больше отдалялись они друг от друга.

Левый министр, конечно, огорчился, видя, сколь непостоянно сердце Гэндзи, но стоило тому появиться, все обиды оказывались забытыми, и он суетился вокруг, не зная, чем угодить зятю. Вот и теперь: заглянув к Гэндзи на следующее утро, когда тот, собираясь ехать во Дворец, облачался в парадное платье, министр собственноручно поднес ему великолепный фамильный пояс*, поправляя одежду сзади, чуть только башмаки не надевал. Трогательное зрелище, не правда ли?

— Этот пояс лучше оставить до Дворцового пира*, — говорит Гэндзи, но министр стоит на своем:

— Для того случая найдется пояс и получше. Этот просто не совсем обычный, и только... — и в конце концов принуждает Гэндзи надеть пояс.

Право, иногда создавалось впечатление, что весь смысл своей жизни он полагал в том, чтобы предупреждать малейшее желание зятя, любоваться им. И казалось, не было для него большей радости, чем хоть изредка видеть его в своем доме.

— Поеду с поздравлениями, — уходя, сказал Гэндзи, но немногих удостоил внимания, ограничившись Дворцом, Весенними покоями, обителью Ити-но ин*. Заехал он и в дом Фудзицубо на Третьей линии.

— Ах, как прекрасен сегодня господин Тюдзэ! Годы лишь умножают его красоту. О да, просто страшно за него становится, — восторгались дамы, а сама госпожа, поглядев украдкой в щелку занавеса, с трудом справилась с волнением.

Двенадцатая луна миновала, но никаких изменений в ее состоянии не произошло, и все домашние жили в тревожном ожидании: «Уж на эту-то луну непременно...» Во Дворце тоже готовились к предстоящему событию, но, увы, скоро осталась позади и Первая луна... «Уж не злой ли дух...» — говорили в мире, повергая Фудзицубо в смятение. «Видно, суждено мне из-за этого расстаться с жизнью», — вздыхала она, и так тяжело было у нее на сердце, что она совсем занемогла.

Господин Тюдзэ, все более убеждаясь в правильности своих подозрений, тайно заказывал молебны в разных храмах. Зная, сколь превратен наш мир, он испытывал сильнейшее беспокойство, к которому присоединялся еще и страх: «Неужели лишь на краткий миг встретились мы, чтобы снова расстаться, и уже навсегда?»



Но вот по прошествии Десятого дня Второй луны появился на свет младенец мужского пола, все печали были преданы забвению, веселье воцарилось во Дворце и в доме на Третьей линии.

«Теперь она будет жить долго», — радовался Государь, но у Фудзицубо тревожно сжималось сердце, и, только прослышав о том, что во дворце Кокидэн ниспосылаются на ее голову проклятия, она постаралась укрепить дух свой, понимая: «Коли уйду теперь из мира, люди непременно начнут злословить». И мало-помалу здоровье вернулось к ней.

Тем временем Государь — «Ах, но когда же?» — только и думал о том, как бы поскорее увидеть младенца. Гэндзи тоже проводил дни в мучительном беспокойстве и нетерпении и вот однажды отправился на Третью линию, уловив миг, когда там не было других посетителей.

— Государь изволит беспокоиться... Позвольте мне увидеть принца, дабы я мог рассказать о нем во Дворце, — просит он, но принцесса отвечает:

— Нет, пока это невозможно. — И, что совершенно естественно, не показывает ему дитя.

Увы, уже теперь удивительное, просто невероятное сходство младенца с Гэндзи не оставляло места для сомнений, и муки Фудзицубо были невыносимы. «Ужели найдется человек, способный, на него глядя, не осудить меня? — беспрестанно терзалась она. — От взыскательных взоров людских не укрываются куда более невинные проступки... Мое же преступление

ужасно, так могу ли я надеяться, что молва пощадит меня?» Право, не было в мире женщины несчастнее.

Гэндзи, встречая иногда Омёбу, прибегал к самым убедительным доводам, надеясь на ее помощь, но, увы, напрасно. Когда же он с безрассудным упорством добивался возможности увидеть принца, она неизменно отвечала:

— К чему такая настойчивость? Ведь ждать осталось совсем недолго.

Но и у нее на сердце было тяжело. Впрочем, о столь щекотливом предмете они не решались говорить открыто.

— Где, в каком из миров смогу я наконец встретиться с ней? — сетовал Гэндзи, рыдая, и трудно было не сочувствовать ему.

— Что же такое
Завязалось в далеком прошлом?
Отчего в этом мире
Неодолимой преградой
Разделены мы с тобой?

Увы, того не дано нам постичь... — вздыхал он, и Омёбу, зная, какое смятение царит в душе госпожи, постаралась, как могла, смягчить свой отказ.

— Рядом ли, далеко ли —
Причин для печали немало.
Так, не зря говорят, —
Во мраке блуждать суждено
Людям, в мире живущим... (3)

Да, как это ни печально, вряд ли можно надеяться на облегчение ваших страданий, — тихонько говорила она Гэндзи.

Так ничего и не добившись, он уходил, а Фудзицубо, больше всего на свете страшившаяся пересудов, пеняла Омёбу за безрассудное посредничество и постепенно отдалялась от нее. Правда, она старалась ничем не выдавать своего неудовольствия, особенно в присутствии других дам, но время от времени оно прорывалось наружу, и Омёбу, не ожидавшая такой перемены, вздыхала и плакала тайком.

На Четвертую луну маленького принца доставили во Дворец. Он был крупнее, чем положено в его возрасте, и уже умел сам переворачиваться. Сходство было просто невероятное, не оставлявшее места для сомнений, но Государь, далекий от каких бы то ни было подозрений, лишь подумал: «Должно быть, совершенная красота делает людей похожими друг на друга». Нежность, с которой он ласкал ребенка, была поистине безмерна.

Государь до сих пор сожалел о том, что, страшась людского суда, не сделал своего любимого сына наследником престола. Видя, что, взрослея, Гэндзи превращается в мужа, которого достоинства заслуживают куда большей награды, чем звание простого подданного, он не переставал терзаться сознанием своей вины перед ним.

Но вот столь же яркое сияние было подарено миру особой, в родовитости которой никто не посмел бы усомниться. Государь обратил на маленького принца все попечения свои, лелея его, словно совершенной красоты

жемчужину. Только принцесса Фудзицубо по-прежнему предавалась печали, и ничто не могло рассеять ее мрачных мыслей.

Когда господин Тюдзё по обыкновению своему явился в павильон Глицинии, дабы участвовать в музицировании, Государь вышел к нему с принцем на руках.

— Много детей у меня, но лишь тебя с младенческих лет постоянно имел перед взором. Может быть, потому, что слишком живы еще воспоминания того времени, это дитя кажется мне удивительно похожим на тебя. Впрочем, наверное, младенцы все одинаковы, — сказал он Гэндзи, любуясь маленьким сыном.

Господин Тюдзё почувствовал, как лицо его заливается краской. Страх, стыд, радость, умиление — самые противоречивые чувства переполнили его сердце, и слезы навернулись на глаза. Маленький принц что-то лепетал, и его улыбающееся личико было так прекрасно, что страшно становилось за его судьбу. «Если я и в самом деле похож на него, должно мне беречь себя», — подумал Гэндзи не без некоторого самодовольства.

Слова Государя повергли обитательницу павильона Глицинии в такое смятение, что она покрылась холодным потом. Гэндзи же, не в силах справиться с волнением, вскоре покинул Дворец.

Вернувшись в дом на Второй линии, он лег, подумав: «Вот уляжется сердечное волнение и отправлюсь к министру».

В саду среди густой зелени уже сверкали яркие венчики «вечного лета». Сорвав цветок, Гэндзи послал его Омёбу, скорее всего сопроводив весьма пространном посланием:

«Вспоминаю тебя,
Любуясь прекрасной гвоздикой,
Но и она
Исцелить от тоски не в силах,
Лишь обильней ложится роса...

“Вот цветы расцветут...” (57) — мнилось мне, но, увы, безотраден мир».

Видимо, письмо принесли в удачный миг; во всяком случае, Омёбу показала его госпоже.

— Хоть одну пылинку — на лепестки (12), — просила она, и Фудзицубо, которой было в тот день как-то особенно грустно, ответила:

«Пусть и промокли
Рукава от росы, упавшей
С его лепестков,
Сердцу мил все равно
Нежный цветок гвоздики».

Она начертала эту песню еле видными знаками, продолжать же не стала, а Омёбу, обрадовавшись, отнесла письмо Гэндзи, который лежал, погруженный в невеселые думы: «Наверное, ответа, как обычно, не будет...» При виде Омёбу сердце его забило от несказанной радости, из глаз покатились слезы.

Рассудив, что, лежа вот так, в праздности, он все равно не сможет справиться с тоской, Гэндзи по обыкновению своему отправился искать утеше-

ния в Западный флигель. Он был очень хорош в небрежно наброшенном на плечи нижнем платье, с чуть растрепанными на висках волосами. Негромко наигрывая на флейте, он заглянул в покои: юная госпожа, очаровательная, словно тот самый омытый росой цветок гвоздики, сидела, прислонившись к скамеечке-подлокотнику. Всегда такая ласковая, сегодня она и не взглянула на Гэндзи, как видно, обиженная тем, что, вернувшись, он сразу же не зашел к ней.

Расположившись у порога, Гэндзи зовет:

— Идите же сюда! — Но девочка даже не поворачивает головы.

— «Прилив начался...» (58) — произносит она, пленительно-изящным движением прикрывая лицо рукавом.

— О, как дурно! Неужели вы уже научились обижаться! Я просто не хочу наскучить...» (59) — пеняет ей Гэндзи, затем, подозвав слугу, велит принести кото и просит ее поиграть.

— К сожалению, при игре на кото «со» всегда приходится помнить, что последняя тонкая струна не отличается прочностью*, — говорит он и настраивает кото в более низкой тональности «хёдзё».

Затем, проиграв для пробы короткую мелодию, подвигает кото к юной госпоже, и она, не в силах более обижаться, играет, причем весьма умело. Она еще слишком мала и с трудом дотягивается до струн, но ее пальчики прижимают их с таким изяществом, что Гэндзи не может сдержать восхищения. Взяв флейту, он обучает ее разным мелодиям, и даже самые сложные из них смысленная ученица запоминает с первого раза. «Вот и сбываются чаяния», — думает Гэндзи, радуясь, что его прелестная воспитанница обнаруживает столь несомненные дарования.

Мелодия «Хосорогусэри»...* Название диковинное, но Гэндзи исполняет ее прекрасно. Юная госпожа подыгрывает на кото хоть и совсем еще по-детски, но не сбиваясь с такта, и игра ее производит впечатление довольно искусной. Потом зажигают светильники, и они принимаются разглядывать картинки, но тут телохранители Гэндзи, помня, что он собирался ехать к министру, начинают покашливать, рассчитывая таким образом привлечь его внимание.

— Может ведь и дождь пойти, — предупреждают они, и лицо юной госпожи сразу же омрачается. Бросив картинки, она ложится, отвернувшись, столь трогательная в своей печали, что Гэндзи, глядя ее пышные, рассыпавшиеся по плечам волосы, спрашивает:

— Вам так тоскливо, когда меня нет дома? — И девочка кивает.

— Мне тоже тяжело даже на один-единственный день расставаться с вами, но вы еще дитя, и я за вас спокоен. Однако есть другие женщины, души которых преисполнены обиды и ревности. Я никому не хочу причинять боли, поэтому еще какое-то время мне придется вот так уходить вечерами. Когда же вы повзрослеете, мы не будем больше расставаться. Мне не хотелось бы навлекать на себя ничью злобу, хотя бы ради того, чтобы жить долго и видеть вас рядом с собой, — терпеливо объясняет Гэндзи.

Юной госпоже становится стыдно, и она не отвечает. Потом неожиданно засыпает, прильнув к его коленям, и Гэндзи, растроганный до слез, объявляет.

— Сегодня я никуда не поеду.

Дамы выходят, а он, распорядившись, чтобы вечернее угощение подали в Западные покои, будит юную госпожу.

— Я никуда не еду, — говорит он, и, сразу утешившись, она поднимается, дабы разделить с ним принесенное угощение, но, едва притронувшись к еде, говорит, подозрительно глядя на Гэндзи:

— Тогда ложитесь спать.

«Как такую оставишь? — думает Гэндзи. — Даже если откроется перед тобою последний путь, непросто будет ступить на него».

Все чаще и чаще оставался он дома, и слухи о том, распространившись, достигли дома Левого министра.

— Кто же она? Вот уж не чаяли! Никто о ней до сих пор ничего не знает, но, судя по тому, как она льнет к нему, стараясь целиком завладеть его вниманием, это вряд ли osoba благородного происхождения. Видимо, встретил ее случайно во Дворце, незаслуженно возвысил и спрятал у себя дома, дабы избежать пересудов. Говорят еще, что она совсем невежественна и наивна, как малое дитя, — переговаривались между собой дамы.

Слух о существовании «некоей особы» дошел и до Государя.

— Я весьма огорчен тем, что Левый министр имеет основания жаловаться на своего зятя. Ты ведь уже не так юн, чтобы не понимать, сколько душевных сил затратил он на тебя, когда ты был совсем еще неразумным отроком. Для чего же так жестоко поступать с ним теперь? — пенял Государь Гэндзи, но тот, почтительно внимая ему, ничего не отвечал, и Государь невольно пожалел его: «Да, видно, не по душе ему супруга».

— Впрочем, я не слышал, чтобы тебя обвиняли в чрезмерном легкомыслии или неразборчивости, да и непохоже, чтобы ты мог вспылать страстью к какой-нибудь из здешних дам или потерять голову из-за столичной красавицы. Что же это за тайный союз, навлекший на тебя такие упреки? — вопрошал Государь.

А надо сказать, что сам он, хотя лет ему было уже немало, отнюдь не чуждался этой стороны жизни и даже в унэбэ и нёкуродо* особенно ценил миловидную наружность и благородство манер, поэтому в его время во Дворце служило немало весьма достойных особ. Иногда Гэндзи заговаривал с кем-то из них и почти ни в ком не встречал отказа. Но, по-видимому, их очарование давно уже утратило для него прелесть новизны; во всяком случае, ни одной из них не удалось воспламенить его воображение. Многие, почувствовав себя задетыми — «Что за странное равнодушие?», — пускали в ход все свои уловки, дабы возбудить в его сердце нежные чувства, но, увы, Гэндзи был неизменно приветлив, и только. Доходило до того, что некоторые дамы открыто возмущались, приписывая его холодность душевной черствости.

Была там некая Гэн-найси-но сукэ, особа уже немолодая, но весьма благородного происхождения, утонченная, всеми почитаемая, но вот беда — сластолюбивая необычайно и не отличающаяся особой разборчивостью. «В столь преклонном возрасте и такое легкомыслие?» — Подстрекаемый любопытством, Гэндзи попытался шутки ради заговорить с ней и был изумлен немало, ибо даму, судя по всему, ничуть не смутило некоторое между ними несоответствие. Тем не менее, как видно не желая останавливаться на полпути, он решился встретиться с ней, причем, опасаясь, что в свете

станет известно о его связи с этой весьма немолодой уже особой, вел себя довольно сдержанно, и дама постоянно обижалась и жаловалась на его нечувствительность.

Однажды Гэн-найси-но сукэ прислуживала при причесывании Государя. Когда, призвав других прислужниц, Государь вышел переодеться, в покоях не осталось никого, кроме нее и Гэндзи.

Сегодня Гэн-найси-но сукэ казалась привлекательнее обыкновенного. Изящная фигура, красиво ниспадающие волосы, роскошный наряд... «Видно, до самой старости будет чувствовать себя молодой», — неприязненно глядя на нее, подумал Гэндзи, однако же, испытывая желание узнать, что у нее на уме, тихонько потянул ее за подол.

Дама, прикрыв лицо ярко раскрашенным веером, оборотилась к Гэндзи и, прищурившись, уставилась на него. Глаза у нее запавшие, веки — темные, из-за веера торчат черные растрепанные пряди волос. «Право, не к лицу ей такой веер!» — подумал Гэндзи и обменял его на свой, чтобы лучше разглядеть. На алой бумаге такого густого оттенка, что красный отблеск падает на лицо, с одной стороны золотом нарисованы высокие деревья, с другой — старомодным, но довольно изящным почерком начертано: «В роще Оараки травы поблекли» (60). «Более неудачную песню трудно было выбрать», — подумал Гэндзи и, улыбнувшись, говорит:

— «В здешней роще решила она...» (61) Не так ли?

Гэндзи явно тяготился необходимостью беседовать в таком тоне с особой, столь неподходящей ему по возрасту, тем более что их могли заметить, даму же это ничуть не смущало.

— Приедешь ко мне —
Коня твоего верного
Травой накормлю. (62)
Не смотри, что она завяла,
Что давно отцвели цветы... —

говорит она, с лукавой улыбкой поглядывая на Гэндзи.

— Раздвинув бамбук,
Не навлеку ль на себя
Жестоких упреков?
Ведь эта роща многим
Полюбилась коням... (63)

Именно это меня и пугает, — отвечает он, поднимаясь, чтобы уйти, но она хватает его за рукав.

— Ах, так жестоко со мной еще никто не поступал! В такие годы и такой позор... — жалуется она и плачет, отчего лицо ее становится просто уродливым.

— Я скоро напишу. Душа моя стремится к вам, но, увы... — говорит Гэндзи и, высвободив рукав, хочет уйти, но дама не отстает:

— Так, «у моста на реке Нагара...» (64) — сетует она.

Тут Государь, закончив переодевание, выглядывает из-за перегородки, и изумлению его нет границ. В самом деле, трудно найти более неподходящую пару!

— Дамы обижаются, что сердце его закрыто для любви, а он, оказывается... — смеется Государь.

Гэн-найси-но сукэ была смущена чрезвычайно, но, судя по всему, она принадлежала к тем женщинам, которые не прочь и «мокрое платье надеть»*, было бы ради кого; во всяком случае, она даже не пыталась оправдаться. Не меньше были удивлены и остальные дамы:

— Кто бы мог подумать! — шептались они.

Случилось так, что их перешептывания достигли слуха То-но тюдзё, и он подумал: «Я полагал, что не осталось для меня ничего неизведанного в этой области, но подобного опыта я еще не имею. Впрочем, до сих пор мне и в голову не приходило...» Загоревшись желанием познать душу этой особы, столь неутомимой в своем любопытстве, он постарался добиться встречи с ней. А поскольку и с этим юношей мало кто мог сравниться, дама рассудила, верно, что послужит он ей утешением в отсутствие того, жестокосердного... Но на самом-то деле один лишь Гэндзи был желанен ее взору. Право, чего только не случается в мире!

То-но тюдзё держал все в тайне, и Гэндзи не подозревал ни о чем. Стоило Гэн-найси-но сукэ приметить его, как она тут же раздражалась упреками, а Гэндзи, как ни тяготила его эта связь, из жалости к преклонным летам этой особы всегда готов был ее утешить.

Так тянулось довольно долго, и вот однажды вечером, когда после короткого ливня сумерки были напоены прохладой, Гэндзи проходил мимо Уммэйдэн, дворца Теплого света*, как раз в тот миг, когда Гэн-найси-но сукэ играла на бива*. Не имея себе равных в мастерстве, она обычно участвовала в музыкальных развлечениях Государя наравне с мужчинами, а сейчас ее одолевали горькие раздумья, отчего струны бива звучали особенно трогательно.

— «Выращивает тыквы...»* — пела она. Голос у нее был прекрасный, но вот слова...

«Наверное, так же хорошо пела та особа с острова Попугаев*», — думал Гэндзи, внимая.

Но вот Гэн-найси-но сукэ перестала играть, как видно, оказавшись не в силах справиться с душевным волнением. Тихонько напевая: «В беседке стою...», Гэндзи приблизился к занавесям, и дама подхватила: «Ты толкни и войди...»* Право, мало кто решился бы так ответить.

— До нитки никто
Не промок под дождем, поджидая
В беседке у дома.
Отчего ж дождевая капель
Мне на платье упала? —

вздыхая, сказала Гэн-найси-но сукэ, и Гэндзи, хоть и не к нему одному обращены были эти упреки, подосадовал: «Не слишком ли?..»

— Ты другому жена,
Мне встречаться с тобою непросто,
И совсем не хочу
Под крышей беседки стоять
И мокнуть под частым дождем, —

ответил он и готов был пройти мимо, но, подумав, что это наверняка обидит женщину, подчинился ее желанию, и между ними завязался оживленный, шуточный разговор, не лишенный некоторого интереса и для самого Гэндзи.

То-но тюдзё всегда обижался, когда Гэндзи, напустив на себя степенно-важный вид, поучал его, обвиняя в легкомыслии. Подозревая, что за наружной невозмутимостью Гэндзи скрывается немало тайн, он только и помышлял о том, как бы уличить его самого, и как же обрадовался он теперь, поймав наконец друга с поличным! Предвкушая, как, напугав Гэндзи и сполна насладившись его замешательством, он скажет: «Пусть это послужит тебе уроком!», То-но тюдзё не спешил обнаруживать себя.

Дул холодный ветер, постепенно стужалась ночная мгла. В конце концов, предположив, что в доме уснули, То-но тюдзё, крадучись, пробрался внутрь. Гэндзи между тем никак не удавалось заснуть, поэтому он услышал приближающиеся шаги. Разумеется, ему и в голову не пришло, что это То-но тюдзё. «Верно, Сури-но kami все не может забыть ее...» — предположил он и содрогнулся от ужаса при мысли, что столь немолодой уже человек станет свидетелем его недостойного поведения.

— Я немедленно ухожу! — заявил он. — Наверняка вас и паук извещил (13), а вы так жестоко обманули меня. — И, подхватив свое платье, скрылся за ширмой.

То-но тюдзё, трепеща от радости, подошел к ширме, за которой стоял Гэндзи, и начал ее с треском складывать, стараясь производить как можно больше шума. Дама же, будучи, несмотря на преклонный возраст, особой, весьма искушенной в любовных делах, и имея немалый опыт по части столь двусмысленных положений, при всей своей растерянности беспокоилась: «Что он собирается с ним делать?» — и, как ни страшно ей было, цеплялась за То-но тюдзё.

А Гэндзи думал лишь об одном — как бы ускользнуть, оставшись неизвестным. Однако одежда его была в беспорядке и шапка помята, поэтому он медлил в нерешительности, представляя себе, как смешно будет выглядеть, спасаясь бегством.

То-но тюдзё, опасаясь, что Гэндзи его узнает, не произносил ни слова. Будто в неистовой ярости выхватил он меч, и женщина с криком: «Помилуйте, помилуйте, не надо!» — бросилась к нему, складывая в мольбе руки. То-но тюдзё едва удержался от смеха. Право, трудно себе представить более нелепое зрелище: женщина в возрасте пятидесяти семи или пятидесяти восьми лет — что не так-то просто скрыть, несмотря на все ее старания придать наружности своей юную соблазнительность, — полуодетая, забыв о приличиях, крича и дрожа от страха, кидается от одного двадцатилетнего красавца к другому.

Чем больше старался То-но тюдзё убедить Гэндзи в том, что перед ним совершенно чужой человек, чем более угрожающие позы принимал, тем быстрее тот догадался, с кем имеет дело. «Выследил меня и решил подшутить», — понял Гэндзи, и ему сразу стало смешно. Уверившись же в том, что перед ним действительно То-но тюдзё, он решил позабавиться и, схватив его за руку, в которой тот держал меч, больно ущипнул. То-но тюдзё стало досадно, что его узнали, но, не в силах более сдерживаться, он расхохотался.

— В своем ли ты уме? Хороши шутки! Дай же мне одеться! — говорит Гэндзи, но То-но тюдзё вцепляется в его одежды и не отдает.

— Тогда раздевайся и ты, — требует Гэндзи, пытаюсь развязать его пояс и стянуть с него платье, но То-но тюдзё упирается: «Нет, ни за что!» Никто не хочет уступать, и в конце концов нижнее платье Гэндзи с треском лопается.

— Право, как ни таись,
Все равно станет тайное явным.
Каждый к себе
Тянул, и вот — пополам
Разорвано нижнее платье.

«Если сверху наденешь...» (65) — говорит То-но тюдзё. Гэндзи отвечает:

— Известно тебе —
Ничего в этом мире не скроешь.
Тонкий летний наряд
Рвется быстро, и стоит ли рваться
В судьи, коль сам не безгрешен?

Такими песнями обменявшись, они покинули Дворец, оба весьма помятые, но вполне довольные друг другом.

Вернувшись домой, Гэндзи лег, с досадой думая о том, что То-но тюдзё удалось все-таки выследить его.

Обиженная Гэн-найси-но сукэ на следующее утро прислала ему забытые в спешке шаровары и пояс.

«Бесполезно
Теперь обижаться и сетовать..
Одна за одной
Нахлынув, отхлынули волны,
Осталась лишь горечь в душе...

“Даже дно обнажилось” (66)» — написала она.

«Какая бесцеремонность!» — возмущился было Гэндзи, но потом, подумав, что ей теперь и самой должно быть неловко, смягчился:

«Меня не смущает
Ярость буйной волны.
Вот только обидно,
Что берег всегда готов
Ласкам ее покориться...» —

ответил он, и только.

Пояс оказался от платья То-но тюдзё. «Он значительно темнее моего», — разглядывал его Гэндзи и вдруг заметил, что у его собственного платья не хватает нижней части рукава.

«Что за чудеса! В какие же нелепые положения должны постоянно попадать те, кто безудержно предается любовным утехам», — подумал он, решив отныне вести себя более осмотрительно. Тут из Дворца от То-но тюдзё принесли какой-то сверток: «Извольте пришить поскорее...» «Когда же он успел

оторвать? — посетовал Гэндзи. — Хорошо, хоть пояс его попал ко мне!» И, завернув пояс в бумагу одного с ним цвета, он отправил его То-но тюдзё:

«Упреков боюсь —
Из-за меня, мол, разорван
Сердечный союз.
Потому отнимать не стану
У тебя этот синий пояс*».

То-но тюдзё же ответил:

«Могу ли тебе
Не пенять? Похитив
Пояс любимый,
Ты разорвал безжалостно
Наш сердечный союз.

Не избежать тебе моего гнева...»

Солнце стояло высоко, когда оба явились во Дворец. То-но тюдзё забавлялся немало, глядя на невозмутимо-спокойного Гэндзи, которого взор, к нему обращенный, выражал лишь холодную учтивость. Но и Гэндзи не мог не улыбаться, наблюдая за тем, с каким усердием исполнял в тот день То-но тюдзё обязанности свои при Государе, столь многочисленные, что у него совершенно не оставалось досуга. Все же, улучив миг, когда рядом никого не было, То-но тюдзё, приблизившись к Гэндзи, сказал:

— Ну как, запомнил урок? Впредь не будешь от меня таиться! — и, придав лицу своему гневное выражение, взглянул на него исподлобья.

— Какой урок? Скорее достоин жалости тот, кто, едва войдя, был вынужден удалиться. Во Вот только «может ли это печалить?..» (67)

Таковыми речами обменявшись, вспомнили они, что рядом с «Ложе-горой» протекает «Молчанья река» (68), и замкнули свои уста.

Однако с тех пор То-но тюдзё постоянно подтрунивал над Гэндзи. Гэндзи клял себя за то, что дал ему повод к насмешкам, вступив в связь с такой докучной особой, которая к тому же по-прежнему держалась весьма жеманно и донимала его бесконечными упреками. То-но тюдзё не стал ничего рассказывать сестре, решив приберечь этот случай на будущее.

Столъ безгранично было благоволение Государя к Гэндзи, что даже высоко-рожденные принцы вели себя с ним в высшей степени почтительно, и только этот То-но тюдзё, не желая ни в чем уступать другу, готов был соперничать с ним по любому, самому незначительному поводу. Он был единственным единоутробным братом молодой госпожи из дома Левого министра.

«Подумаешь, сын Государя! — должно быть, считал То-но тюдзё. — Пусть мой отец и простой министр, но он удостоен особых милостей при дворе, мать же принадлежит к высочайшему роду, и воспитание я получил самое утонченное. Так чем же я хуже?»

В самом деле, наделенный в полной мере всевозможными достоинствами, приличными юноше из благородного семейства, он почти не имел недостатков. О соперничестве этих молодых людей можно было бы поведать немало забавного. Но, боюсь, рассказ мой становится слишком утомительным...

Кажется, на Седьмую луну принцесса из павильона Глицинии была удостоена звания государыни-супруги, кисаки. А Гэндзи стал государственным советником — сайсё. Государь, все более укрепляясь в своем намерении поскорее уйти на покой, испытывал сильнейшее желание назначить следующим наследником престола младшего принца, но все не мог найти человека, достойного стать его попечителем. С материнской стороны были одни принцы крови, а носящим имя Минамото не полагалось ведать делами двора*, поэтому пока он ограничился тем, что упрочил положение матери. Естественно, все это вызывало неудовольствие особы из дворца Кокидэн. Но Государь сказал ей:

— Приблизилось время принца Весенних покоев, и скоро вы займете самое высокое положение в мире*. Так успокойте же душу свою.

Как всегда нашлись недовольные:

— Как можно было пренебречь благородной нёго, которая уже двадцать с лишним лет является матерью наследного принца, и возвысить другую?

В ночь, когда новая Государыня-супруга вступила во Дворец, ее сопровождал и господин Сайсё. Будучи дочерью прежней государыни, что само по себе выделяло ее среди особ одного с ней звания, она произвела на свет сверкающую жемчужину и снискала безграничное благоволение Государя, поэтому люди относились к ней с особенным почтением. А о Гэндзи и говорить нечего — его душа, томимая тайной страстью, так и рвалась за занавеси высочайшего паланкина. Мучительная тоска сжимала его сердце при мысли, что отныне она станет для него совершенно недоступной.

— В крошечную тьму
 Душа моя погрузилась
 В тот горестный миг,
 Когда тебя увидал я
 В Обители облаков... —

только эта песня и сорвалась с его губ. Все вокруг казалось ему исполненным глубокой печали!

Маленький принц рос, с каждым днем, с каждой луной становясь все более похожим на Гэндзи, отчего множились муки новой Государыни, но, по-видимому, никто ни о чем не догадывался.

«Возможно ли, чтобы в мире появился другой, столь же прекрасный человек? Разве солнце и луна могут одновременно сиять на небе?..» — так думали многие.





ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ

Основные персонажи

Сайсё-но тюдзё (Гэндзи), 20 лет

Государь (император Кирицубо) — отец Гэндзи

Принц Весенних покоев (будущий император Судзаку) — сын императора Кирицубо и Кокидэн

Государыня-супруга, ранее — принцесса из павильона Глицинии (Фудзицубо), 25 лет — супруга императора Кирицубо

Нёго из дворца Щедрых наград (Кокидэн) — наложница императора Кирицубо

Девушка из дворца Щедрых наград, «Туманная Луна» (Обородзукиё) — шестая дочь Правого министра, сестра наложницы Кокидэн, тайная возлюбленная Гэндзи

Ёсикиё — приближенный Гэндзи

Корэмицу — приближенный Гэндзи, сын его кормилицы

Сии-но сёсё, Утюбэн — сыновья Правого министра, братья Кокидэн и Обородзукиё

Юная госпожа (Мурасаки), 12 лет — воспитанница Гэндзи

Левый министр — тесть Гэндзи

НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ Второй луны было намечено празднество в честь цветения вишни у Южного дворца. Слева и справа от государевых приготовили покои для Государыни-супруги и наследного принца, где они и разместились. Это новое свидетельство высокого положения принцессы из павильона Глицинии возбудило досаду в сердце нёго Кокидэн, но могла ли она отказаться от участия в празднестве, о невиданном великолепии которого давно уже поговаривали в столице?

День выдался на диво ясный, голубизна неба и пение птиц умиляли сердца. Скоро принцы, юноши из знатных семейств, а вместе с ними и все прочие, достигшие успеха на

этой стезе, приступили к «выбору рифм»*, и каждый в свой черед слагал стихи.

Вот выходит господин Сайсё-но тюдзё:

— «Весна-чунь», — объявляет он, сразу же привлекая к себе восторженное внимание собравшихся, ибо даже голос у него не такой, как у других.

Затем все взоры обращаются к То-но тюдзё, который, испытывая немалое волнение, держится тем не менее со спокойным достоинством и производит весьма внушительное впечатление благородной осанкой и прекрасным, звучным голосом. Тут остальные участники совсем смущаются, и лица их мрачнеют.

О людях же низкого происхождения и говорить не приходится: на что они могли надеяться в тот славный век, когда и Государь, и наследный принц исключительными обладали дарованиями, когда немало было при дворе мужей, достигших на этом поприще совершенства? Вот они и робели, входя в просторный, безоблачно светлый сад, и даже самые простые задания приводили их в замешательство. Престарелые ученые мужи, несмотря на весьма неприглядные одеяния, держались уверенно, явно чувствуя себя на месте, и, на них глядя, трудно было не растрогаться. Государю нравилось наблюдать самых разных людей. Надобно ли говорить о том, что ради такого дня были выбраны лучшие музыканты?

С особым восторгом восприняли собравшиеся танец под названием «Трели весеннего соловья», исполнявшийся уже в сумерках. Принц Весенних покоев, вспомнив, как Гэндзи танцевал на празднике Алых кленов, пожаловал ему цветы для прически, настоятельно требуя его участия. Гэндзи, не решаясь отказать, поднялся и — затем лишь, чтобы доставить принцу удовольствие, — исполнил ту часть, где полагается плавно взмахивать рукавами. Сразу стало ясно, что его не только нельзя затмить, но даже сравняться с ним нет никакой возможности. Левый министр, предав забвению обиды, плакал от умиления.

— Где же То-но тюдзё? Что-то он запаздывает, — изволил молвить Государь, и То-но тюдзё выступил в танце «Роща ив и цветов». Потому ли, что танцевал он с большим усердием, чем Гэндзи, или потому, что успел заранее подготовиться, но только танец его вызвал такое восхищение, что Государь пожаловал ему платье, и все отметили это как необычайную милость.

Затем без всякого определенного порядка выходили танцевать остальные знатные особы, но постепенно сгущались сумерки, и скоро уже невозможно стало разобрать, чем один танцор отличается от другого. Когда же начали декламировать сложенные стихи, творение Сайсё-но тюдзё оказалось столь совершенным, что тецц-декламатор затруднился произнести его единым духом и читал медленно, стих за стихом, громко восторгаясь. Ученые мужи и те были поражены. Так мог ли оставаться равнодушным Государь, в глазах которого Гэндзи всегда был блистательным украшением любого праздника? Государыня-супруга, то и дело устремляя взор свой на изящную фигуру Сайсё-но тюдзё, не переставала думать: «Как странно, что нёго Весенних покоев упорствует в своей ненависти к нему, и как мучительно, что я не могу заставить себя забыть...»

«Когда бы могла
Взором смотреть беспристрастным
На этот цветок,
Ни единой росинки тревоги
Не проникло бы в сердце мое...» —

такие слова возникли в глубине ее души, но только как же они просочились наружу?..

Глубокой ночью празднество подошло к концу.

Один за другим покинули Дворец придворные. Государыня-супруга и наследный принц изволили удалиться в свои покои, и наступила тишина. Тут на небо выплыла светлая луна, и захмелевший Гэндзи почувствовал, что не может уйти, не воздав должного столь редкостно прекрасной ночи. «Все во Дворце уже заснуло, никому и в голову не придет... Быть может, как раз теперь и представится желанный случай...» — подумал он и, стараясь не попадаться никому на глаза, отправился посмотреть, что происходит в павильоне Глицинии, но, увы, даже та дверца, через которую он переговаривался обычно с Омёбу, была заперта. Разочарованно вздыхая, Гэндзи подошел к галерее дворца Кокидэн. Уходить ни с чем ему, как видно, не хотелось, и что же — там оказалась открытой третья дверь.

Госпожа нёго все еще оставалась в высочайших покоях, и во дворце ее было пустынно. Дверь в самом конце галереи тоже оказалась распахнутой, и оттуда не доносилось ни звука. «Такая неосмотрительность, как правило, и приводит к беде» — подумал Гэндзи и, тихонько поднявшись на галерею, заглянул внутрь. Дамы, должно быть, спали... Но тут раздался голос — юный, прекрасный, явно принадлежавший не простой прислужнице:

— «Что может сравниться с туманной луной?.. (69)

Кажется, она приближается? Сайсё-но тюдзё, возрадовавшись, хватает женщину за рукав.

— О ужас! Кто это? — пугается она.

— Не бойтесь, прошу вас.

— Чарует тебя

Красота этой поздней ночи.

Заходящей луны,

Лик туманен, но видится ясно —

Нас свела здесь сама судьба, —

произносит Гэндзи. И, тихонько спустив женщину на галерею, прикрывает дверь.

Она не может прийти в себя от неожиданности, и вид у нее крайне растерянный, что, впрочем, сообщает ей особое очарование. Дрожа всем телом, она лепечет:

— Тут кто-то...

— Я волен ходить где угодно, и не стоит никого звать. Лучше не поднимать шума, — говорит Гэндзи, и, узнав его по голосу, женщина немного успокаивается. Как ни велико ее смятение, ей вовсе не хочется быть заподозренной в отсутствии чувствительности и душевной тонкости. Гэндзи — потому ли, что захмелел больше обычного? — не спешит ее отпускать. Она же — совсем еще юная, нежная и отказать решительно не умеет...

«Как мила!» — любитесь ею Гэндзи, но тут, совсем некстати, ночь начинает светлеть, и им овладевает беспокойство. А о женщине и говорить нечего, у нее ведь еще больше причин для тревоги, по всему видно, что она в полном смятении.

— Назовите мне свое имя. Иначе как я напишу вам? Ведь не полагаете же вы, что на этом все кончится? — говорит Гэндзи, а женщина отвечает:

— Коль печальная жизнь
Вдруг прервется, и в мире растаю,
Неужели тогда
Ты станешь могилу мою
В глухом бурьяне искать?

Как пленителен ее нежный голос!

— О да, вы правы, я не совсем удачно выразился.

Пока стану выведывать —
Чей приют, рососою омытый,
Перед взором моим?
Налетит непрошенный ветер,
Заволнуется мелкий тростник...

Если я вам не неприятен, к чему таиться? Или вы задумали от меня избавиться?

Не успел он договорить, как пробудились дамы и засуетились вокруг: кто направлялся в высочайшие покои, кто возвращался оттуда — судя по всему, они готовились к встрече госпожи нёго. И Гэндзи поспешил уйти, обменявшись со своей новой возлюбленной веерами на память о встрече.

В павильоне Павлонии было многолюдно, и некоторые из дам уже проснулись, поэтому возвращение его не осталось незамеченным.

— Вот неугомонный, — шептались дамы, притворяясь спящими.

Гэндзи удалился в опочивальню, но сон все не шел к нему.

«Прелестна! — думал он. — Верно, одна из младших сестер нёго. Судя по крайней неискушенности, это пятая или шестая дочь Правого министра. Говорят, что и супруга принца Соти, и четвертая дочь, которой так пренебрегает То-но тюдзё, весьма хороши собой. Пожалуй, приятнее было бы иметь дело с кем-то из них. Шестую прочат в Весенние покои, жаль, если это шестая... Впрочем, трудно сказать точно, которая из них это была, выяснять же слишком обременительно. Кажется, у нее нет желания сразу же порвать со мной. Но почему тогда она не сказала, каким образом нам сообщаться друг с другом?» Как видно, женщине удалось возбудить его любопытство. Однако Гэндзи и теперь не преминул прежде всего посетовать на неприступность павильона Глицинии, особенно очевидную в сравнении с доступностью покоев, где пришлось ему побывать.

На следующий день Сайсё-но тюдзё был занят до вечера, принимая участие в разнообразных увеселениях. Он играл на кото «со». Второй день показался всем еще приятнее и занимательнее первого. Государыня-супруга рано утром перебралась в высочайшие покои.

Не находя себе места от волнения — «Ах, как бы не скрылась незамеченной эта “бледная луна”!», Гэндзи поручил всеведущим Ёсикиё и Корэми-

цу наблюдать за дворцом Кокидэн, и вот, когда он уже готов был покинуть высочайшие покои, они наконец сообщили:

— Только что от Северных караульных служб отъехали кареты, давно уже стоявшие там под деревьями.

— В толпе провожающих мы заметили Сии-но сёсё и Утюбэна. Похоже, что отъезжающие имеют непосредственное отношение к дворцу Кокидэн*.

— Судя по всему, это не простые прислужницы...

— Да и вряд ли в трех каретах...

Их слова еще больше взволновали Гэндзи. «Как же узнать, которая? Если слух о том, что произошло, дойдет до министра, ее отца, он может придать ему слишком большое значение, и что тогда? Пока я не разглядел ее хорошенько, такая возможность скорее пугает меня. Но оставаться в неведении тоже обидно. Так что же все-таки делать?» — терзался он и долго еще лежал, погруженный в раздумья.

«Как скучает теперь, должно быть, юная госпожа! Уже который день меня нет, верно, совсем приуныла», — подумал он, вспомнив о своей прелестной питомице.

Веер, взятый в залог, оказался трехчастным*, цвета лепестков вишни. В более темной части его была изображена тусклая луна, отражающаяся в воде, — замысел более чем обыкновенный. Но зато, по многим признакам судя, веер давно уже был в постоянном употреблении, а потому вкусы и склонности владелицы наложили на него особый отпечаток. Гэндзи снова и снова вспоминал, как она сказала: «Неужели тогда...»

«Никогда еще сердце
Такой печали не ведало.
Предрассветной луны
Бледный свет затерялся в небе,
Взор бессилён его уловить...» —

написал он на веере и спрятал его.

«Давно не бывал я в доме Левого министра, — подумал он, но жалость к юной госпоже из Западного флигеля и желание видеть ее оказались сильнее, и сначала он поехал на Вторую линию.

Питомица Гэндзи с каждым днем становилась все миловиднее и привлекательнее, все больше талантов открывалось в ней, и уже сейчас она превосходила многих. Словом, сбывались, как видно, его чаяния — вырастить из нее женщину, совершенную во всех отношениях и полностью удовлетворяющую его собственным вкусом. Он боялся только, как бы, имея наставником мужчину, она не оказалась чуть более развязной, чем подобает девице из благородного семейства.

Днем Гэндзи рассказывал ей о том, что произошло за эти дни во Дворце, учил играть на кото, а под вечер собрался уходить. Она же, как ни досадовала: «Ах, и сегодня тоже...», уже не цеплялась за него с прежним упорством, усвоив, как видно, преподанные им правила поведения.

В доме Левого министра его, как всегда, заставили ждать. Погруженный в глубокую задумчивость, Гэндзи сидел, растерянно перебирая струны кото «со» и напевая:

— «Ах, ни единой ночи не спала на нем...»*

Тут пришел министр, и они долго беседовали, вспоминая, что примечательного произошло за последние дни.

— Лет мне уже немало, четыре поколения высокочтимых государей сменилось перед взором моим, — говорит министр, — но никогда еще не достигало такого расцвета поэтическое мастерство, никогда не поражали таким совершенством исполнения танцы, никогда так согласно и стройно не звучала музыка — словом, никогда не ощущал я столь явственно, что продлевается срок моей жизни. И причину я вижу не только в том, что в нынешние времена собралось при дворе такое множество мужей, разнообразными талантами наделенных, но и в том, что вы, обнаруживая столь похвальную осведомленность во всем, обладаете редким умением выявить наиболее достойных и распределить их наивыгоднейшим образом. Так, даже старцы и те готовы были пуститься в пляс* (70).

— Вы преувеличиваете, говоря о каком-то особом умении, — отвечает Гэндзи. — Такова моя обязанность — подыскивать самых искусных и ревностных исполнителей. Вот танец «Роща ив и цветов» был действительно прекрасен: подобное исполнение должно стать образцом для будущих поколений. А уж если бы и вы изволили пожаловать танцем этот весенний расцвет нашего благословенного века, большей чести вряд ли можно было бы желать.

Тут пришли То-но тюдзё и другие сыновья министра. Расположившись у перил, они играли каждый на своем любимом инструменте. Ничего прекраснее и вообразить невозможно!

А госпожа «Туманная луна», Обородзукиё, вспоминая свой мимолетный сон, вздыхала и печалилась тайком. Намечено было, что на Четвертую луну она войдет в Весенние покои, и одна мысль об этом приводила ее в отчаяние.

Гэндзи же пребывал в крайнем замешательстве. Разумеется, для него не составляло особого труда отыскать ее, сложность заключалась в том, что, по-прежнему оставаясь в неведении относительно предмета своих помышлений, он к тому же не испытывал ни малейшего желания вступать в какие бы то ни было отношения с семейством, которого враждебность не вызывала у него сомнений.

Тем временем настали последние дни Третьей луны, и Правый министр решил провести состязания в стрельбе из лука, которые почтили своим присутствием многие вельможи и принцы крови. Сразу после состязаний был устроен Праздник глициний.

Вишни уже отцвели, но в саду у министра два деревца до сих пор стояли, покрытые прекрасными цветами, словно шепнул им кто: «Когда облетят другие...» (71). Недавно перестроенный дом был великолепно украшен по случаю церемонии Надевания мо* на юных принцесс, убранство покоев, свидетельствующее о склонности хозяина к роскоши, было выдержано в самом современном стиле.

Видя, что господин Сайсё-но тюдзё, которого он тоже не преминул пригласить, встретившись с ним на днях во Дворце, все не появляется, министр, опасаясь, что отсутствие столь значительной особы лишит празднество надлежащего блеска, послал за ним своего старшего сына Сии-но сёсё.

«Когда бы цвели
В саду у меня такие же
Цветы, как везде,
Разве ждал бы тебя
С нетерпением?»

Гэндзи, который как раз находился во Дворце, показал послание министра Государю.

— Видно, что он доволен собой, — изволил посмеяться Государь. — Тем не менее я полагаю, что получив столь настоятельное приглашение, тебе не следует заставлять себя ждать. В доме министра растут принцессы, сестры твои, да и сам он не может относиться к тебе как к чужому.

Потратив немало времени на свой наряд, Гэндзи уже совсем в сумерках появился в доме Правого министра, где его давно ждали. На нем было верхнее платье из тонкого узорчатого китайского шелка цвета «вишня», из-под которого выглядывало нижнее — бледно-лиловое с длинным, тянущимся по полу шлейфом. Это роскошное облачение* сообщало облику Гэндзи особое очарование, отличая его от остальных гостей, в большинстве своем одетых в парадные черные одеяния. Вызывая всеобщее восхищение, вошел он в дом Правого министра — и мог ли кто-нибудь сравниться с ним? Увы, рядом с ним померкла даже красота цветов, так что его присутствие скорее умаляло наслаждение, испытываемое собравшимися...

Гэндзи с увлечением предавался всем удовольствиям, когда же стемнело, незаметно вышел, притворяясь сверх меры захмелевшим.

Подойдя к главному дому, где обитали Первая и Третья принцессы, он остановился у восточной двери. Как раз с этой стороны и росли глицинии, поэтому все решетки оказались поднятыми, и дамы сидели у самых занавесей. Края рукавов были выставлены напоказ, словно во время Песенного шествия, что, впрочем, не соответствовало случаю, и Гэндзи невольно вспомнилась изысканная простота павильона Глицинии.

— Я сегодня чувствую себя не совсем здоровым, а тут так настойчиво потчуют вином... Не хочу казаться назойливым, но, может быть, вы возьмете меня под свою защиту и спрячете где-нибудь здесь? — С этими словами он отодвинул занавеси боковой двери.

— Ах, что вы! Лишь ничтожным беднякам позволительно искать защиты у знатных сородичей, — отвечали дамы.

Судя по всему, они не занимали в доме высокого положения, но и на обычных прислужниц не походили — благородство их манер и миловидность не вызвали сомнений.

В воздухе, густо напоенном благовониями, слышался отчетливый шелест одежд — видно было, что в этом доме предпочитают во всем следовать современным веяниям, обнаруживая при этом некоторый недостаток подлинного изящества и утонченности. Боковая дверь сегодня была закрыта, что выдавало присутствие высокородных особ, собравшихся здесь, дабы сполна насладиться прекрасным зрелищем. Разумеется, всякая вольность по отношению к ним была недопустима, но Гэндзи не мог превозмочь любопытства. «Так которая же из них?» — думал он, и сердце его замирало от волнения.

ПОВЕСТЬ О ГЭНДЗИ

— «Веер отобрали у меня...»* Обидно, право... — шутливо говорит он и садится у двери.

— Что за кореец* в столь странном обличье? — отвечает какая-то дама. Как видно, ей ничего не известно. Заметив, что одна из женщин, даже не пытаясь ответить ему, лишь тихонько вздыхает, Гэндзи приближается к ней и берет ее руку через занавес.

— В горах Ируса
Склоны луком из ясеня гнутся,
Я блуждаю в тоске:
Доведется ли снова увидеть
Свет луны, мелькнувшей на миг?

Ведомо ли вам, отчего я блуждаю? — не очень уверенно спрашивает Гэндзи, и она, видно, не в силах больше молчать:

— Когда б сердце твое
К одной лишь цели стремилось,
Ему вряд ли пришлось
Блуждать в небесах, где месяца
Давно уж не светится лук... —

отвечает, и точно — голос тот самый.

Велика была его радость, но, увы...





МАЛЬВЫ

Основные персонажи

Дайсё (Гэндзи), 21–22 года

Ушедший на покой Государь (император Кирицубо) — отец Гэндзи

Государыня-супруга (Фудзицубо) — супруга императора Кирицубо

Нынешний Государь (император Судзаку) — сын императора Кирицубо от наложницы Кокидэн

Государыня-мать (Кокидэн) — наложница императора Кирицубо, мать императора Судзаку

Принц Весенних покоев (будущий император Рэйдзэй) — сын Фудзицубо

Дама с Шестой линии, мясудокоро (Рокудзё-но мясудокоро), 28–29 лет — возлюбленная Гэндзи

Жрица Исэ (будущая императрица Акиконому), 13–14 лет — дочь Рокудзё-но мясудокоро и принца Дзэмбо

Особа по прозванию Утренний лик (Асагао) — дочь принца Сикибукё (Момодзоно)

Молодая госпожа из дома Левого министра (Аои), 28 лет — супруга Гэндзи

Третья принцесса — дочь императора Кирицубо и наложницы Кокидэн

Госпожа Оомия (Третья принцесса) — супруга Левого министра, мать Аои и То-но тюдзё

Укон-но дзо-но куро — приближенный Гэндзи, сын Иё-но сукэ

Принц Сикибукё (Момодзоно) — брат императора Кирицубо, отец Асагао

Гэн-найси-но сукэ — придворная дама императора Кирицубо

Левый министр — тесть Гэндзи

Маленький господин из Дома Левого министра (Югири), 1–2 года — сын Гэндзи и Аои

Юная госпожа из Западного флигеля (Мурасаки), 13–14 лет — воспитанница, затем супруга Гэндзи

Самми-но тюдзё (То-но тюдзё) — сын Левого министра, брат Аои, первой супруги Гэндзи

Сайсё — кормилица Югири

Сёнагон — кормилица Мурасаки

Корэмицу — приближенный Гэндзи, сын его кормилицы

Особа из покоев Высочайшего ларца (Обородзукиё) — дочь Правого министра, сестра Кокидэн, тайная возлюбленная Гэндзи

Правый министр — отец Кокидэн и Обородзукиё

ПОСЛЕ ТОГО как в мире произошли перемены*, у Гэндзи появилось немало причин досадовать на судьбу, и — потому ли, а может, еще и потому, что слишком высоко было его новое положение — он воздерживался от легкомысленных похощений, отчего множились сетования его истомленных ожиданием возлюбленных и — уж «не возмездие ли?» (72) — не знало покоя его собственное сердце, снедаемое тоской по той, единственной, по-прежнему недоступной. С тех пор как Государь ушел на покой, Фудзицубо жила при нем, словно обычная супруга, а поскольку мать нынешнего Государя — потому ли, что чувствовала себя обиженной, или по какой другой причине — почти не покидала Дворца, у нее больше не было соперниц и ничто не омрачало ее существования. Ушедший на покой государь по разным поводам устраивал изысканнейшие увеселения, о которых слава разносилась по всему миру, так что его новый жизненный уклад был едва ли не счастливее старого. Вот только тосковал он по маленькому принцу Весенних покоев*. Обеспокоенный отсутствием у него надежного покровителя, государь весьма часто прибегал к помощи господина Дайсё, и тот, как ни велико было его смущение, не мог не радоваться.

Да, вот еще что: дочь той самой особы с Шестой линии — Рокудзё-но миясудокоро и умершего принца Дзэмбо готовилась стать жрицей святилища Исэ*. Мать ее, понимая, сколь изменчиво сердце господина Дайсё, давно уже подумывала: «А не отправиться ли и мне вместе с дочерью под предлогом ее неопытности?» Слух о том дошел до ушедшего на покой государя.

— Эта особа занимала самое высокое положение при покойном принце и снискала его особое благоволение. Жаль, что ты не проявляешь заботы о ее добром имени, обращаясь с ней, как с женщиной невысокого звания. О будущей жрице я пекусь не меньше, чем о собственных дочерях, поэтому твоё пренебрежительное отношение к ее матери вдвойне заслуживает порицания. Ты наверняка станешь предметом пересудов, коль и впредь будешь подчинять свое поведение случайным прихотям, — говорил государь, неодобрительно глядя на Гэндзи, а тот, сознавая его правоту, стоял перед ним, смущенно потупившись.

— Веди же себя со всеми ровно, стараясь не делать ничего, что могло бы оскорбить твоих возлюбленных и навлечь на тебя их гнев, — наставлял его государь, а Гэндзи думал: «О, когда б он ведал о самом главном моем преступлении!» Совершенно подавленный этой мыслью, он вышел, почтительно поклонившись.

Увы, его безрассудное поведение и в самом деле повредило как доброму имени миясудокоро, так и ему самому, и, узнав о том, государь счел своим долгом выказать ему свое неудовольствие.

Разумеется, Гэндзи сочувствовал женщине и хорошо понимал, что она достойна лучшей участи, однако не предпринимал ничего, чтобы открыто признать их связь. Поскольку же сама мясудокоро, стыдясь некоторого несоответствия в возрасте*, держалась весьма принужденно, Гэндзи, приписывая эту принужденность нежеланию вступать с ним в более доверительные отношения, оправдывал таким образом свое бездействие и продолжал пренебрегать ею даже теперь, когда все стало известно ушедшему на покой государю, да и в целом мире не осталось ни одного человека, для которого их союз был бы тайной.

Слух о печальной судьбе мясудокоро дошел до особы по прозванию «Утренний лик» — Асагао, и, твердо решив: «Не уподоблюсь ей», она перестала даже кратко отвечать на письма Гэндзи. Вместе с тем Асагао не проявляла по отношению к нему ни неприязни, ни пренебрежения, что укрепляло Гэндзи в мысли о ее исключительности.

В доме Левого министра, разумеется, недовольны были сердечным непостоянством Гэндзи, но открыто своего возмущения не выказывали отчасти потому, что сам он ничего не скрывал и упрекать его просто не имело смысла.

Весьма тяжело переноса свое состояние, молодая госпожа чувствовала себя слабой и беспомощной. Все это было внове для Гэндзи, и он не мог не умиляться, на нее глядя. Домашние радовались, но в то же время, волнуемые дурными предчувствиями, заставляли госпожу прибегать к различного рода воздержаниям.

В те дни сердце Гэндзи не знало покоя, и он нечасто навещал своих возлюбленных, хотя и не забывал о них.

Между тем прежняя жрица святилища Камо* тоже удалилась на покой, и на ее место прочили одну из дочерей Государыни-матери, Третью принцессу. Эту принцессу и сам Государь, и Государыня-мать жаловали особой любовью, поэтому многие опечалились, узнав, что ей придется занять столь исключительное положение в мире, но, увы, среди прочих принцесс подходящей не нашлось.

Порядок проведения церемоний редко выходит за рамки соответствующих священных установлений, однако на этот раз все положенные обряды были отмечены особой торжественностью. Немало нового было добавлено и к ритуалам праздника Камо, и оно вылилось в зрелище, невиданное по своему размаху. Многие видели в этом дань достоинствам будущей жрицы. Число сановников, сопровождавших ее в день Священного омовения*, не превышало принятого установлениями, зато для этой цели были выбраны самые влиятельные лица, известные своими заслугами и красотой, причем все, начиная от расцветки нижних платьев, узоров на хакама и кончая седлами и прочим снаряжением, было заранее продумано и подготовлено с великим тщанием. По особому указу в свиту включили и господина Дайсё. Желющие полюбоваться церемонией заранее позаботились о каретах, поэтому в назначенный день Первая линия была забита до отказа и шум стоял невообразимый. Убранство смотровых помостов* свидетельствовало о разнообразных вкусах их устроителей, края рукавов, выглядывавшие из-за занавесей, представляли собой редкое по красоте зрелище.

Молодая госпожа из дома Левого министра редко выезжала на подобные празднества, да и самочувствие ее в последние дни оставляло желать лучшего, но прислужницы ее взмолились:

— О, не отказывайтесь! Если мы поедем одни, чтобы полюбоваться зрелищем украдкой, оно потеряет для нас всю свою прелесть! Подумайте, ведь совершенно чужие люди приедут, чтобы посмотреть на господина Дайсё, даже жалкие провинциалы привезут из дальних краев своих жен и детей. И всего этого не увидеть?!

— Сегодня вы чувствуете себя неплохо, поезжайте, а то дамы ваши совсем приуныли... — поддержала их госпожа Оомия, и тотчас отдала распоряжение готовить кареты к выезду.

Солнце поднялось уже довольно высоко, когда без особого шума они наконец выехали. По обочинам теснились кареты, и пышной свите дочери Левого министра негде было разместиться. Выбрав клочок земли, где стояли кареты благородных дам и не было простолюдинов, слуги начали расчищать место для своей госпожи.

Среди карет выделялись две с плетеным верхом, немного обветшавшие, но с изысканно-благородными занавесями. Обитательницы их прятались внутри, сквозь прорези виднелись края рукавов, подола — все самых прелестных оттенков, причем было заметно, что дамы старались по возможности не привлекать к себе внимания.

— Наша госпожа вовсе не из тех, кто должен кому-то уступать, — решительно заявили слуги, не давая дотронуться до карет. Слуги и с той, и с другой стороны были молоды и хмельны изрядно, таким стоит только начать спорить — остановить их невозможно. Слуги постарше пытались их усмирить: «Ах, зачем же так!» — но, увы, безуспешно.

Кареты с плетеным верхом принадлежали матери жрицы святилища Исэ, Рокудзё-но мясудокоро, которая приехала сюда украдкой, надеясь отвлечься от мрачных мыслей. Люди из дома Левого министра, разумеется, узнали ее, но не подавали виду.

— Вы еще смеете прекословить! Кичиться влиянием господина Дайсё! Какая дерзость! — возмущались они.

В свите молодой госпожи были приближенные самого Гэндзи, которые не могли не сочувствовать мясудокоро, но, не желая обременять себя заступничеством, они предпочли не вмешиваться и сделали вид, будто знать ничего не знают. В конце концов кареты дочери Левого министра выстроились у дороги, а кареты Рокудзё-но мясудокоро оказались оттесненными в сторону, за кареты свиты, откуда дамам ничего не было видно. Надобно ли говорить о том, сколь велика была обида матери жрицы? В довершение всех несчастий ее узнали, как ни старалась она держаться в тени. Кареты ее имели весьма жалкий вид: подставки для оглобелей были сломаны, сами оглобли повисли, зацепившись за ступицы чужих колес. И бесполезно было спрашивать себя: «О, для чего я приехала сюда?» Она решила уехать, не дожидаясь начала, но кареты стояли так тесно, что выбраться было невозможно, а тут зашумели вокруг: «Начинается, вот они!» — и новая надежда заставила ее слабое сердце забиться несказанно: еще миг — и она увидит его, жестокосердного!.. Но, увы, видно, здесь не река Сасанокума (73), равнодушно проехал он мимо, лишь умножив ее душевные муки.

Повсюду в каретах, убранных и в самом деле роскошнее обыкновенного, сидели — одна другой наряднее — дамы, и Гэндзи, притворяясь, будто не обращает на них никакого внимания, то и дело улыбаясь, поглядывал искоса, словно пытался проникнуть взором сквозь прорези занавесей. Сразу приметив кареты госпожи из дома Левого министра, он с важным видом проехал мимо, и, наблюдая, с каким подобострастием склонялись перед супругой господина Дайсё его телохранители, миясудокоро совсем приуныла, осознав, сколь полным было ее поражение.

В реке Омовенья
Твой взгляд равнодушно-холодный
Отразился на миг,
И я поняла — от жизни
Мне нечего больше ждать.

Стыдясь своих слез, она думала тем не менее: «Еще обиднее было бы упустить возможность увидеть его во всем блеске парадного облачения, окруженного восхищенной толпой». Среди участников празднества, поражающих взоры собравшихся великолепием нарядов и пышностью свит, выделялись своей красотой высшие сановники, но сияние Дайсё затмевало всех: право же, сравняться с ним не было никакой возможности. Личным телохранителем господина Дайсё был назначен на сегодня Укон-но дзо-но куроо — придворные столь высокого звания выполняют подобные обязанности лишь в самых торжественных случаях, связанных прежде всего с высочайшим выездом. Прочие его спутники были также тщательно подобраны по красоте лиц и благородству осанки, и когда Гэндзи, провожаемый восхищенными взглядами, проезжал мимо, даже травы и деревья склонялись перед ним.

Женщины отнюдь не низкого звания в дорожных платьях цубосодзоку*, отвернувшись от мира монахини, простолюдины, толкаясь и падая, спешили посмотреть на процессию. В любом другом случае это вызвало бы возмущение и даже негодование, но сегодня их поведение казалось вполне естественным. Занятно было смотреть, как беззубые старухи с волосами, подобранными под одежду, приставив ко лбу сложенные руки, снизу вверх глядели на господина Дайсё. Ничтожные простолюдины и те расплывались в улыбках, не подозревая, как безобразно искажаются при этом их лица. Даже дочери наместников, которых Гэндзи никогда и взглядом бы не удостоил, приехали в разукрашенных каретах и держались крайне вызывающе, стараясь привлечь к себе внимание, — забавное зрелище! Много здесь было и дам, которых тайно посещал он, печальнее обычного вздыхали они, сознавая незначительность собственного положения.

Принц Сикибукё любовался процессией с помоста. «Лицо господина Дайсё с годами становится все прекраснее... — думал он, с благоговейным трепетом глядя на Гэндзи, — такая красота способна привлечь даже взоры богов».

А дочь принца, вспомнив, с каким поистине необыкновенным упорством домогался ее Гэндзи, невольно устремилась к нему сердцем. «Право, даже если бы он был обычным человеком... А уж когда он таков...» Впрочем, о более коротких отношениях с ним она и не помышляла. Ее молодые прислужницы до неприличия громко восторгались Гэндзи.

В день праздника дочь Левого министра осталась дома. Нашлись люди, сообщившие господину Дайсё о ссоре из-за карет, и, пожалев мясудокоро, он с неудовольствием подумал о том, что молодой госпоже при всем ее благородстве и значении в свете, к сожалению, недостает чувствительности и душевной тонкости: «Разумеется, нельзя обвинять ее в заранее обдуманном намерении, но она проявила нечуткость, не понимая, что люди, связанные подобными узами, должны сочувствовать друг другу, презренные же слуги не преминули этим воспользоваться. А ведь мясудокоро так благородна, так чувствительна, как же ей должно быть горько теперь!»

Гэндзи поехал было на Шестую линию, но его не приняли, объяснив свой отказ тем, что жрица Исэ еще не покинула родного дома, а жилище, осененное ветками священного дерева сакаки, недоступно для посторонних*. Понимая, сколь справедливо решение мясудокоро, Гэндзи все же укоризненно проговорил, уходя:

— Зачем? Не лучше ли быть снисходительнее друг к другу?

Решив, что поедет на праздник из дома на Второй линии, Гэндзи сразу же отправился туда. Повелев Корэмицу распорядиться, чтобы подготовили кареты, он перешел в Западный флигель.

— А как дамы, готовятся ли к выезду? — спрашивает он, с улыбкой глядя на принаряженную юную госпожу. — Поедьте вместе.

Глядя девочку по пышным блестящим волосам, Гэндзи говорит:

— Давно уже вас не подстригали. Надеюсь, что день сегодня благоприятный*. — И, призвав почтенного календарника, о том спрашивается.

— Сначала дамы, — шутивно распоряжается он, глядя на прелестных девочек-служанок. Подстриженные концы их густых волос, живописно распушась, падают на затканые узорами верхние хакама и красиво выделяются на их фоне.

— А госпожу я сам подстригу, — говорит Гэндзи.

— Какие густые волосы, даже слишком. Что же будет потом? — И он с трудом принимается стричь. — Даже у женщин с очень длинными волосами волосы надо лбом обычно бывают короче. А у вас все пряди одинаковой длины. Это, пожалуй, не так уж и красиво.

Закончив подстригать, он произносит:

— Пусть растут до тысячи хиро*.

А кормилица Сёнагон, растроганная до слез, думает, на него глядя: «Чем заслужили мы такое счастье?»

— Увижу лишь я,
Как будут расти, тянутся
На неизмеримой
Глубине в много тысяч хиро
Пышные водоросли «миру», —

произносит Гэндзи.

«Много тысяч хиро?..
Но кто сосчитать сумеет?
За приливом — отлив.
Всегда волнуется море,
Неведом ему покой...» —

пишет юная госпожа на листочке бумаги — весьма искусно, но все еще с той долей детской непосредственности, которая в сочетании с незаурядной красотой всегда восхищает Гэндзи.

И в этот день кареты стояли так тесно, что не оставалось ни клочка свободной земли. У Императорских конюшен Гэндзи пришлось остановиться, ибо двигаться дальше не было возможности.

— Здесь разместились кареты высших сановников и слишком шумно. — проговорил Гэндзи в некотором замешательстве.

Тут из кареты, судя по всему, принадлежавшей какой-то знатной госпоже и до отказа наполненной дамами, призывно помахали веером.

— Не желаете ли стать здесь? Мы можем подвинуться.

«Это что еще за любительница приключений?» — удивился Гэндзи, но, поскольку место было и в самом деле подходящее, распорядился, чтобы кареты подвинули туда.

— Как сумели вы так удачно устроиться? Не могу не позавидовать, — велел передать Гэндзи, а дама прислала в ответ изящный веер, в сложенной части которого было написано следующее:

«О мирская тщета!
Я ждала, в этих мальвах видя
Знак, данный богами*,
Но, увы, прическу другой
Они украшают сегодня.

Да, не проникнуть за вервие запрета*».

Гэндзи узнал почерк — то была та самая Гэн-найси-но сукэ. «Поразительно, до каких пор будет она вести себя так, словно годы над ней не властны?» — с неприязнью подумал он и ответил довольно резко:

«Что за ветреный нрав
У мальв, что прическу мою
Украшали однажды —
Встречу сулят они всем
Восьми десяткам родов».

Почувствовав себя обиженной, Гэн-найси-но сукэ тем не менее сочла возможным передать ему такое послание:

«Какая досада!
Зачем я прическу украсила
Листьями мальвы?
Что в них? — одно только имя,
Вселяющее надежду.

Поскольку Гэндзи приехал не один, шторы в его карете оставались все время опущенными, и многие были весьма взволнованы этим обстоятельством. «Совсем недавно господин Дайсё предстал перед нами во всем блеске своего парадного облачения. Сегодня же он приехал как простой зритель. Жаль, что нельзя взглянуть на него. Кого прячет он в своей карете? Вряд ли это незначительная особа...» — гадали собравшиеся.

«Что за нелепый обмен колкостями о прическах?» — недовольно думал Гэндзи. Право, не будь эта дама такой бесцеремонной, она наверняка воздержалась бы от продолжения, хотя бы из уважения к его спутнице.

Немало горестей выпало на долю Рокудзё-но миясудокоро за прошедшие годы, но никогда еще она не была так близка к отчаянию. Недавние события убедили ее в том, что Гэндзи окончательно охладел к ней, но уехать, порвав с ним, она не решалась, страшась беспомощности, одиночества и насмешек. Остаться в столице? Но тогда она наверняка сделается предметом непрерывных нападок и оскорблений... Жестокие сомнения денно и нощно терзали ее душу. «Рыбу ловит рыбак, и качается поплавок...» (74) Ей все казалось, что она и сама безвольно качается в волнах, и в конце концов она почувствовала себя совсем больной

Господин Дайсё не придавал особого значения ее намерению уехать и не пытался сколько-нибудь решительно ему препятствовать.

— Что ж, ваше желание покинуть меня, недостойного, естественно, очевидно, я не вызываю в вашем сердце ничего, кроме неприязни. Я понимаю, что слишком никчем, и все же, если бы вы остались со мной до конца, разве не свидетельствовало бы это о подлинной глубине ваших чувств? — уклончиво говорил он, не разрешая ее сомнений.

Страдая от неопределенности своего положения и надеясь обрести утешение, миясудокоро поехала посмотреть на церемонию Омовения, но оскорбление, ей здесь нанесенное, вновь повергло ее в бездну отчаяния.

Тем временем в доме Левого министра печалились и вздыхали. Состояние молодой госпожи резко ухудшилось, похоже, что не без участия злых духов. Подобные обстоятельства отнюдь не благоприятствовали тайным похождениям, и даже в дом на Второй линии Гэндзи заглядывал крайне редко. Что ни говори, а высокое положение дочери министра не позволяло пренебрегать ею, и мог ли он не беспокоиться? Тем более, что ее недомогание было связано с неким не совсем обычным обстоятельством*. Разумеется, в его покоях постоянно справлялись соответствующие обряды и произносились заклинания.

Появлялись разные духи, в том числе и души живых*, разные имена называли они, но один из них, отказываясь переходить на посредника, все цеплялся за тело больной и ни на миг не оставлял ее. Хотя он и не причинял ей особенно тяжких мучений, упорство, с которым он ее преследовал, не желая подчиняться даже самым искусным заклинателям, наводило на мысль, что все это было неспроста. Перебирая женщин, которых посещал господин Дайсё, дамы шептались:

— Миясудокоро и та, со Второй линии, пользуются его особой благосклонностью, потому и ненависть их должна быть страшна.

Обращались и к гадалщикам, но ничего определенного не узнали. Между тем ни у одного из обнаруживших себя духов не было причин питать к госпоже столь глубоко враждебное чувство. То были духи более чем незначительные, скорее всего просто воспользовавшиеся беспомощным состоянием больной: душа давно уже скончавшейся кормилицы, какие-то другие духи, с незапамятных времен не отстававшие от семейства министра... Госпожа захлебывалась от рыданий, приступы тошноты сотрясали ее грудь.

Страдания ее были невыносимы, и окружавшие совершенно потерялись от страха и горя.

От ушедшего на покой государя то и дело приходили справиться о состоянии больной, он позаботился даже молебны во здравие ее заказать — милость особенная, несомненно повысившая ценность ее жизни в глазах окружающих.

Слух о том, что все в мире столь живо сочувствуют супруге господина Дайсё, не мог не взволновать мясудокоро. В доме Левого министра и не подозревали о том, что пустяковая, казалось бы, ссора из-за карет глубоко потрясла душу женщины, воспламенив ее безумной ревностью. И это при том, что ранее никакой враждебности к сопернице она не испытывала. Мысли ее были совершенно расстроены, и скоро, почувствовав себя больной, она переселилась в другое место и прибегла к помощи молитв и заклинаний*. Прослышав о том, господин Дайсё встревожился и решил ее навестить. Поскольку нынешнее пристанище мясудокоро находилось в месте совершенно ему незнакомом, он пробирался туда с особыми предосторожностями. Рассчитывая смягчить ее сердце, Гэндзи объяснил женщине причины своего долгого, но, увы, невольного отсутствия, не преминув посетовать на ухудшившееся состояние больной.

— Я сам не так уж и беспокоюсь, но не могу не сочувствовать ее родным, которые от страха совсем потеряли голову. Потому я и счел своим долгом подождать, пока ей не станет лучше. Было бы крайне любезно с вашей стороны проявить великодушие... — говорит он, с жалостью глядя на ее измученное лицо. Ночь так и не сблизила их, а на рассвете, когда Гэндзи собрался уходить, мясудокоро, взглянув на него, почувствовала, как слабеет в ее сердце решимость расстаться с ним. Но она не могла не понимать, что теперь, когда возникло новое обстоятельство, заставившее Гэндзи сосредоточить все свои помыслы на особе, являвшейся главным предметом его попечений, ждать его будет нестерпимой мукой... Так, встреча с ним не принесла ей облегчения, напротив...

А вечером явился гонец с письмом:

«Больной, состояние которой в последние дни заметно улучшилось, внезапно снова стало хуже, и оставить ее невозможно...» — писал Гэндзи.

«Ах, обычные отговорки!» — подумала мясудокоро, но все же ответила:

«Как же легко
Промочить рукава, ступая,
По топкой тропе!
Но выходит крестьянка в поле,
На горькую сетуя участь...

Так, «мелок, увы, горный колодец...» (41). Но могла ли я ожидать другого?»

«Никто из здешних дам не может сравниться с ней почерком, — подумал Гэндзи, глядя на ее письмо. — Но почему так нелепо устроен мир? Каждая женщина хороша по-своему: одна привлекает нравом, другая — наружностью, и нет ни одной, с которой было бы легко расстаться, но ведь нет и такой, которая была бы совершенна во всех отношениях». Ответил он весьма неопределенно:

«Отчего же “промокают одни рукава”? (75, 76) Не говорит ли это о том, что вашему чувству не хватает глубины?

По топкой тропе
Ты, я вижу, совсем немного
Успела пройти.
Ну а я зашел далеко
И, увязнув, промок до нитки.

Когда б состояние больной не вызывало опасений, я сам пришел бы с ответом...»

Злой дух снова обнаружил свою власть над госпожой из дома Левого министра, и муки ее были ужасны. «Не иначе это дух той, с Шестой линии, или умершего отца ее, министра», — начали поговаривать люди, и слух о том дошел до миясудокоро. Беспреданно размышляла она об услышанном, и иногда мелькала в ее голове смутная догадка: «Я могу лишь роптать на собственную участь, у меня нет желания кому-то причинять зло, но, может быть, и в самом деле, в часы глухой тоски душа “вдаль уносится, тело покинув”?» (77)

За прошлые годы она испытала сполна все горести, какие только могут выпасть на долю женщины, но в таком отчаянии еще не бывала. Со дня Священного омовения, когда по воле ничтожного случая она оказалась опозоренной, униженной презрением, на сердце у нее было неизъяснимо тяжело, одна мысль о нанесенном ей оскорблении лишала ее покоя. Уж не оттого ли стало происходить с ней нечто странное? Стоило задремать ненадолго, и тут же представлялось ей: вот входит она в роскошные покои, где лежит какая-то женщина, будто бы молодая госпожа из дома Левого министра. Охваченная слепой, безумной яростью, она вцепляется в эту женщину, таскает ее за собой, бьет нещадно... Этот мучительный сон снился ей довольно часто. Иногда миясудокоро казалось, что она теряет рассудок. «Как горько! Неужели и в самом деле душа улетает, покинув тело?.. (78) — думала она. — Люди отравляют подозрениями самые невинные проступки, а уж такой возможности они тем более не упустят».

И в самом деле, о ней уже начинали злословить. «Я слышала, что иногда человек, уходя из мира, оставляет в нем свои обиды, и неизменно содрогалась от ужаса, представляя себе, какими тяжкими прегрешениями должен быть обременен такой человек. И вот теперь нечто подобное говорят обо мне самой, да еще при жизни! Что за горестная судьба! О нет, я и думать больше не стану о нем», — снова и снова говорила себе она, но, право, «не это ль называется “думать”?» (79)

Жрица Исэ еще в прошедшем году должна была переехать во Дворец*, но из-за каких-то непредвиденных осложнений это произошло лишь нынешней осенью. На Долгую луну ей предстояло отправиться в Священную обитель в лугах, и пора было готовиться к принятию Второго омовения. Однако миясудокоро целыми днями лежала в каком-то странном полубытье, и приближенные жрицы, чрезвычайно обеспокоенные состоянием больной, молились и произносили разнообразные заклинания.

Нельзя сказать, чтобы жизнь миясудокоро была в опасности, нет, но какой-то недуг постоянно подтачивал ее силы. Шли дни и луны, а ей все не

становилось лучше. Господин Дайсё время от времени навевался узнать о ее здоровье, но состояние другой, более дорогой ему особы по-прежнему внушало опасения, и сердце его не знало покоя.

Срок, казалось, еще не вышел, как вдруг, застав всех в доме врасплох, появились первые признаки приближения родов, и больной стало еще хуже.

Поспешили прибегнуть к помощи новых молитв и заклинаний, но вот уже все средства оказались исчерпанными, а упорный дух все не оставлял ее тела. Даже самые искусные заклинатели были поражены и растерялись, не зная, что еще предпринять.

Но наконец с превеликим трудом удалось им смирить и этого духа, и, разразившись душераздирающими рыданиями, он заговорил:

— Приостановите молитвы, мне нужно сказать что-то господину Дайсё.

— Так мы и знали. Все это неспроста! — воскликнули дамы и подвели Гэндзи к занавесу, за которым лежала госпожа. Быть может, приблизившись к своему пределу, она хочет что-то сказать ему на прощание?

Левый министр и супруга его отошли в сторону. Монахи, призванные для совершения обрядов, негромко читали сутру Лотоса, и голоса их звучали необычайно торжественно. Приподняв полу занавеса, Гэндзи взглянул на больную: лицо ее было прекрасно, высоко вздымался живот. Даже совершенно чужой человек растрогался бы до слез, на нее глядя, так мог ли остаться равнодушным Гэндзи? Белые одежды* подчеркивали яркость лица и черноту длинных тяжелых волос, перевязанных шнурами. Никогда прежде не казалось она ему такой нежной, такой привлекательной. Взяв ее за руку, он говорит:

— О, это невыносимо! Вы сокрушаете мое сердце! — Тут голос его прерывается, и он молча плачет.

Женщина с трудом поднимает глаза, всегда смотревшие так холодно и отчужденно, и ее пристальный взгляд упирается в его лицо. По щекам ее текут слезы, и может ли Гэндзи не испытывать жалости, на нее глядя? Мучительные рыдания вырываются из груди несчастной, и подумав: «Видно, печалится о родителях своих, да и расставаться со мной вдруг стало тяжело», Гэндзи принимается утешать ее:

— Постарайтесь не поддаваться тягостным мыслям. Настоящей опасности все-таки нет. Впрочем, в любом случае мы снова встретимся, вы знаете, что это непременно произойдет. С отцом и матерью вы тоже связаны прочными узами, вы будете уходить из мира и возвращаться в него, но они не порвутся. Даже если вам и предстоит разлука, она не будет долгой...

Но тут послышался нежный голос:

— Ах, не то, все не то... Я так тяжко страдаю, потому и просила прекратить молитвы хотя бы на время. Я вовсе не думала приходить сюда вот так. Но душа, когда снедает ее тоска, видно, и в самом деле покидает тело...

Тоски не снеся,
 Душа моя тело покинула,
 В небе блуждает.
 Останови же ее, свяжи
 Полу сокрытую платья...*



И голос, и поведение больной — все неузнаваемо преобразилось. «Невероятно!» — недоумевал Гэндзи и вдруг понял, что перед ним мясудокоро.

До сих пор он с возмущением отвергал любые слухи, касающиеся этой особы, видя в них нелепые измышления злоречивых людей, но вот получил возможность убедиться, что такое действительно случается в мире, и возникла в его душе неприязнь к ней. Это было так тягостно!

— Вы говорите со мной, но не ведаю я — кто вы. Назовите же свое имя, — просит Гэндзи и лежащая перед ним женщина совершенно уподобляется мясудокоро. Никаких слов неостанет, чтобы выразить то, что он почувствовал! Кроме того, ему было неловко перед сидящими неподалеку дамами.

Услышав, что голоса затихли, и подумав: «Уж не легче ли ей», мать приблизилась с целебным отваром, а дамы приподняли госпожу, и вот тут-то появился на свет младенец. Сердца присутствовавших исполнилось радости безграничной, но перешедшие на посредников злые духи, раздосадованные поражением своим, неистовствовали в тщетной ярости, да и о последе надо было еще позаботиться. В конце концов — и уж не благодаря ли великому множеству свершенных молений — благополучно справились с этим, и скоро настоятель горного монастыря и прочие высокие монахи, удовлетворенно вытирая потные лица, разошлись кто куда. Впервые за эти тревожные дни все облегченно вздохнули, думая: «Ну, теперь-то, что бы ни

случилось...» И хотя в доме продолжали читать молитвы и произносить заклинания, на первое место вышли совершенно новые и весьма приятные заботы, заставившие людей отвлекаться от тревожных мыслей.

В положенные дни от ушедшего на покой государя, от принцев и вельмож — от всех без исключения приходили гонцы с многочисленными роскошными дарами*, и в доме Левого министра царило радостное оживление. А поскольку младенец был к тому же еще и мужского пола, все полагающиеся по этому случаю обряды справлялись с подобающим размахом и пышностью.

Слухи о столь значительном событии не могли оставить мясудокоро равнодушной. «Говорили, что состояние супруги Дайсё вызывает опасения, но вот все окончилось благополучно» — думала она, то и дело возвращаясь мыслями к тому мгновению, когда столь удивительным образом потеряла всякую власть над собой. Ей все время казалось, что одежды ее пропитаны запахом мака*, она мыла голову, меняла платье, но неприятный запах не исчезал. Испытывая отвращение к самой себе, мясудокоро с ужасом думала о том, что станут говорить люди. Однако такую тайну невозможно было кому-то доверить, и она печалилась в одиночестве, постепенно теряя рассудок.

По прошествии некоторого времени Гэндзи удалось обрести душевное равновесие, и только вспоминая непрошенные признания, услышанные им в тот страшный миг, содрогался он от ужаса. Разумеется, он сочувствовал мясудокоро, но боялся, что, увидев ее близко, не сумеет скрыть неприязнь и скорее огорчит ее, чем обрадует. Все это во внимание принимая, Гэндзи не появлялся на Шестой линии и ограничивался короткими посланиями.

Между тем супруга его, изнуренная страданиями, по-прежнему требовала неусыпных забот, ее близкие терзались дурными предчувствиями, и Гэндзи, вполне разделяя их опасения, на время отказался от свиданий со своими возлюбленными.

Чувствуя себя совсем еще слабой, госпожа не могла принимать его в своих покоях. Младенец же был так хорош собой, что, глядя на него, трудно было избавиться от страха за его будущее. Гэндзи опекал сына с величайшей нежностью, и, видя, что сбываются самые заветные его чаяния, министр не скрывал своей радости, которую омрачала лишь тревога за дочь. «Но ведь от такого тяжелого недуга сразу не оправишься», — успокаивал себя он, и, право, можно ли было в такое время предаваться печали?

Глядя на новорожденного, который уже теперь многими чертами своими, особенно красивым разрезом глаз, обнаруживал удивительное сходство с принцем Весенних покоев, Гэндзи ощутил вдруг нестерпимое желание увидеть принца и собрался во Дворец.

— Давно уже не бывал я во Дворце, это меня беспокоит, пожалуй, сегодня я решусь нарушить свое затворничество. О, как хотел бы я побеседовать с вами не через занавес! Вы слишком отделились от меня, — упрекал он супругу.

— И правда, стоит ли заботиться о соблюдении внешней благопристойности? Как бы дурно вы ни чувствовали себя, нельзя все время разговаривать только через занавес, — говорили дамы, устраивая место для Гэндзи поближе к ее ложу. Он вошел и долго беседовал с ней.

Иногда госпожа отвечала еле слышным голосом, и даже это казалось ему чудесным сном, ибо слишком живо было в его памяти то мгновение, когда будто и не принадлежала она уже этому миру. Гэндзи делился с ней воспоминаниями о тех полных тревоги днях, но внезапно перед взором его вновь возникло ее лицо, так страшно изменившееся в тот миг, когда дыхание ее готово было прерваться, послышался неожиданно отчетливо произносящий слова голос, и ужас охватил все его существо.

— О многом хотелось бы мне рассказать вам, но вы еще слишком слабы, — говорит Гэндзи и предлагает ей целебный отвар. Глядя, как заботливо ухаживает он за больной, дамы умиляются: «И где только он научился?»

Госпожа и теперь прекрасна, но так изнурена болезнью, что кажется, вот-вот расстанется с этим миром. Что-то удивительно трогательное видится Гэндзи в ее беспомощности, и сердце его грустно сжимается. Волосы — ни единой пряди растрепанной — волнами струятся по изголовью, поражая редкостной красотой. «Чего же мне в ней недоставало все эти годы?» — недоумевает Гэндзи, внимательно разглядывая супругу.

— Я навещу ушедшего на покой государя и сразу же вернусь. Мне было бы очень приятно видеться с вами вот так, без всяких церемоний, но госпожа Оомия не отходит от вашего ложа и ее присутствие повергает меня в смущение... Постарайтесь же взбодриться и подумайте, не пора ли вам вернуться в нашу старую опочивальню. С вами обращаются как с ребенком, может быть, потому вы и не выздоравливаете.

С этими словами он встает и, облачившись в парадное платье, выходит, а госпожа провожает его более внимательным, чем обычно, взглядом.

Был как раз день Осеннего назначения*, и министр тоже собрался во Дворец. Его сыновья, превознося собственные заслуги и теша себя надеждами, не отходили от отца. Так и отправились все вместе. В доме стало безлюдно и тихо. И тут молодая госпожа внезапно стала снова задыхаться и корчиться в ужасных муках. Не успели послать гонца во Дворец, как дыхание ее оборвалось. Министр и его близкие, ног под собой не чуя, поспешили домой, и, хотя церемония была назначена на вечер, столь непредвиденное обстоятельство разрушило все ожидания. Люди стонали и плакали, но стояла глубокая ночь, и ни настоятеля горного монастыря, ни других монахов призвать было невозможно. Несчастье случилось слишком неожиданно, в тот миг, когда все уже успокоилось, подумав с облегчением: «Ну вот, самое страшное позади», и теперь, не помня себя от горя, домочадцы Левого министра бродили по дому, натакиваясь на вещи.

У ворот толпились гонцы, но принять их было некому: слуги лишь бестолково шумели, а близкие госпожи пребывали в таком отчаянии, что на них страшно было смотреть. Памятуя, что госпожой и прежде не раз овладевал злой дух, они внимательно наблюдали за ней, не притрагиваясь к изголовью дня два или три, но скоро черты ее начали меняться, и, поняв, что это конец, люди предались неизбежной скорби.

Горе Гэндзи усугублялось еще и неким, одному ему известным обстоятельством. Ему казалось, что теперь он сполна осознал, сколь печален удел мира, и слова участия даже от далеко не безразличных ему лиц лишь увеличивали его страдания. Ушедший на покой государь, глубоко опечаленный кончиной молодой госпожи, тоже прислал гонца с соболезнованиями, и эта

величайшая милость была единственной радостью среди печали, но глаза Левого министра не просыхали от слез. Следуя различным советам, испытывали все самые действенные средства: «Не оживет ли?» И, даже заметив первые признаки тления, медлили, надеясь на невозможное, но, увы, все было тщетно, а время шло, и вот — делать нечего — повезли ее в Торибэ, и дорога туда была невыразимо печальна. Со всех сторон стекались люди, желавшие проводить ушедшую, собрались монахи из разных монастырей, возносящие молитвы Будде, на обширном плоскогорье Торибэ не осталось ни клочка свободной земли. Один за другим приходили гонцы: от ушедшего на покой государя, от государыни-супруги, от принца Весенних покоев... Выразить свои соболезнования поспешили и многие другие значительные особы.

Левый же министр и подняться был не в силах:

— Близятся к концу мои годы, и вот дитя мое в полном расцвете молодости опередило меня. О горе!

Тягостно было смотреть, как плакал он, стыдясь своих слез. Величественные погребальные обряды продолжались всю ночь, а в сумеречный предрассветный час, оставив лишь жалкую горстку праха, люди вернулись в столицу. Казалось бы, обычное дело, вряд ли найдется человек, которого миновала бы доля сия, но Гэндзи, не оттого ли, что лишь однажды довелось ему испытать подобное, чувствовал, что сердце его вот-вот разорвется от горя.

Стояли последние дни Восьмой луны, и небо, по которому плыл еще заметный, но тающий с каждым миготом месяц, было исполнено печального очарования. Глядя на Левого министра, словно блуждавшего во мраке отчаяния (3), — увы, могло ли что-нибудь быть естественней? — Гэндзи произнес, устремив взор свой на небо:

— В облаках
Растаяла струйка дыма,
Не различить.
Но все небо теперь
Навевает такую печаль...

Вернувшись в дом Левого министра, он долго не мог заснуть. Вспоминал, какой госпожа была при жизни, и, терзаемый раскаянием, думал: «Ах, как же я был беспечен! Уверял себя, что раньше или позже она сама поймет... О, для чего заставлял я ее страдать из-за пустых прихотей своего легкомысленного сердца? Вот и вышло, что весь век свой прожила она, чуждаясь и стыдясь меня». Но, увы, что толку было думать об этом теперь?

Словно во сне облекся он в серое платье. «А ведь если бы я покинул этот мир первым, ее одежды были бы темнее...» — невольно подумалось ему, и он произнес:

— Обычай велит,
Чтобы светлым было мое
Одеяние скорби.
Но слезы в два омота темных
Превратили мои рукава...

Затем стал он произносить молитвы, и каким же прекрасным было в тот миг его лицо! Когда же, начав вполголоса читать сутру, дошел до слов:

«О великий Фугэн, бодхисаттва Всепроникающей мудрости, в истинном мире достигший истинного просветления...»*, даже самые благоречивые монахи-наставники не смогли бы сравниться с ним. Глядя на младенца, он думал: «Да, “разве б теперь собирали цветы воспоминаний”? (80)» — и роса слез снова увлажняла его рукава. В самом деле, когда б не осталось и этой памяти...

Несчастливая мать в горести сердечной не поднималась с ложа, и страх за ее жизнь заставил снова прибегнуть к молитвам.

Незаметно шли дни, в доме министра постоянно готовились к поминальным службам, а как совсем недавно ни у кого и в мыслях не было ничего подобного, приготовления стали неиссякаемым источником новых печалей.

Даже самое обычное, далекое от совершенства дитя целиком занимает мысли родителей. Тем более естественно горе министра и его супруги. К тому же других дочерей у них не было, что и прежде доставляло им немало огорчений, теперь же они горевали больше, чем если бы драгоценный камень, бережно хранимый в рукаве, нечаянно упав, разбился вдребезги. Господин Дайсё тоже дни и ночи скорбел об ушедшей. Не бывая нигде, даже в доме на Второй линии, он все время свое отдавал ревностным молитвам. К возлюбленным же своим лишь писал, да и то нечасто.

Миясудокоро с Шестой линии под предлогом соблюдения строжайшей чистоты, особенно необходимой теперь, когда жрица находилось в помещении Левой привратной охраны, отказывалась отвечать ему.

У Гэндзи и прежде было немало причин для печали, теперь же жизнь в этом мире представлялось ему тяжким бременем. «Ах, когда б не новые пути (43), я бы стал наконец на путь, давно уже желанный...» — думал он, но тут же возникал перед его мысленным взором образ юной госпожи из Западного флигеля, которая, верно, тосковала теперь в разлуке с ним. Ночью он оставался один, и, хотя неподалеку располагались дамы, чувство одиночества не покидало его. «Есть ведь время в году...» (81) — думал он бессонными ночами и, призвав к себе славящихся красивыми голосами монахов, слушал, как взывали они к будде Амиде, пока не наступал невыразимо печальный рассвет.

Однажды Гэндзи всю ночь лежал без сна на непривычно одиноком ложе и думал вздыхая: «Как же печально стонет ветер поздней осенью! Щемящей тоской полнит он душу...» Когда же наконец рассвело, из тумана, окутавшего сад, возник чей-то слуга и, оставив ветку готовой распусться хризантемы с привязанным к ней листком темно-серой бумаги, удалился.

— Как тонко! — восхитился Гэндзи, глядя на письмо, и по почерку узнал миясудокоро.

«Надеюсь, Вы понимаете, почему я не писала к Вам все это время...

Печальная весть
О том, что ее не стало,
Упала росой...
Как же влажны рукава
У оставшихся позади!

Взглянув на небо, я ощутила, что не в силах сдерживать более своих чувств...»

Письмо было написано изящнее обыкновенного, и Гэндзи почувствовал, что не в силах его отбросить, хотя, казалось бы... «Но, право, как ни в чем не бывало присылать свои соболезнования...» — неприязненно подумал он. Впрочем, порвав с ней теперь, он подал бы новый повод к молве. Это было бы слишком жестоко. Что ни говори, преждевременная кончина его супруги была, скорее всего, predetermined судьбой. Но почему же тогда он видел все так отчетливо, слышал так внятно?.. Ему не удавалось изгладить в своем сердце неприятные впечатления того давнего дня, и не потому ли он не мог заставить себя изменить свое отношение к мясудокоро? Долго медлил он с ответом, оправдывая себя нежеланием нарушать покой проходящей очищение жрицы, но в конце концов, решив, что не ответить было бы просто неучтиво, написал на лиловато-серой бумаге:

«Могу ли я надеяться, что Вы простите мне столь долгое молчание! Все это время я постоянно думал о Вас, но пристало ли мне теперь... Рассчитываю на Вашу снисходительность...

Исчезают одни,
Остаются другие — росинкам
Недолго блистать.
Мимолетен наш мир, и не стоит
Волновать понапрасну сердце...

Постарайтесь же поскорее забыть... У меня есть, что сказать Вам, но, опасаясь, что письмо из дома, объятого скорбью, вряд ли будет уместно теперь...»

В то время мясудокоро жила на Шестой линии. Получив письмо, она украдкой прочла его, и сердце подсказало ей, на что намекал Гэндзи. «Значит, это правда, — в отчаянии думала она. — О злосчастная судьба!» Что скажет ушедший на покой государь? Особая дружба связывала его с принцем Дзэмбо, они были близки друг другу более остальных братьев. И когда принц просил его позаботиться о судьбе жрицы, государь заверил его, что будет опекать ее как родную дочь, и не раз предлагал им обоим оставаться жить во Дворце, на что она, мясудокоро, неизменно отвечала отказом, даже это полагая ниже своего достоинства. Увы, могла ли она вообразить, что позволит себе предаться влечению чувств, недопустимых в ее годы, и лишиться доброго имени? Мысли одна другой тягостнее осаждали ее голову, и она чувствовала себя совсем больной.

Однако же мясудокоро не зря славилась в мире душевной тонкостью и изяществом манер. Даже перебравшись в Священную обитель в лугах, она сумела окружить себя изысканной, полностью отвечающей современным вкусам обстановкой, и самые утонченные придворные считали долгом своим по утрам и вечерам стряхивать росу с травы у ограды. Услыхав о том, Гэндзи не особенно удивился: «Достоинства ее неисчислимы, я уверен, что, несмотря ни на что, буду тосковать о ней, ежели она решится уехать, презрев суету столичной жизни».

Миновали поминальные службы, но Гэндзи остался в доме Левого министра до окончания срока скорби. Сочувствуя другу, влачащему дни в непривычно унылой праздности, частенько заходил сюда Самми-но тюдзэ и, дабы отвлечь Гэндзи от грустных мыслей, рассказывал разные истории, то

поучительные, то немного нескромные. Нередко они забавлялись, вспоминая ту самую Гэн-найси-но сукэ.

— Пожалей же ее, не стоит насмехаться над бедной старушкой, — иногда останавливал друга Гэндзи, хотя и сам не упускал возможности посмеяться. Они поверяли друг другу подробности своих любовных похождений, вспоминали и ту светлую Шестнадцатую ночь, и тот осенний день, и разные другие случаи. И в конце концов, сетуя на безотрадность мира, начинали громко плакать.

Однажды в полный печального очарования сумеречный час, когда сеял мелкий дождик, Самми-но тюдзё, сменив темно-серое платье на более светлое*, пришел к Гэндзи во всем блеске своей яркой, мужественной красоты. Он застал друга у перил возле западной боковой двери, откуда тот смотрел на поблекший от инея сад. Дул неистовый ветер, моросил холодный дождь, но слезы, казалось, были готовы поспорить и с ним.

— Дождем ли, облаком ныне стала она — не знаю*... — словно про себя произносит Гэндзи. Он сидит, подперши рукою щеку, а легкомысленный Самми-но тюдзё, восхищенно разглядывая его, думает: «Будь я женщиной, моя душа непременно осталась бы с ним даже после того, как тело покинуло этот мир». Он устраивается рядом, и Гэндзи, одетый по-домашнему небрежно, лишь поправляет шнурки. Он в чуть более темном, чем у Самми-но тюдзё, летнем носи*, из-под которого виднеется нижнее платье, сшитое из глянцевито-алого шелка. Но и в этом весьма скромном одеянии он хорош так, что, сколько ни гляди, невозможно оторвать глаз.

Самми-но тюдзё тоже устремляет умиленный взгляд на небо:

— Тучи плывут,
На землю роняя уныло
Капли дождя.
Ты ведь там, но к какой стороне
Взор устремлять, не знаю...

Куда исчезла, не ведаем... — словно про себя добавляет он, и Гэндзи отвечает:

— Та, что рядом была,
Стала дождем, но где она —
Не различишь.
Холодная морось сегодня
От зора скрывает небо...

Непритворная тоска звучит в его голосе.

«Право же, странно, — подумал Самми-но тюдзё, — он никогда не выказывал особенно нежных чувств по отношению к супруге своей, за что государь не раз пенял ему. Жалость к Левому министру и некоторые другие обстоятельства, отчасти связанные с родственной близостью, существовавшей между ним и старшей госпожой, не позволяли ему разорвать этот союз, как ни безрадостен он был, и, признаюсь, мне не раз становилось жаль его, но только теперь я понял, что сестра занимала в его сердце особое место и он почитал и любил ее так, как должно почитать и любить супругу». Увы, это открытие лишь умножило горе Самми-но тюдзё, словно померк вдруг свет, все вокруг озарявший, и душу объял беспросветный мрак.

В сухой траве цвели горечавки и гвоздики. Гэндзи попросил, чтобы ему сорвали несколько цветков и после ухода Самми-но тюдзё послал их госпоже Оомия через Сайсё, кормилицу маленького господина:

«У самой ограды
В засохшей траве затерялся.
Цветочек гвоздики,
Его, уходя, оставила
Осень на память нам.

Неужели Вы полагаете, что этот цветок менее ярк?..»

В самом деле, личико невинно улыбающегося младенца поражаало невиданной красотой. И из глаз старой матери не замедлили скатиться слезы, быстрые, как листья дерев, свеваемые порывами ветра...

Стоит взглянуть,
На цветок, затерявшийся
В засохшей траве,
И, кажется, рукава
Вот-вот истлеют от слез. (82)

Томительно-медленно текли часы, и Гэндзи, хотя совсем уже стемнело, решил написать госпоже «Утренний лик», полагая, что именно ее сердце способно откликнуться на печальное очарование этого дня.

Она давно не получала от него писем, что, впрочем, никого не удивляло, ибо их отношения никогда не были особенно короткими. Дамы передали ей письмо, ни словом не упрекнув Гэндзи. На китайской бумаге небесно-голубого цвета было написано:

«Мои рукава
Этой ночью насквозь промокли
От холодной росы.
А ведь так много раз
Осень встречал в печали...

В эту пору «всегда моросит унылый дождь...» (83)

— Какое прекрасное письмо! В нем столько неподдельного чувства. Прав, не ответить просто невозможно, — заявили дамы, а как госпожа и сама была того же мнения, она написала:

«Я хорошо представляю себе, что происходит на Дворцовой горе, но “как передать...” (84)

С тех пор, как узнала,
Что, нас покинув, растаял
Осенний туман,
На дождливое небо глядя,
Всегда вспоминаю тебя...»

Трудно представить себе что-нибудь более изящное, чем это короткое послание, начертанное бледной тушью. Впрочем, не воображение ли Гэндзи наделило его совершенствами, которых оно не имело? Мир устроен так, что любой предмет проигрывает при более близком знакомстве. Возможно,

именно по этой причине Гэндзи всегда влекло к женщинам, которые не спешили отвечать на его чувство. «Можно быть крайне сдержанным во всех проявлениях своих, но тонко чувствовать очарование того или иного мгновения и не упускать случая напомнить об этом, — думал он. — Пожалуй, именно в этом и видится мне залог непреходящего согласия. Когда женщина выставляет напоказ свои чувства, стараясь убедить всех в своей необыкновенной утонченности и заботясь лишь о том впечатлении, которое производит, она, сама того не желая, обнаруживает свои недостатки, которые в противном случае остались бы незамеченными. Таких вряд ли можно счесть образцом для юной госпожи из Западного флигеля».

Он ни на миг не забывал, что его питомица грустит и скучает без него, однако же, расставаясь с ней, никогда не задумывался о том, как относится она к его частым отлучкам, и не мучился угрызениями совести. Она была для него словно дочь, лишенная материнской ласки и предоставленная потому целиком его попечениям.

Когда совсем стемнело, Гэндзи распорядился, чтобы зажгли светильники, и, призвав наиболее достойных дам, принялся беседовать с ними. С одной из них, по прозванию госпожа Тюнагон, была у него прежде тайная связь, но теперь он и не помышлял об этом, хотя, казалось бы...

«Ах, как трогателен он в своей печали!» — думала Тюнагон, глядя на Гэндзи. А тот ласково беседовал с дамами.

— Общее горе сблизило нас, и жаль, что скоро придется расстаться. Так, наша скорбь неизбежна, но немало и других горестей ожидает нас впереди, — говорит он, и дамы плачут.

— О да, эта невыразимо тяжелая утрата повергла во мрак наши души, — отвечает одна из них. — Право, стоит ли говорить об этом? Но как не думать о том времени, когда вы безвозвратно покинете наш дом, и именно это, увы...

Голос ее прерывается, и, тронутый ее словами, Гэндзи тоже не может сдержать слез.

— Безвозвратно? Для чего вы так говорите? Неужели я кажусь вам настолько бездушным? А между тем, проявив должное терпение, вы в конце концов и сами убедитесь в несправедливости своих подозрений. Вот только жизнь так быстротечна... — говорит он, глядя на огонь, и увлажнившиеся глаза его прекрасны. Понимая, что девочка-сирота, любимица ушедшей госпожи, должна чувствовать себя особенно одинокой, Гэндзи обращается к ней:

— А ты, Атэки, положиись теперь на меня. Я о тебе позабочусь.

И девочка горько плачет. Она очень мила в более темном, чем у других, нижнем платье, на которое наброшено черное верхнее, и в хакама цвета засохшей травы.

— Прошу тех, в ком жива память о минувшем, постараться превозмочь уныние и не оставлять своими заботами наше милое дитя. Былые дни канули в прошлое, а если и вы покинете этот дом... — говорит он, снова и снова призывая дам к терпению. Но безутешна их печаль, ибо не могут они не понимать, что теперь он еще реже будет заглядывать сюда.

Приходит Левый министр и без особой торжественности оделяет дам — учитывая положение каждой — дарами: мелкими, не стоящими внимания

безделушками и более значительными вещами, действительно достойными называться памятными.

Не в силах и далее влачить дни в томительном бездействии, Гэндзи отправился навестить ушедшего на покой государя.

Когда карета была готова и собрались передовые, начал моросить, словно проникнув в смысл происходящего, мелкий дождик; тревожно подул, увлекая листья, ветер, и осиротевшие дамы острее прежнего ощутили печаль одиночества, их ненадолго высохшие рукава вновь увлажнились.

— Оттуда я поеду на Вторую линию, где и останусь на ночь, — сказал Гэндзи, и его приближенные, подумав, очевидно: «Что ж, будем ждать там», тоже один за другим покинули дом Левого министра, и, хотя дамы понимали, что расстанутся с Гэндзи не навсегда, глубокое уныние овладело ими. Министр же и супруга его с этим ударом утратили последний остаток сил. Госпоже Оомия Гэндзи прислал письмо следующего содержания:

«Ушедший на покой государь изволит проявлять беспокойство, и сегодня я отправлюсь к нему. Совсем ненадолго покидаю я Вас, но тяжело на сердце, и мысли в смятении; не понимаю, как удалось мне дожить до этого дня! Встреча с Вами скорее умножила бы мою тоску, потому и не зашел я проститься...»

У госпожи в глазах померкло от слез, в глубоком унынии пребывая, не могла она и ответить. Министр же тотчас пришел к Гэндзи. Пораженный глубочайшей горестью, он не отнимал от глаз рукава. На него глядя, печалились и дамы. Гэндзи тоже плакал, сокрушаясь о превратности мира. Искренность его горя никого не оставила равнодушным, но как же прелестно было его заплаканное лицо! После долгого молчания министр говорит:

— Старики склонны лить слезы по любому поводу. У меня же глаза не просыхают и на миг, ибо скорбь моя безутешна. Опасаясь, что люди осудят меня за слабость и малодушие, я не хожу никуда, даже к ушедшему на покой государю не навещаюсь. Надеюсь, вы объясните ему это при случае. О, как тяжело, когда тебя, старика, годы которого близятся к концу, опережает твое собственное дитя.

Изо всех сил старался министр преодолеть волнение, и нельзя было без жалости смотреть на него.

— Всем известно, сколь неисповедимы пути мира, — отвечает Гэндзи, сам то и дело всхлипывая, — и невозможно предугадать, кто останется, а кто уйдет раньше, и все же, теряя близких, каждый раз испытываешь ни с чем не сравнимое потрясение. Разумеется, я расскажу обо всем государю, и он наверняка поймет вас.

— Дождь не перестает, спешите же, пока не стемнело, — торопит его министр.

За занавесями, перегородками, везде, куда может проникнуть взор, сидят, прижавшись друг к другу, дамы в темно- и светло-серых одеяниях, числом около тридцати. Уныло понурившись, они роняют слезы, и сердце Гэндзи печально сжимается.

— Остается здесь существо, которое не можете вы лишить своих попечений, и я утешаюсь, говоря себе: «Все-таки и теперь будет он заходить в наш дом». Но неразумные дамы совсем пали духом, им кажется, что они видят вас сегодня в последний раз, что, уехав, вы позабудете этот старый

приют. Даже вечная разлука с госпожой, пожалуй, печалит их меньше, чем расставание с вами, слишком тяжело сознавать, что бесследно уходят в прошлое годы, когда, хоть и нечасто, выпадало им счастье близко видеть вас. И это неудивительно. О, я не мог не замечать, что в ваших отношениях с супругой не возникло доверительной близости, но тешил себя надеждой, увы, напрасной, что, быть может, когда-нибудь... В самом деле, какой тягостный вечер... — говорит министр и снова плачет.

— О, дамы быстро утешатся! Если раньше я и позволял себе так долго не навещать вас, то только потому, что, так же как и вы, надеялся на будущее, легкомысленно полагая, что когда-нибудь... Теперь же мне не на что надеяться, так стану ли я вами пренебрегать? Впрочем, вы и сами увидите... — говорит Гэндзи и выходит, печально вздыхая, а министр, проводив его, возвращается в покои.

Все здесь, начиная с убранства, осталось таким же, как в прежние дни, но кажется, что перед тобой — пустая скорлупка цикады... Перед занавесом разбросаны принадлежности для письма. Подняв исписанные почерком Гэндзи листки бумаги, министр разглядывает их, отирая глаза, и нетрудно предположить, что некоторые молодые дамы, на него глядя, улыбаются сквозь слезы. Полные очарования строки из старинных стихов, китайских и японских, небрежно начертанные разными знаками — и скорописными, и уставными... «Какой прекрасный почерк!» — возведя глаза к небу, восхищается министр. Может ли он не жалеть, что отныне Гэндзи станет ему чужим?

«Неуютен расшитый широкий покров, кто с властителем делит его?» — написано на листке бумаги, а рядом:

«К ушедшей
Сердце в тоске стремится.
Это ложе с тобой
Мы делили, и так нелегко
С ним теперь расставаться...»

Возле слов «как приникший к ним иней тяжел...»* начертано:

«Тебя больше нет,
Пыль густая покрыла ложе,
Сколько ночей
С лепестков “вечного лета”
Буду стряхивать я росу?» (12)

Среди бумаг — засохшие цветы, видно, те самые. Показав их супруге, министр говорит:

— Воистину, велико наше горе, но я нахожу утешение в мысли, что мир знает немало подобных примеров. Как ни горько сознавать, что, будучи связанной с нами столь ненадолго, она причинила нам столько страданий, я все же стараюсь уверить себя, что все это было предопределено еще в предыдущей жизни. Но влекутся дни, и тоска все нестерпимее, к тому же и господин Дайсэ станет нам отныне чужим. Право, это больше, чем способен вынести человек. Прежде мы горевали, когда он приходил слишком редко, печалились, лишь день или два его не видя, так как же нам жить теперь, когда его сияние больше не будет озарять наш дом?

Голос больше не повинуется ему, и он плачет, а сидящие перед ним пожилые прислужницы содрогаются от рыданий, на него глядя. Право, какой унылый, холодный вечер! Молодые дамы, сходясь там и здесь, поверяют друг другу свои печали.

— Господин изволит полагать, что мы должны находить утешение в заботах о младенце, но ведь он так еще мал, этот прощальный дар госпожи... — сетуют они, и некоторые решают: «Уедем ненадолго, а потом снова вернемся». Новые разлуки — новые испытания для чувствительного сердца.

Когда Гэндзи прибыл во дворец ушедшего на покой государя, тот не мог скрыть волнения: «Ах, как сильно он исхудал, сказались, видно, дни, проведенные в постах и молитвах». Тут же распорядился, чтоб принесли еды, хлопотал, выказывая самое трогательное участие. Затем они перешли в покои государыни, и дамы не могли сдержать восхищения, глядя на Гэндзи. А сама государыня передала через Омёбу:

«Даже я не в силах избыть тоски... Дни текут и текут... Представляю, как, должно быть, тяжело вам».

«О, я всегда знал, как непрочен мир, но лишь теперь убедился в этом на собственном опыте. Жизнь с ее непрерывными муками сделалась для меня противным бременем, и, только черпая утешение в ваших посланиях...» — ответил ей Гэндзи.

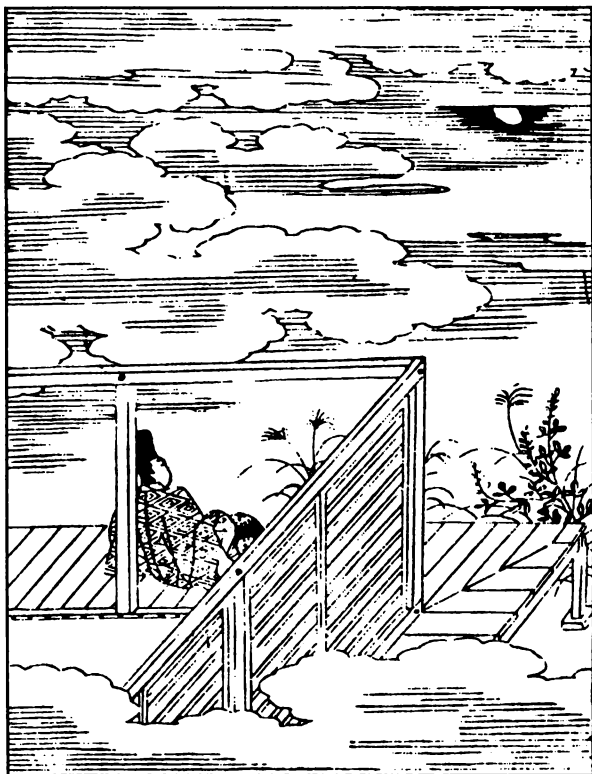
О да, сегодня у него были новые причины для уныния, и у всякого, кто смотрел на него, сердце разрывалось от жалости.

Верхнее платье без узоров, из-под которого выглядывало нижнее серое со шлейфом, закрученная лента на шапке — в этом одеянии скорби он казался пленительнее, чем в любом роскошном наряде. Поздней ночью Гэндзи уехал, выразив свое сожаление и тревогу по поводу того, что давно уже не навещал принца Весенних покоев.

К его возвращению дом на Второй линии был вычищен и доведен до полного блеска, приближенные — и мужчины и женщины — собрались, дабы встретить своего господина. Прислужницы высших рангов, приехав сюда ради такого случая, кичились своими нарядами, и, глядя на них, Гэндзи с щемящей жалостью в сердце вспоминал уныло поникшие фигуры обитательниц дома Левого министра. Переодевшись, он прошел в Западный флигель.

Подошла пора Смены одежд*, и убранство покоев сверкало безукоризненной чистотой, нигде не было ни пятнышка. Изящно одетые молодые дамы и девочки-служанки радовали взор своей миловидностью. «Чувствуется, что Сёнагон позаботилась обо всем, лучшего и желать нечего», — думал Гэндзи, с удовольствием глядя вокруг. Юная госпожа, нарядно одетая, выглядела прекрасно.

— Мы долго не виделись, за это время вы стали совсем взрослой, — говорит Гэндзи, приподнимая край низкого занавеса, чтобы взглянуть на свою воспитанницу, а она смущенно отворачивается. Красота ее безупречна! Глядя на ее освещенный огнем светильника профиль, ниспадающие волосы, Гэндзи чувствует, как несказанная радость овладевает его сердцем: «Она становится все больше и больше похожей на ту, что владеет моими думами». Присев рядом, он рассказывает девочке о том, что произошло за дни их разлуки.



— Мне многое хотелось бы поведать вам, но вряд ли это благоприятно теперь, поэтому я отдохну немного в своих покоях, а потом приду опять. Теперь мы будем видеться часто, так часто, что боюсь, как бы не наскучило вам мое присутствие... — говорит он, и Сёнагон радуется, хотя и не может окончательно отрешиться от своих сомнений.

«Тайные отношения связывают его со многими знатными особами, — думает она. — Как бы на смену ушедшей не пришла другая, обладающая столь же тяжелым нравом». Право, ей не следовало быть такой недоверчивой!

Перейдя в свои покои, Гэндзи лег отдохнуть, велел даме по прозвищу госпожа Тюдзё растереть ему ноги.

Наутро он отослал письмо к своему маленькому сыну. Ответ был весьма трогателен, и безысходная печаль сжала сердце Гэндзи. Отдавшись глубочайшей задумчивости, коротал он дни, но ни разу не возникало у него желания навестить кого-нибудь из прежних возлюбленных, даже ни к чему не обязывающие тайные встречи казались ему теперь обременительными.

Юная госпожа между тем, повзрослев, стала еще прекраснее, всеми возможными совершенствами, приличными ее полу, обладала она, и вот, рассудив, что возраст уже не помеха, Гэндзи начал от случая к случаю намекать ей на свои чувства, но она, судя по всему, ничего не понимала. По-прежнему праздный, проводил он дни в ее покоях, играя с ней в «го» или в «отгадывание ключа»*. Обаятельная и сметливая от природы, юная госпожа умела

придавать очарование даже самым пустяковым забавам, и Гэндзи, который до сих пор, ни о чем другом не помышляя, лишь любовался ее детской прелестью, почувствовал, что не в силах больше сдерживаться, и как ни жаль ее было...

Кто знает, что произошло? Отношения меж ними были таковы, что никто и не заметил бы перемены. Но наступило утро, когда господин поднялся рано, а юная госпожа все не вставала. «Что такое с ней приключилось? Уж не заболела ли?» — тревожились дамы, на нее глядя, а Гэндзи, удаляясь в свои покои, подsunул под полог тушечницу. Когда рядом никого не было, госпожа с трудом приподняла голову: у изголовья лежал свернутый листок бумаги. Равнодушно она развернула его:

«Сколько ночей
Мы с тобою делили ложе,
И разве не странно,
Что одежды были всегда
Меж нами преградой?» —

начертано там небрежным почерком. Никогда прежде она не подозревала в нем подобных желаний и теперь недоумевала: «Как могла я безоглядно доверять столь бесчувственному человеку?»

Днем Гэндзи снова пришел в ее покои:

— Говорят, вам неможется? Но что с вами? Вы и в «го» не хотите сегодня играть. Мне будет скучно, — пеняет он ей, заглядывая за занавеси: юная госпожа лежит, набросив на голову платье. Дамы почтительно удаляются, и он подходит к ее ложу.

— Откуда такая неприязнь ко мне? Вот уж не ожидал, что вы можете быть так жестоки! Дамам наверняка покажется это странным.

Откинув платье, он видит, что она лежит вся в поту, а волосы на висках совершенно мокрые.

— О, как дурно! В такой день не к добру... — говорит Гэндзи и пытается ее утешить, но, видно, по-настоящему рассердившись на него, она не отвечает.

— Хорошо, раз так, больше вы меня не увидите. Как не стыдно, — сердится Гэндзи, потом открывает тушечницу, но там пусто. «Какое дитя!» — умиляется он и целый день проводит у изголовья юной госпожи, пытаясь ее развеселить: но она все хмурится, отчего кажется ему еще милее.

Вечером приносят лепешки-моти по случаю дня Свиньи*. Поскольку пора скорби еще не миновала, никаких пышных церемоний в тот день не устраивали, только во флигель были доставлены изящные кипарисовые корбки, наполненные разнообразными лепешками. Увидав их, Гэндзи прошел в южную часть дома и кликнул Корэмицу.

— Распорядись, чтобы такие же моти, только числом поменьше, принесли завтра к вечеру. Сегодня день не совсем благоприятный, — улыбаясь, говорит он, и сметливый Корэмицу тут же догадывается, в чем дело*. Не требуя дополнительных пояснений, он лишь замечает с видом весьма важным:

— О вы правы, если речь идет о сердечной привязанности, должно заранее выбрать день. Сколько же моти прикажете подать в честь дня Крысы*?

— Одной трети* этих будет достаточно, — отвечает Гэндзи, и Корэмицу, вполне удовлетворенный, выходит.

«Сразу видно, что опытен в таких делах», — думает Гэндзи.

Никому ничего не говоря, Корэмицу чуть ли не собственноручно приготавливал моти в своем доме.

Гэндзи так и не сумел развеселить госпожу, и у него возникло довольно странное, но не лишенное приятности ощущение, что он только что похитил эту юную особу и привез к себе в дом.

«Все эти годы я неизменно питал к ней самые нежные чувства, — думал он, — но и они ничто по сравнению с тем, что я испытываю теперь. Право, непостижимо человеческое сердце! Мне кажется, я и на одну ночь не смогу с ней расстаться».

Глубокой ночью были тайно доставлены в дом заказанные им моти.

«Присутствие Сэнагон, женщины уже немолодой, может смутить госпожу, — подумал предусмотрительный Корэмицу и, поразмыслив, вызвал дочь Сэнагон, девушку по прозвищу Бэн.

— Потихоньку отнеси госпоже вот это, — сказал он, пододвигая к ней коробку, в каких обычно держат курильницы.

— Это праздничные моти, поставь их поближе к изголовью. Да смотри, не заблудись по дороге, — пошутил Корэмицу, а Бэн, не совсем поняв, что он имеет в виду, ответила:

— Блудить? Да я никогда... Как вы могли подумать? — И взяла коробку.

— Такие слова не к добру сегодня, — предостерег ее Корэмицу, — лучше от них воздерживаться.

Бэн была слишком юна, чтобы проникнуть в смысл происходящего, однако же послушно пошла и подсунула коробку под занавес со стороны изголовья. А о дальнейшем позаботился, видно, сам Гэндзи. Дамам, разумеется, ничего не было известно, только самые близкие из них могли кое о чем догадаться, заметив, что на следующее утро Гэндзи вынес из опочивальни госпожи коробку для моти.

И блюда, и прочая утварь — когда только Корэмицу успел все приготовить? — были великолепны, особенным изяществом отличался столик на ножках-цветках, а уж о самих моти и говорить нечего — тщательно продуманные по форме, они едва ли не превосходили все остальное. Право, смела ли Сэнагон рассчитывать на такое? Она была тронута до слез, видя столь бесспорное свидетельство благосклонности Гэндзи, не упустившего из виду никакой мелочи.

— Жаль все же, что он потихоньку не поручил этого нам, — перешептывались дамы. — Что мог подумать Корэмицу?

Теперь, даже ненадолго отлучаясь во Дворец или к ушедшему на покой государю, Гэндзи не находил себе места от тревоги, милый образ неотступно стоял перед его мысленным взором, и, изнывая от тоски, он удивлялся самому себе: «Право, непостижимо человеческое сердце!»

От женщин, которых некогда он посещал, беспрестанно приходили полные упреков письма, многих он искренне жалел, но новая подруга по изголовью была столь трогательна, что Гэндзи и помыслить не мог о других. «Приведу ли ночь я без тебя?» (85) — повторял он и не посещал никого, оправдываясь нездоровьем.

«Пройдет время, мир перестанет казаться мне столь унылым, тогда я и навещу Вас», — отвечал он на все послания.

Нынешняя Государыня-мать была крайне встревожена поведением особы из покоев Высочайшего ларца, которой думы по-прежнему стремились лишь к Дайсё.

— Стоит ли огорчаться? — говорил Правый министр. — Теперь, когда нет больше той, что занимала в его сердце особое место...

Но Государыня, так и не сумевшая преодолеть свою ненависть к Гэндзи, стояла на своем:

— По-моему, будет гораздо лучше, если сестра поступит на службу в высочайшие покои и через некоторое время займет там достойное положение.

Гэндзи же питал к дочери правого министра нежную привязанность, и досадно было ему терять ее, однако в настоящее время все его помышления сосредоточены были на другой. «Для чего? Век наш так краток. Отдам свое сердце ей одной и постараюсь не навлекать на себя женского гнева», — думал он, как видно, наученный горьким опытом.

Как не велико было его сочувствие той особе с Шестой линии, Гэндзи, судя по всему, не решался делать ее истинной своей опорой. Вот если бы можно было все оставить по-старому, он с удовольствием побеседовал бы с нею при случае... Да, несмотря ни на что, Гэндзи не переставал думать и о ней.

До сих пор никто не знал, что за особа живет в доме на Второй линии, но теперь, решив, что больше так продолжаться не может и следует поставить в известность хотя бы ее отца, Гэндзи, не придавая делу широкой огласки, с необычайным тщанием начал готовиться к церемонии Надевания мо. Но ничто, никакие знаки внимания не радовали юную госпожу. «Как глупо, что я жила все это время, доверяя ему во всем, да еще так льнула к нему...» — сетовала она и прятала глаза. Даже шутки Гэндзи лишь смущали и тяготили ее теперь, она все больше замыкалась в себе и за сравнительно короткий срок так изменилась, что ее трудно было узнать. Глядя на нее, Гэндзи и умилялся, и печалился одновременно.

— Зря, видно, я заботился о вас все эти годы. Ненамного стали мы ближе (86), как это горько, — упрекал он ее.

А тут и год сменился новым.

В первый день года Гэндзи, как всегда, отправился с поздравлениями к ушедшему на покой государю, после чего посетил Дворец и особо Весенние покои. Оттуда он поехал к Левому министру.

Министр же — даром, что новый год наступил, — говорил только о прошлом и целыми днями сидел, погруженный в мрачное уныние. Когда неожиданно приехал Гэндзи, он постарался взять себя в руки, но, увы, это оказалось ему не по силам. Он все глядел и не мог наглядеться на Гэндзи, в красоте которого — не потому ли, что тот повзрослел на год, — появилось что-то величественное.

Расставшись с министром, Гэндзи прошел в покои ушедшей, и собравшиеся там дамы, увидев дорогого гостя, тоже не могли сдержать слез.

Гэндзи зашел взглянуть и на маленького сына и обнаружил, что тот заметно подрос и его улыбающееся личико стало еще милостивее. Разрезом глаз, очертаниями рта мальчик необыкновенно напоминал принца Весенних покоев, и, глядя на него, Гэндзи невольно подумал: «Всякий, кто увидит его, не преминет осудить меня».

Убранство покоев совсем не изменилось, на вешалке, как и прежде, висело его парадное платье, но — оттого ли, что не было рядом женского, — оно казалось унылым, поблекшим...

Пришли с письмом от госпожи Оомия:

«Сегодня я особенно старалась обрести присутствие духа и надеялась, что Ваш приезд... Но, увы, напротив...

Платье, как всегда в эти дни, сшитое мною для Вас, вряд ли придется Вам по вкусу. В глазах моих померкло от слез, и я не уверена, что мне удалось удачно подобрать оттенки... Оно недостойно Вас, но прошу, наденьте его хотя бы сегодня».

Вместе с письмом принесли праздничный наряд, столь заботливо приготовленный старой госпожой. Нижнее платье, в которое она просила его облачиться, поразило Гэндзи необыкновенно тонким сочетанием красок и редкостным своеобразием тканого узора. Он сразу же надел его, подумав: «Могу ли я не оправдать ее ожиданий? Не приди я сегодня, каким ударом это было бы для нее». И сердце его мучительно сжалось.

А вот что он ответил:

«Я поспешил сюда, желая, чтобы Вы увидели сами, настала иль нет весна, но, увы... Слишком многое всколыхнулось в памяти, и не могу вымолвить ни слова.

Снова пришел
Этот день, и я надеваю
Новое платье,
Вот только старые слезы,
Сегодня льются из глаз...

Не в силах я справиться с тоской...»

А вот что написала ему она:

«Так, Новый год
Пришел, но с ним не считаясь,
Старые слезы
Как и прежде струятся
Из глаз померкших моих...»

Да, безутешна была их печаль.





СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО САКАКИ

Основные персонажи

Дайсё (Гэндзи), 23–25 лет

Жрица Исэ (Акиконому), 14–16 лет — дочь Рокудзё-но мясудокоро и принца Дзэмбо

Мясудокоро, дама с Шестой линии (Рокудзё-но мясудокоро), 30–32 года, тайная возлюбленная Гэндзи

Ушедший на покой государь (император Кирицубо) — отец Гэндзи

Нынешний государь (император Судзаку) — сын императора Кирицубо и Кокидэн

Государыня-супруга (Фудзицубо), 28–30 лет — наложница императора Кирицубо, принцесса из павильона Глицинии

Принц Весенних покоев (будущий император Рэйдзэй) — сын Фудзицубо

Государыня-мать (Кокидэн) — мать императора Судзаку, бывшая наложница императора Кирицубо

Правый министр — отец Кокидэн и Обородзукиё

Принц Хёбукё — отец Мурасаки

Омёбу — прислужница Фудзицубо

Хранительница Высочайшего ларца, затем — Найси-но ками (Обородзукиё) — дочь Правого министра, сестра Кокидэн, тайная возлюбленная Гэндзи

Левый министр — тесть Гэндзи

Госпожа из Западного флигеля (Мурасаки), 15–17 лет — вторая супруга Гэндзи

Сёнагон — кормилица Мурасаки

Жрица Камо (Третья принцесса) — дочь императора Кирицубо и Кокидэн

Жрица Камо (Асагао) — дочь принца Момодзона

Особа из дворца Дзёкёдэн (наложница Дзёкёдэн) — дочь Правого министра, наложница императора Судзаку

То-но сёсё — брат наложницы Дзёкёдэн

Бэн — прислужница Фудзицубо

То-но бэн — племянник Государыни-матери Кокидэн

Самми-но тюдзё (То-но тюдзё) — сын Левого министра, брат умершей супруги Гэндзи, Аои

Принц Соти (Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

Монах Рисси (Уринъин-но рисси) — старший брат наложницы Кирицубо, дядя Гэндзи

ПРИБЛИЖАЛСЯ день отправления жрицы*, и все большее уныние овладевало сердцем Рокудзё-но мясудокоро. После того как не стало дочери Левого министра, которая, столь значительное положение занимая, была для нее постоянным источником волнений, в мире начали поговаривать: «Кто знает, быть может...» Сердца обитателей дома на Шестой линии преисполнились надежды, но, увы... Дайсё совсем перестал бывать там, и, видя, как он переменялся, женщина поняла: подтвердились худшие ее подозрения, произошло что-то и в самом деле ужасное, что окончательно отвратило его от нее. И, отбросив сомнения, она решительно устремилась в путь.

Никогда прежде жрица не отправлялась в Исэ в сопровождении матери, но, оправдывая себя тем, что столь юную особу нельзя оставлять без присмотра, мясудокоро все же решила покинуть этот безрадостный мир. Узнав о ее намерении, господин Дайсё, несмотря ни на что, опечалился чрезвычайно, и от него стали приходиться письма весьма трогательного содержания. Однако она и помыслить не могла о том, чтобы снова встретиться с ним. Разумеется, ей не хотелось, чтобы он укрепился в мысли о ее нечувствительности, но свидание с ним неминуемо увеличило бы смятение, с недавних пор воцарившееся в ее душе, а потому, говоря себе: «Ни к чему это», она неизменно отвечала отказом.

Иногда мясудокоро ненадолго возвращалась в свое прежнее жилище, но окружала это такой тайной, что господин Дайсё и не ведал о том. В нынешнюю же обитель нельзя было приезжать запросто, руководствуясь лишь собственным желанием, и, не имея средства увидеться с ней, Гэндзи по-прежнему пребывал в тревоге, а дни и луны все дальше и дальше уносили их друг от друга.

А тут еще и ушедший на покой государь — нельзя сказать, чтобы открылась у него какая-то опасная болезнь, нет, но временами мучили его непонятные, неопределенные боли, и сердце Гэндзи не знало покоя. Однако ему была тяжела мысль, что мясудокоро уедет, затаив в душе обиду, да и не хотелось подавать повод к молве о себе. Потому-то он и отправился однажды в Священную обитель в лугах.

Стоял Седьмой день Девятой луны, не сегодня завтра жрица должна была выехать в Исэ, и мясудокоро, немало забот имея, пребывала в постоянном волнении, но поскольку от Гэндзи одно за другим приносили письма: «О, хотя бы на миг!», то она, как ни велики были ее сомнения, все же, не желая прослыть затворницей, решила тайком принять его и побеседовать с ним через ширму.

Широкое поле, представшее взору Гэндзи, было исполнено печального очарования. Осенние цветы увядали, в зарослях поблекшей травы уныло звенели насекомые. В соснах пел ветер, иногда принося обрывки какой-то прекрасной мелодии.

Не желая привлекать к себе внимание, Гэндзи выехал, взяв с собой лишь самых преданных передовых числом не более десяти, спутники его были облачены в нарочито скромные платья, но тщательно продуманный наряд самого Гэндзи поражал великолепием, и тонкие ценители, которых немало было в его свите, не могли оторвать восхищенных взоров от его изящной фигуры, особенно прекрасной на фоне живописных окрестностей. А Гэндзи, глядя вокруг, корил себя: «О, для чего я не приезжал сюда раньше?»

Весьма ненадежный на вид тростниковый плетень окружал разбросанные там и сям крытые тесом хижины, непрочные, как всякое временное пристанище. Храмовые ворота «тории» из невыделанного дерева своим неожиданно торжественным видом повергали в смущение. Туда-сюда сновали служители, о чем-то переговариваясь, покашливая. Все это было внове для Гэндзи. В хижине «хранителей огня»* что-то слабо светилось, там было безлюдно и тихо. Гэндзи представил себе, сколько долгих дней и лун провела здесь эта снедаемая душевной болью женщина, и сердце его защемило от жалости.

Укрывшись в подходящем месте возле Северного флигеля, Гэндзи послал госпоже письмо, извещая о своем прибытии. Тотчас смолкла музыка, и теперь до слуха его доносился лишь пленительный шелест платьев. Судя по всему, мясудокоро намеревалась избежать встречи с ним и ограничиться беседой через посредников. Немало раздосадованный этим, Гэндзи заявил:

— Вы не можете не знать, что мое нынешнее положение лишает меня возможности выезжать тайно. Так стоит ли держать меня за вервием запрета? Я приехал сюда в надежде излить перед вами все, что накопилось в моем сердце за дни нашей разлуки.

Его поддержали и дамы:

— Право, это недопустимо! Нельзя заставлять столь важную особу испытывать такие неудобства! Да неужели вам не жаль его?

«Ах, что же делать? — задумалась мясудокоро. — Не могу же я выйти к нему! Подобное легкомыслие не к лицу женщине моих лет, к тому же вокруг немало чужих глаз, да и неизвестно еще, как отнесется к этому жрица...» Но как ни пугала ее мысль о встрече с Гэндзи, открыто пренебречь им тоже было невозможно, и она печально вздыхала, не зная, на что решиться. Но вот до слуха Гэндзи донесся восхитительный шелест платья, предвещающий ее приближение. «Позволят ли мне хотя бы постоять на галерее?» — спросил он, поднимаясь.

На небо выплыл ясный месяц, и озаренные его светом черты Гэндзи стали еще прекраснее. Так, кто в целом мире мог с ним сравниться? Не решаясь приступить к рассказу о том, что произошло за эти долгие луны, Гэндзи, подсунув под занавеси принесенную с собой ветку священного дерева сакаки, сказал:

— Ведомый нетускнеющим цветом этих листьев (87), преступил я священную ограду (88)... Но, увы, ваша суровость...

— У священной ограды
Не растет криптомерия (89), что же
Привело тебя к нам?
Не ошибся ли ты, сломав
Ветку священного дерева?.. —

отвечает она, а он:

— Подумав, что здесь
Обитель священной девы,
Я замедлил свой шаг
И сорвал эту ветку, влекомый
Ароматом чудесной листвы (90).

В подобном месте трудно не испытывать скованности, но Гэндзи все же сумел устроиться так, что голова и плечи его оказались за шторой. В те времена, когда ничто не мешало ему навещать мясудокоро, когда так стремилось к нему ее сердце, он оставался невозмутимым и, уверенный в себе, не часто баловал ее своим вниманием. А после того случая, который сделал столь страшное впечатление на его душу, Гэндзи вовсе от нее отдалился. Однако же, встретившись с ней теперь, после долгой разлуки, он невольно вспомнил о былых днях, и неизъяснимая печаль сжала сердце. Тягостные мысли о прошедшем и о грядущем повергли чувства его в смятение, и он заплакал. Женщина же сначала крепилась: «Не увидит он моих слез!», но так и не сумела сдержаться. Глядя на нее с искренним сожалением, Гэндзи принялся уговаривать ее переменить решение.

Тем временем месяц скрылся за краем гор, и, может быть, потому небо стало еще прекраснее. Устремив на него свой взор, Гэндзи открывал мясудокоро чувства, его тревожившие, и горечь, скопившаяся в ее душе, постепенно исчезала. За последние дни она смирилась с необходимостью навсегда расстаться с Гэндзи, и все же стоило увидеть его, как сердце — но разве не знала она об этом заранее? — дрогнуло, и от прежней решимости не осталось и следа.

По саду бродили молодые придворные, трудно было расстаться с местом, которого прекраснее и вообразить невозможно...

Но разве смогу я пересказать, о чем беседовали эти двое, сполна издававшие все горести страсти?

Светящееся небо словно нарочно было создано ради такого случая.

В предутренний час,
В час разлуки, всегда обильно
Выпадает роса.
Но прежде таким печальным
Не бывало осеннее небо...*

Взяв ее руку в свои, Гэндзи долго сидел, оттягивая миг расставания, нежные черты его казались нежнее обычного. Дул холодный ветер; тоскливо, словно понимая, что происходит, звенели сверчки. Право, и тому, чью душу не омрачает никакая печаль, стало бы грустно, а что говорить о Гэндзи и мясудокоро? Их чувства были в смятении, и могли ли они не излиться в словах?..

Осень всегда
В сердце печаль рождает,
Так не множьте ее
Стрекотаньем своим, хоть вы
Сверчки, «жадущие в соснах»...

На многое мог бы Гэндзи посетовать, но, увы, что толку? Остаться доле было неловко, и он уехал по дороге, покрытой густой росой.

Миясудокоро тоже вздыхала, опечаленная разлукой, мучительные сомнения снова раздирали ей душу. Лицо гостя, мельком увиденное в лунном сиянии, аромат одежд, сохранившийся после его ухода, воспламенили воображение молодых дам, и они наперебой восхваляли Гэндзи — о, ради него они ни перед чем бы не остановились.

— Какой бы путь ни лежал впереди, но расстаться с ним, пренебречь такой красотой... Мыслимо ли это? — И, ничего не понимая, они заливались слезами.

Более нежное, чем обыкновенно, послание Гэндзи снова поколебало решимость миясудокоро; возможно, она и уступила бы, но, увы, слишком поздно...

Гэндзи же, судя по всему, и не в таких обстоятельствах умел слова свои подчинять мимолетному чувству, а эта женщина была ему дороже многих, так мог ли он смириться, узнав о ее решении покинуть его?

Он прислал отъезжающим все необходимое: дорожное платье, уборы для дам, великолепную утварь, но миясудокоро равнодушно взирала на его дары. Размышляя о горестной судьбе своей, об окончательно опороченном имени, она, словно впервые осознав, что скоро покинет столицу, денно и ночью кручинилась.

Лишь юная жрица в простоте душевной радовалась тому, что после стольких отсрочек был, наконец, назначен день отъезда. Между тем в мире наверняка — кто осуждая, кто сострадая — поговаривали, что такого, мол, еще не бывало. Как, наверное, спокойно живет тем, кто не привлекает к себе взыскательных взоров! Люди же, занимающие видное положение в мире, не могут и шагу ступить свободно.

На Шестнадцатый день было назначено Священное омовение на реке Кацура*. Никогда еще эта церемония не проходила с таким блеском. Провожжающие на Длинном пути* и прочие спутники жрицы были избраны из самых родовитых семейств, пользующихся особым влиянием в мире. Видимо, о многом изволил позаботиться и ушедший на покой государь.

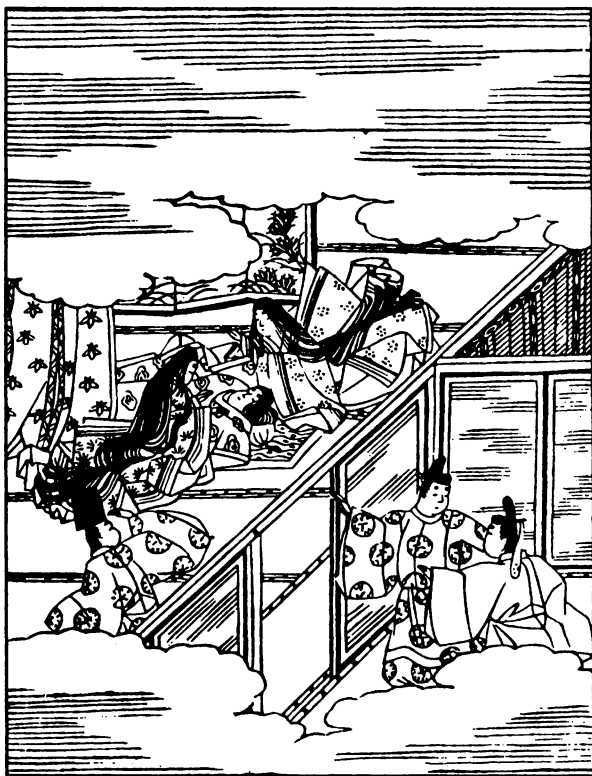
Лишь тронулись в путь, принесли письмо от господина Дайсё с обычными бесконечными сожалениями о разлуке...

«Особе, чье положение слишком высоко, чтобы осквернять ее слух недостойными речами», — было написано на листке бумаги, привязанном к пучку священных волокон*:

«Грохочущий бог... (91)

О, светлые боги,
Охраняющие пределы
Восьми островов*,
Коли вы милосердны, скажите,
Пора ли нам расставаться?

Сколько ни думаю, не могу примириться с преждевременной разлукой...»



Несмотря на то что письмо пришло в самое хлопотливое время, с ответом не медлили. За жрицу написала ее главная дама:

«Коль небесным богам
Решать — пора ли расторгнуть
Сердечный союз,
Пусть прежде они рассудят,
Правдивы ли речи твои?».

Господин Дайсё собрался было поехать во Дворец, дабы посмотреть на церемонию Прощания*, но потом передумал: неприлично провожать особу, его отвергшую, и, оставшись дома, провел этот день в унылой праздности.

Улыбаясь, прочел он написанный совсем по-взрослому ответ жрицы, и сердце его дрогнуло:

«Кажется, она куда утонченнее, чем бывают в ее возрасте...»

Необычность и недоступность женщины всегда делали ее в его глазах особенно привлекательной. Вот и сейчас он подумал: «Досадно, что я не видел ее в малолетстве, когда это не представляло никакой трудности. Впрочем, мир столь изменчив, возможно, нам еще придется встретиться...»

Поскольку и мать, и дочь славились особой изысканностью вкуса и благородством, желающих посмотреть на церемонию Прощания оказалось несчетное множество. В стражу Обезьяны жрица со свитой вошла во Дво-

рец. Занимая свое место в паланкине, миясудокоро думала о том, как все изменилось с той поры, когда она, не ведая забот, в холе и неге жила в доме отца своего, министра, столь большие надежды возлагавшего на ее будущее. Она смотрела вокруг, и грудь ее сжималась мучительной, неизъяснимой тоской. Шестнадцати лет вошла она в покои принца Дзэмбо, а двадцати лишилась его. И вот на тридцатом году жизни она снова увидела Девятивратную обитель.

Думы о прошлом
 Стараюсь прогнать, не желая
 Омрачать этот день,
 Но все равно в моем сердце
 Живет тайная грусть...

Жрице исполнилось четырнадцать лет. Она всегда была хороша собою, а сегодня мать уделила особое внимание ее наряду, и красота ее повергала собравшихся в благоговейный трепет. Даже Государь был растроган и, украшая ее прическу прощальным гребнем, плакал от умиления. Возле зданий Восьми ведомств, ожидая выезда, выстроились в ряд кареты свиты: сквозь прорези штор виднелись концы рукавов самых удивительных, изысканнейших расцветок, и стоит ли говорить о том, что многие из придворных имели свои собственные причины для печали?

Выехали уже в сумерках, а когда со Второй линии свернули на большую дорогу Тоин, невольно оказались перед домом Дайсё, и он, растрогавшись, послал им вослед письмо, привязав его к ветке дерева сакаки:

«Покидая меня,
 Отправляешься в дальний путь...
 Но неужели
 Волны реки Судзука*
 Не замочат твоих рукавов?»

Было уже совсем темно, да и суматоха царила изрядная, поэтому ответили ему только на следующий день, с другой стороны заставы*:

«Промокнут иль нет
 Мои рукава от волн
 Реки Судзука —
 Разве до самого Исэ
 Кого-нибудь это взволнует?..»

Краткое, торопливое письмо, но какой изящный, тонкий почерк!

«Чуть больше благородства, и ей бы не было равных...» — подумал Гэндзи.

Упал густой туман и, задумчиво глядя на светлеющее небо, Гэндзи произнес словно про себя:

«Устремляю свой взор
 В даль, где она сокрылась.
 Хоть в этом году,
 Осень, не прячь в тумане
 Вершину горы Встреч...»

Не заходя даже в Западный флигель, он провел ночь в тягостных раздумьях, но можно ли в том кого-то винить? Впрочем, еще тяжелее было той, над которой нависло небо странствий.

Между тем состояние ушедшего на покой государя к началу Десятой луны значительно ухудшилось. В мире не было никого, кто не жалел бы об этом. Государь, опечаленный не менее других, изволил его посетить.

Превозмогая слабость, ушедший на покой государь снова и снова просил сына позаботиться о принце Весенних покоев, не забыл он и о господине Дайсё.

— Пусть все останется так же, как было в мое время, — говорил он, — в большом и в малом старайтесь прибегать к его советам. Я уверен, что, несмотря на молодость, Дайсё можно доверить любое государственное дело. Этот человек от рождения обладает всеми достоинствами, необходимыми для того, чтобы поддерживать порядок в мире. Опасаясь неблагоприятной молвы, я не сделал его принцем, дабы в качестве обычного подданного он смог стать надежным попечителем высочайшего семейства. Постарайтесь же выполнить мою последнюю волю.

Много и других трогательных напутствий услышал от отца Государь, но не женское это дело — вникать в подобные тонкости, поверьте, я чувствую себя крайне неловко уже оттого, что вообще решилась заговорить об этом.

Чрезвычайно опечаленный Государь снова и снова заверял отца, что никогда не нарушит его воли. А тот с восхищением и надеждой вглядывался в его черты, которые с годами становились лишь прекраснее.

Время Высочайшего посещения ограничено, Государю пора было возвращаться во Дворец и он уехал, увы, с еще более тяжелым сердцем...

Принц Весенних покоев изъявил желание приехать вместе с Государем, но, чтобы не возникло излишней суеты, его посещение было отложено на другой день.

Принц был весьма миловиден и казался гораздо старше своих лет. Стоковавшись по отцу, он по-детски непосредственно радовался встрече, и трудно было не умиляться, на него глядя. государыню-супругу душили слезы, и у ушедшего на покой государя сердце разрывалось от жалости и тревоги. О самых разных предметах беседовал он с принцем, поучая его, но, увы, тот был совсем еще мал, и чело государя невольно омрачалось заботой и печалью.

Снова и снова обращался он к господину Дайсё, наставляя его, как должно служить высочайшему семейству, и выражая надежду, что не оставит он принца Весенних покоев своими попечениями.

Стояла поздняя ночь, когда принц наконец собрался в обратный путь. Все без исключения кинулись провожать его, шум поднялся изрядный — словом, ни в чем его посещение не уступало Государеву. Не успев взглянуть на сына за столь короткое время, ушедший на покой государь со слезами на глазах смотрел, как тот уезжает.

Собиралась навестить больного и Государыня-мать, но ее смущало постоянное присутствие при его особе государыни-супруги, и она все не могла решиться, а тем временем ушедший на покой государь, хоть и не внушало особенных опасений его состояние, покинул этот мир. Его неожиданная кончина многих повергла в безысходное отчаяние.

Хоть и говорилось, что государь «удалился на покой», пока был он жив, дела правления вершились так же, как и в его время. А теперь... Нынешний Государь был совсем еще юн, дед же его, Правый министр, отличался крайне вспыльчивым, тяжелым нравом, поэтому знатные вельможи и простые придворные кручинились, думая: «Что же станет с нами, когда мир будет подчиняться его воле?»

А уж государыня-супруга и господин Дайсё тем более лишились всякого разумения от горя.

Нетрудно представить себе, что во время поминальных служб Дайсё сумел затмить всех остальных сыновей ушедшего, и люди смотрели на него с умилением. Темное, невзрачное одеяние скорби лишь подчеркивало его несравненную красоту, и можно ли было остаться равнодушным, на него глядя?

Так, тяжкое испытание выпало ему на долю и в этом году, и, сетуя на непрочность всего мирского, Гэндзи снова и снова возвращался мыслями к своему тайному желанию, но слишком крепки были путы, привязывающие его к этому миру (43).

Вплоть до сорок девятого дня дамы нёго и мясудокоро оставались во дворце ушедшего государя, но по прошествии этого срока стали разъезжаться кто куда. Стоял Двадцатый день Двенадцатой луны, нависшее небо словно напоминало о близком конце года, но особенно беспросветным казалось оно государыне-супруге.

«Уныло и тяжело будет жить в мире, коим станет править мать Государя, прихотям своим потакая», — думала она, зная нрав своей бывшей соперницы, но чаще мысли ее устремлялись к ушедшему. Долгие годы прожили они вместе, и могла ли она забыть хоть на миг?... Однако оставаться в их прежнем жилище она не могла, а поскольку и остальные дамы покидали его одна за другой, каждый день лишь множил печали. Она решила перебраться в свой родной дом на Третьей линии. Принц Хёбукё приехал, дабы сопровождать ее.

Шел снег, дул пронзительный ветер, в опустевшем доме царила тишина. Господин Дайсё перешел в покои государыни-супруги, и долго беседовали они о прошлом. Приметив, что хвоя пятиигольчатой сосны поблекла под снегом, а нижние ветви ее совсем засохли, принц сказал:

— Ужели засохла
Сосна, осенявшая нас
Сенью надежной?
Год подходит к концу, и хвоя,
Разлетается с нижних ветвей...

Казалось бы, ничего особенного, но; к месту сказанные, эти слова растрогали Дайсё, и рукава его увлажнились. Он взглянул на замерзший пруд:

Снова лед на пруду.
В его зеркале чистом видел
Отражение твое...
И больше уже не увижу —
Такая печаль на сердце!.. (92)

Песня эта возникла словно сама собой и, пожалуй, отражала некоторую незрелость его чувств.

А вот что сложила госпожа Омёбу:

Кончается год,
В горах под толщею льда
Родники замолкают
Один за другим. Угасают,
Уходят от нас наши близкие.

Много других песен было тогда сложено, но стоит ли записывать их все подряд?

Церемония переезда государыни-супруги ничем не отличалась от предыдущих, только была она — впрочем, возможно, это простая игра воображения — гораздо печальнее. Старый дом показался ей чужим, словно временное пристанище в пути, воспоминания снова и снова уносили ее к лунам и дням, проведенным вне его стен.

Скоро год сменился новым, но прошло это без всякой праздничной пышности, мир по-прежнему был погружен в уныние. О Дайсё же и говорить нечего: отдавшись скорби, уединился он в своем доме и никуда не выезжал. Бывало, при прежнем государе — да и после того, как ушел он на покой, мало что изменилось — в день Назначения на должности к воротам дома на Второй линии съезжались придворные — верхом, в каретах, так, что места свободного не оставалось... А ныне «все меньше людей у ворот»*, и в служебных помещениях почти не видно мешков с постельными принадлежностями, предназначенными для ночующих в доме. Лишь самые преданные служители Домашней управы, явно изнывая от безделья, слонялись по дому. Глядя на них, Гэндзи: «Увы, отныне так будет всегда...» — думал, и сердце его тоскливо сжималось.

Хранительница Высочайшего ларца на Вторую луну назначена была на должность главной распорядительницы, найси-но ками. Она заняла место дамы, которая от безмерной тоски по ушедшему государю постриглась в монахини. Новая найси-но ками выгодно отличалась от прочих обитательниц женских покоев, ибо помимо многочисленных достоинств, причисляющих особе благородного происхождения, обладала еще и кротким, приветливым нравом. Неудивительно поэтому, что именно ей удалось снять особую благосклонность Государя.

Государыня-мать большую часть времени проводила в отчем доме, а приезжая в Высочайшую обитель, располагалась в Сливовом павильоне, уступив дворец Кокидэн новой найси-но ками. Здесь было гораздо оживленнее, чем в мрачноватом дворце Восхождения к цветам, Токадэн, великое множество дам собиралось в покоях, устроенных на новейший лад и блистающих роскошью убранства, но в душе найси-но ками по-прежнему жила память о той нечаянной встрече, и она лишь вздыхала и печалилась. Должно быть, она и теперь продолжала тайком писать к Гэндзи. А Гэндзи — «Что, если об этом узнают?» — тревожился, но, судя по всему, оставался верен прежним привычкам: новое положение этой особы ничуть не охладило его пыл, напротив...

Государыня-мать, которая при жизни прежнего государя принуждена была скрывать свою неприязнь к Гэндзи, решила, как видно, что настала пора отплатить ему за обиды. Неудача за неудачей обрушивались на Гэндзи,

и, хотя он предвидел нечто подобное, такая скорая перемена в обстоятельствах удручала его, и он предпочитал нигде не показываться.

Левый министр, недовольный нынешним положением дел, тоже почти не бывал во Дворце. Государыня-мать не благоволила к нему, памятуя, что, отвергнув ее предложение, он отдал свою единственную дочь господину Дайсё. Что же касается его отношений с Правым министром, то меж ними никогда не было согласия. В прежние времена Левый министр вел дела по собственному разумению и теперь, когда мир так изменился, с естественной неприязнью глядел на своего самодовольно-важного соперника.

Господин Дайсё время от времени наведывался в дом Левого министра, заботливее прежнего опекая некогда прислуживавших госпоже дам, нежность же его к маленькому сыну была поистине беспредельна, и министр, растроганный и преисполненный благодарности, старался ему услужить совершенно так же, как в те давние дни, когда никакие несчастья еще не омрачали их существования.

При жизни прежнего государя Гэндзи, будучи его любимым сыном, совершенно не имел досуга. Теперь же — потому ли, что были порваны связи со многими ранее любезными его сердцу особами, или потому, что ему просто наскучили тайные похождения, но только он почти все время проводил дома, жил спокойно, предаваясь тихим удовольствиям, так что лучшего и желать было невозможно.

В те дни в мире много говорили об удаче, выпавшей на долю юной госпожи из Западного флигеля. Сёнагон и другие дамы втайне считали, что возымели действие молитвы покойной монахини. Принц Хёбукё по любому поводу обменивался с дочерью письмами, хотя его нынешняя супруга, мачеха юной госпожи, относилась к этому более чем неодобрительно. Ее собственные дочери, несмотря на все ожидания, так и не сумели выдвинуться, и, естественно, у нее было немало причин для зависти. Словом, все это было как будто нарочно выдуманно для повести.

Жрица святилища Камо, облачившись в одеяние скорби, покинула свою обитель, и на ее место заступила госпожа «Утренний лик» — Асагао. Нечасто к служению в святилище допускались внуки государя, но, очевидно, подходящей принцессы не нашлось.

Господин Дайсё, хоть и немало прошло уже лун и лет, все еще не мог забыть Асагао, и часто сетовал на исключительность ее нынешнего положения. Он продолжал сообщаться с ее дамой по прозванию Тюдзё, да, судя по всему, и к ней самой писал иногда тайком. Как видно, Гэндзи не придавал особого значения изменениям, происшедшим в его жизни, и, не имея никаких дел для заполнения своего досуга, утруждал сердце свое попечениями о разных женщинах.

Государь, не желавший нарушать заветов ушедшего, искренне сочувствовал Гэндзи, но молодость соединялась в нем с крайним безволием, и вряд ли можно было ожидать от него особой твердости. Он не умел противостоять произволу Государыни-матери и деда своего, министра, так что государственные дела вершились, как видно, помимо его желаний. Все больше и больше невзгод обрушивалось на Гэндзи, но госпожа Найси-но ками по-прежнему отвечала на его чувства, и, как ни безрассудно это было, они и теперь не отдалились друг от друга.

Когда начались службы пяти богам-хранителям*, Гэндзи, воспользовавшись тем, что Государь соблюдал воздержание, навестил ее, и, глядя на него, Найси-но ками снова и снова ловила себя на мысли: «Уж не во сне ли?»

Госпожа Тюнагон украдкой провела Гэндзи в издавна памятную ему маленькую комнатку на галерее. Ему пришлось расположиться у самых занавесей, и Тюнагон замирала от страха, зная, как много во Дворце посторонних. Смотреть на его прекрасное лицо не надоедало даже тем женщинам, которые видели его ежедневно, так что же говорить о Найси-но ками? Могла ли она не дорожить каждым мгновением их редких встреч? Ее красота тоже достигла к тому времени своего расцвета. Возможно, ей не доставало некоторой значительности, но юная, пленительно-нежная Найси-но ками была необычайно привлекательна.

Казалось, не успели встретиться, как небо начало светлеть, и вдруг где-то совсем рядом раздался неприятно грубый хриловатый голос: «Ночной караул».

— Должно быть, еще кто-то из высочайшей охраны тайком пробрался сюда, а какой-нибудь недруг, о том проведая, решил его напугать, — предположил Гэндзи. Все это было, конечно, забавно, но не сулило ему ничего, кроме неприятностей. Голоса караульных раздавались то дальше, то ближе, но вот наконец возгласили: «Первая стража Тигра».

— Сама виновата,
Что слишком часто бывают
Мокрыми рукава.
Вот и теперь, услышав —
«Близок холодный рассвет...» —

произносит женщина. Как трогательна ее печаль!

— Неужели весь век
Ты велишь мне вот так прожить,
Печалась, вздыхая?
Близок рассвет, но не видно
Конца любовной тоске... —

отвечает Гэндзи и с беспокойным сердцем выходит.

Лунная ночь еще только близилась к рассвету, невиданно густой туман застила окрестности. Гэндзи двигался с величайшей осторожностью, надеясь остаться незамеченным, но, увы... К несчастью, он и не подозревал, что в тот самый миг То-но сёсё — старший брат обитательницы дворца Дзёкё-дэн, выйдя из павильона Глицинии, остановился за решеткой, куда не проникал свет луны. Удастся ли ему избежать дурной молвы?

Удивительно, что даже в такие мгновения мысли Гэндзи невольно устремлялись к той, жестокосердной. Его восхищало постоянство, с которым она противилась его желаниям, неизменно выказывая ему свою холодность, но его своевольное сердце было глубоко уязвлено.

Государыня-супруга, как ни печалила ее разлука с маленьким сыном, почти не бывала теперь во Дворце, ибо чувствовала себя там принужденно и неловко.

«Не осталось никого, кто мог бы стать мне опорой, вот и приходится постоянно прибегать к помощи господина Дайсё, — думала она. — К сожалению, он по-прежнему упорствует в своих намерениях, и это мучительно. Ужасно, что государь ушел из мира, оставаясь в неведении, но еще ужаснее будет, если распространятся новые слухи. Не затем, что они могут повредить мне, а затем, что могут иметь губительные последствия для принца Весенних покоев».

Она даже молебны заказывала, надеясь, что это поможет Гэндзи освободиться от дурных помышлений, и испробовала все мыслимые средства, дабы удержать его на расстоянии. Нетрудно себе представить поэтому, как велик был ее ужас, когда, дождавшись благоприятного случая, он все-таки проник в ее покои.

Ему так ловко удалось все устроить, что никто из дам и не подозревал о его присутствии. Государыне же казалось, что она просто грезит. Увы, я не в силах передать здесь тех слов, которые говорил Гэндзи, однако он рascal их напрасно. Государыня оставалась непреклонной, но она очень страдала и в конце концов почувствовала сильные боли в груди. Дамы, находившиеся поблизости: Омёбу, Бэн и другие, встревожившись, поспешили к ней.

Невыносимая печаль сжала сердце Гэндзи, свет помутился в его глазах. Почти лишившись чувств, он не имел сил уйти, и утро застало его в опочивальне государыни.

Озабоченные внезапным недомоганием госпожи, в ее покоях собрались все прислуживавшие в доме дамы, и Омёбу, призвав на помощь Бэн, едва успела спрятать так и не пришедшего в себя Гэндзи в маленькой кладовой. Туда же они поспешно засунули его платье. Да, никогда еще не приходилось им бывать в столь затруднительном положении. Государыня, казалось, утратила последний остаток сил, у нее кружилась голова, темнело в глазах, и скоро она почувствовала себя совсем больной. Послали за принцем Хёбукё и за Дайбу, и они тотчас распорядились, чтобы призвали монахов. Запертый в кладовой Гэндзи уныло прислушивался к их голосам. Только к вечеру государыне наконец стало лучше.

Она и ведать не ведала, что Гэндзи спрятан в опочивальне, дамы же, не желая ее волновать, молчали. По прошествии некоторого времени государыня нашла в себе силы перейти в дневные покои. «Ну вот, кажется, все уже и в порядке», — вздохнул с облегчением принц и уехал.

Дом сразу же опустел. Обычно возле государыни находилось лишь небольшое число прислужниц, остальные держались поодаль за ширмами и занавесями.

— Как бы нам вывести господина Дайсё? Досадно, если и нынешней ночью госпоже станет из-за него дурно, — украдкой перешептывались Омёбу и прочие дамы.

Между тем Гэндзи, тихонько толкнув чуть приоткрытую дверцу кладовой, сквозь узкую щель между ширмами пробрался в покои. Наконец-то! Он смотрел на государыню, и слезы радости текли у него по щекам.

— О, какая мука! Ужели мой век подошел к концу? — говорила она, повернув голову в сторону сада, так что Гэндзи мог видеть ее прелестный профиль.

— Хоть плодов извольте отведать! — потчевали ее дамы. Плоды, разложенные на крышках*, были весьма соблазнительны, но, даже не взглянув на них, государыня продолжала сидеть неподвижно, видимо погрузившись в размышления о превратностях этого безотрадного мира. Никогда еще Гэндзи не находил ее такой прекрасной. Все в ней было совершенно: очертания головы, ниспадающие вдоль спины волосы, благоуханная нежность лица... И какое удивительное, просто невероятное сходство с госпожой из Западного флигеля! Это сходство поразило Гэндзи тем более, что за долгие годы разлуки образ государыни начал понемногу стираться из его памяти. В какой-то миг ему показалось даже, что перед ним не Государыня, а юная госпожа: та же горделивая осанка, та же неторопливая грация движений... Да, он и в самом деле обрел надежный источник утешения. И все же, будь на то его воля, он предпочел бы более зрелую красоту Государыни. Впрочем, не потому ли, что слишком долго стремилось к ней его сердце? Так или иначе, она превосходила всех женщин, которых не знал.

Не сумев справиться с волнением, Гэндзи украдкой пробрался за полог и потянул государыню за подол. Уловив аромат, в происхождении которого можно было не сомневаться, она отшатнулась в ужасе и смятении и ничком упала на ложе. «Ну хоть один взгляд!» — обиженно молил Гэндзи, притягивая ее к себе. Выскользнув из верхнего платья, государыня попыталась скрыться, однако волосы ее неожиданно оказались зажатými в руке Гэндзи вместе с платьем, и, сокрушенная мыслью о неотвратимости судьбы, она поникла бессильно. Гэндзи, потеряв голову от страсти, которую таил в душе своей все эти долгие годы, рыдал, осыпал ее упреками, но, содрогаясь от ужаса и возмущения, она даже не отвечала ему.

— Право, я совсем больна. Может быть, мы поговорим как-нибудь в другой раз? — просила она, но, не слушая, Гэндзи продолжал уверять ее в своей беспредельной любви. И как ни тяготило государыню его присутствие, кое-что из сказанного им, несомненно, нашло отклик в ее сердце.

Государыня явно не желала обременять свою душу новыми прегрешениями: речи ее были ласковы и вместе с тем не оставляли Гэндзи ни малейшей надежды. Но скоро и эта ночь подошла к концу. Противиться воле государыни Гэндзи не решался, тем более что достоинство, с которым она держалась, внушало ему невольное уважение. В конце концов, пытаясь хоть как-то смягчить ее сердце, он взмолился:

— Прошу вас, не отвергайте меня совсем, даже такие встречи будут для меня утешением. Поверьте, я никогда не сделаю ничего, что могло бы оскорбить вас.

Самые обыкновенные обстоятельства могут показаться трогательными людям, связанным подобными узами, а уж эту ночь никак нельзя было назвать обыкновенной.

Тем временем совсем рассвело, и обе дамы принялись торопить Гэндзи. Видя, что государыня вот-вот лишится чувств, Гэндзи едва не заплакал от жалости.

— О, как бы я хотел уйти из этого мира, — говорил он, и мучительная страсть звучала в его голосе, — тогда никто не будет омрачать вашу жизнь напоминаниями обо мне. Боюсь только, что это дурно скажется на вашем будущем...

Если и впредь
Будет зыбка надежда
На новую встречу,
На сколько веков печаль
Станет моим уделом?

Но ведь и для вас это станет тяжким бременем... — посетовал он, а она, тихонько вздохнув, все-таки ответила:

— Пусть время обид
Еще много долгих веков
Мне нести суждено,
Знай, причиной тому —
Твое неверное сердце.

Пожалуй, никогда еще государыня не казалась ему столь пленительной, но, не желая больше мучить ни ее, ни себя, Гэндзи поспешил уйти. Нетрудно представить себе, в каком смятении были его чувства.

«Что, кроме нового унижения, принесет мне новая встреча? Так пусть хотя бы пожалеет о том, что обошлась со мной столь сурово», — подумал он и решил не писать государыне положенного письма.

Затворившись в доме на Второй линии, Гэндзи не бывал ни во Дворце, ни в Весенних покоях. Не заботясь о том, что подает таким образом повод к молве, он денно и ночью вздыхал и печалился, пеняя на непреклонность государыни, и в конце концов даже занемог от тоски: казалось, рассудок его вот-вот помрачится. «Для чего? Тоды текут, и лишь умножаются горести...» (93) — в отчаянии думал он и готов был удовлетворить наконец свое давнишнее желание, но юная госпожа была так мила и так трогательно нуждалась в нем, что оставить ее не представлялось возможным.

Государыня долго не могла прийти в себя после той встречи, Омёбу же и другие испытывали некоторое разочарование, видя, что Гэндзи, упорствуя в своем уединении, даже не пытается снестись с ними. Государыню больше всего беспокоила судьба принца Весенних покоев. «Досадно, если господин Дайсё затаил на меня обиду. Что, если, совершенно упав духом, решится он на последний шаг? — думала она. — Но уступи я ему, мне уже не спасти своего доброго имени. А мир и без того так враждебен». Она готова была отказаться от своего ранга, лишь бы не навлекать на себя гнева Государыни-матери.

Вспоминая о том, какую, поистине выходящую за рамки обыкновенной, заботу проявил государь незадолго до своего ухода, государыня с горечью думала: «Да, теперь все будет иначе. Как же изменчив наш мир! Хоть и не грозит мне участь супруги Ци*, вряд ли удастся предотвратить толки». Тягостным бременем сделалась для нее жизнь, и решила она отречься от мирской суеты, но могла ли изменить свой облик, не повидавшись с сыном? Тайком отправилась она во Дворец. Господин Дайсё, ранее не упускавший даже куда менее значительной возможности услужить государыне, на этот раз под предлогом нездоровья отказался от чести сопровождать ее. В остальном же он продолжал оказывать ей положенные почести, и знающие в чем дело дамы, прослышав о том, что Гэндзи целыми днями грустит, искренне сочувствовали ему.

Принц похорошел и очень вырос. В последнее время он почти не виделся с матерью, и теперь так и льнул к ней, простодушно радуясь встрече, а она растроганно глядела на него, чувствуя, как слабеет ее решимость. Но то, что увидела она во Дворце, укрепило ее в мысли о ненадежности этого печального, подверженного постоянным переменам мира. Она боялась навлечь на себя недовольство Государыни-матери, и даже выезды во Дворец, сопряженные теперь с целым рядом обстоятельств, унижающих ее достоинство, не приносили ей ничего, кроме мучений. Тревожась за будущее принца Весенних покоев, терзаемая самыми мрачными предчувствиями, государыня пребывала в постоянном смятении.

— Что скажешь ты, если мы с тобой теперь долго не увидимся, если лицо мое изменится, станет безобразным? — спрашивает она сына, а он, глядя на нее, смеется:

— Как у Сикибу, да? Но разве такое возможно?

Право, что толку говорить с ним об этом? И, растроганная до слез, она лишь молвит:

— Сикибу уродлива от старости, я не о том говорю. А вот что ты скажешь, если мои волосы станут еще короче, чем у нее, если я надену черное платье и сделаюсь похожей на ночного монаха*, а видется с тобой мы будем совсем редко?

Тут она начинает плакать, а он, сразу помрачнев, отвечает:

— Но ведь я так скучаю, когда вы долго не приходите!

Слезы текут по его щекам; стыдясь их, он отворачивается, и чудной красоты волосы глянцевитыми прядями рассыпаются по плечам. Нежные, блестящие глаза мальчика с каждым годом все больше напоминают государыне Гэндзи. Зубы у него немного попорчены и, когда он улыбается, кажутся почерненными. Словом, принц необыкновенно хорош собой, и, на него глядя, всякий подсадовал бы, что он не родился женщиной.

Ах, когда б не это сходство! Оно было словно изъян в жемчужине, и государыня замирала от страха, думая о том, какими бедами грозит ее сыну будущее.

Господин Дайсё очень скучал по принцу, но, желая, чтобы государыня осознала меру своей жестокости, нарочно воздерживался от выездов во Дворец и в унылом бездействии коротал дни в доме на Второй линии. Однако столь долгое затворничество могло возбудить в столице толки, поэтому, а возможно, и потому, что ему просто захотелось полюбоваться осенними лугами, Гэндзи отправился в Уринъин*. Он провел два или три дня в келье брата своей покойной матери, монаха Рисси, отдавая часы молитвам и чтению священных сутр. И многое в те дни трогало его душу.

Деревья уже начинали краснеть, и осенние луга были исполнены особенно очарования. Любуясь ими, Гэндзи порой забывал о столице. Призвав монахов-наставников, славных своей мудростью, он слушал их ученые споры. Подобное времяпрепровождение располагало к ночным бдениям и длительным размышлениям о непостоянстве мира, но, увы, и теперь нередко вставал перед ним образ столь дорогой его сердцу и столь жестокой особы... (94) Под утро монахи, озаренные сиянием предрассветной луны, звенели чашами — наставала пора подносить воду Будде, срывали хризантемы, темно и светло-багряные листья клена. И хотя не было в их привычных трудах

ничего значительного, они становились источником утешения в этом мире и надежным залогом спасения в грядущем.

«Какую жалкую жизнь вынужден влачить я!» — беспрестанно думал Гэндзи. Монах Рисси громко и протяжно произносил слова молитвы: «Возносящих хвалу будде Амиде с собою возьмет, не оставив...»* — и Гэндзи невольно позавидовал ему. «Ах, отчего...» — вздохнул он, но тут же возник перед его мысленным взором образ госпожи из Западного флигеля. Так, видно, не было твердости в его сердце. Непривычно долгой была их разлука, и он часто писал к ней.

«Я ныне испытываю себя — достанет ли сил отказаться от мира? Но, увы, тоска не рассеивается, и с каждым днем все сильнее печаль одиночества. Многое еще не познано, и я задержусь здесь на некоторое время. Как Вы живете без меня?» — писал он с восхитительной непринужденностью на бумаге «митиноку».

«Я оставил тебя
В росистом приюте, затерянном
Средь трав полевых.
Открыт тот приют четырем ветрам,
И сердце не знает покоя».

Столь нежное послание растрогало юную госпожу до слез, и, взяв листок белой бумаги, она написала ответ:

«Ветра порыв
Сминает в одно мгновенье
Нежные нити
Паутинок в росистой траве,
На глазах меняющей цвет...»

«Почерк у нее становится все лучше», — думал Гэндзи, любуясь письмом.

Юная госпожа чаще всего обменивалась посланиями с Гэндзи, потому и почерк ее напоминал его собственный, только был мягче и женственнее. «Похоже, что мне удастся воспитать ее совершенной во всех отношениях», — радовался он.

Поскольку это было так близко — право, что стоило ветру долететь и вернуться, — Гэндзи решил отправить письмо и жрице Камо. Вот что он написал госпоже Тюдзё:

«Вряд ли Ваша госпожа знает о том, что, куда б я ни поехал, тоска преследует меня...»

А вот и письмо к самой жрице:

«Знаю, что дерзко
Говорить об этом открыто —
Но едва увидал
Шнурки из священных волокон,
Та давняя вспомнилась осень».

Пытаться “прошедшее нынешним сделать” (95) — не напрасно ли? И все же иногда думаю: а вдруг?...» — привычно написал Гэндзи на зеленоватой китайской бумаге, затем, прикрепив письмо священными волокнами к ветке

дерева сакаки, отправил его со всеми приличествующими случаю церемониями.

Ответила госпожа Тюдзё:

«Скучною вереницей тянутся дни... Я часто вспоминаю о прошлом, и мысли невольно устремляются к Вам, но не напрасно ли?»

Ее письмо было более учтивым и содержательным, чем обычно. На крошечном клочке бумаги, перевязанном обрывками священных волокон, рукою жрицы было начертано:

«Что же такое
Случилось той осенью давней?
И почему
Твоему сердцу так дороги
Шнурки из священных волокон?

Так, и в ближайших рождениях...»

Почерк ее не отличался особой изысканностью, но был довольно изящен, а в скорописи она превосходила многих.

«Наверное, за это время "Утренний лик" расцвел еще пышнее...» — подумал Гэндзи, и сердце его затрепетало. Можно было подумать, что даже гнев богов не страшил его. «Кажется, это было тоже осенью... — вспомнилось вдруг ему. — Обитель в лугах, исполненная печального очарования... Как похоже, ну не странно ли?» — думал Гэндзи, обращая к богам свои укоризны. Право, подобное легкомыслие достойно сожаления! Трудно было постичь, что двигало им: он спокойно оставался в стороне, когда легко мог добиться успеха, теперь же испытывал досаду... Эта черта Гэндзи, судя по всему, была известна и жрице, во всяком случае она не пренебрегала его редкими письмами. Хотя, наверное, это скорее достойно порицания.

Гэндзи коротал дни, читая шестидесятикнижие* и слушая толкования неясных мест, и даже самые скромные монахи радовались:

— Верно, своими молитвами привлекли мы в нашу горную обитель этот невиданный свет.

— Право, и Будда почел бы за честь...

Проводя дни в неторопливых размышлениях, Гэндзи с неудовольствием думал о возвращении, и только тревога за юную госпожу, привязывая его к миру, не позволяла долее оставаться здесь, поэтому вскоре, сделав щедрые пожертвования монашеской обители и одарив всех вокруг — как монахов, высших и низших, так и живущих поблизости бедных жителей гор, — Гэндзи выехал в столицу. Со всех сторон к дороге стекались бедняки-дровосеки, смотрели на него, роняя слезы. Гэндзи сидел в черной карете, облаченный в невзрачное одеяние скорби, но даже мельком уловленные неясные очертания его фигуры были достойны восхищения. Да, в целом мире не было человека прекраснее.

Вернувшись домой, Гэндзи нашел юную госпожу повзрослевшей и похорошевшей. Она сидела, спокойная и задумчивая, словно размышляя о том, что станет с ними в будущем, и была так трогательна, что хотелось вовсе не отрывать от нее взора. «Знает ли она, какие бури смущали мое недостойное сердце», — подумал Гэндзи и, с умилением вспомнив ее песню: «На глазах меняющей цвет...», принялся беседовать с ней ласковее обычного.

Блещающие каплями росы багряные листья, привезенные из горной обители, были необыкновенно хороши, куда ярче, чем в саду перед домом, и Гэндзи решил отослать их государыне, рассудив, что подобный знак внимания вряд ли кого-то удивит, в то время как отсутствие всяких вестей от него может показаться подозрительным. Вот что он написал, обращаясь к Омёбу:

«Меня приятно взволновало известие о том, что Ваша госпожа посетила высочайшие покои. Могу только гадать, как прошла ее встреча с принцем. Все это очень беспокоит меня, но не в моей власти было отменять назначенные для молитв дни... Созерцая эти листья в одиночестве, мог ли я не вспомнить о “парчовом наряде в ночи?”* (96) При случае покажите их госпоже».

Листья и в самом деле были очень красивы, поэтому государыня изволила обратить на них внимание. Рассматривая же их, заметила привязанный к одной из веток маленький листок бумаги. Чувствуя обращенные на себя взгляды дам, она изменилась в лице и недовольно подумала: «Как неприятно, что он не может справиться со своим чувством! Подобные сумасбродства со стороны человека, обычно вполне благоразумного, не могут не вызывать подозрения».

Ветки же государыня велела, поставив в вазу, поместить у столба в передних покоях.

Разумеется, она не стала медлить с ответом, но письмо ее — весьма, впрочем, обстоятельное — касалось в основном принца: как она тревожится за него, как рассчитывает на поддержку господина Дайсё... «Право, она слишком благоразумна» — подумал Гэндзи, чувствуя себя уязвленным. Но он давно уже входил во все ее нужды, и людям показалось бы странным малейшее пренебрежение с его стороны, а потому в день, когда государыня должна была покинуть Дворец, он отправился туда.

Прежде всего Гэндзи зашел к Государю, который изволил как раз отдыхать в своих покоях, и они долго беседовали о минувших и нынешних временах. Государь обладал на редкость тихим, ласковым нравом, он очень походил на отца, только черты его были тоньше и изящнее. Узы искренней и нежной дружбы с давних пор связывали его с Гэндзи.

Разумеется, до Государя дошли слухи о том, что госпожа Найси-но kami до сих пор не порвала со своим прежним возлюбленным, да он и сам нередко кое-что примечал, однако же не торопился никого осуждать. «Когда б это началось сейчас, — думал он, — тогда другое дело, но ведь их связь тянется издавна, и нет ничего предосудительного в том, что они продолжают общаться друг с другом».

Государь расспрашивал Гэндзи о событиях, в мире происходящих, о разных книжных премудростях, потом разговор зашел о любовных песнях, и Государь вспомнил тот день, когда покидала Дворец жрица Исэ, прелестные черты которой до сих пор не изгладились из его памяти. А Гэндзи, не таясь, рассказал ему о Священной обители в лугах и полном печального очарования рассвете.

Между тем на небо медленно выплыл двадцатидневный месяц, и так прекрасно стало вокруг, что Государь молвил: «Ах, только музыки и недостает в такой вечер...»*

— Сегодня ночью государыня-супруга покидает Дворец, и я намереваюсь навестить ее. Я не хотел бы нарушать последней воли ушедшего, тем

более что других покровителей у нее нет. К тому же она имеет непосредственное отношение к принцу Весенних покоев, и я почитаю своим долгом уделять ей особое внимание, — говорит Гэндзи.

— Так, и мне завещал ушедший государь опекать принца Весенних покоев, как собственного сына, поэтому я принимаю живое участие во всем, что его касается. Но могу ли я позволить себе как-то особенно отличать его?.. А ведь он уже сейчас прекрасно владеет кистью, да и в других областях обнаруживает редкие в его возрасте дарования. Видно, суждено ему увенчать славой наш век, возместив отсутствие каких-либо достоинств во мне, — молвит Государь.

— Да, и все же он совсем еще дитя, хотя и обладает талантами зрелого мужа...

Некоторое время побеседовав с Государем о принце Весенних покоев, Гэндзи вышел. По дороге же встретился ему То-но бэн, сын То-дайнагона, брата Государыни-матери, блестящий юноша, находящийся на вершине благополучия и не ведающий забот. Он направлялся к младшей сестре своей во дворец Живописных видов, Рэйкэйдэн, но, заметив, что передовые украдкой расчищают дорогу для господина Дайсё, задержался.

— Белая радуга пересекла солнце, и затрепетал принц*... — раздельно произнес он, но, как ни оскорбительны были его слова, мог ли Гэндзи ему ответить? Он знал, что Государыня-мать по-прежнему относится к нему неприязненно, даже враждебно, и его не могло не уязвить намеренное проявление этой враждебности со стороны человека из ее окружения, но он предпочел сделать вид, будто ничего не заметил.

— Я задержался у Государя, боюсь, что теперь слишком поздно, — говорит он государыне-супруге.

Сад залит ярким лунным светом, в такие ночи ушедший государь любил услаждать свой слух музыкой, и в его покоях царило праздничное оживление. А теперь... Вроде бы та же высочайшая обитель, но ничто не напоминает о прошлом.

«Многослойный туман
Отделяет меня теперь
От заоблачных далей.
К луне лишь мысленный взор
Сегодня могу устремлять», —

передает государыня через Омёбу.

Она совсем близко, и Гэндзи, затаив дыхание, вглядывается в смутные очертания ее фигуры за занавесом. Забыв о своих обидах, он говорит, плача:

«Сияет луна
И теперь так же ярко, как в те
Осенние дни.
Вот только жестокий туман
Воздвиг меж нами преграду.

Да, “как видно, не только люди...” (97)» — впрочем, так бывало и в давние времена.

Государыня же никак не может расстаться с сыном, о многом хочется ей рассказать ему, но он еще слишком мал и не все понимает, поэтому ей так и не удается избавиться от снедающей душу тревоги.

Обычно принц довольно рано удаляется в опочивальню, но на этот раз, решив, должно быть: «Не лягу, пока не уйдет государыня!» — медлит. Видно, что он огорчен, но находит в себе довольно твердости, чтобы не задерживать мать, и это еще больше трогает ее.

Слова То-но бэна встревожили Гэндзи. Терзаясь угрызениями совести и опасаясь новых неприятностей, он перестал сообщаться даже с Найси-но ками.

Прошло довольно много времени, и вот однажды, когда небо готово было брызнуть первым зимним дождем, она — неизвестно, что уж там ей подумалось, — сама написала ему:

«Я напрасно ждала:
Вдруг, сухими листьями играя,
Ветер весть принесет?
Но молчишь ты, и тянутся дни
Томительной вереницей...»

Все вокруг располагало к печальным раздумьям, да и чувства Найси-но ками, которая писала это письмо, таясь от чужих взглядов, не могли не найти отклик в сердце Гэндзи, а потому, задержав посланца, он велел открыть шкафчик, где хранилась китайская бумага, и, выбрав листок получше, принялся старательнее обычного готовить кисти и прочие принадлежности. Был же он в тот миг так прекрасен, что дамы зашептались, подталкивая друг друга: «Кому бы это?»

«Увы, я успел уже привыкнуть к тому, что, сколько ни пиши, все напрасно, и, окончательно потеряв надежду, погрузился в бездну уныния... Так, я “долго вздыхал о доле своей злосчастной...” (98).

Разлученный с тобой,
Томлюсь в тоске безысходной.
Ужель мои слезы
Для тебя все равно, что этот
Мелкий осенний дождь?

Коль сердца открыты друг другу, то невольно забываешь о том, что небо над головой по-прежнему затянуто тучами», — с искренней нежностью писал он.

Очевидно, многие тщились пробудить его чувствительность, но, отвечая им весьма приветливо, он далек был от них душой.

Сразу же после поминальных служб по ушедшему государю государыня-супруга предполагала начать Восьмичастные чтения*. День Поминовения Покинувших Страну* приходился на начало Одиннадцатой луны. Падал густой снег. Государыне принесли письмо от господина Дайсё:

«Вот и настал
День, нас с ним разлучивший.
Падает снег.
Когда, в каком из миров
Выпадет встретиться снова?»

В тот день все предавались печали, и государыня ответила:

«Уныло текло
Время, но вот он вернулся,
Тот памятный день.
В воздухе снег кружится,
Будто мы снова в прошлом...»

Писала она довольно небрежно, и вместе с тем письмо ее поражало удивительным благородством. Впрочем, возможно, будь Гэндзи менее пристрастен... Ее своеобразный почерк был немного старомоден, однако мало кто из женщин сумел бы так написать. Впрочем, сегодня Гэндзи старался не думать о ней, целый день он творил молитвы, и на руках его печально таял снег.

По прошествии Десятого дня Двенадцатой луны начались Восьмичастные чтения. Благодаря стараниям государыни-супруги церемония прошла чрезвычайно торжественно. Вряд ли когда-нибудь прежде так тщательно отбирали драгоценные валики, шелковую оберточную бумагу, плетенные из тростника футляры и прочие мелочи, не говоря уже о самих свитках с текстами для каждого дня. Впрочем, это никого не удивляло — участие государыни-супруги придавало особую изысканность и менее значительным церемониям.

Украшения для будд, покрывала для ритуальных столиков были истинно достойны Земли Вечного Блаженства.

В первый день делались приношения в честь предшествующего государя*, во второй — в честь покойной государыни-матери, затем в честь ушедшего государя, а как чествование последнего совпало с днем Пятого свитка, многие вельможи сочли необходимым отметить его своим присутствием, невзирая на неодобрение некоторых высоких особ.

В тот день выбору чтецов было уделено особенно пристальное внимание, поэтому, уже начиная с «Шестивия дровосеков»*, самые привычные слова звучали необыкновенно торжественно.

В тот же день подносили свои дары принцы крови, и, как обычно, всех их затмил господин Дайсё. Казалось бы, бессмысленно постоянно напоминать об этом, но что делать, если каждый раз, видя его, не можешь сдержать восхищения?

В последний день, давая личные обеты, государыня-супруга заявила о намерении принять постриг. Для всех это явилось полной неожиданностью, а принц Хёбукё и господин Дайсё были просто потрясены.

Не дожидаясь конца церемонии, принц поднялся и пошел в покои сестры, но она лишь подтвердила, что таково ее окончательное решение, а в заключительный день чтений призвала главного настоятеля с горы Хиэ, дабы он наложил на нее соответствующие обеты.

Когда монах Содзу из Ёкава*, приходившийся государыне дядей, подошел, чтобы обрезать ей волосы, печаль сжала сердца присутствующих, и у всех на глазах навернулись слезы, не сулившие в такой день ничего доброго. Даже когда никчемные дряхлые старики разрывают связи с миром, и то нельзя не кручиниться, а уж в этом случае... К тому же до сих пор никто и ведать не ведал... Принц плакал навзрыд, да и все остальные, потрясенные

столь внушительным и трогательным зрелищем, уехали с промокшими до нитки рукавами. Сыновья ушедшего государя, вспоминая, сколь высоко было положение принявшей постриг в прежние времена, еще больше печалились и спешили выразить ей свое участие. Только господин Дайсё оставался на месте, не зная, как и что говорить. Чувства его были в смятении, но, очевидно, испугавшись, что молчание скорее может быть перетолковано в дурную сторону, он все же прошел в покои государыни, когда принц и прочие разъехались. В доме стало наконец тихо, лишь дамы, всхлипывая, теснились по углам. На небе не было ни облачка, в саду, залитом лунным светом, искрился снег. Сад невольно напоминал о минувшем, и грудь сжималась мучительной, неизъяснимой тоской. Постаравшись справиться с волнением, Гэндзи спросил:

— Для чего так внезапно решившись?..

— О, решила-то я уже давно. Но боялась, что многие воспротивятся моему намерению и я не сумею... — как всегда через Омёбу передала ему государыня.

За занавесями виднелись смутные очертания ее фигуры, оттуда доносился тихий шелест платьев прислуживающих ей дам, приглушенные всхлипывания... «Как же все это грустно!» — думал Гэндзи, прислушиваясь.

Дул порывистый ветер, в воздухе кружился снег. Сквозь занавеси струился необычайно тонкий аромат черных благовоний*, который смешивался с витающим в воздухе легким дымком от жертвенных курений и с благоуханием, исходящим от платья Гэндзи. Воистину, в такую прекрасную ночь может почудиться, что ты достиг уже Земли Вечного Блаженства.

Вскоре явился гонец из Весенних покоев, и, вспомнив слова, сказанные принцем во время последней их встречи, государыня вдруг почувствовала, что силы изменяют ей, поэтому за нее ответил Гэндзи, добавив кое-что и от себя. Все вокруг пребывали в крайнем унынии, и Гэндзи вряд ли удалось выразить то, что было у него на сердце.

— Стремится душа
Вослед за светлой луною
К обители туч,
Но суждено нам блуждать
Во мраке этого мира (3), —

так вдруг подумалось мне, но теперь все тщетно... Как завидую я вашей твердости, — вот и все, что сказал он государыне.

Рядом были дамы, и, не смея высказать всего, что волновало его душу, он лишь молча томился.

— Горестей
Не снеся, отвернулась
От этого мира,
Но когда от него сумею
Полностью отрешиться?

О да, все еще нечиста... — передали ему, но, судя по всему, последние слова счел необходимым добавить кто-то из дам. Все это было так печально, что Гэндзи уехал с тяжелым сердцем.



Вернувшись в дом на Второй линии, он уединился в опочивальне, но сон долго не шел к нему. Право, когда бы не тревога за принца Весенних покоев, он не стал бы задерживаться в этом постылом мире. «Государь позаботился о том, чтобы принц имел надежную опору хотя бы в лице матери, но, увы, не умея противостоять враждебному окружению, она решилась переменить обличье, и боюсь, что теперь ей не удастся сохранить за собой прежнее положение. А если еще и я...» — думал он и до самого рассвета не смыкал глаз.

Рассудив, что государыне понадобится утварь, приличествующая новому образу жизни, Гэндзи поспешил позаботиться о том, чтобы еще до конца года было приготовлено все необходимое. Омёбу решила разделить судьбу своей госпожи, и он не преминул заверить ее в искреннем участии. Впрочем, если подробно обо всем рассказывать, выйдет слишком длинно, поэтому многое я опускаю. Правда, именно в такое время рождаются прекрасные песни, и жаль, что вы их не услышите...

С тех пор в присутствии господина Дайсё государыня чувствовала себя куда свободнее и иногда даже беседовала с ним без посредников. А он... Нельзя сказать, чтобы он совершенно к ней переменился, но ведь теперь и вовсе невозможно было помыслить...

Скоро год сменился новым, до государыни доходили слухи о пышном Дворцовом пире, о великолепном Песенном шествии, рождая в душе трогательно-печальные воспоминания. Отдавая часы молитвам, она обретала

утешение в размышлениях о грядущем мире и постепенно отрешалась от былых горестей.

Не меняя ничего в своей прежней молельне, она распорядилась, чтобы в уединенном месте к югу от Западного флигеля выстроили еще одну, и совершала там особо важные молитвы.

Однажды зашел к государыне господин Дайсё. В доме ничто не напоминало о том, что год сменился новым, в покоях было тихо и безлюдно, только самые преданные государыне дамы из службы Срединных покоев сидели понурившись. Вид у них был весьма унылый, но, может быть, Гэндзи это просто показалось? Лишь во время праздника Белых коней, порядок проведения которого оставался неизменным, дамы получили возможность немного развлечься. Знатные вельможи, ранее толпившиеся у ворот, так что места свободного не оставалось, на этот раз, объезжая дом государыни стороной, собирались у стоявшего напротив дома Правого министра. Все это было понятно, но не могло не печалить. И когда, всем видом своим выдавая крайнее почтение, появился господин Дайсё, один стоящий тысячи, на глазах у дам навернулись невольные слезы. Растроганный гость долго стоял молча, не в силах произнести ни слова.

Облик жилища изменился: обрамление тростниковых штор и занавесы были теперь зеленовато-серых тонов, сквозь прорези виднелись по-своему изысканные светло-серые и блескло-желтые края рукавов. Лишь тонкий подтаявший ледок на поверхности пруда да набухшие почки ив на берегу не позволяли забыть о времени года, и, взглянув на сад, Гэндзи украдкой произнес: «Благородны и в самом деле...» (99). Он был истинно прекрасен в тот миг!

— Наверное, здесь
Та рыбачка живет, грусть-траву
Добывая из моря, —
Промок мой рукав, лишь взглянув
На остров в Сосновом заливе, —

говорит Гэндзи.

Поскольку покои невелики, а вся внутренняя их часть отдана Будде, государыня находится где-то совсем рядом, и он слышит ее тихий голос.

— С той давней поры
И следов на песке не осталось.
Так могла ли я ждать,
Что на остров в Сосновом заливе
Снова нахлынет волна? —

отвечает она, и глаза Гэндзи невольно увлажняются. Опасаясь, что его слезы будут замечены сбросившими бремя суетных помышлений монахинями, он уходит, сказав на прощание лишь несколько ничего не значащих слов.

— Ах, господин Дайсё с годами становится все прекраснее! Прежде, во времена его благоденствия, когда жил он, не ведая забот и все склонялись перед ним, можно было лишь гадать, в каких обстоятельствах откроется ему внутренний смысл явлений. А теперь... Взгляните, какое светлое спокойствие дышит в его чертах! При этом любой малости достаточно, чтобы воз-

будить участие в его чувствительном сердце. Как же все это трогательно... — умилялись немолодые монахини и, превознося Гэндзи, обливались слезами. Да и самой госпоже было о чем вспомнить.

В день Назначения люди из ее дома не получили должностей, им приличествующих, и даже не были повышены в рангах ни в соответствии с общим порядком, ни по ее личному ходатайству, поэтому многие сетовали на судьбу.

Хотя принятие пострига не означало немедленного лишения государыни звания и ранга и не должно было иметь следствием сокращение ее доходов, оно послужило предлогом для многих перемен в ее положении. Разумеется, эти перемены принадлежали тому миру, с которым она решила расстаться, но нередко, глядя на своих приунывших, оставшихся без опоры домочадцев, она невольно чувствовала себя виноватой перед ними. Однако мысль о том, что ее самоотречение имеет целью благополучие принца Весенних покоев, придавала ей твердости, и государыня с еще большим жаром отдавалась молитвам. А поскольку душу ее давно уже тяготила, рождая в ней самые мрачные предчувствия, некая тайна, она находила утешение, лишь взывая к Будде: «За страдания мои сними с него вину и помилуй его...»

Действия государыни встречали полное понимание и сочувствие в сердце Дайсё. Его приближенные, так же как и ее, терпели неудачу за неудачей, и, сетуя на непостоянство этого печального мира, он влачил дни в полном уединении.

Немало невзгод обрушилось и на Левого министра, совершенно иным было теперь его положение при дворе, да и весь уклад жизни неузнаваемо изменился. Не желая мириться с этими переменами, он подал прошение об отставке, но Государь, помня о завете ушедшего отца своего, который полагал Левого министра важнейшим оплотом благоденствия государства и постоянно указывал на то сыну, все не решался расстаться с ним и на многократные заявления министра неизменно отвечал отказом. Однако в конце концов тому удалось настоять на своем, и он тоже зажил затворником, открепись от всякого сообщения с этим суетным миром.

Теперь ничто не мешало преуспеванию лишь одного рода, и не было пределов его благополучию. После того, как Левый министр, принимавший на себя бремя правления миром, удалился от дел, Государь в полной мере ощутил собственную беспомощность, многие не лишённые понимания люди тоже предавались печали. Сыновья Левого министра, все без исключения наделенные и умом и дарованиями, потеряв прежнее влияние, приуныли, и даже Самми-но тюдзё лишился своей веселости. Когда время от времени он наведывался к четвертой дочери Правого министра, его принимали с обидной холодностью, явно исключив из числа «близких зятёв». Более того, желая, видно, получить наказать его, им пренебрегли и при нынешнем назначении. Однако Самми-но тюдзё не падал духом. «Мир изменив, — думал он, — и если сам Дайсё, удалившись от дел, живет затворником, мои неудачи тем более естественны». Он часто навещал Гэндзи, деля с ним часы занятий и часы утех. Они вспоминали прежние сумасбродства, бывшее соперничество, да и теперь стремились использовать любую бездельницу, чтобы доказать друг другу свое превосходство. В доме на Второй линии помимо весенних и осенних Священных чтений* по разным поводам устраивались торжественные молебны. Нередко Гэндзи призывал к себе не

занятых ныне по службе, а потому имеющих досуг в избытке ученых мужей и коротал часы, занимаясь с ними сочинительством, играя в «закрывание рифм»* и прочие игры. Во Дворце он почти не бывал, жил, повинаясь лишь собственным прихотям, так что наверняка находились люди, готовые осудить его и теперь.

Однажды, когда сеялся тихий, летний дождь, Самми-но тюдзё принес Гэндзи множество приличествующих случаю антологий. Гэндзи тоже повелел открыть книжные хранилища у себя в доме и из шкафчиков, куда никогда прежде не заглядывал, достал редкостные старинные собрания. Затем, отобрав несколько наиболее значительных, без особых церемоний пригласил к себе людей, в этой области сведущих. Собрались в его доме придворные и ученые мужи, и, разделившись на левых и правых, четных и нечетных, начали состязаться, причем победителей ожидали великолепные дары. Чем дальше, тем труднее становилось угадывать, и иногда Гэндзи, приводя всех в восхищение несравненной широтой своих познаний, называл рифмы, которые и достопочтенных мужей ставили в тупик. «Может ли один человек быть вместилищем всех возможных совершенств? — восторгались собравшиеся. — Таково, видно, его предопределение — затмевать окружающих и красотой и дарованиями». В конце концов левые проиграли.

День через два Самми-но тюдзё устроил угощение для победителей. Особенной пышностью оно не отличалось, но яства были поданы с отменным вкусом в изящнейших кипарисовых коробках, дары же, преподнесенные гостям, отличались разнообразием и изысканностью. Были приглашены все, кто участвовал в состязании, и снова во множестве складывались стихи.

Цвело лишь несколько одиноких «роз у лестницы»*, но тихая и спокойная красота этого летнего дня трогала куда больше, чем яркие краски весенней или осенней поры. Чувствуя себя легко и свободно, гости улаждали свой слух музыкой.

Сын Самми-но тюдзё, мальчик лет восьми или девяти, в нынешнем году поступивший на службу во Дворец, пел на диво приятным голосом и играл на флейте «сё». Гэндзи охотно вторил ему. Этот мальчик был вторым сыном четвертой дочери Правого министра. На него возлагались особенно большие надежды, и люди чрезвычайно привечали и баловали его. Обнаруживая необыкновенные дарования, он был к тому же очень миловиден и вызвал всеобщее восхищение, звонко запев «Высокие дюны»* в тот миг, когда веселье стало беспорядочным. Господин Дайсё, сняв с себя верхнее платье, преподнес ему. Гэндзи захмелел сегодня более обыкновенного, и его раскрасневшееся лицо блистало ослепительной красотой. В платье из тонкого шелка, сквозь которое просвечивало тело, он был так хорош, что престарелые ученые мужи, издалека поглядывая на него, роняли слезы. Когда мальчик допел до конца: «Вот бы мне взглянуть на нежные лилии...», Самми-но тюдзё, почтительно поклонившись, поднес Гэндзи чашу с вином:

— У первых цветов
Путру лепестки раскрылись,
Взоры пленяя.
Но в нежной прелести красок
Ты даже им не уступишь...

Улыбаясь, Гэндзи поднял чашу:

— Утром расцвел,
Своего не дождавшись часа,
Этот цветок,
Под летним дождем промокнув,
Яркость красок утратил...

Увы, уже и поблек... — пошутил он, нарочно притворяясь совсем захмелевшим, но Самми-но тюдзё, поглядев с укоризной, все-таки заставил его выпить вино.

Немало было и других песен сложено, но ведь еще Цураюки говорил, что истинные песни редко рождаются в таких случаях и бессмысленно записывать все подряд. К тому же мне это просто не по силам... Достаточно сказать, что во всех стихах и во всех песнях восхвалялись достоинства господина Дайсё. Да и сам он, как видно, возгордившись, произнес: «Я сын Вэнь-вана и брат У-вана...»* Одни эти имена звучали чудесной музыкой в его устах. Кажется, он готов был продолжать: «Я дядя Чэн-вана...», но вовремя спохватился.

Часто заходил к Гэндзи и принц Соти, замечательный музыкант и прекрасный собеседник.

Тем временем госпожа Найси-но ками вернулась в отчий дом. Давно уже мучила ее лихорадка, и она решила, что здесь ей будет удобнее прибегнуть к помощи молитвенных обрядов. Монахи начали произносить заклинания, и болезнь, ко всеобщей радости, отступила. Между тем Найси-но ками, по обыкновению своему не желая упускать столь редкой возможности, сговорила с Гэндзи и, как это ни сложно было, стала встречаться с ним почти каждую ночь.

Найси-но ками была красива яркой, цветущей красотой. Правда, за время болезни она немного похудела, но это ничуть не повредило ей: напротив, ее нежные черты казались теперь еще нежнее.

Государыня-мать тоже жила в отчем доме, поэтому любовникам постоянно грозила опасность разоблачения, но ведь именно такие обстоятельства и делали женщину особенно привлекательной в глазах Гэндзи. Ночь за ночью, стараясь никому не попадаться на глаза, пробирался он в ее покои. Очевидно, некоторые дамы кое-что заметили, но, опасаясь неприятностей, не спешили доносить о том старшей госпоже. Министр же и ведать не ведал... Но вот однажды под утро разразилась страшная гроза, внезапно хлынул ливень, загредел оглушительный гром. Юноши из семейства министра вместе с чиновниками из службы Срединных покоев суетливо забежали по дому, повсюду толпились люди, дамы же, потеряв голову от страха, теснились ближе к госпоже, и Гэндзи оказался в крайне затруднительном положении. Не имея возможности выбраться из дома, он встретил день в опочивальне Найси-но ками, причем, к его величайшей досаде, полог был со всех сторон окружен прислужницами. Можно себе представить, как растерялись дамы, которые знали... Когда смолкли раскаты грома и немного стих дождь, министр решил навестить в женские покои. Сначала он зашел к Государыне-матери, а оттуда направился к Найси-но ками. Шум ливня заглушал все прочие звуки, и присутствие министра было обнаружено только тогда, когда он, приподняв занавеси, спросил:

— Как ваше самочувствие? Ужасная выдалась ночь, я очень беспокоился за вас, но так и не смог зайти. Вас охраняли Тюдзё и Мия-но сукэ?

Он говорил слишком быстро, и в голосе его не было значительности, приличной сановным особам. Гэндзи невольно улыбнулся, сравнив его с Левым министром. Так, различие было поразительным. В самом деле, Правый министр произвел бы куда лучшее впечатление, если б по крайней мере сначала вошел, а потом уже начинал говорить.

Найси-но ками, трепеща от страха, тихонько выбралась из-за полога. Увидав ее покрасневшее лицо и решив, что ей все еще нездоровится, министр сказал:

— Да вы сами на себя непохожи! Боюсь, что дело не обошлось без вмешательства злых духов. Пожалуй, не следовало так рано отпускать монахов.

Но тут, к величайшему своему удивлению, он заметил светло-лиловый пояс, который, зацепившись за подол ее платья, выполз наружу, и почти сразу же бросились ему в глаза разбросанные перед занавесом испещренные скорописными знаками листки бумаги.

— А это что такое? — изумился министр. — Кто все это написал? Ничего похожего я не видел у вас прежде. Дайте-ка сюда, посмотрим, чей это почерк.

Оборотившись, Найси-но ками тоже увидела листки и поняла, что отвлекать от них внимание министра не удастся. Что она могла ответить? Пожалуй, от столь важной особы мы вправе ожидать большей чуткости хотя бы по отношению к собственной дочери, ведь видел же он, что она вот-вот лишится чувств от стыда. Но, будучи человеком своевольным и вспыльчивым, министр не задумываясь поднял листки бумаги и тут же заглянул за переносной занавес. За ним сидел небрежно одетый мужчина, как видно чувствовавший себя здесь довольно свободно. Увидав министра, он быстро прикрылся рукавом, не желая быть узнанным. Как ни велико было изумление и возмущение министра, разве мог он прямо в лицо бросить ему свои упреки? Ничего не видя перед собой от ярости, он забрал листки бумаги и отправился в главные покои. Найси-но ками лежала без чувств и, казалось, готова была покинуть этот мир. А Гэндзи, расстроенный, недовольный собой, думал: «Из-за своего безрассудства я окончательно лишусь доброго имени». Но прежде всего следовало позаботиться о женщине, состояние которой возбудило бы жалость в любом сердце.

Министр никогда не отличался сдержанностью и умением хранить тайны, в последние же годы к этим чертам его присоединилась старческая взбалмошность, так можно ли было надеяться, что он промолчит? Увы, недолго думая, он прошел прямо к Государыне, и стал жаловаться ей.

— Вот так обстоит дело. Это почерк правого Дайсё. По моему недосмотру он давно уже вступил с ней в связь. Из уважения к его достоинствам я готов был простить ему все и даже намекал, что согласен принять его в свой дом, но, очевидно не имея достаточно твердого намерения, он продолжал вести себя весьма легкомысленно. Как ни велико было мое беспокойство, я терпел, решив, что таково ее предопределение. И в конце концов, как и задумано было, отправил дочь во Дворец, надеясь, что Государь, несмотря на запятнанное имя, не пренебрежет ею. Но оказалось, что именно это обстоятельство лишило ее возможности получить звание не́го, что уже само по себе обидно. А его нынешнее поведение тем более возмутительно. Пусть

говорят, что таковы все мужчины, но мириться с подобной дерзостью! Вот и жрицу Камо он не оставляет в покое, и, не страшась гнева богов, тайком обменивается с ней посланиями. Говорят, что дело у них зашло далеко, и боюсь, что Дайсё покроет позором не только самого себя, но и нынешнее правление. Между тем я всегда надеялся, что он образумится, и никогда не позволял себе сомневаться в искренности его намерений. К тому же его положение в мире не совсем обычно, многие почитают его ученым мужем века, и вся Поднебесная склоняется к его ногам. Этого тоже нельзя забывать! — говорит министр, а Государыня, и ему не уступая в необузданности нрава, отвечает, ослепленная яростью:

— Одно название что Государь, а на самом деле все давно пренебрегают им. Даже Вышедший в отставку министр и тот не отдал в его покои свою нежно взлелеянную дочь, предназначив ей разделить ложе с его младшим братом, этим Гэндзи, который был тогда еще ребенком и только что надел шапку придворного. А когда я вознамерилась отдать на службу во Дворец эту особу, свою сестру, он опять все испортил. Но разве кто-нибудь из вас, хоть один человек, осудил его? Нет, все вы только и мечтали заполучить его в зятя, когда же надежды ваши оказались обманутыми и ее пришлось все-таки отдать во Дворец, я уже не смогла обеспечить ей там достойного положения. Из жалости к сестре я выбивалась из сил, старалась сделать все от меня зависящее, чтобы она не оказалась хуже других, ведь, даже имея столь незначительное звание, можно выдвинуться. Я надеялась, что этот дерзкий человек будет поставлен на место, но, судя по всему, она снова позволила ему соблазнить себя. Слухи, касающиеся жрицы, кажутся мне тем более правдоподобными. Я уверена, что действия Дайсё могут иметь весьма зловередные для нынешнего правления последствия, ибо все его чаяния связаны с принцем Весенних покоев.

Такая неукротимая злоба звучала в ее голосе, что министр невольно пожалел Гэндзи. «И зачем я сказал ей?» — раскаивался он.

— Все это так, но я думаю, что до поры до времени не стоит предавать дело огласке. Вас же прошу не докладывать о том Государю. Найси-но ками, должно быть, по-прежнему рассчитывает на его благосклонность и верит, что он простит ей это заблуждение. Постарайтесь поговорить с ней, а ежели она не послушается, я сам этим займусь, — сказал министр, пытаясь смягчить гнев Государыни, но вряд ли ему это удалось.

«Бесстыдно проникнуть в дом, совершенно не считаясь с моим присутствием, какое унижение!» — думала Государыня-мать, задыхаясь от ярости. «Глупо упустить такую возможность и не поступить с ним наконец так, как он того заслуживает», — должно быть, решила она...





Основные персонажи

Дайсё (Гэндзи), 25 лет

Нёго Рэйкэйдэн — бывшая наложница императора Кирицубо

Сестра нёго Рэйкэйдэн, дама из Сада, где опадают цветы
(Ханатирусато) — возлюбленная Гэндзи

Корэмицу — приближенный Гэндзи

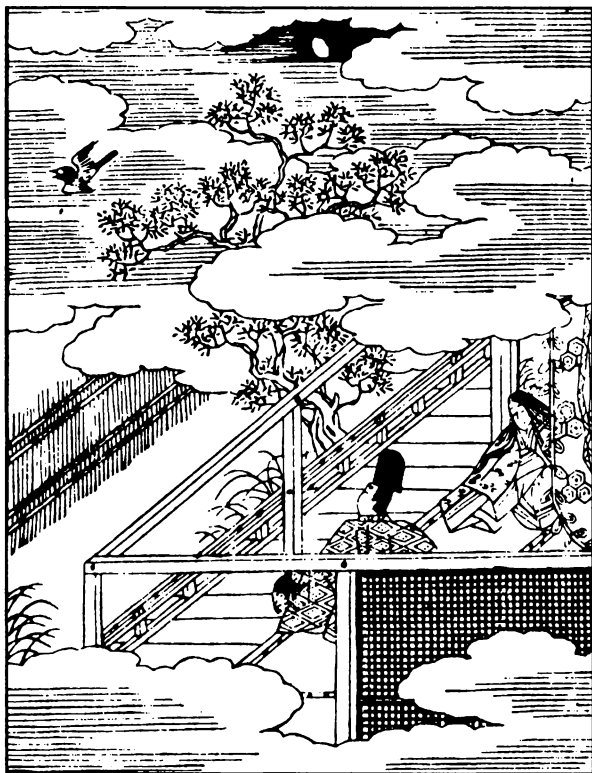
САД, ГДЕ ОПАДАЮТ ЦВЕТЫ

СЕРДЕЧНОЕ непостоянство — неиссякаемый источник тревог и волнений. Немудрено поэтому, что в жизни Гэндзи всегда было немало тайных горестей, но в последнее время мир словно повернулся к нему враждебной своей стороной и каждый день приносил с собой новые печали. Гэндзи погрузился в бездну уныния, все ему постыло в этом мире, но по-прежнему слишком многое мешало от него отречься.

Особа по прозванию Рэйкэйдэн, обитательница дворца Живописных видов, не имела детей и, оказавшись после кончины государя в бедственном положении, жила, судя по всему, исключительно попечениями господина Дайсё. С третьей сестрой этой особы он мимолетно встречался во Дворце и по обыкновению своему не забывал ее и теперь, однако же особым вниманием не удостаивал, и женщина целыми днями печалилась и вздыхала.

Но вот однажды, с грустью помышляя о превратности мира, Гэндзи в какой-то связи вспомнил о ней, вспомнив же, проникся сильнейшей к ней жалостью и, выбрав миг, когда между тучами, затянувшими дождливое небо Пятой луны, забрезжил долгожданный просвет, отправился ее навестить.

Гэндзи выехал из дома тайком в самом скромном платье и даже без передовых. Он был недалеко от Срединной реки, Накагава, когда на глаза ему попался маленький домик,



окруженный живописными купами деревьев. Оттуда доносились мелодичные звуки кото «со», которому вторило восточное кото. Гэндзи прислушался, а поскольку дом был недалеко от ворот, высунулся из кареты и заглянул внутрь. Ветер, прилетевший со стороны большого багрянника, напомнил ему о празднестве Камо*, а сад, в котором было какое-то особое, неуловимое очарование, показался странно знакомым, словно он уже бывал здесь прежде. Сердце Гэндзи затрепетало. «Ведь так давно это было, она и не помнит, верно...» — смутился он, но все же не мог не мог «дома покинуть» (100). А тут еще кукушка с криком пролетела над головой, будто приглашая зайти, и, повелев остановить карету немного поодаль, Гэндзи, как обычно, выслаал вперед Корэмицу.

Могла ли кукушка
Сюда, в этот сад, не вернуться?
Слышишь? — кричит
Возле дома. Не ей ли когда-то
Мы внимали вдвоем с тобой?

У западной боковой двери дома, судя по всему главного, сидело несколько дам. Голоса их показались Корэмицу знакомыми, он кашлянул, желая привлечь к себе внимание, и, оглядевшись, передал им послание Гэндзи. Как видно, эти молодые особы долго не могли уразуметь...

Кукушка кричит,
И голос как будто такой же,
Но та или нет —
Не понять. В пору долгих дождей
Затянута тучами небо...

Женщина лишь притворялась непонимающей, поэтому Корэмицу сказал: — Что ж, наверное, не зря говорят: «Различить не могу...» (101) — И с этими словами вышел, а женщина долго еще печалилась и вздыхала украдкой... Понимая, что у нее могли быть причины вести себя столь осторожно, Гэндзи не стал упрекать ее. «Из женщин этого круга всех милее, пожалуй, Цукуси-но госэти*», — сразу же вспомнил он.

Так вот и получалось, что любая женщина становилась для него источником беспокойства и сердечных волнений. Он не забывал даже тех, с кем виделся лишь однажды, но чаще всего это его свойство увеличивало еще более страдания его возлюбленных, хотя, казалось бы...

Как Гэндзи и ожидал, в доме, куда лежал его путь, было тихо, безлюдно, и невольная печаль сжала сердце.

Прежде всего он прошел в покои нёго Рэйкэйдэн. За беседой о делах минувших времен не заметили, как спустилась ночь. На небо выплыл двадцатидневный месяц, в саду под высокими деревьями ступились тени, в воздухе разлилось дивное благоухание цветущих возле дома померанцев.

Нёго была уже немолода, но привлекала чрезвычайной утонченностью и душевным благородством. «Государь никогда не удостаивал ее исключительным вниманием, — подумалось Гэндзи, — но всегда ценил ее чувствительное сердце и приветливый нрав». Тут нахлынули на него воспоминания об ушедших днях, и он заплакал. Где-то рядом кричала кукушка — уж не та ли, что была на ограде у Срединной реки? «Может, прилетела вслед за мной?» — подумал Гэндзи, и прекрасное лицо его приобрело какое-то особенно трогательное выражение.

— «Как только она догадалась?» (102) — тихонько произнес он. —

Видно сердцу ее
Мил аромат померанцев (103) —
Кукушка спешит
В сад, где цветы опадают,
Всем другим его предпочтя...

Мне следовало бы приходить сюда каждый раз, когда меня начинают мучить воспоминания. В беседах с вами я черпаю утешение, но одновременно они становятся для меня источником новых печалей. Вослед за переменами в мире меняются и люди, все меньше становится рядом тех, с кем можно было бы поговорить о прошлом. Представляю себе, как трудно вам развеять тоску...

Видно было, что перемены, в мире происшедшие, глубоко затронули его душу, но столь совершенна была его красота, что она лишь выигрывала от выражения печальной задумчивости, появившегося на его лице:

ПОВЕСТЬ О ГЭНДЗИ

— В мой заброшенный дом
Давно никто не заходит.
Но вот у стрехи
Расцвели померанцы и гостя
На миг заманили сюда... —

ответила нёго, а Гэндзи подумал: «Никто другой не сумел бы так сказать».

Словно невзначай перешел он в западные покои. Столь редкий гость, да еще красоты, невиданной в мире. Разумеется, женщина быстро забыла свои горести. С обычной нежностью беседовал он с ней, и разве можно было заподозрить его в неискренности?

Все женщины, с которыми встречался он вот так, от случая к случаю, были особами незаурядными, каждая обладала своими достоинствами, и ни одну нельзя было назвать вовсе никчемной. Возможно, поэтому Гэндзи в течение долгих лет неизменно оказывал им расположение, и они отвечали ему нежной привязанностью. Разумеется, бывало и так, что какая-то из его возлюбленных, обиженная недостаточным, как ей казалось, вниманием с его стороны, устремляла свое сердце к другому, но Гэндзи смирялся, видя в этом лишь очередное проявление непостоянства мира. Вот и та, в доме у Срединной реки, тоже, как видно, переменилась к нему...





СУМА

Основные персонажи

Дайсё (Гэндзи), 26–27 лет

Госпожа из Западного флигеля (Мурасаки), 18–19 лет — супруга Гэндзи

Обительница Западных покоев, особа из Сада, где опадают цветы (Ханатирусато) — возлюбленная Гэндзи (см. главу «Сад, где опадают цветы»)

Вступившая на путь государыня (Фудзицубо), 31–32 года — бывшая принцесса из павильона Глицинии, супруга императора Кирицубо

Маленький господин из дома Левого министра (Югири), 5–6 лет — сын Гэндзи и Аои

Левый министр, Вышедший в отставку министр — тесть Гэндзи

Самми-но тюдзё, Сайсё-но тюдзё (То-но тюдзё) — брат первой супруги Гэндзи, Аои

Госпожа Тюнагон — прислужница Аои

Госпожа Сайсё — кормилица Югири

Старшая госпожа, госпожа Оомия (Третья принцесса) — супруга Левого министра, мать Аои и То-но тюдзё

Принц Соти (Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

Найси-но ками (Обородзукиё) — дочь Правого министра, придворная дама императора Судзаку, тайная возлюбленная Гэндзи

Нёго Рэйкэйдэн — бывшая наложница императора Кирицубо, сестра Ханатирусато

Укон-но дзо-но куроо — приближенный Гэндзи, сын Иё-но сукэ

Омёбу — бывшая прислужница Фудзицубо, теперь прислужница ее сына, будущего императора Рэйдзэй

Принц Весенних покоев (императора Рэйдзэй) — сын Фудзицубо

Ёсикиё — приближенный Гэндзи

Сёнагон — кормилица Мурасаки

Монах Содзу — брат бабки Мурасаки

Дама с Шестой линии (Рокүдзё-но миясудокоро), 33–34 года — мать жрицы Исэ, бывшая возлюбленная Гэндзи

Государь (император Судзаку) — сын императора Кирицубо и Кокидэн

Корэмицу — приближенный Гэндзи

Цукуси-но госэти — дочь Дадзай-но дайни, очевидно, возлюбленная Гэндзи

Вступивший на Путь из Акаси — бывший правитель Харима, отец госпожи Акаси (см. главу «Юная Мурасаки»)

Госпожа Акаси, 17–18 лет — дочь Вступившего на Путь

С КАЖДЫМ ДНЕМ невзгоды Гэндзи лишь множились, все тяжелее становилось ему жить в этом мире, и стал он подумывать: а не покинуть ли ему столицу? Кто знает, может, худшее еще впереди, так стоит ли оставаться здесь, делая вид, будто ничего не происходит?

Гэндзи слышал, что побережье Сума*, некогда служившее пристанищем для вполне достойных людей*, ныне представляло собой глухую, безотраднo унылую местность, где даже хижины рыбацки нечасто встречались. Но разве лучше жить в месте шумном, многолюдном?.. С другой стороны, если поселиться так далеко, тоска по оставшимся в столице может оказаться невыносимой...

Мучительные сомнения терзали душу Гэндзи, он вспоминал прошедшее, размышлял о грядущем, и грудь сжималась неизъяснимой томительной тоской.

Слишком многое в этом, таком чуждом ему теперь мире удручало Гэндзи, но расстаться с ним было нелегко — и прежде всего из-за юной госпожи. Он видел, что с каждым днем она становится все печальнее, и сердце его разрывалось от жалости. Даже теперь, оставляя ее на какие-то два или три дня и зная, что они непременно свидятся снова (104), он невольно тревожился, да и она чувствовала себя без него одинокой и беспомощной. А если он уедет, сколько лет придется жить в разлуке?! Он не знал, куда приведет его этот путь и будет ли пределом его свиданье? (105) Мир так непрочен, легко может стать, что «в последний раз вышел он за ворота...» (106). У него даже возникла мысль: а не взять ли потихоньку и ее с собой? Но обречь ее, такую нежную, на безрадостную жизнь у моря, где никто, кроме волн и ветра, не разделит их одиночества... «О нет, тогда у меня будет еще больше причин для беспокойства...» — подумал он, а она, проникнув его мысли, почувствовала себя обиженной и даже попыталась намекнуть, что готова сопровождать его на самом трудном пути.

Особа из Сада, где опадают цветы, как ни редко навещался к ней Гэндзи, не имея другой опоры в жизни, жила исключительно его попечениями, и надобно ли сказывать, сколь велика была теперь ее печаль? Так, многие кручинились тайно — и те, кого навещал он от случая к случаю, и даже те, кто лишь однажды мельком видел его.

Вступившая на путь государыня иногда тайком писала к Гэндзи, хотя по-прежнему боялась навлечь на себя осуждение молвы. «Когда б и раньше она отвечала мне с теплым участием... — вздыхал Гэндзи, вспоминая былые дни. — Но, видно, таково мое предопределение — вечно томиться от тоски...»

По прошествии Двадцатого дня Третьей луны Гэндзи покинул столицу. Никого не известив о дне своего отъезда, он взял с собой лишь самых близких, самых преданных приближенных и, чтобы избежать огласки, ограничился несколькими отосланными тайно прощальными письмами, в которых было так много трогательного, что, читавшие их невольно предались сладостным воспоминаниям. Все эти письма, конечно же, достойны внимания, но чувства мои слишком расстроены, и я не могу останавливаться на подробностях.

Двумя или тремя днями раньше Гэндзи под покровом ночи посетил дом Левого министра. Он приехал туда тайком в неприметной карете с плетеным верхом, убранной так, словно ехала женщина. Право же, все это было так печально, что казалось сном!

В покоях ушедшей госпожи царило унылое запустение. Услыхав о приезде дорогого гостя, кормилицы, мальчики-слуги и те из ранее прислуживавших госпоже дам, которые и после ее кончины остались в доме, собрались посмотреть на него, причем даже молодые прислужницы, не отличавшиеся особой душевной тонкостью, внезапно осознав, сколь изменив мир, заливались слезами, и темнело у них в глазах. Прелестный мальчик, расшалившись, бегал вокруг.

— Как трогательно, что он не забыл меня за это время, — говорил Гэндзи, привлекая сына к себе на колени и еле удерживаясь от слез. Побеседовать с Гэндзи пришел и сам министр.

— У меня нередко возникало желание нарушить свое затворничество и приехать к вам поболтать о каких-нибудь пустяках, связанных с былыми днями, но, поскольку я оставил придворную службу и отказался от своего звания под предлогом тяжелой болезни, люди наверняка истолковали бы мое поведение превратно. «Если есть желание, то и согнутая поясница распрямляется». Казалось бы, теперь мне нечего бояться, но все же извечная готовность людей к злословию пугает меня. Видя, как многое переменилось в вашей жизни, я не устаю сетовать на собственное долголетие. Все это слишком напоминает времена Конца Закона. Мог ли я представить себе когда-нибудь, что мир так изменится? Скорее я поверил бы, что Поднебесная перевернется. О, как все это горько! — говорит министр, и слезы навертываются у него на глазах.

— Все, что происходит со мной, так или иначе является следствием содеянного в прошлой жизни: иными словами, никто, кроме меня самого, не виноват в моих несчастьях. Если человек, даже не лишенный чинов и званий, а просто навлекший на себя неодобрение двора, будет жить совершенно так же, как жил прежде, это неизбежно усугубит его вину в глазах всего света. Я знаю, что такого мнения придерживаются и в других странах. Я же, судя по слухам, приговорен к изгнанию, а это значит, что мне вменяют в вину какое-то тяжкое преступление. И если я останусь в столице и буду жить как ни в чем не бывало, поддерживаемый лишь сознанием своей невиновности, меня ждет немало неприятностей, потому-то я и решил покинуть столицу, пока не случилось худшего, — подробно объясняет Гэндзи.

Министр, не отрывая от глаз рукава, вспоминает о прежних временах, об ушедшем государе, о его прощальных словах, и Гэндзи тоже не может сдерживать слез.

Между тем маленький сын Гэндзи в детском неведении своем резвится, требуя внимания то от одного, то от другого, и можно ли спокойно смотреть на него?

— Мне никогда не забыть той, что покинула нас, я скорблю о ней и ныне, но все же, представляя себе, как горевала бы она теперь, невольно прихожу к мысли, что краткость ее жизни была для нее скорее благом, ибо помогла ей избежать этого страшного сна. Думая об этом, я испытываю некоторое облегчение. Более всего огорчает меня то, что это невинное дитя будет теперь предоставлено попечениям стариков и, верно, долго придется ему жить, не ведая отцовской ласки. Право, в былые дни и за истинно тяжкие преступления не наказывали столь жестоко... Но, видно, таково ваше предопределение. Известно ведь, что и в чужих землях нередко случалось нечто подобное. Впрочем, даже там наказанию всегда предшествовали высказанные вслух обвинения. В вашем же случае остается лишь гадать о причинах...

Повидаться с Гэндзи зашел и Самми-но тюдзё. Пока они угощались вином, совсем стемнело, и Гэндзи остался ночевать в доме министра. Призвав к себе дам, он долго беседовал с ними.

Госпожа Тюнагон, к которой он всегда, разумеется, тайно, питал более нежные, чем к остальным, чувства, была сегодня такой грустной, такая тоска — «разве скажешь кому?» (107) — отражалась на ее лице, что Гэндзи невольно почувствовал себя растроганным, хотя и постарался это скрыть. Когда все уснули, он побеседовал с ней особо. Как знать, может быть, ради нее он и остался?..

Но вот ночь подошла к концу, и Гэндзи поспешил покинуть дом министра. Предрассветная луна была чарующе прекрасна. Вишни почти отцвели, лишь кое-где цветы задержались на ветках, сад был залит лунным светом, от земли поднимался легкий туман, и его зыбкая завеса делала неясными очертания предметов. Так, столь прекрасных рассветов не бывает даже осенью.

Прислонившись к перилам, Гэндзи некоторое время любовался садом. Госпожа Тюнагон, должно быть, желая проводить его, сидела подле открытой боковой двери, восхищенно на него глядя.

— Трудно даже представить себе, когда мы встретимся снова, — говорит Гэндзи. — Не ведая о том, что готовит судьба, я не спешил увидеться с вами, когда ничто тому не мешало, и все эти луны провели мы вдали друг от друга.

А женщина и слова вымолвить не может в ответ, только плачет.

Тут кормилица маленького господина, госпожа Сайсё, приходит с посланием от госпожи Оомия:

«Я намеревалась сама говорить с вами, но свет меркнет в моих глазах, и чувства в смятении... Пока же пыталась я обрести присутствие духа, мне сообщили, что Вы готовы покинуть наш дом, хотя еще даже не рассвело. Увы! Так ли бывало в прежние дни? Вы даже не хотите дожидаться, пока просянется наше милое, бедное дитя...»

Обливаясь слезами, Гэндзи произносит тихонько, словно ни к кому не обращаясь:

— Путь мой лежит
К заливу, где соль добывают (108).
Может быть там
Увижу тот дым, что когда-то
Над горой Торибэ поднялся.

Затем он обращается к госпоже Сайсё:

— Неужели всегда так тягостны расставания на рассвете? Наверное, многим здесь знакомо это чувство.

— Мне было всегда ненавистно само слово «расставание», — отвечает Сайсё. — Но то, что нам приходится переживать сегодня...

Стараясь сдерживать слезы, она говорит немного в нос. Неподдельное горе звучит в ее голосе!

«Снова и снова обдумываю слова, которые мне хотелось бы сказать вам, но, увы... Надеюсь, вы понимаете, сколь подавлен я всем происходящим. Право, позволь я себе еще раз увидеть наше невинно спящее дитя, мне куда труднее было бы расстаться с этим горестным миром. Поэтому я и предпочел покинуть ваш дом немедленно», — передает Гэндзи старой госпоже.

Дамы, прикинув к щелям в занавесях, смотрят, как он уходит. Фигура Гэндзи, озаренная светом луны, готовой вот-вот скрыться за краем гор, кажется особенно прекрасной; глубокая печаль, проступающая на его лице, способна тронуть до слез и тигра, и волка, а ведь многие из дам знают его с младенческих лет... Нетрудно представить себе, сколь велико их горе.

Да, вот еще что: немного раньше принесли ответ старой госпожи:

«Куда ни пойдешь,
От ушедшей будешь лишь дальше,
Если только твой путь
Не лежит к облакам, в которых
Затерялась та струйка дыма».

Новое горе заставило вспомнить о старом, и когда Гэндзи уехал, дамы плакали так долго, что у многих возникли самые дурные предчувствия.

Обитатели дома на Второй линии, судя по всему, тоже провели бессонную ночь, и, когда Гэндзи вернулся, дамы сидели там и сям небольшими группами, заплаканные, приунывшие. В служебных помещениях не было ни души, все преданные ему слуги должны были ехать вместе с ним и, очевидно, ушли прощаться со своими близкими. Прочие же, страшась попасть в немилость и умножить свои собственные беды, не посмели даже проститься с Гэндзи, поэтому у дома на Второй линии, где прежде клочка земли свободного не оставалось от подъезжавших карет и всадников, было сегодня пустынно и тихо. «Как все же печален мир», — подумал Гэндзи.

Столики для посуды были покрыты пылью, циновки свернуты и убраны. «Уже сейчас все в таком запустении, что же будет дальше?»

Гэндзи прошел в Западный флигель. Госпожа, видно, просидела всю ночь в глубокой задумчивости, не опуская решеток, снаружи на галерее лежали девочки-служанки. Увидав Гэндзи — «Ах, наконец-то!» — они суетливо вскочили. Глядя, как они спуют по дому, такие прелестные в своих ночных одеяниях, Гэндзи с грустью подумал: «Вряд ли они останутся здесь на все эти луны и годы, скорее всего разойдутся кто куда». Так, многое из того, на что прежде он никогда не обращал внимания, останавливало теперь его взор.

— А у вас, должно быть, возникли уже, как обычно, самые невероятные подозрения на мой счет? — спросил он у госпожи, объяснив, почему задержался. — Будь моя воля, я и на миг не разлучался бы с вами в эти последние

мои дни в столице, но перед отъездом у меня слишком много забот, и я не могу позволить себе все время оставаться дома. Этот мир и без того слишком переменчив, так стоит ли давать кому-нибудь повод к обидам?

Но она лишь отвечает:

— Увы! Что может быть невероятнее происходящего теперь?

Разлука с Гэндзи была для нее тяжелее, чем для кого бы то ни было, и это неудивительно: с малолетства воспитывалась она в его доме, и он был ей куда ближе родного отца, который к тому же в последнее время, страшась немилости, совсем перестал к ней писать и даже ни разу не зашел, чтобы выразить свое сочувствие Гэндзи. Ей было стыдно перед дамами, которые не могли этого не заметить. «Уж лучше бы он и теперь оставался в неведении», — думала госпожа. А тут прошел слух, что ее мачеха поговаривает:

«Сколь неожиданным было ее возвышение и сколь быстро счастье изменило ей. Право, все это не к добру... Похоже, что ей суждено так или иначе расстаться со всеми, кто к ней привязан».

Слышать такое было крайне неприятно, и она тоже перестала писать отцу. Так вот и не осталось у нее никого, кроме Гэндзи, и могла ли не печалиться ее мысль о скорой разлуке?

— Если пройдут луны и годы, а мне так и не будет даровано прощение, — говорит Гэндзи, — я непременно возьму вас к себе, средь каких утесов ни пришлось бы нам поселиться (109). Но сейчас это ни в ком не встретило бы одобрения. Навлекшие на себя немилость двора не должны видеть даже ясного света луны и солнца, непосильным бременем отягощает свою душу тот, кто продолжает предаваться удовольствиям, словно ничего не случилось. За мной нет никакой вины, но неотвратимость предопределения принуждает меня смириться. Если же я, проявив поистине беспримерную дерзость, возьму с собой вас, охваченный безумием мир обрушит на нас новые, еще более страшные беды.

До тех пор, пока солнце не поднялось высоко над землей, он оставался в опочивальне. Навестить его пришли принц Соти и Самми-но тюдзё. Изъявив готовность принять их, Гэндзи облачился в носи — простое, без узоров, как и подобает человеку без звания*. Впрочем, это более чем скромное одеяние оказалось ему удивительно к лицу. Право, в мире не было человека прекраснее! Поправляя перед зеркалом прическу, Гэндзи нашел, что в его осунувшемся лице появилась какая-то новая утонченность.

— Как я похудел! — сказал он. — Неужели я и в самом деле такой, как в этом зеркале? Право, невольно начинаешь испытывать жалость к самому себе.

Он взглянул на госпожу, которая смотрела на него полными слез глазами, и сердце его сжалось от боли.

— Пусть меня самого
Ждут долгие годы скитаний,
Рядом с тобой
Останется зеркало это,
А в нем — отраженье мое, —

говорит Гэндзи, а она отвечает:

— Ах, если б и впрямь,
Остаться со мной могло
Твое отражение,
Я бы, в зеркало это глядя,
Утешалась в часы разлуки.

Эти слова она произносит совсем тихо, словно про себя и, прячась за столбом, пытается скрыть слезы. «Многих женщин я знал, но ни одна не сравнится с ней!» — думает Гэндзи, не отрывая от нее глаз.

Принц Соти долго беседовал с Гэндзи, всем видом своим выражая сочувствие, и уехал, когда стемнело.

Из Сада, где опадают цветы, приходили полные тоски письма, поэтому, подумав: «Она обидится, если я не навещу ее еще хоть раз», Гэндзи решил и эту ночь провести вне дома. Но так тяжело ему было расставаться с госпожой, что выехал он совсем поздно.

Нёго Рэйкэйдэн обрадовалась чрезвычайно:

— Ах, мы, ничтожные, не заслуживаем такого внимания...

Впрочем, подробно описывать все, что она сказала по этому поводу, слишком утомительно.

Совершенно беспомощные, женщины жили все эти луны и годы лишь милостями Гэндзи. Нетрудно представить себе, какое запустение воцарится скоро в их доме, где уже теперь было так безлюдно и тихо.

На небо выплыла тусклая луна, осветив довольно большой пруд, за которым темнели холмы, густо поросшие деревьями, и Гэндзи живо представил себе те «утесы», среди которых предстояло ему искать пристанище (109).

— Верно, уже не придет... — печалилась между тем обитательница Западных покоев.

Но вот, когда лунный свет, сообщаящий окружению особое очарование, был особенно мягок и нежен, донеслось до нее несравненное сладостное благоухание, и в покои тихонько вошел Гэндзи. Женщина приблизилась к порогу, и они долго любовались луной, не заметив за беседой, как настало утро.

— Как коротки ночи в эту пору! Но доведется ли когда-нибудь хоть так свидеться? Право, жаль становится лун и лет, прожитых столь бездумно. Судьба моя достойна того, чтобы о ней складывали предания, никогда сердце мое не ведало покоя...

Одушевленный воспоминаниями, Гэндзи долго рассказывает ей об ушедших в прошлое днях, но вот — еще и еще раз — кричит петух, и, дабы не подавать повода к молве, Гэндзи спешит уйти. Невольно напрашивается сравнение с исчезающей за краем гор луной, и сердце стесняется томительным волнением. На темном платье — лунные блики, в самом деле, и луна «глядит сквозь слезы...» (110).

— Знаю, слишком узки
Мои рукава, прикутившие
Сиянье луны,
И все же о том лишь мечтаю,
Как подольше его удержать, —

произносит она. Печаль ее столь трогательна, что нельзя не испытывать к ней сочувствие, и, желая утешить ее, Гэндзи говорит:

— Путь свой верша,
К нам вернется луна, засияет
Светло и чисто.
А пока не смотри на небо,
Закрытое грозными тучами...

Впрочем, можно ли на что-то надеяться в этом мире? Единственное, что постоянно, — это «горькие слезы» о неведомом будущем (111), одна мысль о котором погружает во мрак мое сердце.

В предрассветных сумерках Гэндзи покинул их дом.

Много забот было у него перед отъездом. Из людей, которые верно служили ему и не склонились перед нынешней властью, Гэндзи назначил служителей Домашней управы — как высших, так и низших, — дабы в его отсутствие присматривали за порядком в доме. Кроме того, он отобрал тех, кому предстояло разделить его участь. Он распорядился, чтобы подготовили самую скромную утварь, без которой не обойтись в горном жилище, и среди прочего — ларец с избранными произведениями китайского поэта* и другими сочинениями, а также семиструнное кото. Ничего, кроме этого, — ни роскошной утвари, ни богатых нарядов — не взял он с собой, решив во всем уподобиться бедному жителю гор. Всё, начиная с прислуги, перешло в ведение госпожи из Западного флигеля. Ей же Гэндзи передал грамоты на угодья, пастбища и другие принадлежащие ему владения. Что касается остального — складов, хранилищ, то, имея неизменную доверенность к Сёнагон, он отдал под ее начало нескольких преданных ему служителей и подробнейшим образом объяснил, как всем этим хозяйством госпоже управлять должно.

Дамы, прислуживавшие ему лично, — Накацукаса, Тюдзё и прочие — были в отчаянии. Гэндзи никогда не удостоивал их особым вниманием, но до сих пор они по крайней мере имели возможность видеть его. Увы, отныне у них не будет и этого утешения...

— Если останусь жив, то когда-нибудь снова вернусь сюда, — говорил им Гэндзи. — Тех из вас, кто готов ждать, прошу перейти пока в Западный флигель.

Призвав в покои госпожи всех дам, и высших, и низших рангов, он оделил их памятными дарами, сообразными званию каждой.

Кормилицам своего маленького сына и в Сад, где опадают цветы, Гэндзи помимо великолепных даров отправил изрядное количество самых разнообразных вещей, без которых нельзя обойтись в повседневной жизни. Кроме того, он отправил письмо Найси-но ками, как ни безрассудно это было.

«Я не вправе сетовать на Ваше молчание, но если б Вы знали, как тяжело и как горько расставаться с привычной жизнью...

Отмелей-встреч
Впереди не увидев, в отчаянье
Упал в реку Слез.
Подхватило меня течение,
И уносит все дальше.

Воспоминания — единственное мое утешение теперь, и хотя я понимаю, что, отдаваясь им, отягощаю душу новым бременем...»

Гэндзи старался писать кратко, опасаясь, что по дороге письмо попадет в чужие руки. Найси-но ками была вне себя от горя, и, как она ни крепилась, слезы неудержимым потоком катились из глаз, и рукава не вмещали их.

«На волнах реки Слез
Покачавшись, бесследно растает
Легкая пена,
Не дождавшись, пока течение
Ее к отмели-встрече прибьет».

Заметно было, что она плакала, когда писала это письмо, но почерк, выдававший сильнейшее душевное волнение, показался Гэндзи удивительно изысканным. «Уехать, так и не увидевшись с ней...» — посетовал он, но, поразмыслив, не стал настаивать на свидании, памятуя, что ее принадлежность к столь враждебно настроенному семейству требует от него особой осторожности.

Вечером накануне отъезда Гэндзи, желая поклониться могиле ушедшего государя, отправился в Северные горы.

Стояла пора, когда луна появляется на небе лишь перед самым рассветом, поэтому, прежде чем ехать, он решил навеститься к Вступившей на путь государыне.

Его усадили перед занавесями, и она сама приняла его. Разговор шел о принце Весенних покоев, и государыня не скрывала своей тревоги.

Давние и весьма глубокие чувства, их связывавшие, располагали к доверительной беседе, и немало трогательного было сказано в тот вечер. Государыня не утратила за эти годы ни милого нрава своего, ни красоты, и Гэндзи захотелось припомнить ей прежние обиды, но, увы, теперь это было тем более неуместно, и, подавив жалобы, он ничем не выдал себя. К тому же он хорошо понимал, что, поддавшись искушению, лишь увеличит свои страдания, а потому, проявив достаточное благоразумие, ограничился следующими словами:

— Я знаю за собой лишь одну вину, которая могла бы послужить причиной столь необъяснимых гонений, и безотчетный страх владеет моей душой. Пусть мне, ничтожному, и суждено исчезнуть из мира, но когда б я был уверен в будущем благоденствии принца...

Государыня прекрасно поняла, что он имел в виду, но ничего не ответила, хотя слова его не могли не найти отклик в ее сердце. На Дайсё же нахлынули воспоминания, и, не в силах сдерживаться, он заплакал. Трудно себе представить что-нибудь прелестнее его залитого слезами лица!

— Я отправляюсь теперь к государевой могиле. Не желаете ли чего передать? — спрашивает Гэндзи, но она молчит.

— Одного уже нет,
Беды грозят другому.
Близок к концу
Этот мир. Не напрасно ли
Отрекаюсь от него я, лишь слезы... —

наконец говорит она, справившись с волнением.

В каком же смятении были их чувства, и как трудно найти им достойное выражение!..

Уходил государь,
И казалось — беды исчерпаны
Этой разлукой.
Но, увы, еще больше горестей
Ожидает нас впереди.

Скоро на небе появилась луна, и Гэндзи отправился дальше. Он ехал верхом в сопровождении пяти или шести телохранителей, причем даже низшие из них были выбраны из самых преданных. Нет нужды еще раз говорить о том, как не похож был этот выезд на прежние!

Среди печальных спутников Гэндзи был и Укон-но дзо-но куродо, сопровождавший его в памятный день Священного омовения. Для него тоже миновало время надежд, имя его было исключено из списков придворных; лишенный звания и благосклонности двора, он пошел на службу к Гэндзи. «Да, ведь это же было здесь!» — внезапно вспомнил Укон-но дзо-но куродо, взглянув на Нижнее святилище Камо, и, спешившись, взял лошадь Гэндзи за поводья.

— Вспоминая тот день,
Когда с листьями мальвы в прическе
Выступал за тобой,
Не могу не пенять за жестокость
Богам из святилища Камо, —

говорит он. «Право, как тяжело, должно быть, у него на душе. Ведь в тот день он затмил многих!» — жалея его, думает Гэндзи. Спешившись, он тоже устремляет свой взор в сторону святилища и, словно прощаясь, проносит:

— Так, настала пора
С горестным миром расстаться.
Имя свое
Вверив богу Тадасу*,
Отправляюсь в далекий путь...

Укон-но дзо-но куродо, юноша глубоко впечатлительный, смотрит на него с восхищением. Вряд ли можно представить себе более трогательное зрелище!

Но вот Гэндзи достигает Высочайшей усыпальницы, и государь вспоминается ему так ясно, как если бы он видел его перед собой. Увы, какое бы высокое положение ни занимал человек, нет средств удержать его в этом мире, и остается лишь оплакивать его утрату.

Обливаясь горькими слезами, Гэндзи рассказывает о своих бедах, но, увы, не тщетно ли ждать ответа? Неужели ни одного наставления, ни одного совета не суждено ему больше услышать?

Могила заросла буйными придорожными травами, и, пока подходил он, раздвигая их, его платье еще больше увлажнилось. Внезапно луна скрылась за тучами, сгустились черные тени под деревьями, стало жутковато.

С чувством, что ему никогда уже отсюда не выбраться, Гэндзи склоняется перед могилой, и вдруг, словно живой, явственно различимый во тьме, встает перед ним государь. Гэндзи холодеет от ужаса, кровь леденеет в жилах, по телу пробегает дрожь.

Каким
Все это видится ныне
Его душе?
Образ милый в небе ловлю,
Но луна исчезает за тучей.

Когда совсем рассвело, Гэндзи возвратился в столицу и написал письмо принцу Весенних покоев. Гонцу было приказано вручить его Омёбу, которую Вступившая на путь государыня оставила при принце вместо себя.

«Сегодня я покидаю столицу. Больше всего я сожалею о том, что мне не удалось навестить Вас перед отъездом. Надеюсь, Вы понимаете, что мне приходится теперь испытывать, и объясните все принцу, — написал он ей:

Не знаю, когда
Я снова увижу столицу
В весенних цветах.
Мое время прошло, отныне
Стану бедным жителем гор...»

Письмо он прикрепил к ветке вишни, с которой осыпались почти все цветы.

— Вот, извольте взглянуть, — говорит Омёбу принцу, и он, совсем еще дитя, смотрит озабоченно.

— Что прикажете ответить? — спрашивает Омёбу, и принц говорит:

— Напишите господину Дайсё так: «И на несколько дней расставаясь с тобой, я не мог не грустить. Что же будет теперь, когда ты так далеко уезжаешь?»

«Весьма незамысловатый ответ», — думает Омёбу, с жалостью и умилением глядя на принца. Ей вспоминаются те давние дни, когда сердце Гэндзи стирало от недозволенной страсти; перед ее мысленным взором встает он сам — таким, каким был тогда. И он, и ее госпожа могли бы прожить свой век беспечно, но сами же навлекли на себя столько страданий. И не она ли, Омёбу, была тому виною?.. Вот как ответила она Гэндзи:

«Велико мое горе, и я едва собрала с силами, чтобы написать Вам. Я передала принцу Ваши слова, и он так печален, что сердце разрывается от жалости».

Она писала бессвязно, неверной рукой, избличающей душевное волнение:

«Печально смотреть,
Как быстро цветы опадают,
Уходит весна,
Но вослед ей гляжу с надеждой:
Возвращайся снова в столицу!

Так, пройдет время — и...»

Гонец ушел, а дамы, прислуживающие в Весенних покоях, долго еще шептались о чем-то, печально вздыхая и тайком утирая слезы.

Ни один человек, хоть однажды видевший Гэндзи, не мог остаться равнодушным, глядя на его омраченное лицо. Тем более велико было горе тех, кто ежедневно прислуживал ему. Даже самые ничтожные служанки и уборщицы, о существовании которых он и не подозревал, привыкши жить под сенью его милостивого покровительства, печалились и плакали тайком. Не видеть его хотя бы некоторое время казалось им тяжким испытанием. Да и кого могла радовать мысль о скорой разлуке с ним?

С семи лет Гэндзи ни днем, ни ночью не покидал высочайших покоев, а как государь выполнял все его просьбы, вряд ли нашелся бы человек, который хоть раз не прибегнул к его посредничеству и был бы теперь вправе не чувствовать себя обязанным ему. Среди высшей знати, чиновников Государственного совета и прочих важных особ многие были так или иначе облагодетельствованы Гэндзи, а среди людей низкого звания таких было еще больше, и вряд ли они забыли об этом, однако никто из них не решился выразить Гэндзи свое сочувствие, ибо все знали, сколь быстры на расправу нынешние правители. Разумеется, многие жалели его и втайне порицали находящихся у власти, но, видно, каждый думал: «Ну, пожертвую я своим положением и отправлюсь засвидетельствовать ему почтение — какая ему от того польза?»

К человеку, попавшему в немилость, многие начинают относиться с неприкрытой враждебностью, и Гэндзи в последнее время имел немало возможностей укрепиться в мысли о том, сколь далек от совершенства этот печальный мир.

Весь тот день Гэндзи провел в праздности, беседуя с госпожой, а когда стемнело, совсем как обычно, стал собираться в путь. Не желая привлекать к себе внимания, он, как подобает страннику, облачился в простое охотничье платье.

— Вот, кажется, и луна взошла... Не выйдете ли проводить меня? Нетрудно себе представить, как мне будет недоставать вас, сколько накопится в моей душе такого, чем захочется с вами поделиться. Ведь даже когда мы расстаемся на день или на два, у меня удивительным образом портится настроение, а теперь... — говорит Гэндзи и, приподняв занавеси, просит госпожу подойти ближе.

Она медлит, ибо ее душат рыдания, но потом все же выходит и садится у порога — лицо ее, залитое лунным светом, невыразимо прекрасно. «Куда повлечет ее жизнь, если, так и не успев вернуться, покину я этот непостоянный мир?» — думает Гэндзи. При мысли о будущем сердце его тоскливо сжимается, но, не желая еще больше огорчать госпожу, он с нарочитой беспечностью произносит:

— Я клялся когда-то
Быть рядом с тобою всегда,
До последнего часа.
Разве знал я тогда, что жизнь
Тоже может грозить разлукой...

Увы, напрасно...

— Мне жизни не жаль,
Отдала бы ее без сомнений,
Когда б этой ценой
Могла хоть на миг отдалить
Грозящую нам разлуку.

Искренность ее чувств не вызывала сомнений, и Гэндзи сделалось еще труднее расстаться с ней. Но приближалось утро, промедление вызвало бы ненужные осложнения, поэтому он поспешил выехать.

В пути образ госпожи неотступно стоял перед Гэндзи, с тяжелым сердцем садился он в лодку*. Была пора долгих дней, да и ветер выдался попутный, так что уже в стражу Обезьяны изгнанники достигли залива. Немного находились они в пути, но и такое путешествие было вновь для Гэндзи, до сих пор не изведавшего ни тягот, ни радостей, какие выпадают на долю странника.

Место, известное под название Оэдоно*, дворец Большой реки, оказалось в таком запустении, что его можно было узнать лишь по соснам.

Ужели затмить
Суждено мне того скитальца
Из китайской земли*?
Бреду куда-то без цели,
Где приют обрету — не знаю.

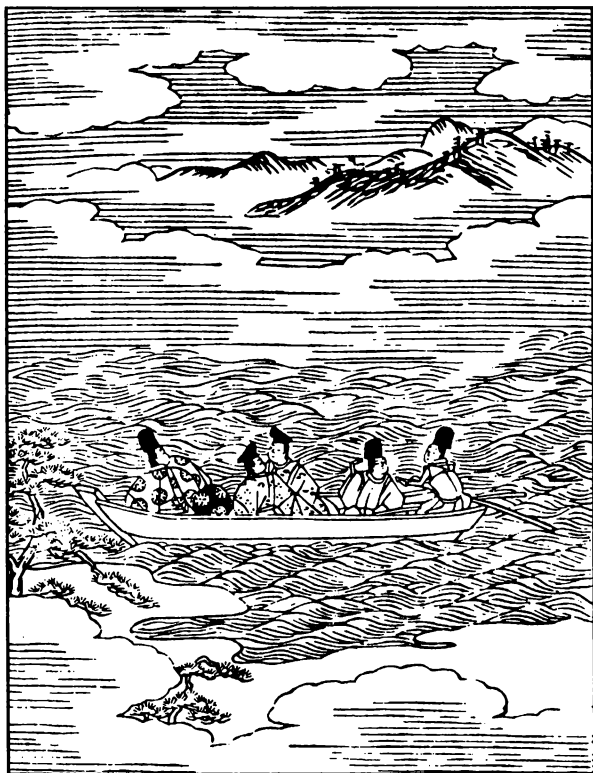
Глядя, как волны, ударяясь о берег, убегали обратно, Гэндзи произнес: «Как я вам завидую, волны!» (112) Эта известная всем старинная песня прозвучала здесь совершенно по-новому и показалась его спутникам особенно трогательной и печальной. Гэндзи оборотился назад: там, откуда они приехали, терялись в дымке горы, такие далекие, словно они и вправду были уже за «три тысячи ли...»*. И брызги с весла увлажнили рукава... (113) Какая тоска!

Родная земля
Осталась за горной грядой,
В дымке исчезла.
Но разве теперь над нами
Не та же обитель туч?

Увы, ничто не радовало здесь душу.

Место, долженствующее стать его пристанищем, было совсем недалеко от того, о котором Юкихира-тюнагон когда-то сказал: «С трав морских капли соли стекают, и текут безрадостно дни» (114).

Дом стоял в некотором удалении от моря, среди мрачных скал, один вид которых нагонял тоску. Все вокруг, начиная с изгороди, было непривычно взору Гэндзи. Крытый мискантом дом, длинные, похожие на галереи строения под тростниковыми крышами были по-своему красивы. Вполне обыкновенное для такой местности жилище поразило Гэндзи новизной, и невольно вспомнились ему утехы давно минувших дней: «Право, во всем этом есть определенная прелесть, и в других обстоятельствах...»



Гэндзи призвал управителей поблизости расположенных владений своих, и Ёсикиё-асон, один из самых преданных ему служителей Домашней управы, принял на себя все заботы, связанные с переустройством дома. Трогательно было смотреть, как он хлопочет.

За сравнительно короткое время дом был приведен в полный порядок, и вид его радовал взоры. В сад провели воду, повсюду посадили деревья, и постепенно Гэндзи начал свыкаться с новым окружением, хотя ему до сих не верилось, что все это происходит наяву.

Местным правителем оказался человек, хорошо знакомый Гэндзи и втайне к нему расположенный, а потому всегда готовый услужить. Дом Гэндзи, где было многолюдно и шумно, не имел ничего общего со случайным приютом в пути, и лишь то обстоятельство, что рядом с ним не было человека, которому он мог высказать мысли и чувства, в его душе зарождавшиеся, удручало его, иногда ему казалось даже, что он попал в чужой, неведомый край. «Как же я смогу прожить здесь долгие луны и годы?» — с ужасом думал он.

Между тем жизнь постепенно налаживалась. Скоро началась пора долгих ливней, и мысли Гэндзи невольно устремились в столицу. Многих вспоминал он с тоской, и прежде всего госпожу из Западного флигеля, чье печальное лицо до сих пор стояло перед его мысленным взором. Он часто думал о принце Весенних покоев, о своем маленьком сыне, — как беспечно играл он в тот день! — и о многих, многих других. В конце концов Гэндзи

отправил в столицу гонца. Лишь с большим трудом удалось ему написать письма госпоже из дома на Второй линии и Вступившей на путь государыне, ибо едва он брался за кисть, как слезы застилали его взор. Вот что он написал государыне:

«Как живется рыбачке,
На далеком Сосновом острове
В хижине бедной?
У жителя Сума промокло платье
От соленой морской воды... (99, 114)

Печаль всегда живет в моем сердце, но ныне свет померк в очах, и неразличимы во тьме прошедшее и будущее. Право, “даже воды ее, должно быть...” (115).

Написал он и к Найси-но ками, причем по обыкновению своему вложил обращенное к ней письмо внутрь того, что предназначалось для передачи «лично госпоже Тюнагон»:

«В унылой праздности своего нынешнего существования я часто вспоминаю о прошлом...

Был напрасен урок,
Встреч-трава желанна и здесь,
У моря Сума.
Что скажет о том рыбачка,
Чей удел выпаривать соль?» (116, 35)

Впрочем, нетрудно представить себе содержание всех его писем. Написал он и Левому министру, и лично кормилице Сайсё, прося ее получше заботиться о сыне.

Письма были доставлены в столицу, и немало горьких слез было над ними пролито.

Госпожа из дома на Второй линии была в таком отчаянии, что не поднималась с ложа. Не умея утешить ее, прислуживающие ей дамы лишь горевали вместе с нею. Глядя на вещи, которыми обычно пользовался Гэндзи, на кото, струн которого касались его пальцы, вдыхая аромат оставленных им одежда, она плакала так, словно он навсегда покинул этот мир. Сочтя это дурным предзнаменованием, Сёнагон, призвав монаха Содзу, велела ему творить молитвы в ее покоях, и, преисполненный жалости к госпоже, он молился как о том, чтобы обрела она утешение и покой осенил ее душу, так и о том, чтобы Гэндзи благополучно вернулся в столицу и зажили бы они по-прежнему.

Собрав дорожные спальные принадлежности, дамы отослали их Гэндзи. Глядя на платья, сшитые из жестковатой белой ткани и так непохожие на те, к которым он привык, госпожа не в силах была сдержать слез. Она никогда не расставалась с зеркалом, о котором Гэндзи сказал когда-то: «Рядом с тобой останется...», но, увы, что толку... Мучительная тоска сжимала ее сердце, когда глядела она на дверцу, через которую он входил в ее покои, на кипарисовый столб, к которому он прислонялся, сидя... (117) На ее месте пала бы духом даже женщина пожилая, рассудительная, привыкшая к превратностям этого мира, так могла ли не кручиниться она, неожиданно

разлученная с человеком, к которому привязана была беспредельно, который взрастил ее столь заботливо, заменив ей и отца и мать? Покинь он этот мир навсегда, тут уж ничего не поделаешь, возможно, со временем все и заросло бы травой забвения (118), но, насколько она знала, он находился не так уж и далеко, и все же вынуждены они были жить в разлуке, не ведая о том, «когда доведется свидеться вновь?» (119). Именно это и приводило ее в отчаяние.

Печаль Вступившей на путь государыни усугублялась еще и тревогой за судьбу принца Весенних покоев. Да и могла ли она оставаться равнодушной к невзгодам, обрушившимся на человека, с которым столь крепко связала ее судьба? Все эти годы глубоко в сердце тайла она свои чувства и трепетала от страха, понимая, что любое проявление их навлечет на нее всеобщее осуждение. Она делала вид, будто не замечает страданий Гэндзи, и старалась казаться строгой и неприступной. Теперь же, возвращаясь мыслями к прошлому, она поняла, что сохранением тайны обязана прежде всего ему, ибо, стараясь не поддаваться искусительным стремлениям сердца и неизменно отдавая дань приличиям, он сумел ничем не выдать себя, а потому, как ни злы людские языки, ни у кого не возникло ни малейшего подозрения. И могла ли она в эти дни не сочувствовать ему и не печалиться?

Ответ ее был теплее, чем обыкновенно:

«Увы, и я с каждым днем...

Дело есть у нее:
На Сосновом острове соль
Добывает из слез
Рыбачка, бросая в костер
Хворост жалоб своих». (99, 114)

А Найси-но kami ответила весьма кратко:

«Разжигают костры
У залива. Сокрыто от взоров
Пламя любви.
Дым, не имея выхода,
Грудь мне теснит».

Но, право, стоит ли снова обо всем этом писать?

Ответ Найси-но kami был вложен в письмо от ее прислужницы, Тюнагон. А уж та написала, как безмерна печаль госпожи. Многое в письме показалось Гэндзи чрезвычайно трогательным, и он вздыхал, читая и перечитывая его.

В письме госпожи из Западного флигеля сквозила такая нежность, что Гэндзи был растроган до слез:

«Там, за грядою волн
Рукавами черпаешь
Воду морскую...
Но если б увидел ты
Рукава у меня в изголовье...»

Присланные одежды были искусно окрашены и прекрасно сшиты. Видя, сколь многообразны совершенства госпожи, Гэндзи посетовал на свое одиночество и невольно подумал о том, как счастливо могли бы они жить вдвоем на этом побережье. Так, здесь никто не требовал бы его внимания, и оно всецело принадлежало бы ей одной. И днем и ночью перед его мысленным взором стоял ее образ, порою воспоминания становились так мучительны, что у него снова возникало желание потихоньку забрать ее к себе, однако он неизменно отказывался от этой мысли. «Лучше подумаю о своих заблуждениях и постараюсь очиститься», — решил он наконец и с тех пор все время свое отдавал посту и молитвам.

Гонец принес письмо и из дома Левого министра. Читая о том, как проводит дни его маленький сын, Гэндзи ощутил новый приступ тоски, но постарался взять себя в руки. «С ним-то я увижусь непременно, да и заботятся о нем надежные люди, так что оснований для беспокойства нет». И все же ни на каком другом пути он не блуждал так, как на этом.

Да, вот еще что: в сумятице этих дней забыла я рассказать о том, что Гэндзи послал письмо и в обитель жрицы Исэ. Случилось же так, что немного раньше оттуда тоже отправили гонца.

Письмо мясудокоро было искренне нежным. Неповторимое изящество слога, почерка свидетельствовало о подлинной утонченности натуры.

«Моя душа блуждает во мраке беспросветной ночи с того самого дня, когда дошла до меня весть о поистине невероятных переменах, происшедших в Вашей жизни. Я тешу себя надеждой, что пройдет совсем немного времени, и Вы вернетесь. Но, увы, как далек тот миг, когда увижу Вас я, отягощенная столькими прегрешениями.

Рыбачка в Исэ
Рвет у моря горькие травы,
Быть может, ее
Ты вспомнишь, глядя, как соль
С трав стекает в далеком Сума (114).

Право, как печально все в этом мире... И что ждет нас впереди? — Подобных сетований было немало в ее письме:

У моря Исэ
Даже в отлив не найдешь
Ракушек удачи.
Одни пустые надежды
Оставила мне судьба».

Она долго писала это письмо, откладывая кисть всякий раз, когда не имела сил сдерживать сдавленные в груди и просящиеся наружу чувства, и в конце концов исписала четыре или пять листов белой китайской бумаги, причем переходы туши, соразмерность строк поражали удивительным совершенством.

В прежние дни эта женщина была любезна сердцу Гэндзи, но после несчастья, которое произошло в доме Левого министра, он в ужасе отшатнулся от нее, несправедливо обвинив в случившемся. Она же, удрученная

его холодностью, решила расстаться с ним и уехала. Вспоминая об этом теперь, Гэндзи жалел ее и терзался угрызениями совести.

Письмо, полученное в таких обстоятельствах, показалось ему особенно трогательным, и даже к концу испытывая теплые чувства, Гэндзи задержал его у себя дня на два или на три, желая получше расспросить о жизни миясудокоро в Исэ.

Гонцом же был юноша весьма достойной наружности, обычно прислуживающий жрице. В столь стесненных обстоятельствах жил теперь Гэндзи, что даже этот незначительный человек мог приблизиться к нему и пусть мельком, но все же увидеть его лицо. Разумеется, восхищению его не было пределов. Нетрудно себе представить, что написал Гэндзи в ответ...

«Когда б я знал, что придется мне вот так покинуть столицу, я, наверное, последовал бы за Вами. Я часто думаю об этом в унылой праздности моего нынешнего существования.

Право, чем собирать
В Сума горькие травы,
Было бы лучше
В лодке жителя Исэ
На морских качаться волнах...»*

Бросает рыбак
В костер хворост жалоб своих,
И каплями соль
Стекает, сколько еще
Суждено мне на это смотреть? (114)

Увы, когда еще доведется нам свидеться? Беспредельна моя тоска...» — вот что было написано в его письме помимо всего прочего.

Таким образом сообщался он со многими, не желая, чтобы тревожились они, вестей от него не имея.

Гонец принес письма и из Сада, где опадают цветы. Отвечая Гэндзи, обе женщины спешили поделиться с ним мыслями и чувствами, зародившимися в их сердцах в дни разлуки. Их письма показались Гэндзи весьма занятыми и довольно необычными, им удалось рассеять его мрачные мысли, и вместе с тем они послужили поводом для новой печали.

«Ветшает стреха,
И грусть-трава подступает
Все ближе и ближе.
Гляжу, и обильно роса
На мои рукава ложится...» —

было написано там среди прочего, и верно — кроме густого бурьяна, не осталось у них теперь никакой опоры в жизни. Услышав же, что в пору дождей кое-где разрушилась стена, их дом окружавшая, Гэндзи немедленно отправил в столицу гонца с соответствующими указаниями для служителей Домашней управы, затем, призвав управителей владений своих, расположенных неподалеку от столицы, повелев им принять надлежащие меры.

Госпожа Найси-но ками крайне удручена была тем, что имя ее стало предметом для насмешек, и Правый министр, любивший ее более других дочерей, неоднократно просил о заступничестве Государыню-мать и даже сам ходатайствовал за нее перед Государем. В конце концов Государь решил, что ничто не мешает ему простить ее, тем более что она не имела звания нёго или миясудокоро, устанавливающего пределы его великодушию, а выполняла самые обычные придворные обязанности. К тому же разве не подверглась она достаточно суровому наказанию за свое недостойное поведение? Итак, Найси-но ками получила прощение и возвратилась на придворную службу, но и тогда не переставала она тосковать по тому, к кому давно уже влеклось ее сердце.

На Седьмую луну Найси-но ками переехала во Дворец. Она по-прежнему пользовалась чрезвычайным благоволением Государя, который, пренебрегая пересудами, часто призывал ее к себе и то раздражался упреками, то с трогательной пылкостью уверял ее в неизменности своих чувств.

Государь был очень хорош собою, но, глядя на его нежные, кроткие черты, неблагодарная Найси-но ками неизменно вспоминала другого.

Как-то раз, когда услаждали они слух своей музыкой, Государь сказал, обращаясь к ней:

— Вряд ли кого-то могло бы мне так не доставать, как недостает господин Дайсё. Впрочем, есть люди, которых его отсутствие должно печалить еще больше. Право, кажется, что мир вокруг утратил свой блеск. Я нарушил последний завет прежнего государя, и возмездие ждет меня в будущем, — сетовал он, заливаясь слезами.

Глядя на него, плакала и Найси-но ками.

— Постыла мне жизнь в этом мире, и не хотелось бы надолго задерживаться в нем. Желал бы я знать, какие чувства пробудит в вашем сердце мой уход? Больно думать, что вы будете горевать куда меньше, чем теперь, хотя он-то покинул вас не навсегда... Ах, верно, слова: «хочу видеть тебя теперь...» (120) произнес недостойный человек, — говорит Государь. Голос его звучит так нежно и столь трогательно его печаль, что новые потоки слез извергаются из глаз Найси-но ками.

— Вот и теперь — кого вы оплакиваете? — спрашивает Государь. — Жаль, что у вас до сих пор нет детей. Я преисполнен решимости поступить с принцем Весенних покоев так, как мне было завещано, но боюсь, что мне могут помешать, — сокрушается он.

И в самом деле, рядом с Государем находились люди, которые вершили дела правления помимо его воли, а в его юном сердце не было твердости, и слишком о многом приходилось ему сожалеть.

А в Сума тем временем дул тревожно-тоскливый осенний ветер (121), по ночам совсем рядом шумели морские волны, о которых Юкихира-тюнагон наверняка сказал бы: «Никаких застав не страшась...» (122) Право, на свете нет другого такого места, которому осень сообщала бы столько печального очарования.

Однажды ночью, когда немногочисленные спутники его спали, Гэндзи долго не мог уснуть и, «приподняв изголовье»*, прислушивался к бушующей вокруг непогоде. Казалось, волны вот-вот заплещут у самого ложа; он не замечал, что из глаз его льются слезы, а между тем уже и «изголовье готово

было всплыть...» (123). Взяв кото, он тронул пальцами струны, но даже в звуках, рожденных его собственной рукой, слышалось ему что-то жутковатое, и он перестал играть.

— Рыдаю в тоске,
И вторят моим стенаньям
Волны морские.
Не оттуда ли дует ветер,
Куда думы стремятся мои? (124) —

произнес он, а приближенные, разбуженные звуками его голоса, восхищенно внимать стали и, растроганные до слез, поднялись, всхлипывая украдкой.

Что они должны чувствовать теперь? Ради него пустились они в скитания, покинув родных и близких, с которыми никогда не желали бы расставаться. А он своим мрачным видом вовлекает их в еще большее уныние... И, постаравшись взять себя в руки, Гэндзи принялся шутить и ласково беседовать со своими спутниками, дабы оживить их упавший дух. Спасаясь от скуки, он целыми днями упражнялся в искусстве письма, подобрав для этой цели разноцветные листки бумаги и соединив их между собой. На превосходном китайском шелке писал он картины, и сделанные потом из этого шелка ширмы вызывали всеобщее восхищение. Если в столице, слыша рассказы о море и о горах, Гэндзи сумел составить себе о них вполне определенное представление, то теперь, увидев их вблизи, вынужден был признать, что воображаемому и в самом деле далеко до действительного, и спешил запечатлеть на бумаге скалистое побережье, ставшее его пристанищем.

— Жаль, что нельзя пригласить сюда лучших мастеров наших дней Тиэда или Цунэнори*, чтобы они выполнили эти картины в цвете, — сетовали его приближенные.

Эти четыре или пять человек и помыслить не могли о том, чтобы оставить Гэндзи, все свои горести забывали они, глядя на прекрасное лицо своего господина, и, ощущая его дружеское к ним расположение, почитали за великую честь прислуживать ему.

Однажды в прекрасный вечерний час, когда цветы в саду поражали многообразием и яркостью красок, Гэндзи вышел на галерею, откуда было видно море. Его несравненная красота всегда повергала окружающих в благоговейный трепет, а здесь, в этой глуши, он еще меньше походил на человека, принадлежащего земному миру. На нем нижнее одеяние из мягкого белого шелка, шаровары из ткани цвета «астра-сион», небрежно наброшенное поверх всего этого яркое верхнее платье со свободно завязанным поясом... Вот он начинает неторопливо читать сутру, прежде назвавшись учеником будды Шакья-Муни...* Право, в целом мире не найдешь голоса прекраснее.

С моря доносятся грубые песни рыбаков. Их лодки кажутся с берега маленькими морскими птицами, качающимися в волнах, и нельзя не печалиться, на них глядя. По небу вереницей тянутся дикие гуси, их крики так легко можно принять за скрип весел... Задумчиво глядя на них, Гэндзи отирает невольные слезы, и его рука, которой белизна составляет резкую противоположность с черными четками, поражает такой красотой, что утешаются даже те, кто тоскует по оставленным в столице женам.

— Эти первые гуси —
Не друзья ли моей любимой?
В небе путь свой верша,
Пролетают они надо мною,
Крича так тоскливо, тревожно... —

произносит Гэндзи, а Ёсикиё добавляет:

— Посмотришь —
Вереницей потянутся в памяти
Минувшие годы...
Хоть и не были эти гуси
Нам друзьями тогда...(166)

Затем вступает Мимбу-но таю:

— Своевольно покинув
Обитель бессмертных, гуси
Над нами кричат.
Прежде казалось, они далеки,
По ту сторону туч...

А вот какую песню сложил Укон-но дзо-но куро-до:

— Обитель бессмертных
Покинув, скитаются гуси
По просторам небес...
Утешенье у них одно —
Никто не отбилась от стаи...

Что будет с тем, кто потеряет друзей? — добавляет он.

Этот человек решился разделить участь Гэндзи, отказавшись последовать за своим отцом в Хитати, куда тот был назначен правителем, поэтому, несмотря на тоску, снедавшую его душу, сохранял наружное спокойствие и казался вполне уверенным в себе.

Но вот на небо во всем великолепии своем выплывает луна. Гэндзи вспоминает, что сегодня Пятнадцатая ночь, и сердце его сжимается от тоски при мысли о том, какая прекрасная музыка звучит в этот миг во Дворце. Он представляет себе, как во многих столичных домах любуются теперь луной, и не отрывает глаз от лунного лика.

— «Сердце мое со старым другом — за две тысячи ли...»* — произносит он, и снова у всех текут по щекам слезы.

Вспоминает Гэндзи тот миг, когда Вступившая на путь государыня сказала: «Многослойный туман...», и сердце его сжимается грустно. В памяти всплывают проведенные подле нее часы, и слезы текут нескончаемым потоком.

— Уже совсем ночь, — напоминают ему, — но он все медлит.

Смотрю на луну,
И на миг тоска отступает,
Хотя далека
Столица и я не знаю,
Увижу ли снова ее.

С умилением вспоминает Гэндзи ту ночь, когда так доверительно беседовали они с Государем и тот поразил его своим поистине необыкновенным сходством с ушедшим...

— «Государь мне пожаловал платье тогда, оно и теперь со мной»*, — произносит он, удаляясь в свои покои. Гэндзи и в самом деле весьма дорожил этим платьем и никогда не расставался с ним.

В сердце моем
Не только горечь обиды.
И левый рукав,
И правый — оба промокли
От неиссякаемых слез...

Как раз в это время в столицу возвращался Дадзай-но дайни. Семейство у него было большое, да и дочерей немало, а поскольку дорога из Цукуси в столицу изобиловала трудностями, обитательницы Северных покоев поехали морем.

Неспешно плыли они вдоль берега, любуясь окрестными видами, и побережье Сума невольно привлекло их внимание своеобразной красотой. Узнав же, что место это служит пристанищем господину Дайсё, ветреные девицы так взволновались и засмущались, как будто он мог их увидеть. А госпожа Госэти была просто в отчаянии, но, увы, их лодку тянули все дальше, дальше, лишь иногда ветер доносил до нее далекий голос кото...

Печальное побережье, связанный с ним образ Дайсё, тоскливое пение струн — все это, вместе взятое, произвело столь глубокое впечатление на женщин, во всяком случае на тех, которые обладали чувствительным сердцем, что они не могли удержаться от слез.

Дадзай-но дайни отправил Гэндзи письмо следующего содержания:

«Я предполагал по возвращении в столицу из мест столь отдаленных прежде всего посетить Вас, дабы побеседовать обо всем. Как же горько и досадно проплывать мимо этого дикого побережья, куда столь неожиданно забросила Вас судьба. Меня должны встречать многие мои близкие, поэтому, не желая стеснять Вас, я отказался от удовольствия засвидетельствовать Вам свое почтение. Надеюсь, мне удастся осуществить свое желание как-нибудь в другой раз».

Письмо принес его сын, правитель Тикудзэн. Когда-то Гэндзи содействовал его назначению служащим Императорского архива, да и потом не раз оказывал ему покровительство, поэтому юноша был крайне огорчен переменами, происшедшими в жизни Гэндзи, и весьма сочувствовал ему, но, опасаясь недобрых взглядов и пересудов, не решился задерживаться в его доме.

— С того дня, как я покинул столицу, мне почти не приходится встречаться с близкими прежде людьми, и я очень признателен, что вы нарочно заехали навестить меня, — сказал ему Гэндзи. Так же он ответил и Дадзай-но дайни.

Правитель Тикудзэн, рыдая, вернулся в лодку и рассказал об увиденном в доме Гэндзи. Слушая его, Дадзай-но дайни и встречающие тоже плакали, да так громко, что становилось страшно, как бы не навлекли эти слезы еще больших несчастий. Госпожа Госэти нашла средство передать Гэндзи письмо следующего содержания:

«Пение струн
В пути задержало лодку,
И она среди волн
Замерла. Смятенную душу
Сумеешь ли ты понять?..

“Нет, не время теперь меня осыпать упреками” (125), будьте же снисходительны...»

Гэндзи читал ее письмо, улыбаясь, и улыбка сообщала его лицу такое очарование, что окружающие невольно стыдились собственной заурядности.

«Если лодка твоя
Закачавшись в волнах, внезапно
Потеряла покой,
Как удалось миновать ей
Печальную бухту Сума?

Я и не думал о том, что “станут рыбацкие снасти привычны моим рукам...”» (126) — ответил ей Гэндзи.

Всем известно, какую радость доставили хозяину постоянного двора стихи, сложенные когда-то неким скитальцем*, но радость госпожи Госэти была еще больше, она даже подумала, уж не останется ли ей в Сума?

Тем временем в столице дни и луны сменяли друг друга, и многие, прежде всего сам Государь, с тоской вспоминали опального Дайсё. Более других горевал принц Весенних покоев. Беспреданно вспоминая Гэндзи, он плакал украдкой, и его безутешная печаль сокрушала сердца кормилицы и госпожи Омёбу. Вступившая на путь государыня и раньше терзалась дурными предчувствиями, теперь же, когда даже Дайсё был далеко, будущее принца внушало ей еще большую тревогу.

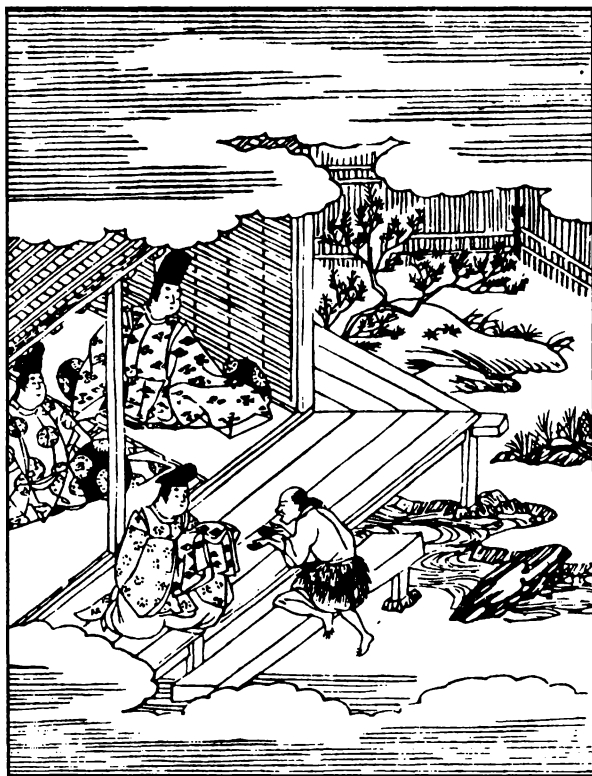
Братья Гэндзи и юноши из знатных семейств, с которыми он был близок прежде, сначала писали ему, обменивались с ним трогательно-печальными китайскими стихами, из которых многие вызвали всеобщее восхищение. Когда же слух о том дошел до Государыни-матери, она, разгневавшись, заявила:

— Человек, навлекший на себя немилость двора, не имеет права даже пищу вкушать по собственному усмотрению. А Дайсё живет в прекрасном доме, да еще смеет выказывать недовольство. Более того, находятся безумцы, готовые следовать за ним, словно за тем смутьяном, который назвал когда-то оленя конем*.

Разумеется, ее слова быстро стали известны в мире, и так велик был страх перед ней, что больше никто уже не осмеливался писать Гэндзи.

Шло время, а госпожа из дома на Второй линии все не могла утешиться. Дамы, ранее прислуживавшие в Восточном флигеле, поначалу относились к ней с некоторым пренебрежением: «Чем она лучше других?», но, узнав ее ближе, по достоинству оценили ее чуткость и приветливый нрав, ее ум и доброту — словом, ни у кого и мысли не возникало покинуть ее.

Некоторые прислужницы высокого ранга, которые имели возможность иногда видеть лицо госпожи, единодушно признавали, что Гэндзи недаром сосредоточил на ней свои помыслы.



Чем дольше жил Гэндзи в Сума, тем мучительнее становилась его тоска. Разумеется, будь с ним госпожа... Но, представив ее себе в этом бедном жилище, с которым даже ему трудно было мириться... О нет, не подобало ему теперь иметь ее рядом с собой, и как ни велико было искушение... Все на этом диком побережье казалось Гэндзи чужим, непривычным, он наблюдал, как живут бедняки, о существовании которых и не подозревал прежде, и слишком многое в их жизни неприятно изумляло его и заставляло роптать на судьбу, занесшую его в столь неподходящее место.

Иногда, глядя, как где-то рядом поднимаются к небу тонкие струйки дыма, он думал: «Наверное, это тот самый дымок над костром» (108), а оказывалось, что в горах за домом жгли так называемый хворост. Все это было так странно и необычно...

Разжигают костры
Горные жители в чаще.
Вы почаще ко мне
Приходите, я так одинок,
Люди с родины милой...

Настала зима, и, когда вокруг бушевала метель, Гэндзи, с тоской глядя на ужасающе мрачное небо, призывал на помощь музыку. Сам он брал кото, Ёсикиё пел, а Корэмицу играл на флейте. Иногда Гэндзи начинал вдруг

играть какую-нибудь печальную, трогательную мелодию, и тогда смолкали другие инструменты, а музыканты отирали слезы.

Однажды, вспомнив женщину, некогда отданную гуннам*, Гэндзи подумал: «Каково было ей? А мог бы я отослать так далеко свою возлюбленную?» Однако, даже представив себе такую возможность, он содрогнулся и, отогнав от себя не сулящие ничего доброго мысли, прошептал:

— «Прерывая сон ее зябкой ночью...»*

Яркий лунный свет проникал в дом, освещая самые дальние углы этого случайного приюта странника. Всю ночь, не вставая с ложа, «можно было видеть синее небо»*. Свет заходящей луны нагонял нестерпимую тоску, и Гэндзи тихонько, словно про себя, произнес:

— «Я просто все продвигаюсь на запад...»*

Куда заведут
 Меня небесные тропы?
 В тучах блуждаю.
 Луна на меня глядит,
 И перед нею мне стыдно...

Сон все не шел к нему, и он слышал, как в рассветном небе тоскливо кричали кулики.

Близок рассвет.
 Слышу я: призывая друг друга,
 Кричат кулики.
 Под их крики не так тяжело
 Одному по утрам просыпаться...

Все еще спали, и Гэндзи долго лежал, повторяя про себя эту песню.

Каждый раз, когда наступала ночь, Гэндзи совершал омовение и приступал к молитвам, возбуждая изумление и восторг в сердцах своих приближенных. Никто из них и помыслить не мог о том, чтобы оставить его и хотя бы ненадолго уехать к своим семьям в столицу.

Бухта Акаси находилась совсем недалеко от Сума, буквально рукой подать, и Ёсикиё, вспомнив о дочери Вступившего на Путь, отправил ей письмо, но она не ответила. Зато отец на словах передал ему следующее: «Есть у меня к вам дело, и, если вы выберете время навестить нас...» Однако Ёсикиё, не рассчитывавший на его согласие, не испытывал никакого желания ехать в Акаси для того лишь, чтобы бесславно возвратиться обратно и стать предметом для насмешек, а потому никуда не поехал.

А надо сказать, что Вступивший на Путь был гордецом, каких свет не видывал, и, хотя в Харима не было семейства более влиятельного, чем семейство правителя, он давно уже упрямо отвергал возможность породниться с ним. Услышав же, что неподалеку поселился господин Дайсё, обратился к супруге своей с такими словами:

— В Сума приехал навлекший на себя немилость двора сын обитательницы павильона Павлонии Блистательный Гэндзи. Это судьба. На такую удачу я и не надеялся. Мы должны, воспользовавшись случаем, предложить ему дочь.

— Что за вздор! От столичных жителей я слыхала, что он связан со многими высокородными особами, говорят даже, что он осмелился посягнуть на даму, принадлежащую самому Государю, из-за чего и поднялся весь этот шум. Так неужели такой человек обратит внимание на жалкую провинциалку?

— Вам этого не понять! — рассердился Вступивший на Путь. — Но я знаю, что делаю. Готовьтесь! При первой же возможности я привезу его сюда.

Он говорил уверенно, и чувствовалось, что поколебать его решимость не удастся. По его распоряжению в доме срочно обновили убранство и сшили новые, великолепные наряды для молодой госпожи. Но мать продолжала ворчать:

— Виданное ли это дело отдавать дочь человеку, который за какие-то провинности подвергся гонениям? Я еще понимаю, если бы он сам увлекся ею! Право, даже в шутку невозможно представить себе такое.

Но Вступивший на Путь и слушать ничего не хотел:

— Если говорить о тех, кто подвергался гонениям, то и в Китайской земле, и в нашей это всегда были люди выдающихся талантов, которые во всем превосходили других. Да знаете ли вы, кто он? Ведь его умершая мать, миясудокоро, была дочерью Адзэти-но дайнагона, который приходится мне дядей. Ее исключительные достоинства помогли ей составить себе доброе имя, и, попав в конце концов на службу во Дворец, она снискала несравненную благосклонность Государя, но одновременно возбудила жгучую ненависть в сердцах завистливых дворцовых дам и, оказавшись не в силах противостоять ей, покинула этот мир, оставив после себя сына. Воистину, достойное завершение жизни! Женщина должна иметь самые высокие устремления. Не может же он пренебречь нашей дочерью только потому, что отец ее — жалкий провинциал?

Дочь Вступившего на Путь нельзя было назвать необыкновенной красавицей, но черты ее были нежны и благородны, к тому же она обладала чувствительным сердцем, а изяществом манер вряд ли уступила бы особе самого безупречного происхождения. Прекрасно сознавая, сколь незначительно ее нынешнее положение, девушка думала: «Человек благородный никогда не обратит на меня внимания. Так что вряд ли мне суждено найти достойного супруга. Если жизнь моя окажется долгой и доведется мне пережить своих близких, я стану монахиней или брошусь в волны морские».

Вступивший на Путь нежно заботился о дочери и два раза в год отправлял ее на поклонение в Сумиёси* в тайной надежде на то, что боги помогут ей.

Тем временем в Сума год сменился новым, долгие дни тянулись в томительной праздности, скоро появились первые цветы на посаженной в саду молоденькой вишне... Небо было безоблачным, и Гэндзи, возвращаясь мыслями к прошлому, часто плакал.

Год назад, в двадцатые дни Второй луны, он покинул столицу, расставшись с любезными его сердцу людьми. О, если б мог он увидеть их теперь! Наверное, у Южного дворца уже расцвели вишни... Он вспоминал тот давний праздник цветов, отца, которого не было больше в этом мире... Перед его глазами вставала изящная фигура Государя, изволившего прочесть вслух сложенные им, Гэндзи, стихи...

С неизменной тоской
 Вспоминаю утехы дворцовые.
 Вот и снова пришел
 День, который когда-то
 Проводил, украшаясь цветами? (127)

В один из самых унылых дней появился Самми-но тюдзё из дома Левого министра. Теперь он носил звание сайсё.

Обладая немалыми достоинствами, господин Сайсё сумел снискать благосклонность двора, но ничто в мире его не радовало. С тоской вспоминал он Гэндзи и в конце концов, решив пренебречь наказанием, которое непременно ждало его в случае огласки, отправился в Сума. Увидел он друга, и слезы радости — или «слезы печали»? (128) — заструились по его щекам. Дом, в котором жил теперь Гэндзи, поразил Сайсё своей необычностью. Что-то китайское почудилось ему в нем. И в самом деле: бамбуковый плетень, каменные ступени, сосновые столбы...* Как часто приходилось ему видеть нечто подобное на картинах! Просто и вместе с тем необычайно изысканно.

Сам Гэндзи тоже стал похож на жителя гор: поверх желтоватого нижнего одеяния дозволенного оттенка он носил зеленовато-серое охотничье платье и такие же шаровары — наряд более чем скромный. Судя по всему, Гэндзи намеренно старался походить на провинциала, однако же он и теперь был так хорош собой, что, глядя на него, невозможно было удержаться от улыбки. В его доме имелась лишь самая необходимая утварь, покои просматривались насквозь.

Доски для игры в «го» и «сугороку»*, принадлежности для «танги»* явно были изготовлены местными мастерами, утварь для молитвенных обрядов имела такой вид, будто хозяин только что отложил ее. Поданные яства были приготовлены особенно, по-местному, и пришлось Сайсё по вкусу. Потом Гэндзи велел позвать рыбаков, которые принесли рыбу и раковины, и друзья разглядывали их, расспрашивая о том, как влачат они свои дни здесь, у моря, рыбаки же рассказывали о своем тяжелом житье и поверяли им свои горести. «Право, эти люди, щебечущие что-то невразумительное, страдают так же, как и мы», — думал гость, с сочувствием глядя на рыбаков. А те, получив новые платья и другие дары, возрадовались: «Не так уж и плоха, видно, жизнь». Сайсё не мог сдержать изумления, наблюдая, как слуги, извлекая рисовую солому из видневшегося напротив строения, напоминающего амбар, задавали корм стоящим неподалеку лошадям.

Он запел «Колодцы Асука»*, потом, то плача, то смеясь, друзья принялись делиться воспоминаниями о том, что произошло в жизни каждого со дня их последней встречи.

— Министр целыми днями вздыхает, тревожась за судьбу любимого внука, который тем временем беззаботно резвится, не обременяя себя мыслями о житейских сложностях, — сказал Сайсё, и сердце Гэндзи сжалось от тоски.

Невозможно записать весь их разговор полностью, так стоит ли вообще на нем останавливаться?

Всю ночь они бодрствовали и встретили рассвет, слагая стихи. Но Сайсё все-таки боялся огласки, а потому торопился обратно. Право, лучше бы он не приезжал...

Вот, подняв на прощание простые глиняные чаши, оба, и гость и хозяин, произносят:

— «Опьянение печалит, слезы льются в весенние чаши...»*

И все присутствующие, глядя на них, роняют слезы. Увы, слишком короткой была эта встреча, и можно ли не сожалеть о разлуке? По рассветному небу тянутся вереницы гусей...

— Когда же придет
Та весна, когда я вернусь
В родную столицу?
Вижу: гуси домой улетают,
И зависть рождается в сердце... —

говорит хозяин, а гость все медлит, не в силах расстаться с ним:

— Гуси грустят,
Покидая тот край, где на время
Приют обрели...
Как, ослепнув от слез, найду я
Дорогу в столицу цветов?

Сайсё преподносит Гэндзи превосходные дары, привезенные нарочно для него из столицы, а тот, не зная, как отблагодарить друга, выводит вороного жеребца.

— Многие считают, что дары опального изгнанника могут принести несчастье, но ведь «подует северный ветер, и он заржет...»*

Конь же — красоты редкостной.

— А вот и тебе на память, — говорит Сайсё, протягивая Гэндзи свою прекрасную, прославленную флейту.

Большого они не могут себе позволить, ведь люди готовы перетолковать в дурную сторону все, что видят и слышат...

Солнце стоит высоко, медлить больше нельзя, и Сайсё выходит, то и дело оглядываясь, а Гэндзи провожает его взглядом. Ах, уж лучше бы он не приезжал!

— Когда теперь суждено нам встретиться? Но все равно, ведь невозможно себе представить, чтобы... — говорит Сайсё, а Гэндзи произносит:

— Высоко, журавль,
Ты летаешь, с тучами рядом,
Оттуда с небес
Ты взгляни и увидишь — чист я,
Как этот весенний день...

Разумеется, надежда не оставляет меня, но, увы, даже мудрым мужам былых времен, оказавшимся в подобном положении, нелегко было вернуться потом в мир, потому мне и не верится, что когда-нибудь я снова увижу столичные пределы...

— В заоблачной дали
Одинокий журавль рыдает,
Вспоминая с тоской
О друге любимом, с которым
Летел рядом, крылом к крылу...

Мы всегда были близки, хотя, возможно, я этого и не заслуживал, и теперь мне так тоскливо. Видно, и в самом деле не зря говорят: «не спеши привыкать...» (33)

Так и не успев открыть друг другу всех мыслей своих и чувств, они расстались, и после отъезда Сайсё жизнь Гэндзи стала еще печальнее, еще тягостнее.

В том году Третья луна начиналась со дня Змеи*.

— Сегодня все, у кого есть какая-то тревога на сердце, должны подвергнуться очищению, — сказал со знающим видом кто-то из приближенных Гэндзи, а как тот и сам не прочь был полюбоваться морем, тотчас же отправились на берег и, загородив Гэндзи простой занавеской, призвали странствующего гадалщика и велели ему немедленно приступить к обряду.

Глядя, как волны уносят лодку с пышно наряженной куклой, Гэндзи невольно сравнил ее судьбу со своей:

— Нежданно-негаданно
По прихоти волн заброшена
В бескрайнее море.
И как теперь бедной кукле,
Не сетовать на судьбу?

Его ярко освещенная фигура казалась прекраснее, чем когда-либо. Сияющая морская гладь расстилалась перед ним, и не было ей конца. Продолжая размышлять о прошедшем и о грядущем, Гэндзи сказал:

— Мириады богов,
Сжальтесь хоть вы надо мною,
Милость явите.
Ведь за собой не знаю
Я никакой вины...

Неожиданно подул ветер, и небо потемнело. Так и не завершив всех обрядов, люди засуетились, собираясь в обратный путь. Внезапно, так что никто и рукой не успел прикрыться, хлынул ливень, и, испуганные, они заспешили к дому, даже не поспав за зонтами. Хотя ничто будто бы того не предвещало, неистовый вихрь пронесся над побережьем, все сметая на своем пути. Устрашающе вздыбились волны, и люди бежали, ног под собою не чуя. Море, засверкав, вспенилось, словно покрывшись огромным покрывалом, загремел гром, засверкала молния, казалось, она вот-вот настигнет бегущих. Едва не лишившись рассудка от страха, люди добрались наконец до дома:

— Отроду ничего подобного не видывал!
— Обычно бурю можно предсказать заранее...
— В этом есть что-то странное, жуткое...

В тревоге метались они по дому, а гром грохотал не смолкая. Хлестал неистовый дождь, готовый проникнуть сквозь все преграды.

— Неужели пришел конец миру? — вопрошали обезумевшие от страха люди, и только Гэндзи спокойно читал сутру.

Когда стемнело, стихли раскаты грома, и только ветер неистовствовал всю ночь. Очевидно, помогли вознесенные во множестве молитвы:

— Еще немного, и нас наверняка унесло бы в море.

— Я слышал, что в дни большого прилива люди и оглянуться не успевают, как их смывает водой.

— Да, такого я еще не видывал, — переговаривались между собой приближенные Гэндзи.

Под утро все заснуло. Гэндзи тоже задремал и вот видит — появляется кто-то, обликом непостижимый, и говорит:

— Тебя призывают во Дворец, отчего же ты медлишь? — и начинает ходить по дому, явно разыскивая его.

Тут Гэндзи проснулся. «Уж не Повелитель ли это морских драконов? — подумал он, и его охватил ужас. — Говорят, он любит все красивое, может быть, и я привлек его внимание?» И он почувствовал, что не может больше оставаться в этом доме.





АКАСИ

Основные персонажи

Гэндзи, 27–28 лет

Госпожа из дома на Второй линии (Мурасаки) — супруга Гэндзи

Гэн-сёнагон (Ёсикиё) — приближенный Гэндзи

Вступивший на Путь из Акаси

Дочь Вступившего на Путь (госпожа Акаси), 18–19 лет

Государь (император Судзаку) — сын императора Кирицубо и Кокидэн

Государыня-мать (Кокидэн) — мать императора Судзаку

Супруга Вступившего на Путь (монахиня из Акаси)

ШЛИ ДНИ, но по-прежнему лил дождь и бушевал ветер, не смолкая гремел гром. Гэндзи, совершенно пав духом, не мог более выносить своих несчастий, жизнь сделалась для него тягостным бременем, безотрадным казалось прошлое, и не оставалось надежд на будущее. «Что же делать? — думал он. — Вернуться в столицу? Стечение столь чрезвычайных обстоятельств как будто является достаточным для того основанием... Но если я вернусь, не получив прощения, то навлеку на себя новые насмешки и оскорбления. О, как желал бы я найти себе пристанище где-нибудь в горной глуши и затеряться там навсегда!.. Но тогда люди станут говорить, что испугался, мол, волн и ветра, и в будущих веках закрепится за мной слава человека малодушного». А в сновидениях Гэндзи неотвязно преследовало то неведомое, обликом неуловимое существо.

Дни сменяли друг друга, а просвета в тучах все не было. В довершение всего прервалась связь со столицей, и Гэндзи мучила неизвестность. «Неужели так и суждено мне сгинуть здесь одному?» — в отчаянии думал он, но в такую непогоду и носу из дома нельзя было высунуть, поэтому никто не приходил к нему.

Но вот до Сума добрался гонец из дома на Второй линии. Он вымок до нитки, и вид у него был весьма неприглядный. Встретясь Гэндзи этот несчастный в прежние дни, он вряд ли разобрал бы, кто перед ним — человек или какое другое существо, да столь ничтожного бедняка и не подпустили бы к нему близко. Теперь же Гэндзи смотрел на него с теплым участием, как видно забыв о том, что не подобает человеку столь благородного происхождения... Увы, несчастья успели сокрушить его дух.

Госпожа писала:

«Этой ужасной непогоде не видно конца. Небо так плотно закрыто тучами, часто я не знаю, куда обращать свой взор.

Там, над заливом,
Ветер бушует, должно быть.
На мои рукава
Соленые волны морские
Набегают одна за одной...»

Немало трогательного и печального было в ее письме, слезы затуманили взор Гэндзи, лишь только он начал его читать, и «с каждым мигмом вода поднималась выше, выше...» (129, 115).

— В столице эту бурю тоже считают предвестником несчастий — я слышал, что во Дворце будут служить молебны об избавлении от бед и благоденствий*. Вельможи, обычно посещающие высочайшие покои, вынуждены оставаться дома, ибо дороги закрыты и вершение государственных дел приостановлено, — рассказывал гонец.

Груба и невнятна была его речь, но поскольку приехал он с долгожданными новостями из столицы, Гэндзи, охваченный нетерпением, призвал его в свои покои и принялся сам расспрашивать.

— Дождь и у нас льет беспрерывно уже много дней кряду, а временами налетает яростный ветер. Никогда такого не бывало. Все в ужасе. Но чтобы так, как здесь, стучал град, словно пробивая землю насквозь, и гром грохотал не переставая, нет, ничего подобного в столице не было.

Глядя на некрасивое лицо гонца, выражавшее неприкрытый ужас перед столь исключительными обстоятельствами, приближенные Гэндзи с еще большей остротой ощутили, сколь одиноки и беспомощны они здесь, в Сума.

Уж не конец ли пришел миру? На следующий день с самого утра подул неистовый ветер, воды прилива поглотили берег, волны с оглушительным грохотом бились о камни. Казалось, еще миг, и эти дикие скалы, горы исчезнут с лица земли. Невозможно описать, как страшны были удары грома, как ослепительно сверкала молния, готовая вот-вот поразить любого, и люди теряли рассудок от страха.

— Какое преступление мы совершили, что навлекли на себя такую беду?

— Видно, придется умереть, так и не свидетись с отцом и матерью, так и не взглянув на милые лица жены и детей, — сетовали приближенные Гэндзи.

Сам же он пытался успокоиться и обрести присутствие духа, думая: «Право, разве есть за мной преступление, из-за которого моя жизнь может пресечься на этом диком побережье?»

Видя, что спутники его совсем потерялись от страха, Гэндзи повелел поднести многочисленные дары богу Сумиёси и воззвал к нему, моля о помощи:

— О бог Сумиёси, властитель этого края морского, коли ты истинно являешь Великого Будду, спаси нас.

Множество молитв было вознесено им в тот день.

Разумеется, никому из спутников Гэндзи не хотелось расставаться с жизнью, но могли ли они думать о себе, когда их господину грозила столь страшная участь — быть поглощенным морской пучиной? Все, кому удалось сохранить присутствие духа и не лишиться рассудка, громко молили будд и богов взять их собственные жизни, если такой ценой можно спасти жизнь господину.

— Он вырос в роскоши дворцовых покоев, окруженный довольством и почестями, но милосердие его осеяло пределы Восьми великих островов, и многим, повергнутым в пучину бедствий, помог он выбраться на поверхность. За какие прегрешения послана ему эта зловеющая буря, грозящая смертью в волнах морских? О боги Неба и Земли, на ваш суд уповаем!

— Обвиненный безвинно, лишенный чинов и званий, он покинул свой дом и удалился за столичные пределы. Денно и ночью печалился он, ни на миг не обретая покоя, а теперь — это новое несчастье, которое может стоить ему жизни. Что тяготеет над ним — возмездие прошлых веков или прегрешения настоящей жизни? О боги и будды, коли ведомо вам все в этом мире, облегчите его горести!

Так молились они, каждый на свой лад, обратившись лицом к святылищу.

Гэндзи тоже зывал к Повелителю драконов, в пучине морской обитающему, и ко многим другим богам, но гром грохотал все сильнее. Вот молния ударила в галерею, ведущую из покоев Гэндзи, тотчас вспыхнуло пламя, и от галереи не осталось и следа. Люди заматались по дому, не помня себя от страха. Гэндзи перевели в задние комнаты, в обычное время служившие, очевидно, кухней, туда же, рангов не разбирая, набились и все остальные, громкие стенания почти заглушали громовые раскаты. Скоро солнце зашло, и по небу словно растерли тушь.

Но через некоторое время дождь перестал идти, ветер стих, а на небе показались звезды. Помещение, где устроили Гэндзи, было слишком неприглядным для него, да и не соответствовало его положению, поэтому решили перевести его обратно в главные покои, однако та их часть, что уцелела от огня, имела крайне неприглядный вид, к тому же рядом, на пожарище, шумели слуги, а все занавеси были сорваны ветром.

«Не лучше ли дожидаться рассвета?» — растерявшись шептали приближенные Гэндзи, сам же он сосредоточил мысли свои на молитвах, но ничто не приносило его душе желанного успокоения. Скоро на небо выплыла луна и, приоткрыв плетеную дверцу, Гэндзи выглянул наружу. Совсем рядом с домом виднелся четкий след прилива, в море еще вздымались волны. В ближних пределах не было ни одного человека, который, обладая умом, способным проникать в душу вещей и прозревать прошлое и грядущее, мог бы открыть истинные причины происшедшего.

Бедные рыбаки собрались у дома «благородного господина из столицы» и подняли невообразимый шум, щебеча что-то на своем совершенно недоступном для понимания языке. Прежде этого не потерпели бы, но сегодня никто и не думал прогонять их.

— Будь эта страшная буря чуть более продолжительной, на берегу не осталось бы ничего, все поглотил бы прилив. Видно, боги смиловались над нами! — доносится до слуха Гэндзи.

Можно было бы сказать, что ему одиноко, тоскливо, но, право, достанет ли слов...

Когда бы не вы,
Боги-духи морских просторов,
Меня бы теперь
Волны несли туда,
Где сходятся сотни течений...

Ни разу за все эти страшные дни, пока бушевала буря, мужество не покинуло Гэндзи, но столь тяжкие испытания изнурили его силы, и он сам не заметил, как задремал, прислонившись к какому-то столбу, ибо в этом бедном жилище не приходилось рассчитывать на лучшее. И вот, стоило ему закрыть глаза, как словно живой возник перед ним ушедший государь.

— Зачем ты здесь, в этом ужасном месте? — спрашивает он и, взяв Гэндзи за руку, принуждает его подняться. — Вручив судьбу свою богу Сумиёси, приготовь поскорее ладью и покинь этот залив.

И Гэндзи отвечает, не скрывая своей радости:

— С тех пор как лишился я вашей милостивой защиты, много горестей пришлось мне изведать. Признаюсь, я готов был уже броситься в волны морские.

— О нет, ты не должен даже думать об этом! Все эти бедствия посланы тебе в наказание за какой-то незначительный проступок. До сих пор я не имел возможности оглянуться на ваш мир, ибо, хотя и не совершил я за время своего правления никаких тяжких преступлений, за мной числятся немало случайных прегрешений, какие обременяют душу каждого человека, и я должен был от них освободиться. Но узнав, в каком бедственном положении ты оказался, я потерял покой и, погрузившись в море, поднялся на берег. Теперь же, как ни утомили меня тяготы пути, я хочу воспользоваться случаем и навестить столицу, ибо есть у меня дело к Государю. — Так молвив, он исчезает.

Обливаясь слезами, Гэндзи стремится за ним с мольбой: «О, возьми и меня с собою!», обращает к небу свой взор, но, увы, никого уже нет, лишь лик луны мерцает в вышине. Право, трудно поверить, что все это лишь пригрезилось ему! Гэндзи казалось, что государь еще где-то рядом, но лишь тучи печальной чередой тянулись по небу...

Отец, по которому он так тосковал все эти годы и которого ни разу не видел даже во сне, внезапно явился ему хоть и на краткий миг, но столь ощутимо живым, что долго еще перед глазами Гэндзи стоял его образ.

«Когда я достиг предела своих несчастий и готов был проститься с жизнью, отец поспешил мне на помощь, — с умилением думал он. — Так что мне следует благодарить непогоду, а не сетовать на нее».

Увиденный сон вселил в сердце Гэндзи надежду, и радостны были его думы. Однако тут же новая забота омрачило чело, и сердце стеснилось от горести. Забыв об унылой яви своего нынешнего существования, он печалился лишь о том, что не смог хотя бы во сне подольше поговорить с отцом.

Надеясь увидеть его еще раз, он старался снова заснуть, но, увы, сон не шел к нему, а тут наступил рассвет.

Небольшая лодка пристала к берегу, из нее вышли какие-то люди, двое или трое, и направились к его временному пристанищу.

— Кто вы? — спросили их, а в ответ услышали:

— Приготовив лодку для вашего господина, прибыл сюда из бухты Акаси бывший правитель Харима, недавно вступивший на Путь. Коли есть среди прислуживающих в доме некий Гэн-сёнагон, то, с ним встретившись, он подробно изложит суть дела.

Ёсикиё не мог сдержать изумления.

— Вступившего на Путь знаю я по провинции Харима. Одно время мы были близки с ним, но по личным причинам возникли меж нами некоторые обиды, и мы давно уже не сообщаемся друг с другом. Что же побудило его пуститься в путь, пренебрегши даже волнением на море?

А Гэндзи, сопоставив услышанное с увиденным во сне, сказал:

— Встретиться с ним немедленно.

И Ёсикиё вышел на берег, туда, где ждал его Вступивший на Путь. «Как же сумели они спустить лодку? — недоумевал Ёсикиё. — Ведь все эти дни море бушевало не стихая...»

— В начальный день прошлой луны ко мне явилось во сне какое-то странное существо и произнесло нечто тоже весьма странное. Сначала я не решился поверить услышанному, но существо появилось снова и сказала: «На Тринадцатый день тебе будет дан ясно различимый знак. Готовь лодку и, как только перестанет лить дождь и стихнет волнение на море, плыви в Сума». Я снарядил на всякий случай лодку и принялся ждать. Тут разыгралась страшная буря: дул ветер, лил дождь, сверкали молнии. Это привело меня к мысли, что сон мой был неслучаен, ведь и в чужих землях известно немало примеров, когда пророческие сны спасали страну от грозящих ей бедствий. Вот я и решил: точно в назначенный день отправлюсь в Сума и сообщу вашему господину все, что мне было открыто, а там уж он сам рассудит, как поступить умнее. Итак, я вывел лодку в море и, влекомый каким-то странным легким ветерком, сам не заметил, как добрался до Сума. Ясно, что тут не обошлось без вмешательства богов. Не происходило ли и здесь чего-нибудь подобного? Как ни неловко мне обременять вашего господина, прошу вас передать ему все, что я сказал. — Вот что сообщил Вступивший на Путь Ёсикиё, а тот потихоньку передал его слова Гэндзи.

Гэндзи долго думал и передумывал, сопоставляя тревожные знаки, полученные во сне и наяву, обращаясь мыслями к прошедшему и к грядущему, и вот как он рассудил наконец: «Если, испугавшись людского злословия и осуждения потомков, пренебрегу я этой помощью, быть может истинно богами ниспосланной, то не исключено, что когда-нибудь со мной случится еще большее несчастье, и пойдет обо мне дурная слава. Опасно противиться даже воле обычных людей. Пусть я и сам приобрел уже немалый жизненный опыт, все равно следует подчиняться воле старших по возрасту или по чинам, всех, чье влияние в мире значительнее моего, и в действиях своих руководствоваться их советами.

Мудрецы древности говорили: “Держась позади, избежишь наказания”*. Мне грозила смертельная опасность, я изведal все самые страшные горе-

сти, какие только выпадают на долю человеку, так чего же мне бояться? Стоит ли медлить теперь из страха перед осуждением потомков? Да и вправе ли я предаваться сомнениям, несмотря на столь определенное наставление, полученное во сне от отца?»

Вот как ответил Гэндзи Вступившему на Путь:

— В этом чужом краю я не знал ничего, кроме печалей, и ни один человек из столицы не заехал меня навестить. Я влачил безотрадные дни, любясь лишь светом солнца и луны в бескрайнем небе и радуясь, что хоть эти старые друзья остались со мной. Но вот спасительный ветер принес ко мне челнок рыбака... (130) Есть ли в вашей бухте тихий уголок, где мог бы я найти себе пристанище?

Возрадовавшись, Вступивший на Путь поспешил изъяснить Гэндзи свою благодарность.

— Так или иначе, лучше не медлить с отплытием, ведь рассвет уже близок, — заторопились приближенные Гэндзи, и он сел в лодку, сопровождаемый четырьмя или пятью самыми близкими своими прислужниками.

Снова подул тот странный ветер, лодка словно летела по волнам, и скоро они были в Акаси. Разумеется, сюда и в обычное время можно было добраться всего за полстражи, ведь Акаси так близко от Сума, что, как говорится, и «доползти не составит труда», но все равно ветер тот явно был непростой.

Побережье Акаси и в самом деле отличалось удивительной, своеобразной красотой. Правда, Гэндзи предпочел бы поселиться в более уединенном месте... Вступивший на Путь владел землей и на морском берегу, и в горной глуши. Он имел крытый тростником дом на побережье, из которого в любое время года можно было любоваться живописными видами. В горах же, на берегу реки, в месте, словно самой природой предназначенном для молитв и размышлений о грядущем, он построил великолепную молельню, где совершал различные обряды. Не забывал Вступивший на Путь и о нуждах этого мира: в многочисленных принадлежащих ему амбарах хранился собранный с осенних полей рис, которого вполне доставало на то, чтобы обеспечить ему безбедное существование до конца его дней. Все строения были возведены с учетом особенностей местоположения и давали возможность в полной мере наслаждаться преимуществами того или иного времени года.

Недавно, страшась высоких приливных волн, Вступивший на Путь отправил женщин в горы, и дом на побережье был в полном распоряжении Гэндзи. Когда Гэндзи из лодки пересаживался в карету, солнце стояло уже довольно высоко, и Вступившему на Путь удалось мельком увидеть того, к кому давно уже устремлялись его думы. Лицо его озарилось счастливой улыбкой, и он поспешил склониться в благодарственном поклоне перед богом Сумиёси. Старик устал, будто он получил в свое владение сияние луны и солнца одновременно, так стоит ли удивляться тому, что он окружил Гэндзи самыми нежными заботами?

И изящно убранный дом, и сад с его деревьями и камнями — все носило на себе печать тонкого вкуса. Очарованию жилища в немалой степени способствовали и живописные окрестности, и невыразимо прекрасная линия побережья. Право, только самый искусный художник мог бы изобразить все это на картине. Жилище оказалось несравненно более светлым и благо-

устроенным, чем в Сума. Убранство покоев поражало великолепием. Вступивший на Путь и в самом деле жил ничуть не хуже, чем знатные столичные вельможи. Пожалуй, он даже сумел превзойти многих из них, ибо и в столице не каждый может окружить себя такой сверкающей роскошью.

Когда к Гэндзи вернулось душевное равновесие, он написал письма в столицу. Призвав того самого гонца, который до сей поры оставался в Сума и все сетовал: «О я несчастный, сколько опасностей, сколько тягот встретилось мне на пути!», Гэндзи щедро наградил его и отправил в столицу. Гонцу было поручено сообщить близким дому Гэндзи монахам и прочим лицам, с ним связанным, обо всех злоключениях, на его долю выпавших. Но только Вступившей на путь государыне написал он, каким поистине чудесным образом была спасена его жизнь.

Гэндзи никак не мог написать ответ на то трогательное послание от госпожи со Второй линии, то и дело откладывал он кисть и отирал слезы. Видно было, что к ней он испытывает совершенно особые чувства.

«За время нашей разлуки не раз обрушивались на меня самые страшные несчастья, какие только выпадают на долю человеку, и с каждым днем укреплялся я в намерении отречься от этого мира, но в памяти моей неизменно жил Ваш образ и звучали слова, Вами в тот день сказанные: “Я бы, в зеркало это глядя...” Могу ли я уйти от мира, окончательно лишив себя надежды... Лишь мысль о Вас поддерживает мое существование, заставляя забывать горести и печали...

Ты теперь далеко,
Но к тебе лишь стремятся думы,
Пусть волны меня
Из этой бухты чужой
Уносят все дальше, дальше...

У меня до сих пор такое чувство, будто все это не более чем сон. И пишу я, так и не успев проснуться, поэтому письмо получается довольно нескладным...» В самом деле, письмо было написано весьма небрежно и беспорядочно, однако тем, кому удалось мельком увидеть его, оно показалось верхом совершенства, и каждый невольно подумал о том, сколь велика любовь господина к супруге. Приближенные Гэндзи, должно быть, тоже отправили в столицу послания с описанием своих собственных горестей.

К тому времени небо, давно уже не светлевшее, расчистилось так, что и следа от туч не осталось. Повеселели и рыбаки, вышедшие на свой промысел в море.

В отличие от унылого берега Сума, где редко встречались даже рыбацьи хижинки, в Акаси было довольно оживленно, и хотя Гэндзи бежал всякого шума и суеты, многое здесь трогало его душу и отвлекало от мрачных мыслей.

Вступивший на Путь отдавал все время свое молитвам, и вид у него был весьма просветленный. Единственной заботой, омрачавшей его душу, была неуверенность в будущем любимой дочери, и разве не естественно, что иногда он делился своими тревогами с Гэндзи?

Гэндзи от многих слышал, что дочь Вступившего на Путь весьма хороша собой, и у него в голове не раз мелькала мысль о неслучайности их встречи,

но он ничем не выдавал своего любопытства. «Пока я живу здесь, схоронившись в глуши, — думал он, — вряд ли стоит помышлять о чем-нибудь, кроме молитв. Да и вправе ли я нарушать клятву, данную той, что осталась в столице?» Однако нельзя сказать, чтобы он был совершенно равнодушен к девушке, тем более что имел уже немало свидетельств незаурядности ее ума и дарований.

Сам Вступивший на Путь жил в хижине для слуг, стоявшей в стороне от основного жилища. Стараясь не беспокоить гостя, он почти не заходил к нему, и его желание видеть Гэндзи и днем и ночью оставалось, таким образом, неудовлетворенным, поэтому он усердно молился буддам и богам, прося их помочь ему в осуществлении его мечты. Лет Вступившему на Путь было около шестидесяти, но черты его отличались благородным изяществом, а усердие в молитвах придало фигуре приятную худощавость. Кроме того — и не происхождение ли тому причиной? — несмотря на все его причуды и старческую рассеянность, он оказался прекрасно осведомленным в делах древности, речь его и манеры выдавали прекрасное воспитание и были совершенно лишены грубости. Поэтому Гэндзи нередко призывал его к себе, и рассказы Вступившего на Путь о давних временах помогали ему рассеять тоску.

Прежде у Гэндзи, обремененного многочисленными делами, как личными, так и государственными, никогда не оставалось досуга, достаточного для того, чтобы слушать те старинные истории, которые время от времени рассказывал ему Вступивший на Путь. Иногда среди них попадались такие занятные, что Гэндзи невольно думал: «Как много я потерял бы, когда б не попал сюда и не встретился с этим человеком!»

Коротая в беседах дни, гость и хозяин постепенно привыкали друг к другу, но поразительное благородство и красота Гэндзи по-прежнему приводили старика в смущение, и решимость его значительно поколебалась, даром что прежде он говорил обо всем так уверенно. Он не смел открыться Гэндзи и только жаловался матери девушки, поверяя ей нетерпение свое и досаду.

Сама же девушка, увидав Гэндзи, была поражена. «Неужели в мире существуют и такие люди?» — подумала она. Увы, здесь, в глуши, даже среди самых влиятельных сановников не было ни одного, достойного ее внимания. Вместе с тем, понимая, сколь незначительно ее собственное положение, она не позволяла себе и помыслить... Узнав же о том, какие надежды возлагают на нее родители, сочла их намерения нелепыми и стала еще печальнее.

Настала Четвертая луна, а вместе с ней пришел и день Смены одежд. Хозяин лично позаботился о том, чтобы в покоях Гэндзи сменили убранство и повесили новые, красивые занавеси. Суетливая услужливость Вступившего на Путь растрогала Гэндзи, хотя и показалась ему несколько чрезмерной. Однако он не сказал ни слова, зная, как горд этот благородный старик.

Из столицы один за другим приходили гонцы с посланиями от лиц, желающих засвидетельствовать изгнаннику свое почтение.

Однажды тихой лунной ночью, когда над морем в небе не было ни облачка, Гэндзи вдруг показалось, что он смотрит на пруд у своего родного

дома, и невыразимая тоска сжала его сердце. Он ощутил себя одиноким путником, бредущим неведомо куда и не знающим, что его ждет впереди. В томительном порыве устремилась в столицу душа, но, увы, перед взором был лишь остров Авадзи. —

«Над далеким Авадзи...» (131) — вырвалось у него невольно.

Кипенно-белой
Пеной вскипает меж волн
Остров Авадзи.
В чистом сиянье луны
Этой ночью он виден так ясно...

Вынув из чехла китайское кото, к которому давно уже не притрагивался, Гэндзи тихонько пробежался пальцами по струнам, и приближенные, на него глядя, не сумели справиться с волнением. Растроганные до слез, они обменивались печальными взглядами.

Вкладывая в исполнение все свое мастерство, Гэндзи заиграл пьесу под названием «Большой курган»*. Сплетаясь с шумом сосен, плеском волн, звуки струн долетели до дома на холме, и чувствительные молодые прислужницы замерли, восхищенные.

Ничтожные рыбаки, живущие где-то там, у моря, и скорее всего неспособные даже понять, что именно играет Гэндзи, и те, дрожа от холода, вышли на берег, совершенно забыв о грозящей им простуде. Не мог устоять перед таким искушением и Вступивший на Путь. Прервав молитвы, он поспешил к Гэндзи.

— Звуки вашего кото, пробудив в моей душе воспоминания, казалось бы уже изгладившиеся из памяти, словно возвратили меня в мир, от которого я давно отвратился. Мне невольно подумалось, что в грядущей земле наших упований мы будем чувствовать себя именно так, как этой ночью, — восторгался он, роняя слезы.

А Гэндзи вспомнились дворцовые увеселения, он представлял себе, как тот или иной придворный играл на кото или на флейте, как пел, в его ушах звучали обращенные к нему самому похвалы, перед глазами вставали ласковые, восхищенные лица окружающих, и в первую очередь самого Государя.

Он размышлял о судьбах других людей, о своей собственной, и постепенно у него возникало ощущение, будто все, с ним происходящее, — лишь случайный сон, и что-то жутковатое почудилось ему в звуках, рождающихся под его пальцами. Старик, все еще плача, послал в дом на холме за бива и кото «со» и, словно превратившись на время в странствующего сказителя, исполнил одну или две прекрасные редкие мелодии. Кото «со» он передал Гэндзи, и тот заиграл на нем, поражая хозяина многогранностью своего дарования. Даже не столь трогательная музыка может радовать слух, ежели обстоятельства тому благоприятствуют. Перед ними же раскинулась бескрайняя, необозримая морская гладь, рядом с домом скромно зеленели купы деревьев, едва ли не более прекрасные, чем в дни весеннего расцвета или в пору багряных листьев. Где-то стучали клювами пастушки-куина* — «видно, кто-то запер ворота...» (132). Все это не могло не найти отклика в чувствительной душе.

Восхищенный удивительным мастерством Вступившего на Путь и превосходным звучанием инструментов, Гэндзи говорит, не имея в виду никого в особенности:

— Мне кажется, что на кото «со» лучше играют женщины. В их руках оно звучит особенно выразительно и нежно.

— Может ли чья-нибудь игра быть выразительнее вашей? — возражает Вступивший на Путь, понимая улыбнувшись. — Должен вам сказать, что ваш покорный слуга является учеником государя Энги* в третьем поколении. Оказавшись неудачником, я решил предать забвению все мирское и теперь беру в руки кото лишь в исключительных случаях — когда тоска становится нестерпимой. Однако есть особа, которой удалось с удивительной точностью перенять мои приемы, и она играет совершенно в той же манере, в какой играл государь Энги. Впрочем, может быть, тому причиной испорченный слух монаха, привыкшего внимать лишь шуму ветра в соснах? (133) Во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы вы как-нибудь тайком послушали ее.

Голос его дрожит, и слезы вот-вот потекут по щекам.

— И я дерзнул играть в доме, где жалкие звуки моего кото вряд ли вообще могут почитаться музыкой? Какой позор! — говорит Гэндзи, отодвигая от себя кото. — Как ни странно, — замечает он, — почему-то всегда именно женщины преуспевали в игре на кото «со». К примеру, Пятая принцесса, посвященная в тайны этого искусства государем Сага, сумела достичь невиданного в мире совершенства, но, к сожалению, в ее роду не оказалось человека, которому она могла бы передать свое мастерство. Нынешние прославленные музыканты — не более чем любители, которые скользят по поверхности, не проникая в глубины. Можно ли не порадоваться тому, что здесь у вас скрывается преемница подлинного искусства? Я почти за особое счастье, если мне будет позволено послушать ее.

— Думаю, что устроить это нетрудно. Вам достаточно послать за ней. Ведь прежде даже среди торговков* находились искусницы, которые знанием старинных приемов игры приводили в восторг тонких ценителей. Правда, если говорить о бива, то и в старину редко кому удавалось в полной мере овладеть этим инструментом. Но особа, о которой я вам говорил, играет довольно уверенно, в несколько необычной манере, сообщающей ее игре чарующую выразительность. Я не знаю, когда она успела всему этому научиться, но звуки ее бива — единственное, что скрашивает мое унылое существование, и как же досадно, что ей вторит лишь грубый плеск волн... — рассуждает Вступивший на Путь с видом человека, понимающего толк в изящных развлечениях, и Гэндзи, подстрекаемый любопытством, протягивает ему бива.

В самом деле, старик играет превосходно, применяя приемы, ныне уже неизвестные, в постановке его рук чувствуется влияние китайских мастеров, а «дрожащие» звуки удивительно ярки и чисты. Хотя Исэ отсюда далеко, Гэндзи, призвав одного из приближенных своих, славящегося красивым голосом, просит его спеть «У синего моря ракушек наберем...»*, а сам подпевает, отбивая такт, и Вступивший на Путь то и дело прерывает игру, чтобы высказать ему свое восхищение. Скоро подаются весьма изысканные яства. Хозяин усердно потчует гостя вином; право, в такую ночь невольно забываются все печали.

Постепенно становится темнее, ветер в соснах веет прохладой, луна, готовая скрыться за горными вершинами, сияет особенно чистым светом, вокруг царит тишина. Воодушевленный воспоминаниями, старик рассказывает Гэндзи разные случаи из своей жизни, говорит о заботах, с которыми сопряжены были первые его дни и луны в этой бухте, о будущих упованиях. Как бы между прочим рассказывает он и о дочери, хотя Гэндзи и не спрашивал о ней. Гэндзи внимательно слушает старика, и многое трогает его сердце.

— Нелегко говорить об этом, но все же скажу. Мне кажется, что не случайно вы занесены судьбой в столь чуждое вам место. Нет, в вашем появлении здесь видится мне знак милостивого вмешательства богов и будд, к которым старый монах в течение долгих лет неустанно взывал о помощи. Так, из жалости к нему они и подвергли вас столь тяжким испытаниям. Ведь вот уже восемнадцать лет живу я, во всем полагаясь на милость бога Сумиёси. На дочь мою с самого малолетства я возлагал большие надежды и год за годом весной и осенью непременно возил ее в святилище. Во время каждой из шести дневных и ночных служб я, пренебрегая молитвами о собственном возрождении в лотосе, молюсь о том, чтобы осуществилась моя мечта о ее возвышении. Видно, моя прошлая жизнь сложилась неблагоприятно, почему я и стал жалким бедняком. Мой отец имел звание министра, а я — простой деревенский житель. А поскольку естественно предположить, что следующие поколения будут еще хуже, я не мог не тревожиться, размышляя о будущем нашего рода. И как только она родилась, на нее обратились все мои чаяния. Возымел я твердое намерение так или иначе добиться для нее места в доме какого-нибудь знатного столичного вельможи, и хотя сделался из-за этого предметом насмешек и оскорблений, решимость моя не поколебалась. Разумеется, рукава моего платья слишком узки, но, пока я жив, дочь моя будет окружена довольством. Если же мне придется покинуть ее прежде, чем определится ее участь, пусть погребет себя живой в морской пучине — таков мой наказ.

Это и многое другое поведал он Гэндзи, обливаясь слезами, но совершенно невозможно передать его рассказ во всех подробностях.

Слушая его, Гэндзи тоже плакал — в последние дни все располагало его к безотчетной грусти.

— Я не понимал, за какое прегрешение наказывает меня судьба, для чего, обвиненный безвинно, вынужден я скитаться в чужих пределах, но, выслушав сегодня ваш рассказ, проникся глубоким убеждением, что все случившееся со мной обусловлено предопределением, соединившим наши судьбы еще в прошлой жизни. Но для чего вы до сих пор не сообщали мне о том, что открылось вам с такой беспорной ясностью? С того самого дня, как покинул столицу, я не устал сетовать на непостоянство этого мира, долгие луны и дни не помышлял ни о чем, кроме молитв, и чувства мои притупились. Разумеется, краем уха я слышал о существовании в вашем доме некоей особы, но не позволял себе питать никаких надежд. Такого никчемного человека, как я, способного принести вашей дочери несчастье, вы непременно отвергнете, думал я. Не хотите ли вы сказать, что готовы стать моим проводником? Могу ли я надеяться, что ваша дочь согласится стать утешением моих печальных одиноких ночей? — говорит Гэндзи к безмерной радости старика.

— Изведал и ты
Горечь ночей одиноких.
На морском берегу
Текут чередою унылой
Томительно-празднeные дни.

Представьте себе, какая печаль царила в моей душе все эти годы и луны, — говорит Вступивший на Путь. Держится он с большим достоинством, даром что его голос старчески дрожит.

— Но человек, привыкший жить у моря...

С тех пор как надел
Печальное платье странника,
Ночами без сна
Лежу, томясь и вздыхая,
На ложе из диких трав... —

отвечает Гэндзи.

В его доверительной непринужденности таится какое-то особое очарование, но, право, могут ли слова быть достойны его красоты?

Бесчисленное множество подробностей поведал Гэндзи Вступивший на Путь, но слухом утомительно все это пересказывать. Боюсь, что я и без того допустила немало неточностей, из-за которых Вступивший на Путь из Акаси может показаться куда большим чудачком и упрямым, чем это было на самом деле.

Итак, почувствовав, что его мечты начинают сбываться, Вступивший на Путь вздохнул с облегчением, а Гэндзи уже на следующий день отправил письмо в дом на холме. Зная по слухам, что дочь старика умна и хорошо воспитана, и вспомнив к тому же, что именно в таких уголках нередко скрываются женщины истинно прелестные, Гэндзи постарался придать своему посланию как можно более изысканный вид. На корейской светло-коричневой бумаге он начертил, более тщательно, чем обычно, выписывая знаки:

«Наскучило мне
Взор устремлять к далекой
Обители туч.
Не лучше ль наведаться в дом,
В чаще лесной мелькнувший?»

“Больше не в силах...”» (134)

Вступивший на Путь, сгорая от тайного нетерпения, ждал в доме на холме, когда же обнаружилось, что ожидание его не было напрасным, он так напоил гонца вином, что у того в глазах потемнело. Но девушка медлила с ответом. Отец сам прошел в ее покои и велел поторопиться, но она не послушалась и его. Так поразило ее своим изяществом письмо Гэндзи и такими неуклюжими казались знаки, возникающие под ее собственной кистью, что она совершенно растерялась и, снова ощутив, сколь непреодолима разделяющая их преграда, поспешила объявить себя нездоровой и удалась в опочивальню. Так и не сумев уговорить ее, старик ответил сам:

«Как видно, дочери моей показалось, что ее деревенский рукав не сможет вместить всей радости... (135). Во всяком случае она так смутилась, что не посмела даже взглянуть на Ваше милостивое послание. И все же:

Она, как и ты,
Печальный взор устремляет
К обители гуч.
И думы ее твоим
Думам созвучны...

О да, это так. Хотя и не пристало монаху...»

Письмо было написано на бумаге «митиноку» чрезвычайно старомодным, но не лишенным изящества почерком. «Возможно, монаху и в самом деле не стоит...» — подумал Гэндзи, с любопытством его разглядывая.

Гонец Гэндзи получил в подарок необыкновенной красоты шлейф-мо. На следующий день Гэндзи отправил в дом на холме новое письмо:

«До сих пор мне не приходилось получать писем, писанных посредником...

Истомила тоска,
Но даже вздохом не выдам
Страданий моих.
Нет никого, кто спросит:
“Ну, как живется тебе?”

“Слово дали друг другу, но тебя еще не видал я...”» (136)

Это письмо, написанное на мягкой, тонкой бумаге, было еще прекраснее первого, и только совсем уж неисправимая затворница могла остаться к нему равнодушной. Разумеется, девушке льстило внимание Гэндзи, однако, помня о разнице в их положении, она не позволяла себе предаваться надеждам. «Ах, лучше бы он не знал о моем существовании», — подумала она и долго еще сидела неподвижно, молча глотая слезы. Но в конце концов, вняв настояниям отца, взяла кисть и, умело чередуя нажимы с ослаблениями, написала на пропитанной благовониями лиловой бумаге:

«Говоришь ты: тоска...
Но есть ли средство проникнуть
В душу твою?
Разве можно страдать по тому,
Кого ни разу не видел?»

Ее почерку могла позавидовать девица, получившая самое безупречное воспитание, вряд ли кто-то из придворных дам высшего ранга написал бы лучше. Гэндзи долго любовался письмом, невольно вспоминая свою прежнюю жизнь в столице.

Не желая подавать повод к молве, Гэндзи не решался слишком часто обмениваться с девушкой письмами и писал ей раз в два или три дня, когда томительные вечерние сумерки или печальный рассвет рождали в нем чувства, которые, как он надеялся, должны были встретить отклик в ее сердце. Надобно ли сказывать, что девушка ни разу не обманула его ожиданий?



Поняв, сколь тонкой и возвышенной душой она обладает, Гэндзи загорелся желанием непременно встретиться с ней, но тут же не без некоторой досады вспомнил о Ёсикиё, который всегда говорил о дочери Вступившего на Путь так, словно она была его собственностью. Вправе ли Гэндзи разрушать его надежды? Он предпочел подождать решительного шага со стороны девушки, полагая, что таким образом может оправдать себя в глазах Ёсикиё, но она, едва ли не превосходявшая гордостью девиц из самых старинных столичных домов, не обнаруживала никакого желания идти ему навстречу. Время шло, а они лишь старались не отстать друг от друга в церемонности.

Теперь, когда и застава Сума была позади, Гэндзи еще больше тревожился о той, что осталась в столице. Иногда такая тоска овладевала им, что ему и в самом деле становилось «не до шуток» (137). «Не послать ли потихоньку за ней?» — снова и снова мелькало в его голове, но, поразмыслив, он решил, что спешить не стоит: может быть, совсем недолго осталось ему жить здесь, так стоит ли понапрасну подавать повод к сплетням?

Нынешний год в столице был тревожен и изобилует различного рода предзнаменованиями. На Тринадцатый день Третьей луны, ночью, когда грохотал гром и сверкали молнии, шумел дождь и завывал ветер, Государю приснился странный сон. Он увидел своего ушедшего из мира отца, который с лицом, искаженным от гнева, стоял у дворцовой лестницы и пристально смотрел на него. Государь почтительно склонился перед отцом, го-

товый выслушать его наставления. Многое сказал Государю ушедший, и все им сказанное так или иначе было связано с Гэндзи. Проснувшись, Государь долго не мог прийти в себя от страха и стыда. Когда же он рассказал обо всем Государыне-матери, она возразила:

— В такие бурные, дождливые ночи всегда видишь во сне то, о чем думаешь. Не стоит поддаваться страху.

Но с того самого дня — и как знать, не оттого ли, что так гневно смотрел на него ушедший? — у Государя заболели глаза и он жестоко страдал. На всех обитателей Дворца и домочадцев Государыни-матери было наложено строгое воздержание. А по прошествии некоторого времени скончался Великий министр. Его смерть особенно никого не удивила, ибо он был весьма стар, но скоро беды начали обрушиваться на другие столичные семейства. В довершение всего сама Государыня-мать занемогла какой-то неизвестной болезнью, и с каждым днем ей становилось все хуже — словом, причин для беспокойства во Дворце было немало.

«Ежели Гэндзи, за которым нет никакой вины, и дальше будет прозябать в глуши, я непременно понесу тяжелую кару, — думал Государь. — Надобно немедленно вернуть ему прежнее звание». Он не раз говорил о том Государыне, но она по-прежнему стояла на своем:

— Люди осудят вас за отсутствие твердости. Подумайте, какие пойдут толки, когда станет известно, что человек, навлекший на себя немилость двора и покинувший столицу, получил прощение, прежде чем прошли положенные три года?*

Государь медлил, не решаясь противиться ее воле, а время шло, и с каждым днем и самому ему, и Государыне становилось все хуже.

В Акаси стояла осень и, как всегда бывает в эту пору, с моря дул холодный, сырой ветер. Еще тоскливее стали казаться Гэндзи одинокие ночи, и все чаще жаловался он на то Вступившему на Путь.

— Нельзя ли как-нибудь привести ее ко мне потихоньку? — просил он, полагая невозможным отправиться к девушке самому, но и ей, как видно, решиться было непросто.

«Я знаю, что жалким провинциалкам трудно устоять перед непринужденным обращением случайно попавших сюда столичных жителей, — думала она. — Я слишком ничтожна и не вправе ждать от будущего ничего, кроме страданий. Если все останется по-прежнему, то, пока я молода, родители мои, взлелеявшие в сердцах своих столь несбыточную мечту, будут тешить себя пустыми надеждами, веря в мое счастливое предопределение. Однако если я решусь теперь изменить свою жизнь, их ожидания скорее всего окажутся обманутыми, и я не уверена, сумеют ли они когда-нибудь оправиться от этого удара. Обмениваться письмами с господином Дайсё, пока он живет здесь, на побережье, — смею ли я желать большего? До сих пор я знала о нем понаслышке и лишь мечтала, что когда-нибудь мне представится случай мельком взглянуть на него. Разве можно было предугадать, что судьба забросит его на этот дикий берег и я получу возможность пусть изредка, но все-таки видеть его, слышать принесенные ветром звуки его несравненного кото? Я хорошо представляю себе его повседневную жизнь, а он знает о моем существовании — уже это великое счастье для ничтожной особы, принужденной влачить свои дни среди бедных рыбаков.

Так, она и в самом деле не помышляла о большем, полагая незначительность своего положения непреодолимой преградой между собой и Гэндзи.

Вступивший же на Путь и супруга его, как ни радостно было им сознавать, что наконец оказались услышанными молитвы всех этих долгих лет, не могли не тревожиться, понимая, как горько будет их дочери, если, встретившись с ней, разумеется, не без их содействия, Гэндзи сочтет ее недостойной своего внимания. Самые темные предчувствия терзали их сердца. «Как он ни хорош, а может принести ей немало горя, — думали они. — Слишком уж большие надежды возлагали мы на невидимых будд и богов, совершенно не принимая в расчет ни намерений господина Дайсё, ни предопределения дочери».

А Гэндзи все не отставал:

— О, когда же услышу я пение струн, вторящее плеску волн? Без него, право, бессмысленно...

Вступивший на Путь украдкой выбрал благоприятный день и, не слушая возражений супруги, не сообщая ничего своим послушникам, сам позаботился о том, чтобы как можно лучше украсить покои дочери. Когда же на небо во всем великолепии выплыла луна Тринадцатой ночи, он отправил Гэндзи записку, в которой стояло всего несколько слов: «Как не сетовать мне?» (138)

«Не слишком ли?» — подумал Гэндзи, но переоделся в носии и, когда стемнело, вышел из дома. Для него была приготовлена великолепно украшенная карета, но, рассудив, что она менее всего подходит для данного случая, он отправился верхом, взяв с собой одного Корэмицу. Ехать пришлось довольно далеко.

По дороге, глядя, как мерцает на бескрайней глади залива свет луны, которой любуются обычно вместе с «другом сердечным» (139), он невольно вспомнил ту, что осталась в столице, и велико было искушение тут же, натянув поводья, отправиться к ней.

— Конь белогривый,
Ты скачи за осенней луною.
Дай хоть на миг
Взглянуть на приют облаков,
На все, что так дорого сердцу, —

сорвалось словно невзначай с его губ.

Дом на холме со всех сторон окружали деревья. Это было прекрасное здание, построенное с еще большим вкусом, чем дом на побережье. Тот поражал своей величественной красотой, а глядя на этот, словно нарочно предназначенный для тихой, уединенной жизни, Гэндзи с невольным удивлением подумал, что человеку, в нем живущему, должны быть открыты все горести мира.

Совсем рядом с домом находилась молельня, звон колокола, соединяясь с шумом ветра в кронах сосен, печалью отзывался в душе, и даже корни растущих на скалах деревьев казались отмеченными особой значительностью. В саду неумолчно звенели насекомые.

Гэндзи осмотрелся: покои, где жила молодая госпожа, были убраны с изысканнейшей роскошью, а кипарисовая дверца, сквозь которую в дом проникал лунный свет, оказалась приоткрытой...

С трудом справившись с волнением, Гэндзи попытался заговорить с девушкой, но она вела себя крайне церемонно, решив, как видно, держаться в отдалении. Чем не знатная дама? Гэндзи не привык к сопротивлению, сердца куда более высоких особ смягчались, стоило ему заговорить с ними. Быть может, она не хочет иметь дело с опальным изгнанником? Почувствовав себя глубоко уязвленным, он медлил в нерешительности. «Не стану же я насильно навязывать себя ей? Этим можно все испортить. Но уйти, признав свое поражение, тоже нелепо». Гэндзи молчал, обиженно вздыхая. Как жаль, что никто из настоящих ценителей не видел его в тот миг!

Шнурок от занавеса задел струны кото, и они зазвенели. Гэндзи сразу же представил себе, как девушка в одиночестве сидела здесь вечером, тихонько перебирая струны, и, воодушевившись, снова попытался заговорить с ней, подступая то с одной стороны, то с другой.

— Я так много слышал о вашем мастерстве, неужели вы не позволите...

Когда б я мог
Кому-то открыть свои чувства,
Душу свою,
Рассеялся бы вполонину
Тягостный сон этих дней.

— Не светлеет никак
Эта ночь, и душа бесконечно
Блуждает во мраке.
Разве может она отличить
Сновиденье от яви? —

Ее тихий голос невольно пробудил в его сердце воспоминание о мясудокоро, живущей теперь в далеком Исэ.

Гэндзи появился слишком неожиданно, у девушки и мысли не было, что кто-то может нарушить ее уединение. Заметив его, она поспешно скрылась в соседнем покое и каким-то образом сумела запереться там. Запоры были крепкие, да Гэндзи и не хотел входить против ее воли. Но мог ли он признать себя побежденным?..

Девушка оказалась изящной и стройной — словом, превзошла все его ожидания. Гэндзи с умилением думал о том, что их союз, заключенный почти независимо от их собственных желаний, далеко не случаен. Право, невозможно было предположить, что ей удастся так быстро покорить его сердце.

Даже осенняя ночь, на бесконечность которой Гэндзи не упустил бы случая посетовать прежде, показалась ему слишком короткой. Когда наступил рассвет, он еще раз заверил девушку в искренности своих чувств и поспешил уйти, как видно страшась огласки.

Однако письмо все-таки отправил, хотя и тайком. Может, его мучили угрызения совести? К величайшему огорчению Вступившего на Путь, гонца Гэндзи приняли без всякой полагающейся в таких обстоятельствах пышности, ибо в доме на холме тоже не желали преждевременной огласки.

С того дня Гэндзи время от времени украдкой навещал молодую госпожу. Иногда его удерживал страх перед всегда готовыми позлословить рыбаками, которые могли встретиться ему по дороге к ее дому, отнюдь не близкой,

и тогда она печалилась и вздыхала: «Ах, ведь знала же я...», а Вступивший на Путь, терзаясь сомнениями — «И в самом деле, мало ли что может случиться», — забывал о Земле Вечного Блаженства и целыми днями только и делал, что ждал Гэндзи. Мысли его были расстроены, чувства в смятении. Право, всякий посочувствовал бы ему.

Гэндзи больше всего боялся, как бы ветер не донес слух о перемене, происшедшей в его жизни, до дома на Второй линии. Мысль о том, что госпожа хотя бы в шутку может рассердиться на него за эту измену, повергала его в отчаяние. Его мучил стыд, сердце разрывалось от жалости к ней, право, ни с одной женщиной не связывали его столь глубокие чувства. «О, для чего ради удовлетворения пустых прихотей своих я так часто нарушал ее покой, заставляя страдать и мучиться ревностью?» — думал Гэндзи, страстно желая, чтобы вернулось прошлое. Даже дочери Вступившего на Путь не удавалось утешить его, все больше и больше тосковал он по оставшейся в столице госпоже. Как-то раз он написал ей письмо, более длинное и нежное, чем обыкновенно:

«Поверьте, даже теперь не могу я без боли вспоминать, как уязвлял Ваше сердце своими невольными изменами. Но, увы, и здесь привиделся мне какой-то странный сон, которому, впрочем, я не склонен придавать большого значения. Это непрощеное признание должно убедить Вас в моей искренности. О да, я поклялся, но если ту клятву...» (140)

А вот что еще там было написано:

«Что бы я ни делал,

Соленые слезы
Текут бесконечным потоком.
Напрасно рыбак
Обрести утешенье пытался,
Мимоходом сорвав встреч-траву».

Она ответила очень мило, так, словно его сообщение ничуть не взволновало ее. Письмо заканчивалось следующими словами:

«Ваше чистосердечное признание пробудило в моей душе множество воспоминаний...

Ты поклялся, и я
Ждала, простодушно надеясь,
Что и вправду волна
Перекатиться не сможет
Через гору Суэ-но мацу...» (141)

Этот единственный, еле уловимый намек на ее подлинные чувства настолько растрогал Гэндзи, что он долго не мог расстаться с ее посланием и перестал искать утешения в доме на холме. Молодая госпожа, видя, что сбываются ее худшие опасения, готова была вспомнить о своем давнем намерении броситься в море.

«Единственной моей поддержкой в жизни были престарелые родители. Не смея и мечтать о том, что когда-нибудь мне удастся занять достойное положение в мире, я кое-как влачила дни и луны, и разве были у меня причины страдать? А теперь — что ждет меня, кроме печалей?» — думала она. И в са-

мом деле, печалиться ей приходилось даже чаще, чем она предполагала, но, неизменно подавляя жалобы, женщина притворялась спокойной и беззаботной, во всяком случае Гэндзи ни разу не слышал от нее ни слова упрека.

С каждым днем, с каждой луной он все больше привязывался к дочери Вступившего на Путь, и если б в столице не ждала его другая, еще более любезная его сердцу особа... Мог ли он не знать, как тоскует и тревожится госпожа в разлуке с ним, какое жестокое недоумение терзает ее душу? Жалея ее, он часто проводил ночи один.

Гэндзи много рисовал в те дни и тут же, рядом с рисунком, записывал мысли свои и чувства, надеясь, что они найдут отклик в сердце госпожи. И так хороши были эти рисунки, что, несомненно, восхитили бы каждого.

Но вот что странно — право, уж не души ли их сообщались, блуждая в небе? — госпожа со Второй линии, когда становилось ей особенно тоскливо, тоже бралась за кисть, и словно ведя дневник, рисовала и записывала все, что происходило в ее жизни.

Кто знает, что ждет их впереди?

Скоро и этот год сменился новым. Здоровье Государя так и не поправилось, и в столице царило беспокойство. У Государя был только один сын, рожденный дочерью Правого министра, нёго Дзёкёдэн, но в нынешнем году ему исполнилось всего два года. Поэтому престол должен был перейти к принцу Весенних покоев. Когда же Государь стал подыскивать человека, который мог бы, взяв на себя попечение о преемнике, одновременно вершить дела правления, он подумал, что досадно, просто непозволительно оставлять такого человека, как Гэндзи, влачить дни в безвестности и, не обращая больше внимания на возражения Государыни-матери, издал указ о его помиловании.

А надо сказать, что тот год был ознаменован всяческими бедствиями. Государыню-мать давно уже преследовали злые духи, и состояние ее оставляло желать лучшего. В столице постоянно наблюдались явления, рождавшие во многих сердцах самые мрачные предчувствия. Я уже не говорю о том, что у Государя снова разболелись глаза, хотя в последнее время, возможно благодаря разного рода воздержаниям, здоровье его приметно укрепилось.

Все эти несчастья вовлекли Государя в глубокое уныние и побудили его по прошествии Двадцатого дня Седьмой луны издать указ, повелевающий Гэндзи вернуться в столицу.

Надежда на прощение никогда не оставляла Гэндзи, но может ли кто-нибудь быть уверенным в своем будущем, зная, сколь превратен мир? Разумеется, внезапное известие обрадовало его, но к радости этой примешивалась и грусть: увы, не так-то легко было расстаться теперь с этим диким побережьем...

«Что ж, этого и следовало ожидать...» — подумал Вступивший на Путь, узнав о высочайшем указе, но нетрудно себе представить, как тяжело было у него на сердце. Его утешала лишь мысль о том, что возвращение Гэндзи в столицу как нельзя лучше отвечает его собственным желаниям.

Последнее время Гэндзи почти каждую ночь проводил в покоях молодой госпожи. Примерно с Шестой луны она почувствовала некоторое недомогание, причины которого по всем признакам были таковы, что Гэндзи не мог не принимать в ней участия. Необходимость расстаться с ней именно

теперь приводила его в отчаяние, и, возможно, поэтому он испытывал к ней куда большую нежность, чем прежде.

«Как же все непостоянно в нашем мире! — думал он в смятении. — И нет конца печалям».

Надобно ли говорить о том, в какое уныние погрузилась женщина? Ах, право, но могло ли быть иначе?

Покидая когда-то столицу и с тоской вглядываясь в неведомое будущее, Гэндзи утешал себя надеждой на возвращение, а теперь... Как ни радостен был лежавший перед ним путь, он знал, что вряд ли когда-нибудь снова увидит этот дикий берег, и нестерпимая печаль сжимала его сердце.

Приближенные Гэндзи каждый на свой лад благодарили судьбу.

Скоро из столицы прибыла присланная за Гэндзи свита, веселое оживление воцарилось в доме, и только у хозяина на глазах то и дело навертывались слезы. Так прошла еще одна луна.

Даже небо в ту пору было особенно печальным, и Гэндзи целыми днями пребывал в глубокой задумчивости. «Для чего я всегда сам ради удовлетворения какой-нибудь мимолетной прихоти обрекаю себя на страдания?» — вздыхал он. А приближенные, хорошо знавшие, в чем дело, недовольно ворчали, на него глядя: «Новая забота! Что ж, видно, его уже не изменить!»

— До сих пор он делал вид, будто ничего не происходит, и, тайком навещая ее, оставался спокойным и невозмутимым. И вот его словно подменили, а ведь ей-то теперь будет еще тяжелее расставаться с ним, — украдкой, прячась по углам, судачили они.

А Ёсикиё пережил немало неприятных мгновений, слушая, как они шептались, что, мол, если бы не он...

Дня за два до отъезда Гэндзи приехал в дом на холме немного раньше обычного, а потому — едва ли не впервые — получил возможность увидеть женщину при свете и в полной мере оценить благородство ее манер, тонкую прелесть лица. Она была необыкновенно хороша собой, и Гэндзи почувствовал, что вряд ли когда-нибудь сумеет ее забыть. Сердце его больно сжалось при мысли о скорой разлуке. «Подготавливаю все необходимое и перевезу ее в столицу», — решил он и ей о том сообщил, пытаясь ее утешить. Надобно ли снова говорить о том, как прекрасен был он сам? За время, проведенное в постоянном служении Будде, Гэндзи немного похудел, и черты его приобрели какое-то удивительно трогательное выражение. Захлебываясь от рыданий, он клялся молодой госпоже в верности, и вряд ли кто-то остался бы равнодушным, на него глядя. Право, разве мало было ей этого счастья? Смела ли она рассчитывать на большее? Поразительная красота Гэндзи снова и снова заставляла ее сожалеть о собственной ничтожности, и тяжкие вздохи теснили ей грудь. Волны, осенний ветер, даже они шумели сегодня иначе. По берегу стлался дымок от костров — рыбаки добывали соль (108), и все это, вместе взятое, сообщало местности особое очарование...

— Настала пора
 Нам с тобою надолго расстаться,
 Но взгляни, этот дым
 От костров, горящих у моря,
 Устремляется вслед за мной... —

говорит Гэндзи, а она отвечает:

— Лежат у костров
Грудами травы морские,
Думы мои
Спутались. Все теперь тщетно.
И не стану тебя корить.

Молодая госпожа почти не могла говорить, только плакала, да так горько, что сердце Гэндзи разрывалось от жалости. Но когда надобно было отвечать — отвечала, причем весьма тонко. Он принялся пенять ей за то, что, несмотря на все его просьбы, она так ни разу и не сыграла ему на кото.

— Сыграйте хоть что-нибудь на прощание, чтобы было о чем вспоминать, — просит он, затем, велев принести привезенное из столицы китайское кото, начинает тихонько перебирать струны. В глубокой ночной тишине плывут чистые, светлые звуки. Вступивший на Путь, не выдержав, подсовывает под занавеси кото «со». Растроганная до слез игрой Гэндзи и одновременно воодушевленная ею, молодая госпожа начинает подыгрывать ему, и кото в ее руках звучит удивительно благородно.

Гэндзи всегда считал, что в игре на кото «со» не имеет себе равных бывшая государыня-супруга. Она играла в современном стиле, и ценители неизменно восхищались необыкновенно ярким, выразительным звучанием ее кото. Ее игра была столь совершенна, что перед взором слушающего невольно возникал прелестный образ самой исполнительницы.

Дочь Вступившего на Путь играла уверенно и чисто. Нежные, стройные звуки, возникавшие под ее пальцами, казалось, проникали до самой глубины души. Право, трудно было не позавидовать ее мастерству. Изумленный, Гэндзи с упоением слушал совершенно ему не знакомые прелестные, трогательные мелодии. Ему хотелось слушать еще и еще, но, к его величайшей досаде, молодая госпожа очень скоро отложила кото, пробудив в его душе запоздалое сожаление: «О, зачем я не принуждал ее играть для меня прежде?» Ему оставалось лишь поклясться ей в вечной верности, что он и сделал со всей пылкостью, на какую был способен.

— Пусть это китайское кото будет залогом того, что когда-нибудь мы еще сыграем вместе, — говорит он, а женщина отвечает чуть слышно:

— В утешение мне
Оставляешь слова мимолетные.
Пению струн
Рыданиями вторя, отныне
Вспоминать я стану тебя...

— Это кото тебе
Оставляю в залог нашей встречи,
Пусть струны его
Не ослабнут за время разлуки
И нынешний строй сохранят, —

говорит Гэндзи.

— Мы непременно увидимся, прежде чем разладится это кото, — обещает он ей. Но она рыдает, думая лишь о близкой разлуке. И кто решился бы осудить ее?

Настало утро отъезда. Гэндзи покинул дом на холме глубокой ночью. Приехавшие за ним люди шумели и суеились, да и сам он пребывал в крайней растерянности, но все же, уловив миг, когда рядом никого не было, отправил молодой госпоже письмо:

«С какую тоской
Покидает волна этот берег,
Чтоб исчезнуть вдали.
Неизбывна тревога за тех,
Кто остается у моря».

Вот что она ответила:

«Скоро бедный приют,
Где я долгие годы влачила,
В запустенье придет.
Не лучше ли броситься в волны,
Тебя уносящие вдаль?»

Прочитав это весьма откровенное послание, Гэндзи, как ни старался, не мог удержаться от слез. Люди, не знавшие, в чем дело, смотрели на него с сочувствием: «Видно, и к такому жилищу можно привыкнуть, если долго прожить в нем. Вот он и печалится, с ним расставаясь».

Ёсикиё же и прочие испытывали некоторую досаду, видя, что чувство Гэндзи оказалось куда сильнее, чем им представлялось. Как ни радовало всех возвращение в столицу, мысль о том, что сегодня они навсегда расстанутся с этим побережьем, не могла не печалить, многие вздыхали, сетуя на разлуку, и немало было пролито слез. Впрочем, стоит ли все это описывать?

Вступивший на Путь лично позаботился о том, чтобы церемония прощания прошла с необыкновенной пышностью. Все приближенные Гэндзи, даже слуги самых низших разрядов, получили прекрасные дорожные одежды. И когда только он успел их подготовить? Надобно ли говорить о том, какое количество даров получил сам Гэндзи? Слуги несли за ним великое множество лапцов, наполненных превосходными изделиями местных мастеров, которые вполне заслуживали чести быть преподнесенными в дар столичному жителю. Все до мелочей было подготовлено с величайшей заботливостью и отменным вкусом. К охотничьему платью, которое Гэндзи предстояло сегодня надеть, была прикреплена записка:

«Набежала волна,
И промокло сшитое мною
Дорожное платье.
Боюсь, что, от соли поблекнув,
Оно будет тебе не по вкусу...»

Как ни занят был Гэндзи, не ответить он не мог:

«Хочу и тебе
На память платье оставить,
Ведь нам суждено
Провести вдали друг от друга
Немало дней и ночей...»

Надев присланное госпожой платье — ведь она сшила его нарочно для этого случая, — он послал ей свое. Но сколько мучительных воспоминаний должен был пробудить в ее сердце этот прощальный дар! Великолепный наряд еще хранил аромат его тела, и могла ли она спокойно смотреть на него?

— Давно уже отказался я от всего мирского, но не иметь возможности даже проводить вас сегодня... — сетовал Вступивший на Путь, и лицо его искажалось от сдерживаемых рыданий. Нетрудно себе представить, что при всем несомненном к нему сочувствии кое-кто из молодых прислужниц не устоял перед искушением посмеяться над ним.

— Отвратившись от мира,
Соленым морским ветрам
Отдался на волю,
Но, увы, до сих пор не могу
С этим берегом я расстаться...

Мрак, царящий в моей душе, будет лишь сгущаться отныне (3). Позвольте же проводить вас хотя бы до предела здешней земли... — говорил он. — Может быть, слишком дерзко с моей стороны просить об этом, но если вдруг вспомните вы о ней...

Гэндзи был растроган до слез, и что на свете могло быть прекраснее его раскрасневшегося лица?

— Есть одно обстоятельство, которое не позволит мне забыть ее, и очень скоро вы увидите, каковы мои истинные намерения. О, как тяжело расставаться с этим жилищем! Увы, я в полном смятении...

Когда-то весной
Покидал я столицу, но, право,
Даже тогда
Так не сжималось сердце,
Как в этот осенний день, —

ответил он, отирая слезы, и несчастный старик пришел в такое отчаяние, что едва не лишился чувств. Удивительно, как он вообще еще держался на ногах.

Но с чем сравнить горе его дочери? «Да не увидит никто моей тоски», — думала она, пытаясь взять себя в руки. Разве не знала она с самого начала, что разлука неизбежна? Увы, ее положение было слишком ничтожным, чтобы могла она питать надежды на будущее... Но образ Гэндзи постоянно стоял перед ее мысленным взором, и сил у нее доставало лишь на то, чтобы тосковать и плакать с утра до вечера. Не умея утешить ее, мать пеняла супругу:

— Когда б не ваше сумасбродство... Зачем надо было обременять свою жизнь такими горестями? Увы, мне следовало быть осторожнее.

— Ах, замолчите! Неужели вы не понимаете, что теперь господину Дайсё невозможно будет пренебречь ею и так или иначе он о ней позаботится. — А вы утешьтесь наконец, выпейте целебного отвара. Не к добру эти слезы, — говорил Вступивший на Путь дочери, а сам грустил, целыми днями сидя где-нибудь в углу.

Кормилица и мать, сетуя на неисправимо причудливый нрав старика, вздыхали:

— Столько лет тешили себя надеждой, что в конце концов осуществится наше желание и она займет достойное место в мире. И вот дождались... Но могли ли мы предполагать, что столь тяжкие испытания выпадут на ее долю?

Слушая их перешептывания и изнемогая от жалости к дочери, Вступивший на Путь словно совсем лишился рассудка. Днем он спал, зато ночами бодрствовал. «И четки куда-то запропастились...» — бормотал он и, обращая взор к небу, молитвенно складывал руки. Послушники посмеивались, глядя, как в лунные ночи он бродит по саду, будто бы совершая ритуальное шествие. Кончились эти ночные прогулки тем, что несчастный упал в ручей. Ударившись о выступ одного из красивейших камней, он повредил себе поясницу и долгое время был прикован к постели. Впрочем, болезнь помогла ему отвлечься от мрачных мыслей...

Достигнув бухты Нанива, Гэндзи совершил обряд очищения и отправил гонца в Сумиёси с изъявлениями благодарности за благополучное возвращение и с сообщением, что по прошествии некоторого времени он сам посетит святилище, дабы лично отслужить благодарственный молебен. На этот раз Гэндзи спешил, да и свита его была слишком велика, поэтому, никуда не заезжая, он устремился прямо в столицу.

Когда добрались они до дома на Второй линии, у всех — и у оставшихся в столице, и у вернувшихся — было такое чувство, словно все это происходит во сне. Люди плакали от радости, и шум в доме стоял невообразимый. Госпожа возблагодарила судьбу за то, что ее жизнь, которую она когда-то готова была «отдать без сомнений», все-таки продлилась. Она повзрослела и стала еще миловиднее. Ее непослушные волосы стали чуть менее густыми за годы, полные тревог и тоски, но от этого ее красота только выиграла.

«Отныне мы всегда будем вместе», — с удовлетворением подумал Гэндзи, на нее глядя, но тут же перед ним возник печальный образ той, с которой ему пришлось так поспешно расстаться, и сердце его мучительно сжалось. Так, наверное, никогда не удастся ему обрести душевного покоя!

Гэндзи рассказал госпоже о дочери Вступившего на Путь. В голосе его звучало глубокое волнение, и госпожа поняла, что речь идет отнюдь не о случайной прихоти его непостоянного сердца. Печально вздохнув, она тихонько, словно про себя, прошептала: «О себе не пекусь я...» (142), отчего показалась ему еще прекраснее и милее. Право, сколько ни гляди на нее, не наглядись... «И как только я жил без нее все эти годы?» — недоумевал Гэндзи. Возвращаясь мыслями к прошлому, он снова и снова сетовал на изменчивость мира.

Вскоре после возвращения в столицу Гэндзи был восстановлен в прежнем чине, а кроме того, ему присвоили звание гон-дайнагона.

Все, кто служил под его началом и имел на то основания, вернулись на прежние должности и заняли соответствующее их заслугам и достоинствам положение в мире, подобно тому как засохшие деревья расцветают, дождавшись весны.

По приказанию Государя Гэндзи явился во Дворец. Когда вошел он в высочайшие покои, все присутствующие невольно отметили, что за годы, проведенные в изгнании, он стал еще прекраснее. «Хотелось бы знать, как жилось ему в столь диком месте?» — думали придворные, на него глядя. А преклонных лет дамы, которые служили во Дворце еще во времена ушедшего государя, плакали от умиления, громко восхваляя его красоту.

Государь и тот с трудом скрывал волнение. Видно было, что сегодня он уделил исключительное внимание с своему наряду. Он очень похудел за последнее время, измученный постоянным недомоганием, но со вчерашнего дня ему было немного лучше. Увлеченные неторопливой беседой, они не заметили, как стемнело. Вот на небо выплывает светлая луна Пятнадцатой ночи, вокруг царит тишина. Государю с необыкновенной ясностью вспоминается прошлое, и увлажняются рукава его платья. Беспричинная тоска овладевает душой...

— Немало лун и лет прошло с тех пор, как во Дворце в последний раз звучала музыка. Увы, старые мелодии давно уже не радовали моего слуха, — сетует Государь.

— Я был брошен судьбой
В бурные волны морские
И провел среди них
Те три года, в какие бог-пьявка*
На ноги подняться не мог... (143)

говорит Гэндзи, а Государь, растроганный и смущенный, отвечает:

— Совершив оборот
Вкруг столба*, ныне встретились снова.
И не стоит теперь
Вспоминать с горечью в сердце
Весну, когда расставались.

Нельзя было не залюбоваться его нежной красотой.

Прежде всего Гэндзи занялся подготовкой Восьмичастных чтений в память об ушедшем государе. Навестил он и принца Весенних покоев, которого нашел повзрослевшим и похорошевшим. «Какой он милый!» — думал Гэндзи, любуясь принцем, не скрывавшим своей радости.

Принц Весенних покоев многих превосходил умом и дарованиями, поэтому вряд ли что-то могло помешать ему стать в будущем властителем мира.

После того как улеглось волнение, владевшее душой Гэндзи в первые дни после возвращения в столицу, он навестил Вступившую на путь государыню, и нетрудно предположить, что в их встрече было немало трогательного.

Да, вот еще что: в Акаси с «возвращающейся туда волною» Гэндзи отправил письмо. Написанное тайком от посторонних глаз, оно было очень нежным:

«Волны плещут... Каждую ночь... (144)

Ночами без сна
Ты лежишь, печально вздыхая.
Над бухтой Акаси
Встает ли туман по утрам?
К тебе устремляются думы» (145, 146)

А дочь Дадзай-но дайни, госпожа Госэти, тайно питавшая к Гэндзи нежные чувства, была даже несколько огорчена, узнав о его возвращении в столицу и, как видно предупредив гонца, чтобы сохранил ее имя в тайне, отправила ему такое письмо:

«Помнишь ли — лодку
Едва не прибило волною
К берегу Сума?
Жаль, что не видишь моих рукавов —
Они влажны до сих пор...»

Узнав ее почерк, который за это время стал еще совершеннее, Гэндзи написал:

«Скорее уж я
Попенять тебе должен за прошлое:
С того самого дня,
Как волна, набежав, отхлынула,
Не просохнут никак рукава...»

Когда-то он находил эту женщину чрезвычайно привлекательной, и письмо пробудило в нем приятные воспоминания, но теперь Гэндзи вел себя более сдержанно, чем прежде. Даже с обитательницами Сада, где опадают цветы, он сообщался лишь письменно, и потому теперь у них было еще больше причин для досады, хотя, казалось бы...





У БАКЕНОВ

Основные персонажи

Дайнагон, министр Двора (Гэндзи), 28–29 лет

Государь (император Судзакү) — сын императора Кирицубо и Кокидэн

Государыня-мать (Кокидэн) — мать императора Судзакү

Найси-но ками (Обородзүкиё) — придворная дама императора Судзакү, тайная возлюбленная Гэндзи

Принц Весенних покоев (будущий император Рэйдзэй), 10–11 лет — сын Фүдзицубо

Вступившая на путь государыня (Фүдзицубо), 33–34 года — супруга императора Кирицубо, мать императора Рэйдзэй

Великий министр, Высочайший попечитель, бывший Вышедший в отставку министр (Левый министр), 62–63 года — бывший тесть Гэндзи

Сайсё но тюдзё, Гон-тюнагон (То-но тюдзё) — брат Аои, первой жены Гэндзи

Госпожа из Западного флигеля (Мурасаки), 20–21 год — супруга Гэндзи

Госпожа Акаси, 19–20 лет — дочь Вступившего на Путь из Акаси, возлюбленная Гэндзи

Особа из Сада, где опадают цветы (Ханатирусато) — возлюбленная Гэндзи, сестра нёго Рэйкэйдэн

Принц Хёбукё (Сикибукё) — отец Мурасаки

Носитель колчана, Югэи (Укон-но дзо-но куро-до) — приближенный Гэндзи, сын Иё-но сукэ

Ёсикиё — приближенный Гэндзи

Корэмицу — приближенный Гэндзи

ПОСЛЕ ТОГО как Гэндзи столь ясно увидел во сне ушедшего государя, беспокойство не покидало его, он помышляла лишь о том, как облегчить бремя, отягощающее душу отца.

А потому, вернувшись в столицу, незамедлительно приступил к подготовке Восьмичастных чтений. Решено было провести их на Богооставленную, Десятую луну.

Теперь люди склонялись перед Гэндзи совершенно так же, как и в прежние времена. Лишь Государыня-мать, страдавшая от тяжелой болезни, была неутомима в своем недоброжелательстве. «Жаль, что не удалось от него избавиться», — думала она, но Государь оставался верным завету отца. Все эти годы не оставляла его мысль о возмездии, и только восстановив Гэндзи в правах, он почувствовал некоторое облегчение. Глазная болезнь, которая прежде доставляла ему столько мучений, тоже не возобновлялась, но, терзаемый мрачными предчувствиями, он думал лишь о том, что жизненный срок его близится к концу и недолго осталось ему быть государем. Он часто призывал Гэндзи и доверительно беседовал с ним о делах этого мира, а поскольку вершились они теперь в полном соответствии с его желаниями, люди безмерно радовались и восхваляли его.

Близился день, намеченный Государем для отречения, и, глядя на Найси-но ками, которая целыми днями печалилась и вздыхала, предаваясь размышлениям о будущем, он чувствовал, как сердце его сжимается от мучительной жалости к ней.

— Ваш отец покинул уже этот мир. Состояние великой Государыни день ото дня становится все безнадежнее, да и мне, наверное, совсем недолго осталось жить. Как это ни прискорбно, но скорее всего в вашей жизни произойдут весьма значительные перемены. Я знаю, что вы всегда предпочитали мне другого, но мое сердце принадлежало вам одной, и единственное, что меня теперь беспокоит — это ваша судьба. Легко может статься, что ваше давнее желание будет наконец удовлетворено и этот столь превосходящий меня человек станет заботиться о вас. Но боюсь, его чувство к вам не будет таким же сильным, как мое. О, если б вы знали, как больно мне думать об этом! — как-то сказал он ей и заплакал.

Лицо Найси-но ками залилось ярким румянцем, на глазах выступили слезы. Так хороша была она в тот миг, что Государь не мог оторвать от нее умиленного взгляда. И, разумеется, все прегрешения ее были забыты.

— Как жаль, что у вас нет детей! Досадно, если они появятся позже, как свидетельство вашей связанности с тем человеком. Его возможности ограничены, и дети его будут простыми подданными, — говорил Государь, простирая свои заботы о ней в далекое будущее, что и смущало, и трогало Найси-но ками.

Государь был чрезвычайно хорош собой, к тому же за эти годы она успела удостовериться в его беспредельной любви к ней, а Гэндзи, как ни велики были его достоинства, все-таки никогда не испытывал к ней глубокого чувства. Постепенно начиная это понимать, она мучилась запоздалым раскаянием. «О, для чего, потворствуя желаниям своего юного, неопытного сердца, я позволила себе стать причиной всех этих волнений? Ведь пострадало не только мое доброе имя, но и он...» И в самом деле, разве не печальна ее участь?

На Вторую луну следующего года принцу Весенних покоев «покрыли главу». Ему исполнилось одиннадцать, но, не по годам рослый, он казался старше, был очень хорош собой и как две капли воды походил лицом на

Гэндзи-дайнагона. Ослепительный свет их красоты озарял мир, вызывая всеобщее восхищение, и только мать принца с тревогой прислушивалась к расточаемым им похвалам, напрасно терзая свое сердце.

Отдавая справедливую дань необычайным достоинствам принца, Государь в одной из доверительных бесед сообщил ему о намерении передать мир в его руки. По прошествии Двадцатого дня той же луны он, к великой досаде Государыни-матери, объявил о своем отречении.

— Разумеется, мое положение будет теперь незначительным, но зато я смогу видаться с вами столько, сколько захочу, — говорил он, утешая ее.

Наследным принцем был назначен сын нёго из дворца Дзёкёдэн.

Пришли новые времена, и жизнь снова стала ярче и радостнее.

Гэндзи-дайнагон получил звание министра Двора. Было решено ввести его в Государственный совет именно таким образом, ибо при строго установленном числе министров в составе совета все места уже оказались занятыми. В этом качестве должен был он вершить дела правления, но, заявив: «Я вряд ли сумею справиться», стал просить Вышедшего в отставку министра принять на себя обязанности Высочайшего попечителя.

— Я отказался от своего звания по причине болезни. Да и дряхлею с каждым годом все больше, поэтому вряд ли смогу оказаться полезным, — возразил министр, не решаясь принять предложение Гэндзи.

Однако, учитывая то обстоятельство, что и в чужих землях истинными мудрецами почитались те люди, которые в годы смут и неурядиц скрывались в горной глуши, а как только в Поднебесной воцарялся порядок, возвращались в столицу* и, не стыдясь седин своих, служили стране, все единодушно сошлись на том, что теперь, когда в мире произошли столь благоприятные перемены, ничто не может помешать вернуться к своим обязанностям человеку, который ранее отказался от них по причине нездоровья.

Поскольку история знала немало подобных примеров, министр, не настаивая более на своем отказе, встал во главе Государственного совета. А было ему уже шестьдесят три года. В свое время он удалился от дел отчасти из-за болезни, но главным образом потому, что был недоволен происшедшими в мире переменами. Теперь же возродилось его прежнее влияние, и его сыновья, погрузившиеся было в пучину безвестности, снова всплыли на поверхность.

Особых отличий удостоился Сайсё-но тюдзё, ставший гон-тюнагоном. Его дочь, рожденная четвертой дочерью Правого министра, достигла двенадцати лет, и он, намереваясь отдать девочку во Дворец, уделял особое внимание ее воспитанию. На того отрока, что пел когда-то «Высокие дюны», тоже надели шапку придворного, и он вполне оправдывал возлагавшиеся на него ожидания. У Сайсё-но тюдзё было много детей от разных жен, в его доме всегда было шумно, и министр Гэндзи завидовал ему.

Сын ушедшей дочери Великого министра, многих превосходя миловидностью, прислуживал Государю и принцу Весенних покоев*. Глядя на внука, министр и супруга его снова и снова оплакивали свою утрату. Вместе с тем вряд ли когда-нибудь судьба была благосклоннее к этому достойному семейству. Гэндзи и теперь осеял его своим покровительством, и ничто не напоминало домочадцам министра о прежних невзгодах.

Доверенность Гэндзи к бывшему тестю не умалилась, он часто бывал в его доме и пользовался любой возможностью, дабы выразить свою признательность кормилицам юного господина и прочим прислужницам, которые все эти годы оставались преданными семейству министра. Должно быть, многие из них имели основания чувствовать себя счастливыми. Точно так же он вел себя по отношению к обитательницам дома на Второй линии. Особо выделяя вниманием Тюдзё, Накацукаса и прочих дам, сумевших дожидаться его возвращения, он старался вознаградить их за долгие годы уныния и разными средствами изъяснял им свое благоволение. Досуга у него почти не оставалось, и больше он никуда не выезжал.

По распоряжению Гэндзи была великолепно перестроена доставшаяся ему по наследству от ушедшего государя небольшая усадьба к востоку от дома на Второй линии. Она предназначалась для его бывших возлюбленных на случай, если кто-нибудь из них, вроде той особы из Сада, где опадают цветы, окажется вдруг в бедственном положении.

Да, вот еще что: все это время Гэндзи ни на миг не забывал той, что осталась в Акаси. Состояние ее не могло не тревожить его, однако, поглощенный разнообразными делами, и государственными и личными, он не успел снестись с ней так быстро, как предполагал. С начала Третьей луны, рассчитав, что подошел срок, он не находил себе места от беспокойства и наконец отправил в Акаси гонца. Вернувшись довольно быстро, гонец доложил:

— На Шестнадцатый день госпожа благополучно разрешилась от бремени младенцем женского пола.

Дочерей у Гэндзи не было, и эта весть радостно взволновала его. «О, для чего я не перевез ее в столицу, ведь девочка могла родиться и здесь!» — досадовал он.

Таким образом, сбывалось давнее предсказание гадальщиков, гласившее: «У вас будет трое детей. Вслед за государем родится государыня. Одному из ваших сыновей уготовано звание Великого министра — низшее по сравнению с другими детьми, но высшее из тех, на какие может рассчитывать простой подданный. Младенца женского пола родит женщина самого низкого ранга».

Многие мудрые прорицатели-физиономисты предрекали когда-то, что Гэндзи поднимется на высоту, выше которой никому не дано подняться, и станет вершить дела правления. С тех пор прошло немало лет, тяжкие испытания выпали на долю Гэндзи, и предсказания эти успели изгладиться из его памяти. Только теперь, когда власть над миром перешла в руки принца Весенних покоев, он вспомнил о них и обрадовался, увидев, что начинают сбываться самые сокровенные его желания.

Гэндзи всегда знал, что не вправе рассчитывать на высочайшее положение. «Я был любимым сыном Государя, и тем не менее он сделал меня простым подданным. Это определило мою судьбу, заранее ограничив пределы моих притязаний. Но назначение нового Государя — свидетельство того, что гадальщики не ошиблись, хотя никому и не дано узнать...» — думал он, храня эти мысли глубоко в сердце. Размышляя о будущем, Гэндзи впервые понял, сколь многим обязан богу Сумиёси. «Женщине из Акаси и в самом деле предназначена непростая судьба. Недаром ее чужак-отец предавался

несбыточным на первый взгляд мечтаниям. Но если это действительно так, можно ли было допускать, чтобы девочка, которой уготована столь высокая участь, родилась в такой глуши? Необходимо как можно быстрее перевезти ее в столицу». И он распорядился, чтобы поспешили с постройкой Восточной усадьбы.

Гэндзи был весьма обеспокоен, понимая, что в Акаси нелегко найти надежную кормилицу, но вовремя вспомнил о горестной судьбе дочери Сэндзи*. Сама Сэндзи служила еще при покойном государе, а отцом девушки был человек, скончавшийся в звании кунайкё-но сайсё. Не так давно она лишилась матери и с той поры влачила жалкое существование, к тому же после случайной и непродолжительной связи с кем-то у нее родился ребенок. Призвав к себе человека, от которого он и узнал обо всех этих обстоятельствах, Гэндзи объяснил ему, в чем дело, и они сговорились.

Дочь Сэндзи, женщина совсем еще молодая и простодушная, жила одна в заброшенном, всеми забытом доме и изнывала от тоски, а потому, не долго думая, согласилась на предложение Гэндзи, почти за великую удачу приблизиться к нему. Жаль было Гэндзи эту юную особу, однако беспокойство за судьбу дочери пересилило, и он решил отправить ее в Акаси.

Однажды, воспользовавшись случаем, он тайно навестил ее, и если раньше, несмотря на данное уже согласие, она колебалась, страхась неведомого будущего, то знак столь исключительного благоволения с его стороны окончательно рассеял все ее сомнения.

— Я всецело к вашим услугам, — заверила она Гэндзи.

А поскольку день выдался как раз благоприятный, он велел ей готовиться в путь.

— Вероятно, моя просьба покажется вам чрезмерной, но, поверьте, у меня есть особые основания... Постарайтесь примириться с мыслью, что вам придется прожить некоторое время в столь непривычном окружении. Но ведь и я в течение долгих лун и лет изнывал там от тоски. Может быть, это послужит вам утешением, — сказал Гэндзи и подробно рассказал женщине о том, как попал в Акаси.

Ему и раньше случалось видеть дочь Сэндзи во Дворце, ибо она часто прислуживала в высочайших покоях, поэтому он не мог не заметить, как сильно она исхудала за последнее время.

В доме же ее царило поистине неопишемое запустение. Он был довольно велик, и разросшиеся купы деревьев придавали ему угрюмый вид. Неподходящее жилище для молодой женщины! К тому же она оказалась такой прелестной, что Гэндзи долго не мог оторвать от нее глаз.

— Пожалуй, я готов передумать. Как вы к этому отнесетесь? — шутит он.

А она глядит на него, думая: «Если уж идти к кому-то в услужение, то я предпочла бы прислуживать ему самому. Думаю, что тогда бы мне удалось очень быстро забыть свои горести».

— Никогда
Неразрывными узами не был
Связан с тобой,
И все же меня печалит
Мысль о скорой разлуке.

А что, если я последую за вами? — спрашивает Гэндзи, и женщина, улыбнувшись, привычно отвечает:

— Печалит тебя
Мысль о скорой разлуке...
Не потому ли,
Что сердце стремится туда,
Куда путь мой лежит?

«Неплохо!» — думает он.

Дочь Сэндзи выехала из столицы в карете. Гэндзи поручил самым верным своим приближенным сопровождать ее, потребовав от них соблюдения строжайшей тайны. Он послал с ними охранительный меч, великое множество других приличествующих случаю даров, и не было такой мелочи, о которой он не позаботился бы. Да и сама кормилица окружена была поистине необыкновенным вниманием.

Гэндзи то улыбался, представляя себе, как нежно заботится о внучке Вступивший на Путь, то вздыхал, охваченный смутной тревогой, — словом, девочка занимала все его думы, и не потому ли, что уже теперь он нежно любил ее? Госпоже Акаси он написал отдельное письмо, в котором настоятельно просил ее отнестись с должным вниманием к воспитанию дочери, указав при этом на необходимость обращаться с ней как с особой самого высокого происхождения.

«Когда же тебя,
Я своим рукавом прикрою?
Да будет твой век
Долгим, как век утеса,
На который спускается дева... * (147)».

Кормилица и спутники ее весьма быстро добрались до Акаси. До провинции Сэтцу они плыли в ладье, далее ехали на лошадях. Радость Вступившего на Путь, равно как и признательность его, истинно не ведала пределов. Он низко поклонился, оборотившись в сторону столицы, и, преисполненный благоговейного трепета, обратил на внучку все свои попечения. Девочка же была так прелестна, что у всякого, кто взглядывал на нее, невольно сжималось сердце.

«И в самом деле, не зря господин изволил побеспокоиться о ее воспитании», — думала кормилица, глядя на свою питомицу, и сомнения, мучившие ее перед отъездом из столицы, окончательно рассеялись. Тронутая прелестью и милым нравом девочки, она окружила ее нежными заботами. Мать же, которая все эти луны пребывала в глубоком унынии, казалось, утратила последний остаток сил, и не было у нее желания жить долее. Однако же столь явный знак внимания со стороны Гэндзи придал ей бодрости, и, впервые за долгое время оторвав голову от изголовья, она сама позаботилась о том, чтобы гостям был оказан любезный прием.

— Мы должны немедленно отправляться обратно, — заявил гонец.

Видно было, что любое промедление для него мучительно, поэтому, написав совсем короткое письмо, госпожа Акаси заключила его такой песней:

«Мои рукава
Слишком узки, и этот цветок
Одной не взлелеять.
Вот и жду, чтобы ты
Небо над ним прикрыл». (148)

Гэндзи беспрестанно помышлял о дочери, и желание увидеть ее росло с каждым днем. Он долго не говорил ничего госпоже, но, опасаясь, что она узнает новость от других...

— Вот так обстоят дела, — сказал он в заключение. — Непостижимы превратности судьбы. Ну можно ли было ожидать, что именно там... Досадно, право. К тому же это девочка. Конечно, я мог бы пренебречь ею, но, должен признаться, у меня недостает сил... Я хотел бы привезти ее сюда и показать вам. Надеюсь, вы не станете мучиться ревностью?

Вспыхнув, госпожа ответила сердито:

— Можно подумать, что у меня на редкость дурной нрав. Вы так часто напоминаете мне об этом, что я и сама начинаю относиться к себе с неприязнью. Помилуйте, да разве есть у меня причины для ревности?

Гэндзи добродушно улыбнулся:

— Разумеется, нет, здесь вы совершенно правы. Меня удивляет ваше поведение. Вы подозреваете меня в том, чего у меня и в мыслях не было, и сердитесь. Ну не печально ли? — И на глазах его показались слезы.

Вспомнив, как стремились сердца их друг к другу все эти годы, какими нежными письмами они обменивались, госпожа подумала, что все его увлечения — мимолетные прихоти — не более, и успокоилась.

— Поверьте, у меня есть особые причины заботиться о той женщине и часто сообщаться с ней. Но сейчас рано о том говорить, боюсь, что вы снова истолкуете мои слова в дурную сторону. Возможно, в другом месте она и не привлекла бы моего внимания, но там, среди диких скал...

И Гэндзи рассказал ей обо всем, что сохранилось в его памяти: о том печальном вечере, когда стлался по берегу дымок от костров, о словах, сказанных госпожой Акаси, о ночи, когда он впервые увидел ее лицо, и, разумеется, о том, как чудесно звучало в ее руках кото... А госпожа, слушая его, думала: «Пока я изнывала здесь от тоски, он дарил свою нежность другой, и пусть это только случайная прихоть, но все же...» Горькая обида пронзила ее сердце, и она отвернулась, постаравшись принять самый независимый вид.

— А ведь все так прекрасно начиналось, — прошептала она, ни к кому не обращаясь, и вздохнула.

— Я хотела бы первой
Струйкой дыма подняться к небу,
Даже если тот дым
Устремится совсем не туда,
Куда думы влюбленных стремятся... (108)

— О, не говорите так, это слишком жестоко...

Ради кого
Я так долго скитался
По горам и морям?
Ради кого тонул я
В бесконечном потоке слез?

Сумею ли я убедить вас? Жизнь ведь не всегда бывает так длинна, как этого хочется... Разве не ради вас старался я не навлекать на себя ничьей ненависти?

Придвинув к себе кото «со», Гэндзи настроил его и предложил госпоже сыграть, но она даже не дотронулась до струн, очевидно недовольная тем, что та особа из Акаси оказалась искусней ее.

Госпожа обладала на редкость кротким, миролюбивым нравом, и такие внезапные вспышки ревности отнюдь не умаляли ее привлекательности, скорее напротив.

Гэндзи, подсчитав украдкой, что на Пятый день Пятой луны девочке должно исполниться пятьдесят дней*, умилялся, представляя себе ее невинное личико. «Жаль! — вздыхал он. — Как пышно отметили бы мы это радостное событие здесь, в столице! И почему суждено было ей появиться на свет в такой глуши?» Будь это мальчик, Гэндзи вряд ли бы так беспокоился, но девочке расти в столь недостойном окружении... Досадуя, он не мог отделаться от мысли, что все его несчастья ниспосланы ему только ради ее появления на свет. Так или иначе он отправил в Акаси гонца.

— Смотри не перепутай, ты должен появиться там именно на Пятый день, не позже и не раньше, — предупредил Гэндзи, и гонец прибыл в Акаси точно к сроку.

Дары, приготовленные Гэндзи, поражали великолепием, к тому же со свойственной ему предусмотрительностью он позаботился о самом насущном, без чего в Акаси не обойтись.

«Сосны у моря
Не подлежат переменам.
Под их сенью живя,
Сумеешь ли отличить
Этот день от других?

Сердце мое стремится к вам... Так больше продолжаться не может. Решайтесь же. Обещаю, что Вам не о чем будет сожалеть», — писал Гэндзи.

Увидев его письмо, Вступивший на Путь по обыкновению своему заплакал от радости. Но ради таких мгновений и стоит жить, так что никто не удивлялся, на него глядя.

Надобно ли говорить о том, что Вступивший на Путь превзошел самого себя, готовясь к этому дню, и тем не менее он показался бы ему чернее ночи, когда б не гонец из столицы.

Кормилица между тем была совершенно очарована госпожой, найдя в ее лице вполне достойную собеседницу, и это несколько скрашивало ее существование. Молодой госпоже в основном прислуживали дамы, которых некогда, используя давние семейные связи, подобрали для нее родители. По

происхождению они не уступали новой кормилице, ибо в большинстве своем это были дворцовые прислужницы, обедневшие и уже немолодые, прибившиеся к дому Вступившего на Путь в надежде обрести среди здешних утесов убежище от мирских печалей (109). В кормилице свежесть юности сочеталась с удивительным благородством. Она без конца рассказывала госпоже обо всем, что по женскому ее разумению казалось ей достойным внимания, — о том, как живет господин министр Двора, сколь велико его влияние в мире, как все его почитают, и постепенно госпожа Акаси начала понимать, какая счастливая судьба выпала ей на долю, ведь памятный дар, который оставил ей Гэндзи, никогда не позволит ему пренебречь ею.

Письмо они тоже читали вместе, и кормилица все время вздыхала украдкой: «Ах, как же повезло госпоже! А мне, несчастной, достались одни невзгоды...» Но господин министр осведомлялся заботливо: «А как здоровье кормилицы?» — и эта редкостная милость заставила ее забыть все свои горести. Вот какой ответ написала госпожа Акаси:

«Юный журавль
Кричит, укрывшись под сенью
Неприметной скалы.
Даже сегодня никто
Его не придет проведать...»

Право, вряд ли моя жизнь окажется продолжительной, слишком многое печалит меня, а поддерживают лишь редкие вести от Вас. О, когда б Вы и в самом деле позаботились о ней...»

Самые сокровенные свои мысли вложила она в это письмо, и Гэндзи долго читал его и перечитывал. Потом тяжело вздохнул.

А госпожа из Западного флигеля, искоса взглянув на него, проговорила тихонько, тоже словно ни к кому не обращаясь:

— «Вдали теряется лодка...» (149)

— Неужели вы до сих пор сомневаетесь во мне? Я просто вздохнул... Трудно забыть прошедшее, и я испытываю естественное волнение при любом напоминании о том побережье. Вы же ничего не пропустите мимо ушей, — попенял ей Гэндзи, показав только обертку от письма.

Увидев, сколь благороден почерк госпожи Акаси — право, ему позавидовала бы любая знатная дама, — госпожа Мурасаки невольно подумала: «Вот потому-то он и...»

В последнее время, стараясь во всем угождать госпоже, Гэндзи почти нигде не выезжал. Не бывал он и в Саду, где опадают цветы, ибо, как ни жаль ему было его обительницу, многочисленные обязанности, сопряженные с новым званием, совершенно не оставляли ему досуга, не говоря уже о том, что теперь он был еще свободен в своих передвижениях, чем прежде. Впрочем, никаких тревожных вестей от нее не поступало, и Гэндзи был спокоен.

Но вот в какой-то из дней Пятой луны, когда шли нескончаемые, унылые дожди и в делах, как государственных, так и личных, наступило некоторое затишье, он неожиданно вспомнил о ней и решил ее навестить.

Держась в отдалении, Гэндзи тем не менее постоянно следил за тем, чтобы женщина ни в чем не испытывала нужды, и она жила исключительно его

милостями, а поскольку у нее не было весьма распространенной среди нынешних жеманниц привычки встречать его укоризненными взглядами исподлобья, он никогда не тяготился встречами с ней.

За последние годы дом пришел в запустение, на всем лежал отпечаток уныния. Сначала Гэндзи навестил госпожу нёго и долго беседовал с ней, а когда опустилась ночь, сквозь боковую дверь прошел в западные покои.

Трудно представить себе что-нибудь более прекрасное, чем фигура Гэндзи, освещенная проникавшим в дом тусклым лунным светом. Смутившись, женщина тем не менее не двинулась с места и осталась сидеть у порога, откуда любовалась луной. Светлое спокойствие, дышавшее в ее чертах, сообщало ей особую привлекательность. Где-то рядом застучали клювами пастушки-куина, и она сказала нежным голосом:

— Когда бы меня
Не разбудил своим стуком
Пастушок-куина,
Разве впустила бы я луну
В свой заброшенный дом?

Больше она ничего не добавила, и Гэндзи подумал: «Так, у каждой женщины — свои достоинства. К примеру, эту трудно оставить именно потому, что от нее никогда не услышишь ни слова упрека».

— Вряд ли стоит тебе
Всякий раз откликаться на стук
Пастушка-куина.
А что если гостем нескромным
Луна окажется вдруг?

Право же, вы поселили тревогу в моей душе... — попенял он ей, но, разумеется, его слова вовсе не значили, что он сомневается в ее верности. Она ждала его все эти долгие годы, и хотя бы поэтому Гэндзи не мог оставить ее.

Напомнив ему о той ночи, когда он просил: «А пока не смотри на небо...», женщина сказала:

— О, для чего так кручинилась я тогда, думая: «Нет большего горя!» Разве теперь не о чем мне печалиться?

Голос ее звучал мягко и нежно, и Гэндзи по обыкновению своему — где только он слова такие находил — принялся утешать ее со свойственной ему пылкостью.

Даже в те дни Гэндзи не забывал Цукуси-но Госэти, его не оставляло желание снова увидеть ее, но теперь ему было куда труднее, чем прежде, тайно выезжать из дома. Она тоже не переставала думать о нем и, несмотря на настояния отца, отказывалась жить обычной для женщины этого мира жизнью.

«Вот построю светлый и прекрасный дом, — думал Гэндзи, — и поселю там женщин, подобных ей. Они окажутся очень полезными, если появится дитя, которое я стану воспитывать по собственному разумению».

А надо сказать, что дом, возводившийся к востоку от его нынешнего жилища, отвечал всем самым современным требованиям и был едва ли не роскошнее дома на Второй линии. Гэндзи отобрал самых достойных наместников, дабы они выполняли разного рода строительные работы.

Гэндзи часто вспоминал Найси-но ками и, «горький опыт забыв» (35), был, судя по всему, не прочь возобновить прежние отношения. Однако Найси-но ками, из памяти которой до сих пор не изгладились мучительные воспоминания, не могла и помыслить...

Словом, теперь Гэндзи имел еще меньше возможностей для удовлетворения своих желаний. а потому перемены, в его жизни происшедшие, скорее печалили его, нежели радовали.

Ушедший на покой государь предавался всевозможным тихим удовольствиям, в его доме часто собирались придворные и звучала прекрасная музыка.

Все нёго и кои остались с ним. Лишь мать нынешнего наследного принца, нёго из дворца Дзёкэдэн, радуясь счастливому повороту своей судьбы, покинула его дом и переселилась в Весенние покои. Впрочем, государь никогда не благоволил к ней, ибо сердце его безраздельно принадлежало Найси-но ками.

Министр Двора Гэндзи по-прежнему занимал во Дворце покои Светлых пейзажей, Сигэйса. По соседству, в Грушевом павильоне, жил наследный принц, и министр, не упуская случая навестить к нему, старался входить во все его нужды.

Поскольку нельзя было вернуть прежнее звание Вступившей на путь государыне*, ее положение приравнивали к положению отрекшегося властителя Поднебесной, пожаловав обширными владениями и соответствующим штатом прислуги, так что ее значение в мире было достаточно велико. Жизнь ее, как и прежде, проходила в ревностном служении Будде, и множилось число благочестивых деяний ее. В последние годы неблагоприятное стечение обстоятельств не позволяло ей часто бывать во Дворце, и, к ее величайшему огорчению, она почти не виделась с сыном, поэтому теперь, получив наконец возможность в любое время посещать высочайшие покои, чувствовала себя счастливой. Для Великой же Государыни настала пора сетовать на судьбу. Она испытывала немалое смущение, видя, что господин министр Двора не упускает случая услужить ей. Вместе с тем любые знаки внимания с его стороны не только не смягчали ее сердца, но, напротив, еще более ожесточали его, и многие порицали ее за это.

Принц Хёбукё в тяжелые для Гэндзи времена, заботясь лишь о том, как бы самому не попасть в немилость, проявил неожиданное равнодушие к его судьбе, и, помня об этом, Гэндзи не стал возобновлять с ним прежних дружеских отношений. Простирая благосклонность свою на весь мир, с принцем он держался довольно холодно, немало огорчая этим Вступившую на путь государыню.

Все дела по управлению миром были поделены пополам, и оба министра, Великий и министр Двора, ведали ими по своему усмотрению. Дочь Гон-тюнагона на Восьмую луну была представлена ко двору. Ее влиятельный дед не пожалел сил для того, чтобы церемония прошла с подобающей пышностью. Известно было, что и принц Хёбукё прочит во Дворец свою среднюю дочь: во всяком случае, ее воспитанию уделялось особое внимание. В мире об этой девице отзывались весьма благосклонно, но, кажется, министр Двора не считал ее достойной столь высокого положения. И неизвестно, как сложится ее судьба..

Осенью Гэндзи, сопутствуемый пышной свитой, выехал в Сумиёси, дабы отблагодарить богов за то, что вняли его молитвам. В мире только и говорили что об этом событии. Юноши из знатнейших столичных семейств, придворные оспаривали друг у друга честь сопровождать его.

Случилось так, что примерно в то же время в Сумиёси выехала госпожа Акаси. Имея обыкновение посещать святилище ежегодно, она по разного рода причинам не смогла поехать туда ни в прошлом, ни в нынешнем году и потому желала, помимо всего прочего, получить прощение за невольное небрежение.

Она добиралась до Сумиёси морем, и, когда ладья пристала к берегу, внимание ее привлекло необычное скопление народа: шумные толпы паломников устремлялись к святилищу с богатыми дарами в руках. Тут же она заметила десятерых роскошно одетых танцоров*, затмевающих один другого милловидностью лиц и стройностью станом.

— Чья это свита? — спросили ее спутники.

— Неужели в мире есть люди, не слыхавшие о благодарственном паломничестве господина министра Двора? — ответил кто-то из приближенных Гэндзи, и все, даже самые низкие слуги, громко засмеялись, весьма довольные произведенным впечатлением.

В самом деле, ну не досадно ли? Нелепый случай привел ее сюда именно сегодня, чтобы она смогла издалека увидеть его и убедиться в собственном ничтожестве. Несмотря ни на что, она связана с ним нерасторжимыми узами, так почему же ей нельзя приблизиться к нему, тогда как все эти люди, в большинстве своем весьма невысокого звания, радостно суетятся вокруг, почитая за честь находиться рядом? «Сколь тяжкими преступлениями должно быть обременено мое прошлое! Иначе разве случилось бы так, чтобы я, отдающая ему все свои помыслы, тоскующая в разлуке с ним, ничего не знала об этом паломничестве? О, я никогда не приехала бы сюда...» — беспрестанно думала женщина и плакала тайком.

Невозможно сосчитать всех участников этой блестящей процессии: светлые и темные платья кажутся весенними цветами и алыми осенними листьями, разбросанными по темной зелени соснового бора. Среди чиновников Шестого ранга выделяются куродо, облаченные в зеленые одеяния, а тот Укон-но дзо-но куродо, который некогда пенял за жестокость богам из святилища Камо, успел сделаться «носителем колчана», югэи, и теперь имеет собственных телохранителей, производящих весьма внушительное впечатление.

Ёсикиё, судя по всему, получил звание эмон-но сукэ, лицо его выражает крайнюю степень довольства, он просто великолепен в своем ярко-алом наряде.

Многие старые знакомцы возникали перед ее взором, почти неузнаваемые в своих новых роскошных одеяниях.

Всем видом своим говоря: «А о чем нам печалиться?», благородные юноши и придворные старались затмить друг друга. Изысканнейшие наряды, празднично украшенная сбруя — право, для деревенских жителей это было редкостное, поистине незабываемое зрелище.

Когда взор госпожи Акаси обращался к стоящей поодаль карете Гэндзи, сердце ее трепетало, и она невольно опускала глаза, даже не пытаясь уловить дорогие черты.

Вспомнив о министре из Кавара*, Государь прислал Гэндзи десятерых мальчиков-телохранителей, и эти миловидные отроки одинакового роста и сложения, в прелестных одеяниях, с волосами, закрученными жгутами у висков и изящно перевязанными лиловыми шнурами, цвет которых сгушался к концам, сообщали процессии невиданное великолепие.

Люди склонялись почтительно перед молодым господином из дома Великого министра. Он ехал верхом в сопровождении одинаково одетых мальчиков-телохранителей. Свита его сразу же бросалась в глаза, вызывая всеобщее восхищение.

Госпоже Акаси показалось, что, нечаянно проникнув взором в недоступные заоблачные дали, она узрела скрытую там красоту. Сердце ее мучительно жалось при мысли о дочери, и еще усерднее стала она взывать к богу Сумиёси.

Тем временем прибыл правитель здешних земель и воздал Гэндзи такие почести, которых не удостоился бы ни один другой министр. Госпожа Акаси почувствовала, что не может больше оставаться здесь.

«Стоит ли мне, ничтожной, появляться теперь со своими малыми дарами? Ведь боги и не заметят их. Впрочем, возвращаться ни с чем тоже неразумно... Пожалуй, лучше всего пристать пока в Нанива, где можно будет хотя бы принять очищение». И она отправилась в Нанива.

А Гэндзи, о том не ведая, всю ночь разными средствами изъявлял свою благодарность богам. Он не упустил из виду ничего, что могло бы их порадовать, и сделал даже больше, чем некогда обещал. До самого рассвета у святилища не смолкала музыка.

Корэмицу и некоторые другие приближенные Гэндзи, растроганные до слез, превозносили чудесное могущество богов. Дождавшись, когда Гэндзи ненадолго вышел наружу, Корэмицу приблизился к нему и произнес:

— Здесь, в Сумиёси
На сосны смотрю с тоскою:
Вспоминаются мне
Давние дни, осененные
Милостями богов...

«Да, это так», — подумал Гэндзи, вспомнив прошлое, и ответил:

— Средь бушующих волн
Мы блуждали, и бог Сумиёси
Нам на помощь пришел.
Разве сможем когда-нибудь
Мы об этом забыть?

Да, явили нам боги свое могущество...

Как же он был прекрасен, когда произносил эти слова!

Корэмицу сообщил, что видел лодку госпожи Акаси, которая, не задерживаясь, проплыла дальше; очевидно, женщина была слишком напугана шумными толпами паломников на берегу. «А я ведь и не знал ничего...» — с сожалением подумал Гэндзи. Право, он не мог пренебречь ею уже потому, что сам бог Сумиёси привел его к ней. «О, как бы я желал хоть несколько слов сказать ей в утешение! Боюсь, что теперь ей еще тяжелее...»

Покинув святилище, Гэндзи отправился обратно, осмотрев по дороге все близлежащие достопримечательности. В Нанива он принял очищение в семи протоках*, Когда взору Гэндзи представились окрестности канала Хориэ*, у него вырвалось невольно: «И не все ли теперь мне едино?...» (150)

Находившийся неподалеку Корэмицу, услышав эти слова, вытащил короткую кисть, которую, хорошо зная привычки своего господина, всегда носил за пазухой — так, на всякий случай, — и, когда карета остановилась, поднес ему. А Гэндзи: «Весьма понятлив!» — подумав, на сложенном листке бумаги написал:

«Я стремился к тебе
Всей душой, и сегодня у бакенов
Встретились мы.
Видно, связаны крепко
Наши с тобою судьбы...»

Письмо он отдал Корэмицу, а тот отправил его с человеком, которому были известны все обстоятельства.

Госпожа Акаси между тем, замирая от волнения, глядела на всадников, рядами тянувшихся мимо, и даже столь незначительное проявление благосклонности растрогало ее до слез:

«Мне, ничтожной,
В бухту Нанива, к бакенам
Стремиться не стоило.
Не стоило тешить сердце
Пустыми надеждами...»

Она привязала письмо к пучку священных волокон, приготовленных для омовения на острове Тамино*.

День клонится к вечеру. Начинается прилив, над морем пронзительно кричат журавли... Сумерки так прекрасны, что Гэндзи невольно приходит в голову: а что если, пренебрегши приличиями, встретиться с ней?..

Снова роса,
Как в те далекие дни,
На платье ложится...
Остров Плаща, но и здесь
Убежища не найти (151).

На обратном пути Гэндзи часто останавливался, любовался живописнейшими пейзажами, услаждал слух своей музыкой, но мысль о госпоже Акаси ни на миг не покидала его.

Собралось много веселых женщин, и молодые сластолюбцы, которых оказалось немало среди высшей знати, разглядывали их с превеликим любопытством. Однако Гэндзи с негодованием отвратил свой взор от этих особ, разнообразными ухищрениями старавшихся привлечь к себе его внимание. «Слишком многое в жизни определяется тем, какой человек находится рядом с тобой, — думал он. — Откроется ли тебе красота явлений, проникнешь ли ты в печальную прелесть вещей — все это в значительной

степени зависит от душевных качеств близкого тебе человека. Потому-то даже в шутку я не мог бы увлечься этими ветренными жеманницами».

Гэндзи со своей свитой проехал мимо, а на следующий день, который тоже оказался благоприятным, госпожа Акаси поднесла богу Сумиёси приготовленные ею дары, выполнив, таким образом, и свои весьма скромные, сообразные ее званию обеты. Однако, возвратившись домой, она не только не почувствовала облегчения, а, напротив, затосковала еще сильнее. Денно и ночью грустила она и печалилась, сетуя на судьбу. И что же? Не прошло еще тех дней, за которые, по ее предположению, Гэндзи мог добраться до дома, как от него пришел гонец. Гэндзи писал о своем намерении как можно быстрее перевезти ее в столицу. Его слова внушали госпоже Акаси уверенность в будущем, позволяя надеяться на самое достойное положение в его доме, но она все не могла решиться: «Ужели должна я покинуть это побережье? И что ждет меня впереди? Если и благополучие, то весьма шаткое, скорее же всего — одиночество...»

Вступившего на Путь тоже одолевали сомнения. Разумеется, ему очень не хотелось расставаться с дочерью и внучкой, но мысль о том, что им придется схоронить себя в этой глуши, была нестерпима и теперь — более чем когда бы то ни было. В конце концов госпожа Акаси сообщила Гэндзи, что не может прийти к определенному решению, ибо слишком многое смущает ее.

Да, вот еще что: за это время назначили новую жрицу Исэ, и миясудокоро вернулась в столицу. Гэндзи по-прежнему принимал живое участие во всем, что ее касалось, однако она старалась держаться в отдалении: «Ужели забуду старые обиды? О нет, лучше вовсе не видеть его, чем снова оказаться обманутой». Окажись Гэндзи настойчивее, он, вероятно, сумел бы смягчить ее сердце, но, увы, ему и самому трудно было предугадать... К тому же нынешнее его положение почти исключало возможность тайных сношений с кем бы то ни было. Вместе с тем он часто вспоминал жрицу: «Она, должно быть, очень переменилась за эти годы».

Миясудокоро жила все там же, на Шестой линии, ее старый дом был обновлен и приведен в порядок, покои сверкали роскошным убранством. Судя по всему, она не изменила своим утонченным привычкам: в ее доме прислуживали дамы, происходившие из стариннейших столичных семейств — там собирались самые изящные придворные, и, хотя ей иногда и бывало тоскливо, в целом жизнь ее текла вполне благополучно. Но вот совершенно неожиданно занемогла она тяжелой болезнью и, чувствуя, что слабеет с каждым днем, приняла постриг — видно, опасалась, что слишком тяжким бременем легли на ее душу годы, проведенные в заповедных пределах*.

Узнав об этом, Гэндзи был огорчен немало: хотя давно уже не связывали его с миясудокоро любовные узы, он всегда считал ее прекрасной собеседницей и дорожил общением с ней. Пораженный неожиданной вестью, министр сразу же отправился в дом на Шестой линии и обратился к новопостриженной монахине со трогательными, полными искреннего участия словами.

Сиденье для гостя устроили неподалеку от изголовья. Отвечая ему, миясудокоро полулежала, облокотившись на скамеечку-подлокотник. Она была так слаба, что Гэндзи, подумав: «Ах, верно мне уже не удастся ей доказать...»,

горько заплакал. Его участие тронуло сердце мясудокоро. Почти сразу же она заговорила с ним о судьбе жрицы:

— Она остается совсем одна, без всякой опоры, поэтому, прошу вас, при случае позаботьтесь о ней. Мне больше не на кого надеяться. Она так беспомощна... Ах, право, вряд ли к кому-нибудь еще судьба была более неблагоприятна. Как ни ничтожны мои собственные возможности, я думала, что задержусь в этом мире хотя бы до тех пор, пока она сама не проникнет в душу вещей, но, увы...

И мясудокоро плачет, да так горько, словно дыхание ее вот-вот прервется.

— Даже если бы не ваша просьба, разве мог бы я оставить ее? А теперь тем более... Не беспокойтесь, я сделаю все, что в моих силах, — заверяет ее Гэндзи.

— Но все это так сложно! Право, печальна судьба девушки, оставшейся без матери, даже если есть у нее вполне надежный отец, готовый принять на себя заботы о ней. А что говорить о жрице? Ей придется нелегко, если кому-то покажется вдруг, что вы питаете к ней слишком нежные чувства, люди злы и даже наилучшие намерения отравляют своими подозрениями. Может быть, нехорошо говорить об этом заранее, но мне не хотелось бы, чтобы ваши попечения выходили за рамки чисто отеческих. По своему горькому опыту я знаю, сколь превратна судьба женщины и сколь много печалей выпадает на ее долю. Я надеялась, что хотя бы дочь мне удастся уберечь от слишком близкого знакомства с этой стороной жизни, — говорит мясудокоро, а Гэндзи, подумав про себя: «Не слишком ли?», отвечает:

— Мне многое открылось за эти годы, обидно, что вы видите во мне прежнего легкомысленного юнца. Но я верю, когда-нибудь и вы...

Снаружи темно, а изнутри сквозь ширму просачивается слабый свет. «Может, повезет?» — И Гэндзи украдкой прикидывается к прорезям занавеса: дрожащий огонь светильника озаряет женщину с густыми, красиво подстриженными волосами. Она полулежит, облокотившись на скамеечку-подлокотник, и таким трогательным очарованием дышит весь ее облик, что хочется, взяв кисть, запечатлеть ее на бумаге.

Еще одна женская фигура видна с восточной стороны полога, вероятно, это и есть жрица. Занавес, стоящий перед ней, небрежно сдвинут в сторону, и можно разглядеть, что девушка лежит, подперев рукой щеку, погруженная в глубокую задумчивость. Смутные очертания ее фигуры позволяют предположить, что она весьма хороша собой. Все в ней: и небрежный наклон головы, и рассыпавшиеся по плечам волосы — показывает изнеженность и благородство натуры. В ее чертах есть что-то гордое, величавое и вместе с тем пленительно-милое.

Сердце Гэндзи трепещет, но тут же вспоминаются ему слова мясудокоро.

— Мне становится хуже. Простите мне невольную неучтивость, но я вынуждена просить вас удалиться, — говорит между тем больная, и дамы укладывают ее.

— Как жаль, что мой приход не оказал на вас благотворного действия... Мне больно смотреть на ваши страдания. Но что, собственно, мучает вас?

Заметив, что он готов заглянуть за занавеси, мясудокоро говорит:

— Ах, вы ужаснулись бы, меня увидев. Вы изволили прийти как раз в тот миг, когда страдания мои достигли предела, и в этом видится мне знак истинной связанности наших судеб. Я рада, что мне удалось излить перед вами хоть малую часть того, что терзало и мучило мою душу. Теперь, что бы ни случилось, я во всем полагаюсь на вас.

— Я тронут, что именно мне вы доверили свое прощальное слово. У ушедшего государя было много сыновей, но я почти ни с кем из них не был близок, а поскольку жрицу он любил не меньше родных дочерей своих, я могу заботиться о ней, как о сестре. Я достиг вполне зрелого возраста, но, к сожалению, в моем доме нет детей, которые могли бы стать предметом моих попечений. — С этими словами Гэндзи уходит.

После этого разговора он чаще прежнего посылал справиться о ее здоровье. Но прошло семь или восемь дней, и миясудокоро не стало. Эта неожиданная утрата вновь обратила Гэндзи к мысли о тщетности мирских упований, и он погрузился в глубокое уныние. Не появляясь даже во Дворце, он лично следил за подготовкой и проведением всех обрядов. Кроме него, не нашлось никого, кто мог бы взять это на себя. Старые слуги жрицы остались при ней и кое-как со всем справились. Гэндзи лично явился в дом на Шестой линии с соболезнаваниями. Когда жрице доложили о его приходе, она выслала к нему свою главную прислужницу, которой было поручено сказать, что, мол, поскольку госпожа еще не успела прийти в себя...

— Передайте вашей госпоже, что существует уговор, который мы заключили с ее почтенной матушкой, и я бы не хотел, чтобы в этом доме меня считали чужим, — сказал Гэндзи и, вызвав слуг, поручил им подготовить все необходимое для поминальных обрядов.

Казалось, что нынешней заботливостью он стремится восполнить прежнюю холодность. Все доложенные церемонии прошли с приличной случаю торжественностью, для участия в них Гэндзи призвал великое множество своих домочадцев.

Сам он, глубоко опечаленный, заключился в своем доме, соблюдал строгое воздержание и, не поднимая занавесей, творил молитвы. Часто он посылал жрице письма с соболезнаваниями. Немного оправившись, девушка стала отвечать ему. Поначалу она очень робела, но кормилица и прочие дамы сумели убедить ее, что в данном случае прибегать к помощи посредника недопустимо.

Однажды, когда дул сильный ветер и в воздухе кружился мокрый снег, Гэндзи, представив себе, как одиноко и тоскливо должно быть теперь жрице, отправил к ней гонца.

«Что думаете Вы, глядя на небо?

Падает снег,
В тучах не видно просвета,
Где-то над домом
Витают души ушедшей*.
Печально в старом жилище...» —

написал он на лазурной, в сероватых разводах бумаге.

Письмо его, явно рассчитанное на то, чтобы поразить воображение этой юной особы, отличалось необыкновенным изяществом. Девушка долго не

решалась ответить сама, но наконец, вняв увещаниям дам, полагавших, что участие посредника в подобном случае невозможно, написала на пропитанной благовониями зеленовато-серой, скрадывающей неровности почерка бумаге:

«Никак не растает
Этот снег, и дни мои тянутся
Унылой чередой.
Темнеет в глазах, не понять —
“Я ли это иль нет?”».

Видно было, что она робела, однако в знаках, не очень искусно, но довольно изящно начертанных ее рукой, чувствовалось несомненное благородство.

Пока жрица находилась в Исэ, Гэндзи беспрестанно помышлял о ней и сетовал на судьбу, поставившую ее в столь исключительное положение. Теперь же, когда, казалось бы, не было никаких преград его чувству, он, как это часто с ним бывало, предпочитал держаться в отдалении. «Миясудокоро тревожилась даром, — думал он, — мое участие в судьбе жрицы уже теперь возбуждает в столице толки. Будет лучше, если я стану заботиться о ней совершенно бескорыстно, разрушив, таким образом, ожидания недоброжелателей. Когда Государь достигнет зрелого возраста, можно будет отдать ее во Дворец. Детей у меня немного, и заботы о ней скрасят мое существование».

Придя к такому решению, Гэндзи обратил на жрицу свои попечения и, любезно вникая во все ее нужды, посещал дом на Шестой линии, когда того требовали обстоятельства.

— Моя просьба может показаться вам дерзкой, и тем не менее прошу вас видеть во мне замену ушедшей. Будьте со мной откровенны во всем, большего я не желаю, — говорил Гэндзи, но девушка, болезненно застенчивая по натуре, робела, думая: «Решусь ли я хотя бы шепотом ответить ему? Не будет ли уже это нарушением приличий?» Не сумев убедить ее, дамы только сетовали на ее несговорчивость.

Среди прислужниц бывшей жрицы было немало весьма утонченных особ, многие из них занимали довольно высокое положение при дворе, имея звания нёбэтто, найси и тому подобные. Другие, принадлежа к высочайшему семейству, были связаны со своей госпожой родственными узами.

«Если мне удастся осуществить свой тайный замысел и жрица станет прислуживать в высочайших покоях, она вряд ли окажется хуже других. Хотелось бы только разглядеть ее получше», — думал Гэндзи, и вряд ли его любопытство было обусловлено только отцовскими чувствами. Понимая, что со временем его решимость может поколебаться, он предпочитал никому не открывать своих намерений. С особым вниманием отнесся Гэндзи к проведению обрядов, имевших целью почтить память покойной миясудокоро, чем заслужил горячую признательность домочадцев жрицы.

Унылой, однообразной чередой тянулись дни и луны, дом на Шестой линии постепенно приходил в запустение. Прислужницы жрицы одна за другой покинули ее, а поскольку дом находился в весьма безлюдном месте у столичного предела, сюда долетал на закате звон колоколов из горных храмов (152), и, внимая ему, девушка тихонько плакала.

Их отношения с матерью были гораздо более близкими, чем это обычно бывает, они не расставались никогда: даже отправляясь в Исэ, жрица упростила мясудокоро сопровождать ее — случай поистине беспримерный. Но в этот последний путь она не смогла отправиться вместе с матерью, и теперь горевала так, что рукава ее ни на миг не высыхали.

Многие мужи — и высокого и низкого рангов — пытались, заручившись поддержкой живущих в доме на Шестой линии дам, возбудить нежные чувства в сердце жрицы, однако министр Гэндзи, проявив отеческую заботливость, призвал к себе ее кормилицу и прочих прислужниц и предупредил их, что суровое наказание ждет каждую, ежели вознамерится она распорядиться участью госпожи по собственному разумению. И они, не желая навлекать на себя гнев столь важной особы, безжалостно отклоняли все домогательства.

Ушедший на покой государь часто вспоминал тот торжественный день, когда жрицу привезли во дворец Дайгоку, откуда она должна была отправиться в Исэ. Пораженный красотой девушки, он не раз предлагал мясудокору переехать во Дворец, где ее дочь заняла бы такое же положение, как бывшая жрица Камо и другие принцессы, но мясудокору все не могла решиться: «Ведь во Дворце много дам самого безупречного происхождения, а у нее нет даже надежного опекуна...» Немалые опасения внушало ей и слабое здоровье государя, она боялась, что участь дочери окажется столь же горестной, как и ее собственная. После кончины мясудокору дамы начали было сетовать: «Теперь еще труднее будет найти покровителя...», но ушедший на покой государь изволил повторить свое любезное предложение. Узнав о том, министр Двора подумал: «Коли государь возымел такое желание, недостойно противопоставлять его воле свою». Однако жрица была так прелестна, что он не мог примириться с мыслью о ее потере, а потому решил посоветоваться с Вступившей на путь государыней, открыв ей свои тайные опасения:

— Мать жрицы, мясудокору, была женщиной с незаурядным умом и истинно чувствительным сердцем. Из-за моего непростительного легкомыслия пострадало ее доброе имя, и этого она мне так никогда и не простила. До конца своих дней таила она в душе эту обиду, и только когда стало ясно, что жизнь ее подошла к концу, призвала меня к себе и поручила мне заботиться о жрице. Не знаю, что послужило тому причиной — то ли она давно уже не слышала обо мне ничего дурного, то ли сама успела убедиться в моей надежности... Ее доверие растрогало меня безмерно. Впрочем, я все равно не смог бы не принять участия в судьбе жрицы. Я сделаю для нее все, что в моих силах, и надеюсь, что мясудокору простит меня хоть теперь, находясь в ином мире. Государь только кажется взрослым, на самом деле он совсем еще дитя, и мне представляется уместным присутствие рядом с ним особы, достаточно осведомленной в житейских делах. Впрочем, я целиком полагаюсь на ваше решение.

— Ваша предусмотрительность весьма похвальна. Бесспорно, предложение ушедшего на покой государя — большая честь для жрицы и пренебречь им нелегко. Тем не менее вы могли бы, сделав вид, будто вам ничего не известно, представить ее ко двору под тем предлогом, что такова была последняя воля мясудокору. Я склонна полагать, что ушедшего на покой государя

сейчас не слишком занимают дела подобного рода, он предпочитает отдавать свое время служению Будде, и, если вы ему все объясните, он вряд ли почувствует себя обиженным.

— Что ж, если вы согласны предоставить жрице соответствующее место в высочайших покоях, мне остается только сообщить ей о вашем решении. Я долго размышлял о ее судьбе, обдумывая все возможности, и ничего более подходящего не придумал. Единственное, что тревожит меня, — это неизбежные пересуды.

Разговор с государыней окончательно убедил Гэндзи в том, что он должен как можно скорее перевезти жрицу в дом на Второй линии, притворившись, будто ничего не знает о намерении ушедшего на покой государя. Он поспешил известить о том госпожу из Западного флигеля.

— Вы получите прекрасную собеседницу, я уверен, что вы понравитесь друг другу, — сказал он, и, обрадовавшись, она принялась готовить все необходимое для переезда жрицы.

Вступившая на путь государыня не могла не знать, что принц Хёбукё сосредоточил все усилия на том, чтобы его дочь была представлена ко двору в ближайшее время. Между тем отношения принца с Гэндзи оставались натянутыми, и можно было лишь гадать...

Дочь Гон-тюнагона получила прозвание нёго из дворца Кокидэн. Ее попечителем стал сам Великий министр, нежно о ней заботившийся. Сделавшись в непродолжительном времени любимой подругой Государя, она принимала участие во всех его забавах.

«Средняя дочь принца Хёбукё тоже ровесница Государю, и кроме того, что они вместе будут играть в куклы... Конечно, лучше, если рядом с ним будет кто-нибудь постарше», — подумала Вступившая на путь государыня и постаралась внушить эту мысль самому Государю.

Что касается министра Гэндзи, то, с величайшим вниманием относясь ко всем без исключения нуждам двора, он не только принимал ревностное участие в делах правления, но, проявляя поистине трогательную заботливость, входил во все мелочи, связанные с повседневной жизнью Государя, чем успел заслужить полную доверенность Вступившей на путь государыни. Сама же она все чаще болела и, даже находясь во Дворце, не имела возможности бывать с Государем столько, сколько ей хотелось, поэтому было совершенно необходимо подыскать достаточно взрослую особу, которая могла бы заботиться о нем.





В ЗАРОСЛЯХ ПОЛЫНИ

Основные персонажи

Дайсё, Гон-дайнагон (Гэндзи), 28–29 лет

Дочь принца Хитати (Суэцумухана) — возлюбленная Гэндзи (см. главу «Шафран»)

Монах Дзэнси (Дайго-но адзари) — брат Суэцумухана

Дзидзю — прислужница Суэцумухана, дочь ее кормилицы

Супруга Дадзай-но дайни — тетка Суэцумухана

Госпожа из Западного флигеля (Мурасаки), 20–21 год — супруга Гэндзи

Корэмицу — приближенный Гэндзи

ПОКА ГЭНДЗИ влачил безрадостные дни, глядя, как капли соли стекают с трав морских (114), в столице тоже многие печалились и вздыхали, каждый по-своему переживал разлуку с ним.

Некоторые — к ним можно отнести прежде всего госпожу из Западного флигеля — хоть и изнывали от тоски, с мучительным нетерпением ожидая его возвращения, но по крайней мере, имея опору в жизни, ни в чем не нуждались и могли иногда обмениваться с изгнанныком письмами. Таким было легче.

Госпожа, к примеру, находила утешение в том, что посылала супругу приличествующие тому или иному времени года наряды, хотя, как полагается человеку, лишенному званий, одевался он в высшей степени скромно. Эти заботы помогали ей отвлекаться от горестей, неизбежных в нашем непрочном мире.

Хуже всего приходилось тем, кто был связан с Гэндзи тайными узами. Не имея возможности собственными глазами видеть, как он отправлялся в изгнание, они тосковали и плакали украдкой, вынужденные довольствоваться слухами

и собственным воображением. И надо сказать, что таких женщин было в столице немало.

Дочь принца Хитати после смерти отца, не имея больше никого, кто мог бы о ней заботиться, оказалась в чрезвычайно бедственном положении, но тут выпала на ее долю эта неожиданная удача: раз посетив ее, Гэндзи не переставал заботиться о ней, но ежели сам он — да и могло ли быть иначе при том положении, какое он занимал в мире? — не придавал ровно никакого значения их встречам, то дочери принца Хитати, которой рукава были столь безнадежно узки, они казались чем-то вроде сверкающих звезд, нечаянно отразившихся в лохани с водой.

Когда же обрушились на Гэндзи невзгоды и мир окончательно опостылел ему, он словно забыл всех, с кем связывали его не столь уж прочные узы, и, поселившись на далеком морском берегу, прервал с ними всякие сношения.

После того как Гэндзи покинул столицу, дочь принца Хитати некоторое время перебивалась кое-как, тоскуя в разлуке с ним, но с каждой новой лунной жизнь ее становилась все более печальной и безотрадной.

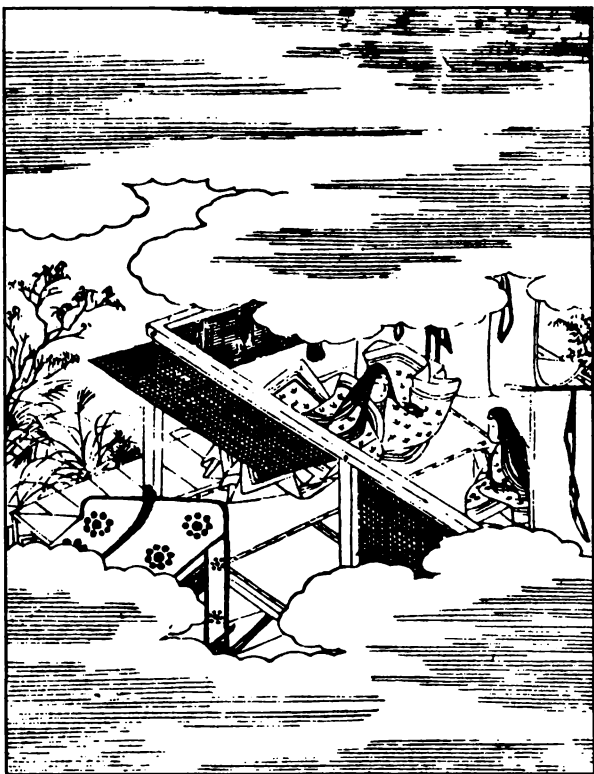
— Что за неудачная судьба выпала на долю нашей госпоже, — ворчали ее престарелые прислужницы. — А ведь еще совсем недавно казалось, что кто-то из богов или будд осчастливил наш дом своим появлением! Мы были так рады, видя, что госпожа обрела наконец опору в жизни. Разумеется, таков всеобщий удел, но, к несчастью, ей больше не на кого положиться...

Прежде они влачили не менее жалкое существование и успели привыкнуть к самой крайней нужде, но после относительного благополучия, которым они были обязаны Гэндзи, примириться с вновь наступившей бедностью оказалось выше их сил, и они не устали жаловаться на судьбу.

За последнее время в доме дочери принца Хитати появилось немало истинно благородных дам, но теперь все они одна за другой разошлись кто куда. Некоторые из ее прислужниц покинули этот мир, и с каждой лунной в доме оставалось все меньше людей как высокого, так и низкого званий. В нем и ранее царило запустение, теперь же он окончательно стал пристанищем для лисиц. В мрачной, пустынной роще у дома и днем и ночью ухали совы*; лесные духи, всяческая нежить, прежде прятаясь от людей, почуввав свободу, показывала свои личины — словом, с каждым днем жить в этом доме становилось все более жутко, и немногие оставшиеся там дамы предавались отчаянию, а поскольку богатые наместники, любители таких вот необычных усадеб, привлеченные окружающими дом живописными купами деревьев, время от времени присылали справиться: «Не продадите ли?» — и — каждый сообразно положению своему — обращались с разными предложениями, дамы говорили госпоже:

— Подумайте, не стоит ли вам и в самом деле продать свой дом и переехать в другое, не такое мрачное место? До сих пор мы оставались здесь с вами, но и наше терпение не беспредельно.

— О нет, это невозможно! Что станут говорить? Да и смогу ли я жить в доме, где ничто не будет напоминать об ушедшем? Как ни пустынно и ни сумрачно здесь, это мой бедный, старый дом, в котором жив еще дух отца, и одна эта мысль придает мне силы, — плача, отвечала им госпожа и, судя по всему, продавать дом не собиралась.



Утварь в доме также была крайне изношенная и давно уже вышедшая из моды, но сделанная первоклассными мастерами, поэтому люди, мнившие себя тонкими ценителями и жаждавшие заполучить какую-нибудь диковину, то и дело приставали к дамам с расспросами: «Это было заказано такому-то? А это работа такого-то?» — и ставили условия, не скрывая своего презрения. И снова невежественные дамы говорили:

— Другого выхода нет. Да и все так делают, — и тайком от госпожи поступали по своему усмотрению, что и давало им возможность на день, на два свести концы с концами. Узнав об этом, дочь принца Хитати рассердилась:

— Всю эту утварь отец заказывал для того, чтобы я сама ею пользовалась. Могу ли я допустить, чтобы она украшала жилище простолюдинов? О нет, я не хочу нарушать волю отца! — заявила она и запретила дамам продавать вещи.

Так жила дочь принца Хитати, и никто даже случайно не заглядывал в ее дом. Только брат ее, монах Дзэнси, время от времени наезжая в столицу, навещался к ней, но он тоже был человеком исключительно старомодным и даже среди монахов выделялся своим неумением приспосабливаться к житейским обстоятельствам и отрешенностью от всего мирского. Поэтому ему и в голову не приходило хотя бы расчистить дом от зарослей бурьяна и полыни. А между тем травы разрослись, заглушив сад, буйные стебли полыни тянулись вверх, словно стремясь перерасти стреху. Восточные и западные

ворота заросли хмелем, что, возможно, и создавало бы ощущение защищенности, когда б лошади и быки не протоптали себе дороги через разрушенную изгородь. Еще более дерзко вели себя ребяташки, весной и летом пасшие здесь скот.

В тот год, когда на Восьмую луну пронизывающий поля ветер был особенно неистов, рухнула галерея, а от крытых тесом людских остался один остов, после чего даже слуги покинули это старое жилище. Дымок перестал подниматься над крышами, и жить здесь стало совсем уныло. Даже грабители и прочие не знающие удержу в своих бесчинствах люди и те пренебрежительно проходили мимо, полагая, очевидно, что на этих развалинах вряд ли можно чем-нибудь поживиться.

А между тем, несмотря на дикие, непроходимые заросли, подступавшие к самому дому, убранство главных покоев осталось нетронутым. Вот только чистить и приводить дом в порядок было некому. Пыль толстым слоем покрывала все вокруг, но и она не могла скрыть подлинного благородства старинной утвари. Так и жила дочь принца Хитати долгие луны и годы.

Обычно в таких случаях, дабы развеять тоску и скрасить одиночество, прибегают к помощи старинных песен или повестей. Но дочь принца никогда не была до них охотницей. Многие молодые дамы, даже не отличающиеся особенно изысканными наклонностями, движимые потребностью передавать близким по духу людям мысли и чувства, зарождающиеся в душе при виде какого-нибудь цветка или дерева, имеют обыкновение посвящать часы досуга писанию писем. Но дочь принца, воспитанная отцом в крайней строгости, с робостью взидала на мир и не сообщалась даже с теми людьми, с которыми должна была общаться хотя бы потому, что того требовала простая учтивость. Иногда, открыв старый шкафчик, она вынимала оттуда «Карамори», «Хакоя-но тодзи», «Кагуя-химэ»* и другие повести с картинками и разглядывала их.

Что касается старинных песен, то несомненна ценность собраний, составленных из лучших, тщательно подобранных по темам образцов, которые предваряются названием и именем автора. Вряд ли кому-нибудь могут доставить удовольствие всем надоевшие старые песни, беспорядочно написанные на гладкой, покوروبившейся бумаге «канъя»* или «митиноку». Однако к ним-то и обращалась дочь принца Хитати, когда ей становилось особенно грустно.

В наши дни люди охотно отдают часы чтению сутр или молитвам, но она стыдилась заниматься этим и, даже оставаясь одна, никогда не посылала за четками. Так однообразно и чинно текли ее дни.

Только дочь старой кормилицы, женщина по прозвищу Дзидзю, не покинула ее и по-прежнему заботилась о ней. Но по прошествии некоторого времени скончалась жрица, в доме которой она тоже прислуживала, и Дзидзю оказалась в крайне стесненных обстоятельствах. Между тем как раз в это время родная тетка дочери принца Хитати, которая, обеднев, стала госпожой Северных покоев в доме наместника, подыскивала хорошо воспитанных молодых женщин в наперсницы к своим дочерям, и Дзидзю, рассудив: «Чем совсем незнакомый дом, лучше уж этот, с которым мать моя была связана», иногда заходила к ним. Будучи особой крайне замкнутой, дочь принца Хитати избегала короткости и с теткой, чем успела заслужить ее неприязнь.

— Сестра всегда гнушалась мною, считая, что я запятнала честь семьи, поэтому при всем моем сочувствии к племяннице я не могу ее навещать, — говорила супруга наместника, но иногда все же писала к дочери принца.

Часто люди, принадлежащие по рождению своему к низкому состоянию, стремятся во всем подражать благородным особам, и некоторым удается в конце концов достичь немалой утонченности во всех проявлениях своих. Однако с теткой дочери принца Хитати произошло как раз обратное. Происходя из стариннейшего рода, она опустилась довольно низко. Впрочем, может быть, таково было ее предопределение. Так или иначе, душевной тонкости ей явно не доставало.

«Сестра презирала меня за то, что я удовлетворилась столь низким положением. Почему бы мне теперь не воспользоваться крахом их дома и не взять дочь принца в услужение к моим дочерям? Разумеется, она весьма старомодна, но на нее вполне можно положиться», — подумала она и написала племяннице:

«Я была бы очень рада видеть вас в своем доме. У нас есть кому послушать вашу игру на кото».

Дзидзю уговаривала госпожу принять приглашение, но та — и не из-за упрямства вовсе, а просто из-за чрезмерной застенчивости, не захотела сближаться с семейством тетки, чем обидела ее самым чувствительным образом.

Тем временем наместник получил звание дадзай-но дайни и собирался, обеспечив дочерям соответствующее положение, уехать в провинцию. Супруга его решила, что было бы неплохо взять с собой дочь принца.

— Теперь, когда мы отправляемся так далеко, я буду еще больше тревожиться, зная, как вы одиноки. Я нечасто посещала вас, но была спокойна, сознавая, что вы рядом, — настаивала она и, получив новый отказ, пришла в ярость.

— Вот негодная! Еще смеет спесивиться! Но сколько ни кичись, господин Дайсё никогда не обратит внимания на женщину, живущую в диких зарослях.

Скоро по Поднебесной разнеслась радостная весть: «Он прощен и возвращается в столицу!» Гордые вельможи и простолюдины, мужчины и женщины наперебой спешили уверить господина Дайсё в своей исключительной преданности, и, проникая в их разнообразные побуждения, он сделал немало взволновавших его открытий.

В это довольно хлопотливое для него время Гэндзи, судя по всему, и не вспоминал о дочери принца Хитати, а луны и дни между тем сменяли друг друга. «Да, это конец, — думала она. — Как ни горевала я все эти годы, сочувствуя ему в его несчастье, я могла по крайней мере надеяться, что наступит весна... (153) Теперь же, когда даже самые презренные людишки, ничемные, словно камешки на дороге, словно черепичные осколки, радуются его возвращению, мне остается лишь со стороны наблюдать за тем, как его осыпают почестями. Приходится признать, что лишь для меня одной стал этот мир столь безотрадным (154). О, как же все тщетно!» Сердце ее готово было разорваться от горя, и, оставаясь одна, она плакала навзрыд.

«Я же ей говорила, — негодовала супруга Дадзай-но дайни. — Разве кто-нибудь удостоит внимания особу, влачащую столь нелепое, жалкое суще-

ствование? И будды, и совершенномудрые охотнее поведут за собой человека, не обремененного тяжкими прегрешениями, а она, живя в полной нищете, по-прежнему смотрит на мир свысока и ведет себя так же надменно, как в те давние времена, когда были живы ее родители. Все это, право, печально».

«Вы должны наконец решиться, — написала она дочери принца. — Человек, сокрушенный печалью, ищет спасения в горной глуши (43). Я знаю, сколь презрительно относитесь Вы ко всему провинциальному, но обещаю, что Вам не придется жалеть о своем решении».

Читая это ловко составленное письмо, давно уже потерявшие всякую надежду дамы шептались, осуждая госпожу:

— Почему бы ей не послушаться? Что хорошего в ее нынешнем положении?

— На что она может рассчитывать, проявляя такое упрямство?

Дзидзю же тем временем сговорила с каким-то человеком, кажется, племянником того самого Дадзай-но дайни, а как муж не соглашался оставить ее в столице, ей волей-неволей тоже приходилось уезжать.

— Мне не хотелось бы расставаться с вами, — говорила она своей госпоже, убеждая ее согласиться на предложение тетки, но та по-прежнему жила надеждой и верой в того, кто скорее всего давно уже и думать забыл о ее существовании. «А вдруг когда-нибудь он вспомнит обо мне? Его клятвы были так трогательно-искренни... Видно, такова уж моя судьба — быть забытой. Но если ветер вдруг принесет к нему весть о моем бедственном положении, он непременно заглянет ко мне». Так думала она и, хотя жилище ее за эти годы еще более обветшало, упорно отказывалась расстаться даже с самыми незначительными предметами обстановки, не желая ни в чем менять привычного образа жизни.

В последнее время она много плакала, терзая себя безрадостными думами, нос ее распух — она походила на дровосека, который смеха ради прицепил к носу красную ягоду... А уж если посмотреть сбоку... Право, не всякий способен вынести подобное зрелище. Но не буду касаться подробностей. Жаль ее, да и злословить не хочется.

С наступлением зимы дочери принца стало и вовсе не к чему прибегнуть, целыми днями она лишь печалилась и вздыхала. Между тем разнесся слух, что господин Гон-дайнагон намеревается провести Восьмичастные чтения в память ушедшего государя. Для участия в этих чтениях были приглашены самые почтенные, достигшие великой мудрости и мастерства в творении обрядов монахи, среди них оказался и монах Дзэнси. На обратном пути он навестил сестру.

— Я пришел в столицу, — рассказывал он, — дабы принять участие в Восьмичастных чтениях, которые проводились в доме Гон-дайнагона. Отроду не видывал ничего великолепнее! Наверное, только в Чистой земле бывает такая красота. Право же, там было все, что только можно отыскать прекрасного на свете. Сам же хозяин не иначе, как земное воплощение будды или бодхисаттвы. И для чего родился он в этом мире, загрязненном пятью сквернами*?

И монах, не задерживаясь, продолжил свой путь. Ну где еще найдешь столь молчаливых брата и сестру? Они редко беседовали даже о самых незначительных делах этого мира.

«Что за жестокий будда, — обиженно подумала дочь принца, взволнованная рассказом брата. — Ужели мое бедственное положение не способно возбудить жалость в его сердце?»

Постепенно она стала склоняться к мысли, что надеяться больше не на что.

Как раз в это время ее неожиданно навестила супруга Дадзай-но дайни. Они никогда не были близки, но, движимая желанием завлечь племянницу в провинцию, эта властолюбивая особа, приготовив богатые дары, приехала без всякого предупреждения в роскошно убранной карете. В лице ее, в каждом движении проглядывало безграничное самодовольство. Когда она подъехала к дому принца Хитати, несказанно унылая картина представилась ее взору. Створки ворот — и правая и левая, — обветшав, упали, и телохранители затратили немало сил на то, чтобы их отворить. «А где же три тропки*? — искали они. — Их ведь не может не быть даже в самом бедном доме».

В конце концов карету подвели к южной части дома, где решетки оказались поднятыми и, как ни уязвлена была дочь принца бесцеремонностью гостии, ей пришлось, укрывшись за удивительно грязным занавесом, выслать вперед Дзидзю.

Дзидзю за эти годы тоже осунулась и утратила прежнюю свежесть, но и теперь она была весьма миловидна и изящна, поэтому при взгляде на нее у многих возникало не совсем, быть может, уместное желание поменять их с госпожой местами.

— Я должна отправиться в путь, как ни тяжело мне оставлять вас в этом бедном жилище. Я приехала за Дзидзю. Вы никогда не удостаивали меня своей приязни и старательно избегали моего общества, но я прошу вас отпустить хотя бы Дзидзю. Ах, бедняжка, как вы можете жить здесь? — вздыхает супруга Дадзай-но дайни.

В другое время она не преминула бы заплакать, однако на сей раз ее мысли заняты предстоящим отъездом: радостное волнение, владеющее душой, не оставляет места для печали.

— Ваш отец всегда презирал меня за то, что я якобы запятнала честь семьи, — говорит она, — и, пока он был жив, мы почти не общались. Но неужели вы думаете, что все эти годы я не испытывала к вам родственных чувств? Просто я не осмеливалась напоминать о себе столь знатной особе, а уж когда счастливая судьба связала вас с господином Дайсё, к вам и вовсе невозможно стало подступиться. Разумеется, все это отнюдь не способствовало нашему сближению. Но, как видите, мир полон превратностей, и иногда судьба оказывается благосклоннее к таким ничтожным особам, как я. Когда-то вы находились на недостижимой для меня высоте, но теперь ваше положение не может вызывать ничего, кроме жалости и сочувствия. Живя близко, я не особенно беспокоилась за вас, даже если некоторое время и не оказывала вам никаких услуг. Но теперь я уезжаю далеко, и меня печалит ваша дальнейшая судьба.

— Я вам крайне признательна, — церемонно отвечает дочь принца, — но при моем столь необычном образе жизни стоит ли, право... Я бы предпочла умереть здесь, в родном доме.

— Образ жизни у вас и в самом деле необычен. Где это видано, чтобы молодая женщина похоронила себя заживо в столь отвратительном жилище! О, я не сомневаюсь, что, если господин Гон-дайнагон сообразоволил заняться

этими развалинами, они очень быстро превратятся в сверкающий, драгоценный чертог. Но говорят, в настоящее время господин Гон-дайнагон все сердечные попечения свои сосредоточил на дочери принца Хёбукё. Он порвал связи со всеми домами, куда заезжал в былые дни, повинувшись прихоти своего непостоянного сердца. Тем более сомнительно, чтобы он, поймав: «она хранит мне верность и надеется только на меня» — почтил вниманием особу, которая влачит столь жалкое существование в диких зарослях... — поучает племянницу супруга Дадзай-но дайни, и та, понимая, что в ее словах есть доля истины, не выдерживает и горько плачет.

Тем не менее она упорно стоит на своем, и, почувствовав, что добиться ее согласия не удастся, супруга Дадзай-но дайни вынуждена отступить.

— Что ж, отпустите хотя бы Дзидзю, — говорит она, спеша уехать, пока не стемнело, и Дзидзю, не в силах превозмочь волнения, заливается слезами.

— Раз она так настаивает, я поеду хотя бы для того, чтобы проводить ее. Нельзя не признать справедливости ее слов, но и ваше нежелание ехать мне тоже понятно. Право, мое положение более чем затруднительно, — тихонько говорит Дзидзю своей госпоже.

Нетрудно представить себе, как горько и обидно было дочери принца! В самом деле, могла ли она предугадать, что даже Дзидзю... Впрочем, удерживать ее она не стала, только все плакала и плакала не переставая.

На память о вместе проведенных годах следовало бы подарить Дзидзю одно из своих платьев, но все они оказались слишком изношенными, других же вещей, приличествующих случаю, у дочери принца не нашлось, и в конце концов она решила подарить ей сделанную из собственных выпавших за последнее время волос прекрасную накладку длиной более девяти сяку. Накладку она положила в шкатулку, присовокупив к ней горшочек с тончайшими старинными благовониями.

— Мне казалось всегда:
Неразрывно со мною связаны
Драгоценные пряди.
Но, увы, и они теперь
Готовы меня покинуть.

А я-то надеялась, что, несмотря на мою ничтожность, ты останешься со мною до конца, как того хотела покойная матушка. Что ж, может быть, ты и права. Но подумала ли ты о том, кто будет обо мне теперь заботиться? Как все это обидно, право... — И дочь принца снова зарыдала.

Дзидзю ответила не сразу:

— Ах, что говорить теперь о завете матушки! Долгие годы мы прожили вместе, разделяя друг с другом горести этого мира, и вот меня влекут в чужие, дальние земли...

Драгоценные пряди,
Расставшись с тобою, твоими
Навеки останутся.
Будьте клятве моей свидетелями,
Боги-хранители путников.

Только кто может знать, что нас ждет впереди?

— Да где же она? Уже совсем стемнело... — ворчала между тем супруга Дадзай-но дайни, и Дзидзю, с беспокойным сердцем сев в карету, долго еще оглядывалась.

Когда они уехали, дочери принца стало совсем одиноко, ведь прежде только присутствие Дзидзю и скрашивало ее унылое существование. Теперь даже старые, ни к чему не пригодные дамы начали поговаривать:

— Что же, госпожа Дзидзю совершенно права. Разве можно жить в этом доме? Вряд ли и у нас достанет терпения.

Никто из них не имел желания оставаться, каждая пыталась извлечь из памяти давние связи, к которым прибегнув, можно было бы подыскать другое место, а дочь принца, прислушиваясь к их разговорам, трепетала от страха и стыда.

Наступил месяц Инея. Часто шел снег или град. В других садах он успевал таять, а здесь, в зарослях полыни и хмеля, куда ни утром, ни вечером не проникали солнечные лучи, лежал сугробами, при взгляде на которые невольно вспоминалась Белая гора в Коси*. В доме не было даже слуг, которые могли бы оставить следы на этом снегу, и дочь принца целыми днями уныло глядела на его нетронутую белизну. Она осталась совсем одна, ей не с кем было даже словом перемолвиться, не с кем поплакать или посмеяться. Ночами она лежала без сна под пыльным пологом, и сердце ее разрывалось от тоски.

Тем временем в доме на Второй линии царило радостное оживление, и, почти не имея досуга, Гэндзи не мог навещать особ, кои не были предметом постоянных его попечений. И уж тем более он не торопился к дочери принца Хитати, хотя иногда и вспоминал о ней: дескать, жива ли? Так шло время, и скоро еще один год сменился новым.

Однажды в дни Четвертой луны Гэндзи вспомнил о Саде, где опадают цветы, и, простившись с госпожой из Западного флигеля, тайком отправился туда.

Накрапывал дождь, который не прекращался вот уже несколько дней, сквозь тучи проглядывала луна. Думы Гэндзи невольно устремились в прошлое, и многое вспомнилось ему, пока ехал он по этой вечерней дороге. Путь его лежал мимо какого-то полуразвалившегося дома, окруженного мрачными купами деревьев, придававшими саду вид диких лесных зарослей. Цветущая глициния обвивала могучие ветви сосны, лепестки трепетали в лунном свете, ветерок разносил повсюду нежное благоухание...

Привлеченный этим чудесным ароматом, пусть и не померанцевыми цветами источаемым, Гэндзи высунул голову из кареты: неподалеку росли плакучие ивы, а как стена уже не могла удержать их, ветви, спутавшись, лежали прямо на земле. «Как будто я уже видел когда-то эти деревья!» — подумал Гэндзи. И действительно, это был тот самый дом, где он бывал в прежние времена. Сердце его забилося от волнения, и он велел остановиться.

Корэмицу, в подобных случаях неизменно сопровождавший своего господина, был с ним и этой ночью. Подозвав его, Гэндзи тихонько спросил:

— Ведь это здесь был дом принца Хитати?

— Совершенно верно, — ответил Корэмицу.

— Быть может, та женщина по-прежнему живет здесь в печальном одиночестве... Следовало бы давно навестить ее, но слишком обременительно

было ехать для того только, чтобы увидеться с ней. А сейчас как раз подходящий случай... Разузнай сначала, что и как, а потом уж заводи разговор. А то, если на ее месте окажется другая, можно попасть в глупое положение.

Между тем дочь принца, которой в последние дни было как-то особенно грустно, сидела в своих покоях, погруженная в глубокую задумчивость. Днем, задремав, она увидела во сне покойного отца и, проснувшись, совсем приуныла. Приказав подмести часть передних покоев, где было мокро от проникающего сквозь кровлю дождя, она распорядилась, чтобы дамы привели в порядок сиденья, и, занимаясь столь непривычными для нее повседневными делами, сложила такую песню:

Тоска по ушедшему
Неизбывна, никак не просохнут
Мои рукава.
А теперь еще капли дождя
На них с ветхой стрехи упали...

Неизъяснимо тяжело было у нее на сердце.

Войдя в дом, Корэмицу прислушался, не доносятся ли откуда-нибудь голоса. Но он не заметил никаких признаков человеческого присутствия.

«Так и есть, я ведь и раньше не раз заглядывал сюда, проходя мимо, и дом всегда казался необитаемым», — подумал Корэмицу и повернулся, чтобы уйти, но тут вошла луна, и он увидел, что решетки в двух пролетах подняты, и занавеси слегка колышутся. Это еле уловимое свидетельство того, что дом все-таки обитаем, произвело на Корэмицу жутковатое впечатление, но, превозмогая страх, он приблизился и покашлял, дабы привлечь к себе внимание. Изнутри тоже послышался кашель, и чей-то старческий голос спросил:

— Кто там еще? Что за человек?

Корэмицу назвал себя и сказал:

— Мне хотелось бы видеть женщину, которую называют госпожа Дзидзю.

— Госпожа Дзидзю здесь больше не живет, но есть другая, которая могла бы, если желаете, ее заменить.

Этот хриплый голос, судя по всему, принадлежал совсем уже древней старухе, однако Корэмицу он почему-то показался знакомым.

Женщины, не привыкшие к подобным неожиданностям, всполошились. И в самом деле, в дом неведомо как проник мужчина в охотничьем платье, держится учтиво... А что, если это лис или другой какой оборотень?

Но Корэмицу, приблизившись, сказал:

— Я желал бы получить точные сведения. Ежели чувства вашей госпожи за это время не изменились, мой господин изъясляет готовность поддерживать с ней прежние отношения. Проезжая сейчас мимо, он не мог не остановиться у вашего дома. Так что мне прикажете ему доложить? Уверю вас, вам нечего бояться.

Засмеявшись, женщина отвечала:

— Когда б чувства госпожи переменились, она вряд ли осталась быть жить в этих диких зарослях. Да вы ведь и сами видите... Так и доложите своему господину. Даже мы, немало повидавшие на своем веку, не устали удивляться, на нее глядя, — право, в целом свете не сыскать ей подобной.



Опасаясь, что разговор слишком затянется, ибо дама оказалась словоохотливой и готова была долго еще рассказывать о вещах, о которых ее вовсе и не спрашивали, Корэмицу прервал ее:

— Хорошо, хорошо, я передам. — И с этими словами вышел.

— Отчего ты так задержался? — недоумевал Гэндзи. — Право, в этих зарослях полыни не осталось ничего от прошлого.

— Да, это так, — отвечал Корэмицу. — Даже людей удалось отыскать с трудом. Там тетка Дзидзю, старуха по прозванию Сёсё, я ее узнал по голосу.

Выслушав его рассказ, Гэндзи едва не заплакал от жалости. «Как должна была она страдать все эти годы, живя в таких зарослях! А я даже не удосужился ее навестить», — подумал он, впервые почувствовав себя виноватым.

— Но что же делать? Мне нелегко будет поддерживать с ней тайные отношения, и вряд ли когда-нибудь представится другой такой случай... Если она по-прежнему... Впрочем, скорее всего так оно и есть, на нее это очень похоже!..

Входить без предупреждения показалось ему неучтивым. Лучше всего было известить ее о своем появлении изящной запиской, но, если она не изменилась и в этом отношении, гонцу придется слишком долго ждать ответа. И Гэндзи отказался от этой мысли.

Тут Корэмицу говорит:

— Вы вряд ли сможете пройти, ведь полынь вся в росе. Не изволите ли подождать, пока я стряхну ее...

— Я пришел сюда сам,
Чтоб узнать, осталось ли прежним
Сердце твое
В зарослях буйной полыни,
Заглушившей тропинки в саду (155), —

произносит Гэндзи, ни к кому не обращаясь, и все-таки выходит из кареты. Корэмицу идет впереди, хлыстом стряхивая росу. С веток падают капли, словно мелкий осенний дождь...

— Я взял с собой зонт, — говорит Корэмицу, — здесь ведь «роса обильней дождя» (156).

У Гэндзи подол платья промок до нитки. Срединные ворота, которые и раньше едва держались, бесследно исчезли, пробираясь к дому, Гэндзи порадовался, что рядом никого нет — вид у него был весьма неприглядный.

«Значит, я все-таки не зря ждала его?» — подумала дочь принца, и сердце ее сильно забилося. Но могла ли она предстать перед ним в столь неподобающем облачении? Платье, которое подарила ей супруга Дадзай-но дайни, она распорядилась убрать, даже не взглянув на него, ибо слишком велика была ее неприязнь к дарительнице. С тех пор оно так и лежало в китайском ларце для благовоний. Это платье, источавшее чудесное благоухание, и поднесли теперь дамы своей госпоже. Поколебавшись, она все-таки надела его и села за уже знакомый нам почерневший от времени занавес... Тут вошел и Гэндзи.

— Мы не виделись с вами все эти долгие годы, — говорит он, — но чувства мои не изменились, я постоянно помнил о вас. Удрученный вашим упорным молчанием, которое вполне можно было принять за нежелание общаться со мной, я решил выждать, дабы испытать вашу привязанность. Но, заметив сегодня эти деревья, пусть и непохожие на криптомерии (89), не смог пройти мимо. Так что первый шаг сделал все-таки я, этого вы не можете отрицать.

Он чуть отодвигает занавес, она же, смутившись, как обычно, медлит с ответом. Но, вспомнив, с каким трудом Гэндзи пробирался к ней сквозь заросли полыни, и увидев в этом доказательство искренности его чувств, находит в себе силы пролепетать несколько слов.

— Поверьте, я хорошо понимаю, как грустно было вам так долго жить одной в этих диких зарослях, но, думаю, сегодня вы получили наконец возможность убедиться в моей верности. Ведь я пришел сюда по росистой траве, даже не зная, ждете ли вы меня. Надеюсь, вы простите мне столь долгое отсутствие? Ведь я пренебрегал не только вами. Клянусь, что никогда больше не сделаю ничего такого, что могло бы обидеть вас, а если нарушу эту клятву, то готов понести любое наказание.

Так ласково убеждал женщину Гэндзи. Но слишком трудно поверить в его искренность.

Многое препятствовало ему остаться в этом доме на ночь, не говоря уже о том, что хозяйку дома, стыдившуюся своей бедности, явно подавляло его великолепие. Поэтому, придумав достойное оправдание, Гэндзи решил уехать.

Хоть и не он посадил сосну перед домом (157), но за это время она еще выше взметнула свои ветви. Глядя на нее, Гэндзи с грустью подумал о минувших годах и лунах, и все, пережитое им, показалось ему далеким, томительным сном.

— Не смог я пройти
Мимо волн цветущих глициний
Не потому ли,
Что сосна у твоих ворот
Напомнила: здесь меня ждут...

И в самом деле, как давно это было... С тех пор в столице произошло немало волнующих перемен, когда-нибудь я расскажу вам, как, разлученный с родными и близкими, жил в глуши (126). Как ни странно, но я почему-то уверен, что и вы ни с кем, кроме меня, не можете поделиться своими горестями и печалью, а ведь их, наверное, было немало в прошедшие весны и зимы, — говорит Гэндзи, а женщина чуть слышно отвечает:

— Тщетно сосна
Все эти долгие годы
Ждала у ворот,
Лишь цветы своей пышной красой
Сумели тебя привлечь...

Ее робкие, еле заметные движения, сладостное благоухание рукавов невольно вселили в сердце Гэндзи надежду: «А что, если за эти долгие годы...»

Луна готова была скрыться за горой, и сквозь открытую западную боковую дверь ее яркое сияние беспрепятственно проникало в дом — ведь галерей давно уже не было, да и от застřeхи ничего не осталось. В лунном свете были хорошо видны внутренние покои, которые благодаря целиком сохранившемуся с давних времен убранству выгодно отличались от дома, заросшего плакун-травой (158).

Гэндзи невольно вспомнилась героиня древней повести, которая разрушила пагоду*. Право, стремление дочери принца поддерживать дом в неизменном виде не могло не растрогать, даже ее чрезмерная застенчивость теперь казалась Гэндзи скорее достоинством, чем недостатком, ибо он видел в ней проявление душевного благородства. «Хотя бы поэтому я не должен пренебрегать ею», — думал он, кляня себя за то, что, поглощенный собственными невзгодами, совершенно ее забыл. Как же она, должно быть, страдала, бедняжка!

Обитательницы Сада, где опадают цветы, жили тихо и скромно, их дом не блистал ни великолепием, ни современной роскошью убранства, а потому не составлял разительной противоположности с домом принца Хитати, так что многие изъязы последнего остались сокрытыми от взора Гэндзи.

Накануне праздника Камо и Священного омовения в дом Гэндзи присылалось обычно множество разнообразнейших даров, коими он оделял всех, кто в том нуждался. На сей раз не забыл он и дочери принца Хитати. Дав соответствующие указания самым верным своим приближенным, Гэндзи послал в ее дом слуг, велел им расчистить сад от зарослей полыни, а также укрепить деревянную изгородь и произвести ряд других работ, имеющих

целью придать дому вид, достойный звания его владелицы. Сам же он не навещал ее, опасаясь, что люди начнут судачить: «И где он нашел такую?» Однако он довольно часто писал к ней, а однажды сообщил, что неподалеку от его жилища на Второй линии строится просторный новый дом, где она могла бы разместиться со всеми своими прислужницами.

«Подберите же себе хороших служанок», — писал он, простирая свои заботы до таких мелочей, и обитательницы этого мрачного, заросшего пылью жилища, не зная, как и благодарить его, обращали взоры к небу и кланялись в сторону Второй линии.

Всем было известно, что Гэндзи никогда не удостоивал внимания обычных, ничем не выдающихся женщин. Даже если речь шла о случайной прихоти, он предпочитал иметь дело с признанными красавицами, о которых слава разносилась по всему миру. Почему же теперь он связал себя с женщиной, которую даже заурядной назвать было трудно? Что за непостижимая причуда? Скорее всего меж ними существовала связь, корнями уходившая в далекое прошлое...

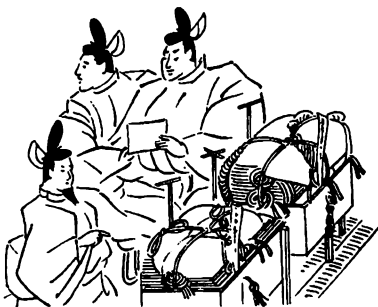
Многие дамы как высокого, так и низкого звания, ранее прислуживавшие дочери принца Хитати, но в тяжелые для нее времена с презрением — хватит, мол, с нас! — покинувшие ее, теперь наперебой предлагали ей свои услуги. Только попав в ничем не примечательные дома простых наместников, они сумели по-настоящему оценить кроткий, незлобивый нрав своей прежней госпожи и, узнав от людей о происшедших в ее жизни удивительных переменах, с откровенной поспешностью устремились обратно.

Значение Гэндзи в мире несоизмеримо возросло за последнее время, а долгие годы скитаний научили его сочувствовать людским горестям, поэтому он принимал поистине трогательное участие во всем, что касалось дочери принца Хитати, и очень скоро дом ее заблистал роскошным убранством, а в покоях стало многолюдно. На месте унылых зарослей зажурчали прозрачные ручьи, в расчищенном саду привольно гулял ветер.

Особенное усердие проявляли те низшие служители Домашней управы, которым почему-либо не удалось снискать благосклонности Гэндзи. Полагая, что дочь принца Хитати покорила его сердце, они только о том и помышляли, как бы ей угодить.

Сначала дочь принца оставалась в своем старом жилище, а по прошествии двух лет Гэндзи перевез ее в дом, получивший название Восточной усадьбы. Он редко удостоивал ее посещения, но поскольку жила она теперь совсем рядом, то, выходя, куда-нибудь, он часто заглядывал в ее покои, и у нее не было решительно никаких оснований жаловаться на его холодность.

Мне хотелось бы еще рассказать о том, как поражена была, вернувшись в столицу, супруга Дадзай-но дайни и как радовалась Дзидзю, хотя в глубине души и корила себя за то, что у нее не достало терпения подождать еще немного. Но, к сожалению, у меня болит голова и я слишком устала. Расскажу лучше как-нибудь в другой раз, если вдруг вспомню при случае...



У ЗАСТАВЫ

Основные персонажи

Уцусэми — супруга помощника правителя Хитати, Хитати-но сукэ (см. главу «Пустая скорлупка цикады»)

Министр Двора (Гэндзи), 29 лет

Эмон-но сукэ (Когими) — младший брат Уцусэми

Правитель Кавати (правитель Ки) — сын помощника правителя Хитати, пасынок Уцусэми

ЧЕЛОВЕК, которого ранее мы называли Иё-но сукэ, через год после кончины ушедшего на покой государя был назначен помощником правителя Хитати*, куда и отправился, забрав с собой супругу, ту самую, что сложила когда-то песню о «дереве-метле».

Слух об изгнании Гэндзи донесся до далекого Хитати, и нельзя было сказать, чтобы женщина осталась к нему равнодушной, однако могла ли она отыскать средство сообщить Гэндзи о своих чувствах, когда даже ветер, перелетающий через вершину горы Цукуба (159)*, казался ей ненадежным? Долгие годы не имели они вестей друг от друга. Но вот, хотя думалось, что испытаниям Гэндзи не будет конца, он возвратился в столицу, а осенью следующего года туда выехал помощник правителя Хитати.

Случилось так, что именно в тот день, когда помощник правителя достиг заставы, Гэндзи выехал в храм Исияма*, дабы отслужить там благодарственный молебен. Помощник правителя Хитати, услышав от встретивших его у заставы людей, среди которых был и сын его, наместник Ки, о том, что скоро здесь должен проехать господин Гэндзи, решил, что им трудно будет разъехаться, и на рассвете следующего дня поспешил покинуть заставу, однако же многочисленные кареты сопутствующих ему дам, тесня друг друга, продвигались

крайне медленно, а солнце тем временем поднималось все выше и выше. Они добрались до побережья Утидэ, когда на дороге показались передовые Гэндзи. Громко возглашая: «Господин уже миновал гору Авада!», они двигались плотной толпой, так что объехать их не представлялось возможным. Путники из Хитати принуждены были остановиться на склоне горы Встреч, Осака-яма. Отведя кареты под растущие по обочинам криптомерии, слуги распрягли быков, а сами устроились в тени деревьев и, почтительно склонившись, стали ждать, пока проедет Гэндзи.

Свита помощника правителя Хитати производила весьма внушительное впечатление, даром что часть ее оставалась в провинции, а часть была отправлена в столицу заранее. Примерно из десятка карет выглядывали края рукавов и подола разнообразнейших оттенков — благородные, без всякого налета провинциальности. Можно было даже подумать, что какие-то знатные дамы приехали сюда из столицы, дабы посмотреть на отправление жрицы в Исэ или на какую-нибудь другую столь же великолепную церемонию.

Гэндзи, снова вознесенный судьбой, тоже был окружен бесчисленным множеством приближенных, и вряд ли кто-то из них не обратил внимания на стоящие у дороги кареты.

Приближалась к концу Долгая луна, осенние листья сплетались в чудесном узор, земля же была расцвечена живописнейшими пятнами поблекших от иней трав. Не менее живописными представлялись взору беспорядочной толпой выходившие из домика у заставы приближенные Гэндзи в разноцветных дорожных платьях, украшенных сообразно званию каждого вышивками и узорами. Занавеси в карете самого Гэндзи были опущены, но, призвав Когими — теперь его называли Эмон-но сукэ, — Гэндзи сказал:

— Твоя сестрица должна наконец оценить мое постоянство. Я доехал до самой заставы, чтобы встретить ее.

Гэндзи часто с сердечным волнением вспоминал эту женщину, но не бессмысленно ли было обращаться к ней с обычными, ничего не значащими словами? Она тоже не забывала его, и эта встреча пробудила в ее душе трогательно-печальные воспоминания.

«Слезы текут,
Уезжаю ль, домой возвращаюсь —
Не могу их сдержать.
“Уж не ключ ли забил у заставы?” —
Думают, верно, люди.

Впрочем, вряд ли он узнает...» — посетовала она, но, увы, что толку...

Когда Гэндзи возвращался из Исияма, Эмон-но сукэ встретил его у заставы, рассыпаясь в извинениях: простите, мол, что не смог сразу же к вам присоединиться.

Когда-то, когда он был совсем еще ребенком, Гэндзи, полюбив, приблизил его к себе, и мальчик жил под сенью его покровительства, пока не надели на него шапку придворного. Когда же в жизни Гэндзи произошли неожиданные перемены, юноша, испугавшись людской молвы, уехал в Хитати, что несколько умалило расположение к нему Гэндзи, хотя внешне это никак не проявлялось. Не испытывая к юноше прежнего доверия, Гэндзи все же ввел его в число самых близких своих домочадцев.

Бывший правитель Кии стал теперь правителем Кавати. Его младший брат в свое время, отказавшись от звания Укон-но дзо, последовал за Гэндзи в изгнание, за что Гэндзи теперь особенно его отличал, и, видя это, многие раскаивались: «О, зачем так стремились мы подольститься к тем, кто был в силе?»

Так вот, призвав Эмон-но сукэ, Гэндзи вручил ему письмо.

«Удивительно, что он до сих пор помнит о том, о чем любой на его месте давно бы забыл», — изумился юноша.

«На днях я имел возможность убедиться в связанности наших судеб... Поняли ли это Вы?

На скрещенье дорог
Случай нас свел, и надежда
Возникла в душе.
Но, напрасно — ракушек-встреч
Не найдешь у пресного моря...

О, как завидовал я “хранителю заставы” (224), как досадовал... — писал Гэндзи. — Так давно мы не сообщались друг с другом, что я не могу отделаться от ощущения, будто пишу вам впервые. Вместе с тем я не забыл ничего, и чувства мои так же сильны, как если бы зародились сегодня. Но, может быть, вы и теперь будете корить меня за ветреность?..»

Обрадованный, Эмон-но сукэ почтительно принял письмо и отправился к сестре.

— Прошу вас написать ответ. Я понимаю, что не смею рассчитывать на прежнее доверие, но господин тем не менее все так же добр ко мне, и признательность моя не имеет границ. Не очень-то хорошо быть посредником в таких делах, но я не сумел отказать ему... Не думаю, чтобы кто-нибудь осудил женщину за проявление обыкновенной чувствительности, — сказал он.

За годы, проведенные в провинции, супруга правителя Хитати стала еще застенчивее, всякая неожиданность подобного рода пугала ее, но могла ли она вовсе не откликнуться на письмо Гэндзи? Тем более что так давно он не писал к ней...

«Заставою Встреч
Это место зовут. Право, стоит ли
Так его называть?
Сквозь чащу вздохов приходится
Каждый раз пробираться сюда...

Уж не пригрезилось ли мне?..» — написала она в ответ.

Так трогательно прелестна и так непреклонна была эта женщина, что Гэндзи оказался не в силах забыть ее и время от времени писал к ней, надеясь смягчить ее сердце.

Между тем правитель Хитати, оттого ли, что лет ему было немало, или по какой другой причине, стал слаб здоровьем и, озабоченный будущим супруги, постоянно говорил о ней с сыновьями.

— Не отказывайте ей ни в чем, пусть все в доме останется так, как было при мне, — наказывал он им и днем и ночью. А женщина кручинилась, думая: «И без того горестна моя жизнь, что же будет со мной, когда его не станет? Какие еще беды ждут меня впереди?»

«Жизнь имеет пределы, и, как это ни прискорбно, продлить ее невозможно, — думал, глядя на супругу, правитель Хитати. — О, если б я мог оставить в этом мире хотя бы душу свою, чтобы охраняла ее! Увы, не проникнуть мне в намерения сыновей».

Только о ней и помышлял он в те дни. Но как ни тревожно ему было оставлять ее одну, жизнь, увы, не подвластна человеческой воле, и скоро его не стало.

Некоторое время из уважения к памяти отца сыновья правителя Хитати выказывали живое участие во всем, что касалось мачехи, но в сердцах их не было искренности, и слишком многое удручало ее. Что ж, таков удел этого мира, и женщина не жаловалась, лишь вздыхала украдкой о горестной своей судьбе. Тут еще правитель Кавати, который и прежде вел себя довольно легкомысленно, стал проявлять по отношению к ней явно чрезмерное внимание.

— Ведь отец с такой трогательной заботой просил за вас... Вы не должны избегать меня, ничтожного. Доверьтесь мне во всем, — заискивающе говорил он, надеясь добиться ее расположения, но его недостойные замыслы были слишком очевидны.

«У меня столь неудачное предопределение, что, если я и дальше останусь жить в этом суетном мире, мне наверняка придется изведать невзгоды, которые редко кому выпадают на долю», — подумала она и постриглась в монахини, никого не поставив о том в известность. «Что ж, теперь ничего не изменишь», — вздыхали ее прислужницы.

Правитель Кавати, почувствовав себя уязвленным, сказал:

— Неужели я так вам неприятен?.. Ведь у вас впереди долгая жизнь. Как же вы думаете жить теперь?

А некоторые говорили:

— Женщине не подобает проявлять такую твердость духа...





СОПОСТАВЛЕНИЕ КАРТИН

Основные персонажи

Министр Двора (Гэндзи), 31 год

Государыня (Фудзицубо), 36 лет — мать императора Рэйдзэй

Отрекшийся государь (император Судзаку) — сын императора Кирицубо и Кокидэн

Бывшая жрица Исэ, обительница Сливового павильона (Акиконому), 22 года — дочь Рокудзё-но миясудокоро и принца Дзэмбо, воспитанница Гэндзи

Нынешний государь (император Рэйдзэй) — сын Фудзицубо и Гэндзи (официально сын императора Кирицубо)

Дама из дворца Кокидэн — дочь Гон-тюнагона, наложница императора Рэйдзэй

Гон-тюнагон (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

Принц Хёбукё (Сикибукё) — отец Мурасаки

Государыня-мать (Кокидэн) — мать императора Судзаку

Найси-но ками (Обородзукё) — придворная дама императора Судзаку, тайная возлюбленная Гэндзи

Принц Соти (Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

Госпожа из Западного флигеля (Мурасаки), 23 года — супруга Гэндзи

ГОСУДАРЫНЯ, возымев желание ввести бывшую жрицу Исэ в покои Государя, делала все, чтобы это осуществилось. Министр Гэндзи, сожалея о том, что у жрицы нет надежного покровителя, способного входить в ее повседневные нужды, все же отказался от мысли перевозить ее в дом на Второй линии, ибо слух о том наверняка дошел бы до отрекшегося государя. Притворяясь, будто ему ничего не известно, он тем не менее взял на себя заботы по подготовке соответствующей церемонии — словом, делал все, что полагается родителю.

Отрекшийся государь был весьма огорчен, узнав о готовящемся событии, но перестал писать к жрице, дабы не подавать повода к молве, когда же пришел день представления ко двору, послал ей заботливо подобранные дары: невиданной красоты наряды, редкостного изящества шкатулки для гребней и прочего, ларцы с горшочками для благовоний, разнообразные курения, превосходные благовония для платья, которых аромат ощущался за сто шагов. Готовя все эти вещи, отрекшийся государь, несомненно, думал о том, что их увидит министр Гэндзи, а потому отнесся к их выбору с особым вниманием.

Министр и в самом деле находился в доме жрицы, и ее главная дама показала ему присланные дары. Стоило лишь мельком взглянуть на крышку шкатулки для гребней, чтобы понять, сколь тонкой работы была эта вещь. К шкатулке для шпилек вместе с веточкой искусственных цветов* был прикреплен небольшой листок бумаги:

«Может быть, потому,
Что твою прическу украсил я
Гребнем прощальным,
Определили нам боги
Розно по жизни пройти...»

Нельзя было не пожалеть государя, и Гэндзи невольно почувствовал себя виноватым. На собственном опыте зная, сколь трудно противостоять искусительным стремлениям сердца, он хорошо понимал, что должен был испытывать государь в тот давний день, когда дочь мясудокоро отправлялась в Исэ. Теперь она в столице и, казалось бы, ничто не мешает государю удовлетворить давнее свое желание... Но вот — новое, совершенно неожиданное препятствие. Удалившись на покой, государь обрел наконец возможность жить тихо, безмятежно, и когда бы его не заставили вновь сетовать на мир... Ставя себя на его место, Гэндзи не мог не сознавать, что сам он в подобных обстоятельствах вряд ли сумел бы сохранить присутствие духа. «Как дерзнул я обидеть государя, столь необдуманно упорствуя в своих притязаниях? Разумеется, у меня были причины чувствовать себя уязвленным, но я же знаю, как он добр, как мягкосердечен...» Гэндзи долго стоял, не в силах победить душевное волнение.

— Как вы собираетесь ответить? Наверное, были и другие письма? — спрашивает он, но дамы, смутившись, не решаются их показать. Сама жрица, чувствуя себя нездоровой, не проявляет никакого желания отвечать государю.

— Оставлять письмо без ответа неучтиво и жестоко, — настаивают дамы, но, увы, тщетно.

Услыхав их перешептывания, Гэндзи говорит:

— Нельзя пренебрегать посланием государя. Напишите хоть несколько строк.

Жрица никак не может решиться, но вдруг вспоминается ей тот давний день, когда уезжала она в Исэ и государь плакал, сожалея о разлуке. Он был таким изящным и красивым... Безотчетная нежность, которая возникла тогда в ее юном сердце, вновь оживает в ней, словно и не было всех этих долгих лет. Тут же в ее памяти всплывает образ покойной мясудокоро, и растроганная она пишет:

«Когда-то давно,
В дальний путь меня провожая,
Говорил ты: «Прощай!»
Почему-то с особенной грустью
Вспоминаю сегодня тот день...»

Вот, кажется, и все, что она написала в ответ.

Гонца осыпали почестями и дарами. Гэндзи очень хотелось узнать, что ответила жрица, но он не решился спрашивать. Отрекшийся государь был так красив, что, будь он женщиной, Гэндзи непременно увлекся бы им, жрица тоже отличалась замечательной красотой, так что они наверняка составили бы прекрасную чету, тогда как нынешний Государь был совсем еще юн... Гэндзи терзался сомнениями, ему казалось, что жрица в глубине души недовольна тем, как решилась ее участь, но изменить что-либо было уже нельзя, и он продолжал руководить подготовкой к церемонии, следя за тем, чтобы строго соблюдались все предписания, надзор же за непосредственным ее осуществлением поручил одному из своих приближенных, Сури-но сайсё. По-прежнему чувствуя себя виноватым перед бывшим государем и не желая, чтобы тот узнал о его попечениях, Гэндзи старался делать вид, что приходит во Дворец с единственной целью — проведать Государя. В доме жрицы всегда собиралось много благородных дам, а как теперь ее обществом не гнушались даже самые знатные из них, раньше предпочитавшие большую часть времени проводить в собственных семьях, она оказалась окруженной такой великолепной свитой, какой прежде в столице и не выдывали.

«Жаль, что ее мать не дожила. Как радовалась бы она, что старания ее увенчались успехом, как готовилась бы к этому дню», — думал Гэндзи, вспоминая ушедшую. Ее кончина была потерей не только для него лично, но и для всего света. Трудно было не отдать справедливой дани незаурядным дарованиям и душевному благородству мясудокоро, и разве не удивительно, что мысли Гэндзи то и дело возвращались к ней?

В тот день государыня тоже находилась во Дворце. Узнав, что сегодня в его покоях появится новая дама, Государь томился любопытством и нетерпением, волнение, отражавшееся на его лице, чрезвычайно его красило. Он был не по возрасту сметлив и казался старше своих лет.

— Скоро сюда пожалует очень красивая дама. Вам следует оказать ей достойный прием, — наставляла Государя мать, а он смущался, не зная, как следует себя вести. «Говорят, она совсем уже взрослая...»

Но вот спустилась ночь, и во Дворце появилась жрица. Она была так спокойна и сдержанна, так стройна и изящна, что Государь не мог отвести от нее глаз.

К обитательнице дворца Кокидэн он успел привыкнуть и не стеснялся ее. Новая же дама держалась с таким величавым достоинством, что он невольно робел, тем более что и Гэндзи был к ней чрезвычайно почтителен. Так вот и получилось, что обе дамы равно прислуживали Государю ночью, а дни он чаще проводил во дворце Кокидэн, теша себя невинными детскими забавами. Гон-тюнагон, отдавая дочь во Дворец, возлагал на нее большие надежды, и появление соперницы не могло не встревожить его.

Получив ответ на свое письмо, отосланное вместе со шкатулкой для гребней, отрекшийся государь почувствовал, как трудно будет ему забыть жрицу.

Однажды к нему зашел министр, и они долго беседовали. Государь снова завел разговор о том памятном дне, когда жрица отправлялась в Исэ, но, поскольку прямо не говорил о своих чувствах, Гэндзи тоже решил не показывать своей осведомленности. Однако, желая проникнуть в тайные думы государя, то и дело переводил разговор на жрицу и обнаружил, к величайшему своему сожалению, что она и теперь далеко не безразлична ему.

Зная, что государя пленила прежде всего необыкновенная миловидность этой особы, Гэндзи изнемогал от любопытства, но, увы, приблизиться к ней было невозможно. Обладая она хоть малой долей той беспечности, которая обычно бывает свойственна юным годам, он, несомненно, нашел бы средство увидеть ее, но, отличаясь необыкновенной строгостью нрава, жрица вела теперь еще церемоннее прежнего, манеры же ее с каждым днем приобретали все большую утонченность, и Гэндзи радовался, видя, что ожидания его не оказались обманутыми.

Итак, две дамы прислуживали Государю, целиком занимая его мысли, поэтому принц Хёбукё не спешил отдавать дочь во Дворец. «Подожду, — думал он. — Может быть, когда Государь станет немного старше...»

Государь благоволил к обоим прислуживающим ему дамам, они же соперничали друг с другом, ибо каждая желала занять в его сердце главное место.

Больше всего на свете Государь любил живопись. Возможно, именно благодаря подобному пристрастию ему и удалось достичь на этом поприще поистине несравненного мастерства. Бывшая жрица тоже прекрасно владела кистью, а потому довольно быстро сумела завоевать его расположение. Государь то и дело заходил в ее покои, и они рисовали друг для друга. Он всегда выделял своей благосклонностью тех молодых придворных, которые занимались живописью, поэтому нетрудно себе представить, с какой нежностью смотрел он на эту прелестную особу, когда, изящно облокотившись на скамеечку-подлокотник, она то набрасывала что-то на листке бумаги пленительно свободными движениями, то медлила с кистью в руке. Все больше времени проводил он в ее покоях, и с каждым днем умножалась его привязанность к ней.

Слух о том дошел до Гон-тюнагона, возбудив в его сердце дух соперничества. «Не в моем обычае уступать», — подумал он, а как был человеком своенравным и ко всяким новшествам склонным, то выбрал превосходнейшую бумагу и, пригласив к себе в дом лучших мастеров, приказал им создать произведения, равных которым еще не бывало.

— Картины на темы повестей — что может быть интереснее и достойнее внимания? — решил он и, отобрав самые увлекательные, самые изысканные, по его мнению, повести, вручил их живописцам. Затем, выбрав несколько на первый взгляд обыкновенных картин в жанре «луна за луной»*, сделал к ним необычные надписи, после чего пригласил Государя взглянуть на них. Зная, с каким тщанием готовил Гон-тюнагон эти картины, Государь перебрался в покои Кокидэн, дабы не спеша полюбоваться ими, но, увы, его ждало разочарование. Гон-тюнагон весьма неохотно выпускал картины из рук

и прятал их прежде, чем Государь успевал ими насладиться, а уж о том, чтобы взять их с собой, в покои жрицы, не могло быть и речи.

Слух о том дошел до министра Двора.

— Господин Гон-тюнагон, как видно, до сих пор не избавился от прежних замашек, — улыбнувшись, заметил он. — Разве можно так огорчать Государя? Зачем нарочно прятать от него картины, не давать ему спокойно разглядывать их? У меня у самого много старинных картин, и я почту за честь...

Распорядившись, чтобы из шкафчиков извлекли хранившиеся там старые и новые картины, Гэндзи, призвав на помощь госпожу из Западного флигеля, принялся рассматривать их, желая выбрать наиболее отвечающие нынешним вкусам.

— По-моему, одними из самых прекрасных и трогательных являются картины на темы «Вечной печали»* и «Ван Чжаоцзюнь»*, но они могут послужить недобрым предзнаменованием, — сказал Гэндзи и отложил их в сторону. Затем вытащил ларец, где хранились дневники, которые он вел в годы скитаний, решив, как видно, воспользоваться случаем и показать их госпоже.

Рисунки, привезенные Гэндзи из Сума, до слез растрогали бы даже человека — разумеется, если не был он совершенно лишен чувствительности, — никогда прежде не слыхавшего о его испытаниях. Что же говорить о самом Гэндзи и его супруге? Они еще и очнуться не успели от того незабываемого горестного сна, и надобно ли сказывать, с каким волнением разглядывали они рисунки, столь живо напомнившие им о прошлом? Госпожа тут же принялась пенять Гэндзи за то, что он до сих пор их ей не показывал.

— Чем в столице одной
Изнывать от тоски неизбывной,
Предпочла бы сама
Рисовать этот дикий край,
Где у моря живут рыбаки.

Право, мне бы не было так одиноко... — говорит она, а Гэндзи, растроганный, отвечает:

— Даже в те дни,
Когда жизнь была бесконечной
Чередой невзгод,
Так не плакал, как плачу теперь,
К минувшему возвращаясь.

Разумеется, эти рисунки стоило показать хотя бы Вступившей на путь государыне. Выбирая наиболее удачные листы, которые давали ясное представление о его жизни на побережье, Гэндзи уносился мыслями в далекое Акаси: «Как живут они там теперь?»

Услыхав о его приготовлениях, Гон-тюнагон еще усерднее принялся подбирать валики, парчовые обрамления, шнуры и прочие украшения для свитков.

Стояла середина Третьей луны, дни были безоблачными, а люди безмятежными — самая подходящая пора для тихих, изящных развлечений. К тому же на ближайшее время не намечалось никаких торжественных

церемоний, так что обе дамы имели довольно досуга, чтобы заниматься живописью.

«Раз уж так получилось, пошлю во Дворец побольше картин, пусть Государь порадует», — решил Гэндзи и, отобрав лучшие из имеющихся в его доме, отослал их бывшей жрице. В конце концов в покоях каждой дамы собралось множество разнообразнейших произведений живописи.

Пожалуй, самыми изящными и трогательными были картины на темы повестей, причем дама из Сливового павильона предпочитала известные старинные повести, сохранявшие благородный аромат древности, а обитательница дворца Кокидэн имела пристрастие к произведениям современным, поражающим воображение читателей своей изощренностью, привлекающим яркостью слога и новизной содержания, которые, казалось, обеспечивали им преимущество. В ту пору придворные дамы, во всяком случае те из них, кто понимал в этом толк, только и делали, что спорили, какие картины лучше.

Государыня, жившая тогда во Дворце, тоже с увлечением отдавалась этому занятию, иногда даже в ущерб молитвам, ибо любовь к живописи была той слабостью, от которой ей оказалось труднее всего избавиться.

Слыша вокруг себя постоянные споры, государыня в конце концов решила разделить дам на левых и правых.

На стороне обитательницы Сливового павильона оказались: Хэйнайсино сукэ, Дзидзю-но найси, Сёсё, а к правым примкнули Дайни-но найси-но сукэ, Тюдзё и Хёэ. Все эти дамы были известны в мире образованностью и тонким вкусом, поэтому государыня с наслаждением ловила каждое слово, в пылу спора срывавшееся с их уст.

Сначала спор завязался вокруг прародительницы всех повестей, «Повести о старике Такэтори»*, которую сопоставляли с историей Тосикагэ из «Повести о дупле»*.

— Разумеется, с каждым новым поколением, с каждым новым коленцем бамбука, эта повесть старела, — говорят левые, — и может показаться, что в ней нет ничего интересного. Но подумайте, ведь Кагуя-химэ*, живя в мире, исполненном скверны, сумела сохранить чистоту и в конце концов вознеслась к далеким небесам, исполнив свое высокое предопределение. События эти переносят нас в век богов, и, возможно, именно по этой причине они не доступны пониманию нынешних женщин, целиком сосредоточенных на мирском.

— Небеса, куда вознеслась Кагуя-химэ, в самом деле не достижимы для обычных людей, и никому из нас не дано их познать, — отвечают правые. — Но посмотрите, какова ее судьба в нашем, земном мире. Возникла она из коленца бамбука, происхождение, которое вряд ли можно считать благородным. Вы скажете, что она озарила своим сиянием дом старика, и это действительно так, но почему-то это сияние оказалось недостаточно ярким для того, чтобы соединиться со светочем, за Стокаменными стенами обитающим. Абэ-но ооси потерял тысячи золотых слитков*, но пламя в одно мгновение уничтожило платье из мышиной шкурки, и вместе с ним беспомощно угасла его любовь. А принц Курамоти? Зная, сколь недоступна настоящая гора Хорай, он все-таки попытался обмануть Кагуя-химэ, и ветка из драгоценных камней стала его позором. Все это вряд ли можно считать достоинствами повести.

Картины к «Повести о старике Такэтори» принадлежали кисти Косэ-но Ооми*, а текст написал Ки-но Цураюки. Свитки были сделаны из бумаги «канъя», подбитой китайским шелком, имели красновато-лиловое обрамление и сандаловые валики — словом, ничем особенным не отличались.

— Ужасная морская буря занесла Тосикагэ в неведомую страну*, но ему все-таки удалось достичь желанной цели, и в конце концов слава о его чудесном даре распространилась и в чужих землях, и в нашей, а имя сделалось достоянием потомков. Во всем этом есть истинное ощущение древности. Картины же замечательны чередованием китайских и японских пейзажей, им поистине нет равных, — говорят правые.

Свитки «Повести о Тосикагэ» были сделаны из белой бумаги с зеленым обрамлением и валиками из золотистого камня. Живопись принадлежала кисти Цунэнори*, надписи были выполнены Митикадзэ*. Написанные в новом стиле, картины эти привлекали внимание яркой изысканностью. Левой стороне нечего было им противопоставить.

Затем принимаются сопоставлять «Повесть из Исэ»* и «Дзёсамми»* и опять не могут прийти к единому мнению. Пожалуй, преимущество и теперь оказывается на стороне правых, которые представляют ярко и живо написанные картины с изображением различных сцен из современной жизни, и прежде всего из жизни дворцовых покоев. Тут Хэйнайси произносит:

— Не умея проникнуть
В морские глубины Исэ,
Неужели сотрем
Дела минувшие в памяти,
Как волна стирает следы?

Разве эта пустая, искусно приукрашенная любовная история способна затмить имя Аривару Нарихира?

Право, довод не очень убедительный. Со стороны правых отвечает Дайно-но сукэ:

— Если душа
Воспаряет к заоблачным далям,
Ей оттуда и море
В много тысяч хиро глубиной
Непременно покажется мелким.

— Разумеется, возвышенные чувства Хёэ-но оогими* не могут не вызывать уважение, но и к Дзайго-но тюдзё* нельзя относиться пренебрежительно, — говорит государыня, затем добавляет:

— Случайному взору
Показаться могут увядшими
Травы морские,
Но разве увянут речи
Рыбаков с побережья Исэ?

Долго состязались обитательницы женских покоев, одно мнение приходило на смену другому, каждый свиток становился предметом ожесточенных споров, однако согласие так и не было достигнуто. Менее искушенные

молодые дамы умирали от желания посмотреть на спорящих, но никому из них — прислуживали они Государю или государыне — не удалось ровно ничего увидеть, ибо государыня пожелала обойтись без огласки.

Министр Гэндзи как-то зашел во Дворец, и его немало позабавили эти шумные споры.

— Раз уж так получилось, отчего не разрешить окончательно ваш спор в присутствии Государя? — заявил он в конце концов.

Собственно говоря, именно это он и имел в виду, когда перевозил в Сливовый павильон картины из своего собрания. В покоях жрицы собралось немало прекрасных произведений, но Гэндзи счел целесообразным добавить к ним еще два свитка, привезенные из Сума и Акаси. Не отставал от него и Гон-тюнагон. В те времена собирание картин стало самым любимым занятием в Поднебесной.

— Мне кажется, не стоит нарочно для этого случая заказывать что-нибудь новое. Достаточно тех картин, которыми мы располагаем, — решил Гэндзи, но Гон-тюнагон, никому ничего не говоря, устроил в своем доме тайные покои и, посадив туда мастеров, дал им соответствующие задания. Даже до отрекшегося государя дошел слух о том, что происходит, и он изволил прислать обитательнице Сливового павильона некоторые из принадлежащих ему картин.

Среди них оказался свиток с изображением важнейших годовых праздников. Различная по стилю живопись была выполнена древними мастерами и сопровождалась пояснениями, принадлежащими кисти самого императора Энги*. На другом свитке воспроизводились события тех лет, когда миром правил отрекшийся государь, и среди них столь глубокий след оставившая в его сердце церемония отправления жрицы в Исэ, имевшая место когда-то во дворце Дайгоку. Государь особо поручил Киммоти* запечатлеть этот эпизод, дав ему точные указания относительно того, как и что должно быть изображено. Этот великолепный свиток, уложенный в футляр из аквиларии с изящнейшей ажурной резьбой и украшениями, придававшими ему весьма современный вид, тоже был отослан в Сливовый павильон вместе с устным посланием от государя, которое передал прислуживающий ему теперь Сакон-то тюдзё. В той части свитка, где было изображено, как жрицу торжественно подносят на носилках к дворцу Дайгоку, государь собственно-ручно сделал такую надпись:

«Живу я теперь
Вне священных пределов,
Но думы мои
Стремятся по-прежнему
К минувшим дням...»

Не ответить было бы непочтительно, и бывшая жрица, вздохнув, надломив концы той самой шпильки и, написав:

«В священных пределах
Ничего не осталось от прошлого.
Печально смотрю
Вокруг, с тоской вспоминая
Годы, отданные богам», —

завернула письмо в светло-синюю китайскую бумагу и велела вручить гонцу. Разумеется, он получил щедрое вознаграждение. Письмо обитательницы Сливового павильона растрогало бывшего государя до слез. О, когда б можно было вернуть прошлое! Как все-таки жестоко поступил с ним министр!

Впрочем, не правильнее ли было считать, что все эти неудачи посланы ему в наказание за прошлые заблуждения?

Картины свои отрехшийся государь унаследовал от Государыни-матери, причем значительная их часть, очевидно, перешла к даме из дворца Кокидэн. Большой любительницей живописи оказалась и Найси-но ками, сумевшая собрать немало прекрасных произведений, вполне отвечающих ее тонкому вкусу.

Наконец день был назначен, и, хотя времени почти не оставалось, дамы на скорую руку сумели подготовить самое необходимое и с приличным случаем изяществом разместить картины левых и правых в покоях Государя.

Сиденье для Государя было устроено в помещении придворных дам, а с северной и южной сторон от него расположились спорящие — отдельно левые, отдельно правые. Придворные собрались на галерее дворца Грядущей прохлады, Корёдэн, приготовившись выражать сочувствие той или другой стороне.

Левые, уложив свитки в сандаловые ларцы, поместили их на столики из красного дерева, стоявшие на подстилках из лиловой китайской парчи и покрытые китайским сиреневым шелком, затканым узорами. Им прислуживают шесть девочек-служанок в красных платьях и накидках кадзами* цвета «вишня». Нижние одеяния у них алые или же цвета «глициния»* с узорами. Девочки привлекают внимание необычайной миловидностью и изяществом манер.

У правых ларцы из аквиларии стоят на столиках из того же дерева, только более светлого. Столики покрыты желтовато-зеленой корейской парчой. Форма ножек и обвивающиеся вокруг них шнуры отвечают последним требованиям моды. Девочки-служанки облачены в зеленые платья, кадзами цвета «ива»* и нижние одеяния цвета «керрия». Внеся ларцы со свитками, они ставят их перед Государем.

Дамы из Высочайших покоев, разделившись на две группы, различающиеся цветом платья, размещаются перед Государем и позади него. Особые приглашения были посланы министру Двора и Гон-тюнагону. Пришел и принц Соти, который пользуется в мире славой истинного ценителя прекрасного и является к тому же страстным любителем живописи. Скорее всего дело не обошлось без тайного вмешательства Гэндзи, ибо, хотя принцу не было послано официального приглашения, Государь устно изъявил желание видеть его в этот день во Дворце. Принц Соти принимает на себя обязанности судьи, — такова воля Государя. Однако отдать предпочтение чему-то одному оказывается не столь уж и просто, ибо взорам собравшихся предстают произведения поистине замечательные, лучшее из того, что когда-либо было создано кистью.

Взять хотя бы уже упоминавшиеся свитки с празднествами четырех времен года. Выбрав наиболее достойные внимания сцены, старые мастера запечатлели их с непревзойденной легкостью и свободой. Кажется, ничего прекраснее и быть не может. Однако живопись на бумаге*, представленная

другой стороной, имеет свои преимущества. Поскольку на сравнительно небольшом бумажном листе трудно передать в полной мере необозримость гор и вод, современный художник старается произвести впечатление прежде всего изощренностью, ловкостью кисти и необычностью взгляда на мир. Поэтому, отличаясь некоторой поверхностностью, новая живопись в целом не уступает старой, а по яркости и занимательности иногда даже превосходит ее. Надобно ли сказывать, сколь много заслуживающих внимания доводов приводится и с той, и с другой стороны?

Государыня наблюдает за происходящим, отодвинув перегородку Зала для утренних трапез. Воодушевленный ее присутствием — ибо он всегда был весьма высокого мнения о ее познаниях в этой области, — министр Двора довольно часто, особенно когда суждение о тех или иных произведениях не удовлетворяет его, вставляет собственные замечания, неизменно оказывающиеся чрезвычайно тонкими.

Настала ночь, а спорящие так и не пришли к единому мнению. Но вот наконец левые извлекли последний из оставшихся у них свитков — свиток с видами Сума, и сердце Гон-тюнагона затрепетало.

Правые тоже оставили напоследок свой лучший свиток, но что могло сравниться с замечательным творением Гэндзи, этого удивительного мастера, который, очистив сердце от суетных помышлений, сумел в движения кисти вложить сокровенные движения души? Все, начиная с принца Соти, были растроганы до слез.

Когда Гэндзи был в изгнании, многие печалились и сочувствовали ему, но мог ли кто-нибудь вообразить?.. Только теперь, глядя на свиток, люди словно переносились на пустынный морской берег, проникали в мысли и чувства изгнанника. Кисть Гэндзи с величайшей точностью запечатлела место, где жил он долгие годы: никому не ведомый залив, дикие скалы... Надписи, сделанные китайскими скорописными знаками и каной, перемежались трогательными песнями, которых не найдешь в настоящих суховато-подробных дневниковых записях, — словом, хотелось смотреть и смотреть без конца. Показанные прежде картины были забыты, и внимание растроганных и восхищенных зрителей целиком сосредоточилось на свитке с видами Сума. Все остальное уже не имело значения, и стало ясно, что победа на стороне левых.

Близился рассвет. Министр был чрезвычайно растроган и, когда подали вино, пустился в воспоминания.

— С малых лет питал я пристрастие к китайским наукам, и, как видно, подумав, что и здесь я могу добиться кое-каких успехов, Государь сказал: «Разумеется, книжная премудрость весьма почитается в мире, но не потому ли успешное продвижение по стезе наук редко сочетается с долголетием и благополучием? Тебе же высокий ранг обеспечен рождением, ты и так не будешь ни в чем уступать другим. А потому не особенно усердствуй в углублении своих познаний». Наставляя меня подобным образом, он следил за тем, чтобы я в достаточной мере усвоил все основные науки. Меня нельзя было назвать неспособным, но сказать, что я достиг в чем-то совершенства, тоже нельзя. И только с живописью дело обстояло немного иначе. Как ни малы были мои дарования, иногда у меня возникало мучительное, безотчетное желание добиться того, чтобы кисть полностью отвечала движениям души.

Неожиданно для самого себя я стал бедным жителем гор и, получив возможность проникнуть в сокровенную суть морских просторов, окружавших меня с четырех сторон, познал все, что только можно было познать. Но далеко не все подвластно кисти, и мне казалось, что я так и не сумел выразить то, что замыслил... К тому же до сих пор у меня не было повода кому-то показывать эти свитки. Боюсь, что и сегодня я поступил опрометчиво и потомки не преминут осудить меня, — говорит он, обращаясь к принцу Соти.

— Никакими знаниями нельзя овладеть вполне, не отдавая учению всех душевных сил. Поскольку на каждой стезе существуют свои наставники и свои способы обучения, постольку все ученики, усваивая те или иные приемы, могут достичь уровня своих учителей. И здесь не имеет значения, стремятся ли они проникать в глубины или предпочитают оставаться на поверхности. Только искусство кисти и игра в «го» каким-то неспостижимым образом способны выразить душу человека. Даже неуч может научиться неплохо писать или играть в «го», ежели есть у него к тому способности. Так что же говорить о детях благородных родителей? Среди них еще больше таких, которые, обнаруживая необыкновенные дарования, легко достигают успехов на любом поприще. Покойный государь с удивительным рачением воспитывал своих детей, внушая им знания, приличные полу каждого. Вас же он любил более других, а потому уделял вашему обучению особое внимание, и, как видно, не зря. «Значение книжных премудростей не подлежит сомнению, — изволил наставлять нас государь, — но если говорить о прочем, то прежде всего вам следует овладеть искусством игры на китайском кото «кин», а затем освоить продольную флейту, бива и кото «со». Остальные придерживались того же мнения, поэтому я всегда считал живопись просто забавой для кисти в часы досуга. Мог ли я предполагать, что вам удалось достичь такого совершенства? Боюсь, что даже прославленные старые мастера разбегутся кто куда, увидев ваше творение. Ну не дурно ли это? — говорит захмелевший принц Соти, и Гэндзи вдруг так живо вспоминается ушедший государь, что он не может сдержать слез. Впрочем, не хмель ли тому виною?

На небо выплывает двадцатидневный месяц, и, хотя свет его еще не достиг места, где расположились придворные, все вокруг озаряется чудесным сиянием. Распорядившись, чтобы из Книжного отделения принесли музыкальные инструменты, Государь вручает Гон-тюнагону японское кото. Ведь что ни говори, а в игре на кото мало кто может с ним сравниться. Принц Соти берет кото «со», министр — «кин», а бива отдают госпоже Сёсё. Отбивать так поручают придворным, обладающим превосходным чувством ритма. Получается великолепно!

Постепенно светлеет, вот уже различимы оттенки цветов в саду, фигуры людей... Светло и чисто поют птицы. Наступает прекрасное утро. Гости получают дары от государыни. Принцу Соти Государь сверх того жалует полный парадный наряд.

В те времена в мире только и говорили что об этом сопоставлении картин.

Свиток с видами залива министр распорядился передать государыне. Разумеется, ей хотелось увидеть и все остальные свитки, привезенные из Сума, но Гэндзи ограничился обещанием, что со временем... Он был очень рад, что сумел доставить удовольствие Государю.

Видя, что министр Двора не упускает случая оказать покровительство бывшей жрице, Гон-тюнагон забеспокоился, опасаясь, как бы дочь его не лишилась высочайшего расположения. Но, тайком наблюдая за ней, убедился, что чувства Государя не переменились, и он питает к ней прежнюю доверенность. Это позволяло Гон-тюнагону надеяться на будущее.

Гэндзи всегда старался изыскивать разнообразные средства для того, чтобы придать новый блеск обычным празднествам и церемониям. Ему хотелось, чтобы потомки говорили: «Этому начало было положено при таком-то государе». Неудивительно поэтому, что он уделял особенное внимание подготовке столь, казалось бы, незначительных, неофициальных увеселений. Это был воистину блестящий век.

Сам же Гэндзи по-прежнему сетовал на непостоянство мира и, искренне желая удалиться от него, лишь ждал: «Вот повзрослеет Государь...»

«Люди, выделяющиеся своими талантами и уже в молодые годы достигшие высоких чинов и званий, ненадолго задерживаются в этом мире. Древние времена дают немало тому примеров, — думал Гэндзи. — Слишком велики почести, которыми осыпают меня теперь. Боюсь, что, когда б не горести и не лишения, на время прервавшие мое благополучное существование, мне не удалось бы дожить до сего дня... Легко может статься, что дальнейшее возвышение будет стоить мне жизни. Поэтому лучше всего, отказавшись от света, заключиться в монастырь и посвятить себя заботам о грядущем. Быть может, это и продлит мой нынешний век...»

Подыскав тихое место в горах, Гэндзи велел построить там храм и собрать в нем изображения будд и священные сутры. Однако сразу же отказаться от мира он не мог, и прежде всего из-за детей, которым должно было дать достойное воспитание. Так что трудно было проникнуть в его истинные намерения.





ВЕТЕР В СОСНАХ

Основные персонажи

Министр Двора (Гэндзи), 31 год

Дама из Сада, где опадают цветы (Ханатиурсато) — возлюбленная Гэндзи

Особа из Акаси (госпожа Акаси), 22 года — возлюбленная Гэндзи, дочь Вступившего на Путь из Акаси

Корэмицу — приближенный Гэндзи

Девочка, 3 года — дочь Гэндзи и госпожи Акаси

Югэи-но дзё (Укон-но дзо-но куроо) — приближенный Гэндзи, сын правителя Хитати (Иё-но сукэ)

Госпожа из Западного флигеля (Мурасаки), 23 года — супруга Гэндзи

СТРОИТЕЛЬСТВО Восточной усадьбы было завершено, и Гэндзи поселил там особу, известную под именем Ханатиурсато, дама из Сада, где опадают цветы. В Западном флигеле и примыкающих к нему галереях были должным образом размещены необходимые службы и домашняя управа. Восточный флигель предназначался для особы из Акаси, а в Северном, расширенном нарочно для этой цели, министр Двора намеревался поселить женщин, в которых пусть мимолетно, но принимал участие и которые имели основания рассчитывать на его покровительство в будущем. Для их удобства флигель был разделен на небольшие уютные покои, заботливо и изящно убранные.

Главный дом Восточной усадьбы Гэндзи пока оставил свободным и, рассчитывая, что сможет иногда жить там сам, распорядился, чтобы его убрали соответствующим образом.

Все это время он поддерживал постоянные сношения с Акаси и недавно снова написал туда, предлагая женщине перебраться в столицу, но она по-прежнему терзалась сомнениями, сетуя на незначительность своего положения в мире.

«Я слышала, что легче вовсе не видеть его, чем жить рядом, страдая от его холодности, — думала она. — Причем так говорили, имея в виду дам самого высокого происхождения. На что же надеяться мне, если, приехав в столицу, я стану одной из женщин, живущих его милостями? Мое низкое состояние ни для кого не останется тайной, и дочери вряд ли удастся смыть с себя это пятно. Скорее всего придется жить в одиночестве, всеми презираемой, довольствуясь случайными его посещениями. Право, что может быть унижительнее?»

Вместе с тем ее печалила мысль, что дочери придется расти в глуши и что она никогда не займет достойного положения. Поэтому ответить Гэндзи решительным отказом женщина не могла.

Родители, признавая справедливость ее сомнений, тоже печалились и вздыхали, так что письмо Гэндзи стало источником новых волнений, хотя, казалось бы...

Между тем Вступивший на Путь вспомнил, что дед его супруги, принц Накацукаса, имел когда-то владения в окрестностях реки Ои*, которые после его смерти за отсутствием прямого наследника постепенно пришли в запустение. Он решил вызвать человека, которого род на протяжении многих лет неизменно присматривал за поместьем, и побеседовать с ним.

— Окончательно порвав с суетным миром, я поселился в этой глуши и спокойно жил здесь, пока не возникло одно совершенно неожиданное для всех нас обстоятельство, принудившее меня снова искать пристанища в столице, — говорил Вступивший на Путь. — Но, признаться, меня пугает необходимость погрузиться в гущу столичной жизни, полной блеска и суеты. Я слишком долго жил в провинции, и всякий шум претит мне. Потому-то мне и захотелось отыскать какую-нибудь тихую, старую усадьбу. Все расходы я возьму на себя. Нельзя ли так перестроить этот дом, чтобы в нем можно было жить вполне прилично?

— За долгие годы не нашлось никого, кто предъявил бы права на это жилище, и оно постепенно приобрело весьма жалкий вид, — отвечал сторож. — Сам я живу в служебных помещениях, которые мне удалось привести в порядок. Должен вам сказать, что начиная с весны в окрестностях царит небывалое оживление: господин министр Двора строит неподалеку храм. Здание будет, очевидно, внушительным, во всяком случае людей собрано немало. Так что, если вы желаете тишины, это место вам вряд ли подойдет.

— Да нет, почему же? Тем более что по некоторым обстоятельствам мое семейство вправе рассчитывать на покровительство господина министра. Что касается состояния дома, то со временем все наладится. Главное — как можно быстрее придать ему жилой вид.

— Видите ли, я не являюсь владельцем этих земель, но, поскольку передать их мне было некому, я и жил там все это время в тишине и покое. Дабы поля, огороды и прочие угоды не пришли в полное запустение, я распорядился ими по своему усмотрению, заручившись предварительно разрешением покойного Мимбу-но тау и выплачивая все, что полагается, — недовольно скривившись, сказал сторож.

Судя по всему, он испугался за нажитое добро. Нос его покраснел, на безобразном, заросшем волосами лице застыла недоверчивая улыбка.

— До полей и прочего мне нет дела. Можете распоряжаться ими так же, как распоряжались до сих пор. Разумеется, у меня есть все, какие положено, грамоты на владение этими землями, но, не желая обременять себя мирскими заботами, я до сих пор пренебрегал ими. Надеюсь, что теперь мне удастся наверстать упущенное, — сказал Вступивший на Путь, а поскольку было упомянуто имя министра Двора, сторож забеспокоился и поспешил приступить к перестройке дома, получив на это весьма значительные средства из Акаси.

Гэндзи, ничего не ведавший о замысле старика, недоумевал, не понимая, почему женщина так упорно отказывается переехать в столицу. Он боялся, что имя его дочери окажется навсегда связанным с диким побережьем Акаси — обстоятельство, которое могло иметь губительные последствия для ее будущего.

Но тут как раз закончили перестройку дома, и Вступивший на Путь сообщил Гэндзи: «Вот дескать, вспомнил случайно о существовании такого жилища...»

Разумеется, Гэндзи сразу понял, что мысль о собственном доме возникла не случайно: видимо, женщина боялась затеряться среди прочих дам, живущих под его покровительством. «Что ж, вполне достойное решение», — подумал он и отправил в Ои Корэмицу, неизменного помощника своего в таких делах, поручив ему позаботиться о том, чтобы все было устроено надлежащим образом.

— Место прекрасное, есть даже некоторое сходство с морским побережьем, — доложил Корэмицу, вернувшись, и Гэндзи успокоился: «Что ж, может, это и к лучшему».

Храм, который по его распоряжению строили в горах, чуть южнее Дайкакудзи*, производил прекрасное впечатление, а Павильон у водопада* был не хуже, чем в самом Дайкакудзи.

Усадьба, предназначавшаяся для женщины из Акаси, стояла на берегу реки. Редкой красоты сосны окружали главное здание, строгое и простое, отмеченное особым очарованием сельского жилища. Обо всем, вплоть до внутреннего убранства, позаботился министр.

И вот наконец он тайно отправил в Акаси самых преданных своих слуг.

«Увы, пора...» — вздыхала женщина, понимая, что разлука с Акаси неизбежна. Ей было грустно покидать этот дикий берег, где она прожила столько лет, не хотелось оставлять отца одного. Мысли одна другой тягостнее теснились в ее голове.

«Неужели рождена я для того лишь, чтобы вечно предаваться печали?» — думала она, мучительно завидуя тем, на кого не упала роса его любви.

Могли ли старые родители не радоваться счастью дочери, увидав, сколь пышную свиту прислал за ней Гэндзи? Наконец-то исполнялись их заветные чаяния, и когда б не омрачала радости мысль о близкой разлуке... Вступивший на Путь, в старческой расслабленности пребывая, и днем и ночью повторял: «Неужели никогда больше не увижу нашей малютки?» И кроме этого, от него нельзя было добиться ни слова. Мать тоже опечалена была безмерно. Супруги давно уже не жили под одним кровом, и останься она в Акаси, кто будет ей отныне опорой? И все же... Люди, соединенные случайно и не успевшие сказать один другому даже нескольких слов, и те,

словно «сроднившись давно» (160), печалются, когда приходит разлука. Чем же измерить горе супругов, проживших рядом долгие годы? Разумеется, своенравный старик никогда не был для нее надежной опорой, но, примирившись со своей участью, она вовсе не собиралась оставлять его теперь, когда к концу приближался ей отмеренный срок (161), и полагала, что это побережье будет ее последним прибежищем. И вот приходилось расставаться...

Молодые дамы, которым давно уже наскучила здешняя жизнь, радовались отъезду, но иногда взоры их обращались невольно к прекрасной морской глади. «А ведь мы никогда больше не вернемся сюда...» — думали они, и слезы, смешиваясь с брызгами набегающих волн, увлажняли их рукава.

Стояла осень, пора, когда все вокруг исполнено печального очарования. На рассвете того дня, на который был намечен отъезд, дул прохладный осенний ветер, назойливо звенели насекомые. Женщина сидела, любуясь морем, а Вступивший на Путь, поднявшись сегодня ко второй ночной службе гораздо раньше обыкновенного, читал молитвы, то и дело всхлипывая. Никто не мог сдержать слез, хотя они и считаются в такой день дурным предзнаменованием.

Девочка была необычайно хороша собой, и старик души в ней не чаял, берег, словно драгоценный нефрит, излучавший сияние в ночи*. До сих пор он не отпускал ее от себя, да и она успела к нему привязаться. Разумеется, он понимал, что монах не должен питать в своем сердце такие чувства, но, увы, он и часа не мог прожить без нее...

— В миг разлуки молюсь,
Чтобы жизненный путь для тебя
Всегда был удачен.
Но под силу ли старику
Удержаться сегодня от слез?

О, как это дурно! — сказал он, старательно вытирая глаза.

— Вместе с тобой
Покидали когда-то столицу,
А теперь я одна
Возвращаюсь. Удастся ль найти
Знакомые прежде тропинки? (162) —

ответила монахиня.

Никто не удивился, увидав, что она плачет. Сколько же долгих лет легло на их плечи с того дня, как обменялись они супружеским обетом! И вот, имея столь неверный источник надежд, возвращается она в давно покинутый мир. Не тщетно ли?

А молодая госпожа сложила:

Впереди — дальний путь.
Не знаю, когда мы с тобою
Встретимся вновь?
Нам неведомы сроки, и все же
В сердце надежда живет...

— Хотя бы проводите нас, — умоляла она, но Вступивший на Путь отказался, объяснив, что разного рода причины мешают ему покинуть Акаси. Вместе с тем он не мог не думать о тяготах предстоящего им пути, и мучительное беспокойство проступало на его лице.

— Жертвуя своим положением при дворе и удаляясь в чужие земли, я надеялся, что именно таким образом мне удастся изыскать средства, необходимые для вашего образования. Получив немало свидетельств своего неудачного предопределения, я отказался от мысли вернуться в столицу, где, разорившись, наверняка примкнул бы к числу так называемых «бывших» наместников и не сумел бы даже восстановить прежний облик нашего бедного дома, сплошь заросшего полынью и хмелем. В конце концов моя жизнь, и частная, и общественная, стала бы предметом для насмешек и оскорблений, а память предков моих была бы навечно покрыта позором. К тому же я с самого начала дал понять, что мой переезд в провинцию является лишь первым шагом на пути к полному отказу от всего мирского, и был уверен, что мне удастся пройти по этому пути до конца. Однако, по мере того как вы выросли и начинали проникать в суть явлений этого мира, я все чаще задавал себе вопрос: «Для чего прячу я эту драгоценную парчу в жалком захолустье?» — и душа моя блуждала впотьмах (3), а в голове теснились тревожные думы. Уповая на будд и богов, я молил их об одном — чтобы вы не остались до конца дней своих в бедной горной хижине, куда занесло вас несчастливое предопределение отца.

И даже когда пришла к нам наконец удача, о какой мы и мечтать не смели, я долго терзался сомнениями, ибо яснее, чем когда-либо, понимал, сколь незначительно ваше положение в мире. Но скоро родилось это милое дитя, и, увидав в его рождении еще один знак вашего счастливого предопределения, я решил, что вы ни в коем случае не должны оставаться на этом диком побережье. Я знаю, что вашей дочери предназначена особая участь. Меня приводит в отчаяние мысль, что я никогда больше не увижу ее, но я давно уже полон решимости отказаться от мира, а вы извольте нести в себе свет, который должен его озарить. Видно, такова была ее судьба — попасть ненадолго в эту горную хижину и лишиться покоя души ее обитателя. Что ж, не зря ведь говорят: «Люди, которым предстоит переродиться на небесах, должны на некоторое время вернуться на одну из трех дурных дорог*. Вот и мне тоже предстоит пережить боль этой разлуки. Если дойдет до вашего слуха когда-нибудь, что я покинул этот мир, не извольте беспокоиться о поминальных обрядах, да не взволнует вашего сердца эта неизбежная разлука... (26) — решительным тоном сказал старик, но тут же лицо его исказилось от сдерживаемых рыданий. — Может быть, человек, стремящийся очистить сердце от суетных помышлений, не должен так поступать, но отныне и до той ночи, когда дымом вознесусь в небо, я каждый день, во время всех шести служб, стану молиться за наше дитя.

Переезд предполагалось совершить тайно, но разве можно было надеяться, что столь длинная вереница карет останется незамеченной? Отправлять же их поочередно показалось нецелесообразным, поэтому сочли, что лучше всего добираться морем.

В стражу Дракона они тронулись в путь. Лодка удалялась, скрываясь в окутавшем залив утреннем тумане, столь восхитившем когда-то одного из древних поэтов (146), и по мере того как она исчезала из виду, на сердце у Вступившего на Путь становилось все печальнее. С тоскою вглядывался он в морскую даль, чувствуя, что вряд ли ему удастся теперь полностью от-решиться от суетных мыслей.

Печалилась и старая монахиня, ведь она прожила здесь столько лет, и вот так неожиданно приходится возвращаться в столицу... Слезы струились по ее щекам.

Помышленья благие
Привели к дальнему берегу
Рыбачью лодку.
Но волны снова влекут
Ее в мир, давно позабытый.

А молодая госпожа сказала:

— Сколько же раз
Я осень встречала на этом
Морском берегу!
Для чего на бревнышке шатком
Возвращаюсь сегодня в столицу?

Ветер дул попутный, и точно в назначенный день они вышли на берег. Не желая привлечь к себе недоброжелательные взгляды, госпожа Акаси позаботилась о том, чтобы и оставшаяся часть пути была совершена как можно более незаметно.

Дом превзошел все ожидания, а как был к тому же похож на тот у моря, в котором провели они столько долгих лет, у путников из Акаси возникло ощущение, что они никуда и не уезжали. Многое здесь трогало до глубины души, заставляя возвращаться мыслями к прошлому.

Заново пристроенные галереи придавали дому благородный вид, по прекрасному саду бежали ручьи... Разумеется, кое о каких мелочах предстояло еще позаботиться, но для начала всего было более чем достаточно. Министр Гэндзи поручил одному из самых преданных ему служителей домашней управы проследить за тем, чтобы женщин приняли в доме с подобающей случаю торжественностью.

Только через несколько дней Гэндзи удалось наконец найти подходящий предлог для того, чтобы самому навеститься к ним. Женщина между тем печалилась еще более прежнего. Она часто вспоминала покинутый дом и, чтобы хоть чем-то занять себя, трогала струны китайского кото, когда-то оставленного ей Гэндзи. Осенняя пора располагала к унынию, и очень часто, не в силах превозмочь тоски, госпожа Акаси уединялась в своих покоях и целиком отдавалась музыке, невольно вздрагивая, когда своенравный ветер в соснах начинал громко вторить пению струн. В такие мгновения даже старая монахиня, целыми днями грустившая в своей опочивальне, поднималась с ложа.

— Новый облик приняв,
Я сюда одна возвратилась.
В этой горной глуши,
Так же, как в прежние годы,
Ветер в соснах поет, —

говорила она, а молодая госпожа отвечала:

— По родной стороне
Я тоскую, по лицам привычным,
Вот только кому
Понятен бедный язык
Моего одинокого кото?

Так, ни на что не надеясь, коротали они дни и ночи.

Между тем Гэндзи, как это ни странно, тревожился за них теперь еще больше прежнего и наконец решился навестить их, пренебрегая возможными пересудами. Госпоже Мурасаки он не стал пока сообщать никаких подробностей, но, опасаясь, что она услышит обо всем от чужих людей, зашел перед отъездом в Западный флигель:

— Есть у меня дело в Кацура, давно требующее моего участия. Там же поблизости живет женщина, которую я обещал когда-то навестить, и пренебрегать ею неудобно. А поскольку мне предстоит наведаться в храм, строящийся в Сага, чтобы распорядиться относительно не законченных до сих пор изваяний будд, вернусь я, вероятно, дня через два или три.

«Я слышала, что по его указанию вдруг начали строить какой-то дом, который, кажется, называют Кацура-но ин. Верно, там он ее и поселил», — подумала госпожа и ответила довольно сердито:

— Долго же мне придется ждать. Пожалуй, стоит запастись новым топищем*...

Вид у нее был чрезвычайно недовольный.

— Вы неисправимы! А ведь все считают, что я неузнаваемо изменился, — говорил Гэндзи, пытаясь ее успокоить, а солнце тем временем поднималось все выше и выше...

Стараясь не подавать подозрения окружающим, Гэндзи выехал из дома, не взяв с собой никого, кроме самых преданных слуг. Уже спустились сумерки, когда он добрался до места.

Даже самое скромное охотничье платье не могло умалить его поразительной красоты, а в тот день он надел нарочно приготовленное для этого случая носи и был так прекрасен, что женщина забыла все свои горести.

Нетрудно себе представить, как взволновала Гэндзи эта долгожданная встреча, с каким умилением смотрел он на дочь... Ему оставалось лишь сожалеть, что все эти долгие луны и годы росла она вдали от него. Люди на все лады превозносили миловидность его сына, рожденного ушедшей дочерью нынешнего Великого министра, но, как знать, не потому ли, что принадлежал он к одному из влиятельнейших столичных семейств? Девочка же была действительно прелестна. «Да, истинную красоту можно распознать уже в самом начале...» — думал Гэндзи, глядя на милое, невинно улыбающееся личико.

Кормилица за время, проведенное в Акаси, пополнела и стала еще красивее. Слушая ее подробный рассказ о жизни на побережье, Гэндзи вздыхал, чувствуя себя виноватым в том, что она принуждена была так долго жить возле рыбацких хижин.

— Это жилище тоже слишком далеко от столицы и мне нелегко будет навещать вас здесь. Почему бы вам не переехать в дом, нарочно для вас приготовленный? — спросил Гэндзи, и госпожа Акаси ответила:

— Я должна немного привыкнуть. Быть может, тогда...

Что ж, по-своему она была права. Они беседовали всю ночь напролет, и немало уверений и клятв услышала она от Гэндзи. Кое-что в доме еще не было приведено в порядок, и он поспешил дать соответствующие указания сторожу и новым служителям домашней управы.

Прослышав о том, что господин министр решил посетить Кацура-но ин, туда стали стекаться окрестные жители, которым удалось в конце концов обнаружить его в Ои. Им он поручил привести в порядок сад.

— Камни в саду повалились, а то и вовсе исчезли. Здесь могло бы быть прекрасно, стоит лишь приложить немного сил и умения. Впрочем, что толку? Ведь не останетесь же вы здесь надолго? К тому же и расставаться с домом будет труднее, если вы успеете привязаться к нему. Так, уж мне-то это хорошо известно.

И Гэндзи снова заговорил о прошлом. Он плакал, смеялся, и все это с такой искренней непринужденностью, что нельзя было не умиляться, на него глядя. Даже старая монахиня, увидев его сквозь щель в перегородке, забыла о своей старости, мрачные мысли ее рассеялись, и лицо осветилось улыбкой. Очевидно, решив лично проследить за тем, чтобы слуги должным образом расчистили ручей, вытекавший из-под восточной галереи, Гэндзи вышел в сад в одном нижнем платье, и, любуясь его изящной фигурой, монахиня восхищалась и радовалась. Тут, заметив сосуд для священной воды, Гэндзи вспомнил и о ней.

— Ведь здесь и госпожа монахиня? А я так небрежно одет... — сетует он и, повелев принести носи, облачается в него. Затем, приблизившись к переносному занавесу, говорит задушевым тоном:

— Я с умилением думаю о том, что именно усердие в молитвах помогло вам вырастить столь прекрасную дочь. Подумать только, вы нашли в себе довольно твердости, чтобы покинуть жилище, где ничто не нарушало чистоты ваших помышлений, и вернуться в суетный мир! Представляю себе, как тяжело теперь почтенному старцу, коротающему дни в одиночестве и устремляющему к вам свои думы!

— О да, возвращение в давно покинутый мир повергло в смятение мои чувства, но, встретив такое понимание, я убедилась, что не зря была мне дарована столь долгая жизнь... — отвечает монахиня, плача. — Я непрестанно возношу молитвы, желая счастливого будущего этому росточку сосны, чья судьба не давала покоя моему сердцу, пока мы жили среди диких скал. Боюсь только, что слишком низко расположены его корни...

Благородные манеры старой монахини возбудили участие в сердце Гэндзи, и он принялся расспрашивать ее о том, каким было это место в те давние годы, когда жил здесь принц Накацукаса. Тем временем ручей привели в порядок, и он зажурчал жалобно.

Вернувшись сюда,
В дом, где жила когда-то,
Робко вокруг
Озираюсь — журчит ручей,
Так, словно он здесь хозяин...

Непритворное смирение, с которым были произнесены эти слова, свидетельствовало об удивительной тонкости и душевном благородстве монахини.

Ни о чем не забыл
Этот ручей прозрачный.
Но за долгие годы
Облик прежней хозяйки
Стал совершенно иным...

Взволнованный до глубины души, Гэндзи некоторое время стоял, молча глядя на сад, и монахиня подумала, что вряд ли когда-нибудь ей приходилось видеть человека столь совершенного и лицом и статью.

Затем Гэндзи отправился в храм, где прежде всего заказал молебны Фу-гэну, Амиде и Шакья-Муни, которые положено было проводить на четырнадцатый, пятнадцатый и последний день каждой луны, после чего изволил распорядиться о дополнительных службах. Также позаботился он о внутреннем убранстве храма и о священной утвари.

На небо уже выплыла светлая луна, когда Гэндзи вернулся в Ои. Ему невольно вспомнились былые ночи, и женщина, воспользовавшись случаем, пододвинула к нему то самое китайское кото. Растроганный до слез, Гэндзи заиграл.

Знакомая мелодия живо напомнила им прошлое, словно перенес их в тот давний вечер.

— Прежний строй сохранив,
Струны кото звучат сегодня
Так же, как прежде,
Поверишь ли ты, наконец,
В искренность чувств моих? —

говорит Гэндзи, а женщина отвечает:

— В верности вечной
Клялся ты. Этой клятве поверив,
Терпеливо ждала.
И пению ветра в соснах
Вторило старое кото...

Такими песнями они обменялись, и, как видите, госпожа Акаси оказалась вполне достойной собеседницей, проявив куда большее благородство, чем можно было ожидать от особы ее звания. Годы умножили красоту ее лица, изящество манер, она сделалась еще привлекательнее в глазах Гэндзи, девочка же была так прелестна, что хотелось вовсе не отрывать от

нее взора. «Что же с ней делать? Обидно растить ее тайно, никому не общая о ее существовании. Разумеется, лучше всего перевезти ее в дом на Второй линии и воспитать сообразно собственным представлениям. Только тогда удастся, избежав пересудов, создать ей безупречное положение в будущем», — подумал Гэндзи, но, боясь причинить боль женщине, не решился сказать ей об этом открыто и только смотрел на девочку со слезами на глазах.

Она же, мало что понимая, сначала дичилась Гэндзи, но постепенно привыкла, с удовольствием разговаривала с ним, смеялась, карабкалась к нему на колени, живостью своей пленяя его еще больше. Прекрасная это была картина — Гэндзи, сидящий с дочерью на руках. Сразу становилось ясно, что ей предназначено не простое будущее.

На следующий день Гэндзи должен был возвращаться в столицу, а как встал он позже обычного, решили ехать прямо отсюда. Однако множество людей уже ждало его в Кацура-но ин, и даже до Ои добрались некоторые придворные. «Какая досада! — говорил Гэндзи, облачаясь в парадное платье. — А я-то полагал, что здесь меня никто не найдет».

Между тем в доме стало шумно, пора было уезжать. Сердце Гэндзи рывалось от жалости к госпоже Акаси, и он долго медлил у выхода, стараясь тем не менее ничем не обнаруживать своего волнения.

Тут появилась кормилица с девочкой на руках. Погладив милое дитя по головке, Гэндзи сказал:

— Мне слишком тяжело будет жить в разлуке с ней. Я понимаю, что для вас это слишком неожиданно, но что прикажете делать? Право, «коль окажешься ты далёко...» (163)

— Все эти годы, живя далеко, мы вынуждены были мириться с вашим отсутствием, — отвечала кормилица. — Но теперь... Ах, боюсь, теперь будет еще тяжелее...

Девочка тянулась к Гэндзи, словно пытаясь его удержать и, не решаясь уйти, он сказал:

— Неужели моему сердцу никогда не суждено обрести покоя? Мне тяжело расставаться с ней даже на миг. А где же твоя матушка? Почему она не захотела проститься со мной? Возможно, мне было бы легче...

Кормилица, улыбнувшись, передала его слова госпоже, но та не сразу сумела подняться — в таком смятении были все ее чувства.

«Слишком уж церемонится», — подумал Гэндзи.

Наконец, вняв увещаниям прислужниц, она вышла к нему. Изящный, благородных очертаний профиль наполовину скрыт занавесом, мягкие, неторопливые движения — право, чем не принцесса крови!

Приподняв полу занавеса, Гэндзи нежно простился с ней, когда же, выходя, обернулся, то увидел, что она, еще недавно такая спокойная, глядит ему вслед, с трудом сдерживая слезы.

К тому времени красота Гэндзи достигла полного расцвета, и вряд ли у меня достанет слов... Ежели раньше он был, пожалуй, немного более худощав, чем следовало при сравнительно высоком росте, то теперь фигура его поражала удивительной соразмерностью. Осанка стала еще величественнее, лицо — нежнее, а движения — изящнее. Впрочем, вполне возможно, что госпожа Акаси была просто слишком пристрастна...

Тем временем появился тот самый Укон-но дзо-но куро-до, который был когда-то разжалован, а затем восстановлен в звании. Теперь он прозывался Югэи-но дзё, причем в этом году на него надели шапку придворного. Он неузнаваемо изменился, лицо его сияло довольством. Зайдя в покои, чтобы взять меч господина, он заметил за занавесями знакомую женскую фигуру и многозначительно сказал:

— Я вовсе не забыл прошлого, но следует помнить и о приличиях... Сегодня утром меня разбудил ветер, совсем как там, у моря... Но, увы, мне не с кем было передать даже письмо.

— О, среди этих далеких вершин, над которыми встают грядой восьмислойные облака (164, 165), не менее печально, чем «за тем островом...» (146). Когда же подумаешь: «как ни стара сосна...» (166), хочется, чтобы рядом был человек, не забывший тех давних дней, — ответила дама.

Но надо сказать, что этот ответ весьма разочаровал Югэи-но дзё, который рассчитывал совсем на другое — ведь в свое время он тоже имел вполне определенные намерения...

— Ну что ж, как-нибудь в другой раз... — резко сказал он и вышел.

Господин министр величественной поступью шел к карете, а передовые, суетясь, расчищали перед ним дорогу. Задние места в карете заняли То-но тюдзё и Хёэ-но ками.

— Досадно, что вам удалось раскрыть тайну моего пребывания в этом скромном убежище, — посетовал Гэндзи.

— А мы сокрушались, что, опоздав, не смогли прошлой ночью встретить с вами луну, поэтому сегодня утром и поспешили отыскать в тумане...

— Горы еще не покрылись парчой, зато полевые цветы в полном блеске своей красоты...

— Некоторые придворные, увлекшись соколиной охотой, отстали, и неизвестно, что с ними, — рассказывали ему.

— Что ж, тогда стоит провести еще один день в Кацура-но ин, — решил Гэндзи, и они отправились туда.

Появление неожиданных гостей вызвало сильнейшее волнение среди обитателей Кацура-но ин. Срочно послали за ловцами с бакланами*, которые, придя шумной толпой, живо напомнили Гэндзи рыбаков из Акаси. Скоро приехали и юноши, прошедшие ночь в лугах, и в свое оправдание поднесли Гэндзи привязанную к ветке хаги маленькую птичку. Чаша с вином много раз обходила пирующих, и они совсем захмелели, а как ехать вдоль реки в таком состоянии показалось опасным, решено было остаться в Кацура-но ин на ночь.

Гости один за другим слагали китайские стихи, а когда на небо выплыла яркая луна, дело дошло и до музыки. Из струнных в наличии имелись лишь бива и японское кото, зато флейтисты подобрались незаурядные. Когда они начали играть соответствующую времени года мелодию, ее подхватил дующий с реки ветер, и она зазвучала особенно пленительно. Луна поднялась высоко, казалось, это ее сияние сообщает всем звукам и предметам небывалую прозрачность и чистоту.

Когда стемнело, появились еще четверо или пятеро придворных. Они приехали прямо из Дворца, ибо, пожелав усладить свой слух музыкой, Государь изволил выразить недоумение по поводу отсутствия министра Двора:

— Сегодня кончается шестидневный пост, и он непременно должен быть во Дворце. Почему же его нет?

Узнав, что Гэндзи заночевал в Кацура-но ин, он изволил отправить ему письмо. Посланцем стал Куродо-но бэн.

«В селенье далеко
За рекой, приютившей сиянье
Чистой луны,
Тень от багряника лунного
Мир и покой сулит... * (167)

Завидую вам...»

Министр Гэндзи принес Государю свои извинения.

Надобно сказать, что даже во Дворце музыка не звучала так сладостно, как здесь, на берегу реки, и, воздавая ей должное, гости снова и снова передавали друг другу чашу с вином. Не имея с собой ничего, чем можно было бы одарить государевых гонцов, Гэндзи отправил посланного в дом у реки Ои:

— Не найдется ли у вас каких-нибудь пустяков?

И госпожа Акаси тут же прислала все, что сумела найти. Всего получилось два ларца с платьями, а как Куродо-но бэн должен был сразу же возвратиться во Дворец, ему пожаловали полный женский наряд.

Селенье в горах.
Хоть лунный свет и сулит
Имя его,
Днем и ночью стоит над ним
Ни на миг не светлея, туман... (167)

В песне можно было уловить намек на желание Гэндзи лицезреть Государя в Кацура-но ин.

— «Это селенье...» (167) — произнес Гэндзи, вспомнив остров Авадзи, и в памяти у него невольно всплыли слова Мицунэ, сказавшего когда-то: «Как сегодня близка...» (131)

Глядя на министра, многие плакали от умиления.

— Все вернулось,
Вновь мы здесь, и луна так близка,
Хоть дотронься рукою...
А ведь это она в Авадзи
Виделась бледно-далекой... (131) —

добавил Гэндзи, и То-но тюдзё ответил:

— В унылых тучах,
Затерявшись, исчез ненадолго
Лик светлой луны.
Еще миг — и он засияет,
Над безмятежным миром.

А вот что сказал Удайбэн, человек уже немолодой, когда-то бывший одним из самых близких и преданных приближенных ушедшего государя:

— Покинув давно
Заоблачную обитель,
Сиянье свое
В каком прячет ущелье
Полунощная луна?

Другие тоже излили свои чувства в песнях, но стоит ли приводить их здесь все до одной?

Судя по всему, министр Гэндзи был в прекрасном расположении духа, и можно было просидеть хоть тысячу лет, слушая его неторопливые рассказы, глядя на его красивое лицо. Так, пожалуй, и у топора успело бы сгнить топориче... Однако очень скоро Гэндзи сказал:

— Сегодня и в самом деле пора... — И все заспешили, собираясь в обратный путь.

Придворные, получив сообразные званию каждого дары, яркими пятнами мелькали в тумане, словно чудесные цветы вдруг расцвели по берегам пруда. Трудно представить себе более прекрасное зрелище. Среди спутников министра были известные своими талантами военачальники из Личной императорской охраны и выдающиеся музыканты. Некоторые из них, явно недовольные тем, что приходится уезжать, затаили вразнобой: «Этот конь...»*, и восхищенные слушатели, снимая с себя платья, накидывали им на плечи — казалось, будто ветер взметнул к небу разноцветную осеннюю парчу.

Наконец они выехали, и до отдаленной усадьбы у реки Ои долго доносились громкие крики передовых, вовлекая опечаленную разлукой госпожу в еще большее уныние. Министр же был огорчен тем, что не сумел даже написать ей на прощание.

Вернувшись домой, Гэндзи немного отдохнул, затем перешел в Западный флигель, дабы рассказать госпоже о своем путешествии в горы.

— Боюсь, что я пробыл там немного дольше, чем обещал вам при расставании. Молодые любители развлечений увязались за мной и вынудили задержаться. Ах, я так устал... — сказал он и лег почивать, будто и не заметив дурного настроения госпожи.

— Стоит ли так мучить себя из-за особы, положение которой несоизмеримо ниже вашего? — говорил он. — Вы должны помнить, что вы — это вы.

Вечером, собираясь во Дворец, Гэндзи, отвернувшись от госпожи, что-то поспешно написал на листке бумаги. «Очевидно, к той самой особе...» — сразу же догадалась она. Краем глаза ей удалось разглядеть, что письмо было полно самых нежных признаний. Прислужницы ее с трудом сдерживали негодование, видя, как господин шептал что-то гонцу, снаряжая его в путь.

Гэндзи предполагал провести эту ночь во Дворце, но, обеспокоенный дурным настроением супруги, вернулся, хотя и довольно поздно. Как раз в это время пришел гонец с ответом из Ои. Не имея возможности скрыть письмо от госпожи, Гэндзи тут же прочел его. А поскольку в нем не было ничего, что могло бы ее уязвить, сказал:

— Можете порвать его или выбросить. Это так утомительно... В моем возрасте не пристало раскидывать повсюду послания такого рода...

Потом он долго сидел, прислонившись к скамеечке-подлокотнику, и, молча глядя на огонь светильника, с любовью и нежностью вспоминал госпожу Акаси. Развернутое письмо лежало тут же, но госпожа делала вид, будто оно вовсе не интересует ее.

— Я боюсь за ваши глаза, — улыбнулся министр. — Очень трудно разглядеть что-то, притворяясь, будто не смотришь.

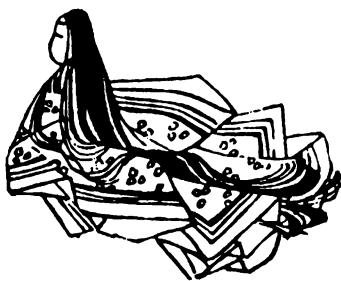
Его лицо сияло такой красотой, что в покоях словно стало светлее. Приблизившись к госпоже, Гэндзи сказал:

— Когда б вы знали, как прелестно это маленькое существо! Я уверен, что ее рождение было предопределено. Однако, даже если я открыто признаю девочку, воспитать ее будет не так-то просто. Откровенно говоря, я до сих пор не знаю, на что решиться. Постарайтесь поставить себя на мое место и помогите мне найти выход из этого положения. Что мы можем для нее сделать? Не считаете ли вы возможным воспитать ее здесь? Лет ей столько же, сколько было богу-пьявке*. Увидав ее невинное личико, я понял, что отказать от нее не смогу. В ближайшие дни я предполагаю надеть на нее хакама*, и если бы вы согласились взять на себя обязанности Завязывающей шнурки...

— В последние дни вы постоянно что-то скрывали от меня, как будто боялись, что я не способна понять... — улыбаясь, ответила госпожа. — Я же делала вид, будто ничего не замечаю... Ну, конечно, я постараюсь понравиться девочке. Это такой прелестный возраст!

Она очень любила детей и теперь только о том и помышляла, как бы побыстрее забрать девочку к себе и заняться ее воспитанием. Но Гэндзи по-прежнему терзался сомнениями. Стоит ли перевозить дочь в дом на Второй линии? Часто ездить в Ои он не мог. Он бывал там не более чем два раза за луну, в дни, когда в храме, построенном им в Сага, совершались положенные службы. Разумеется, это было лучше, чем встречаться на переправе* (168), и женщина вряд ли смела рассчитывать на большее, но все же могла ли она не печалиться?..





ТАЮЩЕЕ ОБЛАКО

Основные персонажи

Министр Двора (Гэндзи), 31–32 года

Госпожа Акаси, 22–23 года — возлюбленная Гэндзи

Госпожа из Западного флигеля (Мурасаки), 23–24 года — супруга Гэндзи

Монахиня — мать госпожи Акаси

Обитательница Восточной усадьбы (Ханатиурсато) — возлюбленная Гэндзи (см. главу «Сад, где опадают цветы»)

Великий министр — бывший тесть Гэндзи

Государь (император Рэйдзэй) — сын Фудзицубо и Гэндзи (официально — сын императора Кирицубо)

Вступившая на путь государыня (Фудзицубо), 36–37 лет

Принц Сикибукё (Момодзоно) — отец Асагао, брат императора Кирицубо

Гон-тюнагон, Дайнагон, Удайсё (То-но тюдзё) — брат Аои, первой жены Гэндзи

Омёбу — прислужница Фудзицубо

Нёго из Сливового павильона, бывшая жрица Исэ (Акиконому), 22–23 года — дочь Родкузё-но миясудокоро и принца Дзэмбо, воспитанница Гэндзи

ЗИМОЙ в доме у реки стало еще тоскливее, и, видя, что женщина совсем приуныла, Гэндзи предлагал снова и снова:

— Решайтесь же, наконец, и переезжайте поближе. Здесь вам нельзя больше оставаться.

Однако ее по-прежнему одолевали сомнения. Да, «в мире так много мест...» (169), сколько их не меняй, чувства его вряд ли изменятся. «Недалек тот день, когда он охладает ко мне, и тогда “что смогу я сказать” (170). Увы...»

— Что ж, раз так... Но дочь я не могу оставлять здесь. Надежды, которые я возлагаю на ее будущее, делают совершенно невозможным для нее дальнейшее пребывание в этой глуши. Госпожа из Западного флигеля узнала о ней и очень хочет ее видеть. Я хотел бы, чтобы девочка пожила какое-то время рядом с госпожой и привыкла к ней. После чего я намереваюсь открыто совершить обряд Надевания хакама.

Слова Гэндзи звучали весьма убедительно, к тому же госпожа Акаси давно уже догадывалась о его намерениях. И все же сердце ее мучительно сжалось.

— Боюсь, что, даже если отныне вы и будете обращаться с ней как с благородной особой, слух о ее происхождении не замедлит распространиться и еще больше повредит ей во мнении света, — говорила она. Разумеется, ей не хотелось отпустить дочь.

— Вам нечего бояться, никто не посмеет пренебречь ею. Госпожа из Западного флигеля крайне удручена тем, что у нее до сих пор нет детей. Даже бывшая жрица — а ведь она давно уже не дитя — удостоилась самых нежных ее попечений. Девочка же так мила, что пленит сердце каждого.

Желая склонить женщину на свою сторону, Гэндзи долго рассказывал ей о необыкновенных достоинствах госпожи из Западного флигеля. Еще в юные годы госпожа Акаси краем уха слышала, как люди судачили о Гэндзи, пытаясь угадать, какая женщина станет наконец его избранницей. И вот его попечения целиком сосредоточились на госпоже из Западного флигеля. Одно это говорило о том, что между их судьбами существовала давняя связь. Госпожа из Западного флигеля представлялась ей удивительной красавицей, обладающей всеми возможными добродетелями. «Велико же будет ее негодование, — думала госпожа Акаси, — если рядом с ней вдруг появится столь ничтожная особа, недостойная даже считаться ее соперницей». О нет, за себя она не боялась, но ведь будущее ее малолетней дочери в конечном счете зависело от госпожи из Западного флигеля. А раз так, лучше было и в самом деле отдать девочку теперь, пока она еще мало что разумела. Вот только что станет с ней самой, когда лишится она своей единственной отрады? Ведь и господину министру больше незачем будет приезжать сюда... Терзаемая бесконечными сомнениями, женщина снова и снова сетовала на злосчастную судьбу. Наконец, монахиня, особа весьма прорзорливая, сказала:

— Твое поведение неразумно! Я понимаю, как тяжело тебе расставаться с дочерью, но мы должны в первую очередь думать о ее благополучии. Ведь речь идет не о мимолетной прихоти. Мне кажется, ты должна отдать дочь господину министру и во всем положиться на него. Судьба детей, даже если речь идет о детях самого государя, в немалой степени зависит от положения их матери. Взять хотя бы господина министра — вряд ли в мире найдется человек, равный ему по достоинствам, и тем не менее он вынужден прислуживать во Дворце, как простой подданный. А все потому, что отец его матери, покойный Дайнагон, оказался немного ниже других рангом и министр имел несчастье быть сыном простой кои. О других людях и говорить нечего. Женщина может быть дочерью принца крови или министра, но, если семья ее матери утратила свое влияние в мире, ей не на что рассчитывать, все станут презирать ее, и даже сам отец будет обращаться с ней хуже, чем с осталь-

ными. Положение же твоей дочери тем более незавидно. Ведь если кто-то из благородных дам родит господину министру дочь, твою никто и взглядом не удостоит. В данном случае залогом достойного положения в будущем может быть только благосклонное внимание отца. Взять хотя бы церемонию Надевания хакама — как бы мы ни старались, разве удастся нам придать ей должный размах здесь, в горной глуши? Так что доверь воспитание дочери господину министру, а сама наблюдай за ней со стороны.

Госпожа Акаси поспешила прибегнуть к советам мудрых людей и к помощи гадалщиков, а поскольку все они единодушно заявили: «Переезд благоприятен для судьбы девочки», ей ничего не оставалось, как смириться. Министр же, уверенный в правильности принятого им решения, не торопил ее, понимая, как трудно ей расставаться с дочерью.

«Как предполагаете вы провести церемонию Надевания хакама?» — написал он ей однажды и получил такой ответ:

«Я хорошо понимаю, что нельзя оставлять девочку на попечение столь ничтожной особы, ибо это может оказать дурное влияние на ее будущее. Но я так боюсь за нее... Не станут ли смеяться над ней те, с кем придется ей жить?»

Это письмо растрогало Гэндзи до слез. Выбрав благоприятный день, он распорядился, чтобы потихоньку подготовили все необходимое для переезда. Как ни печалила госпожу Акаси предстоящая разлука, она утешала себя тем, что только такой ценой можно обеспечить дочери достойное положение.

Тяжело было расставаться и с кормилицей.

— Вот и ты меня покидаешь, — говорила госпожа Акаси. — Твое присутствие скрашивало мое одиночество и помогало рассеять тоску. Как я буду жить, когда у меня не останется и этого утешения?

— Видно, так уж было предопределено, — плача, отвечала кормилица. — Судьба столь неожиданно свела меня с вами, я никогда не забуду, как добры вы были ко мне все эти годы. Мне всегда будет не хватать вас. Не может быть, чтобы мы больше никогда не встретились. О, если б вы знали, в какое отчаяние приводит меня мысль о скорой разлуке! Отныне мне придется жить в совершенно незнакомом месте, среди чужих людей! И хотя я верю, что когда-нибудь...

Так, плача, они коротали дни, и вот настала Двенадцатая луна.

Часто шел снег или град, и в Ои с каждым днем становилось тоскливее. «О, за какие прошлые деяния досталась мне столь горестная судьба?» — вздыхала женщина. Целыми днями она только и делала, что наряжала свою маленькую дочь, расчесывала ей волосы...

Однажды утром, когда над головой нависло темное небо и сплошной стеной валил снег, женщина долго сидела, погрузившись в нескончаемые размышления о прошедшем и о грядущем. Сегодня вопреки обыкновению она устроилась у самого порога и задумчиво смотрела на покрытую льдом реку. На ней было несколько мягких белых платьев, надетых одно на другое. Глядя на ее застывшую в печальной неподвижности фигуру, изящно склоненную голову, струящиеся по спине волосы, прислужницы невольно думали, что их госпожа прекраснее любой высокородной особы. Отирая слезы, госпожа Акаси вздыхала:

— Можно себе представить, как тоскливо здесь будет в такую погоду потом...

Снег идет и идет.
Исчезают под белым покровом
Горные тропы.
Все равно буду ждать я вестей,
Верю, наша связь не прервется... —

говорила она, и кормилица, пытаясь утешить ее, отвечала, плача:

— Пусть придется искать
Мне тебя в горах Ёсино,
Заваленных снегом,
Сердце дорогу найдет, и связь
Не прервется меж нами... (171)

Не успел растаять снег, как приехал министр. Он всегда был для госпожи Акаси желанным гостем, но сегодня от мысли: «Вот и настала пора...» — у нее больно сжалось сердце. Впрочем, могла ли она кого-то винить? «В конце концов все зависит от меня. Если я откажусь, ее вряд ли увезут насильно. О, как нелепо вышло...» — думала она, но противиться намерениям Гэндзи теперь было более чем легкомысленно, и она постаралась взять себя в руки.

Девочка, нарядно одетая, сидела перед матерью, и, глядя на ее прелестное личико, никто не усомнился бы в том, что ей уготована необычная судьба.

С нынешней весны ей начали отрачивать волосы, и теперь, достигнув длины, принятой у монахинь, они блестящей волной падали ей на плечи. Ее глаза, нежные очертания щек были так хороши, что я просто не берусь их описывать.

Гэндзи до самого рассвета не отходил от госпожи Акаси, снова и снова пытаясь ее утешить, ибо хорошо понимал, в какой беспросветный мрак подвергает ее необходимость отдать свое дитя в чужие руки.

— О чем мне печалиться? Если вы станете воспитывать ее так, словно происхождение ее не столь уж и ничтожно... — говорила женщина, но невольные слезы навертывались у нее на глазах, и сердце Гэндзи разрывалось от жалости.

Девочка же только и думала о том, как бы побыстрее уехать. Мать сама вынесла ее на галерею и подошла к тому месту, где стояла карета. Нетерпеливое дитя тянуло ее за рукав, милым своим голоском лепеча: «Ну садись же скорее...» Невыносимая боль пронзила сердце женщины.

— Росточку сосны
Еще долго расти-тянуться.
Отсадили его,
Суждено ли увидеть мне тень
От ветвей, взметнувшихся ввысь? —

Не сумев договорить, она зарыдала, и, понимая, как велико должно быть ее горе, Гэндзи сказал, желая ее утешить:

— От глубоких корней
 Возрос этот малый росточек.
 Так пусть его век
 Будет долгод — под стать вековечным
 Соснам из Такэкума*. (172)

Вам следует набраться терпения...

«Увы, он прав», — подумала женщина, тщетно пытаясь успокоиться.

Кормилица села в одну карету с весьма изящной особой по прозванию Сёсё, взяв с собой охранительный меч и священных кукол*. Усадив в кареты самых миловидных дам и девочек-служанок, госпожа Акаси отправила их провожать маленькую госпожу. Все время, пока они ехали, Гэндзи, вспоминая, в каком горе оставил он несчастную мать, не мог избавиться от мысли, что обременил свою душу преступлением, за которое ему придется когда-нибудь расплачиваться.

На Вторую линию прибыли уже в сумерках. Когда кареты приблизились к дому, провинциальные дамы были настолько поражены его великолепием, что невольно подумали: а не слишком ли мы ничтожны, чтобы жить здесь? Так, никогда еще не видывали они подобной роскоши! Для маленькой госпожи были приготовлены отдельные покои в западной части дома. Нарочно для нее там собрали изящную детскую утварь. Кормилицу же поселили в северной части западной галереи.

По дороге девочка заснула. Она не плакала, когда ее вынесли из кареты и с удовольствием отведала сладостей в покоях у госпожи, но, озираясь вокруг, постепенно обнаружила, что матери рядом нет, и очень мило сморщилась, собираясь заплакать. Пришлось позвать кормилицу, чтобы она утешила и отвлекла ее.

Представляя себе, сколь тоскливо стало теперь в горном жилище, Гэндзи жалел несчастную мать: «Каково ей там одной?» Но глядя, как заботливо ухаживает за девочкой госпожа Мурасаки, с удовлетворением думал о том, что отдал дочь в надежные руки. И все же не переставал сокрушаться: «О, зачем она не родилась здесь? Тогда бы ее ни в чем нельзя было упрекнуть».

Попав в непривычное окружение, девочка первое время дичилась и плакала, но, обладая чрезвычайно ласковым, приветливым нравом, постепенно привязалась к госпоже, которая радовалась: «Что за чудесный подарок я получила!» Не имея других забот, она все время проводила со своей юной питомицей, носила ее на руках, играла с ней. Естественно, что и кормилица быстро привыкла к госпоже. Кроме этой кормилицы наняли еще одну, принадлежавшую к весьма благородному семейству.

Нельзя сказать, чтобы к церемонии Надевания хакама готовились как-то особенно, и все же она прошла с невиданным доселе размахом. Нарочно для этого случая была заказана изящная, миниатюрная утварь, словно предназначенная для игры в куклы. Множество гостей собралось в тот день в доме на Второй линии, но, поскольку здесь и в другое время было весьма многолюдно, это не казалось удивительным. Вот только маленькая госпожа с завязанными на груди шнурками хакама была прелестнее обыкновенного.

Тем временем в далеком Ои госпожа Акаси, бесконечно тоскуя по дочери, корила себя за опрометчивость, чем лишь усугубляла свои страдания.

Старая монахиня, словно забыв о том, что говорила прежде, тоже плакала целыми днями, хотя внимание, окружавшее ее внучку в доме министра, не могло не радовать ее.

Какими же дарами отметили они этот день? Госпожа Акаси ограничилась тем, что отправила необычной расцветки платья для прислуживающих девочке дам и, в первую очередь, для кормилицы.

В оставшиеся дни года Гэндзи еще раз тайком наведася в Ои. Ему не хотелось огорчать госпожу Акаси, а он знал, что, не видя его долго, она непременно станет думать, что сбываются ее худшие предчувствия. Впрочем, он часто писал к ней, хорошо понимая, как тяжело ей жить в этом печальном жилище теперь, когда даже радостные заботы о дочери не скрашивают ее унылого существования. Госпожа из Западного флигеля тоже больше не сердилась. Прелестное дитя заставило ее примириться с существованием соперницы.

Скоро год сменился новым. Стояли светлые теплые дни, и в жизни Гэндзи не было печалей. В великолепно украшенном доме на Второй линии царило праздничное оживление. Почтенные сановники один за другим подъезжали в каретах, дабы принять участие в торжествах по случаю Седьмого дня. Юноши из знатных семейств были беззаботны и веселы. Остальные, может быть, имели печали на сердце, но лица их сияли довольством и спокойной уверенностью в себе. Таковы были эти воистину благословенные времена.

Особа, поселившаяся в Западном флигеле Восточной усадьбы, жила тихо и безмятежно, ни в чем не испытывая нужды; право, о лучшем она и мечтать не смела. Единственной ее заботой было следить за наружностью и манерами прислуживающих ей дам и девочек-служанок. Словом, она постоянно ощущала преимущество близкого соседства со своим покровителем. Сам же он время от времени навещал ее, но никогда не оставался в ее покоях на ночь. Впрочем, женщина была так кротка и мягкосердечна, что и не думала обижаться. «Видно, таково мое предопределение», — вздыхала она, неизменно оставаясь добродушной и приветливой, поэтому Гэндзи никогда не пренебрегал ею и во всех случаях, когда того требовали приличия, оказывал ей внимание, ничуть не меньшее, чем самой госпоже Мурасаки. Очевидно, поэтому люди охотно шли к ней в услужение, дамы-распорядительницы неумолимо надзирали за порядком, так что во многих отношениях в Восточной усадьбе жилось даже спокойнее и безмятежнее, чем в доме на Второй линии.

Гэндзи ни на миг не забывал о женщине, тоскующей в Ои, и, как только кончилась хлопотливая пора*, собрался ее навестить.

Одевшись особенно тщательно — на нем было носи цвета «вишня», из-под которого виднелось несколько прекрасно подобранных по оттенкам и пропитанных благовониями нижних одеяний, — он зашел попрощаться с госпожой.

Освещенный яркими лучами вечернего солнца, Гэндзи кажется прекраснее обыкновенного, и, провожая его взглядом, госпожа чувствует, как тревожно сжимается ее сердце.

Девочка в простоте душевной цепляется за подол его платья, не отставая ни на шаг. Видя, что она готова следовать за ним и дальше, Гэндзи останавли-

вается и, с умилением на нее глядя, произносит, желая ее утешить: «Завтра утром к тебе я вернусь...»*

У выхода на галерею его поджидает госпожа Тюдзё с посланием от госпожи Мурасаки.

— Если лодку твою
В том далеком краю не сумеет
Никто задержать,
Завтра, быть может, вернешься,
Что ж, подожду, посмотрю... —

умело произносит Тюдзё, а Гэндзи, светло улыбнувшись, отвечает:

— Уезжаю теперь,
Чтобы завтра вернуться снова,
Даже если меня
Станут корить за поспешность
Там, в далеком краю...

Девочка, ничего не понимая, беззаботно резвится, и, любуясь ею, госпожа забывает о своей неприязни к далекой сопернице. «Как же ей, должно быть, тяжело теперь, — думает она, не отрывая взгляда от милой малютки. — Ведь даже я тосковала бы...»

Взяв девочку на руки, она, забавляясь, пытается всунуть сосок своей прелестной груди в ее ротик — воистину восхитительное зрелище! Сидящие рядом дамы вздыхают:

— Ну не обидно ли?

— Увы, таков мир...

В доме у реки царила тишина, все вокруг — и сад, и убранство покоев — носило на себе отпечаток тонкого вкуса его обитательницы. Само здание, разительно отличавшееся от столичных, привлекало своеобразной красотой, а в женщине было столько благородства, что, встречаясь с ней, Гэндзи каждый раз поражался тому, как трудно, почти невозможно уловить различие между ней и какой-нибудь высокороденной особой. Наружность ее, равно как и манеры, была безупречна, а если учесть, что с годами в ней обнаруживались все новые и новые достоинства... Вместе с тем легко могло стать, что она разделила бы участь многих ей подобных, случайно удостоившихся внимания Гэндзи — право, разве мало таких? — хотя происхождение ее вовсе не было столь уж незначительным. И когда б не чудачества ее отца...

Слишком кратки были их мимолетные встречи, и, возможно, поэтому Гэндзи всегда покидал ее с тяжелым сердцем.

— Увы, наш мир — «не плавучий ли, зыбкий мост сновидений?» (173) — вздохнул он. Придвигая к себе кото «со», Гэндзи, как это часто бывало в таких случаях, вспомнил ту давнюю ночь в Акаси и предложил женщине бива. Она немного поиграла, вторя ему. «Откуда такое мастерство?» — снова восхитился Гэндзи.

Разумеется, он подробно рассказал ей о дочери.

В этом горном жилище было довольно уныло, но Гэндзи почти всегда оставался здесь на ночь и вкушал подаваемое ему дамами немудреное угощение, состоявшее обыкновенно из плодов и риса. Отправляясь сюда, он

говорил домашним, что едет в расположенный поблизости храм или усадьбу Кацуро-но ин. И, хотя краткость встреч не располагала к особенной близости, он был неизменно внимателен и любезен, явно выделяя госпожу Акаси среди прочих. Одно это говорило о том, сколь необычное место занимала она в его сердце. Убедившись в постоянстве своего покровителя, женщина успокоилась и зажила тихой, размеренной жизнью. Она старалась во всем угождать Гэндзи, была покорна его воле и вместе с тем никогда не унижалась перед ним — одним словом, вела себя так, что он ни в чем не мог ее упрекнуть.

По доходившим до нее слухам госпожа Акаси знала, что даже в присутствии благородных особ Гэндзи никогда не позволяет себе забывать о приличиях и держится крайне церемонно, куда церемоннее, чем в ее доме. «Если я соглашусь войти в число приближенных к нему дам, — думала она, — он еще больше привыкнет ко мне, привыкнув же, охладает, и я стану предметом насмешек и оскорблений». Так рассуждая, госпожа Акаси предпочла остаться в отдалении и довольствоваться редкими посещениями Гэндзи.

Несмотря на все сказанное им при расставании, Вступивший на Путь то и дело присылал в столицу гонцов, проявляя немалый интерес к нынешним обстоятельствам жизни дочери. Иногда полученные известия удручали его, иногда радовали, заставляя сознавать, сколь велика оказанная ему честь.

Тем временем скончался Великий министр. Много лет подряд был он опорой мира, и все, начиная с Государя, оплакивали эту утрату. Даже когда совсем ненадолго отошел он от дел, Поднебесная пришла в волнение, а теперь... О да, многие скорбели, вспоминая о нем, и в первую очередь Гэндзи. Помимо горя испытывал он и крайнюю озабоченность, ибо если раньше, перепоручая Великому министру многие дела, имел довольно досуга, то теперь все бремя государственных дел легло на его плечи. Разумеется, Государь был разумен не по годам, и ничто не мешало доверить ему правление миром, однако рядом не оказалось человека, достойного стать Высочайшим попечителем. Поэтому, не зная, кому передать свои обязанности, Гэндзи с сожалением думал о том, что теперь ему будет еще труднее удовлетворить свое давнишнее желание.

В поминальных обрядах он принимал даже более деятельное участие, чем сыновья и внуки ушедшего.

Тот год был ознаменован всяческими несчастьями. Во Дворце стало неспокойно, и у людей рождались самые мрачные предчувствия. Немало происходило воздушных и небесных явлений, приводивших всех в ужас: то луна, солнце и звезды начинали сверкать устрашающим блеском, то на небе возникали какие-то причудливые облака. В сведениях, представляемых Государю различными предсказателями, содержалось много непонятного и зловещего. Один лишь министр Двора догадывался о причинах, и тревожные мысли неотступно преследовали его...

Вступившая на путь государыня уже с весны испытывала некоторое недомогание, а поскольку на Третью луну ее состояние резко ухудшилось, решено было провести церемонию Высочайшего посещения.

Когда уходил из мира его отец, Государь по малолетству своему многого не понимал, теперь же такая глубокая скорбь отражалась на лице его, что у государыни больно сжималось сердце.

— Я давно знала, что вряд ли переживу этот год, — слабым голосом говорила она. — Но поскольку состояние моего здоровья не внушало опасений, не стала заказывать дополнительных молебнов, тем более, что, показывая свою осведомленность о сроках собственной жизни, неизбежно навлекла бы на себя попреки и подозрения. Я много раз собиралась навестить во Дворец, дабы спокойно побеседовать с вами о былых днях, но, к сожалению, мое самочувствие редко бывает достаточно хорошим. И я в унынии влачу дни...

В том году ей исполнилось тридцать семь лет, но казалась она совсем молодой, словно только что приблизилась к расцвету. Глядел на нее Государь, и сердце его разрывалось от жалости и печали. «В нынешнем году ей следовало вести себя особенно осторожно*, а я, как ни тревожило меня ее постоянное недомогание, все же не сумел настоять на том, чтобы были приняты чрезвычайные меры...» — сокрушался он и, словно желая наверстать упущенное, заказывал новые и новые молебны.

Весьма обеспокоен был и министр Гэндзи, который до сих пор не придавал особенного значения состоянию государыни, зная, что в последнее время ей довольно часто нездоровилось.

Время Высочайшего посещения ограничено, и скоро Государь собрался уезжать. Печально было у него на душе. Измученная болями, государыня почти не могла говорить, в голове же у нее теснились тягостные мысли. «Высоким оказалось мое предопределение, — думала она, — ни одна женщина в мире не была окружена большей славой, но и страданий таких не выпадало на долю никому».

Ее мучения усугублялись полным неведением Государя, которому и не пригрезилось ни разу... Глядя на него, она не могла избавиться от ощущения, что ее душе суждено быть вечно привязанной к этому миру.

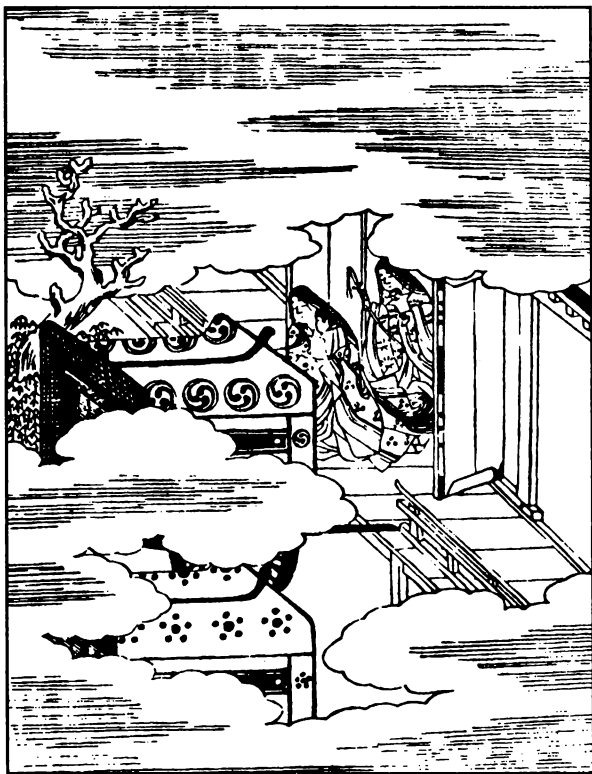
Министр, о пользе государства радеющий, скорбел и о том, что один за другим уходят люди, столь необыкновенными достоинствами отмеченные. Имея, кроме того, свои тайные причины для тревоги, он заказывал все молебны, которые только можно было заказать. Мысль о том, что ему никогда больше не удастся поговорить с государыней о давно преданных забвению чувствах, показалась Гэндзи невыносимой и, приблизившись к стоящему перед ее ложем занавесу, он стал расспрашивать прислужниц о состоянии госпожи. Прислуживали ей самые близкие дамы, и отвечали они весьма обстоятельно.

— Все эти луны госпожа испытывала постоянное недомогание, но ни на миг не забывала о молитвах. Должно быть, именно это и подорвало ее силы...

— В последнее время она отказывается даже от самой легкой пищи, на плоды «кодзи»* и то смотреть не хочет. Похоже, что надеяться больше не на что, — жаловались они, обливаясь слезами.

— Я всегда была искренне признательна вам за то, что, выполняя волю покойного отца, вы неустанно печетесь о благе Государя, и лишь терпеливо ждала случая, чтобы высказать вам свою благодарность. И теперь мне так жаль...

Она говорила совсем тихо, и Гэндзи с трудом разбирал слова. Не имея сил отвечать, он молча плакал, и больно было смотреть на него.



«Нельзя поддаваться слабости!» — спохватился он наконец, подумав, что своим видом может внушить подозрения окружающим, но слишком велико, поистине беспредельно, было его отчаяние. Право, даже если бы он никогда не испытывал по отношению к государыне ничего, кроме самого обыкновенного дружелюбия, он вряд ли остался бы теперь равнодушным. Но, увы, жизнь неподвластна человеческой воле, и не было средств удержать ее в этом мире.

— Возможности мои не так уж и велики, но я всегда старался делать все, что в моих силах, дабы Государю было на кого опереться. Я еще не успел оправиться от тяжелого удара, каким стала для меня кончина Великого министра. А если и вы... Все мои чувства в смятении, боюсь, что мне тоже недолго осталось жить в этом мире.

Не успел Гэндзи договорить, как ее не стало — словно погас светильник. Право, можно ли описать его горе словами?

Даже среди особ, которые вправе называться благородными, государыня выделялась истинно всеобъемлющей душевной чуткостью. Бывает так, что люди влиятельные, используя свое положение в мире, невольно становятся причиной несчастий других людей, но государыню никак нельзя было в том упрекнуть: она избегала всего, что могло стеснить окружающих ее людей или иметь следствием какие бы то ни было лишения или беды. В мире всегда, начиная с мудрых веков древности, находились люди, стремившиеся

превзойти друг друга в роскоши и необычности пожертвований в храмы. Государыня же, не имея к тому склонности, просто предоставляла на храмовые нужды определенную часть унаследованного ею имения, ежегодного жалованья, приношений, доходов с поместий и прочих средств, которыми она располагала. Пожертвования эти свидетельствовали о подлинной глубине ее помышлений. Поэтому даже самые невежественные горные монахи оплакивали ее.

Когда совершались погребальные обряды, стенания стояли по всему миру, и не было никого, кто не предавался бы горю. Придворные облачились в однообразные черные одеяния. Так, последние дни весны редко бывают столь безрадостны.

Глядя на вишни, цветущие перед домом на Второй линии, Гэндзи вспоминал тот давний праздник цветов.

— «Хоть этой весною...» (174) — прошептал он, ни к кому не обращаясь, и, укрывшись от любопытных взглядов в молельне, проплакал весь день напролет. Верхушки деревьев, растущих на гребне гор, четко вырисовывались в ярких лучах вечернего солнца, над ними тянулись легкие серые облака. Этот пейзаж, прежде ничем не привлекавший бы внимания Гэндзи, сегодня показался ему исполненным особенного, печального очарования.

— Над вершиной горы
В лучах заходящего солнца
Облако тает.
Оно такого же цвета
Как скорбное платье мое...

К сожалению, рядом не оказалось никого, кто мог бы услышать эти слова.

Давно отслужили поминальные молебны, а Государь был по-прежнему безутешен.

Некий монах Содзу начал прислуживать во Дворце еще тогда, когда мать ушедшей государыни носила звание государыни-супруги. С тех пор и поныне он был неизменным наставником высочайшего семейства в молитвах. Снискав чрезвычайное уважение и доверие покойной государыни и пользуясь особым благоволением Государя, монах этот не раз служил по их поручению торжественные молебны и слыл в мире мудрейшим старцем. Лет ему было около семидесяти, и последнее время он жил в горах, отдавая дни заботам о грядущем, но ради государыни решился нарушить свое уединение, и теперь Государь не желал отпускать его от себя. А поскольку и министр уговаривал его вспомнить прошлое и вернуться на службу во Дворец хотя бы на некоторое время, монах согласился, говоря:

— Боюсь, что не под силу мне теперь исправлять должность ночного монаха, но, понимая, сколь велика оказанная мне честь, и помня о милостях ушедшей государыни...

Однажды в тихий рассветный час, когда те, кто прислуживал Государю ночью, уже разошлись, а другие еще не пришли, монах Содзу, по-стариковски покашливая, беседовал с Государем о различных делах этого мира.

— Есть один предмет, которого я предпочел бы не касаться в разговоре с вами, — сказал он между прочим, — тем более что откровенность в подобных случаях может быть расценена как нечто греховное. Я долго коле-

бался, прежде чем решился заговорить об этом. Однако же, оставив вас в неведении, я обременил бы себя еще более тяжким преступлением*, и одна мысль о грозном взоре небес... Вправе ли я уйти из мира, так и не поделившись с вами тем, что давно уже терзает мою душу? Боюсь, что тогда и Будда сочтет меня недостаточно чистым...

Тут голос его прервался, и он замолчал: «О чем это он? — подумал Государь. — Быть может, какая-нибудь обида привязывает его к этому миру? Горько сознавать, что даже почтенный наставник, заслуживший имя мудрейшего старца, не сумел очистить сердце от злобы и мстительности, несовместимых с его званием».

— С малых лет я ничего не скрываю от вас, — сказал Государь, — и предпочел бы, чтобы у вас тоже не было от меня тайн.

— Смее ли я иметь тайны? Я открывал перед вами даже сокровенные пути Истинного слова*, столь ревностно охраняемые Буддой. Так мог ли я оставить закрытым собственное сердце? То, о чем я хочу поведать вам, чрезвычайно важно как для прошлого, так и для будущего. Соккрытие этой тайны может иметь последствия куда более губительные, чем ее оглашение, — как для ушедших государя и государыни, так и для министра, вершащего ныне дела правления.

Я уже стар и не страшусь немилости. Такова воля Будды, чтобы я рассказал вам все.

О, Государь, да будет вам известно, что, имея вас в утробе своей, государыня томилась от какой-то тайной горести и беспрестанно понуждала меня творить молитвы... И тому были причины. Разумеется, бедный монах не мог знать всего... Когда неожиданные беды обрушились на наш мир и министр, обвиненный безвинно, попал в опалу, государыня, объятая страхом, призвала меня для новых молитв. Видно, слух о том дошел до министра, и он, в свою очередь, изволил распорядиться о дополнительных молебнах, которые служили все время, пока вы не взошли на престол. Причиною же тому...

Вysłушав обстоятельный рассказ монаха, Государь долго молчал, раздираемый множеством мучительных ощущений. Изумление, ужас, горечь — все перемешалось в его сердце. Решив, что прогневал его своими дерзкими речами, монах хотел было потихоньку удалиться, но Государь остановил его.

— А ведь я мог так никогда и не узнать... Какое страшное наказание ждало бы меня в будущем! Право же, я готов пенять вам скорее за то, что вы до сих пор молчали. Неужели кому-то еще известны эти обстоятельства?

— Об этом не знает никто, кроме меня и госпожи Омёбу. Тем больше было у меня оснований тревожиться, ибо очевидно, что все эти небесные явления, предвещающие недоброе, порождаящие в мире тревогу и страх, связаны с тем, о чем я осмелился вам поведать. Ничего подобного не происходило, пока вы были ребенком, не способным проникать в душу вещей. Но стоило вам повзрослеть, как небеса стали открыто выказывать свой гнев. Так, каждому новому поколению суждено расплачиваться за грехи предыдущего. Опасаясь, что вы не сумеете угадать причину обрушившихся на страну бедствий, я решился извлечь из глубин своей памяти эту старую историю, которую старался забыть, — плача, говорил монах. На рассвете он уехал.

«Уж не пригрезилось ли мне все это?» — подумал Государь. Услышанное повергло его в сильнейшее замешательство. Он не мог избавиться от тревоги за судьбу ушедшего Государя и одновременно чувствовал себя виноватым перед министром, который прислуживал ему словно простой подданный. Истерзанный мучительными раздумьями, Государь не вышел из опочивальни даже тогда, когда солнце поднялось совсем высоко.

О том немедленно доложили министру Двора и, встревоженный, он поспешил во Дворец. Однако, завидя его, Государь не сумел сдержать волнения, и слезы заструились у него по щекам. «Видно, все эти дни и ночи оплакивал ушедшую...» — подумал Гэндзи.

В тот день во Дворец принесли весть о недавней кончине принца Сикибукё, и с этим новым ударом Государь утратил последний остаток сил.

Стечение столь горестных обстоятельств вынудило Гэндзи остаться во Дворце. Неторопливо беседуя с ним, Государь сказал между прочим:

— Боюсь, что и мой жизненный срок близится к концу... С недавнего времени меня неотвязно преследуют мрачные мысли, да и здоровье оставляет желать лучшего. Я уже не говорю о бедствиях, потрясающих Поднебесную... До сих пор я молчал, не желая огорчать государыню, но, признаюсь, я с радостью сменил бы свой нынешний образ жизни на более спокойный.

— Об этом не может быть и речи. Тревожные явления, в мире происходящие, отнюдь не всегда бывают связаны с тем, правильно или неправильно вершатся государственные дела. Даже мудрые века древности нередко ознаменованы были всяческими несчастьями. Достаточно сказать, что в Китае при самых совершенных государях страну потрясали порой неожиданные волнения и смуты. Случалось такое и у нас. А уж тем более не стоит приходить в отчаяние из-за того, что уходят те, чей жизненный срок оказался исчерпанным, ведь человек не вечен.

Гэндзи долго беседовал с Государем, но все это не женского ума дело, и мне, право, неловко касаться таких вещей...

Государь, облаченный в более скромное, чем обычно, черное платье, был истинным подобием Гэндзи. Он и прежде, разглядывая себя в зеркале, обращал внимание на это сходство, теперь же после всего услышанного особенно пристально всматривался в лицо министра, испытывая при этом волнение, ранее ему не ведомое.

«Как бы намекнуть ему?» — терзался Государь, но, так и не сумев преодолеть юношеской застенчивости — дело ведь было крайне щекотливое, — продолжал говорить о самых обыкновенных предметах. Вот только голос его звучал как-то особенно ласково. От пронизательного взора министра не укрылась несколько повышенная почтительность, сквозящая в тоне, каким говорил Государь, но, как ни велико было его недоумение, ему и в голову не приходило, что Государь теперь знает все.

У Государя возникло было намерение обратиться за подробностями к Омёбу, но, поразмыслив, он счел более правильным даже ей не показывать виду, что ему открылась столь долго и столь тщательно хранимая государыней тайна, а как бы невзначай завести о том разговор с министром и заодно выяснить, бывали ли такие случаи в прежние времена. Однако обстоятельства не благоприятствовали Государю, и осуществить задуманное не удавалось.

Прочитав великое множество ученых книг, он обнаружил, что история Китая знает немало подобных случаев, как явных, так и тайных. В Японии же, судя по всему, такого еще не бывало, а если даже когда-нибудь и случилось нечто подобное, ревностно оберегаемые тайны никогда не становились достоянием молвы. Немало нашел он примеров тому, как отпрыски высочайшего семейства, причисленные к роду Минамото и получившие звания советников или министров, по прошествии некоторого времени становились принцами крови, причем иные даже восходили на престол.

Вправе ли он передать свое звание министру под предлогом его необычайной мудрости? Неизъяснимо тяжело было у Государя на сердце, и он совершенно лишился покоя. В конце концов, приняв самостоятельное решение сделать Гэндзи во время Осеннего назначения Великим министром, Государь изволил поделиться с ним своими замыслами, но Гэндзи, пораженный и смущенный, ответил решительным отказом.

— Покойный Государь, благоволивший ко мне более, чем к остальным сыновьям, тем не менее не допускал и мысли о том, чтобы передать мне престол. Могу ли я, воспротивившись его желанию, позволить себе подняться на неподобающую мне высоту? Нет, исполняя его волю, я буду по-прежнему прислуживать высочайшему семейству, а состарившись, уйду на покой и посвящу себя служению Будде.

Видя, что поколебать его решимость не удастся, Государь не мог скрыть огорчения. Он настаивал на своем намерении присвоить Гэндзи звание Великого министра, но тот и это назначение счел преждевременным, поэтому Государю пришлось ограничиться повышением его в ранге и предоставлением ему права въезда на территорию Дворца в запряженной быками карете*. Разумеется, все это ни в коей мере не удовлетворило Государя, и он решил пожаловать Гэндзи хотя бы званием принца крови, мико, однако Гэндзи и на этот раз отказался. В самом деле, в настоящее время никто, кроме него, не мог взять на себя обязанности Высочайшего попечителя, а поскольку Гон-тюнагон недавно стал дайнагоном, будучи одновременно произведен в чин удайсё, можно было надеяться, что следующее повышение позволит Гэндзи передать ему дела правления, а самому удалиться на покой. Снова и снова мысли Гэндзи возвращались к Государю, и сочувствие к его тайным страданиям соединялось в его сердце с жалостью к ушедшей государыне. «Кто же открыл ему эту тайну?» — недоумевал он.

Омёбу была назначена главной хранительницей Высочайшего ларца и переехала во Дворец, где ей выделили покои, сообразные ее новому званию. Гэндзи решил встретиться с нею.

— Может быть, государыня все-таки открылась Государю? — спросил он, но Омёбу ответила:

— О нет, этого не могло случиться. Покойную государыню всегда терзал страх, что Государь вдруг проникнет в ее тайну, хотя не менее мучительна была мысль о его неведении, побуждающем к поступкам, которые считаются в мире греховными.

Ее слова живо напомнили Гэндзи о том, как предусмотрительна была государыня, и сердце его снова защемило от тоски.

Как Гэндзи и предполагал, бывшая жрица, имевшая теперь звание нёго, прекрасно справлялась со своими обязанностями при Государе и сумела за-

служить его полное доверие. Обладая безупречной наружностью и прекрасными манерами, она ничем не обманула ожиданий министра, и он окружил ее самыми нежными заботами.

Осенью нёго переехала в дом на Второй линии. Поселив ее в роскошно убранных покоях главного дома, Гэндзи ухаживал за ней, словно настоящий отец.

Однажды, когда после тихого осеннего дождя разноцветье сада сверкало росой, на Гэндзи нахлынули воспоминания о минувшем, и с увлажнившимися рукавами он прошел в покои нёго.

Облаченный в темно-серое носи, с прикрытыми рукавом четками — под предлогом обрушившихся на страну бедствий, он продолжал поститься, — Гэндзи был так прекрасен, что сколько ни гляди, не наглядишься. Нёго беседовала с ним сама, без посредников, их разделял лишь переносной занавес.

— Вот и осенние цветы распустились все до одного. Как трогательно, что даже в столь злосчастном году они не забывают беззаботно расцветать, каждый в свое время... — говорит Гэндзи. Он сидит, прислонившись к столбу, невыразимо прекрасный в лучах вечернего солнца. Дав волю воспоминаниям, Гэндзи рассказывает нёго об ушедших в прошлое днях, о том печальном рассвете, когда так не хотелось ему покидать Священную обитель на равнине... Да, тогда все вокруг казалось ему исполненным такого удивительного, печального очарования...

Из-за занавеса доносится легкий шорох, позволяющий предположить, что женщина тоже взволнована и плачет. Уж не потому ли, что «стоит вспомнить»?.. (175) Восхищенный пленительной грацией ее движений, Гэндзи — дурно, не правда ли? — сожалеет лишь об одном: что ему так и не удалось увидеть ее лица.

— В беззаботные времена моей юности, — говорит он, — я отличался весьма пылким нравом, доставлявшим мне немало мучений. Много раз терял я голову из-за женщин, которых не имел права любить. Две из них до сих пор владеют моими думами, повергая сердце в бездну уныния.

Первая — ваша ушедшая матушка. До конца своих дней я буду терзаться из-за того, что она покинула этот мир, так и не простив меня. Я нахожу некоторое утешение в заботах о вас, но неугасимый огонь ее ревности тревожит меня и теперь.

Судя по всему, о второй женщине он предпочел умолчать.

— В последнее время стали сбываться мечты, которые лелеял я в те давние годы, когда, лишенный чинов и званий, прозябал в глуши. Взять хотя бы особу, живущую в Восточной усадьбе. Меня всегда мучила ее беспомощность, теперь же я за нее спокоен. Приветливый нрав помог ей не только сохранить мою привязанность, но и снискать расположение окружающих, и ничто не омрачает ныне ее существования. Нельзя сказать, чтобы меня так уж радовала возможность вернуться к столичной жизни и стать попечителем высочайшего семейства. Мне нелегко отказаться от прежних слабостей. Вы и вообразить не можете, какого самоотречения потребовало от меня решение распорядиться вашей участью именно таким образом. Я буду весьма разочарован, ежели не услышу от вас ни единого слова сочувствия.

Но нёго молчит, явно недовольная его словами.

— Что ж, остается только подосадовать... — сетует Гэндзи и переводит разговор на другое.

— О как желал бы я прожить в покое остаток своих дней, чтобы никакие сожаления не омрачали душу, чтобы, удалившись от мирской суеты, можно было целиком посвятить себя заботам о грядущем. И все же обидно, что от этого мира у меня не останется ничего, достойного воспоминаний. Есть у меня малолетняя дочь весьма незначительного происхождения, и я с нетерпением жду, пока она вырастет. Боюсь, что вы сочтете мою просьбу слишком дерзкой, но я был бы вам крайне признателен, если бы вы взяли на себя заботы о том, чтобы упредить ее положение в будущем, открыв таким образом перед моим родом дорогу к процветанию.

В ответ нёго произносит всего несколько слов. Ее робкий, еле слышный голос кажется Гэндзи таким трогательным, что, окончательно плененный, он остается в ее покоех до вечера.

— Разумеется, отрадно видеть свой род процветающим, но есть у меня и другое желание: я хотел бы жить, ничем не ограничивая своей свободы, созерцая, как сменяют друг друга времена года, как расцветают цветы — каждый в свой срок, как краснеют листья на деревьях, как меняется облик неба... Люди всегда спорили о том, что лучше — весенние цветущие рощи или разноцветье осенних лугов, но так и не удалось им прийти к единому мнению. К примеру, в Китае говорят, что нет ничего прекраснее парчи из весенних цветов. А в песнях Ямато отдается предпочтение очарованию осенней поры... (176). Любуешься одним временем года, потом другим, каждое по-своему прекрасно, и поистине трудно сказать, какие цветы прелестнее, какие птицы голосистее. Я хотел бы в своем скромном саду посадить весенние цветущие деревья и осенние травы, поселить там насекомых, впустую звенящих в пустынных лугах, чтобы всякий мог в полной мере наслаждаться очарованием, присущим тому или иному времени года. Но я еще не знаю, какому из них отдаю предпочтение вы? — спрашивает Гэндзи, и хотя ответить на такой вопрос нелегко, оставляя его без ответа тем более недопустимо, и нёго отвечает:

— Если даже вам трудно сделать выбор... Да и в самом деле невозможно сказать, что лучше... И все же «осенними вечерами...» (177). Быть может, потому, что сверкающая в саду роса напоминает о безвременно ушедшей...

Нарочитая неясность и незаконченность ее ответа приводят Гэндзи в восхищение, и, не сумев превозмочь сердечного волнения, он произносит:

— Можешь ли ты
На мои откликнуться чувства?
Пусть не знает никто,
Но этот осенний ветер
И в мое сердце проник.

Увы, порой я просто не в силах сдерживаться...

Что тут ответишь? Нёго предпочитает сделать вид, будто ни о чем не догадывается.

Можно предположить, что на этот раз Гэндзи не удалось сохранить обычной невозмутимости, и нёго услышала от него немало упреков. Судя по

всему, он готов был пойти и дальше по этому опасному пути, но довольно быстро опомнился, уразумев, в какое затруднительное положение ставит женщину. Да и позволительно ли в его возрасте вести себя столь безрассудно? Гэндзи сидел, вздыхая, но, как ни трогателен он был в своей печали, ему так и не удалось смягчить сердце нёго.

Заметив, что она собирается потихоньку удалиться во внутренние покои, Гэндзи говорит:

— Досадно, что вы пренебрегаете мною... Когда б вы обладали истинно чувствительным сердцем... Что ж, надеюсь, впредь вы смягчитесь... Иначе мне будет слишком тяжело... — С этими словами он выходит.

Женщине был неприятен даже аромат его платья, до сих пор витавший в покоях. Опустив решетку, дамы зашептались:

— Ах, как благоухает сиденье! Воистину, неизъяснимый аромат!

— О да, господин министр — само совершенство. Вот уж действительно заставили цветы вишни распуститься на ветках ивы (178).

— Так, и все же не к добру...

Гэндзи перешел в Западный флигель, но, прежде чем войти в покои, долго лежал на галерее, погруженный в глубокую задумчивость. Приказав повесить светильник подальше, он призвал к себе дам, чтобы развлекали его, рассказывая разные истории.

Гэндзи не мог не понимать, что сердце его до сих пор во власти безрассудных страстей. «В мои годы это недопустимо, — думал он. — Разумеется, прежде я вел себя еще неосторожнее и легко впадал в заблуждения, но то были ошибки неразумной юности, будды и боги, должно быть, простили меня. Теперь я, несомненно, стал рассудительнее и научился проявлять самообладание, ранее мне несвойственное». Эта мысль принесла ему некоторое облегчение.

Оставшись одна, нёго с мучительным стыдом вспоминала свой ответ Гэндзи. «К чему это высокопарное признание в любви к осени?» — раскаивалась она и, не умея отвлечься от этих мыслей, в конце концов почувствовала себя совсем больной. Гэндзи, встревоженный состоянием нёго, то и дело заходил ее навестить, причем не выказывал при этом никаких других чувств, кроме родительской нежности, правда, быть может, несколько чрезмерной.

— Предпочтение, оказываемое госпожой нёго осени, весьма трогательно, — как-то сказал он госпоже из Западного флигеля, — но не менее понятна и ваша любовь к весенним рассветам. Как бы мне хотелось жить, в полной мере наслаждаясь преимуществами каждого времени года, самыми утонченными увеселениями отмечая цветение разных деревьев и трав. Но, увы, государственные и иные дела оставляют мне слишком мало досуга. А уж о том, чтобы удовлетворить давнее свое желание, я могу лишь мечтать. Впрочем, при мысли о том, как вам будет одиноко...

Гэндзи ни на миг не забывал об обитательнице далекой горной усадьбы, но высокое положение, которое он занимал при дворе, не позволяло ему часто навещать ее. Женщине между тем казалось, что она познала сполна всю безотрадность мира, хотя вряд ли у нее были к тому основания... Она по-прежнему отказывалась переезжать в столицу, боясь затеряться среди остальных дам, и Гэндзи, не одобряя этой чрезмерной, по его мнению, не-

уступчивости и вместе с тем жалея госпожу Акаси, снова поехал в Ои под предлогом очередного молебна.

Жизнь в горном жилище с каждым днем становилась все более унылой. Даже человек, лишенный всякой чувствительности, наверняка затосковал бы здесь. Так что же говорить о госпоже Акаси? Каждый раз, когда Гэндзи приезжал к ней, она невольно вспоминала о том, сколько горя принес ей этот союз, и хотя хорошо понимала, что он далеко не случаен, столь редкие встречи скорее печалили ее, нежели радовали, и Гэндзи не всегда удавалось рассеять ее тоску.

Сквозь густые заросли мерцают подвесные светильники, напоминая снующих над ручьями светлячков.

— Человек, не привыкший к такой жизни, не устал бы изумляться, — замечает Гэндзи.

— Ночные огни
Забыть не дадут о море,
О рыбаках.
Жизни утлую лодку
Куда занесет волна?

Да, все та же печаль... — говорит женщина, а Гэндзи отвечает:

— Не зная,
Какие глубины скрывает
Водная гладь,
На волнах тревожно качаются
Отраженья ночных огней... (179)

«Из-за кого?...» (180) — в свою очередь пеняет он ей.

В те дни жизнь Гэндзи текла спокойно и неторопливо. Отдавая много времени служению Будде, он бывал в доме у реки куда чаще прежнего, и скорее всего женщине удалось в конце концов отвлечься от горестных мыслей.





УТРЕННИЙ ЛИК

Основные персонажи

Министр Двора (Гэндзи), 32 года

Жрица Камо (Асагао) — дочь принца Момодзоно

Пятая принцесса — сестра императора Кирицубо и принца Момодзоно

Госпожа из Западного флигеля (Мурасаки) — супруга Гэндзи

Гэн-найси-но сукэ, 71–72 года — бывшая придворная дама императора Кирицубо (см. главу «Праздник алых листьев»)

ТАК ВОТ, облачившись в одеяние скорби*, жрица Камо принуждена была покинуть священную обитель. Министр, никогда не забывавший тех, к кому в прежние времена устремлялись его думы, довольно часто писал к ней, выражая свои соболезнования. Но, к великой его досаде, жрица отвечала более чем кратко, ибо память о прежних страданиях еще не изгладилась из ее сердца.

Узнав, что на Девятую луну жрица переехала во дворец Момодзоно, Гэндзи отправился туда якобы для того, чтобы навестить жившую там теперь Пятую принцессу. Эту принцессу, равно как и бывшую жрицу, ушедший государь жаловал особой благосклонностью, и, помня об этом, Гэндзи не упускал случая выказать ей свое расположение.

Принцесса и жрица занимали соответственно западную и восточную части главного дома. Несмотря на то, что со дня кончины принца прошло совсем немного времени, покои были запущены, повсюду стояла щемящая душу тишина.

Приняв Гэндзи на своей половине, принцесса удостоила его беседы. Она очень постарела за последнее время, ее постоянно мучил кашель. Супруга ушедшего Великого министра приходилась ей старшей сестрой, но сходства меж ними не было. В то время как первая в свои весьма преклонные

годы сумела сохранить завидную молодость, вторая, напротив, казалась дряхлой старухой. Голос у нее охрип, а тело высохло. Впрочем, ведь и жизнь ее сложилась совершенно иначе...

— С тех пор как покинул мир ваш отец, я чувствую себя совсем одинокой. Сгибаясь под бременем лет, уныло влачу дни, и глаза мои почти не высыхают. А теперь и принц Сикибукё оставил меня. Постепенно я перестаю понимать, жива я сама или уж нет? Но ваше милостивое посещение, несомненно, заставит меня забыть все печали... — говорит принцесса.

«О, как же она постарела!» — думает Гэндзи и почтительно отвечает:

— Увы, все так внезапно и неузнаваемо изменилось, когда государь покинул этот мир. Я был обвинен в не известных мне самому преступлениях и долго скитался по неведомым землям. Потом меня снова призвали ко двору, но, обремененный множеством обязанностей, я почти не имею досуга, а потому мне остается лишь сожалеть, что до сих пор я не мог прийти к вам и побеседовать о былых днях.

— О да, я не устаю изумляться, видя вокруг все новые и новые проявления непостоянства мира, и собственное долголетие удручает меня крайне. Правда, узнав о вашем возвращении, я невольно подумала, как обидно было бы умереть, не дождавшись этого радостного дня, — говорит Пятая принцесса дрожащим голосом. — За годы, прошедшие со дня нашей последней встречи, вы стали еще красивее, — продолжает она. — Помню, как поразила я, впервые увидев вас ребенком. «Что за чудесный свет озарил наш мир!» — подумалось мне. Вы были, пожалуй, слишком красивы, и, видя вас, я всегда терзалась дурными предчувствиями. Говорят, нынешний Государь очень похож на вас. Может быть, это и так, но я совершенно уверена, что даже ему до вас далеко.

Она долго расхваливала Гэндзи, и он с удивлением подумал: «Можно ли так превозносить человека, да еще в его же присутствии?»

— Ах, что вы, мне слишком долго пришлось прозябать в глуши, и я до сих пор не успел оправиться, — говорит Гэндзи. — Государь же так прекрасен, что, пожалуй, и в древние времена не было ему равных. Так что вы весьма далеки от истины.

— А я уверена, что, будь у меня возможность хоть изредка видеть вас, моя и без того долгая жизнь непременно продлилась бы. Вот и сегодня я забываю о старости, и мир уже не кажется мне таким бесконечно печальным, — отвечает принцесса и снова плачет.

— Как я завидую Третьей принцессе! Ведь узы, вас с ней связавшие, позволяют ей часто видиться с вами... Вот и покойный принц рассказывался... — замечает она, и Гэндзи прислушивается.

— Ну, если бы мне разрешили заботиться о дочери принца, о лучшем теперь и мечтать было бы невозможно. Но тогда никто меня особенно не жаловал, — обиженно говорит он, и взор его невольно устремляется к той части дома, где живет жрица. Ах, когда б он мог хоть краешком глаза ее увидеть! Представив себе изящную фигуру женщины, задумчиво глядящей на прекрасный увядающий сад, Гэндзи тихонько вздыхает.

— Раз уж я пришел сюда, мне следует навестить и госпожу жрицу, дабы меня потом не обвиняли в нечуткости. — И он по галерее переходит в ее покои.

Уже довольно темно, но сквозь обшитые темно-серой каймой шторы видны неясные очертания черного занавеса. Воздух пропитан тонким

ароматом курений, убранство покоев свидетельствует о безукоризненном вкусе их обитательницы.

Столь важную особу нельзя принимать на галерее, и дамы проводят Гэндзи в южные передние покои. Прислужница, которую называют Сэндзи, выйдя к нему, передает послание госпожи.

— Я вижу, вы и теперь собираетесь держать меня за занавесями, — обиженно говорит Гэндзи. — Конечно, не так уж плохо снова почувствовать себя молодым, но я надеялся, что мне позволят наконец войти. Мне казалось, что испытания, выпавшие на мою долю в священные для вас годы, дают мне право рассчитывать на вашу снисходительность.

— Долго жила я словно во сне, но вот проснулась и не в силах уразуметь, что более зыбко — сон или явь? Поэтому мне хотелось бы отложить разговор о ваших испытаниях до более благоприятного времени, — передает бывшая жрица.

«А ведь и в самом деле — уразуметь трудно...» — вздыхает Гэндзи, и мысли его невольно обращаются к прошлому.

— Горестей много
Довелось мне изведать за эти
Луны и годы,
Но надеялся тайно — боги
Явят милость свою...

Какие новые преграды воздвигнете вы между нами? Многое испытал я, многое передумал, и если б вы позволили мне излить хоть малую часть... — настаивает он.

Никогда еще Гэндзи не казался жрице столь пленительным. Он очень возмужал, однако и теперь, пожалуй, слишком молод для своего сана.

— Внимая твоим
Речам о горестях мира,
Тем самым уже
Нарушаю обет, навлекая
На себя немилость богов... —

передает ему жрица.

— Увы... А ведь все мои былые прегрешения давно развеял бог Синадо*... — молвит Гэндзи, и, право, трудно не восхититься, на него глядя.

— Я слышала, что не всякая жертва приятна богам... (181) — словно невзначай добавляет Сэндзи, но и ей не удастся смягчить сердце жрицы, которая никогда не имела склонности к делам этого мира, а за последние годы стала настоящей затворницей. Не обращая внимания на неодобрительные взгляды дам, она и не думает отвечать.

— Недаром говорят: «Ближе к старости — больше обид»*, — разочарованно вздыхает Гэндзи, собираясь уходить. — А ведь я хотел только, чтобы вы вышли и взглянули на мои изменившиеся черты (182). Неужели я не заслужил даже этого?

После ухода гостя дамы долго еще шептались, по обыкновению своему неумеренно восхваляя его. Глядя на небо, которое всегда в эту пору бывает особенно прекрасным, прислушиваясь к шелесту падающей листвы, они

уносились думами в прошлое, таившее в себе столько неповторимого очарования, вспоминали, что занятого или трогательного было сказано министром по тому или иному поводу, и восхищались неподдельной искренностью его чувств.

Раздосадованный, вернулся Гэндзи домой и провел бессонную ночь, о том, о сем размышляя. Рано утром, приказав поднять решетку, он долго любовался стелющимся по саду туманом.

Кое-где за стебли засохших трав цепляется вьюнок «утренний лик», раскрывший несколько последних, чудом сохранившихся бутонов. Сорвав самый поблекший цветок, Гэндзи отсылает его жрице.

«Меня неприятно поразило столь откровенное пренебрежение с Вашей стороны. Воображаю, с какой неприязнью Вы смотрели мне вслед! И все же:

Я не в силах забыть,
Как мелькнул перед взором когда-то
“Утренний лик”,
Неужели пора расцвета
И для него миновала?

О, как много долгих лет... Остается надеяться лишь на то, что когда-нибудь Ваше сердце смягчится...» — вот что написал он ей.

Рассудив, что госпожа не должна оставлять столь учтивое послание без ответа, если не хочет давать Гэндзи повод жаловаться на ее нечувствительность, дамы приготовили тушечницу и стали требовать, чтобы жрица немедленно написала ответ:

«Осень уходит.
На ограде, туманом окутанной,
Повисли бессильно —
То ли здесь еще, то ли нет —
Вьюнки “утренний лик”...»

Ваше сравнение в высшей степени уместно, и рукава мои покрылись росой...» — написала она наконец.

Ничего примечательного в ее письме не было, но Гэндзи долго не мог от него оторваться. Не потому ли, что мягко начертанные тушью знаки казались особенно изысканными на зеленовато-сером фоне?..

Очень часто ценность письма определяется званием человека или изяществом его почерка. Написанное к случаю оно может показаться совершенным, но попробуйте потом подробно передать его содержание — наверняка будет от чего поморщиться. Потому-то я намеренно кое-что приукрашиваю, хотя в результате и могут возникнуть неточности.

Гэндзи сознавал, что пылкие послания, какие он писал когда-то в юности, не совместимы с его нынешним положением, однако, подумав, что дочь принца Сикибукё никогда не выказывала готовности порвать с ним окончательно, и долгие годы снисходительно принимала знаки внимания с его стороны, почувствовал, что не в силах смириться, и, вспомнив прошлое, написал ей длинное письмо.

Уединившись в Восточном флигеле, министр вызвал к себе Сэндзи. Среди прислуживающих жрице дам было немало ветрениц, готовых склониться

перед мужчиной и более низкого звания. Естественно, они превозносили министра до небес. Однако трудно было ожидать одобрения его искательству со стороны госпожи, которая и в прежние времена держалась от него в отдалении. Теперь же, когда оба они были немолоды и занимали столь высокое положение в мире... Больше всего на свете жрица боялась сплетен, а поскольку она знала, что люди могут осудить ее уже за то, что она отвечает на самые невинные письма Гэндзи о весенних цветах или осенних листьях...

Видя, что за годы их разлуки жрица ничуть не изменилась, Гэндзи и восхищался, и досадовал. Право, она была совсем не похожа на других женщин. Так или иначе, его посещение дворца Момодзоно ни для кого не осталось тайной, и в мире начали поговаривать:

— Ходят слухи, что министр увлечен бывшей жрицей Камо. Да, Пятая принцесса может быть довольна. В самом деле, чем не пара?

Разумеется, слух о том дошел и до госпожи из Западного флигеля. Поначалу она не придавала услышанному большого значения. «Будь сердце господина действительно глубоко затрунуто, он не стал бы скрывать этого от меня». Но, понаблюдав за супругом некоторое время, заметила его необычную рассеянность и в конце концов встревожилась не на шутку. «Боюсь, что это увлечение значит для него куда больше, чем он старается показать».

Дочь принца Сикибукё по рождению была равна госпоже из Западного флигеля. Она издавна пользовалась доброй славой. Покори она сердце министра, госпожа Мурасаки, несомненно, оказалась бы в незавидном положении. До сих пор она не имела соперниц и привыкла к тому, что попечения супруга целиком сосредоточены на ней одной, поэтому при мысли, что придется уступить место другой женщине, приходила в отчаяние. «Возможно даже, он не разорвет наш союз и не покинет меня совсем, — думала госпожа, — но наверняка станет пренебрегать мною, тем более что я, очевидно, наскучила ему за эти годы». Нетрудно себе представить, в каком она была смятении, но, имея обыкновение ласково бранить супруга по пустякам, она и виду не подавала, когда на сердце у нее было действительно тяжело.

Целыми днями Гэндзи в праздной задумчивости сидел у порога, любясь садом. Он стал чаще бывать во Дворце, а возвращаясь оттуда, писал — якобы деловые — письма, и, глядя на него, госпожа думала: «Видно, не зря люди говорили... Так почему же он даже не намекнет?»

Нынешней зимой были отменены все праздничные богослужения, и в столице царил уныние. Однажды, не зная, чем занять себя, Гэндзи снова решил навестить Пятую принцессу. Он отправился к ней в прекрасный сумеречный час, когда в саду поблескивал снег. Выбрав удобное, мягкое платье, он старательно пропитал его благовониями и долго еще наряжался и прихорашивался. Право, ни одна женщина не сумела бы перед ним устоять.

Перед уходом Гэндзи все-таки зашел проститься с госпожой.

— Пятая принцесса нездорова, и я намереваюсь навестить ее, — говорит он, усаживаясь рядом, но госпожа, даже не посмотрев в его сторону, продолжает заниматься с девочкой. Нетрудно заметить, что она чем-то расстроена.

— Вы так переменились ко мне за последнее время, — вздыхает Гэндзи. — А ведь, кажется, за мной нет никакой вины. Просто, опасаясь наскучить вам, словно поблекшее от соли платье (183), я стараюсь держаться в отдалении. В чем же вы обвиняете меня на сей раз?

— О, вы совершенно правы! «Привыкать к чему-то опасно...» (184) — роняет госпожа и отворачивается от него.

Гэндзи не хотелось оставлять ее в столь дурном расположении духа, но он уже известил Пятую принцессу, а потому все-таки ушел. А госпожа долго еще лежала, вздыхая: «Право, всякое случается в мире, просто мне не следовало быть столь легковерной...»

Гэндзи все еще носил одеяние скорби, но трудно было представить себе более удачное обрамление для его красоты, чем эти разнообразные, прекрасно сочетающиеся между собой оттенки серого. На фоне сверкающего снега фигура его казалась особенно изящной. Проводив его взглядом, госпожа подумала, что, если он и в самом деле отдалится от нее, она вряд ли сможет это перенести.

Не взяв с собой никого, кроме самых верных передовых, Гэндзи сказал нарочно, чтобы скрыть от дам свои истинные намерения:

— В мои годы трудно ездить куда-нибудь, кроме Дворца, но Пятая принцесса осталась совсем одна. Прежде о ней заботился принц Сикибукё, теперь же она просит меня о поддержке, и я нахожу это вполне естественным, тем более что из простого сочувствия...

Но вряд ли ему удалось убедить дам.

— Слстолюбие — тот досадный порок, от которого господину, как видно, никогда не удастся избавиться, — перешептывались они. — Как бы не вышло неприятностей.

Полагая, что человеку его сана не годится въезжать во дворец Момодзоно с людной северной стороны, Гэндзи, остановившись у величественных западных ворот, выслал вперед одного из своих приближенных, дабы тот предупредил принцессу. Та уже не ждала его и, всполошившись, велела немедленно открыть ворота. Прибежал замерзший привратник и долго возился с запором. Судя по всему, рядом не было никого, кто мог бы прийти ему на помощь, и он изо всех сил дергал скрипящую дверцу, недовольно ворча:

— Замок насквозь проржавел, как тут откроешь...

Гэндзи стало очень жаль его. Как же все мимолетно в мире! Думаешь — вчера, сегодня, а оказывается, прошло уже три года*. Но даже если видишь, что жизнь и впредь не сулит тебе ничего, кроме печалей, легко ли покинуть этот временный приют? Так и живешь, отдавая сердце весенним цветам, осенним листьям...

— Не заметил, когда
Заросли ворота полынью.
До самой стрехи
Старый дом снегом завален
И обветшала ограда... —

тихонько, словно про себя произнес Гэндзи.

Наконец ворота открыли, и карета въехала во двор. Принцесса, приняв Гэндзи в своих покоях, как всегда, долго беседовала с ним, бессвязно рассказывая какие-то скучные старые истории, и, слушая ее, Гэндзи с трудом преодолевал сонливость. Да и сама принцесса то и дело зевала.

— Вечерами всегда так клонит ко сну, говорить и то трудно... — пробормотала она наконец, и тут же раздались какие-то странные, никогда им

не слышанные звуки — уж не храп ли? Возрадовавшись, Гэндзи собрался было встать и выйти, но тут увидел еще одну согбенную женскую фигуру, которая приближалась к нему, хрипя и покашливая.

— Я должна просить у вас прощения за дерзость, но я надеялась, что вы изволите знать о моем пребывании в этом доме... Впрочем, скорее всего вы давно забыли о моем существовании. А ведь еще ушедший государь изволил подшучивать надо мной, называя почтенной бабусей... — сказала она, и Гэндзи сразу же узнал ее.

Когда-то он слышал, что особа, которую прежде называли Гэн-найси-но сукэ, приняла постриг и, став послушницей при Пятой принцессе, помогала ей в молитвах, однако у него и в мыслях не было, что она до сих пор жива, и уж тем более никогда не возникало желания ее разыскать. Поэтому изумлению его не было границ.

— Так, те годы давно стали преданием далекой старины. Любое самое смутное воспоминание заставляет меня сожалеть о своем нынешнем одиночестве, и какая же это радость — вновь услышать знакомый голос. Право, вы не позволите себе оставить путника, не имеющего ни родных, ни близких... (185) — говорит Гэндзи, снова усаживаясь.

Вероятно, женщине слишком живо вспомнилось прошлое: во всяком случае, она приняла самую соблазнительную, по ее мнению, позу и произнесла какую-то нелепую двусмысленность, попытавшись придать нежность своему скрипучему голосу, при звуках которого всякий предположил бы, что рот ее сильно скривился набок. Как видно, годы ничуть не переменили ее.

— Ах, где те времена, когда сетовала я на своей судьбы безотрадность... (186) — произнесла она, повергнув Гэндзи в крайнее замешательство.

Он с трудом сдерживал улыбку, слушая, как она жалуется на «внезапно приблизившуюся» старость, но и не посочувствовать ей было невозможно.

Многих придворных дам, которые соперничали друг с другом во времена ее юности, давно уже не было в живых, другие, бесцельно скитаясь по миру, владели жалкое существование... Право же, странно устроен мир! Столь горестно короткая жизнь выпала на долю государыни, а эта женщина, не отличающаяся особыми достоинствами, живет до сих пор, спокойно творя обряды, хотя уже тогда, когда Гэндзи впервые встретился с ней, казалось, что близок крайний срок ее жизни.

Неправильно истолковав причины печальной задумчивости Гэндзи, Гэн-найси-но сукэ воодушевилась и, вспомнив молодость, говорит:

— Лет немало прошло,
Но забыть до сих пор я не в силах
Наши прежние дни
И то, как меня называл ты
«Мать матери моей...» (187)

Неприятно пораженный ее развязностью, Гэндзи отвечает:

— Лучше ты подожди,
Пока в мире ином возродишься,
Тогда и узнаешь,
Бывает ли так, чтобы сын
Мать свою забывал?

Весьма надежные узы связывают нас, не правда ли? Как-нибудь мы с вами поговорим об этом более обстоятельно... — С этими словами он выходит.

В западных покоях были опущены только некоторые решетки — видно, жрица все-таки не хотела показаться негостеприимной. На небо выплыла луна, и снег, тонким слоем покрывавший сад, заискрился, придавая холодной ночи неожиданное очарование. Гэндзи вдруг с удивлением вспомнил, что престарелая жеманница и зимняя ночь издавна причисляются людьми к разряду явлений, вызывающих неприятные чувства...*

На этот раз Гэндзи держался с необычной для него степенностью.

— Когда бы я мог услышать всего несколько слов «из ваших собственных уст» (188), ну, хотя бы, что я вам неприятен, я бы смирился, — настойчиво просил он, но женщина оставалась непреклонной.

«Даже в те давние годы, когда оба мы были молоды и многое нам пришлось, я со всей решительностью отказала ему, несмотря на то, что этот союз наверняка пришелся бы по душе покойному отцу. Теперь же, когда миновала пора расцвета, я тем более не могу допустить, чтобы он услышал мой голос», — скорее всего думала она, и сердце ее не смягчалось, поэтому Гэндзи оставалось только сетовать на ее поистине удивительное жестокосердие. Вместе с тем, боясь показаться неучливой, жрица не принуждала гостя немедленно покинуть ее покои, а церемонно беседовала с ним через прислужницу, чем уязвляла его еще больше.

Постепенно темнело, дул пронизывающий ветер. Гэндзи вдруг сделалось очень грустно, и он сказал, изящно отирая слезы:

— Убеждался не раз
В том, сколь сердце твое жестоко.
Но, забыв обо всем,
Позволяю себе терзаться
От новых и новых обид...

«Кого же винить?» (189)

Дамы, как обычно, преисполненные сочувствия, передали его слова госпоже.

— Право, к чему
Мне встречаться с тобой, изменяя
Привычкам своим?
И без того известно,
Сколь изменчиво сердце твое...

Не в моем обычае менять раз принятые решения... — ответила она.

Разумеется, Гэндзи мог дать волю негодованию и удалиться, на прощание осыпав ее упреками, но в его возрасте это было вряд ли прилично, а потому он сказал, обращаясь к Сэндзи:

— Надеюсь, вы понимаете, сколь охотно станут говорить в мире о моем поражении? Смею ли я рассчитывать?... Конечно, слишком дерзко требовать, чтобы вы вспомнили о реке Молчанья (68), и все же...

Потом он долго еще тихонько шептался с ней, но о чем?..

— Право, можно ли себе позволять такое? — возмущались дамы. — Надо совсем не иметь сердца, чтобы так обращаться с господином министром. Разве он хоть раз повел себя бесцеремонно или дерзко? Ну не обидно ли?

Конечно же, жрица втайне и сама восхищалась изысканностью чувств Гэндзи, его чуткой душой, однако больше всего на свете боялась, как бы он не догадался об этом. «Неужели я унижусь до того, что стану одной из многих, столь безудержно его превозносящих особ? — думала она. — Неужели я позволю ему проникнуть в мои мысли и увидеть, что я готова склониться перед его красотой?» Раз и навсегда запретив себе думать о нежных чувствах, она тем не менее никогда не отказывалась отвечать ему, причем письма ее были неизменно учтивы и приходили прежде, чем могли возникнуть основания для беспокойства. «Мне следует и впредь сообщаться с ним через посредников, как того требуют приличия», — решила жрица. Она предпочла бы вовсе не принимать министра, ибо давно уже намеревалась посвятить себя служению Будде, желая очиститься после долгих лет невольного отчуждения от пути Закона, но столь резкая перемена в их отношениях многим показалась бы странной и сделала бы имя ее предметом пересудов. Хорошо зная, как люди склонны к злословию, она не доверяла даже прислуживающим ей дамам и, соблюдая величайшую осмотрительность во всех действиях своих, постепенно все больше сосредоточивалась на молитвах.

У бывшей жрицы было немало братьев и сестер, но, к сожалению, не единокровных. Ни с кем из них она не поддерживала близких отношений, и во дворце Момодзоно с каждым днем становилось все пустыннее. Поэтому, когда столь блистательный вельможа удостоил это жилище своим любезным вниманием, дамы прониклись к нему сочувствием, и казалось, всех их объединяет одно желание.

Вряд ли можно сказать, что сердцем министра владела неодолимая страсть, нет, этого не было, но его уязвляла холодность жрицы, да и не хотелось признавать себя побежденным.

Гэндзи никогда еще не занимал столь высокого положения в мире и не пользовался таким влиянием. За прошедшие годы он многое познал, изведal все оттенки человеческих чувств, и жизненный опыт его стал куда богаче прежнего. Теперь более чем когда-либо, он не желал ради пустых прихотей подвергать опасности свое доброе имя. Но ведь если он отступится, так ничего и не добившись, над ним тоже будут смеяться... Терзаемый мучительными сомнениями, Гэндзи все реже ночевал в доме на Второй линии, и госпожа встревожилась так, что было ей, «увы, не до шуток» (137). Она старательно скрывала свое беспокойство, но вряд ли ей всегда удавалось сдерживать слезы.

— Вам, видимо, нездоровится. Что с вами? — спрашивал Гэндзи, нежно глядя ее волосы. Они были прекрасной парой — так и хотелось, взяв кисть, запечатлеть их фигуры на бумаге.

— Государь пребывает в печали после кончины государыни, и мне жаль его. Великого министра тоже нет с нами, и некому передать дела правления. Совершенно не имея досуга, я редко бываю дома, а вы к этому не привыкли. Мне хорошо понятно ваше недовольство, и я сочувствую вам, но, право, не вижу оснований для тревоги. Вы достигли вполне зрелого возраста, можно ли до сих пор проявлять такую нечуткость, такое неумение читать в сердцах людей? — говорил Гэндзи, отводя упавшие ей на лоб спутанные, влажные пряди, но она все отворачивалась от него и не отвечала.

— До сих пор словно дитя малое! Откуда это в вас? — недоумевал он, вздыхая. — Право, все так шатко и непродолжительно в этом мире, стоит

ли понапрасну огорчать друг друга? Боюсь, уж не истолковали ли вы превратно мои совершенно невинные письма к бывшей жрице Камо? Если так, то ваши подозрения весьма далеки от истины. Когда-нибудь вы и сами поймете. Жрица всегда была затворницей. Иногда просто так, от нечего делать, я пытался смутить ее покой шутивными посланиями, а поскольку жизнь ее довольно скучна, она время от времени отвечала мне. Ничего большего между нами не было. Поэтому мне и в голову не приходило рассказывать вам об этом, да и не было оснований вызывать к вашему сочувствию. Поймите же, у вас нет причин...

Целый день Гэндзи провел во флигеле, утешая госпожу.

К вечеру в воздухе снова закружились снежные хлопья. Снег, шедший уже много дней подряд, припорошил ветки сосны, листья бамбука, и они поражали необычностью очертаний. В этот прекрасный вечерний час лицо Гэндзи сияло поистине ослепительной красотой.

— Люди чаще всего отдают предпочтение весне с ее цветами или осени с ее багряными листьями, — говорит Гэндзи. — А чем хуже зимняя ночь, когда искрится снег, залитый чистым лунным светом, и причудливый, лишенный красок пейзаж так странно волнует сердце? Невольно уносишься мыслями к иным мирам, и вряд ли бывают мгновения прекраснее и трогательнее. Надо быть лишенным всякой чувствительности, чтобы причислять зимнюю ночь к тому, «что наводит уныние». — И Гэндзи велит поднять занавеси.

Сад до самого дальнего уголка озарен лунным сиянием, ничто не нарушает его белизны. Засохшие кусты и травы вызывают невольную жалость, ручьи словно захлебываются от рыданий, и что-то неизъяснимо жуткое чудится в скованной льдом глади пруда... Послав в сад девочек-служанок, Гэндзи велит им катать снежные шары. Лунный свет сообщает особое очарование их изящным фигуркам. Особенно милы девочки постарше в небрежно наброшенных акомэ, со слабо завязанными поясами. Их длинные волосы, отчетливо вырисовываясь на белом снегу, кажутся еще чернее.

Младшие, развеселившись, бегают по саду. Забыв обо всем, они побросали веера, и их открытые лица прелестны. Наиболее тщеславные, задавшись целью превзойти остальных, скатали такой большой шар, что не могут сдвинуть его с места. Растерявшись, они стоят вокруг, а другие, выйдя к краю восточной галереи, безжалостно смеются над ними.

— Помнится мне, как однажды перед покоями ушедшей государыни слепили настоящую снежную гору. Ничего, казалось бы, особенного, но государыня умела придавать значительность самым ничтожным забавам. О да, я никогда не перестану оплакивать эту утрату. Государыня славилась своей осторожностью, и я не могу сказать, что хорошо ее знал, но в ту пору, когда жила она во Дворце, я неизменно пользовался ее доверием. Впрочем, я и сам во всем полагался на нее и не раз прибегал к ее помощи. Она не была тщеславна и никогда не старалась казаться умнее других, но мне не приходилось раскаиваться, когда я следовал ее советам, ибо она умела наилучшим образом улаживать самые пустяковые дела, не говоря уже о чем-то значительном. Право, есть ли в мире женщина, подобная ей? Она была мягкосердечна и даже застенчива, но обладала таким душевным благородством, что сравняться с ней не было никакой возможности. Вы выросли от одного с ней корня и похожи на нее более, чем кто бы то ни было, и все же даже у вас есть

некоторые неприятные черты, например неуступчивость, которая всегда огорчает меня.

Бывшая жрица Камо совсем другая. Иногда просто так, от скуки, чтобы хоть чем-то заполнить часы досуга, мы обмениваемся с ней письмами. Да, пожалуй, только о ней одной я и беспокоюсь теперь, других не осталась...

— А мне кажется, что нет никого умнее и тоньше госпожи Найси-но ками, — замечает госпожа Мурасаки. — Я всегда полагала, что уж ее-то никто не сможет упрекнуть в легкомыслии, и то, что случилось, поистине достойно удивления.

— Вы совершенно правы. Если говорить о женщинах изящных, миловидных, она заслуживает упоминания в первую очередь. Я всегда думаю о ней с сожалением и раскаянием. Воображаю, какие угрызения совести испытывает большинство искателей приключений, вспоминая о собственной юности, если даже я, который по сравнению с другими был истинным образцом благонравия... — говорит Гэндзи, и слезы навертываются ему на глаза, когда вспоминает он о несчастной судьбе Найси-но ками.

— Есть еще обительница горной усадьбы, которой вы пренебрегаете, считая ее не достойной вашего внимания. А ведь она куда тоньше, чем можно было бы ожидать от женщины ее звания. К сожалению, низкое происхождение определяет ее место среди прочих. Например, свойственная ей церемонность воспринимается мною скорее как недостаток, чем как достоинство. До сих пор мне не приходилось встречать женщин, в которых не было бы вовсе ничего привлекательного. Но, очевидно, не менее трудно найти такую, которая была бы средоточием всех мыслимых совершенств.

Весьма трогательна своим постоянством особа, живущая в Восточной усадьбе. Другой такой, пожалуй, не найдешь. Когда-то, много лет назад, она пленила меня своим незлобивым нравом, и с тех пор совершенно не изменилась, все так же кротка и застенчива. Я испытываю к ней глубокое сочувствие, и вряд ли мы когда-нибудь расстанемся.

За разговорами о былом и настоящем они не заметили, как спустилась ночь. Ярко светила луна, вокруг было тихо и прекрасно...

— Быстрый ручей
Скован льдом и не может привольно
Бежать меж камней.
А луна вершит в небесах
Свой путь неизменный, —

сказала госпожа. Чуть склонив голову, она любовалась садом, и не было на свете женщины прекраснее. Мог ли Гэндзи помышлять о другой, имея ее рядом? К тому же она была так похожа на ту, что столько лет владела его думами. Гэндзи глядел на ее лицо, волосы, и сердце его грустно сжималось. Тут раздались голоса уточек-мандаринок*, и он сказал:

— В этой снежной ночи
Мы грустим, вспоминая о прошлом,
А где-то вдали
Уныло кричат мандаринки
На зыбком ложе своем...

Затем, затворившись в опочивальне, он предался воспоминаниям об ушедшей. Возможно, он на миг задремал; во всяком случае, возник перед ним ее неясный образ. Серdito глядя на него, она сказала:

— Вы обещали молчать, но мое имя стало достоянием молвы. Позор и нестерпимые муки — вот мой горестный удел.

Только он собрался ответить, как кто-то будто навалился ему на грудь, и тут же он услышал голос госпожи из Западного флигеля:

— Что с вами?

Очнувшись, Гэндзи долго не мог прийти в себя. Сердце его тревожно билось, платье оказалось насквозь промокшим, — очевидно, он плакал во сне. «Что с ним?» — встревожилась госпожа. Но Гэндзи лежал не двигаясь.

Сон безмятежный
Не приходит. На миг забывшись,
Просыпаюсь в тоске.
Сновидения зимних ночей
Так тревожны и так мимолетны...

Неизъяснимая печаль сжала сердце, и, быстро поднявшись, он повелел, никому ничего не объясняя, заказать чтения сутр в разных храмах. Ушедшая именно его обвиняла в своих страданиях... «Неужели ее муки так ужасны? — сокрушался Гэндзи. — Ведь она все дни отдавала служению Будде и, казалось, немало сделала для того, чтобы облегчить бремя, отягощающее ее душу. И все же один-единственный тайный грех мешает ей очиститься от скверны этого мира».

Чем глубже проникал Гэндзи в душу вещей, тем большая тоска овладевала его сердцем. Как желал бы он найти дорогу в тот неведомый мир, где блуждает ныне ушедшая, и взять на себя ее муки! Но, боясь пересудов, он не решался даже открыто позаботиться об успокоении ее души. Тем более, что тогда и Государь укрепился бы в своих подозрениях. Поэтому Гэндзи оставалось лишь в сердце своем возносить молитвы будде Амиде. «О, сделай так, чтобы возродились мы в едином Лотосе», — взывал он.

Даже если решусь
За ушедшей вослед устремиться,
Вняв голосу сердца,
У Последней реки* заблудившись,
Ее тени и той не увижу...

Право, мог ли он не печалиться, думая об этом?..





ЮНАЯ ДЕВА

Основные персонажи

Министр Двора, Великий министр (Гэндзи), 34 года

Бывшая жрица Камо (Асагао) — дочь принца Момодзоно

Пятая принцесса — сестра императора Кирицубо и принца Момодзоно, тетка Гэндзи

Третья принцесса, госпожа Оомия — мать Аои и Удайсё, супруга Левого министра

Молодой господин, сын Великого министра, Дзидзю (Югири), 12–14 лет — сын Гэндзи и Аои

Удайсё, министр Двора (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

Бывшая жрица Исэ, нёго из Сливового павильона, Государыня-супруга (Акиконому), 24–26 лет — дочь Рокудзё-но мясудокоро и принца Дзэмбо, воспитанница Гэндзи

Нёго из дворца Кокидэн — дочь Удайсё, наложница императора Рэйдзэй

Принц Хёбукё, принц Сикибукё — отец Мурасаки

Девочка, юная госпожа (Кумои-но кари), 14–16 лет — младшая дочь Удайсё

Адзэти-но дайнагон — отчим Кумои-но кари

Правитель Оми, Сатюбэн (Ёсикиё) — приближенный Гэндзи

Правитель Цу, Сакё-но дайбу (Корэмицу) — приближенный Гэндзи

Танцовщица Госэти, То-найси-но сукэ — дочь Корэмицу

Госпожа Госэти (Цукуси-но госэти) — дочь Дадзай-но дайни, возможно, бывшая возлюбленная Гэндзи (см. главу «Сума»)

Обитательница Восточной усадьбы, госпожа Западных покоев (Ханатирусато) — возлюбленная Гэндзи

Ушедший на покой государь (император Судзаку) — сын императора Кирицубо и Кокидэн, старший брат Гэндзи

Государь (Рэйдзэй) — сын Фудзицубо и Гэндзи (официально — сын императора Кирицубо)

Принц Хёбукё (Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

Великая государыня (Кокидэн) — мать императора Судзаку

Госпожа из Западного флигеля (Мурасаки), 26 лет — супруга Гэндзи

Найси-но kami (Обороззукё) — придворная дама императора Судзаку, тайная возлюбленная Гэндзи

Госпожа Акаси, 24–26 лет — дочь Вступившего на Путь из Акаси, возлюбленная Гэндзи

ГОД еще раз сменился новым. Срок скорби по ушедшей государыне подошел к концу, и все сняли темные одеяния, поэтому в день Смены одежд яркость нарядов особенно радовала взоры, а уж когда приблизился праздник Камо и установились теплые, ясные дни, от прежнего уныния не осталось и следа. Только бывшая жрица Камо по-прежнему была печальна и задумчива. Ее молодые прислужницы, с волнением прислушиваясь к шелесту листьев багряника в саду*, вспоминали былые дни. Как-то принесли письмо от министра:

«Наверное, в этом году Вы проведете день Священного омовения, предаваясь тихим раздумьям. И сегодня...

Ведал ли я,
Что, снова на берег нахлынув,
Волны речные
На этот раз унесут
Твое темное платье...»

Сложенный официально* листок лиловой бумаги был прикреплен к ветке глицинии. Присланное как раз вовремя, письмо Гэндзи тронуло сердце жрицы, и она не стала медлить с ответом:

«Словно только вчера
Это темное платье надела,
И уже наступил
Омовения день. Мир изменчив —
То он омут, а то — стремнина... (190)

О да, зыбко...»

Вот и все, что она написала, но Гэндзи, как обычно, долго не мог отложить ее письма. Когда подошел к концу срок скорби, он позаботился о том, чтобы обеспечить ее новыми нарядами, и они заполнили покои Сэндзи так, что и места свободного не оставалось. Жрица была недовольна и не скрывала этого. Она не задумываясь отправила бы дары обратно, будь при них послание, содержащее двусмысленные намеки, однако в письме Гэндзи не оказалось ничего предосудительного, и она совсем растерялась, не зная, как лучше объяснить ему... Ее положение осложнялось еще и тем, что внимание с его стороны не было чем-то из ряда вон выходящим, в последние годы он оказывал ей услуги подобного рода во всех случаях, когда то допускалось приличиями.

Гэндзи весьма часто писал и к Пятой принцессе, что ее чрезвычайно трогало.

— Кажется, еще вчера он был ребенком, и вот перед нами муж в полном расцвете лет, своими попечениями скрашивающий мое унылое существование. Необыкновенная красота соединяется в нем с превосходными душевными качествами. Право же, равного ему нет в мире, — расхваливала она его, и молодые дамы смеялись. А встретившись с бывшей жрицей, Пятая принцесса сказала:

— Господин министр весьма с вами любезен. Но я не вижу в этом ничего дурного, он давно питает к вам нежные чувства. Помнится, покойный принц часто сетовал на то, что разошлись линии ваших судеб, и министр не стал ему зятем. Он не раз жаловался мне на ваш своевольный нрав, который мешал ему осуществить задуманное. Пока жива была дочь ушедшего Великого министра, я из жалости к Третьей принцессе не хотела становиться посредницей. Но теперь этой благородной особы, с которой связывали его столь прочные узы, уже нет. Так что же мешает вам выполнить желание покойного отца? Тем более что министр снова начал проявлять к вам внимание... В этом видится мне знак связанности ваших судеб.

Раздосадованная увещеваниями этой старомодной особы, жрица ответила:

— Отец всегда считал меня своенравной, и такой я была вплоть до сего дня. Так неужели я изменю себе, склонившись перед обстоятельствами?

Разговор был ей явно неприятен, и Пятая принцесса отказалась от мысли ее убедить.

Зная, что обитатели дворца Момодзоно, как высшие, так и низшие, были на стороне Гэндзи, жрица жила в постоянной тревоге. Однако сам Гэндзи, сделав все, что было в его силах, дабы уверить ее в искренности и глубине своих чувств, не предпринимал больше ничего, что могло бы показаться ей оскорбительным, и терпеливо ждал: «Быть может, когда-нибудь...»

В последнее время он был занят подготовкой к церемонии Покрытия главы молодого господина из дома ушедшего Великого министра. Сначала он намеревался провести ее в доме на Второй линии, но потом передумал, скорее всего из жалости к старой госпоже Оомия, которая — что вполне естественно — тоже не хотела оставаться в стороне.

Дядя мальчика с материнской стороны — а все они, начиная с господина Удайсё, были теперь важными сановниками и пользовались большим влиянием при дворе — отнеслись к приготовлениям с чрезвычайным вниманием, каждый старался превзойти остальных в щедрости. Мир пришел в волнение, люди только и говорили что о предстоящей церемонии.

Гэндзи предполагал присвоить сыну Четвертый ранг, но неожиданно для всех изменил свое решение. «Мальчик еще мал, — думал он. — Есть что-то слишком заурядное в столь раннем возвышении, особенно теперь, когда мир полностью подчиняется моим желаниям...» И, к досаде и возмущению госпожи Оомия, мальчик возвратился к своим придворным обязанностям в зеленом платье*. Встретившись с министром, старая госпожа сразу же заговорила об этом.

— По-моему, не стоит принуждать его взрослеть раньше времени, — объяснил ей министр. — Возлагая на него вполне определенные надежды, я предпочитаю, чтобы пока он совершенствовался в науках. На ближайшие два-три года ему лучше отойти от придворной службы. Достигнув же

возраста, наиболее подходящего для того, чтобы прислуживать в Высочайших покоях, он сразу же займет там значительное положение. Сам я вырос в Девятивратной обители и долго не ведал, что происходит за ее пределами. К тому же, днем и ночью находясь при государе, я имел возможность ознакомиться лишь с самыми доступными сочинениями древности, да и то чрезвычайно поверхностно. Кое-какие знания были восприняты мною от самого государя, но, пока я не приобрел достаточно широких представлений о мире, мне не удавалось добиться успеха ни в чем — ни в науках, ни в музыке, и во многих областях я так и остался неучем. У глупых отцов редко вырастают мудрые сыновья, и, если предположить, что каждое новое поколение будет хуже предыдущего, нельзя без страха и помыслить о будущем. Именно это и привело меня к такому решению.

Возьмите, к примеру, юношей из знатных семейств. Привыкшие получать любые угодные им должности и звания, кичащиеся своим благополучием, они далеки от того, чтобы утруждать себя науками. Помышляя единственно о развлечениях, они без всяких усилий со своей стороны повышаются в чинах, а придворные льстецы, ухмыляясь за их спиной, в лицо им расточают похвалы и раболепствуют перед ними. В конце концов эти юнцы и сами начинают смотреть на всех свысока... Но, увы, времена меняются, и, лишившись могущественного покровителя, они разом теряют свое влияние и, презираемые людьми, скитаются по свету, нигде не находя прибежища. Только на основе китайских знаний дух Ямато может упрочить свое значение в мире.

Вполне вероятно, что теперь мальчик чувствует себя обиженным, но я хочу быть уверен в его будущем, а это возможно лишь в том случае, если он овладеет знаниями, достаточными для того, чтобы когда-нибудь стать опорой Поднебесной. Только тогда я смогу спокойно уйти, оставив его одного. Пусть сейчас его положение и незавидно, но, пока я забочусь о нем, вряд ли найдутся люди, которые посмеют насмехаться над «бедным школяром».

Внимательно выслушав объяснения министра, госпожа Оомия ответила, вздыхая:

— Да, вы, наверное, правы. Но я знаю, что Удайсё и все прочие осуждают вас за столь явное отступление от общепринятого. Да и сам мальчик, верно, затаил обиду в своем юном сердечке, и ведь есть отчего: даже сыновья Удайсё и Саэмон-но ками, на которых он всегда смотрел свысока, получили соответствующие звания и сразу же почувствовали себя взрослыми, а он должен носить ненавистный зеленый наряд. Жаль его.

Но Гэндзи только улыбнулся.

— Возможно, он и считает себя взрослым, но ведь обиды его совсем детские. Что ж, в таком возрасте... — сказал он, но нетрудно было заметить, что он гордится сыном.

— Я уверен, что, когда он овладеет знаниями и проникнет в душу вещей, обиды исчезнут сами собой.

Церемония Наречения* проходила в Восточном флигеле Восточной усадьбы, нарочно подготовленном для этой цели.

Важные сановники и придворные, изнемогая от любопытства, ибо редко кому из них доводилось видеть что-либо подобное, съезжались, стараясь опередить друг друга. Ученые мужи совсем оробели.

— Пусть вас ничто не смущает, — говорил им министр. — Делайте все, что положено в таких случаях, ни в чем не нарушая установлений.

Ученые мужи старались держаться спокойно и независимо. Они принимали важные позы, говорили звучными, торжественными голосами, не понимая, сколь нелепы их фигуры в сшитых не по росту парадных одеждах, явно одолженных у кого-то ради такого случая. Забавно было наблюдать, как они рассаживались по местам, строго следуя установленному порядку. Многие из молодых придворных не могли удержаться от смеха. Понимая, что на них полагаться трудно, Гэндзи выбрал нескольких степенных сановников, которых не так-то легко рассмешить, и отдал на их попечение сосуды с вином, но разве кто-нибудь знал, как должно вести себя во время столь необычного собрания? Когда Удайсэ и Мимбукэ неуверенно взяли в руки чаши, ученые мужи тут же накинудили на них с упреками.

— Эти господа, «сидящие у забора»*, — возмущались они, — изрядно невежливы. Интересно, как эти глупцы прислуживают Государю, когда они даже о нас, таких известных ученых, слыхом не слыхивали?

Придворные так и покатывались со смеху, а ученые мужи все ворчали:

— Тише, тише, что за шум?

— Возмутительная непочтительность.

— Немедленно покиньте свои места.

Забавно, не правда ли? Придворные, впервые присутствующие на подобной церемонии, с любопытством взирали на столь редкое зрелище, а те, кто в свое время прошел по тому же пути, понимающе улыбались. «Похвально, что господин министр по достоинству оценил это поприще и распорядился судьбой сына именно таким образом», — с беспредельным почтением говорили они о Гэндзи. Ученые мужи не разрешали произносить ни слова, то и дело пеняя собравшимся за нежелание следовать правилам. С наступлением темноты зажгли светильники, и в их ярком свете сердитые лица ученых мужей казались еще более странными, в них обнаруживалось что-то унылое, грубое, проглядывали черты сходства с актерами саругаку* — словом, это и в самом деле было необычное собрание.

— Человеку легкомысленному и своевольному трудно не растеряться от столь строгого обращения, — сказал министр, и, скрывшись за занавесями, стал наблюдать за церемонией оттуда.

Услыхав, что некоторые юноши, овладевающие науками, принуждены были удалиться, так как на всех не хватило места, Гэндзи предложил им пройти в павильон Для рыбной ловли, где они получили богатые дары.

После окончания церемонии министр пригласил к себе ученых мужей, известных своими талантами, и они состязались в стихосложении. По его просьбе остались также самые одаренные из сановников и придворных.

Ученые мужи сочиняли восьмистишия-люйши, остальные во главе с Гэндзи — четверостишия-цзюецзюй*. Магистр словесности, выбирая достойные темы, предлагал их собравшимся...

В эту пору ночи бывают особенно кратки, и, когда дело дошло до чтения, совсем рассвело. Читал стихи Сатюбэн. Он был хорош собой и голос имел звучный, поэтому, когда он торжественно произносил строку за строкой, взоры присутствующих с восхищением обращались к нему. Надобно сказать, что этот ученый муж пользовался большой известностью в мире.

Во всех стихотворениях, каждое из которых было по-своему замечательным, воспевались высокие устремления виновника торжества, который, будучи рожден в столь влиятельном семействе и имея положение, позволяющее ему наслаждаться всеми благами мира, тем не менее решил уподобиться тем, кто дружил со светлячками за окном и для кого привычен был блеск снега на ветках...^{*} Об этих стихах много говорили в те дни, находились люди, которые называли их выдающимися произведениями времени, достойными, чтобы о них узнали в Китае. Разумеется, лучшим было признано стихотворение Гэндзи. Проникнутое искренним отцовским чувством, оно растрогало все сердца, многие читали его вслух, проливая слезы умиления. Но тут я умолкаю, дабы не навлечь на себя всеобщего негодования, да и в самом деле, разве не дурно, когда женщина рассказывает о том, чего и знать не должна?

Сразу же после церемонии Наречения было сделано «вступительное подношение»^{*}, затем Гэндзи отвел сыну покои в доме на Второй линии и, поручив его попечениям опытных наставников, наказал ему заниматься прилежнее.

С тех пор мальчик почти не бывал в доме госпожи Оомия. «Она балует его с утра до ночи, до сих пор обращаясь с ним как с младенцем, поэтому там он вряд ли сумеет достичь больших успехов», — рассудил Гэндзи и поместил мальчика в самой тихой части дома, разрешив навещать старую гостью не более трех раз в луну.

Принужденный целыми днями сидеть взаперти, мальчик совсем приуныл и обиженно думал: «Как он жесток со мной! Другим не приходится преодолевать таких трудностей, чтобы получить высокий ранг и занять достойное место в мире».

Впрочем, мальчика трудно было упрекнуть в ветренности, напротив, он с малолетства отличался редким благонравием и теперь терпеливо учился, думая: «Побыстрее прочитаю все, что положено, и поступлю на службу во Дворец, а там уж как-нибудь выдвинусь».

За Четвертую и Пятую луны он прочел «Исторические записки», после чего Гэндзи решил, что пора подвергнуть сына испытанию, и пожелал, чтобы сначала это было сделано в его присутствии. Ради такого случая пригласили лишь немногих избранных: Удайсё, Садаибэна, Сикибу-но таю, Сатюбэна и некоторых других. Разумеется, пришел и наставник Дайнайки. Мальчику велели прочесть наиболее трудные места из тех глав «Исторических записок», которые чаще всего становятся предметом обсуждения во время испытаний, и он не только без запинки прочел все, что ему было предложено, но и дал прочитанному разносторонние толкования, так что на свитках не осталось следов от ногтей учителя^{*}.

Видя, сколь замечательных успехов он достиг, собравшиеся превозносили его достоинства и проливали слезы. Особенно взволнован был Удайсё.

— О, как жаль, что нет теперь с нами Великого министра! — восклицал он, обливаясь слезами. Да и сам Гэндзи почувствовал, что ему изменяет обычное самообладание.

— Я нередко с сожалением замечал, что, по мере того как дети, взрослея, набираются мудрости, родители, наоборот, глупеют. Сам я еще не очень стар, но знаю, что таков всеобщий удел! — сказал он, отирая слезы, а Дай-

найки, на него глядя, подумал с гордостью: «Что может быть выше чести служить ему!»

Удайсё то и дело предлагал наставнику чашу, и тот захмелел, отчего лицо его казалось более худым, чем обычно.

Слава чудака, издавна закрепившаяся за Дайнайки, всегда мешала ему добиться признания своих способностей. Не имея надежного покровителя, он влачил нищенское существование, пока господин министр Двора не изволил приметить его и возложить на него столь почетные обязанности. И теперь, поднявшись благодаря милостям Гэндзи на высоту, ранее для него недостижимую, Дайнайки чувствовал себя словно заново родившимся. Я уже не говорю о том, что у него были все опасения рассчитывать на еще более значительное положение в будущем.

В тот день, когда мальчик должен был подвергнуться настоящим испытаниям, перед воротами Палаты наук и образования собралось бесчисленное множество карет, принадлежащих высшей знати. Казалось, что сегодня сюда приехали все без исключения. Испытуемый, окруженный всеобщим восхищением и подобострастным вниманием телохранителей, был так хорош собой и держался с таким благородством, что его присутствие здесь многим казалось неуместным. Нетрудно себе представить, как неприятно было ему общество невзрачных, причудливо одетых участников испытаний, а если учесть, что ему пришлось сесть на одно из последних мест... В окружении ученых мужей, то и дело ворчливо призывающих к порядку, мальчик чувствовал себя довольно принужденно, однако, не робея, выполнил все задания.

В те годы науки достигли невиданного расцвета, совсем как было когда-то в древние времена. Люди всех состояний, опережая друг друга, устремлялись по ученой стезе, и придворные соперничали друг с другом в образованности и талантах.

Все испытания, начиная с испытания на звание бакалавра словесности, прошли успешно, после чего мальчик снова погрузился в учение: и наставник, и ученик усердствовали более прежнего.

В доме на Второй линии, к великой радости магистров словесности и талантливых ученых, часто устраивались поэтические собрания. Так, в те годы в мире появилось немало людей, разнообразными дарованиями обладающих.

Тем временем подошла пора назначать государыню-супругу.

Министр Двора прочил на это место бывшую жрицу Исэ, оправдывая свое намерение тем, что она была оставлена на его попечение ушедшей государыней, но многие были решительно против, не желая, чтобы государыней-супругой снова становилась женщина из рода Минамото.

— Нёго из дворца Кокидэн имеет право первенства. Так может ли быть?.. — шептались придворные. Каждый беспокоился за ту, которой прислуживал. Принц Хёбукё стал главой Церемониального ведомства Сикибусё. При новом Государе он пользовался еще большим влиянием в мире. Дочь же его, согласно давнему желанию отца, была отдана в Высочайшие покои. Так же как и бывшей жрице, ей пожаловали звание нёго.

— По положению они равны, а если учесть, что по материнской линии Государю ближе наша госпожа...

— В самом деле, нельзя упускать из виду, что Государь может найти в ней замену ушедшей...

— Я не знаю никого, кто был бы более достоин этого места... — переговаривались придворные из свиты дочери принца Сикибукё, но в конце концов государыней-супругой стала нёго из Сливового павильона.

Многие дивились ее удачливости, невольно сопоставляя ее судьбу с судьбой покойной миясудокоро.

В том году Гэндзи был назначен Великим министром, а как место министра Двора перешло к Удайсё, Гэндзи немедленно передал ему дела правления.

Новый министр Двора слыл человеком предприимчивым, да и наружность имел внушительную, к тому же природный ум сочетался в нем с незаурядной образованностью. Он достиг немалых успехов в науках, и хотя проигрывал когда-то Гэндзи в «закрывание рифм», вряд ли кто-то другой лучше справился бы с государственными делами.

От разных жен у него было более десяти сыновей, которые, взрослея, один за другим выходили в мир, умножая славу его дома, ни в чем не уступавшего дому Гэндзи. Дочерей же у него было всего две — та самая нёго из дворца Кокидэн и еще одна.

Эта вторая дочь была рождена особой высочайших кровей и по благородству не уступала первой, но случилось так, что мать ее стала госпожой Северных покоев в доме некоего Адзэти-но дайнагона, от которого у нее тоже были дети. Не желая уступать дочь новому супругу ее матери, министр Двора забрал девочку к себе и поручил попечениям госпожи Оомия. Он уделял ей куда меньше внимания, чем старшей дочери, а между тем девочка была весьма мила и лицом, и нравом.

Сначала она воспитывалась вместе с мальчиком, который теперь постигал науки в доме Великого министра, но, когда детям исполнилось по десять лет, их разлучили.

— Я понимаю, что вы привыкли друг к другу, — заявил министр дочери, — но отныне тебе нельзя показываться мужчинам.

Однако сын Великого министра не забывал милой подруги детских лет и не упускал случая доказать ей свою преданность. Расцветали ли весенние цветы, покрывались ли деревья осенним багрянцем, о ней вспоминал он в первую очередь. Он полностью подчинялся ей в играх и старался предупредить малейшее ее желание. Девочка же отвечала ему самой горячей привязанностью и даже теперь совершенно его не стеснялась.

— Стоит ли удивляться тому, что они так дружны? — говорили прислужницы. — Ведь они выросли вместе!

— И зачем понадобилось так внезапно разлучать их? Это жестоко!

Казалось бы, и девочка была слишком мала, чтобы о том задумываться, и мальчик не достиг подходящего возраста, однако же отношения между ними сложились как будто вовсе не детские... Во всяком случае, необходимость жить вдали друг от друга весьма огорчала обоих. Дети обменивались совсем еще неумелыми, но многообещающими письмами, которые по детской невнимательности постоянно теряли, так что некоторые дамы имели возможность кое о чем догадаться, но для чего было им делиться своими догадками с другими? Конечно же, они старались сделать вид, будто и веда-ть не ведали...

Отшумели пышные пиршества, а так как впереди не намечалось празднеств, требующих особых приготовлений, жизнь, упорядочившись, текла спокойно и размеренно. Однажды вечером, когда накрапывал дождь и «мискант гнулс под ветром» (191), к старой госпоже зашел министр Двора и, призвав дочь, велел ей играть на кото «со».

Госпожа Оомия всегда славилась необыкновенной музыкальностью и теперь старалась передать свое мастерство внучке.

— Может быть, и в самом деле не так уж приятно смотреть на женщину, играющую на бива*, — говорит министр, — зато именно женщинам удастся достичь истинного благородства звучания. В наши дни не осталось никого, кто владел бы этим инструментом в совершенстве. Разве что принц такой-то или тот вот из дома Гэндзи... Мне говорили, что на бива прекрасно играет особа, которую Великий министр прячет где-то в горах. Но я сомневаюсь в этом: хоть она и принадлежит к роду, некогда давшему миру замечательных музыкантов, но она одна из последних в роду, к тому же долгие годы жила в провинции. Судя по всему, она пользуется особым расположением Великого министра: во всяком случае, он довольно часто рассказывает о ней. Мне всегда казалось, что в музыке, не в пример остальным видам искусства, можно достичь подлинного совершенства, лишь постоянно сообщаясь с другими музыкантами, играя с ними вместе и прислушиваясь к звучанию их инструментов. Мало кто может преуспеть, занимаясь в одиночестве. — И министр предлагает сыграть старой госпоже.

— Ах, но я разучилась даже переставлять подставки, — смущается она, однако все-таки берет бива и играет прекрасно.

— Да, этой женщине с гор выпало большое счастье, — замечает госпожа Оомия. — Впрочем, она представляется мне весьма достойной особой. Родила господину министру дочь, которой до сих пор у него не было, хотя лет ему уже немало... Причем не стала удерживать девочку при себе, чем наверняка поставила бы ее в невыгодное положение, а уступила высокороденной супруге министра. Подобное великодушие свидетельствует о поистине редких душевных качествах.

— Так, место, которое занимает женщина в мире, чаще всего зависит именно от ее душевных качеств, — соглашается министр Двора, а поскольку разговор зашел о женских судьбах, не упускает случая посетовать. — Я всегда полагал, что мне удалось дать нашей нёго безупречное воспитание и она ни в чем не уступает другим. Тем не менее она оказалась оттесненной, да еще особой, о которой никто и подумать не мог... Право же, мир не подвластен нашим желаниям. Я надеялся, что мне повезет хотя бы со второй дочерью. Близится церемония Покрытия главы принца Восточных покоев, и я украдкой тешил себя мыслью, что на этот раз... Но вот, того и гляди, и ее догонит соперница — дочь этой удачливой особы с гор. Уж над ней-то и по-давно невозможно будет взять верх.

— Но как же так? Покойный министр был уверен в том, что государыня будет назначена именно из нашего дома. Потому-то он и старался упрочить положение нёго. Будь он жив сейчас, он не допустил бы столь чудовищной несправедливости, — говорит госпожа Оомия, явно недовольная поведением Великого министра.

Между тем девочка продолжает играть на кото. Она совсем еще юна и чрезвычайно миловидна. Залюбовавшись благородно-прекрасной линией ее лба, ниспадающими по спине волосами, отец не может оторвать от нее глаз, и, смутившись, она чуть отворачивается. Ее нежный профиль прелестен, а тонкие пальчики, прижимающие струны, словно кукольные. Даже старая госпожа смотрит на нее с восхищением.

Исчерпав запас известных ей приемов — «каки», «авасэ»* и прочих, — девочка отодвигает кото. Тогда министр, придвинув к себе японское кото, начинает наигрывать прелестную мелодию в ладу «рити», которая звучит неожиданно уместно*. Право, что за наслаждение слушать игру такого мастера, да еще в столь непринужденной обстановке! В саду на ветках не осталось ни единого листочка. Пожилые дамы сидят, прижавшись одна к другой, за переносными занавесами и, внимая звукам кото, роняют слезы.

«Сила ветра может быть и ничтожной!»* — произносит министр. — Не могу сказать, что звуки моего кото тому причиной, но сегодняшний вечер полон удивительного очарования... Не сыграете ли еще? — обращается он к дочери.

Она начинает играть пьесу «Осенний ветер», а министр подпевает, да так звонко, что старая госпожа не знает, на кого смотреть: и внука, и сын — оба хороши несказанно.

Тут приходит сын Великого министра, словно нарочно для того, чтобы своим присутствием умножить очарование этого пленительного часа.

— Проходите сюда, — говорит министр Двора и, загородив дочь занавесом, впускает юношу в покой.

— В последнее время вы не часто радуете нас посещением. К чему такое рвение в науках? Ведь и господину Великому министру должно быть известно, что опасно иметь знаний больше, чем положено. Возможно, у него есть основания поступать с вами именно таким образом, но все же больно смотреть, как вы чахнете взаперти. Постарайтесь же иногда переключаться на что-нибудь другое. Ведь и в звуках флейты заключено немало древней мудрости... — добавляет он, передавая юноше флейту, и тот, послушно поднеся ее к губам, играет немного наивно, но удивительно изящно. Восхищенный министр перестает перебирать струны и лишь тихонько отбивает такт.

— «Все в узорах из цветов хаги»*, — напевает он.

— Господин Великий министр весьма ценит подобное времяпрепровождение, потому и старается отстраниться от докучных государственных дел. Что ж, я и сам не прочь пожить в свое удовольствие, тем более что мир наш так уныл, — говорит министр, предлагая юноше чашу.

Скоро становится темно, зажигают светильники, и все угощаются рисом и плодами. При этом дочь министр заранее отсылает в дальние покои. Усиленно противясь сближению молодых людей, он и на этот раз старается разлучить их как можно быстрее, даже не дает юноше послушать ее игру на кото. «Жаль их, ничего хорошего из этого не выйдет», — шепчутся пожилые дамы, близко прислуживающие госпоже.

Министр сделал вид, что уходит, а сам задержался тайком, пожелав навестить одну из дам; когда же, выйдя от нее, украдкой пробирався по дому, его внимание было привлечено тихим разговором прислужниц. Он прислушался — речь шла о нем:

— Господин только кажется мудрым, а на самом деле ничем не отличается от любого другого отца.

— Теперь только и жди неприятностей, да и неудивительно...

— А еще говорят: «Никто не знает детей лучше их родителей...»* Не правда все это.

«Вот оно что... Попасть в столь глупое положение... Нельзя сказать, чтобы я ни о чем не догадывался, но ведь они еще дети... Мне и в голову не приходило следить за ней. Как же нелепо устроен мир!» — подумал министр. Сомневаться в услышанном не приходилось, и, не говоря никому ни слова, он вышел. Скоро раздались громкие крики разгоняющих толпу передовых, и дамы недоуменно переглянулись:

— Как, господин министр еще не уехал?

— Где же, в каком углу изволил он прятаться до сих пор?

— Не безрассудно ли в столь почтенном возрасте...

Нетрудно себе представить, как были встревожены те, чей разговор он невольно подслушал!

— То-то мне показалось, что в воздухе витает какой-то необычный аромат. Я еще подумала, что это наш молодой господин.

— Как неприятно! Неужели он слышал?..

— При его суровом нраве...

«Ничего дурного в этом союзе, разумеется, нет, — думал министр, возвращаясь домой, — но его могут счесть слишком заурядным. После того как Великий министр столь безжалостно разрушил будущее моей старшей дочери, я рассчитывал, что хотя бы младшей удастся выдвинуться. Право, досадно...»

Несмотря на то что отношения между министрами всегда — и в старину, и теперь — были весьма дружелюбными, их интересы нередко сталкивались. Вот и на этот раз дух прежнего соперничества, проснувшись, истребил спокойствие в сердце министра Двора, и всю ночь сон не смыкал его глаз. Он с досадой вспоминал, как дамы говорили: «Наверное, и госпожа изволила заметить, но готова смотреть сквозь пальцы на шалости любимых внуков».

Велико было его негодование, а как нравом он отличался суровым и вспыльчивым, не так-то просто было ему сдерживать себя.

Не прошло и двух дней, как министр Двора снова появился в покоях матери. Обрадованная и польщенная таким вниманием, госпожа Оомия тщательнее обыкновенного уложила подстриженные по-монашески волосы, облеклась в нарядное платье. Хоть министр и был ее сыном, она, испытывая крайнюю неловкость в присутствии столь важной особы, никогда не показывала ему своего лица. Всякий заметил бы, что на этот раз он был в особенно дурном расположении духа.

— Мне неприятно стало приходиться сюда. Я знаю, что думают обо мне ваши дамы, и не могу не чувствовать себя уязвленным. Может быть, я и не сумел многого добиться в жизни, но я всегда полагал долгом до конца дней своих неусыпно заботиться о вас и надеялся, что отношения меж нами всегда будут доверительными. К сожалению, некоторые обстоятельства, возникшие по милости одной неблагодарной особы, вынуждают меня выразить вам неудовольствие. Я старался справиться со своими чувствами, понимая, что дурно проявлять подобную непочтительность, но, увы, это оказалось

мне не по силам, — говорит он, утирая слезы, а госпожа, изменившись в лице, широко раскрывает глаза.

— Что же случилось? Как могла такая старуха, как я, чем-то прогневить вас? — спрашивает она, и сердце министра сжимается от жалости, но он не отступает.

— Полностью вам доверяя, я поручил вашим попечениям свою малолетнюю дочь, которой воспитанием до сих пор непростительно пренебрегал. В последние годы, имея немало забот и огорчений, связанных с устройством старшей дочери, которая всегда была мне ближе, я позволил себе полностью положиться на вас, рассчитывая, что вы дадите младшей приличное ее полуобразование. И вот совершенно неожиданно мне открылись весьма прискорбные обстоятельства. Я вовсе не хочу умалять достоинств юноши, может быть, он и в самом деле так учен, что нет ему равных в Поднебесной. Но вы же знаете, что свет не одобряет союзов между близкими родственниками. Даже среди людей низкого состояния они считаются предосудительными, а нам тем более трудно надеяться на снисхождение. Куда лучше отдать его зятем в семейство, не связанное с нашим узами крови, но столь же благородное и процветающее, где его окружают достойной его звания роскошью. В браках между близкими родственниками есть что-то порочное, и я думаю, что господин Великий министр тоже будет против. Жаль, что вы не рассказали мне об этом раньше, мы попытались бы соблюсти хотя бы внешнюю благопристойность. Досадно, что вы сочли возможным полностью предоставить детей самим себе.

Нетрудно вообразить изумление не ведающей ни о чем госпожи!

— Не могу не согласиться со всем, что вы сказали, но я ведь и не подозревала... Так что в первую очередь я должна чувствовать себя обиженной. А вы обвиняете меня в соучастии! С тех пор как вы поручили мне дочь, она была предметом особых моих попечений, и, хотя вы не жаловали ее вниманием, я тайком постаралась дать ей самое лучшее воспитание. Как вы могли подумать, что, ослепленная любовью к внукам, я содействовала их сближению? Да мне и в голову не приходило ничего подобного. Но кто вам об этом сказал? Возможно, вы преувеличиваете. Пристало ли вам с такой легкостью верить наветам дурных людей и понапрасну порочить имя собственной дочери?

— Какое там преувеличение! Даже прислужницы втихомолку смеются над нами. Так могу ли я не огорчаться и не тревожиться? — говорит министр и уходит.

Дамы, знающие, в чем дело, были весьма огорчены. А те, чей разговор он подслушал прошлой ночью, совсем приуныли. «Зачем мы так разоткровенничались?» — раскаивались они.

Девочка, ни о чем не подозревая, сидела в своих покоях, когда к ней неожиданно заглянул министр. Она была так прелестна, что он невольно почувствовал себя растроганным.

— Я знал, что она совсем еще дитя, — вздыхая, проговорил он, — но не думал, что она настолько неразумна, и, как ни в чем не бывало, тешил себя надеждами. Право, я оказался глупее всех.

Увы, кормилицам и прочим прислуживающим девочке дамам нечего было сказать в свое оправдание.



— Бывает, что даже безгранично любимые дочери государей поступают столь же опрометчиво. В старинных повестях мы видим немало подобных примеров. Всегда находится какая-нибудь прислужница, которая, узнав о чувствах молодых людей, становится их посредницей и отыскивает средство свести их. А эти к тому же столько лет жили вместе.

— Ах, да у нас и в мыслях не было... Они ведь совсем еще дети, могли ли мы позволить себе превзойти в строгости госпожу и разлучить их? А с конца прошлого года они и вовсе воспитываются раздельно.

— Встречаются, конечно, юноши ветреные, не по возрасту искушенные в мирских делах. Но наш молодой господин всегда считался образцом благонравия. Невозможно было предположить... — оправдываются они, каждая на свой лад.

— Ну хорошо. Смотрите только не проболтайтесь. Такие дела редко удаются скрыть, но все-таки постарайтесь. Делайте вид, будто ничего не случилось, отрицайте все слухи как совершенно неправдоподобные. А дочь я заберу к себе. Меня чрезвычайно огорчает поведение госпожи. Ну, разумеется, вы этого не хотели... — говорит он им, и, как ни удручены кормилицы и прочие дамы, они не могут не радоваться, видя, что им удалось избежать его гнева.

— О, можете быть уверены... Только бы слух об этом не дошел до Адзэтино дайнагона.

— Как ни велики достоинства молодого господина, разве стали бы мы желать для нее союза с простым подданным?

Сама же юная госпожа в простоте душевной ничего не понимала, и тщетно пытался министр объяснить ей, как должно вести себя благовоспитанной девице. В конце концов он вынужден был отступить и ушел, вздыхая.

Однако же надо было как-то спасать ее будущее, и министр время от времени призывал к себе немногих избранных дам и советовался с ними, продолжая винить во всем старую госпожу. Она же, любя обоих внуков, очевидно, больше была расположена к юноше, во всяком случае, узнав о его сердечной склонности, умилилась и, не понимая, почему так велико негодование министра, подумала: «Стоит ли придавать случившемуся такое значение? Сначала он не обращал на дочь никакого внимания, и не займись я как следует ее воспитанием, у него не возникло бы и мысли о Весенних покаях. Если же девочке суждено стать супругой простого подданного, лучше нашего молодого господина не найдешь. Разве есть на свете человек, достойнее его и наружностью, и душевными качествами? Я предполагала соединить его с особой куда более высокого звания...»

Велика была любовь старой госпожи к внуку, потому она и обиделась за него. Можно себе представить, как разгневался бы министр, случись ему проникнуть в ее тайные думы.

Тем временем, не ведая о переполохе, пришел сам молодой господин. Прошлой ночью в доме было слишком многолюдно, и он принужден был уйти, так и не сумев высказать юной госпоже все, что накопилось у него на душе, а потому, переполненный нежными чувствами, на следующий же день пришел снова.

Старая госпожа, всегда встречавшая внука радостной улыбкой, на этот раз была весьма сурова и, беседуя с ним о разных разностях, между прочим сказала:

— Господин министр Двора рассердился на меня из-за тебя, и мне очень неприятно... Своим предосудительным поведением ты ставишь всех в затруднительное положение. Я не хотела ничего говорить, но, решив, что тебе следует знать об этом...

Юноша, который сам о том помышлял беспрестанно, сразу же догадался, о чем идет речь, и, покраснев, ответил:

— Что вы имеете в виду? Я почти ни с кем не встречаюсь с тех пор, как живу затворником. Мне кажется, что у господина министра нет никаких оснований чувствовать себя обиженным.

Он с трудом скрывал замешательство, и, глядя на него с нежностью и участием, госпожа сказала:

— Ну хорошо, только впредь постарайся быть осмотрительнее.. — и тут же заговорила о другом.

«Теперь я вряд ли смогу даже писать к ней...» — подумал юноша, и ему стало совсем грустно.

Приносят разные кушанья, но, даже не притронувшись к ним, он притворяется спящим, однако на сердце у него беспокойно, и, когда дом затихает, он протягивает руку, чтобы отодвинуть перегородку, но вот странность — перегородка, за которой находятся покои юной госпожи, вопреки

обыкновенно оказывается запертой, и из-за нее не доносится ни звука. Со всем приуныв, он садится, прислонившись к перегородке спиной.

Судя по всему, юная госпожа тоже не спит. Листья бамбука шелестят на ветру, откуда-то издали доносятся неясные крики диких гусей. Видно, даже ее юное сердечко сжимается от какого-то смутного томления, и она тихонько произносит словно про себя:

— Ах, эти гуси в небе, туманом затянутом, на меня так похожи...» (192)

Ее совсем еще детский голосок необыкновенно нежен. Не сумев справиться с волнением, юноша зовет:

— Откройте же! Нет ли там госпожи Кодзидзю?

Но никто не откликается.

Кодзидзю — так называют молочную сестру юной госпожи. Поняв, что он усыхал невольно сорвавшийся с ее губ слова, девочка застыдилась и неловко накинула на голову ночное платье. Да, она вела себя совсем по-детски, но, к сожалению, ей уже открылось очарование нежных чувств... Рядом лежат кормилицы, поэтому молодые люди боятся даже шелохнуться.

В небе ночном
Друзей призывая, кричат
Дикие гуси.
Вторя их крикам тоскливым,
Стонет в чаще мисканта ветер...

«Полнит истомой все тело...» (193)

Вернувшись в опочивальню, юноша всю ночь ворочался на своем ложе, стараясь не вздыхать слишком громко, чтобы не разбудить старую госпожу.

Рано утром, терзаемый нестерпимым стыдом, он перешел в свои покои и там написал юной госпоже письмо. Однако ему не удалось встретиться не только с ней, но и с Кодзидзю. Как было тут не впасть в уныние? Девочка тоже была смущена, но лишь потому, что окружающие выказывали столь явное беспокойство. Ни о собственном будущем, ни о возможных пересудах она не думала — как всегда, милая и прелестная, спокойно прислушивалась к перешептыванию дам, но ни малейшей неприязни к юноше не возникло в ее сердце. Она не понимала, что сделала дурного и зачем надо было поднимать такой шум. Однако прислужницы наперебой пеняли ей за легкомыслие, и она не осмеливалась больше писать к юноше.

Будь он взрослее, он наверняка нашел бы средство снестись с ней, но он был еще моложе ее и только печалился и вздыхал.

Министр Двора, по-прежнему недовольный поведением старой госпожи, давно уже не навещался к ней. Он не стал рассказывать о случившемся своей супруге, но однажды, придя к ней с видом весьма озабоченным, сказал:

— Похоже, что наша нёго слишком удручена невиданной пышностью, которой сопровождалось представление ко двору новой Государыни-супруги. Я намереваюсь забрать ее домой, пусть отдохнет немного. Государь, несмотря ни на что, почти не отпускает ее от себя. Дамы и те совершенно измучены.

И министр немедленно перевез дочь домой. Весьма трудно было получить на то разрешение Государя, однако он сумел настоять на своем.

— Боюсь, что здесь вам будет скучно. Я перевезу сюда вашу сестру, вдвоем вы найдете, чем занять себя. Она находится теперь на попечении госпожи Оомия, так что за нее можно было бы и не беспокоиться, если б не сын Великого министра, который дерзок не по годам. Они привыкли жить в одном доме, а возраст у них самый опасный... — объяснил министр нёго и столь же незамедлительно перевез к себе младшую дочь, весьма огорчив этим старую госпожу.

— Потеряв единственную дочь, — сетовала она, — я влачила дни, изнывая от тоски и одиночества, пока, к счастью моему, в доме не появилась эта девочка. Я надеялась, что заботы о ней скрасят мое существование, видела в ней единственную отраду своей старости. Право, я не ожидала от вас такой нечуткости.

— Я ведь уже объяснял вам, что именно беспокоит меня, — почтительно отвечал министр. — Так стоит ли обвинять меня в нечуткости? К тому же я увожу ее совсем ненадолго. Дело в том, что моя старшая дочь, та, которая служит при Государе, настолько удручена некоторыми обстоятельствами своей жизни, что я счел необходимым перевезти ее к себе. Вдвоем с сестрой ей будет веселее, они смогут вместе заниматься музыкой и прочим... По моему, нет нужды уверять вас в том, сколь велика моя признательность. Я никогда не забуду, что именно вы вырастили ее и дали ей столь безупречное воспитание, — добавил он, и хотя госпожа Оомия чувствовала себя обиженной, ей ничего не оставалось, как смириться, ибо министр не имел обыкновения отказываться от принятого решения.

— Есть ли что-нибудь безжалостнее человеческого сердца? — плача, сказала она. — Разумеется, было бы лучше, если бы мои неразумные внуки открылись мне. Но что от них требовать? Они совсем еще дети... А вот господин министр давно уже проник в душу вещей, и то, что он гневается на меня и разлучает с любимой внучкой... Да и не верю я, что там ей будет лучше, чем здесь.

Тут как раз появился юноша. В последнее время он бывал здесь довольно часто, как видно надеясь: «Может, удастся улучшить миг...» Заметив у дома кареты министра Двора, он, чувствуя себя виноватым и робея, поспешил украдкой пробраться в свои покои.

Вместе с министром Двора приехали его сыновья: Са-но сёсё, Сёнагон, Хёэ-но сукэ, Дзидзю, Таю, но никому из них не разрешалось входить за занавеси. Следуя заветам ушедшего Великого министра, старую госпожу часто навещали его побочные сыновья: Саэмон-но ками, Гон-тюнагон и прочие. Они приводили с собой детей, но никто из них не мог сравниться с сыном Великого министра Гэндзи.

Госпожа Оомия питала к внуку сильнейшую привязанность, и только младшей внучке, которая в последнее время стала единственным предметом ее попечений и которой постоянное присутствие скрашивало ее одиночество, удалось занять в ее сердце почти такое же место. Поэтому мысль о предстоящей разлуке приводила госпожу в отчаяние.

— Я уезжаю во Дворец, а вечером вернусь за дочерью, — заявил министр и уехал.

«Да, теперь ничего уже не изменишь! Пожалуй, лучше было бы смириться и не препятствовать им...» — думал он по дороге, но досада все не про-

ходила и в конце концов он рассудил так: «Когда положение юноши упрочится и он займет достойное место в мире, тогда и посмотрим. Если их чувства не переменятся и я сочту возможным дать свое согласие на этот союз, он будет заключен так, как полагается по обычаю. А сейчас не помогут никакие просьбы, никакие запреты — пока они будут жить в одном доме, они будут поступать так, как им заблагорассудится, и немало неприятностей ждет нас впереди. Тем более что госпожа Оомия, судя по всему, не собирается их в чем-то ограничивать.

Придя к окончательному решению, министр постарался убедить как старую госпожу, так и супругу свою в том, что тоскующая нёго нуждается в утешении, и перевез младшую дочь к себе.

Незадолго до отъезда от старой госпожи принесли письмо следующего содержания:

«Твой отец сердится на меня. Но ты-то, надеюсь, понимаешь, сколь глубоки мои чувства? Покажись же мне на прощание».

Принарядившись, девочка отправилась к госпоже. Ей недавно исполнилось четырнадцать, но она казалась совсем еще ребенком. Вместе с тем ей нельзя было отказать в миловидности и изяществе, а спокойное достоинство, с которым она держалась, вызывало невольное восхищение.

— Мы никогда не расставались с тобой! Ты была единственной отрадой дней моих и ночей. Как же мне будет теперь одиноко! — плача, говорила госпожа Оомия. — Жить мне осталось немного, и я всегда печалилась, зная, что не сумею дожидаться твоего расцвета. Так могу ли я оставаться спокойной теперь, когда ты покидаешь меня и уезжаешь неведомо куда?

Девочка же, чувствуя себя виноватой, лишь молча плакала, не поднимая головы. Тут вышла госпожа Сайсё, кормилица юноши.

— Я относилась к вам совершенно так же, как к своему господину. Как жаль, что вас увозят! Если вдруг господин министр захочет распорядиться вашей судьбой по-своему, смотрите, не соглашайтесь! — нашептывала она девочке, а та, смутившись, не знала, что и отвечать.

— Не стоит говорить о таких мудреных вещах, — рассердилась госпожа Оомия. — Человек не может знать своего предопределения.

— Да не в этом дело! — недовольно ответила кормилица. — Просто мне не нравится, что господин министр изволит с таким пренебрежением относиться к моему господину, видно вовсе никчемным его почитая. Так пусть спросит кого угодно, и ему скажут, хуже он других или нет.

А юноша тем временем, стоя за занавесями, смотрел на них, и слезы текли по его щекам. В другое время он не решился бы вести себя столь предосудительно, но сегодня ему было не до приличий.

Сжалившись над ним, кормилица постаралась каким-то образом отвлечь внимание старой госпожи и, воспользовавшись царившей в доме суматохой, устроила им свидание.

Стыдась друг друга и не имея сил превозмочь сердечное волнение, они долго не могли вымолвить ни слова и лишь молча плакали.

— Как жесток ваш отец! — говорит наконец юноша. — Я готов смириться и забыть вас, но боюсь, что умру от тоски. О, зачем не встречались мы чаще, когда ничто тому не мешало...

Право, нельзя было не растрогаться, глядя на его юное лицо.

— Боюсь, что и я тоже... — отвечает девочка.

— Будете вы тосковать? — спрашивает он, и она кивает в ответ. Что за милое дитя!

Тем временем зажигают светильники, вот-вот появится министр Двора; во всяком случае, уже слышны громкие крики разгоняющих толпу передовых. Услыхав встревоженные голоса всполошившихся дам, девочка задрожала от страха. «Пусть делают со мной что хотят...» — решает юноша, не отпуская ее.

Входит разыскивающая свою госпожу кормилица и тут замечает, что она не одна. «Вот до чего дошло! В самом деле, трудно поверить, чтобы старая госпожа не знала».

— Как дурно вы себя ведете! — возмущается она. — Воображаю, в какую ярость изволит прийти господин министр! А господин Адзэти-но дайнагон? Что он скажет? Достоинства молодого господина не вызывают сомнений, но начинать с Шестого ранга — незавидная судьба!

Кормилица стояла рядом с ширмой, за которой сидели влюбленные, и они слышали каждое ее слово. «Она презирает меня за низкий ранг...» — подумал юноша, и такая жгучая обида сжала его сердце, что даже его чувство к юной госпоже словно потускнело.

— Вы только послушайте! — говорит он.

Мои рукава,
От слез кровавых промокнув,
Алыми стали.
Вряд ли стоит смеяться над ними,
Зелеными называя...

— Ей должно быть стыдно! — добавляет он, вздыхая, а девочка отвечает:

— Окрашены дни
В тона унылые, мрачные.
О скажи, для чего
Судьба сплела наши жизни
В столь прихотливый узор?

Не успела она договорить, как вошел министр Двора, и — делать нечего — пришлось расставаться. Юноша был в отчаянии — ему казалось, что она потеряна для него навсегда. Ничего не видя перед собой, он вернулся в свои покои и лег.

Вскоре донесся до него шум трех отъезжающих карет, негромкие крики передовых, и свет померк в его глазах. Принесли записку от старой госпожи с просьбой явиться, но, притворившись спящим, юноша не двинулся с места, только слезы, не высыхая, струились по его щекам. Он проплакал всю ночь, а утром, когда сад был еще белым от инея, поспешил уехать.

Ему не хотелось, чтобы люди видели его с опухшими от слез глазами, да и старая госпожа наверняка снова прислала бы за ним, потому он и удалился туда, где никто его не мог потревожить. «Я знаю, что сам виноват во всем, но как же мне горько!» — думал он, возвращаясь в дом на Второй линии. По небу плыли мрачные, серые тучи, вокруг было еще темно...

Иней и лед
Сковали унынием землю,
В предутренный час
Сумрачно-серое небо
Потемнело от слез...

В нынешнем году одну из танцовщиц Госэти* должен был поставить дом Великого министра. Разумеется, о каких-то особенных приготовлениях и речи быть не могло, но, поскольку времени оставалось немного, в доме на Второй линии срочно шились новые платья для девочек-служанок. В Восточной усадьбе готовили наряды для церемонии представления ко двору. Великий министр сам позаботился обо всем необходимом, но кое-что изволила прислать Государыня-супруга, в частности великолепные одеяния, предназначенные для сопровождающих танцовщицу девочек и низших служанок.

В прошлом году праздник Нового урожая, равно как и прочие, был отменен*, и, возможно желая вознаградить себя за столь долгое воздержание, люди готовились к нынешнему празднеству с гораздо большим воодушевлением, чем обычно. Никто не желал оказаться хуже других, и ходили слухи, что предстоит зрелище, невиданное по размаху. Помимо Великого министра танцовщиц в этом году должны были поставить Адзэти-но дайнагон и Саэмон-но kami, а от низших придворных — Ёсикиё, который, получив звание сатюбэна, одновременно стал правителем Оми. В нынешнем году Государь соизволил издать особый указ, согласно которому танцовщицы оставались на придворной службе, поэтому все стремились отдать своих родных дочерей. И только Великий министр готовил для этой цели дочь Корэмицу, имевшего теперь звание сакё-но таю и одновременно являвшегося правителем страны Цу. О миловидности и необыкновенных дарованиях этой особы давно уже поговаривали в мире.

Корэмицу позволил себе высказать некоторые опасения, но его пристыдили:

— Даже Адзэти-но дайнагон отдает побочную дочь...

— Неужели вам кажется зазорным, что ваша любимая дочь станет танцовщицей?

После некоторых колебаний Корэмицу согласился, ведь все равно он собирался отдавать дочь на службу во Дворец.

Пока будущая танцовщица в отчем доме прилежно совершенствовалась в танцах, Корэмицу с величайшим тщанием подбирал для нее свиту. И вот в назначенный день вечером он привез дочь в дом на Второй линии.

В свою очередь, Великий министр устроил смотр девочкам, прислуживающим в его доме, дабы отобрать самых миловидных. Разумеется, быть избранной почиталось за великую честь. Незадолго до церемонии представления ко двору министр еще раз призвал к себе девочек, чтобы окончательно решить, кто из них войдет в свиту танцовщицы. Однако все они оказались такими привлекательными, такими нарядными, что ни одну нельзя было отвергнуть.

— Жаль, что не нужна еще одна свита, — засмеялся Гэндзи.

В конце концов отобрали тех, кто выделялся особым изяществом и благородством манер.

Как раз в это время постигающий науки молодой господин вышел прогуляться в надежде рассеять гнетущие мысли. В последние дни, томимый тайной горестью — ни на что не смотрел бы — он совсем забросил книги и с утра до вечера лежал, погруженный в глубокую задумчивость, поэтому его появление не осталось незамеченным. Он был очень хорош собой и держался с таким достоинством, что молодые дамы замирали от восхищения, на него глядя.

Обычно ему не разрешалось приближаться к покоям госпожи Мурасаки, даже к занавесям, их отделявшим, он не смел подходить. Может быть, Великий министр особенно настаивал на этом, памятуя грехи собственной молодости? Так или иначе, юноша никогда не бывал в Западном флигеле и не имел близких отношений ни с кем из живущих там прислужниц.

Сегодня же, воспользовавшись царящей в доме суматохой, он зашел и сюда. Тихонько пробравшись к стоящим возле боковой двери ширмам, за которыми временно поместили бережно вынесенную из кареты танцовщицу, он заглянул внутрь: девушка с видом крайне утомленным сидела, облокотившись на скамеечку-подлокотник. Судя по всему, ей было примерно столько же лет, сколько и дочери министра Двора, но она казалась выше ростом, стройнее и едва ли не превосходила последнюю милотливостью.

Вокруг было темно, и юноша не мог разглядеть ее как следует, однако она слишком живо напомнила ему его возлюбленную, и хотя нельзя утверждать, что прежнее чувство было вытеснено из его сердца... Он тихонько потянул девушку за рукав и сказал:

— Деве небес*,
Тоёко-химэ светлейшей,
Ты служишь теперь.
Но не забудь — по-прежнему
Ты осталась в плену моих дум (194).

О да, «с того давнего, давнего мига...» (513).

Право, все это было для нее полной неожиданностью. Голос, произнесший столь странные слова, показался девушке юным и весьма приятным, но догадаться, кто это, она не могла и совсем растерялась. Тут вошли озабоченные прислужницы, собиравшиеся, как видно, еще раз проверить, в порядке ли ее наряд, поправить прическу, в покоях стало шумно, и, раздосадованный, юноша принужден был удалиться.

Стыдась своего зеленого платья, он пребывал в крайне дурном расположении духа и почти не показывался во Дворце, однако сегодня все же решил поехать туда, тем более что на празднике Госэти разрешалось присутствовать в носу, которое могло быть любого цвета. Несмотря на почти детскую нежность лица, юноша казался старше своих лет и держался довольно уверенно. Государь благоволил к нему, да и при дворе его значение было довольно высоко, чего мало кому удастся достичь в столь юном возрасте.

Во время церемонии представления ко двору все танцовщицы показали себя с лучшей стороны, и трудно было кому-то отдать предпочтение. Однако многие сочли возможным особо выделить благородных девиц из домов Великого министра и Адзэти-но дайнагона.

Они и в самом деле отличались необыкновенной миловидностью, но, пожалуй, дочь Корэмицу все же превосходила соперницу. В ее красоте было что-то гордое, величавое и вместе с тем милое до очарования. Одета с восхитительным изяществом и убранная сообразно требованиям современного вкуса, она казалась гораздо выше своего звания, и придворные наперебой восхваляли ее достоинства.

Все танцовщицы были старше, чем обыкновенно, так что и в этом отношении нынешний год можно назвать особенным. Любуясь ими, Великий министр невольно вспомнил деву Госэти, которая так восхитила его когда-то. И вот в день Дракона, в сумерках, отправил ей письмо. Нетрудно себе представить его содержание:

«Юная дева,
И она, наверно, состарилась,
Ведь совсем уже стар
Тот, кто видел, как ввысь взлетали
Небесные рукава...»

Перебирая в памяти луны и годы, с тех пор протекшие, Гэндзи не сумел справиться с душевным волнением и написал это письмо, которое, разумеется, растрогало женщину, но, увы, не напрасно ли?..

«Речи твои
Так живо напомнили день,
Когда солнечный свет,
Меня озарив, растопил
Иней на рукавах...»

Она выбрала узорчатую бумагу, которая, будучи того же синего цвета, что и платья танцовщиц Госэти, как нельзя лучше подходила к случаю, и, нарочно изменив почерк, написала эти несколько строк изящной скорописью, с переходами в тональности туши — от густо-черной к тающей-бледной, еле уловимой глазом. От женщины ее ранга лучшего и ожидать было невозможно.

Сын Великого министра, плененный красотой юной танцовщицы, томился тайным желанием снова увидеть ее, но, избегая короткости, она старалась держать его в отдалении, а поскольку юноша был еще слишком робок, ему оставалось только вздыхать. А надо сказать, что девушка весьма ему по душе пришлась, и у него даже возникла надежда, что она поможет ему утешиться и примириться с потерей той, другой, которая, наверное, и думать о нем забыла.

Предполагалось, что танцовщицы, оставшись во Дворце, незамедлительно приступят к придворным обязанностям, но после церемонии представления они разъехались по отчим домам, откуда дочь правителя Оми отправилась на Священное омовение в Карасаки*, а дочь правителя Цу — в Нанива, причем каждая постаралась затмить соперницу пышностью свиты. Адзэти-но дайнагон еще раз подтвердил свою готовность отдать дочь на службу во Дворец. Саэмон-но ками навлек на себя всеобщее осуждение тем, что представил ко двору девицу, недостойную принимать участие в столь значительной церемонии, но в конце концов ее тоже оставили во Дворце.

Прослышав, что в Отделении дворцовых прислужниц пустует место распорядительницы, найси-но сукэ, правитель Цу обратился к Великому министру с просьбой о содействии, и тот выразил готовность сделать все, что в его силах. Узнав о том, юноша почувствовал себя еще более уязвленным. «Будь я постарше и в чинах, — подумал он, — я попросил бы ее себе, мое же положение настолько ничтожно, что я вряд ли решусь даже открыть ей свое сердце...»

Нельзя сказать, чтобы намерения юноши и в самом деле были столь определенны, но известие о поступлении танцовщицы на придворную службу возбудило в нем досаду, и слезы то и дело навертывались ему на глаза. Он постарался сблизиться с ее братом, мальчиком, прислуживающим во Дворце и довольно часто бывавшим в доме на Второй линии.

— Когда твоя сестрица должна приступить к придворным обязанностям? — спросил он его однажды.

— Кажется, уже в этом году, — отвечал тот.

— Своей необыкновенной красотой она покорила мое сердце. Как я завидаю тебе, ведь ты часто ее видишь. Смею ли я надеяться, что при случае...

— Что вы, разве можно? Я и сам не могу видеться с ней так часто, как мне этого хотелось бы. А уж ежели братьям не позволяют приближаться к ней...

— Тогда хотя бы письмо... — упрашивал юноша.

Хорошо помня, что отец не раз наставлял его, как должно вести себя в подобных случаях, мальчик долго колебался, но в конце концов, вняв настояниям юноши, передал письмо сестре, и та прочла его с восхищением. Как видно, несмотря на юный возраст, она знала толк в таких вещах. Письмо было написано на тонкой светло-зеленой бумаге и завернуто в несколько листков, умело подобранных по цвету. Почерк — совсем еще юный, но многообещающе изысканный.

«Знаешь ли ты,
Озаренная солнечным светом
Юная дева,
Что сердце мое в плену
У небесных твоих рукавов?»

Залюбовавшись письмом, они не заметили, как вошел отец, и, до смерти перепугавшись и растерявшись, не успели ничего спрятать.

— Что это за письмо? — спрашивает Корэмицу, отбирая у них зеленоватый листок бумаги, и лица брата и сестры заливаются жарким румянцем.

— Как вы посмели! — негодует отец.

Мальчик пытается скрыться, но это ему не удастся.

— От кого это письмо?

— Молодой господин из дома Великого министра попросил меня передать... — отвечает мальчик, и, сразу же позабыв о гневе, отец довольно улыбается.

— Что за милые шалости! Вам почти столько же лет, сколько ему, а вы ни на что не способны.

Корэмицу поспешил показать письмо супруге.

— Если он готов удостоить нашу дочь вниманием, я предпочел бы отдать ее ему, чем отправлять во Дворец, где ей вряд ли удастся выделиться. Я хо-

рошо знаю, насколько надежен его отец, Великий министр, он не забыл ни одной женщины, с которой когда-либо был связан. Может быть, мне пове- зет так же, как Вступившему на Путь из Акаси?..

Однако его никто не слушал, все были заняты приготовлениями к пере- езд танцовщицы во Дворец.

А юноша между тем грустил и печалился, ибо, как ни хороша была дочь Корэмицу, сердцем его по-прежнему владела другая, а он даже написать ей не имел возможности. «Неужели я никогда больше не увижу ее милого лица?» — терзался он, но, увы... Даже к госпоже Оомия он перестал приез- жать, так тяжело было у него на душе. Покои, где раньше жила его возлюб- ленная, где они играли в детстве, будили в душе томительные воспомина- ния, и юноша старался как можно реже бывать в родном доме.

Великий министр поручил сына заботам обитательницы Восточной усадьбы.

— Госпоже Оомия недолго осталось жить в этом мире. Когда ее не стан- ет, вам придется взять молодого господина на свое попечение, так что чем раньше вы к нему привыкнете...

Во всем послушная Гэндзи, женщина окружила юношу нежными за- ботами. Иногда ему случалось мельком видеть ее, и он думал: «А ведь она совсем некрасива. И все-таки отец не может ее оставить. Не глупо ли, что мое сердце до сих пор стремится к той, которая скорее всего давно забыла о моем существовании? Не лучше ли соединить судьбу с такой вот кроткой женщиной? Впрочем, вряд ли приятно иметь супругу, на которую и смот- реть-то не хочется. Взять, к примеру, господина Великого министра. Уже много лет заботится он об этой особе, но, хорошо зная ее достоинства и не- достатки, прячет ее за ширмами, многослойными, как листья лилий, чтобы, встречаясь с ней, не видеть ее лица. И он совершенно прав».

Юноше и самому неловко становилось от таких мыслей. Но ведь его с детства окружали прелестные женские лица, на которые глядя он успел укрепиться в мысли, что все женщины красивы. Даже госпожа Оомия, несмотря на монашеское обличье, до сих пор была по-своему миловидна. Поэтому юноша с некоторым пренебрежением относился к обитатель- нице Восточной усадьбы, которая и в молодые годы не отличалась осо- бенной красотой, а теперь стала просто уродлива. Чрезмерная худоба, сильно поредевшие волосы — все это производило весьма неприятное впечатление.

Приблизился конец года, и госпожа Оомия поспешила приготовить вну- ку — теперь одному ему — новогоднее платье. Множество великолепных нарядов было сшито, но, юноша и на них смотрел с досадой.

— К чему было утруждать себя? Я не уверен, что в первый день года во- обще пойду во Дворец, — заявил он.

— Но почему? Можно подумать, ты дряхлый дряхлый старик, — попе- няла ему госпожа.

— Разумеется, я не старик, но мне кажется, что сил у меня и в самом деле уже не осталось, — тихонько, словно ни к кому не обращаясь, прого- ворил юноша, и слезы заблестели у него на глазах. «Видно, не может забыть ее», — подумала госпожа и так обидно ей стало за внука, что она едва не заплакала.

— Даже в самом жалком положении очутившись, мужчина должен уметь сохранять достоинство, — сказала она. — Не годится проявлять такое малодушие. Да и о чем тебе печалиться? Сегодня это вовсе не к добру.

— В самом деле — о чем? Вот только люди смеются надо мной, называя придворным без ранга. Знаю, что это ненадолго, но мне неприятно бывать во Дворце. Был бы жив мой дед, меня никто даже в шутку не осмелился бы попрекнуть низким званием. Я понимаю, что не должен сторониться отца, но он слишком суров, и особой доверительности меж нами нет. Даже в его покои я не смею заходить и вижу с ним лишь тогда, когда он бывает в Восточной усадьбе. Одна лишь госпожа Западных покоев принимает во мне участие. Ах, если бы была жива матушка!

По щекам юноши текли слезы, и он пытался их скрыть. Печаль его была столь трогательна, что госпожа Оомия не выдержала и тоже заплакала.

— Печаль сокрушает сердце каждого, кто потерял мать, какого бы звания он ни был, — говорит она. — Но все люди раньше или позже достигают того положения в мире, которое им предопределено, и тогда уже никто не осмеливается ими пренебрегать. Не поддавайтесь же мрачным мыслям! Как жаль, что твой дед так рано оставил нас! Разумеется, ты имеешь надежного покровителя, но, к сожалению, он не всегда откликается на мои просьбы. А господин министр Двора, хоть люди и превозносят его до небес, совсем переменялся ко мне, и я не устаю сетовать на собственное долголетие. Когда же ты, человек, только что вступивший в жизнь, начинаешь по пустякам падать духом, мир представляется еще более безотрадным.

Первый день года Великий министр, воспользовавшись тем, что его присутствие во Дворце не обязательно, провел в доме на Второй линии, предаваясь всевозможным тихим удовольствиям. Следуя примеру человека, известного в мире под именем министра Ёсифуса*, он любовался шествием Белых коней из своего собственного дома, да и остальные обряды, которыми принято отмечать наступление Нового года, справил в своей усадьбе, причем с гораздо большим размахом, нежели тогда, когда этому было положено начало.

По прошествии Двадцатого дня Второй луны Государь изволил посетить дворец Судзаку. Вишни еще не были в полном цвету, но на Третью луну приходилась годовщина со дня кончины государыни-супруги. Впрочем, цветы, распустившиеся раньше других, всегда таят в себе какое-то особое очарование.

Во дворце Судзаку не пожалели сил, чтобы достойно встретить Государя. Все было приведено в порядок и начищено до блеска. Не менее тщательно подготовились к церемонии и те, кому предстояло сопутствовать Государю, — его свита, в которую вошли все высшие сановники и принцы крови, поражала великолепием. Придворные были в желтовато-зеленых парадных платьях, надетых поверх нижних одеяний цвета «вишня», а Государь был в красном.

По особому указу в церемонии участвовал и Великий министр. На нем тоже было красное платье, и словно одним светом светились они с Государем, так что иногда трудно было отличить одного от другого.

Было в этой церемонии что-то такое, что делало ее непохожей на предыдущие. Наряды людей, праздничное убранство — все казалось необычным.

Ушедший на покой государь за последние годы стал еще прекраснее, какая-то особая утонченность появилась в его чертах.

Вместо магистров словесности пригласили десятерых наиболее одаренных учащихся из Палаты наук и образования. Им, словно в Церемониальном ведомстве, были розданы темы. Судя по всему, Государь задумал подвергнуть испытанию сына Великого министра.

Робких школяров, не помнивших себя от страха и вид имевших весьма растерянный, посадили в лодки, и они поплыли по пруду — каждый к своему острову*.

Солнце спускалось все ниже, по водной глади скользили лодки с музыкантами, звучала музыка. Ветер, прилетая с гор, вторил голосам инструментов, сообщая им особую прелесть.

Юноша из дома Великого министра с трудом скрывал досаду: «Почему я должен корпеть над стихами, вместо того чтобы развлекаться вместе со всеми?»

Когда исполняли танец «Трели весеннего соловья», невольно вспомнился тот давний праздник цветов...*

— Доведется ли нам еще раз увидеть что-нибудь подобное? — вздохнул бывший государь, и растроганный Великий министр унесся думами в прошлое. Когда замолкла музыка, он поднес бывшему государю чашу:

...Поют соловьи,
Точно так же, как пели когда-то
В те давние дни.
Но совсем другие цветы
Теперь окружают нас...

Вот что ответил бывший государь:

— Девять врат далеки.
Где-то там, за густыми туманами,
Но сегодня и здесь,
В бедном моем жилище,
Весну возвестил соловей...

Принц Соти, которого называли теперь принцем Хёбукё, поднеся чашу нынешнему Государю, сказал:

— Флейт голоса
Доносят до нас звучанье
Минувших времен.
Соловьи, и они в этот день
Поют точно так же, как прежде.

Тонко сказано, не правда ли? Приняв чашу, Государь произнес с неповторимым изяществом:

— Поют соловьи,
С ветки на ветку порхая.
Их голоса
Звучат тоской по былому.
Но разве поблекли цветы?

Церемония носила частный характер, и то ли чаши предлагались не всем, то ли не всё сочли нужным записывать...

Музыканты располагались поодаль, и музыки почти не было слышно, поэтому Государь распорядился, чтобы принесли струнные инструменты и раздали присутствующим. Принцу Хёбукё досталось бива, министру Двора — японское кото, а кото «со» поставили перед бывшим государем. Китайское кото, как всегда, отдали Великому министру. Все они были выдающимися музыкантами своего времени и в совершенстве владели приемами игры, но, говорят, в тот день им удалось превзойти самих себя.

В церемонии участвовали многие придворные певцы. После «Благословенья» они запели «Деву из Сакура»*. Скоро на небо выплыла прекрасная, окутанная легкой дымкой луна, на островах замерцали огни, и празднество подошло к концу.

Стояла поздняя ночь, но уехать, не засвидетельствовав своего почтения Великой государыне, было бы неучтиво, и Государь отправился во дворец Казано. Его сопровождал Великий министр. Немалую радость доставили они государыне.

Увидев ее, давно уже миновавшую пору расцвета, Великий министр невольно вспомнил ушедшую государыню и с досадой подумал: «Есть же люди, которые надолго задерживаются в этом мире...»

— Я совсем стара и все забыла... Но ваше милостивое посещение ставило меня вспомнить о былых днях... — говорит государыня плача.

— С тех пор как покинули меня мои близкие, я не различаю даже прихода весны... Но сегодня рассеялась тоска. Надеюсь, что еще не раз... — молвит государь.

Министр, тоже произнеся все, что полагалось, заверяет:

— Почту за честь снова навестить вас...

Особенно не задерживаясь, они поспешили в обратный путь, и, глядя на величественную свиту министра, государыня встревожилась: «С каким чувством вспоминает он прошлое? Предопределение его все-таки исполнилось, и он стал оплотом Поднебесной, а все мои попытки воспрепятствовать этому...» — думала она, раскаиваясь.

У Найси-но ками тоже оставалось теперь немало досуга, чтобы предаваться воспоминаниям, и часто, не в силах превозмочь сердечного волнения, она спешила украдкой вручить письмецо посланцу-ветру...

Великая государыня, постоянно чем-то недовольная, жаловалась на недостаточные размеры своего годового содержания и вознаграждений. Удрученная собственным долголетием, из-за которого ей пришлось жить в столь неблагоприятные для нее времена, она испытывала сильнейшую тоску по прошлому и не скрывала своей неприязни к настоящему. Старая, она становилась все сварливее, и даже ушедший на покой государь не мог выносить ее общества, ибо трудно было найти более докучливую особу.

Сын Великого министра, прекрасно справившись в тот день с данной ему темой, стал называться синдзи*. К испытанию были допущены лишь старшие по возрасту и самые одаренные юноши, выдержали же его только трое.

В день Осеннего назначения сыну Великого министра были присвоены Пятый ранг и звание дзидзю.

Он не забыл о дочери министра Двора, но, к его величайшему огорчению, она по-прежнему находилась под строгим надзором и, как он ни старался, увидеть ее ему не удавалось. Лишь иногда, когда позволяли приличия, молодые люди обменивались письмами, и тоска царила в сердцах у обоих.

Тем временем Великий министр, приобретя участок земли в четыре тѣ* на Шестой линии у Столичного предела, неподалеку от старого дома нынешней Государыни-супруги, решил начать там строительство нового жилища, в котором он мог бы спокойно прожить остаток лет, красивого и достаточно просторного, чтобы разместить там всех близких ему женщин, включая и тех, что до сих пор жили в горной глуши.

В будущем году принцу Сикибукѣ должно было исполниться пятьдесят лет. Госпожа из Западного флигеля готовилась отметить это событие, и министр Гэндзи, не желая оставаться в стороне, торопил со строительными работами, ибо новый, великолепный дом как нельзя лучше подходил для столь торжественной церемонии.

Пришел Новый год, а с ним новые заботы. Великий министр все силы свои отдавал приготовлениям к празднеству. Ему предстояло позаботиться об устройстве пиршества после торжественного молебна, подобрать музыкантов и танцоров. Госпожа занималась подготовкой сутр и утвари, нарядов для участников церемонии и вознаграждений для монахов.

Ей помогала обитательница Восточной усадьбы. Общие заботы сблизили этих двух женщин, они получали истинное удовольствие, сообщаясь друг с другом.

Слух о том, что готовится нечто исключительное по размаху, разнесся по миру и достиг ушей принца Сикибукѣ.

До сих пор, расточая милости свои всему свету, Великий министр словно не замечал принца и по любому поводу выказывал ему нерасположение, пренебрегая не только им, но и его домочадцами. Разумеется, принца огорчала столь явная неприязнь, но, рассудив, очевидно, что министр имеет основания быть им недовольным, он не смел роптать. К тому же принц всегда чувствовал себя польщенным, зная, сколь исключительное положение занимает его дочь в доме министра. И хотя счастливая судьба, определившая ей быть опекаемой человеком столь выдающихся достоинств, не озаорила своим сиянием его собственное семейство, принц все же считал, что удостоился великой чести, и не мог не испытывать признательность теперь, когда в мире только и говорили, что о готовящемся празднестве, призванном на склоне лет увенчать его неслыханными почестями.

Только супруга его по-прежнему обижалась и сердилась, так и не пропустив Великому министру невнимания, с которым тот отнесся к ее дочери.

На Восьмую луну было наконец завершено строительство дома на Шестой линии, и Великий министр готовился к переезду.

Юго-западная часть нового дома предназначалась для Государыни-супруги, тем более что там находилось ее старое жилище.

В юго-восточной части предполагал поселиться сам Великий министр.

Северо-восточную решено было отдать особе, живущей сейчас в западных покоях Восточной усадьбы, а северо-западную — госпоже Акаси.

В старом саду по распоряжению Великого министра произвели различные преобразования, отвечавшие вкусам и желаниям будущих обитатель-

ниц дома. Кое-что было убрано совсем, кое-где были изменены очертания ручьев, насыпаны новые холмы.

В юго-восточной части сада, где холмы были самыми высокими, посадили разнообразные весенние цветы. Пруд здесь имел спокойные, плавные очертания, а в саду, примыкавшем к дому, были нарочно собраны деревья и кустарники, которыми принято любоваться весной: пятигольчатая сосна, слива, вишня, глициния, керрия, азалия и прочие. Между ними посадили некоторые осенние растения.

Рядом с покоем Государыни, на оставшихся от прежних времен холмах, разместили деревья, славящиеся особенно глубокими оттенками осенней листвы, провели в сад прозрачные ручьи, расставили камни, через которые переливаясь, вода журчала особенно звонко, позаботились и о водопаде. Словом, здесь можно было в полной мере насладиться прелестью осеннего пейзажа, а как пора теперь стояла самая благоприятная, сад сверкал яркими красками, превосходя даже прославленные горы и луга в окрестностях реки Ои в Сага.

В северо-восточной части сада были прохладные ключи, суля защиту от летнего зноя. Возле дома рос черный бамбук, под листьями которого словно притаился свежий ветерок. Рядом темнела роща — такая же тенистая и прекрасная, как где-нибудь в горной глуши; изгородь была поставлена будто нарочно для того, чтобы на ней цвели унохана*. Тут же росли напоминающие о былых днях померанцы (103), гвоздики, розы, горечавки, кое-где к ним были посажены весенние и осенние цветы.

На особо выделенном участке в восточной части сада был устроена обнесенная частоколом площадка для верховой езды, а поскольку предполагалось использовать его по преимуществу в дни Пятой луны*, возле пруда посадили аир, а на противоположном берегу устроили конюшню, где были собраны превосходные скакуны.

В западной части сада, с северной стороны, за глинобитной стеной разместились хранилища. Их отгородили китайским бамбуком и соснами, рассчитывая зимой любоваться здесь снегом. Рядом виднелась изгородь из хризантем, чтобы было на что ложиться утреннему инею в первые зимние дни, а чуть подальше высились надменные «материнские» дубы* и еще какие-то раскидистые горные деревья, названий которых никто и не знает.

Переезд был приурочен к празднику Другого берега*. Предполагалось, что все переедут разом, но Государыня: «Стоит ли поднимать такой шум?» — подумав, предпочла задержаться на некоторое время. Госпожу Мурасаки сопровождала лишь кроткая, старающаяся держаться в тени Ханатирусато.

Осень — не самое благоприятное время для весеннего сада, но и он был прекрасен.

Дамы госпожи Мурасаки разместились в пятнадцати каретах, путь перед которыми расчищали передовые Четвертого и Пятого рангов. Из приближенных Шестого ранга были выбраны лишь достойнейшие из достойных. Вместе с тем свита не казалась чересчур пышной. Опасаясь нежелательных толков, Великий министр постарался ограничиться самым необходимым.

Свита обитательницы Восточной усадьбы была почти столь же многочисленной. К тому же ее сопровождал чрезвычайно предупредительный молодой Дзидзю — честь, которую все сочли вполне заслуженной.

Для прислужниц были выделены особые покои, убранные куда изящнее обыкновенного.

По прошествии пяти или шести дней переехала Государыня-супруга. Несмотря на более чем скромные приготовления, свита ее производила весьма внушительное впечатление. И немудрено: отмеченная счастливой судьбой, Государыня отличалась спокойным нравом и обладала на редкость чувствительной душой — достоинства, благодаря которым ей удалось снизить всеобщее уважение.

Внутренние перегородки в доме на Шестой линии, изгороди и галереи были сделаны так, чтобы не затруднять перехода из одного помещения в другое, и ничто не мешало дамам свободно общаться друг с другом.

Когда настала Девятая луна и деревья расцвелись яркими красками, казалось, что нет на свете ничего прекраснее сада перед покоями Государыни-супруги.

Однажды вечером, когда дул сильный ветер, она, разложив на крышке от шкатулки разнообразные осенние цветы и алые листья, отослала их госпоже Весенних покоев.

Ее посланницей была рослая девочка-служанка, облаченная в темное нижнее одеяние, несколько вышитых платьев цвета «астра-сион» и кадзами цвета багряных листьев. Ловко, проворно прошла она по галереям, переходам и дугообразным мостикам.

Разумеется, она не совсем подходила для столь ответственного поручения, но, очевидно, Государыня не смогла пренебречь ее миловидностью. Судя по всему, столь великолепное окружение было для этой девочки вполне привычным. Она отличалась редкой красотой лица и изяществом.

Вот что написала Государыня:

«Ветру вручив
Горстку листьев багряных,
Пошлю его в сад,
Который глядит уныло,
О далекой весне тоскую...»

Забавно было смотреть, как молодые прислужницы наперебой расхваливали внешность посланницы Государыни.

Покрыв крышку шкатулки мхом и положив сверху несколько небольших камешков, которые должны были изображать дикие скалы, госпожа привязала ответное письмо к ветке пятиигольчатой сосны:

«Твои листья легки,
Миг — и ветер их светит с веток.
Отраднее взору
Весенняя яркость сосен,
Растущих среди диких скал...» (196)

Внимательно рассмотрев эту «сосну среди диких скал», дамы Государыни обнаружили, что она не настоящая, а рукотворная, но сделанная с величайшим мастерством. Любуясь ею, Государыня восхищалась тонким вкусом госпожи Мурасаки, сумевшей ответить так быстро и так изящно.

Прислуживающие ей дамы тоже были вне себя от восторга.

— Мне кажется, что в послании Государыни содержится явный вызов, — заметил Великий министр. — Вам следует достойно ответить ей, когда придет пора весеннего цветения. Теперь же не стоит принижать красоту этих алых листьев, рискуя навлечь на себя гнев Тацута-химэ*. Отступив сейчас, вы перейдете в наступление позже, когда весенние цветы будут вам надежной защитой.

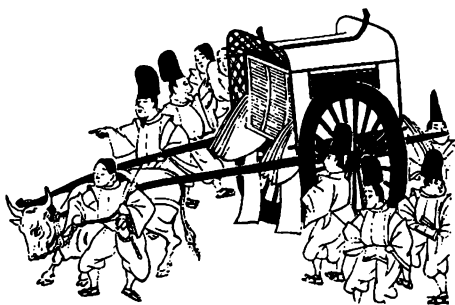
Великий министр казался совсем молодым, его красота ничуть не поблекла с годами. Какое же счастье выпало на долю всем этим женщинам — жить рядом с ним, да еще в таком прекрасном доме, о каком только мечтать можно!

Так и жили они, в тихих удовольствиях коротая дни и по разным поводам обмениваясь посланиями.

Женщина из горной усадьбы решила подождать, пока остальные обительницы дома на Шестой линии не займут приготовленных для них покоев, а затем переехала с подобающей столь ничтожной особе скромностью. Произошло это в дни Десятой луны.

Убранство предназначенной ей части дома оказалось не менее роскошным, чем у остальных дам. Свита же — не менее пышной. Министр сам позаботился обо всем, думая в первую очередь о будущем дочери.





ДРАГОЦЕННАЯ НИТЬ

Основные персонажи

Великий министр (Гэндзи), 34–35 лет

Вечерний лик (Югао) — умершая возлюбленная Гэндзи (см. главу «Вечерний лик»)

Укон — прислужница Югао, затем Гэндзи

Госпожа из Западного флигеля (Мурасаки), 26–27 лет — супруга Гэндзи

Маленькая госпожа, юная госпожа из Западного флигеля (Тамакадзура) — дочь Югао и То-но тюдзё

Дама из Восточной усадьбы, обительница Летних покоев (Ханатирусато) — возлюбленная Гэндзи

Господин Тюдзё (Югири), 13–14 лет — сын Гэндзи и Аои

Суэцумухана — дочь принца Хитати (см. главу «Шафран», «В зарослях полыни»)

Уцусэми — вдова правителя Хитати (Иё-но сукэ — см. главы «Пустая скорлупка цикады», «У заставы»)

ЛУНЫ и годы сменяли друг друга, но Гэндзи никогда не забывал о том, как, на миг блеснув, растаяла роса на лепестках «вечернего лика». Немало разных по своим душевным качествам женщин встречал он с тех пор, но каждая встреча невольно пробуждала в душе томительно печальные воспоминания: «Ах, если б она теперь оказалась с нами!» (197).

Даже Укон, занимавшая более чем ничтожное положение, была дорога Великому министру как память об ушедшей, он сразу же ввел ее в число старейших своих прислужниц. Уезжая в Сума, Гэндзи передал своих дам госпоже из Западного флигеля, и Укон так и осталась у нее. Госпожа полюбила прислужницу за добрый, кроткий нрав, но та до сих пор оплакивала ушедшую. «Когда б моя госпожа была жива, — думала Укон, — она удостоилась бы не меньшей чести, чем, скажем, особа из Акаси. Наш господин так великодушен,

что не оставляет своими заботами даже тех женщин, с которыми его никогда не связывали глубокие чувства. А ведь моя госпожа... Возможно, высокого положения в доме она бы и не заняла, но одной из его обитательниц стала бы непременно».

О девочке, когда-то оставленной в Западном городе, Укон ничего не знала и не пыталась узнать. Никому никогда не открывала она своей тайны, тем более что и министр не раз призывал ее к молчанию. «Имени не открывай...» (68) Да и что толку было теперь о том говорить?..

Между тем муж кормилицы ее покойной госпожи, получив звание дадзай-но сёни, покинул столицу, и кормилица последовала за ним. Так вот и случилось, что девочка, едва ей исполнилось четыре года, была увезена на Цукуси.

Кормилица денно и ночью тосковала и плакала, беспрестанно взывала к богам и буддам в надежде, что откроется ей, куда исчезла госпожа, разыскивала ее повсюду, но, увы, безуспешно. «Видно, так суждено, — решила она, — пусть хотя бы дитя останется мне на память. Жаль только, что девочке приходится пускаться в столь дальний путь, да еще с такой ничтожной особой, как я. Не обратиться ли к ее отцу?» — подумала она, но случая все не представлялось.

— Нам ничего не известно о ее матери. Он, наверное, станет расспрашивать, и что тогда?

— Юная госпожа совсем мала, отца же она не знает. Даже если он согласится взять ее к себе, сможем ли мы со спокойным сердцем ее оставить?

— Но ведь, узнав, что она его дочь, он вряд ли разрешит нам увезти ее... — переговаривались домочадцы кормилицы, не зная, на что решиться, и в конце концов, посадив маленькую госпожу в ладью, вместе с ней покинули столицу.

Девочка была прелестна, и черты особого благородства уже теперь проступали в ее облике. Тем более печально было видеть ее в бедной, лишенной приличного убранства лодке. Милое дитя, до сих пор не забывшее матери, то и дело спрашивало:

— Мы ведь к матушке едем, да?

У кормилицы не высыхали на глазах слезы, дочери ее тоже предавались печали, и Дадазай-но сёни все время приходилось напоминать им о том, что слезы на море не сулят ничего доброго.

Даже любуясь окрестными видами, женщины не переставали кручиниться.

— Госпожа обладала столь восприимчивой душой! О, если бы она это видела!

— Да, будь она жива...

— И мы бы тогда никуда не уезжали...

Уносясь мыслями в столицу, они печалились, завидуя бегущим вспять волнам (112). А тут еще и гребцы запели грубыми, громкими голосами:

— Что ждет нас впереди? К концу подходит
Наш долгий, наш нелегкий путь...

Дочери кормилицы, обнявшись, заплакали:

Эти гребцы,
И они по кому-то тоскуют?
Над бухтой Осима*
Льются звуки их песен,
Полня горечью сердце...

Затерявшись средь волн,
Забыли, откуда плывем мы,
Куда держим путь?
И где, в какой стороне
Тебя нам искать теперь?

Увы, «могли ли мы думать?» (126)

Так, каждая излила в песне свою печаль. Когда проплывали они мимо мыса Колокол*, уста их шептали невольно: «...не забуду никогда...» (198), прибыв же на место, заплакали еще горше, сокрушенные мыслью о том, как далеко они теперь от столицы. И вот, потянулись дни и ночи, наполненные заботами о девочке.

Временами то одной, то другой даме являлась во сне госпожа. Нередко ей сопутствовала какая-то женщина, во всем ей подобная, и тогда та, кому это приснилось, просыпалась с тяжестью на сердце, а иногда и заболела. «Да, верно, госпожи нет больше в этом мире», — думали тогда они, и еще мучительней становилась тоска.

Между тем вышел срок пребывания* Дадзай-но сёни в провинции, и собрался он возвращаться в столицу, но, поскольку расстояние до нее было неблизкое, а человек он был не очень влиятельный и небогатый, переезд, который следовало обставить с приличной случаю пышностью, все откладывался да откладывался, а тем временем овладел им тяжкий недуг, и скоро почувствовал он, что дни его сочтены.

Юной госпоже уже исполнилось десять, и была она так хороша, что у всякого, кто глядел на нее, невольно сжималось сердце: «Что ждет ее впереди?»

«После того как уйду я из этого мира, госпожа останется без всякой поддержки, — тревожился Дадзай-но сёни. — Что будет с нею? Разумеется, ей не подобало расти в такой глуши, но у меня была надежда со временем перевезти ее в столицу и сообщить о ней лицу, принимающему участие в ее судьбе. Затем я предоставил бы ее предопределению, а сам бы наблюдал за ней со стороны. Да, я готовился к отъезду, думая — столица велика, довольно будет попасть туда, и можно не беспокоиться за ее будущее. Но, видно, придется мне окончить свою жизнь здесь».

У Дадзай-но сёни было трое сыновей. И вот что он им сказал:

— Позаботьтесь прежде всего о том, чтобы поскорее перевезти юную госпожу в столицу, не думайте об оказании мне посмертных почестей.

Никому, даже домочадцам, не открывал он тайны ее происхождения и, выдавая девочку за свою внучку, которая по каким-то причинам сделалась предметом его особых забот, воспитывал ее с возможным рачением, скрывая от посторонних взглядов. Внезапная кончина Дадзай-но сёни повергла его близких в тоску и отчаяние. Они постарались ускорить отъезд в столицу, но обстоятельства препятствовали этому. У покойного нашлось в

здешних пределах немало недоброжелателей, и невзгоды одна за другой обрушивались на его семейство.

Шли годы, и девочка становилась все прекраснее. Она выросла очень похожей на мать, но в ее красоте было что-то благородное и величавое — как видно, сказывалась отцовская кровь. Пленительная наружность сочеталась в ней с нежным, кротким нравом — словом, она была средоточием всех мыслимых совершенств.

Слух о красоте внучки Дадзай-но сёни разнесся повсюду, и местные любезники принялись осыпать ее письмами, но обеспокоенная кормилица была неумолима.

— Лицом-то она не хуже других, но есть у нее один изъян, столь значительный, что я решила никому ее не показывать, а постричь в монахини и до конца дней своих держать при себе.

Однако люди тут же начали судачить:

— Оказывается, внучка покойного Дадзай-но сёни — урод! Вот жалость-то!

И кормилица встревожилась не на шутку:

— Как же все-таки перевезти юную госпожу в столицу и сообщить о ней ее отцу? Когда она была совсем маленькой, он ласкал ее, может быть, он и теперь ее не оставит?

Постоянно взывая к богам и буддам, она молила их о помощи.

Между тем дочери и сыновья кормилицы, связав себя новыми узами, осели на этой земле, и, как ни мечтала она о возвращении, столица с каждым днем представлялась ей все более далекой и недоступной.

Постепенно проникая в душу вещей, девушка сетовала на судьбу и усердно соблюдала большие посты*, уповая на будущее. К двадцати годам красота ее достигла полного расцвета, и нельзя было не пожалеть, что она пропадает в такой глуши.

Жили же они в провинции, которая называлась Хидзэн*. Юноши хоть сколько-нибудь родовитые, прослышав о красоте внучки покойного Дадзай-но сёни, устремляли к ней свои помышления, изрядно докучая кормилице нежными посланиями. Был среди них человек по прозвищу Таю-но гэн. Он принадлежал к могущественному роду из Хиго* и пользовался в местных пределах большим влиянием; во всяком случае, многое было ему подвластно. При всей своей грубости Таю-но гэн слыл большим ценителем прекрасного и давно лелеял мечту собрать в своем доме прославленных красавиц. Поэтому, услыхав о девушке, он поспешил обратиться к кормилице:

— Каким бы уродом она ни была, я готов закрыть на это глаза и взять ее в жены.

Его настойчивость встревожила ее чрезвычайно.

— Нет, нет, это совершенно невозможно! — ответила кормилица. — Она и слушать ничего не желает, готовась принять постриг.

Подобное объяснение не удовлетворило Таю-но гэна, и он поторопился самолично приехать в Хидзэн. Вызвав к себе сыновей покойного Дадзай-но сёни, он принялся уговаривать их:

— Я обещаю вам свою дружбу и содействие, если вы поможете мне, — соблазнял он их и двое не устояли перед искушением.

— Сначала нам было жаль ее, казалось, они не пара... Но на господина Таю-но гэн вполне можно положиться... Во всяком случае, более надежного покровителя не найти. Если же он обратит на нас свой гнев, где станем мы искать защиты?

— Пусть в жилах госпожи течет благородная кровь, но ведь отец не признает ее. Никто даже не подозревает о ее существовании, так чем же ее нынешнее положение лучше? По-моему, она должна почитать за честь, что столь влиятельная особа...

— Как знать, может быть, таково ее предопределение и только поэтому она попала в эти края? Даже если мы попытаемся спрятать ее, ничего хорошего из этого не выйдет!

— Таю-но гэн не привык к поражениям и, разгневавшись, ни перед чем не остановится, — говорили юноши, пытаясь напугать остальных.

Кормилица была в отчаянии, а старший из ее сыновей, занимавший должность сукэ в провинции Буго*, заявил:

— Этот недопустимо, столь жалкая участь не для нее. Нельзя забывать о наказе отца. Мы должны срочно что-то придумать и отправить юную госпожу в столицу.

Дочери же кормилицы плакали:

— Ее несчастная мать скитается где-то, и нам ничего о ней не известно. Мы надеялись, что хотя бы дочери удастся занять достойное место в мире, но, попав в подобное окружение, она совсем пропадет.

Тем временем Таю-но гэн, не подозревая об их сомнениях и надменно помышляя: «Ну, уж при моем-то высоком значении в мире...» — продолжал осыпать юную госпожу письмами. Почерк его был вовсе не так дурен, писал же он на превосходной цветной китайской бумаге, густо пропитанной благовониями. Судя по всему, он был весьма высокого мнения о своем слоге, но как же провинциально он изъяснялся!

Скоро Таю-но гэн явился и сам, заручившись поддержкой второго брата. Нельзя сказать, чтобы этот тридцатилетний мужчина высокого роста и весьма внушительного телосложения был так уж безобразен, но что-то чрезвычайно неприятное проглядывало в его чертах. Хотя, возможно, будь кормилица менее пристрастна... Впрочем, грубость его манер и в самом деле внушала отвращение. У Таю-но гэна был здоровый цвет лица и резкий, хрипловатый голос, которым он стрекотал нечто несвязное.

Обычно на свидание с предметом своих помышлений отправляются ночью, не зря же есть выражение «ночное подползание». Но Таю-но гэн и тут учудил — явился, едва опустились весенние сумерки. До осени далеко, а вид у него такой будто «и самому странно...» (177).

Не желая обижать его, госпожа «бабушка» принимает гостя сама.

— Я слышал, что ваш покойный супруг был прекрасным, тонкой души человеком, — говорит Таю-но гэн. — Мне всегда хотелось познакомиться с ним, но, к несчастью, он покинул нас прежде, чем я успел осуществить свое намерение. Тогда я подумал, что могу посвятить себя служению вам и, собравшись с духом, дерзнул прийти сюда. Ваша внучка выше меня по рождению, и я хорошо понимаю, что это слишком большая честь для меня... Но я готов предоставить ей самое высокое положение в моем доме, она станет полновластной его хозяйкой. Ваше нежелание пойти мне навстречу объяс-

няется скорее всего тем, что до вас дошли неблагоприятные слухи о моих связях со множеством не очень достойных особ. Но неужели вы думаете, что я стану обращаться с ней так же, как с ними? Смею вас заверить, она будет окружена заботами не меньшими, чем супруга самого Государя...

Но его вкрадчивые речи не трогают сердца кормилицы.

— О, разумеется, я понимаю, какое счастье для нас ваше милостивое предложение, — отвечает она, — и все же... Видите ли, существует одно обстоятельство, которое не может не смущать меня. Да, видно, проклятие прошлого рождения тяготеет над ней, бедняжкой! О, если бы вы знали, как часто плачет она тайком, трепеща от одной мысли, что кто-нибудь увидит... Право, сердце разрывается от боли...

— Пусть это вас не беспокоит. Даже если она слепа или хрома, мои заботы исцелят ее. Боги и будды этой страны и те мне подвластны! — хвастливо заявляет Таю-но гэн. Он просит назначить день, но кормилице удается уклониться от определенного ответа, причем также в весьма провинциальном духе: мол, конец весны не самое благоприятное время для начала совместной жизни*.

Перед уходом Таю-но гэн счел необходимым сложить песню, и вот что он придумал после долгих размышлений:

В верности вечной
Готов клясться я снова и снова.
Клятве моей
Ты свидетелем будь — бог Зерцала*
Из Мацура, залива Сосен... (199)

— Думаю, лучше и не скажешь, — расплывается он в улыбке. Судя по всему, это его первые шаги на поэтическом поприще.

От волнения кормилица лишается дара речи и просит ответить своих дочерей, но те, заявив: «А мы и подавно ничего не можем придумать!», не трогаются с места. Понимая, что медлить с ответом нельзя, кормилица дрожащим голосом произносит первое, что приходит ей в голову:

— Неужели к богам
Я все эти долгие годы
Взывала напрасно?
О, зачем так жесток бог Зерцала
Из Мацура, залива Сосен?

— Что вы имеете в виду? — спрашивает Таю-но гэн, быстро придвигаясь к занавесам. Кормилица, совсем растерявшись, бледнеет. Дочери же, превозмогая страх, смеются.

— Она хочет сказать, что внучка ее не такая, как все, поэтому ей будет крайне обидно, ежели вы передумаете. А богов она приплела по старческой рассеянности... — объясняют они.

— Ах, вот оно что... В самом деле... — кивает Таю-но гэн. — Прекрасно сказано! Все говорят «провинциалы...», а что такого особенного в столичных жителях? Мы тоже понимаем, что к чему... Так что вам не стоит пренебрегать мной, — сказал он и хотел было сложить еще одну песню, но это, видно, оказалось ему не под силу, и он поспешил откланяться.

Видя, что средний ее сын поддался на уговоры Таю-но гэна, кормилица, не помня себя от страха, в полном отчаянии стала требовать решительных действий от Буго-но сукэ.

— Как же переправить госпожу в столицу? Мне даже посоветоваться не с кем. Братьев у меня немного, но и с теми я разошелся из-за того, что посмел воспротивиться желаниям Таю-но гэна. Если Таю-но гэн разгневается на нас, мы не сможем и шагу ступить. Боюсь, как бы не вышло хуже, — говорил тот, не зная, на что решиться.

Однако нельзя было не сочувствовать юной госпоже, которая молча страдала, приходя в отчаяние от одной мысли о союзе с Таю-но гэном. Она была уверена, что не переживет этой ужасной беды. Поэтому Буго-но сукэ постарался сделать все, даже самое невозможное, и скоро они отправились в путь.

Младшие дочери кормилицы решились последовать за своей госпожой, покинув тех, кто поддерживал их все эти долгие годы. Бывшая Атэки, которую называли теперь госпожой Хёбу, под покровом ночи украдкой выскользнула из дома и, присоединившись к госпоже, вместе с ней села в лодку.

Да, как раз тогда, когда вернувшийся в Хиго Таю-но гэн, выбрав благоприятный день в конце Четвертой луны, готовился ехать за ней, юная госпожа бежала из Хидзэн.

Старшая дочь кормилицы, которая за годы жизни в провинции обзавелась изрядным семейством, вынуждена была остаться, и все грустили о разлуке с ней, понимая, что вряд ли им удастся увидаться снова. И все же беглецы без особого сожаления расставались с местами, где прожили столько лет. Только прекрасный берег перед святилищем Мацура да остающаяся здесь старшая сестра заставляли их оглядываться и вздыхать печально.

Покинули мы
Укисима*, печальный остров,
Но куда нас влекут
Эти волны? Где снова
Мы пристанище обретем?

В путь по волнам
Мы пустились, не зная,
Что ждет впереди,
И влечемся по воле ветра,
Покорившись печальной судьбе!..

Острее, чем когда-либо, ощущая свою беспомощность в этом непрочном мире, девушка ничком легла на дне лодки.

Зная, что слух об их бегстве непременно дойдет до ушей Таю-но гэна, и опасаясь, что он сразу же кинется в погоню, ибо не в его привычках было мириться с поражением, беглецы заранее позаботились о том, чтобы обеспечить себя самой быстроходной и особо для этого случая оснащенной лодкой, а поскольку еще и ветер выдался попутный, она неслась по волнам так, что сердце замирало от страха. Громозвучное море*, и то миновали благополучно.

— Уж не разбойники ли? — вдруг говорит кто-то из гребцов. — Сзади какое-то маленькое суденышко словно летит по волнам...

«Пусть это самые страшные разбойники, только бы не тот ужасный человек», — думает кормилица.

Скована страхом,
И сердце бьется так громко,
Что понять не могу —
Миновали уже или нет
Громозвучное море...

Но вот один из гребцов объявляет:

— Впереди Кавадзири! — И им кажется, будто они возвращены к жизни. Гребцы затягивают:

— Пока плыли
От Каратомари* до Кавадзири...

Голоса у них довольно приятные, хотя о тонкости чувств говорить, разумеется, не приходится. Буго-но сукэ, явно растроганный, подхватывает:

— Я успел позабыть
Милых деток, жену...

«В самом деле, каково им теперь? — думает он. — Я взял с собой всех моих верных слуг, всех, на кого можно было положиться. Если, разгневавшись на меня, Таю-но гэн вздумает преследовать моих близких, что с ними станет? Как мог я так бездумно уехать, даже не позаботившись о них?»

Теперь, когда опасности миновали, Буго-но сукэ припомнилось все самое дурное, что было связано с его бегством из Хидзэн, обычное самообладание изменило ему, и он заплакал.

— «Напрасно было жену и детей бросать в тех далеких краях...»* — произносит он, и госпожа Хёбу тяжело вздыхает. «Как дурно мы поступили! Сколько лет прожила я с супругом своим и вдруг, пренебрегши его чувствами, покинула дом, не сказав никому ни слова. Что же он теперь должен думать?»

Хотя и говорили они: «Возвращаемся домой», но не было у них в столице дома, который могли бы они назвать своим, не было надежных друзей, к которым могли бы они прибегнуть. Только ради юной госпожи оставили они землю, за долгие годы ставшую им родной, и, подхваченные ветром, пустились в путь по волнам, не помышляя о грядущем. «Удастся ли нам хотя бы помочь госпоже?» — в отчаянии думали они, но им уже ничего не оставалось, как только спешить вперед, в столицу.

Узнав, что особа, некогда им знакомая, по-прежнему живет на Девятой линии, они решили на первое время остановиться в ее доме.

Хотя место это и считалось столицей, сколько-нибудь значительные люди здесь не селились, и, принужденные жить среди презренных городских торговцев и лавочников, они чувствовали себя глубоко несчастными, а тут еще близилась осень, и все печальней становились их думы о прошедшем и о грядущем. Положиться они могли лишь на Буго-но сукэ, а он, не имея никаких занятий и удрученный непривычной для него обстановкой, чувствовал себя морской птицей, внезапно выброшенной на берег. Возвращаться назад было нелепо, и он печалился, кляня себя за то, что столь необдуманно покинул Цукуси. Его спутники, пустив в ход свои связи, посте-

ленно разъехались кто куда или вернулись на родину, и никто не мог помочь Буго-но сукэ упрочить свое положение в столице. Мать, жалея его, вздыхала денно и ношно.

— Право, не стоит, — говорил Буго-но сукэ, пытаюсь ее утешить. — Собственная участь не заботит меня нимало. Ради нашей госпожи я и жизни не пожалел бы. Я последовал бы за ней куда угодно, и никто не посмел бы осудить меня за это. Какого бы высокого положения я ни достиг, мог ли я жить спокойно, зная, что вовлек госпожу в такую беду? Боги и будды, несомненно, выведут ее на верный путь. Здесь неподалеку есть храм Хатимана, которому мы привыкли молиться еще там, в Мацура и Хакодзаки*. Уезжая оттуда, мы молили богов о помощи в пути. И теперь, вернувшись в столицу, должны немедленно отправиться в храм и отблагодарить их за то, что они милостию вняли нашим молитвам.

И Буго-но сукэ настоял на том, чтобы госпожа совершила паломничество в храм Хатимана. Расспросив человека, знакомого с местными обстоятельствами, и выяснив, что монах, когда-то имевший сношения с его отцом, до сих пор служит в этом храме, став одним из пяти верховных его служителей, он призвал его к себе и поручил ему сопровождать госпожу.

Затем Буго-но сукэ отправил ее на поклонение в Хацусэ*.

— Этот храм почитается самым чудотворным в Стране у Солнечного Истока, слава о нем достигла даже китайской земли*, — сказал он, — так может ли остаться без помощи наша госпожа, которая, хотя и прожила долгие годы в глуши, никогда не покидала здешних пределов?

Было решено, что она пойдет туда пешком, и, как ни пугали девушку тяготы столь непривычного для нее пути, она повиновалась и покорно двинулась в путь.

«Какие преступления я совершила, что приходится мне вот так скитаться? Если моя мать покинула этот мир, жальтесь надо мной и отведите меня к ней, — молила она богов и будд. — Если же она еще жива, дайте мне увидеть ее!»

Девушка совсем не помнила матери и, как ни старалась, не могла себе представить ее лица. Однако каждый раз, когда ей становилось особенно тоскливо, вздыхала: «Ах, если бы матушка была теперь со мной!» Изнуренная мучительно долгим путем, она совсем ослабела, и, когда на четвертый день в стражу Змеи паломники с трудом добрались до места под названием Цубаити*, силы окончательно покинули ее.

Не так уж много они и прошли, да и двигались медленно, со всяческими предосторожностями, но девушка была настолько измучена, что не могла больше сделать ни шагу, поэтому им ничего не оставалось, как остановиться на ночлег в Цубаити.

Помимо Бугэ-но сукэ девушку и ее спутниц сопровождали два телохранителя с луками и трое или четверо слуг. Все три женщины были в дорожной одежде, им прислуживали только две служанки: одна, судя по всему, для чистки нужных мест, вторая, весьма уже пожилая низкого происхождения особа, для разных других услуг.

Путники держались скромно, стараясь не привлекать к себе внимания. Пока они готовили свечи, курения и прочее, совсем стемнело. Тут вернулся хозяин дома, монах, и заворчал:

— Я жду совсем других людей. А вы кто такие? Эти негодные служанки вечно все путают...

Женщины слушали его, дрожа от страха, а тут и правда появились другие паломники. Судя по всему, они тоже путешествовали пешком. Это были две весьма достойного вида дамы в сопровождении множества слуг мужского и женского пола. Слуги вели под уздцы нескольких лошадей. Одеты все они были чрезвычайно скромно, но некоторые привлекали внимание благородством осанки и изяществом черт.

Монаху хотелось бы во что бы то ни стало разместить паломников у себя в доме, и он бродил по покоям, задумчиво почесывая затылок. При всем сочувствии к нему перебираться в другое место было неудобно и крайне обременительно, поэтому спутники Буго-но сукэ ограничились тем, что, удалив слуг в задние покои или куда-то еще, освободили место для вновь прибывших, а сами разместились в углу. Юную госпожу отгородили занавесом.

Вновь прибывшие, судя по всему, тоже не были столь уж важными особами. И те и другие вели себя крайне сдержанно, стараясь не причинять друг другу беспокойства.

А между тем по соседству с девушкой оказалась не кто иная, как Укон, все эти годы оплакивавшая разлуку с ней. Даже теперь, по прошествии стольких лет, она по-прежнему тяготилась неопределенностью своего положения и, с тревогой думая о будущем, часто бывала в Хацусэ. Поскольку путь сюда был хорошо ей знаком, Укон отправилась налегке, но идти пешком все же оказалось слишком утомительно, и она прилегла отдохнуть. Как раз в этот миг к стоявшему неподалеку занавесу подошел Буго-но сукэ, неся в руках небольшой поднос, как видно, с едой.

— Передайте-ка это госпоже, — распорядился он. — Как жаль, что у нас нет настоящего столика.

Предположив, что за занавесом находится особа более высокого, чем сама она, звания, Укон выглянула украдкой.

Лицо мужчины показалось ей странно знакомым, но она не могла вспомнить, кто это. Укон видела Буго-но сукэ юношей, теперь же он обрюзг, потемнел лицом, да и одет был слишком бедно. Увы, так много лет прошло с тех пор, разве могла она его узнать?

— Сандзё, тебя зовет госпожа! — крикнул мужчина и, увидав поспешившую на зов женщину, Укон поняла, что знает и ее. Сообразив наконец, что перед ней одна из низших служанок покойной госпожи, которая долго жила в ее доме и даже сопровождала в то последнее тайное убежище, Укон не поверила своим глазам. Уж не сон ли? Ей хотелось разглядеть, кто скрывается за занавесом, но все никак не удавалось...

«Спрошу у служанки, — решила наконец Укон. — А тот мужчина, верно, Хётода, так, кажется, его прежде называли. А вдруг с ними и юная госпожа?»

Сгорая от нетерпения, Укон велела позвать к себе хлопотавшую за ширмами Сандзё. Однако мысли той были целиком сосредоточены на еде, и она пришла не сразу. Укон даже рассердилась на нее, разумеется, несправедливо. Но вот наконец Сандзё появилась.

— Что за чудеса? Разве столичная дама может знать меня, презренную служанку, к тому же более двадцати лет прожившую на Цукуси? Это какое-то недоразумение.

С этими словами она подошла к тому месту, где сидела Укон. Одетая Сандзё была весьма провинциально, в темно-алое нижнее платье и тонкую шелковую накидку. Она сильно растолстела за эти годы, и Укон невольно смутилась, вспомнив, что и сама... С трудом преодолев волнение, она взглянула из-за ширмы:

— Ну-ка, посмотри на меня, узнаешь?

Взглянув на Укон, служанка всплеснула руками.

— Да неужто это вы? Вот радость-то, вот радость! Как вы сюда попали? И госпожа здесь? — И она громко зарыдала.

Укон знала эту женщину юной девушкой, ей вспомнились те давние годы — как же грустно, что они так далеко.

— Прежде скажи, здесь ли наша почтенная кормилица? И что стало с юной госпожой? А Атэки? — спрашивала она, об ушедшей же не говорила ни слова, опасаясь, что услышав о ее печальном конце, Сандзё скажет: «а что же вы...»

— Все, все здесь. И юная госпожа тоже. Она уже совсем взрослая. Пойду расскажу кормилице, — сказала Сандзё и вышла.

Все были поражены.

— Ах, уж не грезится ли...

— Встретиться здесь с особой, так жестоко поступившей с нами когда-то...

Кормилица поспешила к занавесям, за которыми скрывалась Укон, и прежней отчужденности как не бывало. Отодвинув в сторону ширмы, женщины не могли сначала и слова вымолвить, только молча плакали. Наконец старая кормилица спросила:

— Что случилось с госпожой? Все эти годы я молила богов и будд, чтобы хоть во сне открылось мне, где она изволит теперь находиться, но в ту далекую землю даже ветер не доносил никаких вестей, и неизвестность повергала меня в отчаяние. Мне горько, что такой старухе, как я, дарована столь долгая жизнь, но оставленная на мое попечение юная госпожа так мила, так жаль ее... Тревога за нее привязывает меня к этому миру, мешая перейти в иной, не дает мне закрыть глаза.

Прислушиваясь к излияниям кормилицы, Укон подумала, что открыть ей правду будет теперь еще труднее, чем в те давние дни, когда от отчаяния она совершенно потеряла голову, но все-таки сказала:

— Ах, что толку об этом говорить! Госпожи давно уже нет в мире...

Тут все трое дали волю слезам, и долго не смолкали их рыдания. Но скоро смерклось, в доме стало шумно, слуги, приготовив фонари, принялись торопить паломниц, и взволнованные женщины принуждены были расстаться.

— Пойдемте вместе, — предложила Укон, но, подумав, решила, что сопровождающим может показаться странным столь неожиданное сближение. Не успев сообщить о случившемся даже Буго-но сукэ, паломницы без особых церемоний вышли из дома.

Украдкой разглядывая спутниц кормилицы, Укон заметила идущую впереди прелестную особу, весьма скромно одетую: сквозь тонкое платье, какие носят обычно в дни Четвертой луны, просвечивали волосы, которых великолепие явно заслуживало лучшего обрамления, нежели простые дорожные одежды. Сердце Укон стеснилось от жалости.

Привыкшая к ходьбе, она первой добралась до храма. Остальные, поддерживая измученную госпожу, пришли, когда ночная служба уже началась.

В храме было шумно и многолюдно. Укон заняла место справа от фигуры Каннон. Для девушки же и ее спутников, возможно потому, что не имели они близких знакомых среди служителей храма, выделили самые дальние места в западной части.

— Пожалуй, вам все-таки лучше перейти сюда, — предложила Укон, увидав, где их поместили, и кормилица, велев мужчинам оставаться и кратко объяснив Буго-но сукэ, в чем дело, перевела юную госпожу на новое место.

— При всей своей ничтожности я имею счастье служить в доме Великого министра, — сказала Укон, — и, отправляясь в путь, как вот теперь — почти без всякой свиты, — могу быть вполне уверена в том, что никто не посмеет меня обидеть. В таких местах всегда есть дурные люди, готовые посмеяться над провинциалами, зачем подвергать госпожу опасности?

Ей очень хотелось побеседовать с девушкой, но служба шла уже полным ходом, и Укон присоединилась к молящимся. Прежде она всегда просила помочь ей разыскать дочь госпожи, но теперь желание ее было исполнено, и она молилась о другом. «Я сообщу об этой встрече господину министру, ведь он, судя по всему, искренне желает найти ее. Прошу тебя, о Милосердная Каннон, сделай так, чтобы юная госпожа обрела свое счастье».

В храме собрались жители разных провинций. Присутствовала здесь и госпожа Северных покоев из дома правителя окрестных земель*. Ее величественный вид и пышная свита возбудили зависть в сердце Сандзё, и она обратилась к Каннон с такими словами:

— Ни о чем более тебя не прошу, о Милосердная, но сделай так, чтобы госпожа наша стала супругой если не Дайни, так хоть наместника этой земли. Тогда и таким, как Сандзё, улыбнется счастье, а уж я постараюсь отблагодарить тебя...

Так молилась она, приложив обе ладони ко лбу.

«Ах, не к добру!» — подумала Укон, услышав, о чем она просит.

— Да ты стала совсем провинциалкой! — набросилась она на Сандзё. — Неужели ты не помнишь, каким влиянием пользовался в мире господин То-но тюдзё? А теперь он министр и управляет Поднебесной по своему усмотрению! Так неужели наша госпожа, принадлежащая к столь могущественному семейству, снизойдет до какого-то там наместника?

— Ах, да подождите же! Что вы мне все говорите о министрах, вельможах! Вы бы посмотрели, какая свита была у супруги Дайни, когда она выезжала в храм Симидзу поклониться Каннон!* Да что говорить! Вряд ли у самого Государя свита великолепнее!

И Сандзё продолжала с жаром отбивать поклоны, не отрывая ладоней ото лба.

Паломники из Цукуси предполагали провести в Хацусэ три дня. Укон не собиралась задерживаться надолго, но, подумав, что не стоит упускать случая поближе познакомиться с девушкой, призвала к себе одного из почтенных монахов и сообщила ему о своем намерении остаться еще на несколько дней.

Зная, что монахам лучше, чем кому-либо, известны все тонкости составления молебных записок, Укон дала ему соответствующие указания, а в заключение сказала:

— Напишите, как всегда, на имя госпожи Фудзивара Рури*. Молитесь усердно, прошу вас. Мне удалось разыскать наконец эту особу, поэтому я желала бы заказать помимо всего прочего еще и благодарственный молебен.

Нетрудно вообразить, как были растроганы паломники из Цукуси, услышав эти слова.

— Какая радость! Видно, не напрасно молился я столь ревностно! — возликовал монах.

Всю ночь в храме продолжались службы.

Когда рассвело, Укон прошла в келью знакомого монаха, дабы не торопясь побеседовать с юной госпожой. Девушка явно стыдилась своего измученного вида и невзрачных дорожных одежд, но смущение придавало ей особую прелесть.

— Совершенно неожиданно я попала в услужение в один из самых знатных домов столицы, и многих прекрасных женщин удалось повидать мне на своем веку. Долгое время я считала, что никто на свете не может сравниться с супругой Великого министра. Но недавно у нее появилась воспитанница, едва ли не превосходящая ее красотой. Впрочем, чему тут удивляться? Дочь такого отца... К тому же ее окружили столь нежными заботами. Но наша госпожа даже в этом скромном одеянии ничуть не хуже, и это меня чрезвычайно радует. Господин министр еще тогда, когда был жив отец его, государь, имел возможность общаться с женщинами самых высоких рангов, о простых придворных дамах я уж и не говорю. Так вот, он часто изволил утверждать, что среди всех женщин, которых видел он в своей жизни, только две могут быть названы настоящими красавицами — покойная государыня-супруга и юная госпожа, которая воспитывается в его доме. Мне трудно сравнивать, ведь государыню я никогда не видала, а девочка при всей милотности своей слишком мала, и можно лишь предполагать, какой она станет в будущем. Так что пока для меня нет никого прекрасней супруги господина министра. Полагаю, что и сам он считает ее выше других, просто не хочет говорить о том вслух. Я не раз слышала, как он шутит: «Вам повезло — не каждой удастся заполучить такого мужа, как я...» Ах, посмотришь на эту чету, и кажется, что жизнь твоя продлевается. «Подобной красоты нигде больше не встретишь», — всегда думала я, на них глядя, но теперь вижу, что ошибалась. Разумеется, все в этом мире имеет пределы, и даже у самой прославленной красавицы нет сияния вокруг головы, но я уверена, что красота нашей госпожи не останется незамеченной, — говорит Укон, с улыбкой глядя на девушку, и старуха-кормилица, возрадовавшись, отвечает:

— Да, вот такая она у нас. А ведь еще немного, и мы похоронили бы эту красоту в глуши. Вы себе и представить не можете, как я жалела ее, как печалилась! И вот бросила все: и дом, и имение, рассталась с детьми, служившими мне опорой, и поспешила сюда, в столицу, которая за эти годы стала мне совсем чужой. О, госпожа Укон, смею ли я рассчитывать на ваше покровительство? Ведь тем, кто прислуживает в знатнейших семействах, многое доступно. Может быть, вам удастся найти средство сообщить о ней ее отцу и добиться, чтобы он признал ее?

Застыдившись, девушка отворачивается.

— Ах, право, если уж меня, ничтожную, господин Великий министр изволил приблизить к себе... Подслушав однажды, как я вздыхала: «Что же случилось с моей маленькой госпожой?», он сказал: «Я и сам хотел бы это знать, и ежели дойдут до тебя какие слухи...»

— Что и говорить, господин Великий министр — важная особа, но в его доме уже есть женщины, причем занимающие весьма высокое положение. Пожалуй, лучше сначала сообщить о ней ее отцу, господину министру Двора, — отвечает кормилица, и Укон решается наконец рассказать ей о последних днях госпожи.

— Господин Великий министр так и не смог забыть о ней и до сих пор оплакивает ее утрату. Он не раз признавался мне, что дочь заменила бы ему мать. Собственных детей у него, к его великому сожалению, немного, и он предполагал взять ее в дом, объявив всем, что это его родная дочь, о существовании которой он узнал совершенно случайно. Однако в то время я была молода и неопытна, слишком многое смущало меня, и я так и не решилась навеститься к вам. Я услышала имя вашего супруга, когда он получал назначение на Цукуси, и догадалась, что это он, я видела его мельком в тот день, когда перед отъездом он заходил засвидетельствовать свое почтение господину министру, но поговорить с ним мне так и не удалось. Я надеялась, что вы оставили юную госпожу в том доме на Пятой линии, где цвели цветы «вечерний лик»... О как это ужасно! Подумать только, что она едва не стала настоящей провинциалкой!

Целый день проговорили они о прошлом. Келья находилась высоко в горах, оттуда хорошо были видны толпы паломников, спешащих к храму. Рядом протекала река, ее-то и называли Хацусэ.

— Не пойдй я искать
Двуствольную криптомерию,
Разве нашла бы
Сегодня тебя у берега
Старой реки Фурукава?.. (200)

Право, «пусть течение несет...» (201), — сказала Укон, и девушка ответила:

— Река Хацусэ
Быстра, и пусть нам неведомы
Ее истоки,
Душу вот-вот захлестнет
Радость нынешней встречи.

По щекам ее текли слезы, ничуть, впрочем, не умалявшие ее очарования. «Она так пленительно прекрасна. Воображаю, каких трудов стоило кормилице вырастить ее, — с благодарностью подумала Укон. — Малейший налет провинциальности погубил бы ее красоту, как самый незначительный изъян — драгоценную жемчужину. А на нее невозможно смотреть без умиления!» Сходство с матерью было очевидно, но если мать привлекала удивительной, почти детской застенчивостью и кротким, нежным нравом, в красоте дочери было что-то гордое, возвышенное и необыкновенно утонченное. Укон даже подумалось вдруг, что Цукуси не столь уж и дикое место,

но все, кого она знала прежде, были совершенными провинциалами, и она так и осталась в недоумении.

Когда стемнело, женщины вернулись в храм и весь следующий день провели в молитвах.

Осенний ветер, прилетая из далеких ущелий, веял холодом, но паломники были слишком взволнованы, чтобы обращать на это внимание. Мысли кормилицы с надеждой устремлялись в будущее. Она всегда печалилась, понимая, что вряд ли сумеет обеспечить госпоже достойное положение, но, судя по словам Укон, министр Двора пекся равно обо всех своих детях, независимо от ранга их матерей, так что и эта ничтожная былинка могла рассчитывать на его поддержку.

По дороге из храма женщины поведали друг другу, где теперь проживают, ибо Укон больше всего на свете боялась снова потерять юную госпожу. Жилище Укон находилось поблизости от дома на Шестой линии, то есть не так уж и далеко от того места, где остановилась кормилица со своими спутниками, и она надеялась, что можно будет найти верное средство сообщаться с ними.

Укон сразу поехала в дом Великого министра — может, удастся, улучив случай, намекнуть ему...

Когда, миновав ворота, она въехала в необычайно просторный двор, по которому сновали кареты отъезжающих и подъезжающих, ей вдруг стало стыдно, ибо рядом с этим драгоценным чертогом ее собственная незначительность становилась еще более очевидной.

Ночь она провела в своих покоях, терзаемая мучительными сомнениями, а наутро ее призвала к себе госпожа. Это была великая честь, ибо одновременно с Укон в дом на Шестой линии вернулись многие другие дамы, среди которых были особы весьма высокого ранга, не говоря уже о молодых прислужницах. Министр тоже был здесь и, увидав Укон, принялся по обыкновению своему над ней подшучивать:

— Что это ты так задержалась? На тебя не похоже! И куда девалась твоя обычная степенность? Ты словно помолодела. Не может быть, чтобы с тобой не случилось ничего примечательного!

— Уже больше семи дней прошло с тех пор, как я покинула ваш дом, но что примечательного может быть в моей жизни? Вот только повстречала на горной тропе одну прелестную особу...

— Кто же она? — спросил министр, но Укон медлила в нерешительности. Она еще не успела рассказать о случившемся госпоже и боялась, как бы та не стала пенять ей за скрытность, узнав, что она предпочла сообщить эту новость одному министру...

— Дело было так... — все же начала она, но тут вошли дамы, и разговор прервался.

Зажгли светильники, министр и его супруга сидели рядом, тихонько беседуя. Право, может ли быть картина прекраснее?

Госпоже Мурасаки исполнилось в том году двадцать семь или двадцать восемь лет, ее красота достигла полного расцвета. Всего несколько дней не видала ее Укон, но даже за столь короткий срок госпожа стала еще прекраснее. Там, в Хацусэ, Укон показалось, что девушка почти так же красива, но, увы, скорее всего это была просто игра воображения, ибо вряд ли кто-то

мог сравниться с супругой Великого министра. Сопоставляя их теперь, Укон невольно пришла к заключению, что существует весьма ощутимое различие между теми, кому повезло в жизни, и теми, кому не повезло.

Заявив, что уходит в опочивальню, министр попросил Укон растереть ему ноги.

— Молодые дамы всегда бывают недовольны, когда к ним обращаешься с подобной просьбой, мол, «не по силам». Тут хорош старый друг, способный тебя понять, — говорит он, и дамы тихонько смеются.

— Ну, разумеется...

— Можно подумать, что кто-нибудь из нас не рад услужить господину министру!

— Если мы чем и недовольны, то излишне вольными шутками...

— Впрочем, не исключено, что и госпожа будет недовольна: вдруг ей покажется излишней близость между старыми друзьями? Так что мы в опасности, — улыбаясь, говорит министр.

Он очень красив, и ему весьма к лицу эта манера шутить, появившаяся у него в последнее время. Теперь, когда Гэндзи не имеет надобности отдавать все дни делам правления, у него остается довольно досуга для тихих домашних развлечений. Он часто шутит с дамами, а поскольку его в высшей степени занимает, что у кого на душе, он удостаивает своим вниманием даже таких немолодых особ, как Укон.

— Так кого ты все-таки там нашла? Может, удалось завлечь какого-нибудь отшельника и привезти его в столицу?

— Ах, как дурно так говорить! Нет, я обнаружила след росы, растаявшей когда-то на лепестках «вечернего лика»...

— В самом деле? Как трогательно! Где же она до сих пор скрывалась? — спрашивает министр, и, не решаясь открыть ему всю правду, Укон отвечает:

— Очень далеко отсюда, в невероятной глуши... С ней остался кое-кто из прежних слуг. Мы вспоминали былые времена, и это было чрезвычайно грустно...

— Хорошо, но об этом потом, ведь никто, кроме нас... — пытается он остановить Укон, но госпожа, услышав, говорит:

— Вы просто невыносимы! Должна вам сказать, что меня клонит ко сну и я все равно ничего не слышу.

И она набрасывает на голову рукав, прикрывая уши.

— Какой она тебе показалась? Не хуже матери? — спрашивает министр, а Укон отвечает:

— Я никогда не верила, что она будет такой же, как мать, но она даже лучше, настоящая красавица.

— Любопытно... На кого же она похожа? На госпожу?

— Что вы, как можно...

— Судя по всему, ты весьма высокого о ней мнения. Право, будь она похожа на меня, за нее не было бы нужды волноваться... — заявляет он с таким видом, будто речь и в самом деле идет о его собственной дочери.

Вскоре после этого разговора министр призвал к себе Укон, желая побеседовать с ней наедине.

— Не привезешь ли ты эту особу сюда? Я всегда жалел, что затерялись ее следы, и очень рад, что она наконец нашлась. Вот только какой в том прок,

ежели мы и теперь будем пребывать в неизвестности? И стоит ли сообщать ее отцу? В его доме много других детей, и он уделяет большое внимание их воспитанию. Ее положение пока еще слишком шатко, и, затерявшись среди прочих, она вряд ли сумеет преуспеть — напротив. Я же небогат потомством, можно будет пустить слух, что она моя дочь, о существовании которой я узнал совершенно случайно. Я воспитаю ее так, что из-за нее лишатся покоя все столичные повесы, — говорит министр, и может ли Укон не радоваться?

— Я во всем полагаюсь на вас. Что касается господина министра Двора, то кто, кроме вас, может довести эту новость до его сведения? В самом деле, если в память о матери, так нелепо ушедшей из мира, вы возьмете на себя заботы о дочери, это снимет с вас хотя бы часть вины... — говорит Укон.

— Я вижу, ты по-прежнему готова винить меня в том, что случилось, — улыбается Гэндзи, но в глазах его стоят слезы.

— Все эти годы я печалился и сетовал на судьбу, разлучившую нас так быстро. Среди обитательниц этого дома, пожалуй, нет ни одной, к которой меня влекло бы с такой же неодолимой силой, как к твоей госпоже. Все они имели довольно времени, чтобы убедиться в моем постоянстве, все, кроме нее, безвременно покинувшей мир и только тебя оставившей мне на память. Тоска по ней до сих пор живет в моем сердце, и если ее дочь станет для меня утешением, ниспосланным в ответ на мои молитвы...

И Гэндзи написал девушке письмо.

Он опасался, что его ждет жестокое разочарование, ибо годы, проведенные в глуши, не могли не отразиться на ее облике, к тому же он хорошо помнил, сколь жалким оказался когда-то «цветок шафрана». Так или иначе, прежде всего ему хотелось увидеть, что она ответит и как. Тон его письма был любезно-учтивым, как и полагается в таких случаях. В конце он приписал:

«А решил я Вам написать вот почему...

Не ведаешь ты,
Но спроси, и тебе расскажут —
У цветов микури*,
В Мисимаэ растущих,
Корни прочные, не разорвать».

С письмом к девушке отправилась сама Укон, которая передала ей все, что сказал министр. Помимо письма она привезла дары — парадное облачение для юной госпожи, наряды для дам и прочие безделицы. Очевидно, готовя их, министр советовался и с госпожой Мурасаки. Осмотрев хранившиеся в покоях Высочайшего ларца наряды, он велел отобрать самые необычные по покрою и расцветке. Стоит ли говорить о том, сколь редкостно прекрасными показались они провинциальным жителям?

— Откровенно говоря, меня больше порадовало бы письмо от моего родного отца, даже если бы оно было куда более кратким, — сказала девушка. — Возможно ли, чтобы я переехала к совершенно чужому человеку и жила в его доме?

Решиться в самом деле было нелегко, и Укон, заручившись поддержкой остальных дам, не жалела сил, дабы убедить девушку в необходимости подобного шага.

— О, если бы вы переехали в дом Великого министра и заняли там достойное место!

— Отец ваш наверняка узнает о вас. Родителей с детьми связывают нерасторжимые узы...

— Вот Укон, к примеру, особа вовсе незначительная, а разве будды и боги не откликнулись на ее молитвы и не помогли встретиться с вами? А уж вам тем более нечего волноваться. Подумайте, ведь при благоприятном стечении обстоятельств... — уговаривали девушку домашние.

— Прежде всего вы должны ответить ему... — настаивали они.

— Боюсь, что господин министр сочтет меня жалкой провинциалкой... — смутилась девушка, но дамы, достав благоуханную китайскую бумагу, заставили ее написать ответ.

«Цветок микури,
Слишком уж он ничтожен...
Увы, не понять,
Зачем он корни пустил
В этом непрочном мире?..» —

вот, собственно, и все, что начертала она еле заметными знаками. В ее еще не устоявшемся юном почерке чувствовалось несомненное благородство, да и в остальном письмо производило скорее приятное впечатление, поэтому министр сразу успокоился.

Оставалось выбрать подходящее помещение.

В южной части дома не оказалось ни одного свободного флигеля. Велико было значение госпожи Мурасаки, и так же велико было число прислуживающих ей дам. В ее покоях всегда царило оживление, толпились люди. Более подходящими представлялись покои государыни-супруги, где обычно было тихо и спокойно, но там девушку могли принять за одну из прислужниц.

После долгих размышлений Гэндзи решил: «Пожалуй, западный флигель северо-восточной части дома при всей его уединенности будет для нее самым подходящим жилищем, а книгохранилище перенесем в другое место. Дама, которая там живет, столь скромна и приветлива, что поладить с ней не составит труда».

Тогда же министр рассказал госпоже Мурасаки ту давнюю историю, и она не преминула попенять ему за то, что он так долго не открывал ей этой тайны.

— Полно, стоит ли вам обижаться? Не думаю, чтобы кто-нибудь другой решился на подобное признание, даже если бы речь шла о живом человеке. Поверьте, когда б не мое особое отношение к вам, вы бы и теперь не узнали... — сказал он и тяжело вздохнул, как видно снова вспомнив ушедшую.

— Перед моими глазами прошло немало чужих судеб, да и на собственном опыте я хорошо знаю, что женщины — особы весьма чувствительные, даже те из них, кто не так уж и привязан к супругу. Помня об этом, я старался обуздать свой пылкий нрав, но все же оказался связанным со многими женщинами, среди которых были, может, и не совсем достойные. Но никого не вспоминаю я так часто, как ее, такую трогательную, такую прелестную... Будь она жива, разве не заботился бы я о ней точно так же, как о даме из

Северных покоев? Каждый человек имеет свои достоинства и свои недостатки. Она вряд ли могла считаться блестящей, изысканной собеседницей, но была так нежна и изящна...

— И все же не верится, что вы стали бы обращаться с ней так же, как с госпожой Акаси, — заметила госпожа Мурасаки.

В ее сердце возникла было прежняя неприязнь к обитательнице Северных покоев, но, взглянув на прелестную девочку, простодушно прислушивающуюся к разговору, она невольно смягчилась. «Стоит ли удивляться к тому, что он так привязан к этой особе? — подумала она. — Видно, столь высоко ее предопределение».

Все это происходило в дни Девятой луны. Мог ли министр отнестись к переезду юной госпожи без должного внимания? Разумеется, он распорядился, чтобы подобрали самых милостивых девочек-служанок и молодых прислужниц. На Цукуси кормилице удалось, используя сохранившиеся старинные связи, создать для своей госпожи вполне приличное окружение из случайно заброшенных судьбой в эти земли столичных дам. Однако взять их с собой в столицу оказалось невозможным, ибо слишком поспешным был отъезд, и девушка теперь вовсе не имела прислужниц.

К счастью, столица велика, а уличные торговки оказались весьма ловкими посредницами, поэтому за сравнительно короткое время в их доме перебывало немало дам, желающих поступить в услужение. Кормилица никому не открывала тайны своей госпожи. Сначала девушку потихоньку перевезли в дом Укон на Пятой линии, где окончательно отобрали для нее прислужниц, подготовили наряды. И только на Одиннадцатую луну девушка переехала на Шестую линию.

Министр поручил ее попечениям обитательницы восточной части дома, известной прежде под именем Ханатирусато, дамы из Сада, где опадают цветы.

— Женщина, которая волновала когда-то мое сердце, не снеся тоски, поселилась одиноко в горной глуши, — объяснил он ей. — Была у нее маленькая дочь, которую я тайно разыскивал все эти годы, но, увы, напрасно. Теперь она совсем взрослая. Только недавно мне совершенно случайно стало известно, где она скрывается, и я решил взять ее к себе. Ее матери давно уже нет в живых. На вашем попечении находится Тюдзё, и разве вас можно в чем-то упрекнуть? Позаботьтесь же и о ней. До сих пор она воспитывалась в глуши, и в ее манерах должно быть немало провинциального. Наставляйте же ее при каждом удобном случае.

— А я и не подозревала о ее существовании. Какая радость! Ведь вы всегда печалились, что у вас только одна дочь, — искренне обрадовалась Ханатирусато.

— Мать ее была на редкость кротка и мягкосердечна, вот я и рассудил, что при нашем добром нраве...

— У меня не так уж много подопечных, и я влачу дни в унылой праздности. Так что я только рада... — отвечала женщина.

Домочадцы, которым не сообщили, что девушка — дочь министра, недовольно переговаривались:

— Хотелось бы знать, кого господин изволил раскопать на сей раз? Что за страсть возиться с бывшими возлюбленными!

Перевозили девушку всего в трех каретах. Благодаря стараниям Укон в нарядах дам не было ничего провинциального. От господина министра принесли дары: чудесный узорчатый шелк и много других прекрасных вещей.

В тот же вечер Великий министр навестил юную госпожу. Разумеется, Хёбу и прочие дамы слышали о Блистательном Гэндзи, но, проведя столько лет вдали от столицы, даже представить себе не могли, что человек может быть так прекрасен, и теперь, прикинув к щелям в ширмах и занавесях, жадно разглядывали его фигуру, освещенную тусклым огнем светильника. Его поразительная красота повергла их в трепет.

Увидев, что Укон раскрыла для него боковую дверь, Гэндзи улыбнулся:

— О, через эту дверь должно входить совершенно с другими чувствами, — говорит он, усаживаясь на приготовленное для него сиденье в передних покоях. — Боюсь, что столь тусклое освещение может пробудить в сердце легкомысленные желания. Я слышал, будто вы хотели увидеть лицо отца? Или я ошибаюсь? — обращается он к девушке и немного отодвигает занавес.

Совсем растерявшись, она отворачивается. Убедившись в ее чрезвычайной миловидности, обрадованный министр говорит:

— Зажгите светильники поярче. В этом полумраке есть что-то слишком волнующее...

Укон, удлинив фитиль, пододвигает светильник.

— Стоит ли так робеть? — улыбается Гэндзи и, любясь прелестным лицом юной госпожи, думает: «Да, Укон права». Он беседует с ней просто, без всяких церемоний, словно он и в самом деле ее отец. — Все эти годы я ни на миг не забывал о вас и печалился, не зная, где вас искать. И теперь, когда вы здесь, рядом, я невольно спрашиваю себя: «Уж не сон ли?» Мысли уносятся в прошлое, и все чувства в таком смятении, что я вряд ли сумею сказать вам все, что желал бы сказать. — И министр вытирает слезы.

В самом деле, как печальны воспоминания! Подсчитав, сколько девушке может быть лет, он говорит:

— Вряд ли какой-нибудь другой отец так долго был разлучен со своей дочерью. Сколь безжалостна к нам судьба! Но не бойтесь меня, вы уже не дитя, и ничто не мешает нам спокойно говорить обо всем, что произошло за эти годы.

Но, совсем смутившись, девушка не в силах вымолвить ни слова.

— Увы, я и на ноги встать не могла (143), когда увезли меня из столицы, а все, что было потом, — словно мимолетный сон... — тихо говорит она наконец, и ее юный голос так живо напоминает Гэндзи голос той, что давно уже покинула этот мир...

«А ведь ответ ее вовсе не дурен», — думает он и, улыбнувшись, отвечает:

— Я хорошо понимаю, как тяжело было вам жить в такой глуши и, поверьте, не найдется человека, в котором ваши страдания возбудили бы более искреннее участие...

Скоро, дав Укон соответствующие указания, Гэндзи вышел.

Девушка произвела на него самое приятное впечатление и, обрадованный, он поспешил рассказать о ней госпоже Мурасаки.

— Я относился к ней с некоторым пренебрежением, полагая, что за эти годы она должна была стать жалкой провинциалкой, но, к счастью, мои опа-

сения оказались напрасными: она держится с таким достоинством, что скорее я чувствую себя неловко в ее присутствии. Не станем же делать тайну из ее пребывания здесь, пусть помучаются принц Хёбукё и прочие молодые любезники, устремляющие взоры за нашу ограду. До сих пор они вели себя в нашем доме столь степенно только потому, что никто не возбуждал их любопытства. Посмотрим, как быстро утратят они свою церемонную важность. Стоит только окружить ее заботами...

— Ну не странно ли слышать такое от отца? Не кажется ли вам, что дурно думать прежде всего о поклонниках? — пеняет ему госпожа.

— Жаль, что я не думал об этом раньше, а то бы и о вас позаботился соответствующим образом. Теперь мне кажется, что я поступил весьма опрометчиво, — смеясь, отвечает Гэндзи, и госпожа заливается румянцем, который удивительно красит и молодит ее.

Придвинув к себе тушечницу, Гэндзи пишет на листке бумаги:

«От любовной тоски
 Душа томится по-прежнему.
 Какая судьба
 В мою жизнь вплела так чудесно
 Драгоценную эту нить?*

— Ну разве это не трогательно? — говорит он, словно про себя...

«Похоже, он и в самом деле был искренне привязан к той женщине, — думает госпожа, — а поскольку девушка — живая память о ней...»

Великий министр рассказал о новой своей подопечной и господину Тюдзё.

— Надеюсь, ты будешь достаточно внимателен к ней, и вы подружитесь, — сказал он, и юноша не преминул наведаться в ее покои.

— Я хорошо понимаю, сколь мало значу для вас, и все же не могу не сожалеть, что вы не обратились прежде всего ко мне. Я даже не участвовал в вашем переезде... — сказал он весьма учтиво, повергнув в замешательство дам, которым открыто было истинное положение вещей.

Прежде девушке казалось, что не может быть жилища роскошнее того, в котором она жила на Цукуси, но, увидев дом Великого министра... Здесь все до мелочей поражало изысканностью и благородным изяществом, люди же, принявшие ее как родную, были один прекраснее другого, так что даже Сандзё пришлось признать, что столь превосходимый ею прежде Дайни по сравнению с ними был просто ничтожеством. А уж воинственного Таю-но гэна она и вспомнить не могла без ужаса.

И сама девушка, и Укон сознавали, сколь многим обязаны они преданности Буго-но сукэ. Гэндзи, полагая, что излишняя обобщенность может иметь следствием непростительные упущения, учредил для юной госпожи отдельную Домашнюю управу, определив круг ее обязанностей. Буго-но сукэ тоже стал одним из служителей. Долгих лет, проведенных в провинциальной глуши, словно не бывало, и мог ли он не благословлять судьбу? За великую честь почитал он право в любое время дня и ночи приходить в этот великолепный дом, давать указания слугам, надзирать за порядком. В самом деле, смел ли он хотя бы помыслить о чем-либо подобном в прежние времена? Да и можно ли было ожидать, что Великий министр примет такое участие в судьбе бедных скитальцев?

Год подошел к концу, и Гэндзи изволил позаботиться об убранстве покоев юной госпожи и праздничных нарядах для ее прислужниц, поставив ее наравне с особами самого высокого происхождения.

Отдавая справедливую дань достоинствам девушки, министр вместе с тем не особенно доверял ее вкусу, ибо понимал, что провинциальное воспитание может дать о себе знать самым неожиданным образом. Вот и на этот раз он внимательнейшим образом осмотрел разнообразные по оттенкам и покрою наряды, над которыми потрудились лучшие столичные мастера.

— Какое множество нарядов! — сказал он госпоже Мурасаки. — Надо распределить их так, чтобы никто не остался в обиде.

Госпожа приказала принести все, что шито в покоях Высочайшего ларца, а также в ее собственных покоях, и разложить все это перед Гэндзи.

Трудно было не восхититься удивительным мастерством госпожи, которой удавалось достичь не только неповторимой яркости и свежести красок, но и необыкновенной изысканности сочетаний.

Перебрав шелка, доставленные из разных ложилен, и отобрав темно-лиловые и красные, министр велел разложить их по ларцам и коробам. Помогали ему опытные немолодые прислужницы. «Это сюда, а это — туда», — решали они, раскладывая ткани.

— Право, все эти наряды настолько хороши, что трудно отдать чему-то предпочтение, — заметила госпожа. — Остается позаботиться лишь о том, чтобы они оказались к лицу тем, для кого предназначены. Ибо вряд ли что-нибудь может быть безобразнее платья, которое тебе не к лицу.

Министр улыбнулся:

— Я подозреваю, что вы рассчитываете между делом получить некоторые сведения о внешности каждой из дам. А что, вы думаете, к лицу вам самой?

— Но разве зеркало может дать верный ответ на этот вопрос? — смутилась госпожа.

Для нее выбрали темно-розовое, затканное узорами верхнее платье, сиреневое коутики, а также превосходное нижнее одеяние модного цвета. Для маленькой госпожи — хосонага цвета «вишня» и несколько нижних платьев из лощеного алого шелка.

Не очень яркое светло-синее верхнее платье, затканное изящным морским орнаментом, и нижнее одеяние из лощеного темно-алого шелка достались обитательнице Летних покоев, а для юной госпожи из Западного флигеля выбрали ярко-коричневое на синей подкладке верхнее платье и хосонага цвета «керрия».

Притворяясь, что ее нисколько не занимают все эти наряды, госпожа между тем силилась представить себе наружность девушки. «Может, она похожа на своего отца, министра Двора? Он ведь очень хорош собой, хотя, пожалуй, его красоте недостает утонченности». Она старалась казаться спокойной, но Гэндзи сразу заметил, что она взволнована.

— Кто-то может и рассердиться, узнав, что о его внешности судят по платью. Каким бы великолепным ни был наряд, его возможности ограничены, а в самой заурядной женщине обнаруживаются порой достоинства, недоступные поверхностному взгляду, — сказал министр и украдкой улыбнулся,

взглянув на прелестное платье, выбранное им для Суэцумухана. Оно было сшито из узорчатой ткани цвета «ива», густо затканной изящным растительным китайским орнаментом. Платье из белого китайского шелка с порхающими между сливовыми ветками бабочками и птицами и нижнее одеяние из темно-лилового блестящего шелка предназначалось для госпожи Акаси. «Такой наряд может быть к лицу только очень благородной особе», — подумала госпожа, ощутив новый укол ревности.

Для монахини Уцусэми министр выбрал изысканное платье из зеленоватого шитья и к нему еще два: желтое и светло-розовое.

Всем дамам Гэндзи отправил письма, в которых просил облачиться в эти наряды в один и тот же день. Разумеется, ему не терпелось узнать, к лицу ли им новые платья.

Дамы постарались ответить как можно изящнее и щедро одарили гонцов. Дочь принца Хитати жила дальше всех, в Восточной усадьбе, потому и дары ее должны были быть самыми роскошными, а поскольку особа эта никогда не нарушала приличий, гонец получил великолепное женское платье цвета «керрия» с засаленными от долгой носки рукавами, которое без нижнего одеяния напоминало пустую скорлупку цикады.

Ответ она написала на толстой и пожелтевшей от времени бумаге «митиноку», пропитанной благовониями:

«Получила Ваш дар, и еще печальнее стало...

О китайский наряд!
Облачилась в него, но обида
Прежняя в сердце.
И его возвращаю тебе,
Рукава омочив слезами...»

Почерк у нее был удивительно старомодный. Министр так долго разглядывал письмо, что госпожа Мурасаки стала подозрительно на него посматривать: «Что там такое?»

Гонец же поспешил незаметно скрыться, опасаясь, что жалкие дары, полученные им от дочери принца, могут огорчить и раздосадовать господина министра.

Дамы пересмеивались и перешептывались. Мало того, что дочь принца Хитати была неисправимо старомодна, она еще не желала понимать, что столь упорное стремление ни в коем случае не отставать от других может поставить в неловкое положение не только ее, но и окружающих.

— Право, рядом с ней начинаешь стыдиться своего несовершенства, — улыбаясь, сказал министр. — Приверженцы старинного стиля в поэзии никак не могут обойтись без сетований на «китайские наряды», «мокрые рукава». Я и сам из их числа, но мне все же кажется, что нельзя слепо следовать старым правилам и совершенно пренебрегать современными словами. Такие, как она, считают, что, если песня складывается по какому-нибудь торжественному поводу, на поэтическом собрании или в присутствии государя, в ней непременно должны быть слова «вместе сойдясь», если же это изящная любовная переписка-поддразнивание, вполне достаточно в позиции «передышки»* поставить одно лишь слово — «непостоянный», а остальные слова подберутся сами собой.

Можно перечитать все, какие есть, книги и руководства, затвердить все песенные зачины, научиться умело использовать их, но боюсь, что произведения, созданные таким образом, будут удручающе однообразны. Дочь принца Хитати прислала мне как-то записки, оставшиеся от ее отца. На толстой бумаге «канъя» с докучной подробностью он изложил основы стихосложения, перечислил опаснейшие болезни японских песен*. Я и прежде не блистал в этой области особыми талантами, а прочтя это сочинение, почувствовал себя еще более скованным, чем прежде. Удрученный, я вернул записки их владельце. Откровенно говоря, для особы, столь глубоко проникшей в тайны поэтического мастерства, эта песня слишком заунывна, — заметил министр, как видно из жалости к дочери принца Хитати, притворяясь заинтересованным.

— Для чего же вы вернули эти записки? — спросила госпожа, и самое неподдельное удивление звучало в ее голосе. — Их следовало переписать для нашей маленькой госпожи. У меня имелось когда-то нечто подобное, но, к сожалению, все свитки были уничтожены насекомыми. Не читавшему таких записок трудно проникнуть в тайны поэтического мастерства.

— А по-моему, маленькая госпожа вполне может обойтись без них. Все женщины таковы — выберут что-нибудь одно, что им особенно по душе, и на этом сосредотачиваются. Ничего хорошего в этом нет. Правда, не лучше, когда они вовсе ни на что не способны. Мне всегда нравились женщины, у которых за внешней мягкостью скрывается внутренняя твердость, — сказал министр, а поскольку, судя по всему, отвечать на письмо он не собирался, госпожа заметила:

— Если не ошибаюсь, там сказано «и его возвращаю...». Дурно не отвечать на такое письмо.

У министра было доброе сердце, и его не пришлось долго упрашивать. Не долго думая, он набросал ответ:

«Платье верну»,
Ты сказала, но слышится мне:
«Платье выверну я...»*
Представляю, как грустно одной
Коротать долгие ночи... (202)

О, я хорошо понимаю Вас...» — вот, кажется, и все, что он написал.





ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

Основные персонажи

Великий министр (Гэндзи), 36 лет

Госпожа Весенних (Южных) покоев (Мурасаки), 28 лет — супруга Гэндзи

Маленькая госпожа, 8 лет — дочь Гэндзи и госпожи Акаси

Обительница Северных покоев (госпожа Акаси), 27 лет — возлюбленная Гэндзи

Дочь принца Хитати (Суэцумухана) — возлюбленная Гэндзи

Уцусэми — вдова правителя Хитати (Иё-но сукэ, см. главы «Пустая скорлупка цикады», «У заставы»)

Девушка из Западного флигеля (Тамакадзура), 22 года — дочь Югао и министра Двора (То-но тюдзё), приемная дочь Гэндзи

Тюдзё (Югири), 15 лет — сын Гэндзи и Аои

Бэн-но сёсё (Кобай) — сын министра Двора (То-но тюдзё)

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ Нового года над столицей сияло безоблачное небо, и даже за самыми ничтожными оградами по проталинам пробивались нежные молодые ростки; над землей, словно торопя весну, стлалась зыбкая дымка, деревья тоже начинали дымиться зеленью, а лица людей сияли довольством и сердечным весельем.

Нетрудно себе представить, каким поистине драгоценным блеском сверкал в эти дни дом на Шестой линии! Здесь все, начиная с сада, вызывало восхищение, и никаких слов не достанет, чтобы описать изысканнейшую роскошь внутренних покоев.

Особенно хорош был весенний сад. В воздухе витал аромат цветущих слив, такой густой, словно нарочно воскурили благовония. Казалось, вот она перед нами — земля Вечного блаженства.

Госпожа Мурасаки, что там ни говори, жила спокойно и неторопливо. Самых молодых и миловидных прислужниц она передала своей юной воспитаннице, оставив у себя женщин постарше и сегодня они, едва ли не превосходя молодых утонченностью манер и изысканностью нарядов, собирались живописными группками, угощались сулящими долголетие яствами, обменивались зеркальными моти* и, не забывая о «тысячелетней кроне» (203), желали друг другу благополучия в грядущем году, шутили и смеялись.

Тут пришел господин министр и, застигнутые врасплох, они едва успели принять подобающие случаю позы.

— Ах, как некстати... — сетовали они.

— Уж очень высокопарные у вас пожелания! — улыбаясь, говорит министр. — А ведь, наверное, каждая мечтает о чем-то своем. Откройте мне ваши чаяния, и я стану молиться, чтобы они исполнились.

Его прекрасное улыбающееся лицо словно воплощает в себе все самое радостное, что заключено в первых днях года.

Госпожа Тюдзё, особа весьма самоуверенная, спешит ответить:

— Глядя на зеркальные моти, мы повторяли: «Можно увидеть...» (204)
А чего нам желать самим себе?

Утром в доме толпились люди и было шумно, поэтому только к вечеру Гэндзи собрался идти с новогодними поздравлениями в женские покои. Ради такого случая он принарядился, и невозможно было смотреть на него без восхищения.

— Я позавидовал сегодня вашим дамам, услышав, как они шутили, обменивались новогодними пожеланиями. Позвольте же и мне поздравить вас.

И слегка шутивым тоном министр обращается к госпоже с пожеланиями долголетия.

— Вот наконец
И растаял последний лед!
В зеркале пруда —
Мы с тобою сидим рядом.
Есть ли в мире люди счастливее?

В самом деле, прекрасная пара!

— В зеркале пруда
Незамутненно-чистом
Четко видны
Отражения наши — много
Долгих лет у нас впереди...

Так, они — прекрасный пример для подражания — никогда не упускали случая поклясться друг другу в вечной верности. Был день Крысы*, поэтому пожелания встретить вместе еще тысячу весен казались особенно уместными.

Затем Гэндзи прошел в покои дочери. В саду девочки и молодые служанки забавляются, выдергивая растущие на горке сосенки. Этим юным особам явно не сидится на месте.

От обитательницы Северных покоев принесли, видимо, нарочно приготовленные для этого случая бородастые корзинки* и шкатулки с различными лакомствами. Даже соловей, сидящий на ветке пятиигольчатой сосны, сделанной на редкость искусно, был как живой.

«Я успела состариться,
Ожидая, пока тянулась вверх
Малютка-сосна.
Так потешь же меня сегодня,
Соловей, своей первой песней!

«В том саду, где его не слышно...» (205) — написала госпожа Акаси. «В самом деле, как трогательно», — подумал министр. Видно было, что он едва сдерживает неуместные в праздничный день слезы.

— Напиши ответ сама... — сказал он. — Кто более, чем она, заслуживает твоей первой песни?

И Гэндзи приготовил для дочери тушечницу.

Девочка отличалась необыкновенной красотой, дамы, неотлучно при ней находившиеся, и те не уставали ею любоваться. Взглянув на ее прелестную фигурку, Гэндзи ощутил невольную жалость к несчастной матери и свою вину перед ней, ведь столько долгих лет она принуждена была жить вдали от этого милого существа!

«Как же давно
Соловей навсегда покинул
Родное гнездо!
Но может ли он забыть
Сосну, на которой вырос?»

Она писала обо всем, что подсказывало ей ее юное сердце, и, пожалуй, кому-то ее ответ мог показаться слишком многословным...

В Летних покоях, которые министр навесил вслед за Весенними, оказалось пустынно и тихо. Не потому ли, что до лета было еще далеко?.. Убранство не отличалось особенным великолепием, но каждая мелочь свидетельствовала о тонком вкусе хозяйки. Годы не отдалили министра от дамы из Сада, где опадают цветы, он по-прежнему питал к ней самую трогательную привязанность. Правда, теперь он не имел с ней близких отношений, их союз, что редко бывает в мире, основывался исключительно на взаимной приязни.

Они беседовали через занавес, но, когда Гэндзи слегка отодвинул его в сторону, женщина и не подумала спрятаться.

На ней было то самое неяркое синее платье, волосы заметно поредели — женщина давно уже миновала пору расцвета. «Стыдиться тут особенно нечего, но, пожалуй, ей не помешала бы небольшая накладка... — подумал Гэндзи. — Возможно, кого-то и разочаровала бы подобная наружность, но я всегда готов был окружить ее заботами, и рад, что мне это удалось. А вот если бы она, подобно некоторым ветреницам, отвернулась от меня...»

Каждый раз, навещая ее, он радовался как своему сердечному постоянству, так и ее редким душевным качествам. Право, мог ли он желать

большого? Неторопливо побеседовав с ней о событиях прошедшего года, Гэндзи перешел в Западный флигель.

Девушка поселилась здесь сравнительно недавно, но, несмотря на это, убранство ее покоев поражало изысканностью. Вокруг сновали миловидные, нарядно одетые девочки-служанки. Число взрослых прислужниц тоже было достаточно велико, и хотя о каких-то мелочах еще не успели позаботиться, все необходимое уже имелось.

Сама юная госпожа тоже выглядела прекрасно. «Да, хороша...» — невольно залюбовался ею министр. Право, для ее яркой, свежей красоты трудно было придумать лучшее обрамление, чем платье цвета «керрия». Она была просто ослепительна, сколько ни гляди — не наглядисься.

Волосы, более тонкие к концам — уж не вследствие ли долгих лет, проведенных в глуши? — красивой волной падали на платье. Словом, всем она была хороша, и Гэндзи невольно подумал: «А ведь не возьми я ее к себе...» Так, судя по всему, он вряд ли останется равнодушным к ее прелестям.

Девушка успела привыкнуть к тому, что министр не церемонясь заходил в ее покои, однако столь странные отношения — ведь на самом-то деле слишком многое их разделяло — тяготили ее, и она жила словно во сне. Ей с трудом удавалось скрывать смущение, но робость, которую она испытывала в его присутствии, удивительно как шла к ней.

— Мне кажется, протекло уже много лет... — сказал Гэндзи. — Как приятно видеть вас здесь! Право, лучшего я и не желал. Надеюсь, вы чувствуете себя свободно? Вы доставили бы мне большую радость, если бы наведались как-нибудь в Южные покои. Юная особа, которая там живет, делает первые шаги в игре на кото, и вы могли бы музицировать вместе. Вам нечего опасаться, что кто-то будет косо смотреть на вас.

— Я сделаю так, как вы желаете... — ответила девушка.

Да и можно ли было ждать от нее другого ответа?

Уже в сумерках министр зашел к госпоже Акаси. Стоило ему открыть дверь галереи, ведущей в ее покои, как из-за занавесей повеяло сладостным ароматом курений, в котором чудилось что-то необыкновенно благородное.

Самой дамы не видно. «Где же она?» — недоумевает Гэндзи, озираясь. Но тут замечает разбросанные возле тушечницы исписанные листки бумаги и принимается их разглядывать.

Перед сиденьем из белой китайской парчи, которую называют обычно «Восточная столица», обрамленным на редкость красивой каймой, лежит изящное китайское кото, в курильнице необычайно тонкой работы дымятся курения «дзидзю»*, которых проникающий повсюду аромат приобретает особую изысканность, смешиваясь с витающими в воздухе курениями «эбики»*.

Госпожа Акаси, судя по всему, просто упражнялась в каллиграфии, беспорядочно набросанные знаки явно не предназначены для постороннего взгляда, но даже по ним видно сколь незауряден и изящен ее почерк. Она избегает вычурно сложной скорописи, все написанное ею радует глаз стройностью и простотой. Очевидно, ее взволновал ответ «малютки-сосны»: во всяком случае на листках немало трогательных старинных песен. Среди них попадаются и ее собственные:

«Радостный миг!
Соловей, по веткам порхающий
Среди пышных цветов,
Навестил гнездо свое старое
В далеком горном ущелье...

Вот и дождалась...» (54)

Взяв в руки листок на котором несколько раз — словно себе в утешение — были начертаны слова: «Когда бы мой дом...» (206), Гэндзи улыбнулся, и лицо его стало еще прекраснее. Только он обмакнул кисть, собираясь тоже что-нибудь написать, как появилась госпожа Акаси.

Даже теперь она держится скромно и почтительно. «И все-таки есть в ней что-то особенное, отличающее ее от других!» — думает Гэндзи, на нее глядя. Волосы волной падают до самого пола, красиво выделяясь на белом платье, их мягкие истончившиеся концы сообщают ее облику особое очарование — словом, женщина так мила, что Гэндзи после некоторых колебаний: «В первый же день года навлекать на себя упрёки...» — решает остаться на эту ночь в ее покоях.

И в самом деле, многие обиделись, узнав, что господин министр — в который раз — отдал предпочтение госпоже Акаси. Особенно же возмущены были обитательницы Южных покоев.

На рассвете Гэндзи поспешил уйти. «Но ведь ночь совсем еще темна...» — опечалилась женщина и долго еще вздыхала, сожалея о разлуке.

Госпожа Мурасаки ждала его возвращения. Понимая, что она должна быть в дурном расположении духа, Гэндзи сказал:

— Вот чудеса! Сидел-сидел и вдруг задремал... Сморил меня сон, совсем как бывало в юности, а вы и не подумали прислать кого-нибудь, чтоб меня разбудили.

Забавно было смотреть, как пытается он умиловить ее. Не получив никакого внятного ответа, он огорчился, лег и, пока солнце не поднялось совсем высоко, притворялся спящим.

На этот день был назначен Прием чрезвычайных гостей*, и под предлогом занятости Гэндзи целый день не показывался на глаза госпоже.

В доме на Шестой линии, как всегда, собрались вся высшая знать и принцы крови. Звучала прекрасная музыка, а подарки и вознаграждения поражали еще не виданным великолепием.

Гости держались надменно и важно, как и подобает столь высоким особам, но, увы, никто из них не мог сравниться с хозяином. Разумеется, каждый по отдельности представлял собой весьма значительную фигуру в том редком собрании талантов, которое придавало блеск нынешнему правлению, но, как это ни прискорбно, в присутствии Великого министра даже самые выдающиеся из них казались лишенными всяких достоинств. В этом году сановники низших рангов и те не пожалели усилий, чтобы оказаться в числе приглашенных, а уж о юношах из знатных семейств и говорить нечего: теша себя новыми надеждами, они не умели скрыть своего волнения — словом, никогда еще в доме на Шестой линии не бывало так оживленно.

Ласковый вечерний ветерок разносил повсюду благоухание цветов, на сливах лопались почки, а когда спустились сумерки, зазвенели струны и

очень скоро послышались звонкие голоса — пели «Этот дворец...»*. Особенное восхищение вызвала у собравшихся заключительная часть песни, та, где говорится о трехслойных листьях сакикуса, и недаром — певцам изволил подпевать сам Великий министр. Впрочем, так бывало всегда: все, к чему бы ни прикасался этот удивительный человек, начинало сверкать новыми, доселе никому не ведомыми гранями, будто чудесное сияние, от него исходившее, бросало отсвет на окружавшие его предметы, сообщая яркость краскам и полноту звукам.

Обитательницы женских покоев, до которых лишь изредка доносилось лошадиное ржание, шум подъезжающих карет, были раздосадованы: «Совершенно так же должен чувствовать себя человек, находящийся внутри нераскрывшегося цветка лотоса»*, — думали они.

Еще больше оснований для недовольства было у обитательниц отдаленной Восточной усадьбы. С годами их жизнь становилась все однообразнее и тоскливее, но, уподобляя жилище свое горной обители, где «нет места мирским печалям» (43), они не позволяли себе роптать. Да и могли ли они упрекать в чем-то министра? Иных забот они не знали, им не о чем было тревожиться, не о чем горевать. Та, что решила посвятить себя служению Будде, все время отдавала молитвам. Другой ничто не мешало сосредоточиться на разнообразных «записках», к изучению которых она обнаруживала сильнейшую склонность. В остальном же их жизнь была устроена самым порядочным образом, и они ни в чем не имели нужды.

Когда миновали беспокойные новогодние дни, Великий министр изволил наведаться к ним. Он всегда помнил о высоком звании дочери принца Хитати и из жалости к ней — по крайней мере при посторонних — держался в ее присутствии крайне церемонно.

Ее волосы, единственное, что было в ней когда-то прекрасно, с годами поредели, и теперь, глядя на ее профиль, обрамленный их затихшим водопадом (207), Гэндзи не мог избавиться от щемящей жалости, а потому предпочитал садиться так, чтобы не видеть ее спереди.

Платье цвета «ива», как он и предполагал, сидело на ней дурно, но единственно она сама и была тому виною. Да и могло ли быть иначе, если она надела его прямо поверх платья из тусклого, потемневшего, до хруста накрахмаленного красного шелка? Конечно же, она дрожала от холода, представляя собой весьма жалкое зрелище. Хотелось бы знать, куда она дела нижнее платье. Нос ее по-прежнему ярко алел, и никакой весенней дымке не удалось бы это скрыть. Невольно вздохнув, министр старательно загородил женщину занавесом. Впрочем, это ее ничуть не смутило. За долгие годы дочь принца Хитати уверилась в сердечном постоянстве Гэндзи, на душе у нее было спокойно, она полностью полагалась на него и, трогательная в своей беспомощности, с признательностью принимала его попечения.

«Бедняжка, она и в этом совсем не похожа на других, — с жалостью подумал Гэндзи. — Мне не следует о ней забывать». Право, в целом мире не найдешь человека заботливее!

Ее голос дрожал, очевидно тоже от холода. Смотреть на нее было невыносимо и Гэндзи спросил:

— Неужели у вас нет прислужниц, которые заботились бы о вашем платье? Ваша уединенная, спокойная жизнь дает вам право на некоторую



свободу. Вы вполне можете носить теплые, мягкие одежды. Одеваясь, не следует думать только о том, как ты выглядишь.

— Мне пришлось взять на себя заботы о Дайго-но адзари*, — смущенно улыбнувшись, отвечала она. — И я ничего не успела сшить для себя. Даже мою меховую накидку он унес, вот я и мерзну теперь.

Речь шла о ее старшем брате, монахе, у которого был такой же красный нос. Разумеется, простодушная искренность дочери принца Хитати была весьма трогательна, но она могла бы и не вдаваться в такие подробности. Впрочем, с ней министр и сам становился человеком степенным и чисто-сердечным.

— О меховой накидке жалеть не стоит. Похвально, что вы уступили ее монаху-скитальцу, она заменит ему соломенный плащ. Но почему не надеть несколько нижних платьев? Подошли бы самые простые, белые. Если я что-то забываю, напоминайте мне. Ведь естественно, что при свойственной мне рассеянности и постоянной занятости... — сказал Гэндзи и распорядился, чтобы слуги открыли хранилища дома напротив и принесли оттуда гладкие и узорчатые шелка.

Дом на Второй линии не назовешь заброшенным, но, поскольку сам министр не жил здесь, в покоях неизменно было пустынно и тихо. И только сад по-прежнему радовал взоры. Нельзя было не сожалеть, что некому теперь восхищаться прекрасными расцветающими сливами...

— Зашел посмотреть
На деревья весенние
В старом саду
И случайно увидел диковинный,
Но с давних пор милый цветок...

тихо, словно про себя, произнес министр, но похоже было, что женщина ничего не поняла.

Заглянул он и к монахине Уцусэми. Никогда не стремившаяся к внешнему блеску, она и теперь жила тихо и скромно, отдав большую часть покоев священным изображениям и проводя дни в молитвах. Глубоко растроганный, Гэндзи огляделся. Украшения для сутр и изваяний будд, разнообразные предметы утвари и сосуды для священной воды, подобранные с отменным вкусом и изяществом, напоминали об особой утонченности хозяйки. Сама она сидела, укрывшись за изысканнейшим зеленовато-серым занавесом, так что виднелись лишь концы рукавов, казавшиеся необычно яркими*. Взволнованный нахлынувшими вдруг воспоминаниями, министр сказал, глотая слезы:

— Мне следовало бы примириться с тем, что только издалека могу мечтать о Сосновом острове (99). Чувство к вам не принесло мне ничего, кроме печали. Но, может, хотя бы то взаимное дружелюбие, которое установилось меж нами теперь, будет вечно радовать нас...

— Мое доверие к вам беспредельно, — отвечала растроганная монахиня. — И я уверена, что союз наш вовсе не случаен.

— Я знаю, что виноват, ибо не должен был столько раз повергать в смятение ваши чувства. Теперь я неустанно взываю к Будде, испрашивая прощения. Знаете ли вы, сколь это мучительно? Далеко не всем свойственно такое чистосердечие, надеюсь теперь вы в этом убедились...

«Ах, наверное, ему стало известно о той неприятной истории из моей прежней жизни...» — смутилась женщина.

— Может ли быть наказание мучительнее того, что ниспослано мне? Ведь я обречена до самого конца появляться перед вами в этом печальном обличье... — сказала она и горько заплакала.

С годами манеры Уцусэми приобрели еще большую утонченность и благородство, мысль же о том, что она далека теперь от всего мирского, делала ее еще привлекательней в глазах Гэндзи. Тем не менее любые вольности в разговоре с ней были непозволительны, и Гэндзи степенно беседовал с ней о делах прошлых и нынешних, время от времени поглядывая в сторону покоев дочери принца Хитати и думая: «Когда б она могла поддерживать хотя бы такую беседу...»

Немало было и других женщин, которым он покровительствовал. Гэндзи заглянул ко всем.

— Бывает, что я не появляюсь у вас по несколько дней кряду, — ласково говорил он, — но я всегда помню о вас. Ведь страшна лишь последняя разлука на этом, увы, небеспредельном пути... Некому ведь не ведомо, продлится ли жизнь... (208, 209).

Каждая из этих женщин была по-своему дорога его сердцу.

Достигши столь высокого положения, Великий министр не проявлял обычной в таких случаях чванливости, он был неизменно ровен и приветлив со всеми своими подопечными, окружая их заботами, сообразными званию каждой. Так, многие жили, уповая единственно на его доброту.

В том году решено было провести Песенное шествие. Предполагалось, что, выйдя из Дворца, процессия направится ко дворцу Судзаку, а оттуда к дому Великого министра. Путь неблизкий, и на Шестой линии певцы появились уже перед самым рассветом.

В безоблачном небе сияла луна, и невозможно было оторвать глаз от присыпанного легким снежком сада. В те времена среди придворных было немало замечательных музыкантов, а поскольку на сей раз их воодушевляло еще и присутствие Великого министра, флейты звучали особенно сладостно.

Гэндзи заранее разослал приглашения дамам, и они поспешили занять приготовленные для них помещения в левом и правом флигелях и на обеих галереях. Барышня из Западного флигеля встретила с барышней из Южных покоев. Госпожа Мурасаки, отгородившись занавесом, тоже участвовала в их беседе.

Пока певцы обходили покои Великой государыни из дворца Судзаку, ночь склонилась к рассвету, и предполагалось, что в доме на Шестой линии у них будет «остановка», во время которой они получат легкое угощение. Великий министр изволил распорядиться, чтобы участников процессии принимали со всевозможными почестями и выставили для них роскошные яства, вовсе не предусмотренные правилами.

Близился рассвет, и в холодном сиянии луны мерцал падающий снег. Налетал ветер, возникая где-то высоко, в кронах сосен.

Право, могли ли мягкие, зелено-белые одеяния певцов оживить унылое однообразие пейзажа? Не отличались яркостью и искусственные цветы, украшавшие их головные уборы, однако здесь, в доме на Шестой линии, все казалось особенно прекрасным, и люди чувствовали, как вливаются в них новые жизненные силы. Среди гостей было немало красивых юношей, но самыми красивыми были господин Тюдзэ и сыновья министра Двора.

Небо светлело, падал легкий снежок, в холодном воздухе звенели стройные голоса певцов, поющих «Бамбуковую реку»*. Движения танцоров поражали изяществом. Как жаль, что кисть не может запечатлеть все это на бумаге!

Из-за ширм и занавесей видны были рукава дам, не пожалевших сил, дабы затмить своих соперниц. Радуя взоры многообразием оттенков, рукава эти напоминали о «весенней парче» (210), просвечивающей сквозь легкую рассветную дымку. На редкость отрадное зрелище! И если б не неприличные одеяния певцов и не излишне громкие приветственные крики, от которых, несмотря на всю их нелепость, не пожелаали отказаться собравшиеся, хотя порой они заглушали поистине прекрасные мелодии... Так или иначе, участники шествия получили обычное вознаграждение, с которым и удалились.

На рассвете дамы разошлись по своим покоям. Господин министр лег почивать и поднялся, когда солнце стояло совсем высоко.

— А ведь голос у нашего Тюдзё почти так же хорош, как у Бэн-но сёсё. Право, никогда еще в мире не рождалось столько талантов. Может быть, в старину люди и были учнее, но если говорить о тонкости чувств... Решив воспитывать Тюдзё таким образом, чтобы он был прежде всего пригоден для государственной службы, я старался уберечь его от легкомысленных утех, которые занимали столь значительное место в моей собственной юности, однако мне хотелось, чтобы в глубине души он, пусть в самой малой степени, сохранил тягу к прекрасному. Невозмутимая суровость, даже если она является чисто внешней, производит скорее неприятное впечатление, — говорил Гэндзи, явно довольный сыном.

Тихонько пропев «Тысячу весен»*, он добавил:

— Раз уж собрались здесь все дамы, неплохо было бы послушать музыку. Не устроить ли нам собственное Малое пиршество*?

Он распорядился, чтобы принесли хранящиеся в прекрасных чехлах кото и бива, и, собственноручно стряхнув с них пыль, велел подтянуть ослабевшие струны. Разумеется, дамы без промедления принялись совершенствовать свое мастерство, усердно готовясь к предстоящему празднеству.





БАБОЧКИ

Основные персонажи

Великий министр (Гэндзи), 36 лет

Государыня-супруга (Акиконому), 27 лет — дочь Рокүдзё-но миясудокоро и принца Дзэмбо, воспитанница Гэндзи, супруга императора Рэйдзэй

Госпожа Весенних покоев (Мурасаки), 28 лет — супруга Гэндзи

Принц Хёбукё (Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

Юная госпожа из Западного флигеля (Тамакадзура), 22 года — дочь Югао и министра Двора, приемная дочь Гэндзи

Министр Двора (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

Утюдзё (Касиваги) — сын министра Двора

Тюдзё из дома Великого министра (Югири), 15 лет — сын Гэндзи

Удайсё (Хигэкуро) — поклонник Тамакадзура

МИНОВАЛ Двадцатый день Третьей луны, а в Весеннем саду необыкновенно пышно цвели цветы, звонко пели птицы. «Возможно ли? — недоумевали обитательницы остальных покоев. — Неужели до сих пор?..»

Понимая, как, должно быть, хочется молодым дамам дамам поближе полюбоваться цветущими на горках деревьями, зеленым покровом мха на Срединном острове, министр распорядился, чтобы, снарядив, спустили на воду китайские лодки, давно уже построенные по его указанию.

В назначенный день решено было устроить «музичирование в лодках», для чего пригласили музыкантов из Музыкальной палаты. В доме на Шестой линии собралось множество принцев крови и знатных сановников.

Незадолго до этого дня в дом Великого министра переехала Государыня-супруга. «Вот и настало время ответить на песню о саде, тоскующем по далекой весне», которой Госу-

дарыня когда-то бросила мне вызов», — подумала госпожа Весенних покоев. Министру же очень хотелось показать Государыне прекрасный цветущий сад, однако особе, столь высокое положение занимающей, невозможно было прийти сюда единственно для того, чтобы полюбоваться цветами... В конце концов, посадив в лодку особенно чувствительных молодых дам...

Южный пруд соединялся с прудом Весеннего сада, лишь невысокая горка служила меж ними границей. Обогнув ее, дамы оказались в саду госпожи, молодые прислужницы которой уже собрались в восточном павильоне Для рыбной ловли.

Лодки, имеющие вид драконов и сказочных птиц Фынхуан*, были роскошно убраны на китайский манер. У шестов сидели мальчики в китайских платьях, с закрученными над ушами жгутами волос.

Когда прислужницы Государыни выплыли на середину большого пруда, их взорам открылся сад, настолько поразивший их необычной, волнующей сердце красотой, что им показалось, будто они очутились в какой-то неведомой стране. А когда они достигли Срединного острова и подплыли к каменистому берегу небольшого залива, то невольно залюбовались камнями — даже самые простые были прекрасны, как на картине.

По сторонам сквозь легкую дымку проглядывали ветки деревьев — словно парчовые занавеси повесили по берегам пруда. Далеко впереди смутно угадывался Весенний сад, где зеленеющие ивы клонили ветви к земле, а яркие цветы источали невыразимо сладостное благоухание. Даже вишни, которые повсюду уже отцвели, здесь горделиво сияли, украшенные прекрасными цветами, а глицинии вдоль галерей густо лиловели. Особенно же хороши были керрии — их пышные ветки нависали над прудом, отражаясь в воде. Водяные птицы резвились, держась дружными парами, мимо пролетали уточки-мандаринки с прутиками в клювах, словно вышитые на «узорчатом шелке» (211) волн*. Так и хотелось запечатлеть все это на картине.

До темноты любовались дамы этим удивительным садом — в самом деле, можно было смотреть на него, пока не сгниет топориче...*

Ветер подует,
И засверкают золотом
Белопенные волны.
Может, приплыли мы
К славному мысу Керрий*?

Весенний пруд,
Верно, сливается он
С рекою Идзэ*?
Взгляните, даже на дне
Керрии пышно цветут...

Право, к чему
К Черепашьей горе* стремиться?
Здесь, в этих лодках
Бессмертие обретем,
Их навеки прославив...

В ярких лучах
Весеннего солнца купаясь,
Лодка плывет,
Падают капли с шеста,
По воде рассыпаясь цветами...

Такими и другими столь же незначительными песнями обмениваясь, они, судя по всему, совершенно забыли о том, что впереди, о доме, куда им предстояло вернуться... Но разве удивительно, что они так увлеклись? Водная гладь в самом деле была прекрасна.

Когда спустились сумерки, лодки под мелодичные звуки «Желтой кабарги»* подплыли к павильону Для рыбной ловли, и дамы нехотя вышли на берег.

В павильоне, убранном с изящной простотой, собрались молодые прислужницы госпожи Мурасаки и Госудырины-супруги. Все они были очень хороши собой, их яркие наряды — а они не пожалели усилий, чтобы затмить друг друга, — представляли собой изумительное зрелище, по красочности не уступающее затканной цветами парче.

Одна за другой звучали необычные, редкие мелодии. К выбору танцоров министр отнесся с особенным вниманием, и теперь, призвав на помощь все свое мастерство, они улаживали взоры собравшихся.

Скоро совсем стемнело, но поскольку гостям не хотелось расходиться, в саду перед Весенними покоями зажгли фонари и разместили музыкантов перед главной лестницей, где зеленел прекрасный мох.

Принцы крови и высшие сановники устроились на галерее, каждый со своим любимым инструментом. Музыканты — а надо сказать, что министр пригласил лучших из лучших, — заиграли на флейтах мелодию в тональности «содзё»*. Ее тут же подхватили сидящие на галерее, их кото звучали на редкость ярко и выразительно. Когда исполняли «Благословение», даже самые невежественные простолюдины почувствовали вдруг, что стоит все-таки жить в этом мире, и, протиснувшись между плотно стоявшими у ворот лошадыми и каретами, внимательно слушали, а лица их озарялись улыбками.

И, наверное, все признали превосходство весны — ее прекрасного неба, ее музыки, ее мелодий.

Так они развлекались всю ночь до рассвета. Сменив лад, исполнили пьесу «Радуюсь весне»*, затем принц Хёбукё своим красивым голосом запел «Зеленую иву»*. Ему подпевал сам хозяин.

Но вот небо посветлело. Государыня-супруга издалека с завистью прислушивалась к рассветному щебетанию птиц.

Сияние весны и прежде осеняло просторный дом Великого министра, однако до сих пор не было в нем особы, способной воспламенить сердца, — обстоятельство, досадовавшее многих. Но недавно по миру разнесся слух о достоинствах юной госпожи из Западного флигеля, о том внимании, каким окружена она в доме на Шестой линии, и что же? Как и предполагал Гэндзи, нашлось немало людей, которые устремили к ней свои думы. Одни, самодовольно помышляя: «Уж лучше меня им не найти!», не упускали случая намекнуть на свои намерения, а то и открыто заявляли о них. Другие, не смея обнаружить свои «чувства-желания» (212), сгорали от тайной страсти.

Среди поклонников девушки оказался и Утюдзё, сын министра Двора, разумеется, и не подозревавший о том, что на самом деле...*

Расположения юной госпожи настойчиво добивался и принц Хёбукё, который, лишившись супруги, вот уже три года жил в одиночестве. В то утро он притворился сильно захмелевшим и, воткнув в причёску ветку глицинии, предавался безудержному веселью. Его оживленное лицо было прекрасно. Министр, в глубине души крайне довольный тем, что его ожидания оправдались, нарочно делал вид, будто ничего не замечает. Когда до принца дошла чаша с вином, он, изобразив на лице крайнюю растерянность, принялся отказываться, говоря:

— О нет, довольно... Право же, я давно бы ушел, не будь у меня одной думы на сердце.

Цветок мурасаки
Полонил мое сердце.
Ради него
Готов я в пучину броситься,
Не страшась недоброй молвы... (45)

И он преподнес министру «те же цветы» (213), что украшали его собственный головной убор.

Улыбнувшись, Гэндзи ответил:

— Пока не решишь —
Бросаться иль нет в пучину,
В нашем саду
Помедли, взор услаждая
Красотою весенних цветов...

Трудно было противиться его настойчивым просьбам, и принц так и не смог уйти.

Утро принесло с собой новые утехы.

Как раз в тот день Государыня-супруга собиралась приступить к Чтению сутры*, поэтому многие из гостей так и остались в доме Великого министра. Каждому были предоставлены особые покои, где он мог переодеться в парадное платье. Те же, кому что-либо мешало принять участие в чтениях, разъехались по домам.

К страже Лошади гости собрались в покоях Государыни. Все, начиная с Великого министра, заняли свои места. Сегодня здесь был весь двор. Зрелище величественное, да и могло ли быть иначе, если дело происходило в доме на Шестой линии?

Госпожа Весенних покоев прислала цветы — ее личное подношение Будде. Их доставили восемь славящихся своей милотливостью девочек, которых нарочно ради такого случая нарядили птицами и бабочками. «Птицы» несли цветы вишни в серебряных вазах, а «бабочки» — керрии в золотых. Как будто бы обычные цветы, но гостям показалось, что они никогда еще не видели столь пышных и ярких соцветий.

Едва лодка с девочками, обогнув горку в южной части пруда, выплыла в сад Государыни, налетел ветерок, и в воздухе закружились лепестки вишни. Нетрудно вообразить, сколь трогательно прелестное то было зрелище —

на фоне ослепительно голубого неба из дымки вдруг возникли прелестные фигурки девочек!

Отказавшись от мысли использовать вчерашний навес, решили устроить музыкантов на примыкающей к главным покоям галерее, где нарочно для них поставили сиденья.

Вот, приблизившись к лестнице, девочки отдают цветы. Их принимают разносчики курений и ставят рядом с сосудами для священной воды. А послание передает Государыне господин Тюдзё из дома Великого министра:

«Ужель и на бабочек,
Над цветами порхающих,
С печалью во зоре
Глядит из травы цикада,
Об осенней поре тоскуя?..»

Государыня смотрит на это письмо, улыбаясь: «Вот и ответ на горстку багряных листьев...»*

А ее прислужницы, вчера побывавшие в весеннем саду и опьяненные красотой цветов, не могут скрыть восхищения:

— В самом деле, весна так пленительно прекрасна, что с нею трудно соперничать...

Радостным трелям соловьев вторят громкие звуки «Танца птиц»*, и даже утки на пруду начинают издавать какие-то непонятные звуки. Восторг слушателей достигает предела, когда совершается переход к стремительной заключительной части, хотя нельзя не сожалеть...

Затем легко вспархивают бабочки и кружатся в танце* у керрий, пышно цветущих вдоль низкой изгороди. Придворные соответствующих рангов, начиная с Сукэ из Службы Срединных покоев, передавая от одного к другому, подносят девочкам высочайшее вознаграждение. «Птицы» получают платья цвета «вишня», а «бабочки» — цвета «керрия». Судя по всему, эти прекрасные наряды были подготовлены заранее.

Музыкантов сообразно званию каждого одевают нижними платьями, разнообразнейшими шелками. Господину Тюдзё преподносят женское парадное одеяние и накидку «хосонага» цвета «глициния»*.

А вот и ответ госпоже:

«Вчера я едва не разрыдалась...

Я и сама
Готова была откликнуться
На бабочек зов,
Когда б предо мной столь жестоко
Не воздвигли преграду из керрий...»

Возможно ли, чтобы эти вышеставленные особы, во всех отношениях превосходившие прочих, не сумели сложить ничего лучшего? Во всяком случае, они явно не оправдали ожиданий министра...

Да, вот что еще: всем прислужницам Государыни, которые посетили вчера Весенние покои, госпожа тоже прислала изысканнейшие дары. Но слишком утомительно описывать все это подробно.

Итак, министр Гэндзи благоденствовал, в доме его то и дело устраивались музыкальные собрания, поводом для которых могло послужить любое, самое незначительное событие. Разумеется, не знали печалей и его домочадцы. Обитательницы женских покоев жили в согласии, время от времени обмениваясь посланиями.

Юная госпожа из Западного флигеля после встречи, имевшей место в день Песенного шествия, стала часто писать к госпоже Весенних покоев. Пока еще трудно было судить о мере ее чувствительности, но явная одаренность в сочетании с приветливым нравом производила весьма неплохое впечатление, она охотно сообщалась с другими дамами, и они отвечали ей приязнью.

От многих получала она любовные письма, но министр не торопился с выбором. Иной раз — уж не потому ли, что чувства, которые она ему внушала, были весьма далеки от родительских, — у него возникала мысль: а не сообщить ли о ней ее настоящему отцу?..

Тюдзё из дома Великого министра довольно часто бывал в Западном флигеле, его допускали к занавесям, и иногда девушка сама отвечала ему. Разумеется, она бы предпочла этого не делать, но все считали их братом и сестрой, да и на благонравность юноши вполне можно было положиться. Сыновья министра Двора, не отставая от Тюдзё ни на шаг, в тоске бродили вокруг, изыскивая средство сообщить юной госпоже о своих нежных чувствах. Она же, питая к ним расположение совершенно иного рода, тайно страдала и мечтала о том, чтобы о ней узнал наконец ее родной отец. Впрочем, она не жаловалась и по-прежнему во всем полагалась на Великого министра, умилая его почти детской беспомощностью. Ее сходство с матерью было не так уж и велико, и все же чем-то они удивительно походили друг на друга, хотя, несомненно, девушка была гораздо одареннее.

Подошла пора Смены одежд, обновленное убранство покоев радовало взоры чистотой и свежестью, даже небо казалось каким-то особенно ясным. Живя тихой, размеренной жизнью, министр отдавал весь свой досуг развлечениям. Довольный тем, что сбылись его надежды и поток любовных посланий захлестывал Западный флигель, он нередко заходил туда и, читая присланные девушке письма, отбирал те, которые, по его мнению, заслуживали ответа. Однако девушка, с трудом скрывая смущение, не выказывала никакого желания отвечать. Как-то, заметив письма принца Хёбукё, полные несколько, пожалуй, преждевременных жалоб и упреков, Гэндзи удовлетворенно улыбнулся.

— Ни с кем из своих многочисленных братьев я не был так близок в детстве, как с принцем Хёбукё, — сказал он. — У нас не было тайн друг от друга. Только свои увлечения он старательно скрывал от меня. Забавно и трогательно видеть, что он и теперь не утратил юношеской пылкости чувств, а ведь он уже немолод. Вам следует ответить ему. Трудно представить себе более достойного собеседника для женщины, хоть в какой-то мере наделенной внутренним благородством. Право, я не знаю человека, способного так тонко чувствовать.

Министр нарочно выделял те достоинства принца, которые могли произвести впечатление на молодую особу, но девушка только конфузилась.

Удайсё, человек благонравный и степенный, тоже домогался ее, лишний раз подтверждая справедливость поговорки: «На горе Любви и Конфуций спотыкается». Его послание показалось министру по-своему значительным. Читая и сравнивая письма, он обнаружил одно, написанное на синей китайской бумаге, изысканное и сильно надушенное, плотно свернутое в крошечный свиток.

— Почему вы даже не развернули его? — спросил Гэндзи и сам прочел письмо. Оно оказалось довольно изящным.

«Я томлюсь от любви,
Но ты не знаешь об этом.
Сквозь камни вода
Сочится. Прозрачные струи
Бурлят, недоступные взору...»

Чрезвычайно изощренный почерк удовлетворял всем требованиям современного стиля.

— А это от кого? — осведомился министр, но никакого определенного ответа не получил. Тогда, призвав Укон, он сказал:

— Распорядись, чтобы дамы отбирали самые достойные письма и следили, чтобы госпожа на них отвечала. Я не верю в благонравие нынешних любезников, но далеко не всегда ответственность за их поступки ложится только на них. Когда-то я и сам обижался, не получая ответов, обвинял женщин в бессердечии, возмущался их нечуткостью, а ежели не отвечала особа невысокого звания, считал ее поведение вызывающим. Кроме того, мне хорошо известно, что когда женщина нарочно, словно поддразнивая, не отвечает даже на самые обычные, ни к чему не обязывающие послания, касающиеся цветка или бабочки, это в большинстве случаев, напротив, распаляет воображение... Может, конечно, статься, что ее быстро забудут, но тогда ей по крайней мере не в чем будет себя упрекнуть. Впрочем, сразу же откликаться на всякие пустяковые письма тоже не следует, ибо это может иметь весьма неприятные последствия. Нехорошо, когда женщина забывает о сдержанности и, повинуясь случайной прихоти, спешит показать, сколь глубоко проникла она в душу вещей, какой у нее утонченный вкус — в конечном счете она оставит о себе скорее неблагоприятное впечатление. Ни принц Хёбукё, ни Удайсё не станут легкомысленно расточать бездумные речи, недостойные их звания. Вашей же госпоже не пристало проявлять нечуткость и непонимание. Что касается мужчин более низкого звания, то, решая, поощрять или нет их искательства, ты должна руководствоваться в первую очередь основательностью их намерений. Принимай также во внимание их пылкость.

Пока министр наставлял Укон, юная госпожа сидела отвернувшись. Ее профиль восхитил бы самого тонкого ценителя. Она была одета с благородным изяществом, хосонага цвета «вишня» прекрасно сочеталось с платьем, окрашенным так же, как цветы этого времени года*. Сначала девушка пленяла главным образом милым нравом, ибо при всех ее достоинствах ей не сразу удалось избавиться от налета провинциальности. Однако же, наблюдая за столичными дамами, она постепенно усваивала их манеры, училась заботиться о своей наружности. В конце концов она достигла удивительного совершенства во всем, и красота ее засияла ярче прежнего. Нетрудно себе

представить, в какое отчаяние приходил министр при мысли, что ему придется расстаться с ней.

Укон же, глядя на них, улыбалась. «Не слишком ли он молод, чтобы называться ее отцом? Они могли быть прекрасной супружеской парой», — думала она.

— Я не передавала госпоже никаких писем, за исключением трех или четырех, которые вы изволили видеть, да и эти показала ей только потому, что сочла неудобным сразу же отправлять их обратно, ставя тем самым в неловкое положение тех, кто их написал. Отвечала же госпожа лишь тогда, когда вы ей о том напоминали. Причем довольно неохотно.

— Хорошо, но кто же все-таки прислал это письмо, так трогательно свернутое? Написано прекрасно, — заметил Гэндзи, с улыбкой разглядывая письмо.

— Гонец оставил его, несмотря на наши возражения, и тотчас, не говоря ни слова, удалился. Мне известно, что господин Утюдзё из дома министра Двора знаком с Мируко, одной из наших служанок. Позволю себе предположить, что именно она здесь и замешана, больше никому.

— Как трогательно! Можем ли мы пренебрегать им только потому, что он не успел достичь высоких чинов? Даже среди высшей знати не многие пользуются таким влиянием в мире. Я слышал к тому же, что он гораздо разумнее своих братьев. Несомненно, когда-нибудь он узнает, кем ему приходится ваша госпожа, но пока лучше оставить его в неведении. Во всяком случае, письмо его заслуживает внимания.

И Гэндзи долго еще разглядывал его, не в силах отложить.

— Наверное, вы недоумеваете, слушая мои речи, — обратился он к девушке. — Поверьте, я долго размышлял над тем, стоит ли немедленно извещать вашего отца, и пришел к выводу, что вы слишком молоды и неопытны, чтобы входить в семью, которая до сих пор была вам совершенно чужой. По-моему, лучше подождать, пока ваше положение не упрочится, и вы не обретете самостоятельность. Тогда нетрудно будет найти случай... Я знаю, что принц Хёбукё в настоящее время живет один, но он слишком уж известен в мире своими безрассудствами: ходят слухи о его связях со многими женщинами. Поговаривают, что и в доме у него великое множество так называемых «прислужниц». Только женщина великодушная, способная глядеть на шалости мужа сквозь пальцы, сможет с этим мириться. Малейшее проявление сердечной слабости будет иметь следствием неизбежное охлаждение супруга. Это тоже надо иметь в виду. Внимание же Удайсё к вам обусловлено прежде всего тем, что его не устраивает немолодая жена, с которой они живут вместе уже довольно давно. Поэтому союз с ним мало кто одобрит. Вот я и не могу решиться, потихоньку взвешивая все обстоятельства. В таких делах дочери редко бывают откровенны с отцами — не так-то просто прямо сказать: «я бы предпочла...», но вы уже не дитя. Почему бы вам не иметь собственное суждение? Представьте себе, что с вами разговариваю не я, а ваша мать. Поймите, мне не хотелось бы действовать вразрез с вашими желаниями.

Как видно, министр был не на шутку озабочен. Девушка совсем растерялась и не сразу нашлась, что ответить. Однако, понимая, что подобная нерешительность вряд ли уместна в ее возрасте, в конце концов сказала:

— Я с малых лет росла без отца, и мне трудно даже представить...

Неподдельная искренность звучала в ее голосе, и, подумав: «Что ж, она права...», Гэндзи сказал:

— Не сомневаюсь, что со временем вы убедитесь в исключительности моих чувств к вам. Не зря ведь говорят: «Сегодняшний лучше вчерашнего...»

Тем не менее о своих истинных чувствах он предпочел умолчать, хотя и позволил себе несколько весьма многозначительных намеков. Девушка сделала вид, будто ничего не поняла, и, разочарованный, он покинул ее покои.

В саду подросший молодой бамбук клонился под порывами ветра, и Гэндзи, восхищенный, остановился.

— Ростки бамбука,
Заботливо взлелеянные,
Ужели они,
Разойдутся по миру и корни
За чужими оградами пустят?

Право, могу ли я не досадовать... — сказал он, приподнимая занавеси, и она, приблизившись, ответила:

— Бамбук молодой,
Неужели когда-нибудь
Он захочет вернуться
К тем корням, от которых
Начал расти...

О нет, напротив...

Министр почувствовал себя растроганным. Но вряд ли песня девушки была совершенно искренней. «Ах, когда же господин министр расскажет обо мне моему отцу!» — сгорая от нетерпения, думала она, и сердце ее трепетало. Вместе с тем иногда в душу закрадывалось сомнение: «Может ли кто-нибудь быть ко мне внимательнее, чем господин Великий министр? Родной отец не видел меня с малолетства, смею ли я рассчитывать на его благосклонность?»

Старинные повести читая, училась она постигать внутренний смысл явлений этого мира, проникала в сокровенные тайны человеческих чувств, ее нынешнее положение повергало ее в смущение, но она не могла не понимать, сколь трудно будет ей самой открыться родному отцу.

Привязанность же к ней министра умножалась с каждым днем, и он часто хвалил ее госпоже Весенних покоев.

— В ней есть что-то удивительно привлекательное! Ее матери не доставало жизни. А эта и умна, и приветлива — право, за нее можно не беспокоиться.

Госпожа сразу же поняла, что его восхищение не совсем бескорыстно и, насторожившись, заметила:

— Очевидно, она и в самом деле умна, но мне ее жаль, если она решилась целиком положиться на вас.

— А разве мне нельзя доверять?

— Мне и самой пришлось по вашей милости пережить немало нестерпимо горьких минут. Не думаете ли вы, что я могу об этом забыть? — улыбаясь, отвечала госпожа.

«Да, в пронизательности ей не откажешь...» — подумал министр и сказал:

— Меня обижают ваши подозрения. Неужели вы полагаете, что она ничего бы не заметила?

Он поспешил прервать этот неприятный разговор. «Откуда у госпожи такие мысли?» — терялся он в догадках, одновременно отдавая себе отчет в том, что так и не смог освободиться от предосудительных, низменных желаний.

Беспрестанно помышляя о девушке из Западного флигеля, министр часто навещал ее в ее покои и с величайшим вниманием относился ко всем ее нуждам.

Однажды тихим вечером после дождя, взглянув на безмятежное небо, раскинувшееся над ярко зеленеющими в саду молодыми кленами и дубками, Гэндзи произнес:

— О да, «дни теплы и светлы...»*

Тотчас же вспомнились ему нежные черты его юной питомицы, и он украдкой прошел в Западный флигель.

Девушка сидела в непринужденной позе и что-то писала, как видно упражняясь в каллиграфии, но, заметив министра, приподнялась и смущенно потупилась. Ее яркое лицо дышало свежестью. Мягкой грацией движений она невольно напомнила ему ушедшую, и, растроганный до слез, Гэндзи говорит:

— Сначала я не замечал в вас большого сходства с матерью, но теперь нередко вздрагиваю: «Уж не она ли?» Как это печально и как трогательно! Тюдзё совсем не похож на свою мать, и, глядя на него, я начал было думать, что дети вообще не бывают похожи на родителей, но тут появились вы...

Отыскав среди плодов, разложенных на крышке от шкатулки, померанец, Гэндзи произносит:

— Померанцы в цвету... (103)

Помню, как нежно пахли

Ее рукава.

Ужель предо мною другая?

Не верю своим глазам...

Я оплакивал ушедшую все эти годы, ни на миг не забывал ее, и ничто не могло меня утешить. И теперь, глядя на вас, я все время думаю: «Уж не сон ли?» Увы, облегчения нет и теперь, скорее напротив. Не отвращайте же от меня своего взора!

С этими словами министр берет ее руку в свои. Ничего подобного он не позволял себе прежде, и девушка, хотя и не осмеливается ему противиться, с трудом скрывает замешательство.

— Аромат рукавов

Тебе вспомнился не случайно.

Плоды померанца,

Вряд ли окажутся

Долговечней цветов...

Совсем растерявшись, она прячет лицо, прелестная, как никогда. Забывавшись ее полными изящной формы руками, тонкой, нежной кожей,

Гэндзи чувствует, что не в силах справиться с волнением, и решается все-таки приоткрыть девушке свои чувства. Неприятно пораженная, она дрожит всем телом, не зная, что сказать.

— Неужели я вам так неприятен? Уверяю вас, никто никогда не узнает о моих чувствах и вам нечего бояться. Смею надеяться, что и вы постараетесь не выдавать себя и поможете мне сохранить эту тайну. Вы всегда были дороги мне, а теперь особенно. Неужели вы думаете, что кто-нибудь другой может любить вас больше? Или вы предпочитаете этих повес, осыпавших вас нежными письмами? Вряд ли кто-нибудь из них способен на глубокое чувство. Это-то и внушает мне беспокойство...

Право, редко встретишь столь заботливого родителя...

Стоит прекрасная тихая ночь, дождь кончился, и ветер шелестит листьями бамбука. На небо выплывает ясная луна. Прислужницы держатся поодаль, стараясь не мешать их тихой беседе. Как ни часто видится Гэндзи со своей воспитанницей, вряд ли можно ожидать более благоприятного случая... К тому же, высказав ей наконец свои чувства, он взволнован более обыкновенного... Так или иначе, ловко выскользнув из мягких одежд, он ложится рядом с ней. Девушка в смятении. Что могут подумать? «Живи я в доме родного отца, ничего подобного не случилось бы. Пусть даже он вовсе не заботился бы обо мне».

Девушка старается сдерживать слезы, но они так и текут по щекам. Видя, как она страдает, Гэндзи говорит:

— Очень жаль, что вы питаете ко мне такую неприязнь! А ведь женщинам нередко приходится покоряться мужчинам, которых они никогда и не видели прежде. В моей же привязанности к вам вы имели возможность убедиться за эти годы, почему же вас пугает даже такая малость? Успокойтесь, я не сделаю больше ничего, противного вашим желаниям. Я надеялся, что мне удастся развеять мучительную тоску, терзающую сердце...

Так, немало нежных и трогательных слов было им сказано. В какой-то миг ему почудилось вдруг, будто вернулось прошлое, и томительная печаль сжала сердце. Прекрасно понимая, сколь безрассудно, сколь нелепо его поведение, Гэндзи постарался взять себя в руки и ушел еще до наступления ночи, пока никто из прислужниц не заподозрил нелада.

— Право, нелегко примириться с вашим нерасположением. Наверняка никто из ваших поклонников не потерял голову до такой степени. Мои чувства поистине беспредельны, и я никогда не позволю себе по отношению к вам ничего предосудительного. Единственное, о чем я прошу, — позволить мне иногда беседовать с вами о разных пустяках, ибо это поможет мне развеять тоску по прошлому. Не отталкивайте же меня... — молил он, но девушка, почти теряя сознание, не испытывала ничего, кроме ужаса.

— Мог ли я ожидать, что настолько противен вам?.. Увы... — проговорил он, вздыхая, и: — Старайтесь же не выдавать себя! — добавив, вышел.

Несмотря на свой возраст, в житейских делах девушка оставалась неискушеннее многих, ей и в голову не приходило, что между мужчиной и женщиной бывают и более близкие отношения. «Можно ли было ожидать, что до этого дойдет?» — вздыхала она, и, видя госпожу в столь подавленном состоянии, прислужницы забеспокоились:

— Уж не больна ли?

— Милости господина министра заслуживают величайшей признательности. Родной отец и тот не мог быть заботливее, — тихонько нашептывали девушке Хёбу и другие, но та, удрученная столь неожиданно открывшимися ей намерениями Гэндзи, лишь молча сетовала на злосчастную судьбу.

Едва рассвело, пришел гонец. Девушка еще лежала в постели, чувствуя себя совсем больной, но прислужницы, придвинув к ней тушечницу, заявили: «ответьте немедля» — и она нехотя прочла письмо.

На простой матовой белой бумаге* изящнейшим почерком было написано:

«В мире нет женщины более жестокосердной, но могу ли я забыть... Что Ваши дамы?

Твоих нежных корней
Я еще не успел коснуться,
Молодая трава,
Отчего ж ты печально поникла,
Будто смял тебя кто-то?

Оказывается, Вы совсем еще дитя...»

Отечески ласковый тон его послания возмутил девушку, но, отказавшись отвечать, она наверняка навлекла бы на себя подозрения окружающих, а потому, взяв лист толстой бумаги «митиноку», написала всего несколько строк:

«Я получила Ваше письмо. Но я совсем больна и не могу ответить, прошу простить меня...»

«Такой суровости я не ожидал...» — улыбнулся министр, разглядывая письмо и чувствуя себя немного обиженным — право же, он неисправим!

Открыв девушке свои истинные чувства, министр не имел больше надобности намекать на сосну из Ота (214) и постоянно докучал ей своими признаниями. Нетрудно представить себе ее отчаяние. Мысли, одна другой тягостнее, теснились в ее голове, и в конце концов она даже занемогла.

«Никто ведь и не подозревает... — думала она. — И чужие, и близкие мне люди считают господина Великого министра моим настоящим отцом. Ежели по миру распространятся дурные слухи, я сделаюсь предметом для беспрерывных насмешек и оскорблений. Я и теперь не уверена, захочет ли родной отец заботиться обо мне, если узнает вдруг о моем существовании, а уж когда до него дойдут эти слухи, надеяться будет и вовсе не на что».

Никогда еще чувства ее не были в таком смятении.

Говорят, что, прослышав о весьма благосклонном отношении к ним Великого министра, принц Хёбукё и Удайсё стали еще настойчивее. А Утюдзё из дома министра Двора, тот самый, что написал когда-то о сочащейся сквозь камни воде, узнав от Мируко, что госпоже не запрещено читать его письма, был будто бы вне себя от радости и, не подозревая о существующей меж ними связи, принялся с воодушевлением осыпать ее упреками и с утра до вечера бродил возле ее покоев.



СВЕТАЯЧКИ

Основные персонажи

Великий министр (Гэндзи), 36 лет

Девушка из Западного флигеля (Тамакадзура), 22 года — дочь Югао и министра Двора, приемная дочь Гэндзи

Принц Хёбукё (Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

Государыня-супруга (Акиконому) — дочь Рокудзё-но мясудокоро и принца Дзэмбо, супруга императора Рэйдзэй

Обитательница Восточных покоев (Ханатирусато) — возлюбленная Гэндзи

Тюдзё (Югири), 15 лет — сын Гэндзи и Аои

Юная госпожа Весенних покоев — дочь Гэндзи и госпожи Акаси

Госпожа Акаси — возлюбленная Гэндзи

Утюдзё (Касиваги), 20 (21) год — сын министра Двора

Министр Двора (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

ДОСТИГНУВ столь значительного положения в мире, Великий министр обрел наконец возможность жить неторопливо и спокойно, не обременяя себя заботами. Находящиеся на его попечении женщины, устроенные сообразно желаниям и званию каждой, тоже жили в свое удовольствие, ни в чем не ведая нужды. Право, о такой жизни только мечтать можно.

Лишь юная госпожа из Западного флигеля, как это ни печально, совершенно неожиданно для себя оказавшись в крайне затруднительном положении, не могла обрести покоя. Жестокое недоумение терзало ее душу. Разумеется, она не испытывала к министру такого отвращения, как, скажем, когда-то к Таю-но гэню, но все же... Никто из окружающих ее дам и представить себе не мог, что мучило ее, и, не решаясь никому открыться, она молча страдала.

К тому времени девушка достигла возраста, когда многое становится понятным, и, размышляя о том или о сем, она все чаще жалела, что нет рядом с нею матери.

Министр же, излив свои чувства, не только не испытал облегчения, но, наоборот, страдания его стали еще мучительнее. Он не решался отнестись к ней даже с самыми незначительными словами, ибо дамы могли заподозрить неладное, однако вовсе не видеть ее тоже не мог, а потому то и дело заходил в Западный флигель и, улучив миг, когда она оставалась одна, докучал ей своими признаниями. Девушка же, не смея открыто высказать ему негодование, делала вид, будто ничего не замечает.

От природы она была веселого, приветливого нрава, и хотя старалась вести себя степенно, ее чарующая прелесть сразу же бросалась в глаза. Так стоит ли удивляться тому, что принц Хёбукё писал к ней все чаще и чаще?

Не столь уж и долгими были его муки, однако он не упускал случая пожаловаться на дожди Пятой луны* (215).

«Неужели Вы и впредь будете держать меня в отдалении? О, когда б я мог излить хоть малую часть того, что переполняет мою душу...»

Увидев его письмо, Гэндзи заметил:

— Вам нечего опасаться. Я не вижу ничего дурного в том, что все они так увлечены вами. Не будьте же слишком суровы. Вам следует время от времени отвечать принцу.

Он принялся объяснять ей, как лучше ответить, но добился лишь того, что девушка окончательно пришла в дурное расположение духа.

— Простите, но мне нездоровится, — сказала она, отказываясь писать ответ.

В ее окружении не было ни одной дамы достаточно высокого звания, принадлежавшей к сколько-нибудь влиятельному семейству, разве что дочь ее дяди с материнской стороны, получившего в свое время звание сайсё. Эта достойная особа потеряла всех близких, и министр, разыскав ее, взял к себе. Ее называли госпожа Сайсё. Она прекрасно владела кистью, ум же ее был обогащен всеми познаниями, приличными ее полу, поэтому министр поручил ей в случае необходимости отвечать на письма от имени госпожи.

Вот и теперь, призвав эту даму, он велел ей написать ответ принцу, объяснив, каким примерно должно быть его содержание. Судя по всему, Гэндзи не терпелось узнать, что еще напишет девушке ее пылкий поклонник. Сама же юная госпожа с тех пор, как ее беззаботное существование было нарушено столь досадным образом, стала смотреть на письма принца Хёбукё более снисходительным взором.

В ней даже пробудилась некоторая игривость. Не то, чтобы она что-то такое почувствовала, нет, просто ей внезапно подумалось: «а не удастся ли таким образом избавиться от нежелательных домогательств господина министра?...»

Не зная, что министр сам все подстроил и поджидает его, принц, воодушевленный благосклонным тоном писем девушки, тайно пробрался в ее покои.

Сиденье для гостя устроили рядом с боковой дверью, так что от покоев девушки его отделял только переносной занавес. Министр изволил заранее позаботиться о том, чтобы в покоях воскурили самые изысканные благово-

ния, — словом, проявил внимание, какого не проявил бы настоящий отец и которое всякий здравомыслящий человек счел бы излишним. Так или иначе, трудно было не оценить его усилий.

Госпожа Сайсё, служившая при этом разговоре посредницей, не могла оправиться от смущения и сбивалась в речах. Когда же министр тихонько ущипнул ее, испугавшись, что юная госпожа покажется принцу невежественной провинциалкой, вовсе растерялась и замолчала.

Самые темные ночи были позади, и затянутое облаками небо неясно светилось. Задумчивый и печальный, принц казался особенно прекрасным. Воздух был густо напоен благовониями: едва уловимый запах курений, долетавший из внутренних покоев, соединялся с благоуханием, исходившим от платья министра.

Вдыхая этот чудесный аромат, принц подумал, что действительность превзошла все его ожидания. Со спокойным достоинством говорил он о своих чувствах, не позволяя себе ни малейшей вольности. Несомненно, он выгодно отличался от других поклонников!

Министр восхищенно прислушивался. Девушка же, укрывшись в отдаленных покоях, легла было спать, но, когда госпожа Сайсё прошла к ней, дабы передать слова принца, вслед за ней тихонько проскользнул и министр.

— Ваше нежелание соблюдать приличия заслуживает порицания, — укоризненно сказал он. — Всегда следует принимать во внимание обстоятельства. Вы не должны вести себя как дитя неразумное. С человеком столь высокого звания не годится беседовать через посредника. Наверное, вам не хочется, чтобы он слышал ваш голос, но вы можете хотя бы подойти поближе.

Заметив, что министр обнаруживает явное намерение, воспользовавшись ее замешательством, проникнуть за полог, девушка совсем растерялась, пытаясь уразуметь, какое из двух зол предпочтительнее, но в конце концов все-таки потихоньку вышла и устроилась у занавеса, прикрывавшего вход во внутренние покои. Пока она сидела в раздумье, не отвечая на длинные речи принца, к ней приблизился министр и перекинул через верхнюю планку полотнище занавеса. Тут же вспыхнул какой-то свет...

«Неужели Сайсё вынесла светильник?» — ужаснулась девушка.

На самом же деле произошло вот что: министр еще с вечера спрятал в ее покоях изрядное количество светлячков, завернув их в полу занавеса, и теперь с самым невинным видом, притворившись, что поправляет занавес...

Светлячки засверкали неожиданно ярко, и из темноты возник прелестный образ девушки, в испуге прикрывающей лицо веером.

Министр рассчитывал, что внезапно вспыхнувший свет неизбежно привлечет взор принца. «До сих пор его внимание к ней объяснялось тем, что она считается моей дочерью, — думал он, — вряд ли он представляет себе, сколь совершенна ее красота. Почему бы мне не помучить немного этого неисправимого ветренника?»

Право, нельзя не попенять ему за легкомыслие! Ведь будь девушка его родной дочерью, он и помыслить бы не мог... Выскользнув тихонько из ее покоев, Гэндзи отправился к себе.

Принц примерно представлял себе, где может сидеть девушка, но в какой-то миг понял, что она гораздо ближе, чем ему казалось сначала. С трепещущим от волнения сердцем вглядывался он в прорези великолепного

занавеса из тонкой ткани, как вдруг недалеко от него что-то засветилось и восхитительное зрелище представилось взору. Еще мгновение — и свет погас, а чудесное видение исчезло. Однако эта слабое свечение показалось ему весьма многообещающим... К тому же, его оказалось довольно, чтобы разглядеть стройную фигуру лежащей девушки, и она превзошла все ожидания принца. Он почувствовал, что никогда не сможет забыть ее, — словом, вышло совершенно так, как замышлял Гэндзи.

— Молчит светлячок,
Но пламенем ярким
Сердце объято.
И погасить это пламя
Никому не дано... (216)

О, поняли ли вы?.. — молвит принц.

Медлить с ответом нельзя, и девушка произносит первое, что приходит ей на ум:

— Молчат светлячки,
Но тайный огонь их сжигает.
Скрытое чувство
Сильнее того, которое
Облечено в слова...

Не проявляя никакого желания продолжать беседу, девушка скрылась во внутренних покоях, предоставив принцу возможность жаловаться на ее невиданную жестокость.

Остаться в Западном флигеле до рассвета было не совсем прилично, и, промокнув от капель, падающих со стрехи (217), и от собственных слез, принц покинул дом на Шестой линии затемно. Думаю, что до полуночи, как и положено, кричала кукушка... (218) Но все это довольно обычно, так что я не старалась запомнить подробности.

— Как он хорош собой... — расхваливали принца дамы.

— Да, и так похож на господина министра...

Не подозревая истинной подоплеки, они восхищались заботливостью, проявленной вчерашним вечером министром: «Ах, как трогательно, право, лишь мать могла бы...»

Девушка же, видя, что Гэндзи, несмотря на наружную невозмутимость, вовсе не думает отказываться от своих намерений, по-прежнему сетовала на злосчастную судьбу. «В поведении господина министра не было бы ничего предосудительного, если бы меня признал родной отец, и были соблюдены приличия, — думала она. — Именно двусмысленность моего положения... Боюсь, что в конце концов об этом станут говорить в мире».

Впрочем, Гэндзи несмотря ни на что и сам считал, что девушка достойна лучшей доли. Просто такая уж у него была натура. Можно ли, к примеру, считать, что он окончательно смирился с потерей Государыни-супруги? Нет, при каждом удобном случае он старался тронуть ее сердце нежными речами, но, занимая слишком высокое положение, она была недосыгаема, и многое удерживало его от откровенных признаний. Что касается юной госпожи из Западного флигеля, то она отличалась живым, приветливым нравом, и ей

не всегда удавалось держать Гэндзи на расстоянии. Иногда, не имея сил превозмочь волнение, он позволял себе кое-какие вольности, которые, будь они замечены дамами, могли бы вызвать у них немалые подозрения. Впрочем, чаще всего ему удавалось сдерживать себя.

Так или иначе, трудно себе представить более сложные, более мучительные отношения.

На Пятый день, направляясь к площадке для верховой езды*, Гэндзи заглянул в Западный флигель:

— Что вы можете рассказать? Принц ведь оставался в ваших покоях допоздна? Не стоит слишком его привечать. У него есть свои слабости, которые вряд ли придутся вам по душе. Впрочем, вряд ли в мире есть человек, который никогда никому не причинил вреда, не совершал безрассудных поступков...

Наставляя девушку, министр то восхваляет принца, то жестоко хулит его. При этом он так хорош собой и выглядит так молодо! Поверх нижнего платья, сшитого из столь яркого и блестящего шелка, что чудится, будто от него исходит сияние, небрежно наброшено носи, сочетание же красок, при этом возникающее, невольно наводит на мысль: откуда она, эта удивительная красота, уж во всяком случае не люди этого мира ее сотворили. Причем сам цвет не столь уж и необычен, но узор поражает изысканностью, а аромат, исходящий от платья, так тонок, что девушка вздыхает: «Как восхищалась бы я красотой господина министра, когда б не эта тайная тревога...»

Тут приносят письмо от принца. Оно написано изящнейшим почерком на тончайшей белой бумаге. Да, в тот миг оно казалось удивительно красивым, но вот я переписала его, и что же? — ничего особенного...

«Даже сегодня
Никто не спешит вытянуть
Цветущий аир.
Под водой его корни. Втайне
Проливаю горькие слезы...»

Письмо не без значения привязано к длинному корню аира... (219)

— Постарайтесь не медлить с ответом... — уходя, говорит министр.

Дамы торопят госпожу, но что у нее самой на душе?

«Из воды извлеченный
Таким коротким окажется
Корень аира.
А в воде... Кто же измерит,
Сколько было пролито слез?..

Право, как неразумно...» — вот и все, что написала она бледной тушью.

Боюсь, что такого знатока, как принц Хёбукё, разочаровало это письмо. Наверное, он ожидал, что ее почерк окажется более изящным.

В тот день девушка получила множество — один другого красивее — мешочков кусудамы*.

В радостях и веселье проходили дни в доме на Шестой линии, и ничто не напоминало о прежней безотрадной жизни. Но могло ли ее не тревожить поведение министра? Увы, целыми днями она только и думала о том,

как, не пороча его имени, выйти из этого столь невыносимого для нее положения...

Министр заглянул и в Восточные покои.

— Тюдзё сказал, что сегодня после состязаний в стрельбе приведет сюда друзей. Будьте же к этому готовы. Полагаю, они придут еще засветло. Меня всегда удивляет, отчего любая, самая незначительная затея, которую мы желали бы сохранить в тайне, сразу же становится известной принцам. Они приходят, и тихий вечер в кругу близких выливается в пышное празднество. Так что вам следует хорошенько подготовиться, — говорит он.

Площадка для верховой езды устроена неподалеку, ее видно с галереи.

— Молодые дамы смогут любоваться зрелищем сквозь открытые двери. В левой Личной императорской охране за последнее время появилось немало красивых юношей, они ничуть не уступают придворным, — добавляет министр на радость дамам, предвкусывающим возможность насладиться редким зрелищем.

Посмотреть на состязания приходят и девочки-служанки из Западного флигеля. Прислужницы, завесив двери на галерею новыми зелеными шторами и расставив повсюду изысканные занавесы, цвет которых меняется от темно-лилового внизу до светло-лилового вверху, снуют по дому, занятые последними приготовлениями.

Девочек из Западного флигеля можно узнать по платьям цвета «аир» и кадзами из тонкой синей ткани. Их четверо, все миловидные, ловкие. Даже простые служанки сегодня надели лиловые мо, темные у подола и светлые у пояса, и китайские накидки цвета «молодая листва гвоздики»*.

Девочки-служанки из Восточных покоев, облаченные в темно-алые нижние платья и кадзами цвета «гвоздика», держатся со спокойным достоинством, явно уверенные в своем превосходстве. Примечательное зрелище! Молодые придворные, приосанившись, искоса на них поглядывают.

Великий министр появился на площадке для верховой езды в стражу Овцы. Как он и предсказывал, там собралось множество принцев крови. Состязания проводились несколько иначе, чем во Дворце, в них принимали участие и средние чины из Личной императорской охраны. Гости не расходились до позднего вечера, наслаждаясь необычайно ярким, увлекательным зрелищем.

Разумеется, женщины не разбирались в тонкостях этого искусства, но и они восхищались живописными фигурами всадников (а надо сказать, что даже простые придворнослужители были роскошно одеты), которые с такой горячностью старались превзойти друг друга ловкостью, словно от этого зависела их жизнь.

Площадка занимала достаточно обширное пространство, так что ее было видно и из Южных покоев, поэтому дамы госпожи тоже имели возможность насладиться зрелищем. Были исполнены танцы «Игра в мяч»*, «На согнутых ногах»* и другие. Затем под громкий барабанный бой и пение флейт провозглашали победителей, но тут спустилась ночь, и скоро ничего уже не было видно. Придворнослужители получили соответствующее вознаграждение. Было совсем поздно, когда гости наконец разошлись.

Министр остался ночевать в Восточных покоях. Беседуя с Ханатирусато о том о сем, он сказал между прочим:

— Нельзя не признать выдающиеся достоинства принца Хёбукё. Есть люди красивее, но мало кто обладает таким благородством манер, таким удивительным обаянием. Надеюсь, что вам удалось разглядеть его. В мире о нем отзываются весьма благосклонно, но, разумеется, и у него есть кое-какие слабости.

— Принц приходится вам младшим братом, но кажется гораздо старше. Дамы говорили — он никогда не упускает случая навестить вас, но я что-то не припомню... Мне случалось мельком видеть его во Дворце, но это было слишком давно... Смею заметить, что за это время он стал еще красивее. Принц Соти тоже хорош собой, но до старшего брата ему далеко. Он выглядит скорее простым подданным, — ответила она.

«Ей не откажешь в проницательности», — подумал министр, но в ответ лишь улыбнулся, как видно, не имея желания обсуждать чьи бы то ни было достоинства и недостатки. Он никогда не одобрял присущего некоторым людям стремления выискивать изъяны в окружающих и открыто выказывать им свое презрение. Даже об Удайсё он не стал ничего говорить. В мире Удайсё считают человеком утонченным, но что он представляет собой на самом деле?.. При более близких отношениях он может оказаться далеко не таким безупречным.

Отношения между министром и обитательницей Восточных покоев были весьма дружескими, но не более того, поэтому, побеседовав, они разошлись.

«И когда мы успели так отдалиться друг от друга?» — с некоторым сожалением подумал Гэндзи. Женщина никогда не обижалась на него, явно примирившись с тем, что о пышных празднествах, устраиваемых в доме на Шестой линии, знала лишь понаслышке. Сегодня же ей посчастливилось самой наблюдать столь редкое зрелище, и она не могла не радоваться. Так, наконец-то и до ее покоев дошло сияние...

— «Не по вкусу коням» —
Так о прибрежном аире
Молва говорит.
Но в этот счастливый день
И его не забыли сорвать (220), —

тихо проговорила она, и хотя ничего особенного не было в этой песне, министра она растрогала весьма.

— Словно парочка уток,
Льнут друг к другу — аир
И рис водяной,
Разве они когда-нибудь
Смогут расстаться? (221)

Пожалуй, и его песня не намного лучше.

— Мы почти не видимся, но рядом с вами я всегда отдыхаю душой. — Министр произнес эти слова с искренним чувством, зная, что женщина слишком кротка, чтобы усмотреть в них повод для любовной игры.

Уступив гостю полог, госпожа Восточных покоев легла поодаль, отгородившись переносным занавесом. Она давно уже укрепилась в мысли, что

большая близость меж ними невозможна, да и сам министр никогда не выражал желания что-либо менять в их отношениях.

В нынешнем году пора ливней продолжалась особенно долго, просвета не было ни малейшего, и изнывающие от скуки обитательницы дома на Шестой линии искали спасения в повестях с картинками*. Госпожа Акаси, подготовив несколько прекрасных, как все, что она делала, свитков, отослала их дочери.

Однако самой страстной поклонницей повестей оказалась юная госпожа из Западного флигеля, возможно, потому, что прежде ей не приходилось видеть ничего подобного. Весь свой досуг она отдавала повестям — усердно переписывала их, читала. Многие из ее молодых прислужниц проявили немалую осведомленность в этой области.

«Сколько собрано здесь удивительных разных судеб! — думала юная госпожа. — Кто знает, правда это или вымысел? И все же я уверена, того, что выпало мне на долю, не довелось испытать никому».

Среди повестей, которые она прочла, была повесть о девушке из Сумиё-си*, чья история, конечно же, трогала сердца людей в те давние времена, да и теперь пользовалась известностью в мире. Читая о том, в какой ужас повергла героиню преследования Кадзозэ-но ками, девушка вспоминала свой страх перед Таю-но гэном.

Разбросанные повсюду свитки с повестями не укрылись от взора министра.

— И не надоест вам? — замечает он. — Женщины словно созданы для того, чтобы их обманывали. Во всяком случае, они никогда этим не тягостятся. В этих повестях так мало истинного. А вы, зная об этом, все же отдаете подобным небылицам свое сердце, позволяете вводить себя в заблуждение, да еще и переписываете их в такую жару, не замечая, что ваши волосы совсем растрепались.

Он улыбается, но тут же говорит:

— Впрочем, и в самом деле, что, кроме древних преданий, может спасти нас от неотвратимой скуки? Среди этих небылиц есть и такие, в которых события разворачиваются вполне правдоподобно, трогая сердца читателей и заставляя их думать: «Да, случается и такое». Даже зная, что все это лишь досужие выдумки, человек может испытывать невольное волнение. Да разве кто-нибудь останется равнодушным, читая, к примеру, о прелестной юной особе, которой сердце истерзано тайной горестью?

Некоторые же повести содержат такие поразительные подробности, что сначала только диву даешься — «да быть такого не может!» А потом спокойно слушаешь такую историю еще раз, и хотя она тебе скорее неприятна, иногда вдруг и в ней обнаружишь что-нибудь весьма занятное.

В последнее время мне довольно часто приходится слушать, как дамы читают юной госпоже Весенних покоев разные повести. И однажды я подумал: «Как много в мире людей, у которых язык хорошо подвешен. Ведь все эти повести вышли из уст тех, кто привык нести всякий вздор». Впрочем, возможно, я ошибаюсь.

— О, разумеется, люди, привыкшие вводить в заблуждение окружающих, могут придерживаться именно такого мнения, — возражает юная госпожа, отодвигая тушечницу. — Что до меня, то я убеждена в полной достоверности всего мною прочитанного.

— О, простите, что неволью уязвил ваши чувства, дурно отзываясь о повестях, — улыбнувшись, отвечает министр. — Ведь они сохраняют для нас все, что происходило и происходит в мире, начиная с века богов. «Нихонги»* и прочие исторические хроники касаются только одной стороны явлений. В повестях же содержатся разнообразные подробности.

Предметом повести не является жизнь какого-то отдельного человека как она есть. Повесть рождается тогда, когда человек, наблюдая за всем вокруг него происходящим — хорошим ли, дурным ли, — видя то, чем никогда не надоест любоваться, слыша то, к чему невозможно остаться равнодушным, в конце концов оказывается не в силах хранить все это в собственном сердце, и у него возникает желание поделиться своими наблюдениями с потомками. Когда хотят, чтобы рассказ произвел приятное впечатление, выбирают и описывают только что-нибудь хорошее. А иногда, стараясь угодить вкусам читателей, собирают воедино все самое невероятное, дурное. Однако все это — хорошее ли, дурное ли — равно принадлежит одному и тому же миру. А разве иначе сочиняются повести в других странах? Впрочем, повести бывают разные, даже у нас, в Ямато, старые отличаются от новых. Не говоря уже о том, сколь велико различие между произведениями глубокими и неглубокими. Однако утверждать, что все без исключения повести — вздор, значит исказить истинный смысл явлений.

Даже в Учении, открытом нам просветленным сердцем Будды, есть так называемые притчи. У невежественных людей может вызвать недоумение существование в священных текстах разноречий. В сутрах Великой колесницы* их множество. Но все они в конечном счете служат одной цели: показать, чем просветление отличается от заблуждений. Точно так же и повести показывают различие между добром и злом в человеческой жизни. Короче говоря, ничто не пропадает даром.

Теперь министр явно стремился подчеркнуть полезность повестей.

— Кстати, не встречали ли вы в какой-нибудь из этих старинных повестей такого законченного глупца, как я? — продолжает он. — И уж наверное ни одна из героинь, как бы ни далека она была от всего мирского, не сравнится с вами в черствости и нечуткости. Может стоит описать нашу поистине беспримерную историю и оставить ее потомкам?

Он пододвигается к ней ближе, но, закрыв лицо рукавом, девушка отвечает:

— Боюсь, что наша невероятная история и без того не останется тайной...

— Невероятная, говорите вы? Пожалуй, вы правы, такого со мной еще не бывало.

И, придвинувшись еще ближе, он произносит весьма игривым тоном:

— Истомленный тоской,
Ищу в прошлом примеры,
Но, увы, никогда
Не бывало такого, чтоб дочь
Отвращала взор от отца...

Разве вы не знаете, что дочерняя непочтительность даже в Учении Будды считается величайшим грехом?



Однако девушка даже не поднимает головы и, только когда Гэндзи, поглаживая ее волосы, принимается пенять ей за жестокость, нехотя отвечает:

— Пытаюсь и я
Отыскать в прошлом примеры.
Не бывало, ты прав,
Никогда еще в нашем мире
Такой отцовской любви...

Устыдившись, министр постарался взять себя в руки. Но кто знает, что станет с ними в будущем?

Госпожа Мурасаки тоже не в силах была оторваться от повестей, которые ей приносили якобы по просьбе ее юной питомицы.

— Не правда ли, прекрасно! — восхищается госпожа, разглядывая картинки к «Повести Кумано»*. На одной ей попадает изображение невинно спящей девочки, и мысли ее уносятся в прошлое.

— Такие маленькие и уже такие ветреницы! Вам не кажется, что я мог бы считаться образцом терпения и преданности? Во всяком случае, немногие способны... — Так, министру в самом деле довелось пережить немало удивительнейших любовных историй. — Прошу вас проследить, чтобы при юной госпоже не читали повестей, содержащих вольное описание нравов этого мира. Не говоря уже о том, что я не нахожу ровно ничего замечатель-

ного во всех этих девах, изнывающих от тайной любви, мне кажется пагубным приучать ее к мысли, что подобные обстоятельства являются чем-то вполне обычным.

Нетрудно себе представить, как обиделась бы, услышав эти слова, юная госпожа из Западного флигеля — в самом деле, слишком уж большая разница.

— Нельзя не согласиться с тем, что женщина, считающая образцом для подражания какую-нибудь ветреницу, достойна сожаления, — говорит госпожа. — Но чем, к примеру, лучше дочь Фудзивара из «Повести о дупле»? Она рассудительна и благонравна, никогда не совершает ошибок, но не слишком ли мало женственности в ее суровых речах, решительных поступках?

— Таких можно встретить и в жизни, — отвечает министр. — Они упорно стоят каждая на своем и не желают приноравливаться к обстоятельствам. Я встречал весьма благородных родителей, которые пестуя дочь, заботились только о том, чтобы она выросла послушной и милой скромницей. Когда же вследствие такого воспитания у девицы обнаружилось множество недостатков, оставалось лишь жалеть ее и недоумевать: в чем, собственно, состояло ее воспитание? Отец вправе гордиться данным дочери воспитанием только в том случае, если она в полной мере обладает достоинствами, приличными ее званию. Чем восторженнее расхваливают девушку окружающие, тем больше испытываешь разочарование, убедившись в том, что она ни в речах, ни в действиях своих вовсе не так хороша, как рисовалось. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы твою дочь расхваливали неразумные люди...

Судя по всему, министра очень занимал вопрос о том, как вырастить свою собственную дочь безупречной.

Во многих старинных повестях рассказывается о злых мачехах, но, щадя чувства госпожи Мурасаки, министр отложил их в сторону. Тщательно отобрав наиболее, по его мнению, подходящие для дочери повести, он велел их переписать и нарисовать картинки.

Министр запретил господину Тюдзэ приближаться к Весенним покоям, но маленькую госпожу навещать разрешил, рассчитывая, что со временем они станут друзьями. Разумеется, пока он жив, это не имело особого значения, но вот когда его не станет... Их взаимная привязанность будет куда более прочной, ежели они уже теперь начнут привыкать друг к другу. Подобные соображения и привели к тому, что Тюдзэ было позволено входить за занавеси Южных покоев. Он не имел доступа единственно в служебные помещения, где располагались прислужницы.

Детей у министра было немного, и он уделял большое внимание воспитанию сына. Впрочем, юноша был настолько рассудителен и благонравен, что за него можно было не беспокоиться.

Маленькая госпожа пребывала в том возрасте, когда мысли заняты только куклами. На нее глядя, Тюдзэ невольно вспоминал подругу своих детских игр и иногда, с присущей ему добросовестностью прислуживая в кукольном дворце маленькой госпожи, с трудом удерживался от слез.

Разумеется, ему случалось заводить любовные речи с женщинами, подходящими ему по званию, но он старался не подавать им никаких надежд. Даже если женщина была достаточно привлекательной, чтобы связать с ней свое будущее, он отказывался принимать ее всерьез, ибо одно желание без-

раздельно владело его душой — показаться в новом обличье особе, пренебрегшей когда-то зеленым цветом его платья.

Прояви он большую настойчивость, министр Двора скорее всего уступил бы, закрыв глаза на его сумасбродства. Однако юноша, чувствуя себя глубоко уязвленным, решил, что непременно заставит министра пожалеть о своем отказе, и до сих пор не забывал об этом решении.

О его чувствах знала только сама девушка*, на людях же он держался с непоколебимым спокойствием, так что ее братья нередко даже обижались на него.

Утюдзё из дома министра Двора, изнемогая от любви к юной госпоже из Западного флигеля и не имея достаточно надежного средства, чтобы сообщаться с ней, частенько заходил к сыну Великого министра и жаловался ему на свои неудачи, но сочувствия не встречал.

— Я бы предпочел не вмешиваться в чужие дела, — неизменно отвечал тот, — дабы не навлекать на себя осуждения молвы.

Словом, юноши были примерно в таких же отношениях, как когда-то их отцы.

У министра Двора было много сыновей, которых, пользуясь своей неограниченной властью, он сумел возвысить сообразно заслугам каждого и званиям их матерей. С дочерьми же ему не повезло. Судьба нёго Кокидэн сложилась вовсе не так, как он рассчитывал, вторая дочь тоже не оправдала его ожиданий.

Он и теперь не забывал о маленькой гвоздичке* и часто говорил о ней. Ее судьба весьма волновала его. «Что с нею случилось? — спрашивал он себя. — Введенный в заблуждение беспомощностью матери, я потерял это милое существо. Ах, право, с дочерей ни на миг нельзя спускать глаз... Может быть, эта девочка теперь скитается где-нибудь в самом жалком обличье, дерзко называясь моим именем? И все-таки, если бы она нашлась...»

— Если встретите особу, которая называет себя моей дочерью, — наказывал он сыновьям, — задержите ее и расспросите. Когда-то, повинувшись прихотям своего непостоянного сердца, я совершал немало безрассудств. К одной женщине я питал особенную привязанность, но она обиделась на меня по совершенно ничтожному поводу... Досаднее же всего, что вместе с ней я потерял и дочь, а у меня их так мало...

Одно время он как будто забыл о ней, но, видя, как нежно печется Великий министр о своих дочерях, снова почувствовал себя уязвленным, да и было от чего: ведь все его мечты так и остались неосуществленными. Однажды он увидел странный сон. Призвав к себе лучших толкователей, он повелел им растолковать этот сон, и вот что они сказали:

— Дитя, о котором вы долгие годы ничего не знали, живет в доме другого человека. Не доходило ли до вас слухов о том?

— Моя дочь у другого человека? Невероятно! Что бы это могло значить?

Да, очевидно, именно тогда его мысли и устремились снова к потерянной когда-то дочери...



ВЕЧНОЕ ЛЕТО

Основные персонажи

Великий министр (Гэндзи), 36 лет

Тюдзё (Югири), 15 лет — сын Гэндзи и Аои

Министр Двора (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

Бэн-но сёсё (Кобай) — сын министра Двора

Утюдзё (Касиваги), 20–21 год — сын министра Двора

То-дзидзю — сын министра Двора

Девушка из Западного флигеля (Тамакадзура), 22 года — дочь Югао и министра Двора, приемная дочь Гэндзи

Госпожа Весенних покоев (Мурасаки), 28 лет — супруга Гэндзи

Принц Хёбукё (Хотару) — младший брат Гэндзи, сын императора Кирицубо

Удайсё (Хигэкуро) — поклонник Тамакадзура

Дочь министра Двора (Кумои-но кари), 17 лет — возлюбленная Югири

Госпожа Оомия — мать Аои и То-но тюдзё, супруга Левого министра

Девушка из Северного флигеля (госпожа Оми) — побочная дочь министра Двора

Нёго Кокидэн — дочь министра Двора, наложница императора Рэйдзэй

В ИЗНУРЯЮЩЕ жаркий летний день Великий министр в поисках прохлады расположился в восточном павильоне Для рыбной ловли. С ним господин Тюдзё и самые близкие придворные. Тут же, на глазах у собравшихся, готовят рыбу — присланную с Западной реки* форель и выловленную в ближайшей реке* подкаменщика. Скоро появляются и сыновья министра Двора, по обыкновению своему зашедшие навестить Тюдзё.

— Как вовремя вы пришли! — радостно встречает их Гэндзи. — Я изнываю от скуки, меня даже стало клонить ко сну...

Он потчует юношей вином, потом слуги приносят ледяную воду, гости поливают ею рис и угощаются им, оживленно беседуя. Дует сильный ветер, но на небе ни облачка. Когда солнце начинает клониться к западу, звон цикад делается совершенно невыносимым.

— Сегодня так жарко, что и близость воды не спасает. Надеюсь, вы извините меня, — говорит министр, устраиваясь полулежа.

— В такую жару даже музицировать нет настроения. Но праздность еще мучительнее, дни кажутся бесконечными. Представляю себе, как тяжело молодым людям, прислуживающим во Дворце. Там ведь и шнурки носи не распустишь. Забудьте же о церемонности хоть здесь. Расскажите о чем-нибудь диковинном, помогите избавиться от сонливости. В последнее время я чувствую себя стариком, все происходящее в мире для меня словно в тумане... — просит министр, но юноши не могут припомнить ничего диковинного и, смутившись, остаются сидеть у перил там, где попрохладнее.

— Где-то я слышал... Да, кто-то говорил мне, что господин министр Двора недавно изволил разыскать свою побочную дочь и теперь занимается ее воспитанием. Правда ли это? — спрашивает министр у Бэн-но сёсё.

— Слухи эти сильно преувеличены, но кое-что в этом роде действительно произошло. Весной появилась одна особа, требовавшая, чтобы отец ее выслушал, ибо ей, дескать, есть что сказать по поводу увиденного им сна. Узнав об этом, Утюдзё взялся выяснить, вправе ли она так говорить или нет. Впрочем, подробности мне неизвестны. Но, пожалуй, если говорить о диковинном, эта история действительно заслуживает внимания, во всяком случае о ней много судачат. Боюсь только, что подобные пересуды могут иметь неблагоприятные последствия для министра Двора, да и для всего нашего дома, — рассказывает Бэн-но сёсё.

«Значит, и в самом деле...» — думает Гэндзи.

— Позволю себе заметить, что господину министру следовало бы быть умереннее в своих желаниях. Стоит ли с таким упорством разыскивать дикого гуся, отбившегося от и без того многочисленной стаи? (222) Когда бы речь шла обо мне, столь небогатом потомством... Разумеется, я был бы рад отыскать какое-нибудь связанное со мной существо. Но, увы, ко мне с этим никто не обращается, возможно, я не заслуживаю доверия... Впрочем, у этой особы скорее всего были основания обратиться именно к вашему отцу. В молодости министр отличался весьма пылким нравом и часто вел себя безрассудно, а можно ли надеяться, что луна, нашедшая приют в замутненной воде, останется чистой? — улыбается Гэндзи.

Тюдзё, которому известны все подробности, с трудом сохраняет на лице невозмутимое выражение, а Бэн-но сёсё и То-дзидзю явно чувствуют себя уязвленными.

— Что ж, пожалуй, тебе стоит поднять хотя бы этот упавший листок, — шутя, обращается Гэндзи к сыну. — Лучше украсить свою прическу «теми же цветами» (213) и утешиться, чем отдавать имя на посмеяние потомкам.

За наружным дружелюбием, с которым относились друг к другу министры, давно уже скрывался глубокий разлад.

Возмущенный откровенно пренебрежительным отношением министра Двора к Тюдзё, его явным нежеланием щадить чувства юноши, Гэндзи никогда не упускал случая позлословить, рассчитывая, что все им сказанное

будет немедленно доведено до сведения министра и заставит того поморщиться от досады. Слушая рассказ Бэн-но сёсё, Гэндзи невольно подумал: «А что если показать ему девушку из Западного флигеля? Может, тогда он перестанет с презрением относиться к этой своей дочери и окружит ее подобающими заботами? Будучи человеком властным и самоуверенным, министр ни в чем не терпит возражений и, проводя четкую грань между хорошим и дурным, проявляет крайнюю неумеренность как в похвалах, так и в порицании. Нетрудно себе представить, как вознегодует он, узнав правду! Но если неожиданно предъявить ему девушку, он не сможет отнестись к ней с презрением. Скорее всего он все-таки станет заботиться о ней надлежащим образом».

К вечеру ветер посвежел, и уходить никому не хотелось.

— Не спешите, отдыхайте в свое удовольствие, наслаждайтесь прохладой, — говорит министр. — Я же достиг возраста, когда в обществе молодых невольно чувствуешь себя лишним.

Он переходит в Западный флигель и юноши следуют за ним.

Сумерки скрывают очертания предметов, а как все юноши одеты в носии, трудно отличить одного от другого, и Гэндзи говорит девушке:

— Подойдите поближе к порогу. — Затем шепотом добавляет: — Я привел сюда Бэн-но сёсё и То-дзидзю. Они давно уже сгорают от желания приблизиться к вам, но наш суровый Тюдзё не идет ни на какие уступки. Можете быть уверены, что мысли их заняты только вами. Даже девицы из простых семейств, пока живут под крылышком у попечительных родителей, привлекают к себе сообразное своему званию внимание мужчин. А наш дом снискал громкую славу в мире. Пожалуй, даже слишком громкую, если учитывать наши внутренние сложности. Разумеется, помимо вас живут здесь и другие особы, но положение, которое они занимают в доме, решительно не позволяет устремлять к ним любовные помышления. Когда же появились вы, я, будучи ранее лишен подобной возможности, загорелся желанием подвергнуть испытанию чувства этих молодых людей, дабы посмотреть, кто из них на что способен. И вот, я не ошибся в своих ожиданиях.

По особому распоряжению министра, в саду перед Западным флигелем не сажают никаких редких растений. Зато здесь растет искусно подобранная по оттенкам китайская и японская гвоздика, стебли которой изящно обвивают низкую ограду, и невозможно оторвать глаз от цветов, сверкавших в лучах вечернего солнца.

Юноши стоят в отдалении, явно сожалея о том, что нельзя приблизиться к ним и сорвать...

— Все они обладают немалыми талантами, душевные качества их тоже не вызывают сомнений, — говорит Гэндзи. — Особенно же хорош Утюдзё. Посмотрите, с каким спокойным достоинством он держится! Утонченности его можно только позавидовать. Как он вам? По-прежнему часто пишет? Не будьте с ним чересчур суровы, это неучтиво.

Все юноши хороши собой, но Тюдзё выделяется среди прочих и красотой, и изяществом манер.

— Не могу понять, почему господин министр Двора с такой неприязнью относится к нашему Тюдзё, — говорит Гэндзи. — Уж не смущает ли его, пекущегося о процветании и чистоте своего рода, примесь высочайшей крови?

— Но разве некий человек не сказал: «О, благородный юноша, приди»? — замечает девушка.

— О нет, я вовсе не желаю торопить их со «свадебным угощением». Меня просто огорчает намерение министра разлучить этих невинных детей, с малых лет связанных друг с другом нежными чувствами. Разумеется, Тюдзё еще не достиг высокого положения в мире. Возможно, господин министр опасается, что такой выбор уронит его во мнении света, но что мешает ему переложить бремя ответственности на мои плечи? Полагаю, что тогда у него не было бы оснований для беспокойства, — вздыхая, говорит Гэндзи.

«Значит, нет меж ними ладу», — заключает девушка, и сердце ее печально сжимается. — Ах, когда же наконец узнает о ней настоящий отец?

Ночи стоят безлунные, и скоро зажигают светильник.

— Ах, от него еще жарче, лучше зажгите фонари в саду, — говорит Гэндзи и, призвав слуг, велит повесить фонарь где-нибудь неподалеку.

Придвинув к себе стоящее рядом превосходное японское кото, министр начинает перебирать струны — кото настроено в ладу «рити»* и звучит прекрасно. Немного поиграв, Гэндзи говорит:

— Не скрою, вы несколько уронили себя в моих глазах тем, что до сих пор не проявляли решительно никакого интереса к музыке. Японское кото звучит особенно проникновенно и ярко в осенние вечера, когда окрестности залиты холодным и ясным лунным светом. Причем играть лучше не в глубине покоев, а на вольном воздухе, чтобы звуки струн свободно сплетались с голосами насекомых. Японское кото не подходит для торжественных случаев, ему недостает строгости. Зато именно оно прекрасно сочетается с другими инструментами, легко принаравливаясь к любым мелодиям и ритмам. В этом его преимущество. Некоторые относятся к нему с пренебрежением — мол, есть в нем что-то провинциальное — но на самом деле сделано оно с отменным мастерством. Оно словно нарочно предназначено для женщин, не обладающих достаточно широкими познаниями в музыке чужих земель. Попробуйте же освоить это кото, это не сложнее, чем научиться играть на любом другом, наберитесь терпения и внимательно следите за тем, чтобы оно звучало согласно с другими инструментами. Никаких сложных, сокровенных приемов игры нет, и все же не так-то легко достичь истинного мастерства. В наши дни непревзойденным мастером в игре на японском кото считается министр Двора. Посредством даже самого простого приема «перебирание осоки»* он умеет заставить этот инструмент звучать с такой полнотой и таким разнообразием оттенков, что остается только удивляться.

Поскольку девушка немного играла на японском кото и часто думала: «Ах, как бы научиться...» — слова Гэндзи возбудили ее любопытство.

— Быть может, мне посчастливится услышать игру господина министра Двора в этом доме во время какого-нибудь праздника? Я всегда считала, что научиться играть на японском кото может кто угодно и без особого труда, ведь на нем играют теперь даже бедные жители гор. Но, очевидно, в руках подлинного мастера оно звучит совершенно иначе.

Видя, что девушка заинтересована не на шутку, министр говорит:

— Да, это так. Японское кото называют еще и восточным, как бы подчеркивая тем самым некоторую его грубоватость. Однако именно за ним прежде всего посылает Государь во время всех дворцовых празднеств. И мо-

жет ли быть иначе? Не знаю, как обстоит дело в других странах, но, мне кажется, у нас это кото — во главе всех музыкальных инструментов. Министр же — во главе лучших исполнителей, так что более подходящего учителя вам не найти. Разумеется, он удостоит нас своим посещением при первом же удобном случае. Но не надейтесь, что играя на кото, он щедро раскроет перед нами все свои приемы. Эти мастера, по какой бы стезе они ни продвигались, люди весьма своенравные. Так или иначе, полагаю, что в ближайшее время у вас появится возможность самой услышать его.

Беседа с девушкой, министр перебирает струны кото, и оно звучит поразительно ярко и изысканно. «Неужели можно играть лучше?» — вздыхает юная госпожа. Так велико ее желание встретиться с родным отцом, что даже теперь, внимая звукам кото, она думает лишь об одном — когда, в каком мире дозволено ей будет вот так же сидеть рядом с родным отцом и слушать его игру.

— На реке Нуки изголовье мягкое из сплетенных рук*... — нежным голосом поет Гэндзи.

Дойдя до слов: «Не дает с любимым видаться отец...», он улыбается и, используя прием «перебирание осоки», мягко пробегает пальцами по струнам. Невыразимо прекрасно звучит кото в его руках.

— Теперь сыграйте вы! — настаивает он. — Когда хочешь чему-то научиться, не стоит церемониться. Я же не прошу вас играть «Песню о любви к супругу»*, зная, что многие женщины предпочитают таить ее в глубине души. Но остальные мелодии можно играть в любом случае и без всякого стеснения.

Однако девушка не притрагивается к кото, опасаясь сфальшивить. Музыке училась она совсем чуть-чуть еще там, в провинциальной глуши, у старухи, считавшейся отпрыском высочайшего рода и родившейся, по ее собственным словам, в столице. Забыв обо всем на свете — «Только бы господин министр не перестал играть! Может быть, мне удастся запомнить эту мелодию», — девушка придвигается к нему поближе.

— Какой ветер помогает вашим струнам так звучать?

Она прислушивается, склонившись, невыразимо прекрасная в падающем на нее свете фонарей.

— Чудесный ветер, трогающий струны души того, кто не туг на ухо, — улыбнувшись, отвечает министр, пододвигая к девушке кото.

Она смущается, но присутствие дам мешает Гэндзи продолжать в том же игривом тоне.

— Кажется, юноши разошлись, не успев сполна насладиться красотой цветущей гвоздики... Пожалуй, мне следует показать этот сад и министру Двора. Ведь все в этом мире так непрочное... Помню, как однажды он рассказывал мне о вас. Кажется, что это было вчера, — говорит министр с видом крайне растроганным.

— Кто сумел уловить
В красках нежной гвоздики прелесть
«Вечного лета»,
Непременно захочет найти
Следы той прежней ограды...*

Именно это и тревожит меня, хотя крайне досадно, что вы принуждены сидеть здесь взаперти, словно в коконе (223).

Заплакав, девушка отвечает еле слышным голосом:

— Когда-то росла
Возле бедной хижины горной
Эта гвоздика.
Кто станет искать, откуда
Тянутся корни ее?

Она и в самом деле так нежна и прелестна, что кажется совсем юной.

— Ах, лучше бы я не приходил сюда... — сетует министр. Увы, теперь ему еще труднее сдерживать свои чувства.

В последнее время Гэндзи слишком часто заходил в Западный флигель, и его мучили угрызения совести — ведь дамам это могло показаться подозрительным. Он старался воздерживаться от посещений, зато беспрестанно писал девушке письма, изобретая для этого самые разные предлоги. Он помышлял о ней беспрестанно. «Для чего, — недоумевал он, — я сам лишил себя покоя, позволив новой страсти овладеть моим сердцем? К чему такие мучения?»

Разумеется, он мог и не противиться искушению, но это наверняка вызвало бы всеобщее неодобрение, которого последствия оказались бы губительными не только для него самого, но и для нее. Как ни сильно было его чувство к девушке, Гэндзи и помыслить не мог о том, чтобы поставить ее наравне с госпожой Весенних покоев. «А что ей даст более низкое положение? — думал он. — Как ни велико мое влияние в мире, разве почетно числиться одной из последних женщин, живущих под моим покровительством? Уж лучше стать любимой и единственной женой простого советника». Прекрасно все это понимая, Гэндзи испытывал сильнейшую жалость к девушке. «Пожалуй, следовало бы все же отдать ее принцу Хёбукё или Удайсё. Супруг заберет ее к себе, она будет далеко, и страдания мои прекратятся. Да, как это ни тяжело, лучшего выхода я не вижу...» — иногда думал он.

Тем не менее он продолжал навещать в Западный флигель и под предлогом обучения юной госпожи игре на кото виделся с ней теперь даже чаще прежнего. Однако он ни на миг не забывал о приличиях и не делал ничего, что могло бы напугать ее, поэтому девушка, сначала робевшая в его присутствии, постепенно успокоилась, привыкла к нему и перестала дичиться. Мило смущаясь, отвечала она на его вопросы и с каждым днем казалась Гэндзи все более привлекательной. Не имея сил расстаться с ней, он старался не вспоминать о принятом было решении.

«Не лучше ли, выбрав юной госпоже супруга, оставить ее здесь? — думал он иногда. — Окружить нежными заботами, а самому встречаться с ней тайком, когда обстоятельства будут тому благоприятствовать. Быть может, мне удастся уговорить ее и удовлетворить свое желание? При нынешней неискушенности юной госпожи в мирских делах почти невозможно принудить ее откликнуться на мои чувства. Но как только проникнет она в душу вещей и не будет причин жалеть ее, меня не остановит самый суровый хранитель застав (224). Лишь бы удалось смягчить ее сердце, тогда как бы ее ни охраняли...»



Право, трудно не осудить его за подобные мысли.

Впрочем, министр не мог не понимать, что, даже если ему удастся осуществить свой замысел, его ждут лишь новые волнения и муки. Словом, найти выход было нелегко. Право же, ничего подобного еще не бывало в нашем мире.

Тем временем министру Двора стало известно, что не только домочадцы отказываются считаться с его новой дочерью и относятся к ней с презрением, но и в мире над ним смеются — мол, надо же сделать такую глупость! Услыхав от Бэн-но сёсё, что сам Великий министр изволил его расспрашивать, министр Двора сказал:

— Я действительно взял к себе в дом девушку из провинции, о которой до сих пор никто не слышал, и забочусь о ней. Удивительно, что Великий министр, вовсе не склонный к злословию, как только речь заходит о нашем доме, не пропускает мимо ушей ни одной малости и пользуется любой возможностью, дабы унижить меня. Впрочем, наверное, я должен почитать за честь...

— Говорят, что особа, которую поселил Великий министр в своем Западном флигеле, само совершенство. Принц Хёбукё очень увлечен ею и страдает. Полагают, что она необыкновенно хороша собой, — сообщает Бэн-но сёсё.

— А что еще могут говорить о дочери Великого министра? Увы, так уж устроены люди. Скорее всего в ней нет ничего особенного. Обладая она всеми приписываемыми ей достоинствами, мы услышали бы о ней гораздо раньше.

Да, что и говорить, как ни безупречен Великий министр и как ни высоко его положение в мире, он, к сожалению, не богат потомством, и это не может его не волновать. Будь у него дочь от столь почитаемой им супруги, он лелеял бы ее безмерно, и наверняка она выросла бы истинным совершенством, но, увы... От девочки, рожденной госпожой Акаси, можно ожидать многого, хотя положение ее матери и невысоко. Я уверен в необычности ее предопределения. А эта новая дочь, возможно, и не его вовсе. Министр ведь человек со странностями, так что я бы не удивился... — говорит министр Двора пренебрежительным тоном.

— И все же хотелось бы знать, на ком остановит он свой выбор? Думаю, что успех ждет принца Хёбукё. Они всегда были близки, к тому же принц обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы стать завидным зятем, — замечает министр и снова с сожалением вспоминает о собственной дочери. Ведь он и сам мог бы ходить теперь с многозначительным видом, и многие трепетали бы в ожидании его решения. Но как ни велика его досада, отдавать дочь Тюдзё, не дожидаясь, пока тот достигнет соответствующего ранга, тоже нелепо... «Разумеется, если бы Великий министр изволил обнаружить свою заинтересованность и лично просил за сына, я позволил бы себя уговорить...» — думает он. А тут еще и Тюдзё ведет себя так, будто ему и дела нет...

Взволнованный мыслями о дочери, министр тут же, без всякого предупреждения, отправляется в ее покои. Его сопровождает Бэн-но сёсё.

Девушку сморил сон, она лежит, подложив под голову руку, изящные пальчики сжимают веер. На ней нижнее платье из тончайшей ткани, не похоже, чтобы она страдала от жары. Какая же она миниатюрная и прелестная! Сквозь полупрозрачную ткань просвечивает нежное тело, отброшенные назад волосы, не такие уж длинные и не слишком густые, лежат красивой волной. Дамы тоже спят, устроившись за ширмами и занавесями, и просыпаются не сразу. Министру приходится постучать веером, только тогда девушка поднимает голову и устремляет на отца невинно-вопрошающий взгляд. Прелестные глаза, раздурманившиеся щеки — ну разве она не прекрасна? Такой дочерью можно только гордиться.

— Разве я не предупреждал тебя, что дурно «отдаваться дремоте»? (225) А ты к тому же так легко одета... Отчего рядом нет никого из дам? Женщина должна быть осторожной, чтобы никто не мог застать ее врасплох. Беспечность и неосмотрительность — не к лицу благородной особе. Впрочем, не лучше, когда женщина слишком рассудительна и сурова, когда она постоянно шепчет молитвы Фудо и то и дело молитвенно складывает руки. Или, скажем, когда она даже с близкими людьми держится церемонно и высокомерно. На первый взгляд такая особа может показаться благородной, но нельзя не пожелать ей большей мягкости и душевной простоты. К примеру, Великий министр, насколько мне известно, весьма широко подходит к воспитанию своей младшей дочери, которую прочит в государыни. Стараясь обогатить ее ум всякими познаниями, приличными ее полу, он не позволяет ей сосредоточиваться на чем-то одном, одновременно следя за тем, чтобы знания ее ни в коем случае не были поверхностными и неосновательными. По-своему он прав. И все же, поскольку каждый человек и в делах, и в помышлениях своих имеет особые, ему лишь свойственные пристрастия, плоды такого вос-

питания могут быть совершенно различны. Хотелось бы мне посмотреть, какой будет эта девочка, когда вырастет и появится во Дворце.

Мне так и не удалось осуществить своих замыслов относительно твоего будущего, и сейчас меня волнует одно — как уберечь тебя от всеобщего посмеяния. Всякий раз, когда мне рассказывают о том, как сложилась судьба той или иной особы, мысли мои невольно обращаются к тебе. Не внимай же «печальным вздохам» (226) рассчитанным на то, чтобы смутить твой покой. Во всем положишься на меня, ибо у меня есть свои соображения, — говорит министр Двора, любуясь своей очаровательной дочерью.

У девушки же от стыда стесняется сердце. «Как глупо я себя вела тогда, сколько волнений причинила своим близким, — думает она. — Ничего не понимала, сидела перед отцом, не чувствуя за собой никакой вины».

В последнее время госпожа Оомия постоянно жалуется на то, что почти не видит внучку, но, помня наставления отца, девушка не решается навещать ее.

Еще больше беспокоит министра Двора будущее особы, поселившейся в Северном флигеле его дома. «Я с такой готовностью принял ее, — думает он. — Вправе ли я теперь отказываться от нее только потому, что над ней все смеются? Так поступил бы человек крайне легкомысленный, взбалмошный». Но не менее нелепо оставлять ее у себя, ибо люди могут подумать, что он и в самом деле придает большое значение ее воспитанию. «Пожалуй, лучше всего пристроить девушку к нёго Кокидэн, пусть потешит ее дам. Люди считают ее дурнушкой, но ведь они могут и ошибаться». — И министр отправляется в покои нёго.

— Я решил отдать на ваше попечение девушку из Северного флигеля, — улыбаясь, говорит он. — Если ее манеры покажутся вам слишком грубыми, попросите кого-нибудь из пожилых дам заняться ее образованием, пусть без стеснения наставляют ее. Надеюсь, вы не позволите молодым дамам насмехаться над ней. Боюсь только, что она слишком своенравна.

— О, я не верю, что она настолько безнадежна, — смутившись, отвечает нёго. — Просто Утюдзё и прочие предполагали в ней какие-то особые достоинства и были разочарованы, когда она не оправдала их ожиданий. Не зачем поднимать из-за нее такой шум: и ей самой будет неловко, и вам придется краснеть от стыда.

Нёго Кокидэн нельзя назвать красавицей, но есть в ней что-то благородное, величавое, а мягкость и нежность черт делают ее похожей на прекрасный цветок сливы, раскрывший в предутренний час свои лепестки. «Мало кто из женщин способен замолчать на полуслове, передав недосказанное улыбкой», — думает, глядя на нее, министр.

— Так или иначе, во всем виноват Утюдзё, который по молодости лет и легкомыслию... — заключает он. Ах, как не пожалеть бедняжку, о которой никто слова доброго не скажет...

Пройдя через Северный флигель, министр задерживается у покоев своей новой питомицы и вот, что он там видит.

Сидя у самого порога, рядом с высоко вздернутой шторой, девушка играет в сугороку* с молодой изящной прислужницей по прозванию Госэти. Молитвенно сложив руки, она нетерпеливой скороговоркой твердит:

— Ну же, ну же, поменьше...*

Досадливо поморщившись, министр движением руки останавливает телохранителей, готовых возвестить о его прибытии, и, проскользнув в приотворенную боковую дверь, сквозь щель между перегородками заглядывает в покои.

Госпожа Госэти тоже проявляет излишнюю горячность.

— Еще раз, еще... — повторяет она, изо всех сил тряся бочонком и не сразу выкидывая кости.

Возможно, в глубине их сердец тоже сокрыты глубокие «чувства-желания» (212), но вид у них весьма вульгарный. У девушки довольно милая, располагающая к себе наружность, никаких особенных изъянов в ней нет. Вот только слишком узкий лоб и резкий голос несколько портят впечатление. Так или иначе, она далеко не красавица, однако же, посмотрев на нее, а затем в зеркало, министр понял, что не стоит оспаривать существующую меж ними связь, и невольно посетовал на судьбу.

— Наверное, ты еще не успела привыкнуть к дому, и тебе здесь не по себе... К сожалению, я не имею довольно досуга, чтобы навещать тебя почаще, — говорит он, а девушка своей обычной скороговоркой отвечает:

— О, да что может меня здесь беспокоить? Обидно только, что я так редко вижу вас. Долгие годы я мечтала о том, чтобы увидеть лицо отца, и вот... Словно мне все никак не выпадет нужное число.

— Ты совершенно права. Я даже подумывал, а уж не использовать ли мне тебя в качестве личной прислужницы, тем более что в моих покоях недостает надежных дам. Но это, увы, невозможно. Обычные прислужницы, затерявшись среди других, ничем от них не отличающихся дам, живут довольно спокойно, не привлекая к себе посторонних взглядов, не вызывая пересудов. Но как только в мире станет известно, что одна из них — дочь того или иного вельможи, на нее сразу же обратятся придирчивые взоры, которым наверняка удастся обнаружить что-нибудь бросающее тень на ее отца или братьев. А уж тем более... — И министр, не закончив, умолкает. Но девушка заявляет, ничуть не смутившись:

— Да что тут такого? Другое дело, если бы мне пришлось изображать из себя важную даму где-нибудь на людях, тогда бы я точно почувствовала себя неловко. А так — да я готова горшки за вами выносить.

Министр не мог удержаться от смеха:

— Что ты, такое занятие тебе вовсе не к лицу! Но если у тебя есть желание доказать свою дочернюю преданность, постарайся говорить немного тише и медленнее. Тогда и я буду медленнее стареть.

И министр снова смеется: право, он никогда не упустит случая пошутить.

— Ах, такая уж я уродилась! Когда я была совсем маленькая, матушка очень страдала из-за этого и часто бранила меня. Она говорила, что я переняла эту привычку от настоятеля монастыря Мёходзи*, который присутствовал при моем появлении на свет. Обещаю вам сделать все возможное, чтобы исправить.

Лицо ее изобразило такую явную готовность исполнить свой дочерний долг, что министр почувствовал себя растроганным.

— А, значит это монах виноват. Вот незадача! Наверняка эта привычка послана ему в наказание за прошлые грехи. К примеру, считается, что немые и заики были некогда виновны в поношении сутры Великой колесницы*, —

говорит министр, начиная раскаиваться в своем решении поручить девушку заботам нёго Кокидэн. В самом деле, пристало ли особе, занимающей в мире столь высокое положение, что даже он, ее отец, невольно робеет перед ней, иметь в своем окружении такое жалкое существо?

«Как же я мог взять ее к себе, даже не узнав, что она собой представляет? — раскаивался он. — Она постоянно будет на виду, и по миру пойдут пересуды...»

— Госпожа нёго как раз находится здесь. Ты можешь время от времени заходить в ее покои и наблюдать за манерами дам, чтобы научиться вести себя должным образом. Даже не имеющий особенных достоинств человек, попав в ту или иную среду, невольно начинает ей соответствовать. Помня об этом, постарайся почаще встречаться с сестрой.

— Ах, радость-то какая! Ведь я сплю и вижу, что войду в число этих благородных особ! Ни о чем другом я и не мечтала все эти годы. Только позвольте, и я стану черпать воду для госпожи сестрицы*, — быстрее прежнего щебечет девушка и, понимая, что останавливать ее бесполезно, министр говорит:

— Полно, тебе вряд ли придется заниматься собиранием хвороста. Лучше постарайся держаться подальше от монахов, которые столь дурно на тебя влияют.

Однако девушка не понимает шуток, как не понимает и того, что перед ней один из самых блестящих в стране сановников, которого один взгляд повергает окружающих в трепет.

— Так когда же мне позволено будет навестить госпожу нёго? — спрашивает она.

— Обычно выбирают благоприятный день. А впрочем, к чему нам такие церемонии? Можешь пойти к ней хоть сегодня, если хочешь...

С этими словами министр выходит.

Ему сопутствуют, повинаясь каждому его слову, благородные юноши Четвертого и Пятого рангов, малейшее его движение исполнено такого величия, что девушка восклицает, восхищенная:

— Ну и повезло же мне! И при таком отце вырасти в жалкой хижине!

— О да, пожалуй, он даже слишком хорош для вас, — соглашается Госэти. — Думаю, вам было бы лучше найти себе более подходящего, да и более заботливого родителя, — неожиданно добавляет она.

— О, как тебе не стыдно! Ты всегда готова все испортить. Не смей теперь разговаривать со мной на равных! Вот подожди, увидишь, кем я стану.

Когда она сердилась, ее лицо становилось особенно привлекательным, да и шутливость ее была по-своему мила, во всяком случае заставляла забыть о ее недостатках. Единственное, с чем нельзя было примириться, так это с ее манерой говорить. Впрочем, могла ли она научиться говорить правильно, живя в провинции, среди жалких бедняков? Самые незначительные слова, произнесенные неторопливо, тихим голосом, обычно производят приятное впечатление. Даже далекое от совершенства стихотворение, если его произнести проникновенно, то многозначительно не договаривая, то обрывая на полуслове, приведет слушающего в восторг, о глубине содержания он и не вспомнит. Но в устах девушки из Северного флигеля самые тонкие, глубокие замечания показались бы лишенными всякого смысла, к тому же она не

особенно заботилась о том, как говорит, голос ее звучал резко, выговор был провинциальный. Вдобавок ко всему, воспитанная своевольной и весьма высоко о себе мнящей кормилицей, она привыкла держаться довольно развязно — словом, производила весьма дурное впечатление. Впрочем, совсем уж ничтожной ее тоже нельзя было назвать. При случае она даже могла сложить песню в тридцать один слог и произнести ее обычной своей скороговоркой. Правда, чаще всего начало песни не соответствовало ее концу...

— Господин министр просил меня навестить госпожу нёго, — сказала она Госэти. — Он будет недоволен, если я стану мешкать. Пойду к ней нынче же вечером. В его-то любви у меня нет сомнений, я для него дороже всех на свете, но если дамы госпожи нёго будут мною гнушаться, разве смогу я здесь у вас обжиться?

Да, нетрудно себе представить, с каким пренебрежением должны были относиться к ней окружающие!

Девушка начала с того, что отправила нёго Кокидэн письмо.

«Хоть “как прутья плетня, близки мы” (228), но, не имея знака, не смела наступить на Вашу тень... (229) Ах, но не Вы ли велели посадить меж нами траву “не ходи”? (229) Я понимаю, что слишком дерзко с моей стороны упоминать долину Мусаси... (48) О, простите, простите...» — И, оборвав на полуслове, она приписала с обратной стороны:

«Да, кстати, я решила наведать вас сегодня же, ибо говорят: “чем ты холоднее становишься...” (230) или “в пруду Масуда...” (231). Ах, я так скверно пишу, но, может быть, вы соблаговолите вспомнить о реке Минасэ?» (232, 233)

Кончалось же письмо следующей песней:

«Молодою травой
Заросло побережье Хитати
У мыса “Когда”.
Когда же увижусь с тобою,
О волна из залива Таго?.. (234)

О река в Ёсино... (235)».

Все это она написала довольно небрежной скорописью на сложенном вдвое листке зеленоватой бумаги. Почерк у нее был весьма угловатый, о стиле она скорее всего не думала вовсе: знаки шли вкривь и вкось, одни сплюснутые, другие манерно вытянутые. Столбцы наезжали друг на друга, крепились вбок, готовые упасть. Улыбаясь, девушка долго любовалась письмом, потом, свернув его в неожиданно изящный свиточек, привязала к цветку гвоздики*. Отнести послание она поручила девочке-служанке, следящей за чистотой отхожих мест, весьма смышленной и миловидной, совсем недавно поступившей на службу.

Перейдя в покои нёго, девочка зашла в кухонную залу и сказала:

— Вот, прошу передать.

— А, это девочка из Северного флигеля! — узнали ее служанки и взяли письмо.

Дама, которую называли Таю, поспешила отнести его в покои госпожи и, развернув, показала ей. Улыбнувшись, нёго отложила письмо, а дама по имени Тюнагон, сидевшая рядом, попыталась заглянуть в него.

— Выглядит весьма своеобразно, в нынешнем вкусе, — заметила она, явно сгорая от желания узнать, что там написано.

— Наверное, я недостаточно хорошо понимаю скоропись, — ответила нёго Кокидэн, протягивая ей письмо. — Во всяком случае, мне кажется, что в этой песне нет ни начала, ни конца. Она будет разочарована, если я не отвечу столь же изощренно. Напиши ей скорее, прошу тебя.

Молодые дамы тихонько посмеивались, не решаясь выражать свое удивление открыто. Девочка ждала ответа, и Тюнагон поспешила написать его.

— Не знаю, сумею ли я достойно ответить на письмо, написанное столь прекрасным поэтическим слогом, — заметила она. — К тому же боюсь, что, получив письмо, написанное рукой посредницы, госпожа из Северного флигеля почувствует себя оскорбленной.

И она постаралась написать так, будто ответ исходил от самой нёго.

«Вы живете так близко, и все же мы никогда не видимся. Право, досадно...

Далёко в Хитати
Бухта Сума в море Суруга...
Ты на берег, волна,
Набегай, на мысу Хакосаки
Сосна поджидает тебя...» —

написала Тюнагон и прочла госпоже.

— О нет, это ужасно! А вдруг кто-нибудь подумает, что писала и в самом деле я? — смутилась нёго.

— Что вы, таких не найдется, — заверила ее Тюнагон и, свернув письмо, вручила его служанке.

Прочтя письмо, девушка из Северного флигеля довольно улыбнулась:

— Понятно: нёго хочет сказать, что ждет меня. Но как же изящно она выражается!

И она принялась окуривать свое платье благовониями — увы, чересчур резкими. Затем наложила на губы ярко-алую помаду, тщательно причесалась и принарядилась, отчего ее грубые, резкие черты стали по-своему привлекательными. Боюсь только, что во время встречи с нёго она вела себя слишком развязно...





НОЧНЫЕ ОГНИ

Основные персонажи

Великий министр (Гэндзи), 36 лет

Министр Двора (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

Госпожа Оми — побочная дочь министра Двора

Девушка из Западного флигеля (Тамакадзура), 22 года — дочь Югао и министра Двора, приемная дочь Гэндзи

Укон — прислужница Югао, потом Тамакадзура

Укон-но таю (Укон-но дзо-но куроо) — приближенный Гэндзи

Тюдзё (Югири), 15 лет — сын Гэндзи и Аои

Утюдзё (Касиваги), 20 (21) год — сын министра Двора

Бэн-но сёсё (Кобай) — сын министра Двора

В ТЕ ВРЕМЕНА в мире только и говорили что о новой дочери министра Двора, и насмешкам не было конца. Услыхав об этом, Великий министр Гэндзи пожалел девушку.

— Как бы там ни было, непонятно одно: что побудило министра Двора так поступить с ней? Ясно, что этой особе было бы лучше остаться там, где она жила до сих пор, и где никто ее не видел. Зачем, повинувшись случайной прихоти, поднимать вокруг нее такой шум, выставлять бедняжку на всеобщее обозрение, давая людям столь прекрасный повод для сплетен? Министр всегда был человеком решительным, даже слишком, очевидно, он поспешил извлечь ее из глуши, даже не потрудившись выяснить, что она собой представляет, а потом, разочаровавшись, потерял к ней всякий интерес. А ведь многое зависит от обращения, прояви он к ней больше внимания, все бы уладилось.

Узнав о том, что произошло в доме министра Двора, девушка из Западного флигеля дома на Шестой линии возблагодарила судьбу. «Как же мне повезло! — думала она. —

Разумеется, министр Двора — мой родной отец, но ведь я совсем не знаю его. Возможно, и мне пришлось бы подвергнуться унижениям, попади я к нему в дом».

Укон тоже не упускала случая напомнить ей о том. Я не стану утверждать, что Гэндзи удалось полностью избавиться от недостойных желаний, но он старался не давать им воли, только заботливо входил во все ее нужды, так что она постепенно успокоилась и стала питать по отношению к нему искреннюю привязанность.

Пришла осень. Повеял прохладой ветер «первых осенних дней» (236), и стало тоскливо на сердце. Не в силах совладать с собой, Гэндзи стал чаще прежнего наведываться в Западный флигель и проводил там целые дни, обучая юную госпожу игре на кото.

Однажды вечером, когда пяти- или шестидневный месяц, едва успев появиться, быстро скрылся за краем гор, и все вокруг — небо, затянутое тонкими облаками, шелест мисканта-оги — было исполнено печального очарования, они лежали рядышком, положив в изголовье кото. «Кто еще способен на такое?» — вздыхал Гэндзи, когда же спустилась ночь, не желая давать повод для подозрений, собрался уходить, но прежде призвал сопровождавшего его Укон-но таю и распорядился, чтобы разожгли поярче угасающий огонь в подвесных светильниках в саду.

Над чистым, прозрачным ручьем причудливо раскинул ветви бересклет, а под ним несильным пламенем горят сосновые факелы. Они находятся в отдалении, поэтому в покоях прохладно и вместе с тем достаточно светло, чтобы различать прелестные черты юной госпожи. Она особенно хороша сегодня, стыдливо потупившаяся, с блестящими волосами, прохладные волны которых сообщают особое благородство ее фигуре. Гэндзи медлит, не в силах расстаться с ней.

— Пусть кто-нибудь неотлучно находится в саду, следит, чтоб не гас огонь. В темные летние ночи без света в саду слишком мрачно и жутко, — говорит он.

Ночные огни
Горят. Горит в моем сердце
Пламя любви.
Уж оно-то, поверь,
Не угаснет вовеки...

Доколе же прикажешь?.. Хотя этот костер и не дымит, но так мучительно, когда пламя сжигает тебя изнутри... (237)

«Как все это странно...» — подумав, девушка отвечает:

— Загаси это пламя,
Пусть растает бесследно,
Рассеется в небе
Вместе с зыбко струящимся
Дымом ночных огней...

Что могут подумать дамы?

Она явно обеспокоена, и Гэндзи, вздохнув: «Ну что же...» — направляется к выходу, но тут со стороны Восточного флигеля доносятся мелодичные

звучи продольной флейты, которой вторит флейта «сё». Очевидно, Тюдзё снова привел к себе закадычных друзей, и они музицируют.

— Кажется, на флейте играет Утюдзё из дома министра Двора. Его сразу узнаешь.

И Гэндзи, раздумав уходить, посылает к сыну гонца.

«Я задержался в Западном флигеле, трудно уйти, когда так прохладен и чист свет подвесных фонарей...»

Юноши поспешили присоединиться к нему.

— Услышав пение струн, вздрогнул вдруг: «Неужели...» (238), и не смог устоять перед искушением... — признается министр и, придвинув к себе кото, начинает мягко перебирать струны.

Тюдзё с большим мастерством вторит ему на флейте, играя в тональности «бансики»*. Утюдзё, смутившись, не решается запеть, но министр торопит, и тогда, отбивая такт веером, тихонько запевает Бэн-но сёсё. Его голос звучит так нежно, словно в саду звенят сверчки-колокольчики. После того как он пропел песню дважды, Гэндзи подвигает кото к Утюдзё, не менее одаренному музыканту, чем его отец, министр Двора.

Трудно не восхититься его выразительной и изящной манерой игры.

— Знаете ли вы, что за занавесями скрывается особа, способная оценить ваше искусство? — спрашивает Гэндзи. — Но, пожалуй, мне следует сегодня пить, соблюдая особую осмотрительность. Такой старик, как я, плача хмельными слезами, может сболтнуть лишнее.

Девушка и в самом деле слушает, замирая от волнения. Возможно, ее интерес к этим юношам объясняется тем, что они ей не чужие. Она внимательно прислушивается и приглядывается к ним обоим, хотя внешне ничем не выдает себя. Но сыновья министра Двора о том не догадываются.

А надо сказать, что страсть к ней Утюдзё к тому времени достигла предела. Но, как ни велико было обуревавшее его волнение, он старался сохранять наружное спокойствие и весьма в том преуспел. Вот только кото не всегда подчинялось ему в тот вечер...





ПРОНИЗЫВАЮЩИЙ ПОЛЯ

Основные персонажи

Великий министр (Гэндзи), 36 лет

Государыня-супруга (Акиконому), 27 лет — дочь Рокүдзё-номиясудокоро и принца Дзэмбо, воспитанница Гэндзи, супруга императора Рёйдзэй

Госпожа Южных покоев (Мурасаки), 28 лет — супруга Гэндзи

Маленькая госпожа, 8 лет — дочь Гэндзи и госпожи Акаси

Тюдзё (Югири), 15 лет — сын Гэндзи и Аои

Старая госпожа (госпожа Оомия) — мать Аои и министра Двора

Госпожа Северных покоев (госпожа Акаси), 27 лет — возлюбленная Гэндзи

Девушка из Западного флигеля (Тамакадзура), 22 года — дочь Югао и министра Двора, приемная дочь Гэндзи

Обитательница Восточных покоев (Ханатирусато) — бывшая возлюбленная Гэндзи

ОСЕННИЙ САД перед покоями Государыни-супруги в этом году особенно прекрасен. Каких цветов тут только нет! В зарослях виднеются изящные низкие ограды из необработанного и обработанного дерева. Самые обычные кусты поражают причудливостью очертаний, да и роса нигде не сверкает так ярко: по утрам и вечерам сад начинает переливаться так, словно усеян драгоценными камнями. Попав сюда, человек как будто переносится в прекрасные осенние луга и забывает о нежной прелести весенних горных склонов. Душа его витает в неведомых далях, зачарованная изысканной красотой представшего взору пейзажа.

И раньше, когда в доме на Шестой линии шли ожесточенные споры о временах года, многие отдавали предпочтение осени, но теперь даже самые упорные приверженцы прославленного весеннего сада обнаружили — обычное, впрочем, для нашего мира — сердечное непостоянство.

Государыня-супруга, всей душой полюбившая свой сад, не покидала дома на Шестой линии, и, разумеется, министру хотелось порадовать ее прекрасной музыкой, однако на Восьмую луну приходились дни скорби по покойному принцу Дзэмбо, так что Государыне оставалось лишь с утра до вечера любоваться цветами, которые с каждым днем становились все ярче.

Но тут налетел «пронизывающий поля» ветер, такой сильный, какого никогда еще не бывало, даже небо изменило свой цвет. Люди не особенно чувствительные и те горевали, глядя на увядающий сад: «Вот беда-то...» А у Государыни вовсе душа разрывалась на части, когда смотрела она на разметанные по травам сверкающие капли росы. «Ах, если бы нашлись рукава, способные прикрыть и осеннее небо!» (148)

К ночи ветер разбушевался так, что не было видно ни зги, испугавшись, дамы опустили решетки, и Государыня горестно вздыхала, тревожась за судьбу цветов.

Сад перед Южными покоями был расчищен и готов к зиме, когда разыгралась эта буря, и вряд ли «редкие кустики хаги» радовались, что дождались-таки ветра (239).

Приблизившись к порогу, госпожа Мурасаки смотрела, как гнутся ветки под неистовыми порывами, не дающими ложиться росе.

Великий министр был в покоях маленькой госпожи, когда появился Тюдзё.

Подойдя к низкому экрану, поставленному в восточной галерее, он без всякого дурного умысла заглянул в приоткрытую боковую дверь и, увидев множество прислуживающих дам, принялся молча их разглядывать. Из-за того, что дует такой сильный ветер, ширмы сложены и убраны, поэтому внутренние покои видны как на ладони. Там сидит женщина, которую ни с кем не спутаешь.

Благородно-изящная, словно излучающая чудесное сияние, она кажется прекрасной цветущей вишней, вдруг возникшей перед взором из весенней предутренней дымки (240). Юноша стоит, не в силах оторвать глаз от этого чудесного видения, у него такое чувство, будто и на его лицо ложится отсвет ее несравненной, чарующей красоты.

Прислужницы, силясь справиться с рвущимися из рук занавесями, видя, чем-то рассмешили госпожу: лицо ее освещается улыбкой, отчего становится еще прекраснее.

Тревожась за судьбу цветов, госпожа не может оторвать взор от сада и не спешит уйти в глубину покоев. Окружающие ее прислужницы весьма милы, но юноша смотрит только на госпожу. Ему становится понятно, почему министр не позволяет ему приближаться к ней. Любо, увидевший ее, неизбежно окажется во власти ее красоты, и, будучи человеком предусмотрительным, отец боится, как бы чего не случилось... Оставаться здесь дольше опасно, и юноша поспешно отходит. Но тут раздвигаются перегородки, отделяющие западные покои, и появляется сам министр.

— Какая страшная буря! Опустите же решетки! В доме полно мужчин, а покои просматриваются насквозь, — пеняет он дамам.

Юноша еще раз заглядывает внутрь и видит, как министр, улыбаясь, разговаривает с госпожой. Трудно себе представить, что этот совсем еще молодой, красивый человек — его отец. Женщина тоже в самом расцвете красоты. Право, нельзя без умиления смотреть на эту поистине совершенную пару.

Внезапно сильный порыв ветра срывает решетку. Испугавшись, что его заметят, юноша спешит отойти. Затем покашляв, словно только что пришел, проходит на галерею.

— Вот видите, а вы сидели здесь на виду, — говорит Гэндзи и только теперь спохватывается. — А ведь и боковая дверь, кажется, открыта...

«Я никогда и мечтать не смел... — думает Тюдзё. — Не зря говорят, что ветер способен сдвинуть самую неприступную скалу. Одного порыва было достаточно, чтобы повергнуть в смятение сердца обычно столь предусмотрительных особ и предоставить мне такую редкую возможность».

Тут приходят слуги.

— Нет никаких надежд, что ветер стихнет.

— Здесь-то довольно спокойно, дует с северо-восточной стороны.

— Опасность грозит прежде всего площадке для верховой езды и южному павильону Для рыбной ловли, — говорят они, озабоченно хлопоча.

— Откуда пожаловал? — спрашивает министр, обращаясь к Тюдзё.

— Я был в доме на Третьей линии, — отвечает юноша, — но, узнав, что ожидается ураган, встревожился и поспешил сюда. Впрочем, боюсь, что там еще хуже, чем здесь. Старая госпожа стала совсем беспомощной и, как дитя малое, дрожит от страха при каждом порыве ветра. Поэтому с вашего позволения я снова отправлюсь туда.

— Разумеется, иди скорее. Старики — они все такие, хотя, увы, никто не молодеет с годами, — говорит министр. Ему очень жаль старую госпожу, и он передает ей через юношу:

«Такая страшная разыгралась непогода, но когда рядом с вами Тюдзё... Позволю себе положиться на него во всем...»

И, хотя по дорогам гулял ветер, противостоять которому было трудно...

Будучи юношей весьма добросовестным, Тюдзё часто навещает и на Третью, и на Шестую линии. Разумеется, в дни «удаления от скверны» ему приходится оставаться во Дворце, но в остальное время, даже в самое спокойное, когда участие в делах правления или подготовка к дворцовым празднествам почти не оставляют ему досуга, он все равно сначала заезжает к Великому министру, потом к госпоже Оомия и только потом отправляется во Дворец.

А уж тем более сегодня, когда бушует такая непогода. Словно желая опередить ветер, Тюдзё спешит из одного дома в другой и обратно, проявляя поистине трогательную заботливость.

Госпожа Оомия радостно встречает внука, на которого единственно и упоает теперь.

— За всю жизнь ни разу не видывала такого урагана, — говорит она, дрожа дрожа от страха, — а ведь лет мне уже немало.

Слышно, как с устрашающим треском ломаются ветви огромных деревьев.

— Как я рада, что вы здесь! Этот ветер готов сорвать всю черепицу с крыши.

Дом на Третьей линии давно уже утратил прежний блеск, и, кроме внука, старой госпоже не на кого опереться. Увы, все так переменчиво в этом мире... Впрочем, люди и теперь относятся к госпоже Оомия с величайшим почтением, и когда бы министр Двора не пренебрегал ею...

Всю ночь напролет юноша, не смыкая глаз, с безотчетной тоской прислушивался к завываниям ветра. Его думы беспрестанно обращались к чудесному видению, представшему сегодня перед его взором, он не вспоминал даже о той, которая до сих пор была единственным предметом его помышлений. «Что это со мной? Как бы сердцем моим не завладело непозволительное чувство. Страшно даже подумать...» — Он старался придать своим мыслям иное направление, однако образ госпожи неотступно преследовал его. Да, равных ей не было в прошлом и не будет в будущем. Как могла оказаться рядом с ней обительница Восточных покоев? Как жаль ее! Они же несравнимы! Только теперь узнал он меру великодушия министра.

Тюдзё был благонравным юношей и никогда не позволял себе помышлять о недостойном, но в ту ночь он не мог думать ни о чем другом. «Если уж брать жену, то только похожую на госпожу Весенних покоев. Воистину счастлив человек, имеющий возможность наслаждаться такой красотой и днем и ночью! Его жизнь, несомненно, окажется более долгой, хотя никто из нас не вечен...»

К утру ветер стих и полил сильный дождь.

Пронесся слух, что в доме на Шестой линии рухнули некоторые хозяйственные постройки. «Вероятно, во время урагана все собрались вокруг Великого министра и остальные покои опустели, — подумал Тюдзё. — Усадьба так велика, так много крыш вздымается за ее оградой. Представляю себе, как безлюдно и одиноко теперь в Восточных покоях». Встревоженный, он поспешил вернуться, не дожидаясь рассвета.

Лил холодный косой дождь. Над головой нависало мрачное небо, а мысли юноши блуждали далеко... Смутная тоска владела его душой. «Что со мной? — недоумевал он. — Неужели сердце снова лишилось покоя? Нет, невозможно! Право, это граничит с безумием». Истерзанный подобными мыслями, он прошел в Восточные покои, и, найдя их обительницу совершенно изнемогшей от страха, принялся утешать ее, как мог.

Призвав слуг и распорядившись, чтобы они привели все в порядок, Тюдзё перешел в Южные покои, но там еще не поднимали решеток. Прислонившись к перилам, юноша окинул взором сад: многие деревья вырваны с корнем, на земле валяются сломанные ветки. О цветах нечего и говорить — повсюду разбросаны куски коры, осколки черепицы, части развалившихся ширм и загорожок... Но вот первые робкие солнечные лучи осветили тревожно затихший сад, и на листьях заблестала роса. Взглянув на небо, затянутое унылым туманом, юноша почувствовал, что по щекам его текут беспричинные слезы, и, украдкой смахнув их, покашлял, извещая о своем приходе.

— А, это, наверное, Тюдзё. Как рано, ведь еще совсем темно... — доносится до него голос министра, судя по всему поднимающегося с ложа. Что говорит госпожа в ответ, разобрать не удастся, слышно только, как смеется министр.

— Вы ведь у меня не приучены к расставаниям на рассвете. Сегодня вам придется узнать, что это такое. Право, тяжелое испытание!

Юноша с любопытством прислушивается. Ответов госпожи не слышно, но шутивно-ласковый тон министра позволяет судить о том, сколь прочен этот союз.

Скоро Гэндзи собственноручно поднимает решетку, и юноша почтительно отходит в сторону.

— Что же, обрадовалась вчера госпожа Оомия?

— О да! В последнее время она плачет по любому поводу, и мне ее искренне жаль.

— Увы, старой госпоже недолго осталось жить в этом мире, — улыбнувшись замечает министр. — Надеюсь, ты сумеешь позаботиться о ней. В последнее время министр Двора явно пренебрегает ею, и это не может не удручать ее. Министр всегда отличался любовью ко всему показному и излишней твердостью нрава, даже выполняя сыновний долг, он исходит прежде всего из желания пустить пыль в глаза и внешней почтительностью пытается возместить недостаток подлинных чувств. Вместе с тем нельзя не признать его многочисленные достоинства. Он обнаруживает необыкновенные дарования, и боюсь, что наш жалкий век, приближающийся к концу, не достоин его великой учености. Можно сердиться на него, но следует помнить, что он куда совершеннее многих. Какой страшный ураган! Надеюсь, что о Государыне-супруге есть кому позаботиться? — И он вручает юноше письмо.

«Не испытал ли Вас шум ветра сегодня ночью? Как раз во время бури разыгралась моя старая болезнь, потому-то я и медлю...» — вот что там написано.

Спустившись с галереи, Тюдзэ через дверь на срединной галерее проходит в покои Государыни.

В слабом свете занимающегося утра изящная фигура юноши кажется особенно прекрасной. Остановившись у южной стены Восточного флигеля, он устремляет взгляд на главные покои. Две решетки подняты, занавеси, поскольку еще только начинает светать, подобраны кверху, и в проемах видны фигуры дам.

Многие молодые прислужницы сидят на галерее, прислонившись к перилам. Облаченные в разноцветные домашние платья они, все без исключения, кажутся прелестными в неясном сумеречном свете, хотя кто знает, что бы сказал юноша, увидев их вблизи.

Государыня изволила послать девочек-служанок в сад, велев им напоить росой сидящих в корзиночках цикад. Девочки одеты в платья осенних тонов — бледно-лиловые, алые, темно- и светло-пурпурные — и желто-зеленые накидки-кадзами. Небольшими стайками снуют они по саду с разноцветными корзинками в руках, подбирают сломанные безжалостным ветром гвоздики и подносят их госпоже. Нельзя оторвать глаз от их прелестных фигурок, мелькающих в утреннем тумане.

Ветер, дующий со стороны покоев, напоен чудесным ароматом. «Неужели здесь даже астры-сион благоухают все до единой? Уж не оттого ли, что Государыня коснулась их рукавом?» (380) — подумал юноша, и сердце его затрепетало. Не желая смущать прислуживающих госпоже дам, он тихонько покашлял, дабы оповестить о своем присутствии, и двинулся по направлению к дому. Прислужницы, не выказывая, впрочем, особого смущения, поспешили скрыться. Они привыкли к Тюдзэ и не сторонятся его, ведь, когда их госпожу отдали во Дворец, он был совсем еще ребенком и часто наведывался в ее покои. Передав Государыне послание министра, юноша задерживается, чтобы поболтать с дамами, среди которых заметил своих давних приятельниц: госпожу Сайсё, госпожу Найси и других.

В покоях Государыни каждая мелочь нѳсит на себе отпечаток тонкого вкуса, сразу видно, что здесь живет высокая особа, и от невольнѳ нахлынувших воспоминаний сердце юноши томительно сжимается.

Между тем в Южных покоях уже подняли решетки, и министр с супругой взирают на цветы, которых судьба так тревожила их прошлой ночью. Увы, где их бывала красота? Поблекшие и смятые, лежат они на земле. Остановившись у лестницы, Тюдзѳ передает министру ответ Государыни.

«Я чувствовала себя такой беспомощной прошлой ночью и так ждала, что Вы придете и защитите меня от неистового ветра... Но теперь сердце мое утешилось...»

— Так, Государыня всегда была слишком робкой. В такую ночь остаться с одними прислужницами... Разумеется, ее обидело мое невнимание.

И министр решил отправиться к ней немедленно. Когда он поднимал занавеси, чтобы пройти во внутренние покои и переодеться там в носи, Тюдзѳ успел заметить, что из-за стоящего неподалеку невысокого занавеса выглядывают концы рукавов. «Это госпожа!» — подумал он, и сердце его так громко забилося: «тук-тук-тук», что он смутился и поспешил отвести глаза в сторону.

— Как хорош наш Тюдзѳ в этот утренний час! — устраиваясь перед зеркалом, говорит госпоже министр. — Совсем дитя, а взгляните, с каким достоинством держится. Впрочем, вполне вероятно, что я просто «блуждаю во мраке» (3).

Его собственное лицо — в чем он имеет возможность еще раз убедиться — все так же прекрасно, словно время не властно над ним

— Встречаясь с Государыней, я неизменно ощущаю ее превосходство, — говорит министр, озабоченно разглядывая себя в зеркале. — Вроде бы внешне ее утонченность никак не проявляется, но в ней столько внутреннего благородства, что невольно робеешь. Она очень кротка, женственна, и при этом есть в ней нечто особенное...

Совсем уже собравшись уходить, министр вдруг обратил внимание на сидящего на галерее Тюдзѳ, который так глубоко задумался, что даже не заметил его. Будучи человеком проницательным, министр скорее всего догадался... Немедленно вернувшись, он спросил госпожу:

— Не мог ли Тюдзѳ увидеть вас во время вчерашнего переполоха? Ведь дверь была открыта...

Госпожа, покраснев, отвечала:

— Что вы, быть того не может! Во всяком случае мы не слышали, чтобы кто-то проходил по галерее...

— И все-таки странно... — пробормотал министр и вышел.

В покоях Государыни министр прошел за занавеси, а Тюдзѳ, заметив, что у входа на галерею собрались дамы, затеял с ними шуточный разговор, но мысли, одна печальнее другой, теснились в его голове, и показался он им задумчивее обыкновенного.

Расставшись с Государыней, министр перешел в Северные покои.

В саду перед покоями госпожи Акаси нет ни одного человека, сколько-нибудь похожего на служителя Домашней управы, повсюду снуют лишь бойкие служанки. Девочки, облаченные в прелестные домашние платья, поднимают поваленные ветром загородки, возле которых растут столь любимые госпожой горечавки и выюнки «утренний лик».

Сама госпожа Акаси сидит у выхода на галерею и, печально взирая вокруг, перебирает струны кото «со». Услышав голоса передовых, она поспешно снимает с вешалки верхнее платье и набрасывает его поверх мягкого домашнего одеяния — подобное стремление подчеркнуть незначительность собственного положения не может не вызывать восхищения. Присев рядом, Гэндзи спрашивает лишь о том, как перенесла она бурю, и, не задерживаясь, уходит. Расстроенная его невнимательностью, женщина произносит, будто про себя:

— Быстрый ветер
Пронесся, коснувшись слегка
Листьев мисканта,
Но опять лишь в моей душе
Его шум отозвался печалью...

Девушка из Западного флигеля, всю ночь не смыкавшая глаз от страха, поднялась позднее обыкновенного и теперь прихорашивается перед зеркалом.

Призвав своих спутников к молчанию, министр неслышно проскальзывает за занавеси. В покоях царит беспорядок, ширмы сложены и сдвинуты в сторону, солнечные лучи беспрепятственно проникают внутрь, и в их ярком свете красота девушки кажется просто ослепительной.

Приблизившись, Гэндзи сетует на бурю, даже ее используя как предлог для обычных своих заигрываний, весьма для нее мучительных. «Ах, как это неприятно, просто невыносимо!» — думает она и говорит сердито:

— Слушать вас слишком тяжело, я начинаю жалеть, что ветер не унес и меня.

Добродушно улыбнувшись, министр отвечает:

— А не кажется ли вам легкомысленным подобное желание? Впрочем, может быть, вы уже наметили, куда полетите? Не слишком ли часто вы задумываетесь над этим в последнее время? Что ж, ничего другого и ожидать невозможно...

Поняв, что, сама того не желая, выдала ему свои сокровенные мысли, девушка тоже улыбается, отчего лицо ее становится еще пленительней. Сквозь ниспадающие волосы видны щеки — округлые и румяные, словно «китайские фонарики»*. Улыбающиеся глаза сияют, пожалуй, слишком ярко, и это несколько умаляет благородство ее черт, но во всем остальном она — само совершенство.

Пока министр беседовал с девушкой, Тюдзё, которого давно уже преследовала мысль: «Ах, вот бы получше ее разглядеть!» — тихонько приподнял занавеси и заглянул внутрь. За занавесями, отделявшими внутренние покои от передних, стоял еще и переносной занавес, но он оказался небрежно сдвинутым в сторону. Все, что могло помешать взору, было убрано, и покои просматривались насквозь.

То, что он увидел, поразило его крайне. Разумеется, девушка была дочерью министра, но какой отец позволил бы себе так нежно прижимать к груди совсем уже взрослую дочь? Удивление Тюдзё было столь велико, что он смотрел не отрываясь, пренебрегая опасностью быть замеченным.

Девушка сидит за столом боком к нему, и, когда министр притягивает ее к себе, волосы тяжелой волной падают ей на лицо. Она явно тяготится

его близостью, и тем не менее покорно льнет к нему. Очевидно, такие отношения для них совершенно привычны.

«Невероятно! — подумал юноша, смущенный увиденным. — Как это понимать? Остается предположить, что отец, не оставляющий без внимания ни одной женщины, не смог устоять и перед собственной дочерью, тем более что она с раннего детства воспитывалась вдали от него. Пожалуй, только такое объяснение и возможно. И все же как это неприятно!»

Скорее он сам мог поддасться соблазну: ведь хотя девушка и считается его сестрой, они не единоутробные, да и выросли разное. Конечно, ей далеко до госпожи, которой красота так поразила его вчера, но по-своему и она очень привлекательна. Никто не удержался бы от улыбки, на нее глядя. Словом, госпожа имеет в ее лице вполне достойную соперницу. При виде девушки из Западного флигеля невольно вспоминаются вечерние сумерки, когда роса озаряет своим блеском пышные соцветия керрий...

Да, именно такое сравнение пришло в голову Тюдзё, даром что оно не соответствовало времени года. Впрочем, стоит ли вообще сравнивать женщин с цветами, ведь красота цветов весьма относительна, у них, к примеру, бывают уродливые мохнатые тычинки...

Дам поблизости нет. Тюдзё видит, как министр, что-то нежно нашептывающий девушке, вдруг, непонятно почему, поднимается, и лицо его принимает строгое выражение. А девушка говорит:

— Безжалостный ветер
Все вокруг разметал-развеял,
Девичья краса,
Поникла бессильно, кажется —
Вот-вот расстанется с жизнью...

Она говорила тихо, но юноша слышал, как министр повторил ее песню. Возмущение боролось в душе Тюдзё с любопытством, он предпочел бы остаться и увидеть все до конца, но, побоявшись, что его заметят, поспешил отойти.

А вот как ответил министр:

— Когда б покорилась
Росе, невидимой взорам,
Девичья краса,
Самый неистовый ветер
Не сумел бы ее погубить.

Взгляните хотя бы на гибкие ростки бамбука...

Разумеется, юноша мог и ослышаться, но, так или иначе, ответ Гэндзи вряд ли заслуживает одобрения.

Из Западного флигеля министр переходит в Восточный. Пожилые дамы, очевидно напуганные внезапными холодами, занимаются шитьем, а молодые прислужницы, разложив вату на каких-то узких ларцах, старательно расправляют ее руками. Рядом — прекрасная кисея цвета опавших листьев, отливающий несравненным глянцем шелк модного цвета...

— Должно быть, вы готовите новое платье для Тюдзё? — спрашивает Гэндзи. — Увы, даже пиршество в Западном саду будет судя по всему отме-

нено. Да и на что можно надеяться после того, как буря разметала все вокруг? Наверное нас ждет весьма унылая осень.

Разноцветные ткани — сразу и не поймешь, для чего предназначенные, — удивительно хороши. «Да, в этом она не уступит и госпоже из Южных покоев...» — невольно думает министр.

Для его собственного платья приготовлен шелк с цветочным орнаментом, на редкость умело окрашенный в бледные тона соком недавно сорванных цветов.

— Такое платье больше подойдет Тюдзэ. Я слишком стар для него, — с этими словами Гэндзи выходит.

Тюдзэ был крайне раздосадован необходимостью сопровождать министра, пока тот навещал всех этих особ, не представлявших для юноши равно никакого интереса. Он должен был написать несколько писем, а солнце стояло уже довольно высоко. Весьма озабоченный, Тюдзэ прошел в покои маленькой госпожи.

— Она еще не вернулась из Южных покоев. Бедняжка так испугалась бури, что утром никак не могла подняться, — сообщает ему кормилица.

— Да, тяжелая выдалась ночь. Я намеревался провести ее здесь, но госпожа Оомия была сама не своя от страха. А что наш кукольный дворец? Цел? — спрашивает Тюдзэ, и дамы смеются.

— Госпожа ведь не дает и веером рядом взмахнуть, а сегодня ночью дул такой ветер, что казалось: еще миг — и все разлетится. Мы просто не знали, что с этим дворцом делать, — рассказывают они.

— Найдется ли у вас лист простой бумаги? И тушечница... — просит юноша, и дамы, достав из шкафчика госпожи несколько листов бумаги, подносят ему на крышке от тушечницы.

— О, эта слишком хороша... Могу ли я позволить себе... — говорит он, но, вспомнив о низком звании госпожи из Северных покоев, решает, как видно, что стесняться особенно нечего, и принимается за письма.

Бумага тонкая, лиловая. С непередаваемым изяществом Тюдзэ усердно растирает тушь, осматривает кончик кисти и старательно пишет, время от времени приостанавливаясь в раздумье. Однако он слишком большое внимание уделяет форме, и это делает его песню довольно скучной:

«Ветер бушует,
Тучи блуждают по небу,
Но ни на миг
Не забываю тебя я,
Да и могу ли забыть?»

Заметив, что он привязывает письмо к сломанному ветром тростниковому стеблю, дамы говорят:

— А вот Катано-но сёсэ* всегда учитывал цвет бумаги...

— О, такие тонкости не для меня! Где, в каких лугах найдешь теперь подходящие цветы?

Даже с прислужницами Тюдзэ крайне немногословен, не позволяет себе никаких вольностей, держится степенно и с достоинством. Написав еще одно письмо, он передает оба Мума-но сукэ, который, в свою очередь, вручает одно прелестному мальчику-слуге, а другое — опытному телохра-

нителю, шепотом дав каждому соответствующие указания. Дамы теряются в догадках.

Тут проходит слух, что маленькая госпожа возвращается, и дамы принимаются хлопотать, поправляя занавес и приводя в порядок покои. Юноше очень хочется сравнить девочку с недавно увиденными цветами, поэтому он, хотя это вовсе не в его правилах, нарочно задерживается и, спрятавшись за шторой, прикрывающей боковую дверь, глядит сквозь щелку переносного занавеса.

Вот откуда-то появляется маленькая госпожа, но, к его величайшей досаде, вокруг суетятся дамы, и как следует разглядеть ее не удается.

На ней светло-лиловое платье, не очень еще длинные волосы веером рассыпаются по плечам. Она хрупка, нежна и трогательно-прелестна. «Как она выросла и похорошела с прошлого года, — думает он. — Можно себе представить, какой она станет, когда достигнет расцвета».

Если госпожу Мурасаки считать цветущей вишней, а девушку из Западного флигеля — керрией, то маленькую госпожу можно назвать глицинией. В самом деле, лишь ниспадающие с высокого дерева и колеблемые ветром кисти глициний под стать ее чарующей красоте.

«О, когда б я мог и днем и ночью любоваться этими прелестными особами, — думает юноша. — Досаднее всего, что при нашем родстве в этом нет ничего невозможного. Если б господин министр не воздвиг меж нами столь непреодолимой преграды...» И томительное беспокойство овладевает его сердцем, столь далеким прежде от легкомысленных помышлений.

Когда Тюдзэ приехал в дом на Третьей линии, там было тихо, а госпожа Оомия, уединившись в моельне, творила обряды. Среди ее прислужниц немало весьма миловидных молодых особ, но ни по манерам, ни по изысканности нарядов они не выдерживают никакого сравнения с обитательницами дома на Шестой линии. Впрочем, присутствие монахинь в скромных, но изящных серых платьях вполне отвечает духу этого печального жилища, сообщая ему особое очарование. В тот день в дом на Третьей линии приезжает еще и министр Двора, поэтому в покоях зажигают светильники, и старая госпожа выходит, чтобы побеседовать с сыном.

— О, как жестоко не давать мне так долго видеться с внучкой! — жалуется она, не переставая плакать.

— Я привезу ее к вам на днях. Она все печалится в последнее время и очень осунулась. Мне жаль ее, хотя она сама виновата... Ох уж эти дочери — откровенно говоря, лучше их вовсе не иметь. С ними одни заботы, — говорит министр, и, видя, что он так и не смягчился, старая госпожа совсем падает духом и не решается настаивать.

— У меня появилась еще одна дочь, но и она слишком далека от совершенства. Вы и представить себе не можете, сколько с ней хлопот, — улыбается, жалуется министр.

— Вот странно! Чтобы ваша дочь оказалась в чем-то несовершенной? Этому невозможно поверить!

— И, тем не менее, это так. Отсюда все мои горести. Когда-нибудь я покажу ее вам, — говорит министр старой госпоже.

Во всяком случае, так мне передавали...



ВЫСОЧАЙШИЙ ВЫЕЗД

Основные персонажи

Великий министр (Гэндзи), 36–37 лет

Девушка из Западного флигеля (Тамакадзура), 22–23 года — дочь Югао и министра Двора, приемная дочь Гэндзи

Госпожа Южных покоев, госпожа Весенних покоев (Мурасаки) — супруга Гэндзи

Государь (Рэдзэй) — сын Фудзицубо и Гэндзи (официально — сын императора Кирицубо)

Министр Двора (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

Принц Хёбукё (принц Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

Удайсё (Хигэкуро) — поклонник Тамакадзура

Старая госпожа (госпожа Оомия) — мать Аои и министра Двора

Тюдзё (Югири), 15–16 лет — сын Аои и Гэндзи

То-но тюдзё (Касиваги), 20 (21)–21 (22) года — сын министра Двора

Бэн-но сёсё (Кобай) — сын министра Двора

Нёго Кокидэн — дочь министра Двора, наложница императора Рэйдзэй

Госпожа Оми — побочная дочь министра Двора

ИТАК, Великий министр, сосредоточив на девушке из Западного флигеля все свои попечения, постоянно размышлял над тем, как лучше распорядиться ее будущим. Вместе с тем «водопад Безмолвный» (241) все не иссякал, заставляя его с одной стороны испытывать жалость к девушке, а с другой — осознавать шаткость собственного положения. Не исключено, что могут сбыться худшие опасения госпожи Весенних покоев, и по миру пойдет дурная молва.

«Министр Двора обладает крайне вспыльчивым нравом и нетерпим к любым человеческим слабостям, — думал он. — Узнав правду, он, не вникая в подробности, станет

открыто обращаться со мной, как с зятем, сделав имя мое предметом для насмешек и оскорблений».

На Двенадцатую луну был назначен Высочайший выезд в Охарано*, и мог ли кто-нибудь остаться в стороне от этого события? Из дома на Шестой линии тоже выехало множество карет с дамами, желающими полюбоваться столь редким зрелищем. В стражу Зайца высочайшая процессия покинула Дворец, проехала через ворота Судзаку и, достигнув Пятой линии, свернула к западу.

До самой реки Кацура нет ни клочка земли, свободного от карет. Обычно церемония Высочайшего выезда не представляет собой ничего примечательного, но на этот раз принцы и юноши из знатных семейств уделили особое внимание коням и сбруе... Их приближенные и пешие телохранители, подобранные по росту и миловидности, блистают роскошными нарядами. Словом, свет не видывал подобного великолепия.

Государю сопутствуют Левый, Правый министры и министр Двора, все без исключения советники, не говоря уже о лицах более низкого звания. Придворные, включая особ Пятого и Шестого рангов, одеты в зеленые верхние платья и светло-лиловые нижние.

В воздухе кружится легкий снежок, даже погода сегодня стоит на диво прекрасная.

Принцы и вельможи, которым предстоит участвовать в соколиной охоте, щеголяют в редкой красоты охотничьих нарядах. Но еще замечательнее фигуры сокольничих из шести отрядов охраны, их дикий платя с причудливыми узорами вызывают всеобщее восхищение. Столь редкое зрелище привлекло внимание многих, и люди соперничали за право занять лучшие места, вследствие чего у некоторых невзрачных и ветхих карет, принадлежащих никому не известным дамам, сломались колеса, и они имеют весьма жалкий вид. Пышно украшенные кареты знатных особ в поисках места кружат по берегу у самого Плавучего моста*.

Посмотреть на церемонию приехала и юная госпожа из Западного флигеля. Разглядывая придворных, старающихся затмить друг друга роскошью нарядов, она приходит к выводу, что никто из них не может сравниться с Государем, облаченным в красное платье, величественно прекрасным в своей неподвижности.

Украдкой переводит она взгляд на своего отца, министра Двора. Его яркая, мужественная красота в самом расцвете, и все же как ограничены его возможности! Обычный человек, хотя и превосходящий многих. Да, только на высочайший паланкин и стоит смотреть.

А уж все эти То-но тюдзё, Бэн-но сёсё и другие придворные, от которых без памяти ее молодые дамы, целыми днями вздыхающие: «Ах, как он красив! Какое неповторимое изящество!» — и вовсе затмились перед Государем, настолько несравненная его красота.

При поистине невероятном сходстве с Великим министром он едва ли не превосходит последнего — правда, не исключено, что девушка была слишком пристрастна, — благородством черт и величественностью осанки. Так, равного ему нет в мире!

Привыкнув видеть рядом красивые лица Великого министра и Тюдзё, юная госпожа укрепила в мысли, что все благородные люди хороши собой

и отличаются прекрасными манерами, и теперь испытывала немалое разочарование. Совсем другие лица, причем едва ли не уродливые! Да, как это ни печально, перед подобной красотой все меркнет...

А вот и принц Хёбукё. Удайсё, всегда такой важный, внушительный, сегодня явился в роскошном одеянии с колчаном за спиной, но смотреть на него неприятно — такой он смуглый, да и борода чрезмерно густая...

Впрочем, вправе ли мы требовать, чтобы лицо мужчины походило на набеленное и нарумяненное женское личико? Желать этого в высшей степени неразумно, и тем не менее девушка была разочарована. Но если раньше она конфузилась, когда Великий министр предлагал ей поступить на придворную службу — мол, слишком неожиданно, да и страшновато — вдруг окажешься в смешном положении, — то теперь начала склоняться к мысли, что и в придворной службе есть свои преимущества, ведь она будет часто видеть Государя, от высочайших же милостей можно держаться в стороне, оставаясь самой обычной прислужницей...

В скором времени процессия прибыла в Охарано, и Государь велел остановиться.

Вельможи расположились под раскинутыми тут же навесами, чтобы, подкрепившись немного, переодеться в охотничьи платья. Скоро появились посланцы из дома на Шестой линии с разнообразными винами и яствами. Государь не раз предлагал Великому министру сопутствовать ему, но тот отказался, объяснив, что ему предписано «удаление от скверны». Тогда Государь послал к нему Саэмон-но дзё с парой привязанных к ветке фазанов.

Каково было содержание высочайшего послания? Не считая для себя возможным приводить его целиком, ограничусь песней:

«Почему бы сегодня
В глубоком снегу на склонах
Горы Осио*
Не поискать фазаньи следы —
Память о славном прошлом?...» (242)

Наверное, и в самом деле кому-то из великих министров случилось сопутствовать Государю при подобном выезде...

Гэндзи принял гонца почтительно.

«Множество раз
Снег ложился на склоны,
Горы Осио,
Но столь глубоких следов
Под соснами не оставалось».

Кажется, он ответил именно так, но я могу и ошибиться, ибо в памяти моей сохранились лишь отрывочные воспоминания об услышанном в те времена.

На следующий день Великий министр отправил юной госпоже из Западного флигеля следующее послание:

«Видели ли Вы Государя? Не возникло ли у Вас желания принять мое давнее предложение?»

Письмо было написано довольно небрежно на небольшом листке белой бумаги. Оно показалось девушке очень изящным, тем более что не содержало обычных многозначительных намеков. «Какая нелепость!» — засмеялась она, прочтя письмо, но про себя подумала: «Удивительная проницательность!» Вот как она ответила:

«Вчера

Все терялось вокруг
В утренней снежной мгле,
И разве могла я
Сквозь нее разглядеть сиянье
Недоступно высоких небес?

Увы, никакой ясности...»

Письмо прочла и госпожа Весенних покоев.

— Я не раз предлагал юной госпоже поступить на придворную службу, — говорит министр. — Правда, обстоятельства складываются не очень благоприятно, ибо Государыня-супруга тоже из нашего дома. Разумеется, я мог бы сообщить о ней министру Двора, но боюсь, он опять обидится, припомнив мне тот давний случай с нёго. Я уверен, что любой женщине, коль скоро ничто не мешает ей прислуживать Государю, достаточно хотя бы мельком увидеть его, чтобы возыметь желание поступить на придворную службу.

— Ах, что вы говорите! Как ни велики совершенства Государя, но самой стремиться во Дворец... Не может быть! — улыбается госпожа.

— Убежден, что вы первая не устояли бы перед ним, — замечает министр и пишет юной госпоже такой ответ:

«Сиянье небес
Столь чисто и столь беспредельно.
Может ли быть,
Что твои глаза затуманил
Этот случайный снег?

Решайтесь же...»

Понимая, что в любом случае следует прежде всего справить обряд Надевания мо, министр занялся соответствующими приготовлениями.

Участие Великого министра, вне зависимости от его собственного желания, неизменно сообщало пышность и блеск любой церемонии. А на этот раз он лично следил за приготовлениями, заранее позаботился о том, чтобы была подобрана изящнейшая утварь, — словом, явно старался придать предстоящей церемонии невиданный размах. Отчасти это объяснялось тем, что он предполагал, воспользовавшись случаем, открыть тайну своей воспитанницы министру Двора.

Церемонии было намечено провести на Вторую луну Нового года.

Женщина, живущая в доме отца, даже если ее положение в мире достаточно высоко и она не имеет нужды скрывать свое имя, может и не посещать открыто храмы родовых богов. Потому-то министру и удавалось до сих пор сохранять в тайне истинное происхождение своей питомицы. Однако, если его замыслы осуществляются, боги Касуга сочтут себя обиженными*. Да и люди не вечно же будут оставаться в неведении. В конце концов

Гэндзи наверняка обвинят в злонамеренности, и по миру пойдет дурная молва. «Простым людям случается менять имя, в наши дни это довольно распространенное явление... — размышлял Гэндзи. — И все же узы между родителями и детьми неразрывны... Что ж, лучше я откроюсь ему сам».

Решившись, он послал министру Двора письмо с просьбой взять на себя обязанности Завязывающего пояс. Однако тот ответил отказом, сославшись на тяжелое состояние госпожи Оомия, которая, занемогши зимой, так до сих не оправилась.

Тюдзё тоже неотлучно находился в доме на Третьей линии и был целиком поглощен заботами о больной — словом, обстоятельства складывались весьма неблагоприятно. Великий министр был в замешательстве. Мир столь изменчив... А вдруг госпожа Оомия скончается? Девушка должна будет надеть одеяние скорби, если же она не сделает этого, ее ждет наказание в будущем. «Надобно открыть истину, пока жива старая госпожа», — решил министр и отправился в дом на Третьей линии якобы для того, чтобы проведать больную.

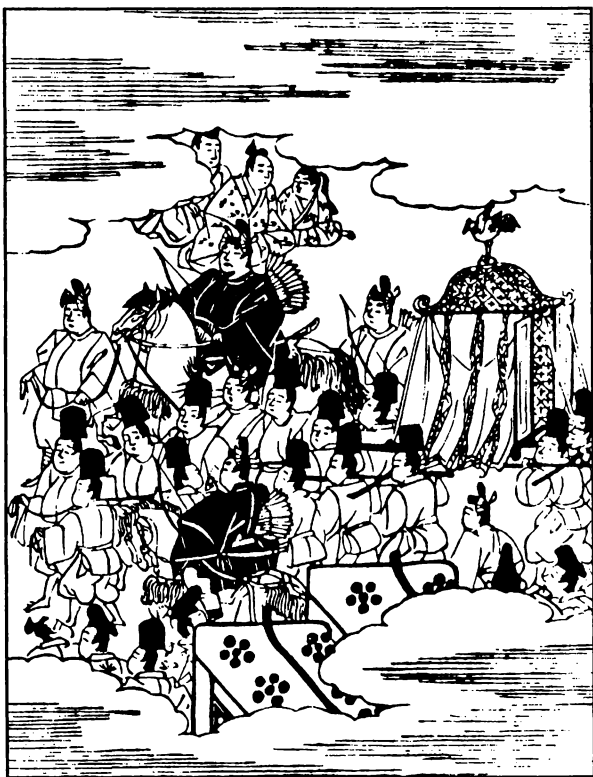
Как ни старался Великий министр не привлечь к себе внимания, его выезд по пышности не уступал государеву. Во всем блеске своей красоты предстал он перед госпожой Оомия, и она не могла отвести от него восхищенного взора — право, свет не видывал ему подобного. Она даже забыла на время о своих недугах и поднялась с ложа. Превозмогая слабость, сидела, опираясь на скамеечку-подлокотник, но голос ее звучал весьма отчетливо.

— Рад, что вам не так уж и плохо, — говорит министр. — А то некий молодой человек, сам потеряв голову от беспокойства, поселил тревогу и в моем сердце, я не знал, что и думать. С недавних пор я бываю во Дворце лишь в исключительных случаях. Большую же часть времени, как человек, не обремененный государственной службой, провожу в своем доме, томясь от непривычной праздности. Я знаю, что порой люди куда старше меня принимают ревностное участие в делах правления и, «согнувшись почтительно, в высочайшие входят ворота»*. Тому есть примеры и в прошлом, и в настоящем. Но, увы, я никогда не отличался особыми талантами, а теперь еще и лень одолела...

— Мне давно уже неможется, но я полагаю, это просто от старости. Когда же наступил нынешний год, стало ясно — близок крайний срок моей жизни, и мысль о том, что я никогда больше не увижу вас, приводила меня в отчаяние. Но сегодня... Ах, мне словно продлили жизнь! В моем возрасте обычно расстаются с миром без особого сожаления. Я всегда сочувствовала тем, кто, пережив всех близких, обречен на одинокую старость, и в последнее время мысли мои целиком заняты приготовлениями к последнему пути. Но стоит посмотреть на Тюдзё, который столь неутомим и трогателен в своих попечениях, и я чувствую, что многое еще привязывает меня к этому миру. Вот я и задержалась здесь... — говорит она, плача, и голос ее дрожит.

Кому-то это могло бы показаться смешным, но ее слова не лишены оснований и вызывают невольное сочувствие. Беседа с госпожой Оомия о былом и настоящем, Гэндзи говорит между прочим:

— Полагаю, что господин министр Двора навещает вас каждый день. Я был бы чрезвычайно рад увидеть его сегодня. Мне хотелось бы сообщить ему нечто, но встретиться нам не так-то просто, и меня это тревожит...



— Увы, министр бывает здесь нечасто. То ли потому, что его обязанности при дворе не оставляют ему досуга, то ли потому, что не слишком глубоки его сыновние чувства. О чем же вы хотели говорить с ним? Кажется, у Тюдзё есть причины чувствовать себя обиженным? Не знаю, с чего все это началось, но иногда министр бывает с ним излишне резок, и я не раз говорила ему: «Не напрасно ли притворяться теперь, когда “молва разлетелась”?» (243). Или вы хотите, чтобы над нами все смеялись?» К сожалению, министр всегда был строптив, и мне не удалось убедить его, — говорит старая госпожа, решив, что Гэндзи имеет в виду...

Улыбнувшись, тот отвечает:

— Да, я тоже как-то осмелился намекнуть ему на свое желание, подумав — а вдруг он смирился и готов уступить, но дело кончилось тем, что он сурово отчитал Тюдзё, заставив меня пожалеть о своем вмешательстве. Говорят, от любой нечистоты можно очиститься. Не исключено, что господину министру и в самом деле удастся вернуть дочери незапятнанное имя... Но, по-моему, если поток загрязнен, никакая чистая вода не сделает его прозрачным. К тому же мир наш устроен так, что новое всегда хуже старого... Не скрою, меня огорчает непреклонность министра.

Впрочем, дело не в этом, а вот в чем. Случилось так, что ко мне в дом по ошибке попала особа, о которой полагалось бы заботиться министру Двора. Сначала никто не сказал мне, что это всего лишь недоразумение, а сам я не

особенно стремился узнать правду. Детей у меня мало, вот я и решил закрыть глаза на некоторые обстоятельства и опекать ее, стараясь по возможности не слишком приближать к себе. Между тем время шло, и однажды Государь — не знаю уж, откуда он узнал о ней, — изъявил желание взять ее во Дворец. «Нет у меня дамы, которая могла бы взять на себя обязанности главной распорядительницы, найси-но ками, — изволил посетовать он. — Дела отделения Дворцовых прислужниц в полном беспорядке, служащие там дамы пребывают в растерянности, не имея никого, кто направлял бы их действия. Разумеется, желавших занять это место было немало. Среди них две немолодые уже особы в звании найси-но сукэ и еще несколько дам, которых положение позволяет им притязать на подобное назначение. Однако ни одна не подошла. Главной распорядительницей по заведенному издавна обычаю может стать высокорожденная особа, обладающая незапятнанным именем и не обремененная заботами о собственном семействе. Причем исключительно одаренным особам не обязательно удовлетворять всем этим требованиям, особенно если они долго служили во Дворце и известны своими заслугами. Но в настоящее время таких тоже нет, поэтому и решили выбрать одну из благородных девиц, успевших снискать благосклонное внимание света».

Мог ли я пренебречь милостивым предложением Государя? Я полагаю придворную службу весьма высоким уделом для женщины вне зависимости от ее состояния. Нет ничего зазорного в желании прислуживать Государю, рассчитывая на те или иные его милости. Правда, служба в одном из ведомств, связанная с исполнением целого ряда обязанностей, куда менее почетна и довольно обременительна. Но всегда ли это так? В конечном счете все зависит от самой женщины. Короче говоря, я готов был принять предложение Государя и, имея это в виду, стал расспрашивать девушку о ее возрасте. Тут-то и выяснилось, что именно ее разыскивал министр Двора. Разумеется, я сразу же решил открыться ему, надеясь, что он подскажет мне, как найти выход из этого положения, но без особых на то оснований я не имею возможности даже встретиться с ним. Наконец, мне удалось отыскать подходящий предлог, но на мое приглашение он ответил отказом, сославшись на ваше нездоровье. Подумав, что время в самом деле неблагоприятное, я решил было отложить церемонию, но вижу теперь, что вам гораздо лучше, так стоит ли медлить? Благоволите же сообщить об этом господину министру.

— Как? Какая неожиданность! И это при том, что министр без возражений принимает всех, кто заявляет о своем родстве с ним. Неужели она не знала? Что заставило ее прибегнуть именно к вам?

— На то были свои причины. О подробностях я расскажу самому министру. Дело в том, что эта история связана с некоторыми обстоятельствами весьма неприятного свойства, какие нередко возникают в отношениях простых людей, потому-то я и хранил дело в тайне, опасаясь что по миру пойдут пересуды. Даже Тюдзэ ничего не знает. Не говорите же и вы никому.

Тем временем до министра Двора дошел слух, что в дом на Третьей линии приехал Гэндзи.

— У госпожи Оомия почти не осталось челяди, а Великий министр навряд ли окружен большой свитой, — всполошился он. — Сможет ли госпожа

обеспечить ему достойный прием? Боюсь, что слуг неостанет даже на то, чтобы принять передовых и устроить место для гостя. Тем более что с ним скорее всего и Тюдзё.

И министр Двора поспешил отправить в дом на Третьей линии своих сыновей и тех придворных, которые пользовались его особым доверием.

— Распорядитесь, чтобы подали плодов, вина, как положено, — сказал он. — Я бы и сам поехал, но, по-моему, лишний шум ни к чему.

Тут принесли письмо от госпожи Оомия.

«Министр с Шестой линии почтил меня своим посещением, но в доме пустынно и уныло. Это производит неприятное впечатление, и я в растерянности. Не согласитесь ли Вы приехать, как бы случайно, словно я и не посылала за Вами? Тем более, что господин министр, кажется, имеет желание поговорить с Вами лично».

«О чем же он хочет говорить? Может быть, Тюдзё опять жаловался на меня? — задумался министр Двора. — Старая госпожа, чувствуя приближение конца, постоянно просит за него. Если Великий министр решил замолвить словечко за сына в надежде добиться моего согласия, мне вряд ли удастся отказать ему. Досадно только, что сам Тюдзё не проявляет никакой заинтересованности. Пожалуй, будет лучше, если я при первой же возможности сделаю вид, что поддался на уговоры и готов разрешить их союз».

Представив себе, с каким единодушием старая госпожа и Великий министр станут уговаривать его, министр Двора принужден был признать, что дальнейшее сопротивление неразумно, но, как был он человеком недобрым и упрямым, мириться с поражением ему не хотелось: «Почему я должен уступать?» Однако, понимая, что, отказавшись приехать, он выказал бы неуважение как госпоже Оомия, которая весьма рассчитывала на него, так и Великому министру, явно желавшему с ним встречи, министр Двора, решив: «Поеду, а там видно будет», принарядился и, взяв с собой сравнительно небольшое число приближенных, отправился на Третью линию.

И вот он появляется в сопровождении молодых придворных — вид у него такой внушительный и надежный! Министр Двора высок ростом и статен, держится величаво, с достоинством, как и полагается знатному сановнику. На нем бледно-лиловые шаровары и нижнее платье цвета «вишня», сзади тянется длинный шлейф, поступь неторопливая, важная, сразу видно — перед вами муж во всем блеске славы.

Министр с Шестой линии одет более просто и непринужденно — на нем носи из тонкой китайской парчи цвета «вишня», накинутое поверх нескольких нижних одеяний модной расцветки — но красота его поистине несравненна. Он словно излучает свет, и даже пышно разодетый министр Двора затмевается перед ним.

В тот день в доме на Третьей линии собрались сыновья Министра Двора — один милловиднее другого. Приехали и его сводные братья, достигшие к тому времени высоких званий. Один из них дайнагон, другой исполняет обязанности дайбу в Весенних покоях Дворца. Не будучи нарочно приглашенными, в дом на Третьей линии приехали и другие влиятельные и знатные придворные, числом около десяти. Среди них — Куродо-но то, Куродо Пятого ранга, Тюдзё, Сёсё и прочие достойные мужи. Словом, свита у ми-

нистра Двора получилась весьма внушительная, тем более что было в ней немало придворных и других, более низких званий.

Чаша с вином не раз проходила по кругу, гости захмелели, и разговор то и дело возвращался к тому, сколь редко и счастливо судьба выпала на долю госпожи Оомия.

Давно не виделись министры, и эта встреча напомнила им о прошлом. Когда находятся они далеко друг от друга, пустяка довольно, чтобы пробудить в них дух соперничества, но вот сошлись — и самые трогательные картины прошлого всплывают в памяти. Совсем, как в прежние дни, ничего не тая друг от друга, до темноты беседуют они о былом и настоящем, обо всем, что произошло за эти долгие годы. Министр Двора потчует гостя вином и угощается сам.

— Я понимаю, как это дурно, что я не приехал сразу же. Но, увы, я не смел, не получив от вас приглашения... Упусти я и эту возможность встретиться с вами, вы вряд ли простили бы мне... — говорит он.

— О, скорее я виноват перед вами. Хотя, признаюсь, основания чувствовать себя обиженным были и у меня, — многозначительно отвечает Гэндзи.

«Да, я был прав». — И министр Двора, смутившись, почтительно склоняет голову перед гостем.

— В былые дни мы не имели тайн друг от друга, — продолжает тот, — ни в государственных делах, ни в личных, ни в великом, ни в малом. Постоянно поддерживая друг друга советами, стремились стать опорой престолу, словно два крыла одной птицы. Но когда достигли преклонных лет, оказалось, что не все складывается так, как нам мечталось когда-то. Впрочем, это касается лишь частной жизни. А в остальном устремления наши остались прежними. Когда годы уходят один за другим и приближается старость, в сердце возникает безотчетная тоска по прошлому. К сожалению, встречаемся мы с каждым годом все реже... О, я понимаю, что при вашем положении в мире... И все же иногда становится обидно: право, ради дружественной близости можно пренебречь церемониями.

— Так, когда-то я позволял себе держаться с вами весьма непринужденно, возможно, даже злоупотреблял вашим вниманием, забывая о приличиях. Я не имел от вас тайн и доверял вам во всем. Когда же стали мы служить Государю, то именно благодаря вашей милостивой поддержке я, ничтожный, сумел достичь столь высокого положения, хотя, разумеется, и не мечтал стать тем вторым крылом, о котором вы изволили говорить. Могу ли я не испытывать признательности? Но, увы, чем старше становлюсь, тем чаще пренебрегаю своими обязанностями по отношению к вам, как вы только что изволили заметить, — оправдывается министр Двора.

И тут Гэндзи обиняком заводит речь о девушке из Западного флигеля.

— Право же, мне не приходилось слышать ничего более трогательно-го... — плача, говорит министр Двора. — Все это время, не ведая о том, что с нею стало, я неустанно искал ее. Вы, должно быть, помните, как, не в силах сдерживать печаль, я изливал ее перед вами. Достигнув же более значительного положения, я собрал в своем доме множество ничтожных особ, полагая, что неразумно, да и стыдно оставлять их скитаться по миру. С жалостью глядя на них, я непременно думаю и о той, что была, как я полагал, мною утрачена навсегда.

Тут министрам вспоминается невольно та дождливая ночь, когда, откровенничая, они сравнивали между собой разных женщин. Окончательно расстроившись, оба плачут и смеются одновременно.

Но вот темнеет, пора разъезжаться.

— Стоило встретиться, и сразу вспомнились дела тех давних дней, — говорит Великий министр. — Иногда тоска по прошлому становится особенно мучительной, и так хочется с кем-нибудь поделиться... Жаль, что приходится расставаться!

Тут самообладание изменяет ему, и он плачет. Впрочем, может быть, виною тому хмель?.. А о госпоже Оомия и говорить нечего: глядя на Гэндзи, ставшего за эти годы еще прекраснее и величественнее, она вспоминает свою ушедшую дочь, тяжкие вздохи теснят ее грудь, а по щекам текут слезы. Видно, не зря считают, что рукава монашеского платья промокают быстрее других.

Как ни благоприятствовали тому обстоятельства, Великий министр не стал просить за Тюдзё. Он не мог забыть, как суров был с юношей министр Двора, и ему показалось неприличным самому заводить столь важный разговор.

А тот в свою очередь не решился заговорить первым и чувствовал себя неловко оттого, что так и осталась меж ними некоторая недоговоренность.

— Мне следовало бы проводить вас, но я боюсь обеспокоить ваших домочадцев своим внезапным появлением, — говорит министр Двора. — Как-нибудь я нарочно приеду к вам, чтобы отблагодарить за сегодняшнее.

Напоследок Гэндзи берет с него обещание:

— Я рад, что состояние больной оказалось лучше, чем предполагалось, так что прошу вас непременно пожаловать ко мне точно в назначенный день.

Наконец оба министра удаляются, окруженные пышными свитами.

Сыновья министра Двора и приближенные его терялись в догадках:

— О чем же они говорили? Они давно не виделись и, кажется, остались вполне довольны друг другом...

— Возможно, речь снова шла о передаче каких-то дел?

Столь превратно толкуя увиденное, они и представить себе не могли истинной причины этой встречи.

Неожиданная новость озадачила и взволновала министра Двора. Удобно ли вот так сразу перевозить девушку к себе, открыто признав своей дочерью? Да и вряд ли Великий министр решил отпустить ее, руководствуясь исключительно бескорыстными соображениями, особенно если учитывать обстоятельства, при которых она к нему попала. Скорее всего, он открылся потому, что, оказавшись в затруднительном положении, боится стать предметом пересудов. Очевидно, не желая навлекать на себя гнев живущих в его доме особ, он не решился вводить девушку в их круг и не знал, как с ней поступить. Все это, конечно, досадно, но вряд ли подобные обстоятельства способны умалить достоинства девушки. Да и посмеет ли кто-нибудь пренебречь его дочерью лишь потому, что она какое-то время жила в доме Гэндзи? Вот только что скажет нёго Кокидэн, если Великий министр и в самом деле пожелает отправить свою воспитанницу на службу во Дворец? Но можно ли противиться его воле?

Разговор этот состоялся в Первый день Второй Луны.

Шестнадцатый день, на который приходился в том году праздник Другого берега, был сочтен наиболее благоприятным для проведения церемонии Надевания мо. Предсказатели заявили, что в ближайшее время лучшего дня ожидать нечего, а как состояние старой госпожи не ухудшалось, в доме на Шестой линии поспешно приступили к приготовлениям. Зайдя по обыкновению своему в Западный флигель, Великий министр подробно рассказал девушке о разговоре с ее отцом и посоветовал, как лучше вести себя во время церемонии.

«Родной отец и тот не мог быть заботливее», — подумала она, однако весть о предстоящей встрече с министром Двора обрадовала ее чрезвычайно. Затем Гэндзи втайне сообщил обо всем Тюдзё.

«Невероятно! — подумал тот. — Впрочем, тогда многое становится понятным». Перед его мысленным взором возник прелестный образ девушки из Западного флигеля, и даже та, жестокая, была на время забыта. «О, если б я догадался раньше...» — посетовал он на свою несообразительность, но тут же опомнился: «Нет, все равно я не должен даже думать об этом!» Похвальное благонравие!

Но вот наконец настает назначенный день, и из дома на Третьей линии является тайный гонец. Шкатулка для гребней, равно как и содержимое ее, поражает изяществом, к ней приложено письмо:

«Я намеревалась воздержаться от поздравлений, зная, что слова ничтожной монахини вряд ли принесут удачу, но, подумав, что могла бы послужить Вам примером долголетия... Я была искренне растрогана, узнав обо всем. Надеюсь, что не обидела Вас, открыв свои чувства? Я готова подчиниться Вашей воле...

Не все ли равно,
Которой крышкой прикрыта
Двойная шкатулка?
Ведь отделить невозможно
Одну ее часть от другой...»

Все это написано неверным стариковским почерком. Великий министр, зашедший в Западный флигель, дабы отдать последние распоряжения, увидел письмо.

— Какое трогательное послание! Даром что написано в старинном стиле. Да, это ее рука... Но как она дрожит! В былые дни госпожа Оомия прекрасно владела кистью, но с годами и почерк будто состарился, — говорит он, снова и снова читая письмо.

— В этой песне все так или иначе связано со шкатулкой для гребней. Нет почти ни одного лишнего слова... А ведь добиться этого непросто, — замечает он, с трудом скрывая улыбку.

Богатые дары принесли от Государыни-супруги. Среди них — белое мо, китайское платье, полное парадное облачение, украшения для прически и изысканнейшие китайские благовония в особых горшочках.

Обитатели дома на Шестой линии, каждая по своему вкусу, подготовили для юной госпожи разнообразные наряды, а для прислуживающих ей дам — гребни и веера. Все дары оказались настолько хороши, что трудно

было отдать чему-то предпочтение. Каждая постаралась превзойти соперниц, и плоды их усилий были великолепны.

Слух о поспешных приготовлениях к церемонии дошел и до Восточной усадьбы, но жившие там дамы пропустили его мимо ушей, полагая, что по положению своему не вправе приносить поздравления. И только дочь принца Хитати, особа на редкость педантичная и по старомодности своей полагавшая для себя обязательным участие в такого рода церемониях, подумала: «Могу ли я пренебречь столь важным событием?» — и поспешила приготовить подобающие случаю дары. Ну разве она не трогательна!

Она отправила юной госпоже зеленовато-серое хосонага*, хакама модного когда-то цвета — кажется, его называли «опавшие каштаны», — и затканное узором из градин коутики, прежде бывшее лиловым, но совсем выцветшее. Все это она уложила в превосходный ларец, который тщательно обвязала тканью. А вот что она написала:

«Я не имею чести быть знакомой с Вами, а потому чувствую себя крайне неловко, но в такой день и я не смогла остаться в стороне. Боюсь, что дары мои покажутся Вам ничтожными. Раздайте же их Вашим дамам...»

Словом, вполне приемлемое письмо.

Взглянув же на платье, Гэндзи покраснел: «Невероятно! Впрочем, как и следовало ожидать...»

— Удивительно старомодная особа! — сказал он. — Таким затворницам лучше вовсе не принимать участия в мирских делах. Право, стыдно за нее... И все же прошу вас ответить, иначе она обидится. Покойный принц так баловал ее, а теперь все ею пренебрегают. Жаль бедняжку.

К рукаву платья была прикреплена записка с песней обычного содержания:

«О горькой судьбе
Вздыхаю снова и снова.
Ах, не дано
Рукавам китайского платья
С твоими соприкоснуться».

Почерк ее, и прежде дурной, за это время изменился к худшему, став еще более твердым, размашистым и угловатым. Как ни раздражен был министр, он не мог упустить случая позабавиться.

— Видно, долго трудилась она над этой песней! Теперь ей и помочь некому. Нелегко же ей приходится... Отвечу я сам, хоть и обременен делами сверх меры.

«Вы проявляете заботливость, на которую мало кто способен. И все же не стоило так утруждать себя, — довольно сухо написал он. —

Китайское платье —
И снова — китайское платье,
Китайское платье!
Не счесть их, не перечесать,
Эти китайские платья...»

— Хорошо зная пристрастия этой особы, я постарался угодить ее вкусу, — объяснил он, показав песню девушке. А она ответила, пленительно улыбаясь:

— Бедняжка! По-моему, вы просто смеетесь над нею.

Но довольно, я и так слишком часто отклоняюсь от основного предмета своего повествования.

Министр Двора, прежде не изъявлявший особого желания участвовать в церемонии, после неожиданного признания Гэндзи стал с нетерпением ждать назначенного дня и, когда он наконец наступил, приехал в дом на Шестой линии одним из первых.

Благодаря стараниям Великого министра было подготовлено все, что полагается, даже более того. Подобные церемонии редко проводятся с таким размахом. Увидев в том еще одно проявление великодушной заботливости Гэндзи, министр Двора почувствовал себя растроганным, но одновременно усилились и его сомнения.

И вот, в стражу Свины министра Двора проводят за занавеси. Сиденья, подготовленные для почетных гостей, поражают редкостным изяществом, а вся полагающаяся по обычаю утварь — чрезвычайно тонкой работы.

Тут же подают изысканнейшее угощение. Светильники горят сегодня куда ярче обыкновенного, и с гостем обращаются с особой предупредительностью.

Министр Двора изнемогает от любопытства, но поскольку сегодня вряд ли уместно...

В тот миг, когда он завязывает шнурки мо, хозяин, заметив, как трудно ему хранить молчание, говорит:

— Сегодня я не стану касаться прошлого, и вас прошу вести себя так, будто вам ничего не известно. Перед этими людьми, не знающими о нашей тайне, мы ни в чем не должны отступать от заведенного порядка.

— О, вы совершенно правы, у меня нет слов, чтобы выразить вам свою признательность, — отвечает министр Двора и, подняв чашу с вином, добавляет: — Ваше великодушие поистине безгранично, и благодарность моя не имеет пределов. Но могу ли я не упрекнуть вас за то, что вы изволили так долго оставлять меня в неведении?

Как не корить
За жестокость эту рыбачку —
Под сенью утесов
Скрывалась, пока не увили
Водоросли-мо ее стан... (244)

И министр Двора роняет слезы, не в силах более сдерживаться. Девушка, видя рядом с собой двух столь важных особ, совсем растерялась и не может вымолвить ни слова. Вместо нее отвечает Гэндзи:

— Думал, волна
Случайно на берег вынесла
Мо-морскую траву,
Рыбакам, и тем ненужную.
К кому ей было прибегнуть?

Право, неразумно упрекать меня теперь...

— О, я согласен с вами во всем, — сказал министр Двора. А что ему еще оставалось?

В тот день в доме на Шестой линии собралась вся столичная знать, не говоря уже о принцах крови, которые пришли все без исключения.

Многие из собравшихся испытывали к девушке нежные чувства, и от их внимания не укрылось, что министр Двора зашел за занавеси и довольно долго там оставался. «Что бы это значило?» — недоумевали они. Из сыновей министра Двора только То-но тюдзэ и Бэн-но сёсё знали правду, да и то лишь в общих чертах. Горько им было отказываться от тайных мечтаний, но могли ли они не радоваться?

— Хорошо, что я не успел открыть ей своих чувств, — тихонько прошептал Бэн-но сёсё.

— Что за странные наклонности у Великого министра! — говорили остальные.

— Или он хочет, чтобы она повторила судьбу Государыни-супруги?

Услышав их пересуды, Гэндзи сказал министру Двора:

— Я бы посоветовал вам некоторое время проявлять предельную осторожность, дабы избежать неблагоприятных толков. Только люди, не обремененные высоким званием, могут совершенно не считаясь с приличиями, вести себя так, как им заблагорассудится. Нам же с вами приходится постоянно помнить о мнении света. Не будем же торопить события, пусть люди постепенно привыкнут...

— Я во всем полагаюсь на вас, — ответил тот. — Вы изволили принять такое участие в судьбе моей дочери, окружили ее столь милостивыми заботами... Наверняка между вашими судьбами существует связь, уходящая корнями в далекое прошлое.

Министр Двора получил богатые дары. Не менее щедро были вознаграждены и прочие участники церемонии, причем, несмотря на то что правилами строго установлено, кому какие награды полагаются, Великому министру удалось, введя некоторые новшества, добиться невиданной доселе роскоши.

Поскольку сначала министр Двора отказался от участия в церемонии под предлогом болезни госпожи Оомия, решено было ограничиться самой скромной музыкой.

Принц Хёбукэ решил лично обратиться к Великому министру с просьбой:

— Поскольку теперь нет никаких препятствий... — сказал он.

— Государь изъявил желание взять ее во Дворец... В любом случае я прежде всего буду следовать его воле, а уж потом... — ответил Великий министр.

Министр же Двора, видевший дочь лишь мельком, только и думал о том, как бы разглядеть ее получше. Разумеется, не будь она хороша собой, Гэндзи вряд ли окружил бы ее такими заботами, и все же... По крайней мере стал наконец понятным тот давний сон. Одной лишь нёго Кокидэн он подробно рассказал обо всем.

Как ни старался министр Двора сохранить происшедшее в тайне, слухи распространились весьма быстро — люди ничему не отдаются с такой охотой, как злословию, так уж устроен мир. Дошли слухи и до той невежественной особы, которая тоже называла себя дочерью министра Двора.

И вот, придя к нёго Кокидэн, как раз когда у той были в гостях То-но тюдзэ и Бэн-но сёсё, она заявляет довольно бесцеремонно:

— Говорят, господин изволил обзавестись еще одной дочерью. Вот счастливая! Редко кому выпадает на долю такая удача. Только подумайте, два столь важных лица заботятся о ней. А ведь ее мать, кажется, была довольно низкого происхождения.

Нёго, смутившись, не знает, что и ответить.

— Что ж, наверное, она достойна внимания, — приходит ей на помощь То-но тюдзё. — А собственно, откуда у вас такие сведения? На вашем месте я бы не стал открыто повторять чьи-то сплетни. Вас могут услышать дамы, а среди них есть особы весьма несдержанные на язык...

— Ах, замолчи, я и без тебя все знаю! — возмущается девушка. — Ее прочат на место найси-но ками. Неужели вы думаете, что я стала бы прислуживать у вас в доме, если бы не надеялась с вашей помощью добиться чего-нибудь подобного? Ведь я выполняю обязанности, которые не поручают даже простым прислужницам! Ну не жестоко ли это?

Все смеются:

— О, только мы собрались заявить о своем праве на освободившееся место в отделе Дворцовых прислужниц, а вы тут как тут!

— Нет, видно, столь ничтожной особе не место среди баловней судьбы! — сердито говорит девушка. — А от господина То-но тюдзё я не ждала такой жестокости. Сам привел меня сюда, хотя его никто не просил, а теперь насмехается. Не всякий согласится жить в этом доме! Довольно с меня, довольно!

С этими словами она отодвигается подальше, по-прежнему не отрывая взгляда от юношей. Особой ненависти к ним она не испытывает, но глаза щурит довольно злобно.

«Увы, это действительно было моей ошибкой», — вздыхает То-но тюдзё, разом утрачивая свою веселость. А Бэн-но сёсё говорит, улыбаясь:

— Неужели вы думаете, что госпожа Кокидэн не отблагодарит вас за отменное усердие? Но прежде всего успокойтесь. Коль скоро вы вознамерились превратить несокрушимые скалы в снежную пыль*, я уверен, что раньше или позже вы своего добьетесь.

— А по-моему, вам лучше было бы вовсе не покидать небесного гота*, — добавляет То-но тюдзё, поднимаясь с места.

Девушка раздражается рыданиями:

— У вас нет сердца! Одна только госпожа нёго добра ко мне, поэтому я всегда готова ей услужить.

И она начинает бестолково бегать по покоям, хватаясь за работу, которой пренебрегли бы даже низшие служанки. Выказывая небывалое усердие, суетится возле госпожи.

— О, прошу вас, скажите, чтобы меня назначили найси-но ками! — твердит она, а нёго, растерявшись, не знает, что ей ответить, и только недоумевает: «Да что это с ней?»

Услыхав о желании девушки из Северного флигеля, министр Двора долго смеялся. Случилось так, что спустя некоторое время, он зашел по какому-то делу в покои нёго.

— Госпожа Оми здесь? Нельзя ли ее позвать? — просит он.

— Слушаюсь! — радостно отзывается девушка и выходит к нему.

— Право, с твоим усердием и в самом деле можно служить во Дворце. Почему же ты раньше не говорили мне, что хочешь стать найси-но ками? —

с озабоченным видом спрашивает министр и, подумав: «вот радость-то!» — девушка выпаливает единым духом:

— Ах, поначалу я сама собиралась просить вас, но решила погодить, думала, госпожа нёго вам расскажет о моем желании. А тут вдруг говорят — на это место прочтат другую. Будто сон увидала, что мне привалило богатство, а проснулась — и нет ничего... Ну, словно спала, прижимая руки к груди...*

— Вот видишь, как дурно прибегать к околичностям, — говорит министр, еле сдерживая смех. — Когда бы ты откровенно поделилась со мной своими думами, я доложил бы о тебе прежде, чем о другой. Как ни безупречна дочь Великого министра, Государь, несомненно, прислушался бы к моей просьбе, прояви я достаточную настойчивость. Впрочем, и теперь еще не поздно, можешь составить прошение на высочайшее имя*, только постарайся написать по красивее. Государь вряд ли сможет пренебречь тобой, увидев, сколь ты искусна в сложении длинных песен. Ведь, как известно, он большой ценитель поэзии.

Ну не жестоко ли так обманывать ее? Все-таки она его дочь...

— Уж с песней я как-нибудь справлюсь. А прошение... Может быть, вы мне скажете, что полагается в таких случаях писать, а я, так сказать, «подпою», стараясь не ударить в грязь лицом. — И девушка молитвенно складывает руки.

Женщин, сидящих за занавесом, душит смех, некоторые не в силах удержаться выскальзывают наружу, где и дают себе волю.

Нёго, залившись румянцем, горестно вздыхает: «Какой позор! Право же, эта несчастная неисправима».

— Когда что-то гнетет тебя, посмотри на госпожу Оми и сразу развеселишься... — говорит министр.

Так, он постоянно подшучивал над ней, но люди поговаривали:

— Наверное, стыдно стало, что взял такую к себе, вот и старается ее понизить...





«ЛИЛОВЫЕ ШАРОВАРЫ»

Основные персонажи

Великий министр (Гэндзи), 37 лет

Девушка из Западного флигеля, Найси-но ками (Тамакадзура), 23 года — дочь Югао и министра Двора (То-но тюдзё), приемная дочь Гэндзи

Государь (Рэйдзэй) — сын Фудзицубо и Гэндзи (официально — сын императора Кирицубо)

Государыня-супруга (Акиконому) — дочь Рокудзё-но мясудокоро и принца Дзэмбо, воспитанница Гэндзи, супруга императора Рэйдзэй

Нёго Кокидэн — дочь министра Двора, наложница императора Рэйдзэй

Сайсё-но тюдзё (Югири), 16 лет — сын Гэндзи и Аои

Принц Хёбукё (Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

Удайсё (Хигэкуро) — поклонник Тамакадзура

То-но тюдзё (Касиваги), 21 (22) года — сын министра Двора

Госпожа Мурасаки, 29 лет — супруга Гэндзи

ВСЕ УГОВАРИВАЮТ юную госпожу из Западного флигеля занять место найси-но ками, но легко ли ей решиться? Она не чувствует себя в безопасности даже в доме Великого министра, который считается ее отцом, а во Дворце тем более может случиться что-нибудь непредвиденное, что осложнит ее жизнь и вызовет недовольство как Государыни-супруги, так и нёго Кокидэн. К тому же ее собственное положение слишком шатко, покровители же, как тот, так и другой, вряд ли успели по-настоящему привязаться к ней. В мире о ней отзываются нелестно, многие, взирая на нее с сомнением, только и ждут случая, чтобы сделать имя ее предметом для посмеяния... Словом, будущее рисуется ей в мрачном свете, а поскольку она не в том возрасте, чтобы оставаться в бла-

женном неведении, ее постоянно терзают тревожные мысли и, не зная, на что решиться, она тоскует и плачет тайком. Нельзя сказать, чтобы в доме на Шестой линии обращались с ней дурно, нет, но поведение Великого министра так огорчает и возмущает ее, что она только и думает о том, как бы поскорее покинуть его дом и очиститься наконец от подозрений. Родной отец девушки из уважения к чувствам приемного до сих пор не осмеливается забрать ее к себе и открыто признать своей дочерью. В любом случае ей нечего ждать от жизни, кроме унижений и мучительных сложностей. Видно, такая уж судьба выпала ей на долю — страдать самой и давать другим повод к заословию.

В самом деле, после того как министр Двора узнал о ее существовании, жизнь в доме Великого министра, как это ни странно, сделалась для нее еще тягостнее, ибо тот, почувствовав себя свободным от всяких запретов, стал вести себя бесцеремоннее прежнего, так что теперь у нее едва ли не больше причин для печали и тайных слез.

Матери, которой она могла бы если не открыться полностью, то хотя бы намекнуть на свои горести, у нее нет. Отцы же, приемный и родной, особы слишком уж важные — она робеет в их присутствии. Да и поймут ли они ее, если она поделится с ними своими сомнениями?

Однажды, сетуя на свою незадачливую судьбу, сидела она у выхода на галерею и смотрела на трогательно-прекрасное вечернее небо, столь прелестная в своей печали, что трудно было не залюбоваться ею.

Красота девушки, оттененная светло-серым платьем*, необычно скромным, мягко облегавшим стан, казалась особенно яркой, и дамы улыбались, на нее глядя.

В тот день в Западный флигель зашел Сайсё-но тюдзё. Он был тоже в сером, только более темного оттенка, платье, которое удивительно шло к нему, с подобранными кверху лентами головного убора*. За эти годы Сайсё-но тюдзё привык дружески опекать девушку, да и она не дичилась и всегда привечала его. Вот и теперь, не желая отдаляться от него потому лишь, что он не считался более ее братом, она, как и прежде, решила поговорить с ним сама через штору, за которой стоял еще и занавес.

Юноша пришел по поручению Великого министра, дабы передать ей высочайшее повеление. Она отвечала спокойно и с достоинством, была же при этом так пленительно мила, что юноше невольно вспомнилось то давнее утро после урагана, когда его сердце впервые устремилось к ней. Тогда он считал свое чувство невозможным, однако теперь, после того, как ему открылось истинное положение вещей, оно вспыхнуло с новой силой. «Боюсь, отцу будет трудно отдать ее во Дворец, даже если речь пойдет о самых обычных обязанностях. А тогда неизбежно ухудшатся его столь отрадные ныне отношения с особами, живущими в доме на Шестой линии, и можно ждать любых неприятностей и осложнений...» — думал он, и волнение теснило его грудь, однако постаравшись придать лицу невозмутимо-важное выражение, он с многозначительным видом говорит:

— Мне поручено сообщить вам нечто, не предназначенное для посторонних ушей, и я не знаю...

Сидевшие рядом с госпожой дамы поспешно отходят в сторону и рядом усаживаются за занавесом. обстоятельно и заботливо юноша начинает на-

ставлять девушку якобы от имени Великого министра. Сводятся же его наставления к тому, что, учитывая несомненную благосклонность к ней Государя, она должна проявлять чрезвычайную осмотрительность.

Не зная, что ему отвечать, девушка только вздыхает украдкой. Она так нежна и прелестна, что, с трудом сдерживая себя, юноша говорит:

— Одевание скорби можно было снять уже на эту луну, но до сих пор не выдавалось благоприятного дня. Я слышал, что на Тринадцатый день назначен выезд в Кавара*. Надеюсь, и мне будет поручено сопровождать вас.

— Боюсь, что ваше участие сообщит церемонии слишком большую торжественность. Мне не хотелось бы привлекать к себе внимание, — отвечает девушка.

Она настолько осторожна, что, судя по всему, не желает придавать широкой огласке даже причину своей скорби.

— Ваша предусмотрительность скорее огорчает меня, — вздыхает юноша. — А я печалюсь, что пришла пора снимать эти одежды, напоминающие о столь дорогой моему сердцу особе. Но, право же, я до сих пор не могу уразуметь, что столь странным образом привязывает вас к этому дому? Ведь когда б не серое платье, и догадаться невозможно...

— Увы, мне, неразумной, еще труднее понять... Но поверьте, когда я гляжу на эти темные одежды, неизъяснимая печаль сжимает мое сердце.

Сегодня она задумчивее обыкновенного, и это придает ей особую прелесть. Очевидно, подумав, что лучшего случая вряд дождешься, юноша подсовывает под занавеси изысканные цветы посконника, более известного под названием фудзикама — «лиловые шаровары»* и говорит:

— Взгляните, эти цветы тоже имеют к вам отношение... (45, 245)*

Он не сразу отпускает цветы, а когда ничего не подозревающая девушка протягивает к ним руку, хватает ее за рукав и притягивает к себе:

— «Лиловые шаровары»
Растут в одном поле, поблекли
От той же росы,
Чем не повод? Меня подари
Хотя бы словом участия!

«Где-то в конце...» (246)

Девушка весьма раздосадована, но, притворившись, будто ничего не поняла, произносит, потихоньку отодвигаясь в глубину покоев:

— Разве не знаешь? —
На дальнем поле выпала
Эта роса,
Слишком бледен лиловый цвет,
Для того, чтобы поводом стать.

Право, можем ли мы быть ближе друг другу, чем теперь?

Усмехнувшись, юноша отвечает:

— Полагаю, вы прекрасно разбираетесь в том, что значит близко, а что — далеко... Но разве вам понять, как трудно мне было справиться с волнением... Хотя я и знаю, какая это для вас честь... До сих пор я таился, страшась, что вы станете еще больше сторониться меня, но терпение мое на исходе и,

подумав: «И не все ли теперь мне едино?» (150)... Вы, очевидно, знаете, какие чувства испытывал к вам То-но тюдзё из дома министра Двора. О, как я был глуп, взирая на его страдания с безразличием стороннего наблюдателя! Теперь пришел мой черед. Я завидую его нынешней невозмутимости: еще бы, у него появилась отрадная уверенность в том, что теперь он никогда не расстанется с вами. Хотел бы я оказаться на его месте! Неужели вы не пожалеваете меня?

Он долго докучал ей своими признаниями, но довольно утомительно писать об этом.

Госпожа Найси-но ками*, которую речи Сайсё-но тюдзё привели в полное замешательство, думала лишь о том, как бы побыстрее скрыться.

— Можно ли быть такой жестокой! А ведь у вас было время убедиться в моей преданности...

Раз начав говорить о своих обидах, юноша уже не мог остановиться, но девушка, уронив: «Ах, мне что-то нездоровится...», скрылась в глубине покоев, и ему ничего не оставалось, как уйти, вздыхая украдкой.

«И зачем только я ей открылся...» — подсадовал он, и тут же мысли его устремились к другой, еще более прекрасной особе. «Неужели мне даже голоса ее никогда не придется услышать? — думал он, направляясь в покои Великого министра. — Хотя бы вот так через занавес...»

Выйдя к сыну, Гэндзи внимательно выслушал его.

— Судя по всему, юная госпожа не очень расположена к придворной службе, — замечает он. — Принц Хёбукё и прочие сластолюбцы, опытные в любовных делах, постоянно смущали ее пылкими речами, и я опасался, что кому-то из них удастся завоевать ее сердце. Однако, увидев Государя во время выезда в Охарано, она не могла остаться к нему равнодушной. Ни одна девица не откажется от придворной службы, стоит ей хоть мельком увидеть Государя. На это я и рассчитывал...

— Все же не знаю, что для нее предпочтительнее. Во Дворце вряд ли она сможет соперничать с Государыней, да и нёго Кокидэн пользуется большим влиянием. Юной госпоже будет трудно выдвинуться, даже если Государь и изволит заинтересоваться ею. С другой стороны, принц Хёбукё, которого преданность не вызывает сомнений, очень недоволен, что вы отдали ее во Дворец, пусть даже в качестве простой придворной дамы. В мире уже судачат о возможных переменах в ваших отношениях с принцем, — говорит Сайсё-но тюдзё с рассудительностью несколько неожиданной в его возрасте.

— Так, все это чрезвычайно сложно. Даже Удайсё и тот склонен винить во всем меня, как будто я могу располагать ее будущим по своему усмотрению. Получается, что, не оставляя человека в беде, ты поступаешь неразумно, ибо в конце концов сам же во всем и оказываешься виноват. Я не забыл, как трогательно просила за дочь ушедшая, и, узнав, что девушка живет в глуши, не имея никакой поддержки со стороны родного отца, пожалел ее и взял к себе. Теперь же, когда ее окружили такими заботами в нашем доме, министр тоже готов признать ее, — говорит Гэндзи, ловко толкуя события в свою пользу. — Я уверен, что она может стать хорошей супругой принцу, — продолжает он. — Обладая живым нравом и изящной наружностью, она достаточно умна, чтобы не допускать досадных оплошностей. Полагаю, что их союз был бы весьма удачен. Однако она прекрасно справилась бы и

с обязанностями придворной дамы. Она хороша собой, недурно воспитана, сообразительна, прекрасно разбирается в обрядах и церемониях. Именно о такой особе и изволил просить Государь.

Как видно, желая проникнуть в сокровенные думы отца, юноша спрашивает:

— Люди превратно толкуют то редкое внимание, которое до сих пор вы уделяли ее воспитанию. Похоже, это мнение разделяет и министр Двора: во всяком случае, что-то в этом роде он ответил Удайсё, когда тот обратился к нему, рассчитывая на его содействие.

Засмеявшись, Гэндзи отвечает:

— Все они далеки от истины. Что же касается самой девушки, то ей в любом случае следует повиноваться воле отца, идет ли речь о придворной службе или о чем-то другом. Женщина находится в подчинении у троих* и я не волен нарушать установленный порядок и распоряжаться ее судьбой по своему усмотрению.

— Еще говорят, что министр Двора не скрывает своего восхищения вашей мудростью и дальновидностью, — как ни в чем не бывало, продолжает юноша. — Мол, вы решили отказаться от юной госпожи и уступить ее ему, а затем обеспечить ей официальное положение при дворе только ради того, чтобы таким образом сохранить для себя, ибо иначе ее положение в вашем доме среди давно уже здесь живущих высокородженных особ было бы весьма двусмысленным.

«Неужели он действительно так думает? Жаль!» — И, улыбнувшись, Великий министр отвечает:

— Я не знал, что дело дошло до таких нелепых предположений. Очевидно, сказывается присущая господину министру Двора подозрительность. Надеюсь, что скоро все так или иначе разрешится. Удивительная нечуткость!

Его удивление казалось вполне искренним, но юношу одолевали сомнения. Впрочем, Гэндзи и сам понимал, что не так-то легко будет выйти из этого положения. «Значит, мои опасения были не напрасны, — думал он. — Не хотелось бы оправдывать ожидания клеветников, да и ни к чему обременять себя дурными поступками. Главное — найти средство убедить министра Двора в полном бескорыстии моих намерений».

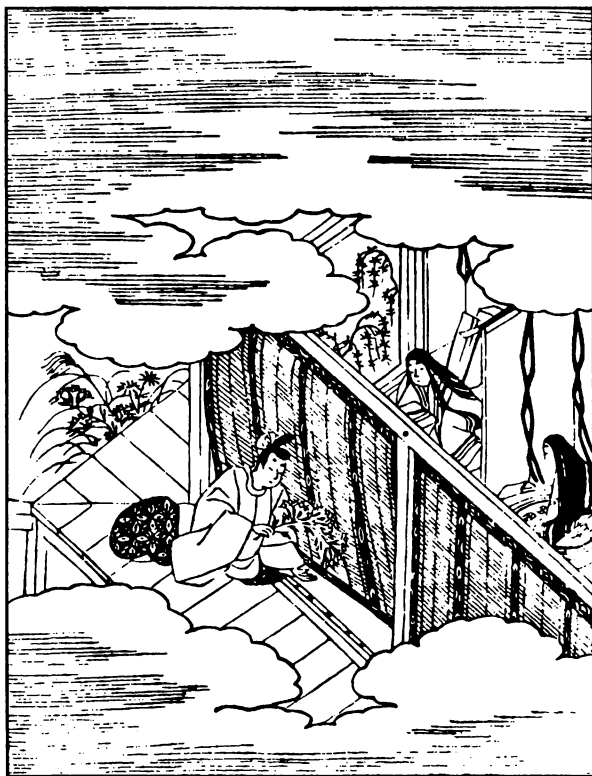
Гэндзи был неприятно поражен тем, что отцу девушки удалось до некоторой степени проникнуть в его тайные помышления, ибо, отдавая воспитанницу во Дворец, он и в самом деле прежде всего руководствовался своим неопределенным и труднообъяснимым чувством к ней.

Между тем девушка из Западного флигеля сняла одеяние скорби.

— Следующая луна неблагоприятна для представления ко двору. Придется подождать Десятой луны, — сказал Великий министр, и Государь с нетерпением ждал назначенного дня.

Между тем поклонники юной госпожи, весьма раздосадованные таким поворотом событий, торопили пособниц своих, дабы те отыскиали средство свести их с девушкой прежде, чем она приступит к придворным обязанностям. Но, увы, осуществить это было куда труднее, чем остановить водопад Ёсино (247).

— Невозможно! — отвечали дамы на всех их просьбы.



Сайсё-но тюдзё, коря себя за невольно вырвавшееся у него признание, проявлял удивительную заботливость, стараясь вникать во все нужды юной госпожи и предупреждать каждое ее желание. Не позволяя себе и намека на нежные чувства, он держался невозмутимо, с достоинством.

Родные братья девушки, не имея средства приблизиться к ней, с нетерпением ждали дня, когда она наконец переедет во Дворец. «Тогда мы сможем заботиться о ней открыто», — думали они.

Дамы с удивлением: «Что за непостоянное сердце!» — взирали на То-но тюдзё, который, казалось, успел забыть о том, что совсем недавно сгорал от мучительной страсти. Однажды он пришел в дом на Шестой линии с поручением от министра Двора.

Поскольку родство их до сих пор не было предано огласке, То-но тюдзё по-прежнему навещал девушку тайно. Вот и на этот раз, не проходя в покои, остался ждать ответа в саду, под сенью багряника, тем более что ночь выдалась лунная. Однако отношение к нему девушки заметно изменилось: раньше она отказывалась даже читать его письма, а теперь распорядилась, чтобы юношу провели к южному занавесу.

Правда, она все еще не решалась беседовать с ним сама и отвечала через госпожу Сайсё.

— Господин министр Двора послал к вам именно меня, потому что я имею сообщить вам нечто, не предназначенное для ушей посредника. Могу

ли я выполнить его волю, находясь на таком расстоянии от вас? Я хорошо представляю себе всю меру своей ничтожности, но ведь нас связывают неразрывные узы... Так почему же? Возможно, я покажусь вам несколько старомодным, но я надеялся, что вы станете мне опорой... — говорит То-но тюдзё не без некоторой досады.

— Вы совершенно правы, да мне и самой хотелось бы поговорить с вами обо всем, что произошло за эти годы, но в последние дни мне что-то нездоровится, я не имею сил даже встать. Вряд ли близкий человек стал бы меня упрекать... — весьма обстоятельно отвечает она ему через Сайсё.

— Так разрешите хотя бы приблизиться к занавесу, за которым изволите лежать... Впрочем, нет, вы правы. Я веду себя слишком дерзко. — И, понизив голос, То-но тюдзё передает девушке поручение отца. Держится он не хуже других и производит весьма приятное впечатление. Вот что просил передать дочери министр Двора:

«Я не имею достоверных сведений о том, как именно будет проходить церемония Вашего представления ко двору, но полагаю, что Вам есть о чем посоветоваться лично со мной. Не желая подавать подозрения окружающим, я не осмеливаюсь навещать Вас, и сердце мое в тревоге».

От себя же То-но тюдзё добавляет следующее:

— Увы, прежние глупости должны быть забыты. Но в любом случае, как можно не замечать моей искренней преданности? Право же, обидно. Взять хотя бы сегодняшний вечер. Я надеялся, что меня проведут в северные покои... Возможно, это кое-кому и не понравилось бы, но уж лучше беседовать с вами через кого-нибудь из низших служанок. А так... Пожалуй, столь сурово со мной еще никто не обходился. Да, что ни говори, подобные отношения редко встречаются в мире.

Печально понурившись, он вздыхает, и растроганная Сайсё спешит передать его слова госпоже.

— Вы совершенно правы, — откровенно отвечает девушка. — Я и в самом деле боюсь пересудов, ведь наверняка станут говорить — такой неожиданный поворот, к чему бы это... Но знали б вы, как горько мне — о, куда горше, чем прежде, — что я до сих пор не могу поделиться с вами всем, что накопилось в душе за долгие годы, проведенные вдали от столицы...

Смутившись, То-но тюдзё не решается настаивать.

— Не сумев отыскать
Тропу, что ведет к вершинам
Брат и Сестра*,
Я заблудился и вышел
На мост Безответной любви... —

сетует он, но кто тому виною?..

— «Заблудился» —
О том я не ведала.
Терялись в тумане
Вершины Брат и сестра,
К ним и я искала дорогу...



Полагаю, что моя госпожа до сих пор не поняла, какой смысл вкладывали вы в свои письма. Она болезненно робка и придает слишком большое значение мнению света, потому и не решается отвечать вам. Но я уверена, что скоро все изменится, — говорит Сайсё. И разве она не права?

— Хорошо-хорошо, я и сам понимаю, что не годится так долго задерживаться здесь, — соглашается То-но тюдзё. — Я слишком мало сделал для вашей госпожи и не имею права обижаться. Что ж, все еще впереди...

И он встает, собираясь уходить.

По прекрасному небу плывет светлая луна, в лунном сиянии стройная фигура облаченного в носи юноши кажется особенно изящной. Разумеется, до Сайсё-но тюдзё из дома Великого министра ему далеко, но по-своему и он хорош.

«Отчего все юноши, к этому семейству принадлежащие, так красивы?» — восторгаются дамы, восхваляя достоинства молодых людей и забывая об их недостатках.

То-но тюдзё служил в правой Личной императорской охране, являясь там вторым по старшинству лицом после Удайсё, который часто вызывал юношу к себе для обсуждения особо важных дел, одновременно используя его как посредника в сношениях своих с министром Двора. Удайсё был человеком вполне достойным, к тому же многие прочили его на место Высочайшего попечителя. Словом, лучшего зятя найти было трудно, но министр

Двора решил во всем положиться на Гэндзи. «Разве могу я противиться намерению Великого министра? К тому же у него наверняка есть причины распорядиться ее будущим именно таким образом...» — рассудил он.

Удайсё был единоутробным братом матери принца Весенних покоев. Государь благоволил к нему более, чем к кому бы то ни было, не считая, разумеется, обоих министров. Лет ему было около тридцати двух — тридцати трех. Его супруга, кажется, приходилась сестрой госпоже Мурасаки. Ну конечно, она же старшая дочь принца Сикибукё! Она была на несколько лет старше мужа, что, впрочем, никак не умаляло ее достоинств, но вот нрав ее почему-то пришелся Удайсё не по душе. Не называя ее иначе, как «моя старуха», он только и думал о том, как бы с ней расстаться. Скорее всего именно эти обстоятельства и заставляли Великого министра терзаться сомнениями. Да и в самом деле, разве его питомица не заслуживала лучшей участи?

Удайсё никогда не был человеком легкомысленным, к безрассудствам юности склонным, но девушка из Западного флигеля целиком завладела его думами.

Имея надежного осведомителя, он сумел выведать многое, и прежде всего узнал, что сам министр Двора не выказывает неодобрения его искательству, а девушка не проявляет особого желания идти на придворную службу. Воодушевленный полученными сведениями, он попытался заручиться поддержкой дамы по прозванию госпожа Бэн.

— Я знаю, что Великий министр настроен против меня. Но поскольку мое желание не идет вразрез с намерениями родного отца...

Наступила Девятая луна. Однажды в прекрасный утренний час, когда на землю лег первый иней, дамы, всегда готовые услужить тому или иному из поклонников юной госпожи, украдкой принесли в ее покои письма. Сама госпожа не стала их читать, но слушала, как дамы читают их вслух. Было там и письмо от Удайсё.

«Долгая луна вселяла в меня надежду*, но вот и она на исходе. И я печалюсь, глядя на унылое небо...

Я слишком ничтожен,
Чтобы испытывать ненависть
К Долгой луне.
Жизнь бы отдал свою,
Только б она не кончалась...»

Судя по всему, Удайсё было хорошо известно, что, как только кончится Долгая луна, девушка поступит на службу во Дворец.

А вот что написал принц Хёбукё:

«Я понимаю, сколь напрасны мои упования, и сколь бессмысленны пени...

Пусть даже тебя
Озарит солнца утренний луч,
Жемчужный тростник,
Надеюсь, не сразу страхнешь
Иней, лежащий на листьях... (248)

По крайней мере мне будет отрадно сознавать, что Вы знаете о моих чувствах...»

Письмо принца было привязано к тонкому и поблекшему стеблю тростника, на листьях которого еще сохранился иней. Под стать этому стеблю был и гонец.

Сахёэ-но kami, сын принца Сикибукё, приходился братом госпоже Мурасаки. Часто бывая в доме Великого министра, он хорошо знал обо всем, что там происходит. Вот и теперь, не в силах сдерживать досаду, поспешил высказать девушке свои обиды:

«Забуду тебя —
Решил, но от этого
Лишь тяжелее.
Что же будет со мною,
Как же мне быть теперь?» (249)

При полном несходстве все без исключения письма были очень хороши — каждое по-своему. Прекрасно подобранный цвет бумаги, изысканные оттенки туши, чарующий аромат...

— Всем им очень скоро придется выбросить вас из сердца, — сетовали дамы. — А жаль, без этих писем будет скучно!

А что думала юная госпожа?

Она ответила только принцу Хёбукё, причем чрезвычайно кратко:

«Раскрыв лепестки,
Тянется к солнцу мальва.
Но разве она
Вольна с листьев своих
Сбрасывать утренний иней?»

Знаки, начертанные бледной тушью, показались принцу необыкновенно изящными. Всего несколько слов, случайных, словно росинки на листке, но они были проникнуты искренним сочувствием, и принц возрадовался, хотя может ли что-нибудь быть ненадежнее такого утешения?

В те дни девушка получила много и других, совсем уж незначительных писем, полных обид и любовных жалоб.

Говорят, оба министра решили, что она вела себя безукоризненно, и всем женщинам следует брать с нее пример...





КИПАРИСОВЫЙ СТОЛБ

Основные персонажи

Великий министр (Гэндзи), 37–38 лет

Удайсё (Хигэкуро) — супруг Тамакадзура

Девушка из Западного флигеля, госпожа Найси-но ками (Тамакадзура) — дочь Югао и министра Двора, приемная дочь Гэндзи

Министр Двора, министр со Второй линии (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

Государь (Рэйдзэй) — сын Фудзицубо и Гэндзи (официально — сын императора Кирицубо)

Нёго Кокидэн — дочь министра Двора, наложница императора Рэйдзэй

Принц Хёбукё (Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

Госпожа Мурасаки, госпожа Весенних покоев, 29–30 лет — супруга Гэндзи, дочь принца Сикибукё

Госпожа Северных покоев в доме Удайсё — первая супруга Хигэкуро, дочь принца Сикибукё

Девочка (Макибасира), 12 (13)–13 (14) лет — дочь Хигэкуро

То-но тюдзё (Касиваги) — сын министра Двора

Госпожа Оми — побочная дочь министра Двора

Сайсё-но тюдзё (Югири), 16–17 лет — сын Гэндзи

— СТРАШНО ПОДУМАТЬ, что будет, если об этом узнает Государь, — предостерегал Великий министр. — Постарайтесь пока не предавать дело огласке.

Однако Удайсё совсем потерял голову. Прошло немало времени со дня их первой встречи, но юная госпожа из Западного флигеля по-прежнему сторонилась его и целыми днями грустила, сетуя на злосчастную судьбу. Это не могло не обижать Удайсё, но чаще он умилялся и радовался, подерживаемый уверенностью в давней связанности их судеб.

Каждый день он обнаруживал в своей возлюбленной все новые и новые достоинства и содрогался от ужаса, представляя себе, сколь легко она могла стать достоянием другого. Он готов был возносить хвалы как бодхисаттве Каннон из храма Исияма, так и прислужнице Бэн, но молодая госпожа по-прежнему избегала его, относясь к нему с неприкрытой враждебностью, а посему, надеясь добиться ее расположения, он почти никуда не отлучался, даже во Дворце не бывал.

Впрочем, скорее всего дело действительно не обошлось без вмешательства Каннон, ибо как иначе объяснить поведение юной госпожи, которая из всех своих поклонников, изнывающих от любви к ней, выбрала того, к кому не имела ни малейшей сердечной склонности? Великий министр, никогда не одобрявший искательств Удайсё, был весьма раздосадован, но мог ли он что-нибудь изменить? Поскольку союз этот получил всеобщее признание, было бы дурно и несправедливо по отношению к Удайсё выказывать теперь свое недовольство, поэтому Великому министру ничего не оставалось, как отпраздновать это событие с возможной пышностью и взять на себя заботы о зяте.

Удайсё, желая как можно быстрее перевезти супругу к себе, торопил с приготовлениями, но Великий министр все не давал своего согласия, якобы из опасения, что столь неоправданная поспешность повредит доброму имени юной госпожи, не говоря уже о том, что ей нелегко будет жить в одном доме с особой, навверняка настроенной по отношению к ней враждебно.

— Я полагаю, что торопливость в таких делах губительна, — сказал он. — Действуйте тихо, без особой огласки, и никто вас не осудит.

— Что ж, пожалуй, это и к лучшему, — потихоньку говорил своим близким министр Двора. — А то я беспокоился, предвидя, что на долю ей выпадет немало страданий. Поступать на службу во Дворец, где царят довольно вольные нравы, не имея надежного покровителя... Разумеется, я готов позаботиться о ней, но ведь есть еще и нёго Кокидэн, которая занимает при Государе вполне определенное положение. Могут ли я не считаться с этим?

В самом деле, как ни почетно прислуживать Государю, он скорее всего оказывал бы предпочтение другим дамам, и девушка крайне редко удостоивалась бы его внимания, к тому же с ней вряд ли обращались бы как со значительной особой, словом, ее положение при дворе, несомненно, было бы весьма шатким.

Поэтому, когда министру Двора донесли, какими посланиями обменялись новобрачные на Третью ночь, он от всего сердца порадовался за юную госпожу и возблагодарил Великого министра, проявившего по отношению к ней столь трогательную заботливость.

Поначалу союз этот был окружен тайной, но скоро люди проведали о нем и стали передавать один другому эту волнующую новость, так что в конце концов весь мир заговорил о столь необыкновенном событии. Слух о том дошел и до Государя.

— Досадно, что наши с ней судьбы оказались несвязанными, — изволил посетовать он. — Впрочем, если она по-прежнему готова поступить на придворную службу, я ничего не имею против. Хотя теперь о более высоком положении не может идти и речи.

Настала Одиннадцатая луна. Во Дворце одно за другим проходили торжественные празднества, доставлявшие немало забот дворцовым прислуж-

ницам. Они то и дело обращались за советами к новой своей начальнице, поэтому в Западном флигеле в те дни царило необычайное оживление. К величайшему огорчению госпожи Найси-но ками, Удайсё теперь даже в дневное время оставался в ее покоях, прячась от посторонних взглядов.

Надобно ли рассказывать о том, каким разочарованием был этот союз для принца Хёбукё и прочих?

Сахёэ-но ками печалился еще и потому, что имя младшей сестры его, госпожи Северных покоев в доме Удайсё, стало достоянием людской молвы. Однако же ему ничего не оставалось, как смириться. Да и в самом деле, разумно ли было теперь кого-то винить?

Удайсё, всегда пользовавшийся в мире славой человека благонравного и благоразумного, не способного на сумасбродства, теперь словно переродился. Как будто, отдав сердце девушке, он вдруг впервые ощутил вкус к жизненным удовольствиям. Когда приходил он к ней вечером и уходил на рассвете, дамы наперебой восторгались великолепием его наряда и изысканностью манер. Однако сама госпожа утрачивала в его присутствии всю свою жизнерадостность. Глубокое уныние, отражавшееся на лице ее, ясно говорило о том, что не по сердечной склонности вступила она в этот союз. Со стыдом представляя себе, что должен думать теперь о ней Великий министр, вспоминая, сколько искренней нежности было в посланиях принца Хёбукё, она еще больше тяготилась присутствием Удайсё и обращалась с ним весьма сурово.

Наконец-то все, кто жалел юную госпожу из Западного флигеля и питал сомнения на ее счет, получили возможность убедиться в том, что она чиста. «О, ведь я никогда не обнаруживал склонности к случайным, недозволенным связям», — думал Гэндзи, вспоминая былые увлечения.

— Вот видите, — не преминул сказать он госпоже Мурасаки, — а ведь, наверное, и вы сомневались во мне.

«Теперь тем более не следует поддаваться искушению», — решил Гэндзи, но не так-то просто было заставить себя отказаться от той, к которой еще совсем недавно сердце его влеклось с такой неодолимой силой, что, казалось, готовы были рухнуть последние преграды.

Однажды днем, когда Удайсё куда-то уехал, Великий министр зашел в Западный флигель. Удрученная столь скорой и неожиданной переменой в своей жизни, госпожа Найси-но ками постоянно чувствовала себя больной и редко бывала в хорошем расположении духа. Однако же, узнав о приходе Великого министра, нашла в себе силы подняться и побеседовать с ним через занавес.

Гэндзи проявляет необычную для него осторожность и держится куда церемоннее, чем прежде, стараясь касаться в разговоре лишь самых общих предметов. Постоянно видя рядом с собой человека вполне заурядного, ограниченных способностей, юная госпожа смогла наконец в полной мере оценить достоинства Великого министра и теперь, глядя на него, печально роняет слезы. Ей стыдно, неловко. Ведь еще совсем недавно она и помыслить не могла, что ее жизнь так внезапно изменится. Постепенно разговор становится более доверительным. Министр сидит, облокотясь на стоящую рядом скамеечку, и время от времени заглядывает за занавес. Бледное, осунувшееся лицо Найси-но ками кажется ему необыкновенно привлекатель-

ным. Ее нежные черты словно стали еще нежнее, и Гэндзи в который раз жалеет о том, что согласился отдать ее другому.

— Из этой реки
Я сам не пробовал черпать.
И все же не думал,
Что к переправе последней
Тебя кто-то другой поведет... * (250)

Увы, трудно было предвидеть... — всхлипывая, говорит он, и лицо его так прекрасно, что дрогнуло бы самое суровое сердце. Пряча лицо, Найси-но ками отвечает:

— Хотела бы я,
На реке Слез растаять
Легкою пеной,
Прежде, чем к трем переправам
Приведет дорога меня...

— Что за детское желание! — улыбнувшись, говорит министр. — Разве есть средство миновать эти три переправы? Единственное, чего желал бы я, — перевести вас самому, крепко держа за руку. Впрочем, если говорить всерьез, — добавляет он, — вы, наверное, успели понять, что более безобидного и доверчивого глупца, чем я, трудно сыскать в этом мире. Все же я не теряю надежды...

Заметив, что госпоже Найси-но ками явно неприятно все это слушать: «Что толку теперь?...», министр поспешно переводит разговор на другую тему.

— Я полагаю, что мы не вправе пренебрегать желанием Государя, поэтому мне представляется совершенно необходимым перевезти вас во Дворец хотя бы на некоторое время. При том, что господин Удайсё считает вас теперь своей личной собственностью, вам будет чрезвычайно трудно исполнять придворные обязанности. Все сложилось совершенно не так, как я предполагал, но, поскольку министр со Второй линии доволен, мне вряд ли стоит проявлять беспокойство.

Слушая его, госпожа Найси-но ками молча заливается слезами, растроганная и одновременно смущенная. Видя ее в таком унынии, Великий министр из жалости к ней не позволяет себе никаких вольностей и лишь объясняет, как следует вести себя во Дворце и в чем будут заключаться ее обязанности. Судя по всему, он готов любыми средствами отдалить ее переезд в дом супруга.

Удайсё же, недовольный решением Великого министра, дает свое согласие лишь потому, что рассчитывает прямо из Дворца, где Найси-но ками проведет несколько дней, перевезти ее к себе. К тому же его тяготит необходимость тайно посещать супругу, это ему слишком непривычно, и он с воодушевлением принимается приводить в порядок свое запущенное жилище, приказывает вычистить покои, обновить убранство, подготовить все необходимое для переезда. При этом он совершенно не замечает, как удручена происходящим госпожа Северных покоев, и даже на детей, которые были прежде столь милы ему, не обращает никакого внимания.

Люди мягкосердечные, обладающие чувствительной душой, при любых обстоятельствах стараются прежде всего щадить чувства окружающих, однако Удайсё, будучи человеком своенравным, делал много такого, что возмущало его первую супругу и надрывало ей сердце. Она же была не из тех женщин, которыми можно легко пренебречь. Ее отец, принц Сикибукё, принадлежавший к высшей столичной знати, дал дочери воспитание, соответствующее ее полу и званию. В свете о ней отзывались весьма благосклонно, к тому же она была хороша собой. Но, к несчастью, уже много лет преследовал ее на редкость упорный дух, и часто, вовсе теряя рассудок, она лишалась человеческого облика, что скорее всего и послужило причиной охлаждения к ней супруга. Однако до сих пор не находилось никого, кто дерзнул бы посягнуть на ее положение в доме Удайсё, и только теперь, когда его сердцем завладела дочь министра Двора — прекраснейшая из прекрасных, к тому же оказавшаяся неповинной в том, в чем ее подозревали... Мудрено ли, что Удайсё совсем потерял голову?

Услыхав о намерениях зятя, принц Сикибукё¹ сказал:

— Хорошо, если для вас найдется хоть какой-нибудь жалкий уголок в доме, когда он перевезет к себе эту молодую, блестящую особу. Над вами станут смеяться! Нет, пока я жив, я не позволю моей дочери позорить свое имя!

Приведя в порядок Восточный флигель своего дома, он готов был немедленно перевезти дочь к себе, но ее одолевали сомнения. Хотя и родным был для нее этот дом, могла ли она вернуться туда и, открыто признав, что пришел конец ее казавшемуся таким прочным супружеству, вверить себя попечениям отца? От тягостных мыслей рассудок ее помрачился, и она слегла.

От природы супруга Удайсё была кроткого, миролюбивого нрава, простодушная, словно дитя. Однако частые приступы безумия отвращали от нее близких. В покоях ее царил невообразимый беспорядок, одевалась она небрежно, подчас просто неопрятно, вид имела угрюмый и мрачный. Ей ли было соперничать с окруженной изысканнейшей роскошью Найси-но ками? Впрочем, не так-то легко разорвать столь давние узы, и в глубине души Удайсё до сих пор жалел ее.

— Людям нашего состояния, — говорил он, — даже если их и не связывает столько вместе прожитых лет, должно проявлять терпимость, ибо единственно она может стать залогом вечного согласия. Ваше болезненное состояние мешало мне поговорить с вами. Но подумайте, разве нас не связывает давний обет? Разве я не выказывал своей готовности заботиться о вас всегда, несмотря на вашу болезнь, которая делает вас столь непохожей на других женщин? Долгие годы вы были единственным предметом моих попечений, я молча сносил все ваши причуды, отчего же вы решили, что так не может продолжаться и впредь? Неужели вы и в самом деле собираетесь покинуть меня? Я не раз говорил вам, что никогда не оставлю вас, хотя бы потому, что у нас есть дети, но, видно, женщина, тем более такая, как вы, не всегда способна владеть своими чувствами, и вы не упускаете случая упрекнуть меня. Я понимаю, что трудно требовать от вас иного, пока вы не убедитесь в искренности моих намерений, но доверьтесь же мне и потерпите еще немного. Подумайте, разве для вашего доброго имени не более губительно поведение вашего отца, который чуть что сразу же приходит в ярость и

во всеуслышание заявляет, что немедленно заберет вас к себе? Не знаю только, действительно ли он этого хочет? Или просто решил проучить меня?

Тут на лице Удайсё появилась усмешка, которая рассердила бы кого угодно, но госпожа Северных покоев, находясь в тот миг в здравом рассудке, проявила необычайную кротость и только заплакала горько. Это было тем более удивительно, что даже госпожа Моку, госпожа Тюдзё и другие близкие Удайсё дамы в последнее время нередко позволяли себе открыто выказывать ему свое недовольство.

— Вы всё стыдите меня: мол, и глупа я, и безумна, — сказала госпожа Северных покоев. — Что ж, наверное, вы правы. Но зачем впутывать сюда моего отца? Он может узнать об этом. Мне бы не хотелось, чтобы о нем дурно говорили в мире только потому, что судьба послала ему столь злополучную дочь. Сама я настолько ко всему привыкла, что научилась не обращать внимания на ваши слова.

Женщина повернулась к нему спиной, и сердце его болезненно сжалось. Она всегда была хрупкого сложения, а в последнее время, изнуренная долгой болезнью, еще больше похудела и побледнела, ее когда-то длинные и густые волосы поредели, словно кто-то нарочно вырвал несколько прядей, к тому же она не часто их расчесывала, и они совсем спутались, а теперь еще и намокли от слез. Словом, при виде ее у всякого дрогнуло бы от жалости сердце. Она никогда не отличалась яркой внешностью, но, унаследовав от отца мягкое изящество черт, была довольно миловидна. Возможно, если бы она не перестала следить за собой... А так, что в ней могло быть привлекательного?

— Я никогда не позволял себе непочтительно отзываться о принце! Прошу вас остерегаться подобных обвинений, которые к тому же могут быть дурно истолкованы, — говорит Удайсё, пытаясь смягчить ее. — Все дело в том, что в доме Великого министра я чувствую себя весьма неловко. Столь грубому человеку, как я, не место в драгоценных чертогах, и я невольно привлекаю к себе внимание, которое меня смущает. Ради собственного спокойствия я и решил перевезти ее сюда. Мне незачем говорить вам о том, каким влиянием в мире пользуется Великий министр, вы и сами знаете. Я бы не хотел, чтобы до его домочадцев, которых благополучию можно лишь позавидовать, дошли слухи о вашем неблагоприятном поведении. О вас станут дурно говорить, и мне будет неловко. Но я надеюсь, что вы будете вести себя спокойно и дружелюбно. Разумеется, я не оставляю вас своими заботами, даже если вы переедете к отцу. Нас связывает слишком многое, и мы не можем сразу стать друг другу чужими. Но мне будет неприятно, если люди станут злословить и смеяться над вами, тем более что из-за этого пострадает и мое доброе имя. Не лучше ли нам и впредь жить в мире и согласии, во всем помогая друг другу, храня верность прежним обетам? — увещевает он ее, а женщина отвечает:

— Я не обижаюсь на вас, мне больно за отца. До сих пор он печалился из-за того, что я не похожа на обычных людей, а теперь станет терзаться еще и из-за насмешек, которые со всех сторон посыплются на меня. Осмелюсь ли я показаться ему на глаза? Я знаю, что супруга Великого министра мне не чужая, хотя она и воспитывалась вдали от отца. Насколько мне известно, он обвиняет ее в том, что, приняв на себя обязанности матери этой особы,

она причинила немало горя нашему семейству, но я никого не упрекаю. Я просто жду, что будет дальше.

— Разумные слова, — замечает Удайсё. — Но боюсь, что, если ваш рас судок снова помрачится, вы натворите немало бед. Кстати говоря, совершенно напрасно винить в происшедшем супругу Великого министра. Господин министр лелеет ее, как единственную, нежно любимую дочь, какое ей может быть дело до особы, занимающей в доме куда более низкое положение? Уж во всяком случае, она не считает себя ее матерью. Мне бы не хотелось, чтобы об этом узнал Великий министр.

Они проговорили весь день. Когда же наступил вечер, Удайсё овладело беспокойство, он только и помышлял о том, как бы побыстрее оказаться в доме на Шестой линии. Тут повалил густой снег — погода явно не благоприятствовала ему. Несомненно, если бы госпожа была в дурном расположении духа и донимала его упреками, он не преминул бы перейти в наступление и удалиться, но ее невозмутимая покорность вызывала невольное сочувствие, и Удайсё терзался, не зная, как лучше поступить. Решетки еще не были опущены, и, подойдя к галерее, он остановился, в нерешительности глядя на сад. Посмотрев на него, госпожа говорит:

— Какая досада, что пошел снег! Как вы поедете? Скоро стемнеет...

Она торопит мужа, как будто понимая, что бессмысленно удерживать его теперь, когда все кончено. Право, нельзя не растрогаться, на нее глядя.

— И впрямь, в такую погоду... — вздыхает Удайсё, но тут же добавляет: — Все же, мне не следует пренебрегать ею хотя бы на первых порах. Не ведая глубины моих чувств, ее дамы наверняка начнут судачить, по-своему объясняя мое отсутствие. Разговоры эти так или иначе дойдут до министров, а мне не хотелось бы навлекать на себя их немилость. Постарайтесь же успокоиться и наберитесь терпения. Как только я перевезу ее сюда, все уладится. Право, вы так милы мне, когда рассуждаете здраво, что я ни о ком другом и не помышляю.

— А мне гораздо тяжелее, когда сами вы рядом со мной, а сердце ваше далеко... — тихо отвечает госпожа. — Когда же вы будете с другой и вспомните обо мне, лед, «рукава сковавший» (252), и тот растает...

Придвинув к себе курильницу, она принимается старательно окуривать его одежды. На ней самой мягкое домашнее платье, в котором она кажется еще более худой и болезненной, чем обычно. Ее печаль столь трогательна, что просто нельзя не принять в ней участия. Опухшие от слез глаза отнюдь не красят ее, но теперь, когда он смотрит на нее с приязнью, это уже не имеет значения. «Все-таки мы прожили вместе столько лет... — думает он. — Какое непростительное легкомыслие!» Но, увы, волнение его растет с каждым мигом, притворно вздыхая, он одевается, затем, берет две маленькие курильницы и вкладывает их в рукава, дабы насытить ароматом.

Одетый в мягкое, свободное платье, он производит довольно приятное впечатление мужественной, благородной осанкой и особым достоинством, которое проглядывает в каждом его движении, — словом, хотя и далеко ему до несравненного, блистательного Гэндзи...

Из людской доносятся голоса:

— Снег, кажется, уже перестал идти...

— Да и стемнело совсем...

Приближенные Удайсё как бы между прочим покашливают, поторапливая его. Дамы Моку и Тюдзё уже легли, вздыхая и жалуясь друг другу на печальную изменчивость этого мира. Госпожа, грустная и прелестная в своей задумчивости, сидит, прислонившись к чему-то, но вдруг вскакивает, выхватывает из-под большой плетенки курильницу и, подбежав к Удайсё сзади, высыпает содержимое ему на платье! Никто и вскрикнуть не успевает, а сам Удайсё, совершенно растерявшись, застывает на месте. Мельчайшие частицы пепла забиваются ему в глаза, в нос, он стоит, бессмысленно озираясь, не понимая, что произошло.

Одежду, густо усыпанную пеплом, пришлось снять, очистить ее не удалось. Будь госпожа в здравом уме, подобная выходка скорее всего окончательно оттолкнула бы от нее супруга, но она явно не владела собой, и дамы смотрели на нее с жалостью: «Этот злой дух словно нарочно хочет поссорить их». Они засуетились, принесли новое платье, и Удайсё поспешил переодеться. Но пепел засыпал ему бороду, казалось, им было покрыто все тело, разве мог он появиться в таком виде в сверкающих чистотой покоях Найси-но ками?

«Я понимаю, что разум госпожи помрачен, но, право, всякому терпению есть предел, это просто неслыханно!» — возмущался он, и в сердце его росла неприязнь к супруге, постепенно вытесняя последние остатки жалости.

Понимая, однако, что всякие решительные меры привели бы к нежелательным последствиям, он постарался овладеть собой и, хотя стояла глубокая ночь, призвал монахов, которые немедленно стали произносить над больной молитвы и заклинания. Можно себе представить, с какой жалостью и с каким отвращением прислушивался Удайсё к безумным воплям супруги...

Всю ночь монахи били тело больной четками, тянули его в стороны, а она рыдала и металась. К утру же, когда несчастная немного успокоилась, Удайсё отправил к Найси-но ками весьма обстоятельное письмо следующего содержания:

«Вчера вечером одна из особ, в моем доме живущих, едва не покинула этот мир. Кроме того, ехать в такой снег было почти невозможно, я долго не мог решиться, и, в конце концов, совсем продрог на своем холодном ложе... О Вас я уже не спрашиваю, но как отнеслись к моему отсутствию Ваши дамы?

Мечется снег
По небу. Тревожно
У меня на душе.
Одинокий рукав в изголовье
За ночь заledenел...

О, это невыносимо!..»

Письмо было написано густой черной тушью на тонкой белой бумаге, но особенным изяществом не отличалось. Разве что почерк весьма недурен. Удайсё всегда слыл человеком прекрасно образованным.

Госпожу Найси-но ками ничуть не огорчило отсутствие Удайсё, она даже не стала читать его проникнутое душевным трепетом письмо. Не получив ответа, он совсем приуныл и весь день провел в опочивальне, погруженный в глубокую задумчивость.

Состояние госпожи Северных покоев оставалось чрезвычайно тяжелым, и Удайсё заказал молебен. Да и сам в душе неустанно взывал к буддам, моля хоть на время вернуть ей разум. «Что за отталкивающее зрелище! — думал он. — Право, не знаю я, какая на самом деле у нее нежная душа, я вряд ли смог бы выдержать столько лет...»

Когда стемнело, Удайсё по обыкновению своему заторопился к Найси-но ками. О подходящем платье никто не позаботился, все, какие имелись, были слишком неприглядны, да и сидели дурно, но сердись не сердись — на то, чтобы приготовить новое, приличное случаю, уже не оставалось времени. Вчерашнее же платье было прожжено во многих местах и пахло паленым, причем запах перешел и на нижние одежды. Понимая, что столь явное свидетельство дурного нрава его первой супруги вряд ли доставит удовольствие Найси-но ками, Удайсё снял его и, выйдя в умывальню, долго приводил себя в порядок.

Госпожа Моку тем временем пропитывала его одежду благовониями.

— Осталась одна
С опаленной душою.
Видели мы —
Пламя жгучей обиды
Вырвалось вдруг наружу...

В последнее время вы так изменились к госпоже, что даже вчуже жаль... — говорит она, прикрываясь рукавом.

Глаза и лоб ее весьма хороши, но Удайсё глядит на нее с досадой: «О чем я только думал, заводя любовные речи с подобной особой?»

Ну не жесток ли он?

— Немало невзгод
Я изведаль за эти годы,
И немало обид
Скопилось в душе, дым досады
Грудь теснит и рвется наружу...

Если госпожа Найси-но ками узнает об этом непристойном случае, я наверняка останусь ни с чем, — вздыхает Удайсё и выходит.

Всего одну ночь не видел он своей юной супруги, но ему показалось, что за это время она стала еще прекраснее. Очарованный, он забыл обо всем и долго не покидал ее покоев.

Ему доносили, что в его доме по-прежнему усердствуют монахи и злые духи, появляясь во множестве, оглашают воздух дикими воплями, поэтому он старался бывать там как можно реже, опасаясь новых неприятностей, способных повредить его доброму имени. Когда же ему все-таки приходилось заезжать туда, он держался подальше от Северных покоев и сообщался только с детьми.

У него была дочь двенадцати или тринадцати лет и два сына. В последнее время супруги отдалились друг от друга, но все же положение, которое занимала в доме Удайсё госпожа Северных покоев, оставалось довольно прочным. Теперь же и на это нельзя было надеяться, поэтому прислужницы ее предавались печали.

Услышав о том, принц Сикибукё заявил:

— Терпение, с которым моя дочь готова сносить грубости и оскорбления супруга, несовместимо с честью нашего дома. Над ней станут смеяться. Пока я жив, ей незачем проявлять такую покорность и смирение.

И, не долго думая, прислал за ней.

Как раз к тому времени госпожа Северных покоев пришла в себя и, печально вздыхая, размышляла о непрочности всего мирского. Когда дамы сообщили, что за ней приехали, она подумала: «Право, стоит ли противиться воле отца? К чему оставаться здесь и смотреть, как Удайсё отдаляется от меня? Все равно когда-нибудь придется смириться, но потом это будет еще унижительнее...» И решилась.

Полагая, что участие ее старшего брата Сахёэ-но ками, имевшего довольно высокий чин при дворе, привлечет к переезду ненужное внимание, отец прислал за ней Тюдзё, Дзидзю и Мимбу-но таю с тремя каретами. Хотя ни у кого из ее прислужниц давно уже не было сомнений в подобном исходе, они горько заплакали, узнав, что пришла пора расстаться с домом, где прожито столько лет.

— Госпожа успела отвыкнуть от отчего дома, — сетуют одни. — Ей будет там тесно и неудобно. Да и сумеем ли мы там все разместиться?

А другие, решив: «Переедем к себе, а когда все уладится...», отправляют в отчие дома свой жалкий скарб, готовясь последовать вслед за ним при первой же возможности.

Оставшиеся же, содрогаясь от рыданий, не сулящих в такой день ничего доброго, собирают необходимые госпоже вещи. Душераздирающее зрелище!

Только дети ничего не понимают и, призвав их к себе, мать говорит, плача:

— Я смирилась со своей горькой долей. Мне незачем больше жить в этом мире, и мне безразлично, что со мною станется. Но у вас вся жизнь впереди, и мне не хотелось бы оставлять вас без всякой опоры. Дочери при любых обстоятельствах лучше жить со мной. А мальчикам придется постоянно бывать в этом доме и видеться с отцом. Только боюсь, что он уже не сможет уделять вам прежнее внимание, и ваше положение в мире станет весьма шатким. Пока жив принц Сикибукё, у вас есть формальные основания рассчитывать на более или менее приличное положение при дворе, но поскольку мир находится под властью двух министров, а мы принадлежим к семейству, навлекшему на себя их немилость, выдвинуться будет не так-то просто. О, я и в следующих рождениях не прощу себе, если вам придется из-за меня скитаться по свету.

Дети не могут еще понять смысла всего сказанного, но лица их искажаются, и они тоже начинают плакать.

— Подобные случаи описаны и в старинных повестях, — вздыхая, говорит госпожа собравшимся кормилицам. — Самый любящий отец в силу тех или иных обстоятельств может охладеть к своим детям, особенно если попадет под чужое влияние. А на Удайсё, который только называется отцом, тем более трудно положиться. Даже когда дети были рядом с ним, он почти не обращал на них внимания... Ах, да что говорить...

Тем временем день преклоняется к вечеру, небо темнеет, кажется, вот-вот пойдет снег... Что за унылая картина!

— Как бы не началась метель! — торопят братья, а госпожа, отирая слезы, задумчиво смотрит на сад. Девочка, всегда бывшая любимицей отца, безутешна: «Как же я буду жить без него? Вдруг нам не суждено больше встретиться, а я уеду, даже не попрощавшись!»

Она падает ничком и не желает двигаться с места. Мать пытается образумить ее, говоря:

— Тырываешь мне сердце!

Но девочка не отвечает и, затаив дыхание, прислушивается — не едет ли отец? Но, увы, уже совсем поздно, разве можно рассчитывать, что он сдвинется с места в такой час? Сердце ее печально сжимается. Вот и у ее любимого столба в восточной части покоев будет теперь сидеть кто-то другой... Она достает листок темно-коричневой бумаги, пишет на нем несколько слов, затем, вложив листок в трещину на столбе, прикалывает краешек шпилькой:

«Пусть этот дом
Я сегодня покину,
Не забывай
Обо мне, кипарисовый столб,
Мы ведь сроднились с тобою...»

Слезы струятся по ее щекам, не давая писать.

— Пора! — торопит ее госпожа Северных покоев. —

Даже если и станет
О тебе вспоминать с тоскою
Кипарисовый столб,
Что нас может теперь
Рядом с ним удержать?

Прислуживающие госпоже дамы — ведь у каждой есть свои причины для печали, всхлипывая, смотрят на сад: да, отныне им будет недоставать даже этих цветов и деревьев, на которые прежде они и внимания не обращали.

Госпожа Моку прислуживает в покоях Удайсё, а потому остается в доме, и госпожа Тюдзё говорит:

— Как ни мелок
Ручей, по камням бегущий,
Он останется здесь.
Ужель удалиться должна
Хранительница дома?..

Думали ли мы, что так расстанемся?

— Ах, все равно
Ручей, по камням бегущий,
Покроется льдом.
Вряд ли долго еще
Придется ему журчать.

Увы... — рыдая, отвечает Моку.

Но вот, кареты выводят со двора, и госпожа долго еще оглядывается на дом. «Увижу ли я его снова?» — вздыхает она, не отрывая взгляда от верху-

шек деревьев, пока и они «не скрываются из виду». И вовсе не потому, что «ты здесь живешь...» (253). Слишком тяжело расставаться с домом, в котором прожито столько лет.

Встреча в отчем доме была печальна.

Мать рыдала, во всем обвиняя супруга:

— А вы еще уверяли меня, что в лице Великого министра обрели надежного покровителя? О, я всегда чувствовала, что и в прошлом, а может быть, не только в прошлом рождении он был вашим врагом. Разве не по его милости столько страданий выпало на долю нашей нёго? Вы, да, впрочем, и все остальные, полагали, что им движет желание отплатить вам за ту давнюю обиду, но, даже если и так, я не понимаю, почему это должно служить ему оправданием. Когда человек питает к супруге своей столь горячую привязанность, его благосклонность, как правило, распространяется на всех ее близких, а поведение Великого министра всегда вызывало у меня недоумение. Теперь и того хуже — взял на воспитание девушку весьма сомнительного происхождения, пресытившись же ею, решил обеспечить ее будущее и отдал Удайсё, известному своей добропорядочностью и сердечным постоянством. Да это просто неслыханно!

Она так кричала и бранилась, что принц не выдержал.

— Полно, я не желаю больше вас слушать! — сказал он. — Да как вы смаете порочить имя министра, которого никто не дерзнул бы осудить! Как всякий мудрый человек, он все взвесил заранее и решил, каким образом ему следует рассчитаться за обиды. Я виноват перед ним, и в этом мое несчастье. На первый взгляд он остается беспристрастным, а сам, помня об испытаниях, выпавших ему на долю, незаметно возвышает одних и принижает других, каждому воздавая по заслугам. Меня же только потому, что связывают нас столь тесные узы, он изволил в прошлом году осыпать такими почестями, каких я вряд ли заслуживаю. Все говорили об этом, и мы не должны забывать...

Эти слова привели супругу принца в ярость, и она разразилась проклятиями. Весьма сварливый нрав у этой госпожи, не правда ли?

Узнав, что госпожа Северных покоев переехала к отцу, Удайсё был вне себя от досады. «Что за нелепость? — возмутился он. — Так открыто обнаруживать свою ревность, притом, что мы уже далеко не молоды... Впрочем, я уверен, что сама она не настолько решительна. Виной всему вспыльчивый нрав принца».

Подумав о детях и о том, что по миру наверняка пойдет дурная молва, Удайсё совсем расстроился.

— Право, я никак не ожидал... — говорит он госпоже Найси-но ками. — Возможно, без нее нам будет спокойнее, но мне всегда казалось, что при своей удивительной кротости она сможет тихонько жить где-нибудь в отдаленных покоях, никому не мешая... Ее внезапный отъезд — дело рук принца Сикибукё, не иначе. Придется показаться там, а то люди не преминут обвинить меня в душевной черствости.

В роскошном верхнем платье, из-под которого выглядывало нижнее цвета «ива», в шароварах из зеленовато-серого шелка, он производил довольно внушительное впечатление, и дамы глядели на него с одобрением: «Ну чем он ей не пара?»

Однако сама госпожа, услышав о том, что произошло, стала терзаться еще более прежнего и даже не проводила супруга взглядом.

По дороге к принцу, которому он намеревался высказать свои обиды, Удайсё заехал домой. Его встретила госпожа Моку и рассказала, как все произошло. Когда она дошла в своем повествовании до дочери, Удайсё, хоть и собрал все свое мужество, не мог удержаться от слез. Они катились по щекам, и вид его вызывал невольное участие.

— А ведь я прощал госпоже самые невероятные выходки! — сетовал он. — Никто другой не стал бы заботиться о ней так, как заботился я все эти годы! А она не сумела оценить моей преданности! Разве человек, лишь о собственных удовольствиях помышляющий, оставался бы с ней до сих пор? Впрочем, ей уже ничем не поможешь, так не все ли равно? Но как принц собирается поступить с детьми?

Он внимательно прочел записку, прикрепленную к кипарисовому столбу, и, несмотря на неумелый еще почерк дочери, был настолько тронут ее сердечным порывом, что по дороге к принцу то и дело отирал слезы. Однако встретиться с супругой ему не удалось.

— Для чего? — сказал принц дочери. — Мы имели возможность убедиться в его умении склоняться перед сильными, это не первая его измена. К тому же он совершенно потерял голову, я давно уже слышал об этом. Вряд ли стоит надеяться, что он образумится. А состояние ваше будет с каждым днем ухудшаться...

В словах его была доля правды, этого нельзя не признать.

— Вы ведете себя, как дитя неразумное, — передал Удайсё супруге. — Я допустил непростительную неосторожность, будучи уверен в том, что вы прежде всего подумаете о детях. Но что толку объяснять? Мне кажется, вы могли бы проявить большую терпимость и не предпринимать столь решительного шага до тех пор, пока моя виновность не будет неопровержимо доказана в глазах всего света, и у вас не останется иного выхода.

Он просил, чтобы ему дали увидаться хотя бы с дочерью, но супруга не позволила ей выйти.

Что касается сыновей, то старший, десятилетний, прислуживал во Дворце. Он был очень мил, и все его хвалили, даром что особенным благородством черт он не отличался. Был он к тому же весьма смышлен и начинал проникать в душу вещей. Младшему недавно исполнилось восемь. Прелестное дитя, он был очень похож на сестру.

— Ты будешь мне напоминать о ней, — говорил Удайсё, лаская сына, и слезы текли по его щекам.

Он осведомился о принце, но тот отказался принять его. Занемог, мол, и сейчас изволит отдыхать. Встреченный столь нелюбезно, Удайсё поспешил уехать, прихватив с собой сыновей, с которыми ласково беседовал по дороге. Не имея возможности взять их с собой на Шестую линию, он завез их в свой дом, где и оставил.

— Побудьте здесь, я скоро вернусь, и мне будет приятно увидеть вас, — сказал он.

Мальчики печально смотрели ему вслед, такие трогательные, что на душе у Удайсё стало еще тяжелее, и только красота Найси-но ками, казавшаяся ему особенно яркой, когда он вспоминал изнуренное лицо своей бывшей

супруги, помогла ему утешиться. К величайшему возмущению принца Сикибукё, он перестал писать к госпоже Северных покоев, оправдывая свое нежелание сообщаться с ней тем нелюбезным приемом, который был оказан ему в доме ее отца.

Слух о происшедшем дошел до госпожи Весенних покоев из дома на Шестой линии и весьма опечалил ее.

— Как неприятно, что даже я навлекла на себя их упреки, — сказала она.

Великий министр тоже не скрывал досады:

— Увы, положение и в самом деле сложное. Я вовсе не вправе распоряжаться судьбой этой особы, а получилось так, что именно из-за нее я навлек на себя недовольство Государя. Говорят, и принц Хёбукё не меня обижает. Впрочем, у принца отзывчивое сердце, я уверен, он все поймет и перестанет сердиться. Увы, в отношениях между людьми всегда так бывает — даже то, что представляется скрытым от чужих глаз, неизбежно выплывает наружу. Я не чувствую за собой особой вины.

Все эти неприятности повергли госпожу Найси-но ками в еще большее уныние, и, жалея ее, Удайсё переменял свое прежнее решение. Он понимал, что ее представление ко двору было отменено исключительно по его вине, и опасался, что не только навлек на себя гнев Государя, который вполне мог заподозрить его в коварстве, но и много потерял в глазах обоих министров. Да и разве мало в мире мужчин, связанных обетом супружества с придворными дамами? Все эти соображения привели к тому, что, когда год опять сменился новым, Удайсё дал согласие на представление Найси-но ками ко двору.

В тот год устраивалось Песенное шествие, и церемонию представления приурочили к этому празднеству, что сообщило ей невиданный размах и великолепие. Впрочем, могло ли быть иначе — ведь помимо обоих министров у Найси-но ками был теперь еще один покровитель, и весьма влиятельный — Удайсё, да и Сайсё-но тюдзё не оставлял ее своими заботами.

Воспользовавшись случаем, во Дворец приехали ее родные братья, только и помышлявшие о том, как бы ей услужить. Право, редко кто удостоивается подобного внимания. Для госпожи Найси-но ками отвели покои в восточной части дворца Дзёкёдэн, которого западную часть занимала дочь принца Сикибукё, имевшая звание нёго. Покои их оказались отделенными друг от друга только узким проходом, но можно представить, сколь неодолимой была преграда, разделявшая их сердца.

В те времена в женских покоях Дворца был особенно силен дух соперничества, поэтому повсюду царила самая изысканная роскошь. Среди высочайших прислужниц почти не было суетливых кои. Помимо Государыни-супруги, нёго Кокидэн, дочери принца Сикибукё и дочери Левого министра, также имевших звание нёго, Государю прислуживали еще две дамы — дочь Тюнагона и дочь Сайсё.

В день Песенного шествия навестить дам приехали их родные, не желавшие упускать столь редкую возможность насладиться этим удивительным зрелищем. Дамы принарядились, и великое множество выглядывающих из-за занавесей рукавов сообщало особую значительность и великолепие происходящему.

Нёго Весенних покоев, славящаяся в мире своей утонченностью, позаботилась о том, чтобы принц, несмотря на малые годы свои, тоже имел достойное окружение.

Участники шествия обошли покои Государя, Государыни-супруги, затем посетили дворец Судзаку, а как к тому времени совсем стемнело, вернулись обратно, рассудив, что вряд ли уместно в столь поздний час заходить на Шестую линию.

Когда они обходили Весенние покои, небо стало светлеть. Скоро наступило прекрасное утро. Многие придворные, захмелев, пели «Бамбуковую реку». Сыновья министра Двора выделялись среди прочих приятностью лиц и нежностью голосов. Их присутствие придавало собранию необыкновенную значительность. Был здесь и восьмой сын министра, рожденный его главной супругой, прелестный мальчик, любимец отца. Госпожа Найси-но ками просто глаз не могла оторвать от него, когда стоял он рядом со старшим сыном Удайсё. Что ж, ведь не чужой он ей был... Дамы из ее покоев затмили всех — даже благородные особы, давно уже прислуживающие Государю, не могли с ними сравняться. Платья, выглядывающие из-за занавесей, концы рукавов были самого лучшего фасона и казались необычайно яркими, хотя цвета были у всех одинаковы. А уж сама госпожа...

— Как хорошо было бы пожить здесь подольше в беспечной праздности, — переговаривались дамы.

Дары, преподнесенные участникам шествия, мало чем отличались друг от друга, но головные украшения из шелковой ваты, которые получили они в покоях Найси-но ками, поражали особенным изяществом. В ее же покоях выставлялось угощение. Простое, но праздничное убранство покоев, любезное обращение дам сообщали происходящему необыкновенную значительность, притом, что ни одно из предписаний не было нарушено. Позаботился об этом Удайсё. Он остался во Дворце и целый день докучал супруге письмами одного и того же содержания:

«Сегодня ночью я перевезу Вас к себе. Как бы Вы не передумали и не воспользовались этим случаем, чтобы остаться во Дворце... Это было бы для меня большим ударом».

Но она даже ответить не пожелала. Вместо нее ответил кто-то из прислужниц:

— Господин министр просил не проявлять излишней торопливости. Госпожа впервые посетила Высочайшие покои и должна оставаться здесь столько, сколько пожелает Государь. Она может покинуть Дворец только тогда, когда на то будет высочайшее соизволение. Уехать сегодня ночью — это уж слишком...

Раздосадованный, Удайсё остался во Дворце:

— А ведь я столько раз предупреждал ее. Увы, мир неподвластен желаниям...

Принц Хёбукё тоже прислуживал в тот день Государю, но, пребывая в крайне рассеянном состоянии духа, то и дело устремлялся мыслями в покои Найси-но ками и, наконец, не выдержав, написал к ней.

Письмо принесли из караульни, где в то время находился Удайсё, поэтому госпожа Найси-но ками с трудом принудила себя его прочесть.

«В далеких горах
Сидят рядом, крылом к крылу,
Пташки на ветке...
До сих пор никогда не бывала
Мне так ненавистна весна... (55)

Издалека прислушиваюсь к их щебету...»

Госпоже Найси-но ками стало жаль принца, лицо ее залилось густым румянцем. Но вправе ли она была отвечать? Пока она медлила в нерешительности, в покои ее пожаловал Государь.

Его лицо, залитое ярким лунным светом, невыразимо прекрасно. Сходство же с Великим министром настолько разительно, что Найси-но ками просто не верит своим глазам: «Неужели в мире может быть еще один такой же человек?» Несомненно, Великий министр питает к ней самые искренние чувства, но слишком многое в их отношениях удручает ее, тогда как теперь...

Ласково пеняет ей Государь за то, что воспротивилась его желаниям. Она же, не смея даже взглянуть на него, молчит, спрятав лицо за веером.

— Меня удивляет и печалит ваше молчание, — говорит Государь. — Я надеялся, что сумел заслужить вашу признательность, но вы ведете себя так, будто вам ничего не известно. Должен ли я считать подобное равнодушие свойством вашей натуры?

Этот лиловый цвет*
Не для меня, я знаю.
Отчего же тогда
Я позволил ему проникнуть
В свое сердце так глубоко?

Неужели более густой оттенок не для нас?

Юная красота Государя приводит Найси-но ками в такое замешательство, что она лишается дара речи, и, только подумав: «А чем, собственно он отличается от Великого министра?» — немного успокаивается и отвечает ему.

Возможно, ей хотелось поблагодарить Государя за то, что ее, не имеющую никаких заслуг при дворе, повысили в ранге...

— Неведомо мне
Значенье лилового цвета.
Знаю одно:
Безгранично милостив тот,
Кто платье мое окрасил.

Надеюсь, у меня еще будет возможность доказать вам свою признательность.

— Увы, теперь что толку... — улыбаясь, говорит Государь. — Жаль, рядом нет человека, которому я мог бы высказать свою душу и который сумел бы рассудить нас...

В его голосе звучит упрек, и Найси-но ками приходит в замешательство. «Вот незадача! — вздыхает она. — Пожалуй, лучше вести себя более сдержанно, раз даже Государь подвержен обычным для мужчин этого мира слабостям». Так решив, Найси-но ками принимает церемонный вид, и Государь вынужден отказаться от непринужденно шутивого тона. «Что же, со временем она привыкнет», — думает он.

Услышав о том, что Государь изволил посетить Найси-но ками, Удайсё окончательно лишился покоя и снова стал торопить ее с отъездом. Впрочем, она и сама не хотела задерживаться, опасаясь, что дальнейшее пребывание во Дворце может иметь весьма неприятные для нее последствия. Выдумав убедительные основания для отъезда и прибегнув к содействию своего хитроумного отца, министра Двора, она в конце концов добилась разрешения Государя.

— Что ж, вы не оставляете мне иного выхода, — изволил сказать Государь. — Не разреши я вам уехать, супруг никогда больше не отпустит вас во Дворец. Признаюсь, мне тяжело расставаться с вами. Надеюсь, вы помните, что я первый обратил на вас внимание, но, к несчастью, позволил другому опередить себя и теперь поневоле вынужден считаться с ним. Право, я мог бы напомнить вам случай, происшедший в древности с одним человеком... (514)

Он казался искренне огорченным. Красота Найси-но ками превзошла все его ожидания, и он чувствовал себя несправедливо обиженным: ведь даже если бы она никогда не занимала его мыслей, ему было бы тяжело расставаться с ней... Однако, опасаясь, что излишняя пылкость может оттолкнуть ее, Государь ограничился заверениями в неизменном расположении и, как мог, постарался завоевать ее доверие. Однако госпожа Найси-но ками только смущалась, думая: «Мы сами не знаем, кто мы...» (514)

Государь изволил покинуть ее покои лишь тогда, когда носилки были поданы и приближенные всех ее покровителей суетились, готовясь к отъезду, а Удайсё с озабоченным видом ходил туда-сюда, явно недовольный задержкой.

— Право, тяжело иметь столь сурового телохранителя, — сердито говорит Государь. —

Если туман,
Упав, скроет от взора
Цветущую сливу,
Неужели ее аромат
Не долетит до меня?

В его песне не было ничего особенного, но могла ли она не восхитить госпожу Найси-но ками, видевшую перед собой пленительную фигуру Государя?

— О, как мечтал я провести сегодняшнюю ночь «среди цветов» (254). Впрочем, нетрудно понять и человека, не желающего уступить мне ни одного цветка. Как ж мне теперь сообщаться с вами? — сокрушается Государь, и, чувствуя себя виноватой перед ним, Найси-но ками отвечает:

— Аромат
Принесет ветерок случайный...
Вот только, боюсь,
Он слабее, чем у цветов
Растущих в твоём саду...

Все же ей явно не хотелось уезжать, и растроганный Государь то и дело оглядывался, покидая ее покои.

Удайсё собирался прямо из Дворца перевезти супругу к себе, но никому не открывал своих намерений, опасаясь, что Великий министр не даст своего согласия.

— Я немного простудился и предпочел бы провести несколько дней в своем доме, где чувствую себя свободнее, а поскольку мне не хотелось бы разлучаться с супругой... — почтительно объяснил он и поспешил перевезти Найси-но ками к себе.

«К чему такая поспешность? Можно было и не нарушать приличий», — подумал министр Двора, но не решился уязвлять самолюбие Удайсё своим вмешательством.

— Что ж, если вам кажется, что так будет лучше... — только и сказал он. — Я никогда не считал себя вправе располагать ее судьбой.

Министр с Шестой линии тоже был неприятно поражен неожиданным решением Удайсё, но что он мог сделать?

Сама же Найси-но ками приходила в отчаяние при мысли, что склоняется неведомо куда, уподобляясь тому дымку над костром (108).

Один Удайсё чувствовал себя счастливым любовником, выкравшим возлюбленную из отчего дома, и ничто не омрачало его радости. Он позволял себе ревновать госпожу Найси-но ками к Государю, ставя ей в вину его недавнее посещение, и, возмущенная его упреками, раздосадованная его заурядностью, она держалась с ним крайне принужденно, постоянно пребывая в дурном расположении духа.

Негодование принца Сикибукё сменилось растерянностью, однако Удайсё прекратил всякие сношения с его семейством и не отходил от своей новой супруги, радуясь тому, что наконец-то осуществилось его желание и он может не разлучаться с ней ни днем, ни ночью.

Настала Вторая луна. Великий министр с тоской вспоминал Найси-но ками и не скрывал своего беспокойства, забывая о том, что столь явное участие во всем, что ее касается, может повредить ему во мнении света. «Какая нечуткость! — возмущался он. — Разумеется, я проявил недопустимую неосмотрительность, но ведь я не предполагал, что Удайсё способен на столь решительные действия. Нельзя отрицать значение предопределения, но будь я бдительнее... Так или иначе, трудно кого-то винить в случившемся...»

Образ юной госпожи из Западного флигеля преследовал его во сне и наяву. Теперь, когда она жила в доме Удайсё, человека грубого, нелюдимого, он не решался обмениваться с ней даже самыми незначительными шуточными посланиями и немало страдал из-за этого, хотя и старался ничем не выдавать своего неудовольствия.

Но вот как-то раз, когда лил дождь и в доме было тихо и пустынно, Гэндзи, с тоской вспомнив о том, как прежде в такие часы искал прибежища от скуки в Западном флигеле, написал к Найси-но ками письмо. Его должны были тайно вручить госпоже Укон, и из боязни навлечь на себя подозрения этой особы Великий министр не стал открыто писать о своих чувствах, надеясь на догадливость Найси-но ками...

«В эти тихие дни,
Когда льет и льет бесконечный
Весенний дождь,
Вспоминаешь ли ты о тех,
Кто в доме родном остался?»

Я изнываю от скуки, и мысли мои то и дело с тоской обращаются к прошлому. Но смею ли я искать у Вас сочувствия?» — вот что он написал.

Улучив миг, когда рядом никого не было, Укон украдкой показала госпоже это письмо, и та заплакала.

С каждым днем она все чаще вспоминала Великого министра, но, поскольку он не был ее родным отцом, могла ли она прямо сказать, что стосковалась в разлуке с ним и хочет его видеть?

Целыми днями она печалилась, размышляя о том, удастся ли ей отыскать средство встретиться с Великим министром. О его домогательствах, столь огорчавших ее в былые дни, она не рассказывала даже Укон, поэтому теперь томилась тайно, не решаясь никому открыться. Впрочем, Укон кое о чем догадывалась, хотя и не могла знать точно, что меж ними произошло.

Вот что ответила госпожа Найси-но ками:

«Мне стыдно даже писать Вам, но, не желая тревожить Вас своим молчанием...

Нескончаемый дождь.
Со стрехи падают капли
На мои рукава...
Пузыри на воде... Как могу я
Хоть на миг забыть о тебе? (217)

О да, с каждым днем все сильнее тоска...»

Письмо заканчивалось обычными изъявлениями дочерней почтительности.

Развернув его, Великий министр почувствовал, что капли дождя стекают и по его щекам. Страшась людского суда, он постарался ничем не обнаружить своего волнения, но как мучительно сжалось его сердце!

Невольно вспомнились ему те давние дни, когда государыня-мать из дворца Судзаку препятствовала их встречам с другой Найси-но ками... Кажется, даже тогда он не испытывал подобного волнения. Не потому ли, что настоящее чувство почти всегда представляется нам более значительным, чем прошлое? К тому же, их связывали не совсем обычные отношения...

«Люди, неумеренные в страстях, осуждают себя на вечные муки. Уж теперь-то к чему растревать себе душу? Да и не пара она мне...» — уговаривал себя Гэндзи, безуспешно пытаясь вернуть утраченное душевное равновесие.

Он достал из шкафчика восточное кото, и сразу же вспомнилось ему, как мило играла на нем госпожа Найси-но ками. Тихонько перебирая струны, он запел:

— У жемчужных водорослей
Не срезай корней...*

Не думаю, чтобы та, к кому стремились его думы, осталась равнодушной, увидев его в тот миг.

Государь тоже не мог забыть Найси-но ками, как ни мимолетна была их встреча, и, хотя старая песня: «Волоча одежды красной цвета алого подол» (256) — не так уж и изысканна, он беспрестанно повторял ее и печалился. Иногда он тайком писал к ней. Однако даже его послания не могли

развеселить супругу Удайсё, постоянно сетовавшую на злосчастную судьбу, и если она отвечала, то лишь отдавая дань приличиям. Думы же ее то и дело устремлялись к Великому министру, и она с умилением и благодарностью вспоминала его доброту.

Настала Третья луна.

Глядя на глицинии и керрии, особенно прекрасные в лучах заходящего солнца, Великий министр невольно представлял себе изящную фигурку Найси-но ками. В конце концов, забросив Весенние покои, он перебрался в Западный флигель и коротал там дни, любуясь цветами.

Пышные керрии привольно цвели у низкой ограды из темного бамбука...

— «Лепестками выкрашу платье» (257), — произнес однажды Гэндзи.

— Не дойдя до Идэ,
Нам пришлось расстаться неожиданно.
Я молчанье храню,
Но к далеким керриям сердце
Все так же стремится... (258)

«Вдруг о тебе напомнят...» (259) — добавил он, но, увы, рядом не было никого, кто мог бы его услышать. Он словно впервые понял, что потерял ее. Странно, не правда ли?

Однажды попались ему на глаза утиные яйца. Придав им вид плодов «кодзи» и померанцев, министр как бы между прочим отослал их Найси-но ками. Опасаясь, что записка возбудит любопытство дам, он постарался написать ее со сдержанной заботливостью, подобающей настоящему отцу.

«Как давно мы не виделись! Признаюсь, я не ожидал подобного невнимания. Впрочем, говорят, Вы не вольны распоряжаться собой... Значит, надеяться на встречу тем более не приходится, и лишь в исключительном случае...

Не достает
Одного из птенцов, что вывелись
В этом гнезде.
Кто же держит его у себя,
Не выпуская на волю?

Ах, зачем же вы так суровы? Все это ранит мне сердце...»

Удайсё тоже прочел письмо и, ухмыльнувшись, проворчал:

— Женщина без особой надобности не должна ездить даже к родному отцу. А уж к приемному тем более. Не понимаю, почему господин министр никак не может примириться с обстоятельствами и изволит упрекать вас?

Найси-но ками посмотрела на него с неприязнью.

— Я не знаю, что отвечать, — растерявшись, говорит она, и Удайсё тут же заявляет:

— Я сам напишу ответ, — чем отнюдь не улучшает ее настроения.

«Скрывался в гнезде
Пренебрегаемый всеми
Этот птенец.
А теперь разве станет его
Кто-нибудь прятать?

Меня удивили Ваши странные намеки... Надеюсь, Вы простите мне некоторую вольность тона...» — написал он.

— Что за чудеса? Никогда не слышал, чтобы Удайсё позволял себе изъясняться столь игриво! — засмеялся Гэндзи.

На самом же деле он почувствовал себя уязвленным и был крайне недоволен тем, что Удайсё удалось полностью подчинить себе Найси-но ками.

Тем временем бывшая супруга Удайсё с каждым днем, с каждой луной погружалась в бездну уныния, и поведение ее редко бывало разумным. Удайсё старался по возможности заботиться о ней и теперь, он принимал живое участие во всем, что ее касалось, не оставляя попечениями и детей, поэтому она не могла совершенно порвать с ним и в повседневной жизни по-прежнему полагалась на него.

Удайсё нестерпимо тосковал по любимой дочери, но видеться с ней ему не позволяли.

Девочка, слыша, как окружающие осыпают ее отца оскорбительными упреками, и понимая, что преград меж ними становится все больше, печалилась и грустила чрезвычайно. Братья же ее довольно часто навещали отца и, естественно, не упускали случая рассказать ей о Найси-но ками.

— Она и к нам так добра, так ласкова...

— Целые дни отдает она изящным занятиям... — говорили они, и, завидя, девочка жалела, что не может, подобно им, располагать собою. Ну не удивительно ли, что столь многие лишились покоя по вине госпожи Найси-но ками?

На Одиннадцатую луну того года Найси-но ками разрешилась прелестным ребенком мужского пола, и, потеряв голову от радости, ибо исполнилось заветнейшее его желание, Удайсё окружил младенца нежными попечениями. Впрочем, вряд ли стоит рассказывать о том, что происходило в те дни в их доме. Всякий может это себе представить без особого труда.

Министр Двора благословлял судьбу, полагая, что на лучшее трудно было рассчитывать. Найси-но ками ни в чем не уступала другим его дочерям, которых воспитанию он уделял столько внимания. То-но тюдзё тоже при каждом удобном случае проявлял свою преданность, но к его братской заботливости, как это ни печально, по-прежнему примешивались и другие чувства.

«Вот если бы она прислуживала во Дворце...» — подумал он, узнав о рождении ребенка. Увидев же, как хорош новорожденный, довольно некстати сказал: «А Государь сокрушается, что у него до сих пор нет детей. Какая была бы честь...»

Найси-но ками успешно справлялась с придворными обязанностями, но ее посещения Высочайших покоев, естественно, прекратились. Впрочем, ничего другого и ожидать было нельзя.

Да, вот еще что: дочь министра Двора, та самая госпожа Оми, которая пожелала занять место главной распорядительницы, оказавшись, как и следовало ожидать, особой весьма легкомысленной и неуравновешенной, доставляла министру немало забот. Нёго Кокидэн жила в постоянной тревоге, опасаясь, как бы девушка не опорочила своего имени какой-нибудь дикой выходкой. Министр строго-настрого запретил ей показываться кому бы то ни было, но своенравная госпожа Оми и не думала слушаться его.

Однажды, уж не помню по какому случаю, в покоях нёго собралось изысканное общество, состоявшее из самых блестящих придворных. Стоял прекрасный осенний вечер, гости услаждали слух негромкой музыкой, среди собравшихся был и Сайсё-но тюдзё из дома Великого министра, удививший дам своей необычайной веселостью.

— О да, такого, как он, больше не встретишь! — забыв обо всем, восхищались они.

И тут-то госпожа Оми, растолкав всех, вышла вперед.

— Ах, как некстати... Что с вами? Остановитесь! — забеспокоились дамы, пытаясь удержать ее, но, смерив их гневным взглядом, она все-таки вырвалась, и испуганные прислужницы лишь беспомощно переглядывались: «Сейчас скажет что-нибудь несурзное».

Девушка же, уставившись на самого благонаправного юношу на свете, принялась вслух расхваливать его.

— Вот же он! О да, он самый и есть! — шептала она, да так громко, что всем было слышно.

Дамы окончательно растерялись, но тут госпожа Оми звонким голосом произнесла:

— Если ты по волнам
Бесприютной лодкой скитаешься
В море открытом,
К тебе челн свой направить готова,
Скажи только, куда причаливать.

«Уплывает, но тотчас обратно вернуться спешит...» (44) «К тебе одной», неужели?... Ах, но что это я, простите...

Юноша был поражен. В покоях благородной особы внимать таким нелепым речам? Но в следующее же мгновение он догадался, что это та самая девушка, о которой в последнее время столько говорят в мире, и, подстрекаемый любопытством, ответил:

— Даже тот, кто средь волн
Бесприютной лодкой скитается,
Ветром гонимый,
Вряд ли захочет пристать
К берегу нежеланному...

Впрочем, говорят, ей не понравился такой ответ...





ВЕТКА СЛИВЫ

Основные персонажи

Великий министр (Гэндзи), 39 лет

Дочь Великого министра, юная госпожа, 11 лет — дочь Гэндзи и госпожи Акаси

Госпожа Весенних покоев (Мурасаки), 31 год — супруга Гэндзи

Принц Хёбукё (Хотару) — сын императора Кирицубо, младший брат Гэндзи

Сайсё-но тюдзё (Югири), 18 лет — сын Гэндзи и Аои

Государыня-супруга (Акиконому) — дочь Рокудзё-но миясудокоро и принца Дзэмбо, супруга императора Рэйдзэй

Госпожа Летних покоев (Ханатирусато) — бывшая возлюбленная Гэндзи

Госпожа Зимних покоев (госпожа Акаси) — возлюбленная Гэндзи

То-но тюдзё (Касиваги), **Бэн-но сёсё** (Кобай) — сыновья министра Двора

Найси-но ками из дворца Судзаку (Обородзукйё) — придворная дама императора Судзаку, бывшая возлюбленная Гэндзи (см. главу «Праздник цветов»)

Министр Двора (То-но тюдзё) — брат Аои, первой супруги Гэндзи

Дочь министра Двора (Кумои-но кари), 20 лет — возлюбленная Югири

ВЕЛИКИЙ МИНИСТР готовился к церемонии Надевания мо*, которой придавал особенное значение, тем более что на ту же Вторую луну была назначена церемония Покрытия главы принца Весенних покоев, после которой Великий министр, судя по всему, собирался представить дочь ко двору.

Стояли последние дни Первой луны, и, воспользовавшись наступившим затишьем как в государственной, так и в частной жизни, Гэндзи решил заняться составлением ароматов.

Освидетельствовав благовония, недавно приподнесенные ему Дадзай-но дайни вместе с другими заморскими диковинами, и обнаружив, что они значительно уступают старинным, он повелел открыть хранилище дома на Второй линии и привезти оттуда разные китайские вещи.

— Есть какое-то особое очарование и значительность в старинных вещах. Взять хотя бы парчу или узорчатый шелк... — сказал он, рассматривая и сравнивая между собой ткани. Для покрывал, подстилок и сидений, которыми предполагалось украсить покои во время предстоящей церемонии, он отобрал превосходный узорчатый шелк и красную с золотом парчу, которые когда-то, еще в начале правления ушедшего государя, были подарены ему корейцами и выгодно отличались от современных. А узорчатый шелк и кисею, присланные Дадзай-но дайни, министр повелел раздать дамам. Благовония же, как старинные, так и только что полученные, распределил между обитательницами женских покоев, поручив каждой составить по два аромата.

В последнее время домочадцы Великого министра, да и не только они, заняты были тем, что готовили роскошные дары и вознаграждения для гостей и участников церемонии. Теперь же дамы принялись составлять ароматы, и во всех покоях пестики застучали по ступкам.

Сам министр, уединившись в главном доме, готовит два аромата по тайным рецептам государя Сёва*. И откуда только он узнал их?..

Госпожа Весенних покоев, выбрав укромное местечко в Восточном флигеле и старательно отгородившись занавесами и ширмами, составляет ароматы по рецептам принца Сикибукё с Восьмой линии*. В доме царит дух соперничества, и она постаралась окружить свои приготовления тайной.

— Полагаю, что следует принимать во внимание еще и стойкость ароматов, — заявляет министр. Судя по всему, им владеет дух соперничества, вряд ли подобающий почтенному отцу семейства.

В его покои, равно как и в покои госпожи, допускаются теперь лишь немногие из прислуживающих дам. Нечего и говорить о том, что для предстоящей церемонии подобрана самая изысканная утварь. Шкатулки, горшочки для благовоний и курильницы, изготовленные в соответствии с требованиями современного вкуса, поражают изысканной необычностью форм. Они предназначены для ароматов, которые будут признаны лучшими среди составленных обитательницами женских покоев, и каждая с превеликим усердием отдается этому занятию.

На Десятый день Второй луны, когда накрапывал дождь, а красная слива в саду перед покоями Великого министра была в полном цвету и источала поистине несравненное благоухание, в дом на Шестой линии пожаловал принц Хёбукё. Он решил навестить Великого министра, зная, что до церемонии остаются считанные дни.

Братья всегда были близки и не имели друг от друга тайн. Вот и теперь, сразу же принимаются беседовать о том, о сем, любясь прекрасными цветами. Тут приносят письмо, прикрепленное к ветке, которой лепестки «давно уже ветром развеяны» (260).

— От бывшей жрицы Камо, — возглашает гонец.

Поскольку до принца Хёбукё дошли кое-какие слухи, он с любопытством спрашивает:

— Что за письмо? Очень уж многозначительно...

— Я позволил себе, воспользовавшись нашим давним знакомством, обременить жрицу просьбой и она, судя по всему, со всей основательностью отнеслась к ее выполнению, — улыбнувшись, отвечает министр и прячет письмо.

В шкатулке из аквиларии обнаруживаются два лазуритовых горшочка, а в них — довольно крупные шарики благовоний. Горшочки прикрыты лоскутами парчи, причем синий украшает веточка пятиигольчатой сосны, а белый — веточка сливы. Завязанные обычным способом шнуры кажутся необыкновенно изящными.

— Какая тонкая работа! — восхищается принц Хёбукё, внимательно разглядывая шкатулку. Неожиданно он замечает листок бумаги, на котором бледной тушью начертано:

«Пусть аромат
Не задержался на ветках, исчез
Вместе с цветами,
Разве его не довольно,
Чтоб напитать рукава?...» (260)

Принц произносит эту песню вслух, стараясь сообщить голосу должную значительность.

Сайсё-но тюдзё, задержав гонца, потчует его вином. Потом гонцу вручают полный женский наряд, присовокупив к нему хосонага из китайского шелка цвета «красная слива»*. На такого же цвета бумаге министр пишет ответ и прикрепляет его к сорванной в саду ветке сливы.

— Нетрудно представить себе содержание этого письма. Но, быть может, в нем сокрыта какая-нибудь тайна и потому вы не хотите показывать его мне? Досадно! — сетует принц, изнемогая от любопытства.

— А что в нем может быть особенного? Напрасно вы обижаете меня, подозревая в скрытности, — говорит министр.

Написал же он, если не ошибаюсь, вот что:

«Цветов аромат
Глубоко проник в мое сердце,
Но от людей
Усердно скрываю его,
Страшась новых упреков...» (261)

— Признаться, мне и самому вся эта затея представляется сумасбродством, — говорит Гэндзи. — Но речь идет о моей единственной дочери, и это до некоторой степени оправдывает мои старания. Будучи весьма невысокого мнения о ее наружности, я желал бы по возможности избежать участия в церемонии посторонних, а посему позволил себе рассчитывать на помощь Государыни-супруги. Разумеется, Государыня близка нашему семейству, но, зная, сколь безупречным вкусом она обладает, я не могу не опасаться, что она будет разочарована заурядностью происходящего.

— О, я совершенно согласен с вашим выбором. К тому же трудно найти лучший образец для подражания, — поддерживает его принц.

— Сегодня такой влажный вечер, вряд ли мы дождемся более подходящего случая, — говорит министр и отправляет к дамам гонцов, которые по прошествии некоторого времени возвращаются с изящно уложенными благовониями.

— Надеюсь, — говорит министр, обращаясь к принцу, — вы согласитесь стать судьей? Ибо «коль не тебе...» (262) — И он просит принести курильницы.

— Боюсь только, что я вовсе не тот «кто понимает»... (262) — скромничает принц Хёбукё.

Впрочем, разве нельзя отыскать достоинства и недостатки даже у самых пленительных благовоний? От принца Хёбукё не укрывается ни один изъян, он старательно отделяет лучшие от худших. Вот приходит пора представить на его суд ароматы, составленные Великим министром. По его распоряжению они были закопаны возле ручья, вытекающего из-под западной галереи и призванного заменить указанный в предписании государя Сёва ров у Правой караульни. Сын Корэмицу, Хёэ-но дзё, выкапывает благовония и приносит, а Сайсё-но тюдзё передает их Великому министру.

— Трудная задача быть судьей в таком деле, — жалуется принц Хёбукё. — Все словно в дымке...

Для составления ароматов существуют вполне определенные и всем известные предписания, но, разумеется, многое зависит от вкуса самого составителя. Поэтому сравнивать ароматы, учитывая тончайшие их оттенки, — занятие весьма увлекательное.

Как ни хороши были все составленные ароматы, особенно тонким и нежным оказался «черный»*, приготовленный бывшей жрицей. Среди ароматов типа «дзидзю»* принц Хёбукё отдал предпочтение составленному Великим министром, высоко оценив его благородную простоту и изящество.

Госпожа Весенних покоев приготовила три аромата, среди которых был особо отмечен аромат «цветок сливы»*, привлекавший своей свежестью, изысканностью и несколько необычной для этого вида ароматов терпкостью.

— Весенний ветерок и цветы сливы — что может быть лучше? — расхваливал его принц Хёбукё.

Госпожа Летних покоев, считая себя слишком ничтожной, чтобы соперничать с благородными дамами, не смела надеяться, что дым от ее курений вознесется выше других, а потому составила только один аромат — «лист лотоса»*, который получился необыкновенно тонким и пленительно нежным.

Госпожа Зимних покоев, подумав, что ей нечего рассчитывать на успех, если она, как и прочие, будет руководствоваться единственно временем года, воспользовавшись предписанием государя Судзаку, усовершенствованным господином Кинтада*, составила исключительно изысканный аромат, известный под названием «за сто шагов»*, благодаря чему удостоилась особой похвалы принца Хёбукё, высоко оценившего ее тонкий вкус.

Впрочем, принц нашел, что все ароматы по-своему замечательны.

— Такого судью не назовешь беспристрастным! — пеняет ему Великий министр.

На небо выплывает луна. Угощаясь вином, они беседуют о прошлом. В сад сквозь легкую дымку струится лунный свет, влажный после дождя ве-

терок напоен благоуханием цветов. В покоях витает неизъяснимый аромат курений. Право, может ли ночь быть прекраснее?

Из архивохранилища доносятся мелодичные звуки флейт: собравшиеся там придворные, готовясь к завтрашней церемонии, приводят в порядок музыкальные инструменты. Сыновья министра Двора — То-но тюдзё и Бэн-но сёсё — заходят поприветствовать Великого министра, но он задерживает их и посылает за кото.

Принцу Хёбукё вручают бива, Гэндзи берет кото «со», То-но тюдзё достается японское кото, которым он владеет не хуже министра Двора. Сайсё-но тюдзё играет на флейте.

Мелодия, сообразная времени года, звучит чисто и светло, словно достигая высоких небес. Бэн-но сёсё, отбивая такт, начинает петь «Ветку сливы»*. Голос его звучит великолепно. Вспоминается, как мальчиком он пел «Высокие дюны» во время игры «закрывание рифм»*.

Принц и министр вторят ему. Словом, вечер получается прекрасный, хотя ничего и не было подготовлено заранее.

Передавая чашу министру, принц Хёбукё говорит:

— Могу ли душой
Не воспарить, внимая
Соловьиному пенью
Под сенью цветов, давно
Пленивших мне сердце?

Поистине, «веки вечные...» (263).

— Этой весной
В сад наш, пышно цветущий,
Не забывая дорогу.
Позволь ароматам и краскам
Себя пропитать насквозь, —

отвечает министр и передает чашу То-но тюдзё, который, в свою очередь, вручает ее Сайсё-но тюдзё:

— Пускай же поют
Полуночные флейты, да так,
Чтобы согнулась
Та ветка, которую выбрал
Себе для гнезда соловей...

Принимая чашу, Сайсё-но тюдзё отвечает:

— Даже ветер и тот
Облететь стороной старается
Цветущие сливы.
Зачем же нам их тревожить
Случайными звуками флейт?

Это было бы просто жестоко...

Все смеются, а Бэн-но сёсё говорит:

— Если бы только
Дымка не стала преградой
Меж луной и цветами,
Пташки в гнездах, и те
Запели бы, пробудившись.

И в самом деле, только под утро принц собрался домой. Великий министр преподносит ему полный наряд со своего плеча и два не открытых еще горшочка с благовониями. Все это относят в карету. Вот песня, сочиненная принцем:

— Ароматом цветов
Пропитаны рукава
Нарядного платья.
Станет, верно, меня корить,
Обвиняя в измене, супруга... (261)

— Полно, не к лицу вам такое малодушие... — смеется Гэндзи и добавляет, дожидаясь, пока в карету впрягают быков:

— Вернешься домой,
И домочадцы не смогут
Удивленья сдержать,
Увидев тебя в этом платье
Из цветочной парчи...*

«Что за чудеса?» — подумают они.

Принц не находит, что и ответить.

Юношам тоже вручают скромные дары, женские наряды и пр.

И вот, в стражу Собаки Великий министр проходит в Западные покои. В той части дома, которую обычно занимает Государыня-супруга, выделено особое помещение для церемонии, туда уже прошла отвечающая за прическу найси и другие дворцовые прислужницы. Сегодня здесь вообще собралось бесчисленное множество дам, ибо и госпожа Весенних покоев решила не упускать возможности для встречи с Государыней.

В стражу Крысы на юную госпожу надевают мо. Светильники горят тускло, но от взора Государыни не укрывается редкостная красота дочери Великого министра.

— Надеюсь на вашу будущую благосклонность, я осмелился показать вам эту весьма далекую от совершенства особу, — говорит министр. — К тому же у меня была тайная мысль, что этот случай станет примером для грядущих поколений...

— О, я и не помышляла... Право же, я вряд ли заслуживаю... — отвечает Государыня, пытаясь умалить свое значение. Как молода и прекрасна она в этот миг! Да и остальные обитательницы дома на Шестой линии безупречны. И нельзя не радоваться царящему в доме согласию.

Сочувствуя матери юной госпожи, которая горевала, не имея возможности увидеть свое дитя даже в такой день, министр хотел было пригласить и ее, но тут же передумал, опасаясь, что это возбудит нежелательные толки.

В доме на Шестой линии даже самые обычные церемонии проходят с необыкновенным размахом, но я многое опускаю, не желая отягощать вас подробными описаниями, которые при свойственной мне вялой и несвязной манере изложения, могут показаться слишком утомительными.

В Весенних покоях Дворца церемония Покрытия главы прошла в двадцатые дни той же луны. Принц казался старше своих лет, и все знатные вельможи готовы были оспаривать друг у друга право ввести в его покои своих дочерей. Зная о том, сколь высоки устремления Великого министра, Левый министр и Садайсё отказались от мысли отдавать своих дочерей во Дворец, ибо понимали, что их положение там будет весьма незавидно. Слух об их колебаниях дошел до Великого министра.

— Непростительное малодушие! — возмутился он. — Во Дворце должно служить много разных дам, соперничающих между собой в любой мелочи. Только это и придает блеск придворной жизни. Глупо иметь прекрасных дочерей и держать их дома.

И он нарочно отложил церемонию представления дочери ко двору.

А надо сказать, что многие, не осмеливаясь опережать Великого министра, ждали, когда он первый отдаст дочь в Весенние покои, но как только разнесся слух о том, что церемония отложена, ко двору была представлена Третья дочь Левого министра. Ее прозвали Рэйкэйдэн — дама из дворца Живописных видов.

Для дочери Великого министра обновили его прежние дворцовые покои, Сигэйса. Узнав о том, что церемония отложена, принц изволил проявить нетерпение, поэтому Великий министр положил ввести дочь во Дворец на Четвертую луну. К старой утвари, уже имеющейся в Сигэйса, решено было добавить новую, причем Великий министр лично изволил ознакомиться с образцами и рисунками. Собрав искуснейших мастеров, он поручил им заняться убранством покоев. Особенное внимание министр изволил уделить выбору рукописных книг для книжного ларца юной госпожи, полагая, что она сможет использовать их еще и как прописи. В его распоряжении имелось множество образцов, созданных несравненными мастерами прошлого, которых слава не потускнела и в наши дни.

— Век подходит к концу, и все мельчает, с древними нам не сравниться, — говорит он госпоже Мурасаки. — Пожалуй, только слоговое письмо «кана»* достигло удивительного совершенства именно в наши дни. Древние стили были довольно однообразны, они требовали строгого следования правилам, а это лишало их свободы и легкости. Если говорить об утонченно-изысканных каллиграфических стилях, то они были созданы скорее в наше время.

Кстати говоря, в молодости я усердно изучал «женский стиль» и собрал множество прекрасных образцов. В частности однажды ко мне попали случайные записи покойной мясудокоро, матери нынешней Государыни-супруги, ничего особенного, всего несколько строк. По всей видимости, они были написаны наспех, и сама она не придавала им никакого значения, но я был поражен, увидев их! Как знать, не потому ли по миру пошли пересуды и ее имя стало достоянием дурной молвы?.. Разумеется, она очень страдала, чувствовала себя оскорбленной, но, поверьте, я никогда и не помышлял... Впрочем, мясудокоро была особой чрезвычайно благоразум-

ной, что и доказала, доверив моим попечениям собственную дочь. Я уверен, что сейчас, уже в ином обличье пребывая, она изменила свое мнение обо мне.

Что касается нынешней Государыни-супруги, то ее почерк весьма изящен и благороден, но ему недостает той свободной уверенности, которая всегда чувствовалась в почерке ее матери, — шепотом добавляет он.

— Почерк ушедшей государыни-супруги при всей его утонченности отличался некоторой неуверенностью, не говоря уже о скудости оттенков. В наши дни лучше многих владеет кистью Найси-но kami из дворца Судзаку, но и ее можно упрекнуть в чрезмерной изощренности, вычурности. Все же если говорить о лучших из лучших, то я бы выделил ее, бывшую жрицу Камо и вас.

— О, я не заслуживаю такой чести, — возражает госпожа.

— Вы недооцениваете себя. В вашем округло-изящном почерке есть особая прелесть. Хотя часто те, кто достигает совершенства в «истинных знаках», позволяют себе быть небрежными, когда пишут «каной»...

Собрав отдельно тетради с не исписанными еще листами, министр сам подбирает к ним красивые обложки и шнуры.

— Попрошу принца Хёбукё и Саэмон-но kami что-нибудь написать. Да и себе оставлю одну или две тетради. Как ни кичатся они своим мастерством, смею думать, что я владею кистью не хуже, — не без гордости заявляет он, подбирая к тетрадам превосходные кисти и тушь. По обыкновению своему он рассылает соответствующие письма разным особам, а как некоторые из них не сразу решаются участвовать в столь трудном состязании, ему приходится проявить настойчивость. Отобрав тетради с тончайшей корейской бумагой, привлекающей удивительным благородством оттенков, министр замечает:

— Эти я отдам молодым любителям прекрасного, пусть покажут свое мастерство. — И отправляет их к Сайсё-но тюдзё, Сахёэ-но kami, сыну принца Сикибукё, и То-но тюдзё из дома министра Двора: «Можете писать в любой манере, пусть это будет «тростниковое письмо»* или «рисунки к песням»*.

И юноши принимаются за дело, каждый надеется затмить остальных.

Берется за кисть и Великий министр, уединившись в главных покоях.

Весенние цветы давно отцвели, безмятежно сияет ясное небо, а он все размышляет над старинными песнями, снова и снова переписывая их различными скорописными почерками, в усложненном, простом или «женском» стиле, пока плод усилий не начинает удовлетворять его самого. Прислуживают ему дамы три, не более. Он нарочно выбрал самых достойных, надеясь, что, помогая растирать тушь, они сумеют дать ему полезный совет при выборе песен из благородных старинных собраний. Никто бы не остался равнодушным, увидев, как он в непринужденной позе сидит на открытой галерее перед разложенными на скамеечке-подлокотнике листами и покусывает в раздумье кончик кисти. Право, трудно представить себе более прекрасное зрелище. А настоящий ценитель получил бы истинное наслаждение, глядя на то, как он снова опускает кисть, чтобы точными движениями набросать несколько строк на белой или красной бумаге, прекрасно оттеняющей сочность туши.

— Пожаловал принц Хёбукё, — докладывает дама, и, поспешно накинув верхнее платье, министр велит принести еще одно сиденье и провести принца к нему.

Принц Хёбукё тоже очень красив, и дамы, прильнув к занавесям, с восхищением следят за тем, как, величественно ступая, он поднимается по лестнице. А уж как хороши братья, когда они церемонно обмениваются приветствиями!

— Вы пожаловали как раз вовремя, ибо мое затворничество начинает тяготить меня. Не знаю, как и благодарить вас, — говорит министр.

Принц принес исписанные тетради, и министр тут же принимается их разглядывать.

Принца нельзя назвать выдающимся каллиграфом, но его весьма изящный почерк имеет свои достоинства. Нарочно выбрав самые диковинные старинные песни, он в весьма приятной манере записал каждую в три строки, по возможности избегая «истинных знаков». Министр не может скрыть изумления.

— Я не подозревал, что вы настолько искусны, — говорит он не без зависти. — Мне остается только бросить кисть.

— Не зря ведь я осмелился тягаться с настоящими мастерами, — шутит принц.

Рассудив, что от принца ему нечего скрывать, министр показывает собственные тетради.

Скоропись на превосходной китайской бумаге великолепна, но более всего восхищает принца каллиграфия в спокойном «женском» стиле, прекрасно сочетающаяся с корейской бумагой, плотной и мягкой, необыкновенно нежных оттенков. «Прекраснее и быть не может!» — восклицает он, чувствуя, как на глазах у него вскипают слезы, словно спеша соединиться с размывами туши. Право, сколько ни гляди, не наглядишься! А вот яркие листы цветной бумаги «канъя», на которых министр в причудливой манере свободной скорописью записал разные песни, — трудно представить себе что-нибудь более совершенное. Этими столь привлекательными в своем разнообразии и своеобразии листами можно было любоваться бесконечно, так что на другие и смотреть не хотелось.

Саэмон-но ками отдал предпочтение стилю строгому и торжественному, очевидно полагая, что таким образом ему удастся скрыть недостаток уверенности и легкости во владении кистью. Выбранные им песни, пожалуй, слишком многозначительны.

Написанного особами женского пола министр показывать не стал и, уж конечно, постарался скрыть от принца тетради, присланные бывшей жрицей Камо. Весьма изящными оказались образцы «тростникового письма», каждый из них, даже самый незначительный, заслуживал внимания.

Сайсё-но тюдзё изобразил могучие водные потоки и буйные тростниковые заросли, при виде которых в памяти возникают окрестности бухты Нанива. Струи воды и стебли тростника переплетаются между собой с удивительной изысканностью, и на их фоне резко выделяются своей величественной простотой скалообразные знаки.

— Поразительно! Полагаю, он потратил на это немало времени, — не скрывает своего восхищения принц. Разумеется, ему, известному своей утонченностью и любовью ко всему необычному, по душе написанное юношей.

Целый день братья провели, беседуя об искусстве письма. Министр извлек из хранилища старинные и новые книги из соединенных между собой листов цветной бумаги, а принц, воспользовавшись случаем, послал сына своего, Дзидзю, за рукописями, хранившимися у него дома. Среди прочего тот принес четыре свитка извлечений из «Собрания мириад листьев»*, написанных государем Сага*, и «Собрание старинных и новых песен»* кисти государя Энги*, который изволил выбрать листы светло-синей китайской бумаги и, соединив их между собой, снабдил обрамлением из темно-синего китайского шелка с мелким узором. Затем, вставив валики из синего же камня, украсил их великолепными плоскими китайскими пятицветными шнурами. Каждая часть собрания была переписана им в особом стиле.

Придвинув к себе светильник, министр разглядывает свитки.

— Их красота совершенна. Мы способны лишь подражать, да и то далеко не всему, — восхищается он, и принц преподносит ему эти свитки в дар.

— Даже если бы у меня была дочь, я не решился бы передать ей эти прекрасные образцы, зная, что она вряд ли сумеет их оценить. А как дочери у меня нет, то тем более, зачем же им зря пропадать? — говорит принц, вручая свитки Гэндзи, который, в свою очередь, дарит Дзидзю превосходные китайские прописи в футляре из аквиларии и прекрасную корейскую флейту.

Кроме того в те дни Гэндзи немало сил отдавал изучению достоинств и недостатков японского письма — «кана». Разыскивая повсюду людей, известных своими достижениями в искусстве каллиграфии, он независимо от того, какого они состояния, посылал им тетради, дабы они написали что-нибудь для его дочери. В ларце юной госпожи не было ни одного неумело написанного листа. Самым лучшим мастерам сообразно их званиям и рангам посылал Гэндзи тетради и свитки с просьбой заполнить их образцами своей каллиграфии. В конце концов в доме Великого министра собралось множество редкостных творений, равных которым не было и в сокровищницах заморских государей. Среди них особый интерес вызывали свитки, подаренные принцем Хёбукё, многие молодые люди сгорали от желания их увидеть. Было собрано также немало прекрасных произведений живописи, среди которых дневники из Сума могли бы занять далеко не последнее место, но, как ни велико было желание министра сделать их достоянием потомков, он счел необходимым подождать, пока юная госпожа не станет чуть старше.

Слухи обо всех этих приготовлениях дошли до министра Двора, и он был чрезвычайно раздосадован. Его младшая дочь достигла расцвета своих лет, и он не мог не печалиться, видя, что красота ее пропадает напрасно. Ее неизменно унылый и задумчивый вид приводил его в отчаяние. Но Сайсё-но тюдзё по-прежнему не обращал на нее внимания, а делать первый шаг самому казалось министру позорным малодушием, и он лишь вздыхал украдкой, раскаиваясь, что не дал своего согласия раньше. Да и можно ли было винить одного юношу?

Сайсё-но тюдзё слышал, что министр готов пойти на уступки, но, помня обиду, держался с прежним безразличием, хотя и не проявлял интереса к другим женщинам. Порою им овладевала такая тоска, что «было, увы, не до шуток» (137), но, очевидно, он твердо решил стать советником, прежде чем снова встретится с кормилицей, с таким презрением отнесшейся когда-то к его светло-зеленому платью.

Неопределенное положение сына удивляло и тревожило Великого министра.

— Если дочь министра Двора уже не занимает твоих мыслей, — говорил он, — следует подумать о ком-нибудь другом, тем более, что и Правый министр и принц Накацукаса намекали на свое желание породниться с нами.

Но юноша молчал, почтительно склонившись перед отцом.

— Возможно, я не вправе говорить об этом, ибо в свое время тоже не захотел последовать мудрым наставлениям отца. Однако теперь я вижу, что эти наставления достойны того, чтобы им следовали не только мы, но и наши далекие потомки. Люди могут истолковать твое унылое одиночество по-своему, кое-кто подумает: «А уж не тяготит ли его какая тайная печаль?» Боюсь, что в конце концов, влекомый предопределением, ты окажешься во власти какой-нибудь ничтожной особы, все таланты твои сведутся на нет, и ты станешь предметом для насмешек. Как бы высоки ни были твои помышления, не все в жизни подчиняется человеческим желаниям, всему есть пределы, и не стоит поддаваться тщетным соблазнам.

Я вырос во Дворце и никогда не был свободен в своих действиях. Жизнь моя подчинялась множеству запретов, и я старался не допускать ни малейшей оплошности, понимая, что любой неверный шаг повлечет за собой утрату доброго имени. Но, несмотря на все предосторожности, мне было вменено в вину сластолюбие и я попал в немилость. Никогда не потворствуй собственным прихотям, незначительное положение в обществе не может служить оправданием для распущенности. Разумеется, самые мудрые люди теряют голову из-за женщины, ежели искушение слишком велико, а рядом нет никого, кто помог бы сохранить душевное равновесие. История знает немало подобных примеров.

Отдав свое сердце недостойной женщине, ты можешь не только опорочить ее имя, но и навлечь на себя ее гнев, которого бремя будет отягощать твою душу в грядущих рождениях. Впрочем, не стоит отчаиваться, даже если почему-либо был сделан неправильный выбор и ты оказался связанным с женщиной, которая тебе не по душе, с недостатками которой ты не можешь мириться. Постарайся и в этом союзе видеть хорошее, а не дурное. Можно примириться с супругой ради ее родителей, а ежели родителей нет и она лишена всякой опоры в жизни, пусть жалость к ней поможет тебе простить ее недостатки, если таковые имеются. Главное — стараться думать не только о своем, но и о ее благе. В этом и проявляется подлинная мудрость.

В последнее время у Великого министра оставалось довольно досуга для того, чтобы делиться с сыном подобными соображениями.

Однако юноша и помыслить не мог о том, чтобы, последовав его совету, пусть даже мимолетно отдать свое сердце другой. Ему было жаль девушку, к тому же он не мог не чувствовать себя виноватым.

Девушка тоже печалилась, видя удрученное более обычного лицо отца, и сетовала на горестную судьбу.

Она притворялась спокойной и беззаботной, но в сердце ее жила тайная грусть. Иногда, не в силах более сдерживать своих чувств, юноша писал к ней трогательно-пылкие письма. «На кого решусь положиться...» (264) — вспоминалось девушке. Женщина искушенная заставила бы себя усомниться

в искренности его чувств, она же, читая его письма, чаще всего испытывала сердечное волнение.

— Принц Накацукаса имеет виды на сына Великого министра, кажется, уже и переговоры по этому поводу ведутся... — поговаривали в мире, и министр Двора мрачнел с каждым днем.

— Вот что говорят в мире, — тихонько сообщил он дочери. — Какая неслыханная черствость! Очевидно, Великий министр сердит на меня за то, что когда-то я не проявил должного внимания к его просьбе. Но не могу же я открыто признать свое поражение! Люди станут смеяться.

Увидев слезы у него на глазах, девушка не сумела сдержаться и тоже заплакала, стыдливо отвернувшись от отца. Нельзя было не залюбоваться ее прелестной фигуркой!

«Что же делать? — терзался министр. — Не лучше ли попытаться самому выяснить, каковы его намерения?»

Он вышел, а девушка, погруженная в раздумья, так и осталась сидеть у порога. «Отчего так легко текут слезы? — сокрушалась она. — Что подумал отец?» Тут как раз принесли письмо, и она сразу же прочла его, хотя, казалось бы...

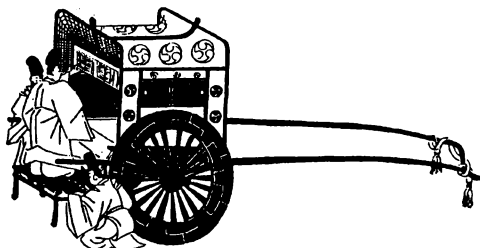
«Бессердечие —
Нет ничего постоянной
В изменчивом мире.
Может, скорей необычен
Тот, кто не в силах забыть?»

«Как жесток, даже и не намекает...» — подумала девушка, и горько ей стало чрезвычайно, но все же она ответила:

«Все имеет конец —
Забывают и тех, кого, кажется,
Так трудно забыть.
Разве не это обычно
Для нашего мира?..»

Больше она не написала ни слова, и юноша был в недоумении. Говорят, что он еще и еще раз перечитывал ее письмо, задумчиво склонив голову...





КОММЕНТАРИИ

ПАВИЛЬОН ПАВЛОНИИ (КИРИЦУБО)

С. 10 *...начинались когда-то смуты в Китайской земле.* — В истории Китая известно немало случаев, когда наложница императора, пользуясь своим влиянием на него, принуждала его к жестоким, несправедливым действиям, порою навлекавшим на страну неисчислимые бедствия. Некоторые японские комментаторы считают, что в данном случае Мурасаки имеет в виду Дацзи, наложницу последнего императора иньской династии Чжоу-вана (1154–1122 гг. до н. э.), и Баосы, наложницу императора чжоуской династии Ю-вана (правил в 781–770 гг. до н. э.). Первая любила созерцать казни и требовала, чтобы государь устраивал их почаще. Вторая известна тем, что в угоду ей император по ложной тревоге поднимал войско, которое в минуту настоящей опасности отказалось ему повиноваться, и страна оказалась захваченной неприятелем.

...готовы были вспомнить и случай с Ян Гуйфэй. — Ян Гуйфэй — любимая наложница китайского императора танской династии Сюаньцзуна (713–755). Увлеченный ею Сюаньцзун устранился от государственных дел и не смог дать отпор мятежнику Ань Лушаню. Любви Ян Гуйфэй и Сюаньцзуна посвящена поэма китайского поэта Бо Цзюйи (772–846) «Вечная печаль».

Отец дамы, Адзэти-но дайнагон... — За редким исключением, персонажи «Повести о Гэндзи» выступают не под настоящими своими именами, а именуются по званию или должности, занимаемой в одном из государственных учреждений (см. «Приложение», с. 97).

...мать, госпожа Северных покоев его дома... — Госпожой Северных покоев (Кита-но ката) обычно называли главную жену, жившую в доме мужа. Автор хочет подчеркнуть, что дама из павильона Павлонии была дочерью не простой наложницы Адзэти-но дайнагона, а его главной жены.

...распорядился, чтобы младенца как можно быстрее перевезли во Дворец... — Согласно придворному этикету, императорские наложницы незадолго до родов удалялись в свой собственный дом и возвращались во Дворец не раньше, чем ребенку исполнялось несколько недель.

Нёго — императорская наложница высшего разряда (подробнее см. «Приложение», с. 108). *Правый министр (удайдзин)* — третье по значению звание в Государственном совете (см. «Приложение», с. 97).

- С. 11 *Занимала же эта дама павильон Павлонии, Кирицубо.* — Павильон Павлонии (Кирицубо, иначе — Сигэйса) находился в отдаленной северо-восточной части дворцового комплекса, поэтому, навещая даму, Государь вынужден был проходить мимо покоев всех остальных наложниц (подробнее об императорском дворцовом комплексе см. «Приложение», с. 93).
...справили обряд Надевания хакама. — Хакама — широкие штаны, составлявшие непременную часть женского и мужского костюма. Обряд первого надевания хакама совершался, когда ребенку исполнялось три года (подробнее обо всех обрядах, связанных с разными возрастными этапами человеческой жизни, см. «Приложение», с. 114).
...миясудокоро из павильона Павлонии... — Дама из павильона Павлонии, Кирицубо, имела звание кои, но, поскольку она родила императору сына, ее стали называть миясудокоро (служительница высочайшей опочивальни), как почтительно называли императорских наложниц, имевших детей (см. «Приложение», с. 108).
...даже проводить ее ему не дозволено. — Императору запрещалось покидать пределы Дворца.
- С. 12 *О, когда б и я могла вознестись с этим дымом!..* — т. е. с дымом после сожжения тела дочери.
Отаги — горы к востоку от столицы, где производили погребальные обряды (о погребальных и поминальных обрядах см. «Приложение», с. 116).
...умершей присвоен Третий ранг... — Звание кои, которое имела Кирицубо, соответствовало Пятому, реже Четвертому рангу. Лишь в исключительных случаях кои повышались до Третьего ранга и получали более высокое звание — нёго.
- С. 13 *Только во дворце Кокидэн...* — Во дворце Кокидэн жила обычно императрица-супруга либо самая влиятельная наложница, в данном случае — мать Первого принца, именуемая в «Повести о Гэндзи» Кокидэн.
У южной стороны дома... — Главное здание усадьбы было обращено фасадом к югу, с южной стороны находился главный вход (об устройстве аристократической усадьбы эпохи Хэйан см. «Приложение», с. 96).
- С. 14 *Найси-но сукэ* — вторая по значению должность (первая — найси-но ками) в Отделении дворцовых прислужниц (Найси-но цукаса) (подробнее см. «Приложение», с. 108).
Ветер капли росы / Разметал по Дворцовой равнине... — «Роса» в контексте стихотворения означает «слезы». Дворцовая равнина (Миягино) — название реально существующей местности в северо-восточной части Японии, но в данном случае — просто Дворец.
...а думы в тревоге / Стремятся к кусту хаги... — Хаги (леспедеца двухцветная) — кустарник, цветущий осенью розовато-лиловыми цветами. В данном стихотворении под хаги подразумевается маленький Гэндзи.
...неуместно появляться мне теперь за Стокаменными стенами... — Стокаменные стены (момосики) — императорский дворец. «Момосики-но» (постоянный эпитет к слову «дворец») толкуется обычно как «стена, сложенная из ста камней» (т. е. неприступная стена, неприступностенный дворец). Есть и другие толкования (к примеру, некоторые комментаторы считают, что эпитет «момосики-но» означает «имеющий сто сидений для служилых лиц»).
- С. 15 *Заоблачный чертог, заоблачная обитель* — небо, в переносном значении — императорский Дворец.
- С. 16 *«Вечная печаль»* — поэма Бо Цзуйи, повествующая о любви императора Сюаньцзуна к наложнице Ян Гуйфэй (см. также коммент. к с. 10).
Император Тэйдзи — имеется в виду император Уда (867–931). Тэйдзи — название резиденции, в которой он поселился после отречения от престола в 897 г.

- С. 16 *Исэ* — японская поэтесса начала X в. *Ки-но Цураюки* (868–945) — один из ведущих поэтов древней Японии, первый литературный критик. Принимал участие в составлении антологии «Кокинвакасю» (начало X в.), является автором предисловия к ней.
О, когда б эта шпилька... — В поэме «Вечная печаль» рассказывается о том, что после гибели Ян Гуйфэй император, не находя себе места от тоски, послал некоего даоса искать ее. Тот нашел его возлюбленную в обители бессмертных и в доказательство того, что виделся с ней, привез императору шпильку и заветные слова, известные только им двоим. На этот же эпизод намекает и стихотворение.
- С. 17 *Ее сравнивали с цветами фузун на озере Тайи...* — ср. с поэмой «Вечная печаль»: «И озерный фузун, как всегда на Тайи, те же ивы в Вэйянском дворце. / Как лицо ее нежное — белый фузун, листья ивы — как брови ее». (Здесь и далее все цитаты из поэмы Бо Цзюйи «Вечная печаль» даются в переводе Л. З. Эйдлина. См.: *Бо Цзюйи. Стихотворения*. М., 1978.)
Чтобы нам в небесах... — ср. с поэмой «Вечная печаль»: «В день седьмой это было, в седьмую луну, мы в чертог Долголетия пришли. / Мы в глубокую полночь стояли вдвоем, и никто не слышал наших слов: / Так быть вместе навеки, чтоб нам в небесах птиц четой неразлучной летать. / Так быть вместе навеки, чтоб нам на земле раздвоенною веткой расти!»
...пока не угас сиротливый фонарь. — Ср. с поэмой «Вечная печаль»: «К ночи в сумрачных залах огни светячков на него навевали печаль, / И уже сиротливый фонарь угасал, сон же все не смежал ему век».
...должно быть, уже стража Быка... — Офицеры из правой и левой Личной императорской охраны (Коноэфу) ночью стояли на карауле во Дворце, охраняя покой императора. В определенный час ночи происходила смена караула и заступающий громко возглашал свое имя. Офицер из правой Личной охраны был в карауле от стражи Быка до стражи Тигра (т. е. с часу до пяти часов утра) (об особенностях времяисчисления в древней Японии см. «Приложение», с. 154).
...намекая на некоего чужеземного государя... — т. е. на китайского императора Сюаньцзуна (см. коммент. к с. 10).
- С. 18 *...провели церемонию Первой книги.* — Обряд, который проводился перед тем, как мальчика из благородного семейства начинали учить читать (подробнее см. «Приложение», с. 114).
...какие успехи оказывал он в положенных науках... — Под положенными науками подразумевается изучение классических китайских книг, обязательное для юноши из благородного семейства.
...на кото и на флейте играл так... — В древней Японии слово «кото» употреблялось для обозначения всех разновидностей струнных шипковых инструментов: китайского кото («кин», кит. «цин»), японского кото («вагон»), кото «со» (кит. «чжэн»), бива (кит. «пипа»). Точно так же слово «флейта» (фуэ) использовалось для обозначения всех духовых инструментов: корейской флейты («комабуэ»), флейты «сё» (кит. «шэн»), продольной флейты («ёкобуэ») и т. д.
...предостережение государя Уда... — Судя по всему, имеются в виду «Наставления годов Кампё» («Кампёикай»), написанные в годы Кампё (889–898) императором Уда для своего преемника (будущего императора Дайго, 885–930), хотя, как отмечают некоторые японские комментаторы, в них говорится не столько о том, что иностранцев запрещается приглашать во Дворец, сколько о необходимости воздерживаться от непосредственного общения с ними. («Следует предоставлять возможность аудиенции чужеземцу; однако, принимая его за занавесями, запрещается вступать с ним в непосредственную беседу».)

- С. 18 *Посланный Приказ (Корокан)* — учреждение, находившееся в столице на Седьмой линии, неподалеку от дороги Судзаку, и ведавшее вопросами приема чужестранцев. Подчинялось Ведомству упорядочения и установлений (Дзибусё) (см. «Приложение», с. 102).
- С. 20 *...причислил сына к роду Минамото...* — Фамилия Минамото давалась отпрыскам высочайшего семейства, не имевшим статуса принца крови (*синно*). *...у матери принца Весенних покоев.* — Имеется в виду не́го Кокидэн, мать наследного принца. В Китае, а затем и в Японии весна, восток традиционно связывались со старшим сыном, наследником. Первоначально покои, которые занимал наследный принц, располагались в восточной части императорского дворца. Отсюда и название — принц Весенних (или Восточных) покоев.
- С. 21 *Настала пора совершить обряд Покрытия главы...* — Обряд Покрытия главы (*гэмипуку*) совершается в ознаменовании совершеннолетия мальчика (подробнее см. «Приложение», с. 115). *...которого роль исполнял сам министр.* — Обычно министр исполнял обязанности «покрывающего главу» лишь в тех случаях, когда совершеннолетия достигал принц крови. В данном случае его участие — знак особой благоклонности императора к Гэндзи.
- С. 22 *Благодарственный танец* — ритуальный танец, состоявший из строго определенных поклонов и движений, исполнявшийся обычно в саду перед императорскими покоями и служивший выражением благодарности за любой знак внимания со стороны императора. *Обряд Укладывания вместе (соифуси),* представлявший собой нечто вроде брачного обряда, как правило, следовал за обрядом совершеннолетия (подробнее см. «Приложение», с. 115). *Утики* — одна из разновидностей женского платья (подробнее см. «Приложение», с. 151). Большое белое утики принято было дарить во время торжественных церемоний, его нарочно шили широким и длинным, чтобы потом можно было перешить.

ДЕРЕВО-МЕТЛА (ХАХАКИГИ)

- С. 25 *Катано-но сёсё* — герой повести, популярной во времена Мурасаки, но не дошедшей до нашего времени. Очевидно, был известен как любитель прекрасного и неутомимый искатель любовных приключений.
- С. 26 *Дни Удаления от скверны (моноими-но хи).* — В древней Японии существовал обычай ритуальных запретов, согласно которому в особо установленные дни предписывалось, оставаясь дома, соблюдать строгий пост, не принимать гостей и воздерживаться от всяких увеселений. Таким образом человек очищался от скверны, что было особенно важно накануне синтоистских празднеств, в дни болезни и пр. В покоях императора, когда тому предписывалось «удаление от скверны», постоянно находилось несколько придворных. Они прикрепляли к ленте головного убора ивовую дощечку с надписью «удаление от скверны» (моноими). Иногда соответствующая надпись делалась на листке белой бумаги, который прикреплялся к левому рукаву. Аналогичные надписи делались на занавесах, отделявших покои императора от других помещений.
- С. 29 *Носи* — верхнее повседневное мужское платье, надевавшееся обычно поверх нескольких нижних. (Подробнее о японском костюме эпохи Хэйан см. «Приложение», с. 150.)
- С. 32 *Судьба «непривязанного челнока».* — Ср. со стихотворением Бо Цзюйи «Случайные напевы»: «Бесчувственная вода принимает форму любого сосуда. /

Непривязанный же челнок покороен порывам ветра». Ср. также со стихотворением китайского поэта Ло Вэя: «Вижу: сам я — вырванная с корнем трава над обрывом. / Понимаю: судьба — челнок, оставленный без привязи в устье реки».

- С. 32 *Хорай* (кит. Пынлай) — сказочная гора-остров, обитель бессмертных.
- С. 34 *Чрезвычайное празднество Камо* — один из важнейших синтоистских праздников в древней Японии. Основной праздник храмов Камо (Камодзиндзя-но мацури), иначе — Праздник мальв (Аои-но мацури), проводился в дни Четвертой луны, а так называемое Чрезвычайное празднество храмов Камо (Камо-но риндзи-но мацури), — в дни Одиннадцатой луны (подробнее см. «Приложение», с. 121, 126).
- С. 35 *Дева Тацута* — богиня осени (воплощение славящейся красотой осенней листвы горы Тацута), покровительница ткачества.
Небесная Ткачиха — персонаж известной легенды о Ткачихе и Волопасе (звездах Вега и Альтаир), которые весь год живут в разлуке, разделенные Небесной рекой (Млечным Путем), но раз в году встречаются на мосту, образованном слетевшимися сороками.
- С. 36 *Тени там так густы...* — Слова из народной песни «Колодцы Асука» (см. Приложение, с. 137).
Японское кото (вагон, *яматогото*), иначе — «восточное кото» (*адзумагото*) — шестиструнный щипковый инструмент типа цитры, созданный непосредственно в Японии. Длина звучащей части струны регулируется подставками. При игре часто используется медиатор. В сопровождении японского кото обычно исполнялись народные песни типа «сайбара», которые к концу Х в. стали очень популярны в аристократической среде. Кроме того, кото этого типа широко применялось во время синтоистских празднеств.
Рити — один из двух основных ладов японской классической музыки «гагаку» (второй — *рё*). Примерно соответствует минорному ладу западноевропейской музыки.
Кото «со» — тринадцатиструнный щипковый инструмент типа цитры, завезенный из Китая (кит. «чжэн»). Длина звучащей части струны регулируется подвижными подставками. При игре на кото «со» используются бамбуковые плектры, которые надеваются на пальцы правой руки. Прообраз современного японского кото.
Бансики — одна из шести основных тональностей, используемых в музыке «гагаку». Мелодии в такой тональности исполнялись, как правило, в зимнее время.
- С. 38 *С «вечным летом» не может сравниться.* — В стихотворении Югао под гвоздикой (надэсико) подразумевается ее маленькая дочь. Отвечая ей, То-но тюдзё вводит в свое стихотворение иное название гвоздики — токанацу («вечное лето»), привычно ассоциирующееся в японской поэзии с брачными узами («токо» означает «вечный» и «ложе»).
- С. 39 *Китидзё* (санскр. Шримахадэви) — богиня счастья, известная своей красотой. *Послушайте песню мою о двух путях.* — Цитируется стихотворение Бо Цзюйи «Помолвка», в котором говорится о преимуществе бедной жены перед богатой: «Вот хозяин встречает любезных сватов, / Наполняет вином кувшины из нефрита. / “Вы садитесь за стол, вина же не пейте, / Послушайте песню мою о двух путях. / Замуж выйти нетрудно дочке богатого. / Но такая супругом помыкать станет вскоре. / Нелегко выйти замуж дочери бедного, / Зато станет она свекровь почитать. / Слышал я, что ты ищешь себе супругу, / Так решай же, какая подходит тебе!”»
...она не употребляла азбуки «кана» и писала одними «истинными знаками». — Истинными знаками (мана) назывались китайские иероглифы

- (в отличие от знаков японской слоговой азбуки «кана» (временные знаки), которыми полагалось писать женщинам).
- С. 40 ...от меня исходит зловоние... — Одной из основных частей целебного отвара был чеснок.
...паучок известил. — В древней Японии существовало поверье, согласно которому паук, плетущий паутину, предсказывает скорую встречу с возлюбленным.
- С. 41 *Женищина, постигшая все тонкости Трех историй и Пяти книг...* — Имеются в виду классические китайские произведения, составлявшие основу мужского образования: «Исторические записки» («Шицзи», автор Сыма Цянь), «История ранней династии Хань» («Ханьшу», автор Бань Гу), «История поздней династии Хань» («Хоуханьшу»), «Книга песен» («Шицзин»), «Книга документов» («Шуцзин»), «Книга перемен» («Идзин»), «Вёсны и осени» («Чуньцю»), «Книга ритуалов» («Лицзи»).
Праздник Пятой луны. — На Пятый день Пятой луны принято было обмениваться парчовыми мешочками «кусудамы» с благовониями из аира и полыни. В этот же день проводились состязания в стрельбе из лука верхом (подробнее см. «Приложение», с. 122).
Или на Девятый день... — На Девятый день Девятой луны проводился Праздник хризантем (подробнее см. «Приложение», с. 124).
- С. 42 ...следует остерегаться встречи со Срединным богом. — Срединный бог (Накагами, Тэнитидзин) — одно из восьми небесных божеств, которым придавалось большое значение в древней японской гадательной практике «омёдо». Считалось, что Срединный бог в течение сорока дней находится на земле и передвигается, меняя каждые пять дней направление, затем он покидает землю и следующие шестнадцать дней проводит на небе. Двигаться в направлении, занятом этим богом, считалось крайне опасным, поэтому, прежде чем куда-то ехать, обязательно обращались к гадальщикам. Если требуемое направление оказывалось под запретом, необходимо было изменить его (*ката-тагаэ*), т. е. выехать сначала в другую, безопасную сторону и провести какое-то время в чужом доме, после чего можно было ехать туда, куда нужно.
Ки — провинция в юго-восточной части о-ва Хонсю, в настоящее время — вся префектура Накаяма и часть префектуры Миэ.
Иё — провинция на юго-восточном побережье о-ва Хонсю, современная префектура Айти. Далее в тексте правитель Иё везде называется помощником правителя Иё — Иё-но сукэ (а не Иё-но ками).
- С. 43 ...словно на берегу Коюруги угощение искал... — Намек на народную песню «Драгоценный кувшинчик» (см. «Приложение», с. 137).
- С. 44 ...служанки подняли решетки. — Как правило, внутренние покои отделялись от окружавшей дом галереи деревянными лакированными решетками (коси) (иногда на эти решетки с внутренней стороны наклеивалась бумага). Чаще всего решетки состояли из двух частей — верхней и нижней. Нижняя закреплялась при помощи засова, верхняя в дневное время поднималась, а в ночное — опускалась. Иногда решетки состояли из одной части, которая поднималась полностью и служила дверцей.
«Утренний лик» (асагао) — вьюнок ипомея, цветет розовыми и голубыми цветами, которые раскрываются утром и увядают к вечеру.
А как же «занавеси и шторы»?.. Да ведь «чем угостить?» — см. народную песню «Наш дом» (см. «Приложение», с. 138).
- С. 46 *Вы ведь, кажется, звали Тюдзё?* — Женщина звала свою прислужницу, госпожу Тюдзё. Но в чине тюдзё был и Гэндзи. Воспользовавшись этим обстоятельством, он решил сделать вид, будто просто поспешил на зов.

- С. 50 *Покои Высочайшего Ларца (Микусигэдоно)* — помещение, где шились и хранились одежды, — имелись в императорском дворце, а также в домах высших сановников.
- С. 52 *Дерево-метла (хахакиги)* — мифическое дерево, якобы растущее в местности Сонохара (провинция Синано). Ясно видное издалека, дерево это исчезает при приближении к нему.

ПУСТАЯ СКОРУПКА ЦИКАДЫ (УЦУСЭМИ)

- С. 54 *Го* — игра типа облавных шашек, имела широкое распространение в среде придворной аристократии эпохи Хэйан.
- С. 55 *Дамэ* — термин игры «го», так называется свободная точка, расположенная рядом с камнем. Камень выходит из игры, если все его «дамэ» заняты камнями противника.
Ко — термин игры «го», так называется ситуация, когда каждый следующий ход приводит к бессмысленному повторению предыдущей позиции. Правило «ко» запрещает делать этот ход.
...она не затруднилась бы пересчитать даже купальни Иё. — Провинция Иё славилась горячими источниками. О купальнях Иё говорится и в народной песне «Горячие ключи Иё» (см. «Приложение», с. 138).

ВЕЧЕРНИЙ ЛИК (ЮГАО)

- С. 61 *...занемогла тяжкой болезнью и приняла постриг.* — Считалось, что человек, принявший монашеский постриг, может рассчитывать на выздоровление.
- С. 62 *...вынужден был заключить, что они чрезмерно высоки.* — Японские комментаторы указывают, что пол в этом доме был, очевидно, выше обычного уровня.
«Вечерний лик» (югао) — тыква горлянка, лагенария, цветущая белыми цветами, которые, раскрываясь вечером, к утру увядают.
Адзари (или *адзэри*, санскр. *акарья*, буквально «монах-наставник») — монахи (особенно последователи учений Тэндай и Сингон), считавшиеся образцом для подражания и имевшие учеников.
- С. 63 *Будда Амида* (санскр. *Амитабха*) — властелин Западного рая (Чистой земли, яп. Дзёдо), один из наиболее почитаемых будд в древней Японии.
...занять самое почетное из девяти мест в Чистой земле. — По буддийским представлениям, душа, переселяясь в Чистую землю, занимает там (в соответствии со своими заслугами) место определенного разряда. Всего существует девять разрядов.
- С. 64 *...в чине почетного помощника правителя...* — Почетный помощник правителя (*ёмэй-но сукэ*) — звание чисто номинальное, имевший его не получал жалованья и не принимал никакого практического участия в управлении провинцией.
- С. 65 *Сибиря* — атрибут костюма женщины низкого звания, нечто вроде подвязанного со спины фартука.
- С. 67 *Платье цвета астра-сион* — светло-лиловое платье на синей подкладке. Платья такого цвета принято было носить осенью. Сион — многолетняя астра.
Мо — атрибут женского парадного платья, нечто вроде широкого шлейфа, сшитого из узких полосок шелка и украшенного вышивкой, привязывалось лентами к талии (см. также «Приложение», с. 151).
- С. 68 *Ох уж этот бог Кадзураки!* — Согласно преданию, бог Кадзураки (Хитокотонуси-но ками) строил каменный мост между горами Кадзураки и Ким-

бусэн. Он был безобразен и работал только ночью, чтобы днем не показываться людям, поэтому так и не смог достроить мост. В данном контексте «бог Кадзураки» означает просто «мост», к тому же не очень надежный.

С. 69 ...переодевался в грубое охотничье платье... — Охотничье платье (каригину), состоявшее из кафтана с подвязанными рукавами и коротких шаровар (см. «Приложение», с. 151), надевалось аристократами, когда они хотели остаться неузнанными.

С. 71 ...приглушенные расстоянием удары вальков... дикие гуси. — Реминисценции из стихотворения Бо Цзюйи «Благодарю Мэн-дэ ночью, холодной от инея, гляжу на луну и вздыхаю»: «Морозен и чист пейзаж зимней ночи. / Вновь переживаю пережитое в прошедшем году. / Белеет луна, как только что выпавший иней. / Стук вальков и далекие крики гусей...»

...к стрекотанью сверчка под стеной... — Ср. с написанным по-китайски стихотворением Минамото Ситаго (911–983) «Сверчки» из антологии «Вакан-роэйсю» (1013): «Где-то вдали в кустарнике стонут, ветер мрачно шумит. / Затаенно звенят под стеною, холоден свет луны».

...чего алкая, может он молиться? — намек на стихотворение Бо Цзюйи «Не ухожу в отставку»: «Достигнув семи десятков, от дел уходи. / Так принято, и в законах прямо о том говорится. / Почему же алчущие славы как будто / Никогда не слышали о том? / Сожалею о восьмидесяти-девяностолетних; / Зубы выпали их, и глаза потускнели. / Алчут славы, наживы при утренних росах. / На закате же дней — за потомков в тревоге...»

...старик держит пост, готовясь подняться на священную вершину Митакэ. — Священная вершина Митакэ — гора Кимбусэн в Ёсино (нынешняя префектура Нагано), где находился храм последователей учения «сюэндо» (одна из буддийских сект, уделявшая особое внимание обрядовой практике). Прежде чем подняться на вершину горы Кимбусэн, нужно было в течение тысячи дней поститься и молиться будде грядущего Мироку (Майтрея).

С. 72 Клятва, данная когда-то в «чертоге Долголетия»... — См. коммент. к с. 17.

С. 75 ...служил стражем Водопада. — У водопада возле дворца Сэйрэдэн всегда стоял воин, охранявший императорские покои (такигути-но буси). На эту должность назначались лица Шестого ранга. Стражи Водопада подчинялись Императорскому архиву (Курододокоро).

...судя по всему, было не так уж и поздно. — Вечерняя переключка оставшихся во дворце на ночное дежурство придворных начиналась в стражу Свиньи (около десяти часов вечера). Страж Водопада называл свое имя последним.

...слуга растерялся... — Низшим слугам не полагалось самим приближаться к господину.

С. 76 Гэндзи невольно вспомнилась история... — Очевидно, имеется в виду зафиксированный в «Оокагами» (историческая повесть середины или конца XI в.) случай с министром Фудзивара Тадахира (880–949), который подвергся нападению злого духа во дворце Сисиндэн (Южном дворце).

Может быть, это те самые совы? — Очевидно, Гэндзи вспоминает стихотворение Бо Цзюйи «О несчастливых домах»: «В Чанъани много больших домов, / На восток и на запад рядами расходятся. / Но слишком часто за красными воротами / Галереи пусты и пусты покои. / Совы кричат в кронах сосен и кассий, / Лисы прячутся в зарослях орхидей, хризантем. / Зеленый мох и желтые листья устали землю. / Солнце заходит — по земле проносится смерть...»

С. 78 Разговаривали они через занавес. — Всякое соприкосновение с телом умершего считалось осквернением. Будучи нечистым, Гэндзи не мог принимать гостей, поэтому он не разрешает То-но тюдзэ садиться и разговаривает с ним через занавес.

- С. 78 *...прежде чем его успели перевезти в другое место.* — Когда кто-то из слуг был при смерти, его обычно выносили из дома господина, чтобы избежать осквернения.
...выходит, но тут же возвращается — знак, что официальная часть визита закончена.
- С. 80 *...закончились вечерние службы...* — В Японии эпохи Хэйан принято было делить сутки на шесть частей, каждой из которых соответствовала определенная служба в буддийском храме: 1) утро и утренняя служба; 2) полдень и полуденная служба; 3) сумерки и сумеречная служба; 4) вечер и вечерняя служба; 5) ночь и ночная служба; 6) время перед рассветом и предрассветная служба. Вечерняя служба проводилась обычно в стражу Собаки, т. е. около восьми часов вечера.
Храм Киёмидзу — один из самых почитаемых в древней Японии буддийских храмов, посвященных богине Каннон (бодхисаттва Авалокитешвара, который в Китае и Японии был преобразован в богиню Милосердия). Храм Киёмидзу находился к востоку от столицы.
- С. 83 *...надобно будет писать имена будд...* — Каждые семь дней после смерти положено было творить поминальные обряды и подносить дары буддам, бодхисаттвам и богам буддийского пантеона: Фудо, Сакья, Мондзю, Фугэн, Дзидзо, Мироку, Якуси; соотв. санскр. Арьякалантха, Шакья-муни, Манджушри, Самантабhadра, Кситигарbха, Майтрея, Бхайсаджягурувайдурья), причем символ каждого писался на поминальной табличке.
...из дома Правого министра... — Дочь Правого министра была главной супругой То-но тюдзё.
Западный город — имеется в виду западная часть столицы (к западу от дороги Судзакү), где селились обычно простолюдины.
...это направление оказалось под запретом... — См. коммент. к с. 42.
- С. 85 *...«самые длинные ночи...»* — Цитируется стихотворение Бо Цзюйи «Прислушиваюсь к стуку ночного валька»: «Чья жена, вздыхая тоскливо, отбивает осенью шелк? / Скуден лунный свет, и пронзителен ветер, печальны удары валька. / Ночи Восьмой и Девятой лун — самые длинные ночи. / Сто раз ударил и тысячу раз — ни на миг не смолкает валеk. / Останешься здесь до зари его слушать — побелеет твоя голова. / Ведь каждый удар валька добавляет одну белую нить».
- С. 86 *...в павильоне Цветка Закона на горе Хиэ.* — Гора Хиэ (или Хиэйдзан) находилась к северо-востоку от столицы. На ней размещался известный храмовый комплекс Энрякүдзи, центр буддийского учения Тэндай. Павильон Цветка Закона (т. е. павильон сутры Лотоса) — одно из зданий этого комплекса.
- С. 87 *...тайком приготовленные хакама...* — Хакама предназначались для приношения в храм.
О, по какой из дорог... — Считалось, что, проблуждав в этом мире сорок девять дней, душа умершего возрождается (в соответствии с заслугами своими в прошитой жизни) в одном из шести миров: аду, мире голодных духов, мире животных, мире демонов-асюра, мире людей, мире небожителей.
- С. 88 *...отослал в дом Иё-но сукэ... веера...* — Веер полагалось дарить при расставании как символ будущей встречи (первая часть слова «веер», *ооги*, в старой орфографии *афуги*, по звучанию совпадала со словом «встречаться» — *афу*).

ЮНАЯ МУРАСАКИ (БАКАМУРАСАКИ)

- С. 90 *Священная вода (акамидзу, санскр. аргха)* — добывалась из специально вырытого возле храма колодца и уснащалась благовониями. Налив воду в специально предназначенную для этой цели чашу, ее ставили на буддийский

жертвенник рядом с другими подношениями Будде. В воде обычно плавали душистые цветы, чаще всего цветы дерева сикими (бадьян). Священная вода использовалась также во время различных буддийских обрядов.

- С. 91 *Западные земли (Нисигуни)* — так называли западную часть о-ва Хонсю и о-в Кюсю.

...не так давно принявшего обет... — Отец госпожи Акаси называется в тексте «Повести о Гэндзи» сначала новообращенным (*сиботи*), а потом вступившим на Путь (*нюдо*). Вступивший на Путь отличается от настоящего монаха тем, что, приняв постриг и облачившись в монашеское платье, он продолжает жить в миру, соблюдая лишь некоторые запреты и ограничения.

- С. 92 *...концы подстриженных волос...* — В древней Японии знатные женщины обычно носили длинные, свободно ниспадавшие волосы. Монахини брили голову наголо. Многие знатные дамы, решившись уйти от мира, принимали лишь часть монашеских обетов и подстригали волосы до плеч. При этом они оставались жить в собственном доме. Называли же их, как и настоящих монахинь, *ама* (монахиня).

- С. 93 *...цвета керрия...* — т. е. цвета опавших листьев с лица и зеленовато-желтое — с изнанки. Платья такого цвета носили зимой и весной. Керрия (ямабуки) — кустарник, цветущий в начале лета ярко-желтыми простыми или махровыми цветами.

Наказание не замедлит... — По буддийским представлениям, ловить животных считалось преступлением.

...брови туманятся легкой дымкой... — Взрослые хэйанские женщины обычно полностью сбривали брови и тушью проводили на лбу две черты гораздо выше истинной линии бровей. У девочки же, судя по всему, брови еще не были выбриты.

- С. 96 *«...отсюда и сходство».* — Принц Хёбукё (отец Мурасаки) и Фудзицубо были единокровными братом и сестрой, детьми предыдущего императора Сэндай.

- С. 97 *Одну только ночь...* — Монахиня отвечает только на вторую часть стихотворения Гэндзи, полностью игнорируя первую, где он намекает на свои чувства к ее внучке. Мох — метафора монашеского платья.

- С. 98 *...покаянные молитвы.* — В эпоху Хэйан были распространены молитвенные тексты, основанные на различных сутрах и произносившиеся с покаянной целью. Наиболее популярен был текст, основанный на сутре Лотоса.

Ветер с горных вершин... — В стихотворение Гэндзи вставлены названия различных способов чтения покаянных молитв. В «Номори-кагами» (автор Тикуса Арифуса, 1251–1319) записано, что для чтения покаянных молитв существуют две мелодии-инотанции: «ветер с горных вершин» и «шум водопада». Читая молитвы, следовало помнить о том, чтобы голос был созвучен свисту горного ветра, напоминая одновременно журчание горных потоков.

...приступить к оградительному обряду. — Оградительный обряд (*госимбо*) должен был укрепить тело и дух больного посредством очищения его тела, речи и сознания. Творящий этот обряд монах, делая символические жесты руками (*мудры*), произносил канонические заклинательные формулы (*дхари*).

- С. 99 *...обет, данный мною на этот год...* — Видимо, монах дал обет в течение года не покидать горной обители.

Удумбара — мифический цветок, цветущий, по поверью, раз в тысячу лет. Вишня в стихотворении Гэндзи символизирует Мурасаки, цветок удумбара в стихотворении монаха — Гэндзи.

Токо (санскр. *ваджра*) — один из ритуальных предметов, использующийся при буддийских обрядах. Имеет вид заостренного с двух концов стержня.

Может также иметь на концах загнутые внутрь зубцы — три или пять. Форма заимствована от древнего индийского оружия. Употребление токо было особенно распространено среди последователей учения Сингон. Символизирует оружие, поражающее злых демонов.

- С. 99 ...*четки из семян священного дерева бодхи*. — Деревом бодхи (или деревом просветления) называли обычно пипаллу (род фигового дерева), под которой, согласно преданию, достиг просветления будда Гаутама (Шакья-Муни). Черные шестиугольные семена этого дерева часто использовались для изготовления четок.

Сётоку-тайси — посмертное имя принца Умаядотёто ямими-но мико (574–622), который в качестве регента сосредоточивал в своих руках государственную власть в годы правления императрицы Суйко (592–628). Известен активной государственной деятельностью, направленной на расширение внешних связей страны, на распространение в Японии буддизма.

Кудара (Тэкчё) — государство, существовавшее в древности в юго-западной части Корейского полуострова.

- С. 100 *К западу от храма Тёра...* — народная песня «Кадзураки» (см. «Приложение», с. 138).

Хитирики — духовой музыкальный инструмент, напоминающий поперечную флейту. Использовался в музыке «гагаку». Был завезен в Японию из Китая. Из-за того, что при игре на хитирики щеки раздувались и лицо, искажаясь от натуги, становилось непривлекательным, благородные люди обычно на этом инструменте не играли.

«*Сё*» (ит. *шэн*) — духовой инструмент типа губного органчика, использовавшийся в музыке «гагаку». Завезен в Японию из Китая. Состоит из головки в форме тыквы, из которой торчат семнадцать бамбуковых трубок различной длины, скрепленных между собой кольцом.

«*Кин*» (ит. *цин*), также «китайское кото» — семиструнный щипковый инструмент типа цитры, завезенный в Японию из Китая. Отличается мягкостью звучания, широтой диапазона.

- С. 101 ...*да еще в пору Конца Закона*. — По буддийским представлениям, после смерти Будды в течение пятисот лет длится «праведный век» (*сёбо*), затем в течение тысячелетия — «отраженный век» (*дзобо*), затем в течение десяти тысяч лет — «век конца Закона» (*маппо*). В этот последний период на земле царит беспорядок, учение Будды утрачивает былое величие и нет человека, способного стать Буддой. Считается, что этот период начался в 1052 г., т. е. время, когда жила Мурасаки и когда была создана «Повесть о Гэндзи», непосредственно предшествовало веку «конца Закона».

Он красивее даже господина принца. — Имеется в виду принц Хёбукё, отец девочки.

...*этот монах вполне достоин сана адзари*. — См. коммент. к с. 62.

- С. 102 ...*это дитя и «нанивадзу» вряд ли сумеет написать до конца...* — т. е. не умеет писать даже пятистишия «В Нанивадзу...» (см. «Приложение». Свод пятистиший..., 40). Это пятистишие, приписываемое преданием корейскому ученому и поэту Вани, служило одним из образцов на начальных стадиях обучения каллиграфии.

- С. 103 ...*никогда больше не повторится, но вот опять...* — В тексте явно идет речь о втором свидании Гэндзи с Фудзицубо. Но описание первого свидания отсутствует (равно как и всякое определенное упоминание о нем).

- С. 107 ...*С милым сердцу цветом мурасаки...* — Мурасаки (воробейник) — луговое растение, цветущее летом мелкими белыми цветами. Из его корней делали лиловую краску, почему этот невзрачный с виду цветок и стал символом любви в японской поэзии (лиловый цвет — цвет любви). В стихотворении Гэндзи

цветок мурасаки обозначает Фудзицубо, связанную с девочкой родственными узами (ср. также «Приложение». Свод пятистиший..., 45).

- С. 107 *...была намечена церемония Высочайшего посещения дворца Судзаку...* — Дворец Судзаку (Красной птицы) находился между Третьей и Четвертой линиями со времени правления императора Сага (809–823) служил резиденцией отрекшихся от престола императоров. Красная птица (судзаку) — одно из четырех божеств, символизировавших в Китае и Японии определенную часть света (юг — Красная птица, восток — Голубой дракон, запад — Белый тигр, север — Черная черепаха).
- С. 110 *...после того, как закончатся положенные сорок девять дней.* — В течение сорока девяти дней после смерти совершались поминальные обряды (считалось, что в течение сорока девяти дней душа человека остается в этом мире и только потом возрождается в новом обличье).
- С. 111 *...содержание его должно было быть особенным...* — Поскольку юная Мурасаки еще не стала супругой Гэндзи, обычное утреннее послание, которое полагалось посылать возлюбленной после первой проведенной вместе ночи, вряд ли было уместным.
- С. 112 *...такое начало не делает чести господину Тюдзё.* — По обычаю, существовавшему в древней Японии, мужчина, вступающий в брачный союз, должен был провести в доме своей возлюбленной подряд три ночи. Зная, что Гэндзи ночевал в покоях Мурасаки, дамы сочли, что, не появившись на следующий день, он пренебрег приличиями.
...как говорится, «перебирая осоку»... — «Перебирание осоки» (сузагаки) — один из наиболее распространенных способов игры на японском кото (вагон). Звучание получается приглушенно-тихое. Таким способом обычно исполняли народные песни.
«Далеко в Хитати...» — начало народной песни «В Хитати» (см. «Приложение», с. 139).
- С. 116 *Если изучит она все современные прописи...* — Во времена Мурасаки особенно популярны были прописи школы Фудзивара Юкинари (Кодзэй, 872–1027), по которым девочек обучали искусству написания знаков японской слоговой азбуки «кана».

ШАФРАН (СУЭЦУМУХАНА)

- С. 117 *Годы текут... насладиться.* — Начало этой главы написано в форме пятистишия.
...связанные с ним женщины — и та, и другая... — т. е. супруга Гэндзи (Аои) и его возлюбленная Рокудзё-но миясудокоро.
- С. 118 *«Три друга»* — цитра «цинъ», вино и стихи, образ из стихотворения Бо Цзюйи «Три друга у Северного окна»: «Сегодня, сидя у Северного окна, / Себя спрашивал: «Чем бы заняться?» / И, к радости немалой, нашел трех друзей. / Три друга. Но кто же они? / Смолкнет цитра, и ей на смену — вино. / Уходит вино, а на смену — стихи. Три друга, сменяясь, приходят. / И в их круговороте не замечаешь часов...»
- С. 120 *Дворцовая гора* — подразумевается Дворец. Гора вводится в стихотворение исключительно по ассоциации с луной. Луна обозначает Гэндзи.
- С. 121 *Корейская флейта (комабуэ)* — один из типов флейты, весьма распространенный в Японии в эпоху Хэйан. Корейская флейта была короче и тоньше обычной, отличалась более высоким звуком.
- С. 122 *«Пережить дождь».* — Переживать дождь в чьем-то доме — аллегория любовного свидания, любовной связи, основанная на образе из народной песни «Ворота моей любимой» (см. «Приложение», с. 139).

- С. 125 *Колокольчика звоном внезапным...* — образ не совсем ясен и вызывает разные толкования. Многие комментаторы склоняются к мысли, что речь идет о колокольчике, которым подают сигнал к окончанию Восьмичастных чтений (*сидзима-но канэ*), т. е. считают, что в стихотворении говорится о нежелании прекращать беседу (т. е. разрывать отношения).
- С. 127 *...в старинном стиле...* — имеется в виду стиль известных каллиграфов середины периода Хэйан — Оно-но Тофу (или Оно-но Митикадзэ, 894–966) и Фудзивара Сукэмаса (944–998). Новым в конце X — начале XI в. считался стиль Фудзивара Юкинари (972–1027). Оно-но Тофу и Фудзивара Сукэмаса не использовали японской слоговой азбуки «кана», в то время как Фудзивара Юкинари достиг совершенства именно в письме «каной», которая во времена Мурасаки, сопровождая распространение японских национальных поэтических форм, завоевала большую популярность не только среди женщин, но и среди мужчин.
- С. 128 *Флейта «сякухати»* — национальный японский духовой инструмент, напоминающий кларнет. Завезен в Японию из Китая. До конца X в. широко использовался в музыке «гагаку».
- Большой барабан «тайко»* — наиболее распространенный в древней Японии тип барабана. Корпус у него был из дерева или меди, с двух сторон (или с одной) его обтягивали кожей. Ставился он на подставку, так что с боков оказывались обтянутые кожей плоскости. Били в него палочками.
- С. 129 *...на китайском фарфоре изысканно зеленоватого оттенка.* — Из китайского фарфора танской и сунской эпох делали посуду только для императорского стола.
- ...в прическах у них, как полагается, торчали гребни...* — Согласно этикету, дамам, прислуживающим за столом знатной особы, полагалось, подобрав волосы кверху, закреплять их гребнем. В описываемые Мурасаки времена в большинстве домов столицы уже не придерживались этого правила, но в доме принца Хитати хранили, как видно, верность старинным обычаям.
- ...таких можно встретить лишь в Танцевальной палате...* — В Танцевальной палате (Найкёбо), равно как и в Отделении дворцовых прислужниц (Найсидокоро), служили обычно пожилые дамы. Девушку из благородного семейства должны были окружать молодые, красивые прислужницы, подбору которых уделялось большое внимание.
- С. 130 *...о небезызвестном существе, на котором восседает обычно бодхисаттва Фугэн.* — Бодхисаттва мудрости Фугэн (санскр. Самантабhadра) изображается сидящим на слоне. В некоторых сутрах говорится о том, что слон этот белый с красным хоботом. Например, в сутре Канфугэнгё (санскр. Дхармамитра) сказано: «Бодхисаттва Фугэн восседает на большом белом слоне, которого хобот цветом подобен алому лотосу».
- ...облачена она в нижнее платье дозволенного оттенка...* — Ярko-красные, ярko-желтые, ярko-лиловые платья могли носить только император, члены высочайшего семейства и высшие сановники. Эти цвета назывались запретными (*киндзики*). Однако бледные, светлые (так называемые «дозволенные» — *юриси-но иро*) оттенки тех же цветов разрешалось носить всем. Платье девушки скорее всего было светло-красным.
- Утики* — платье, надевавшееся либо под китайскую накидку *карагину* (если женщина была в парадном облачении), либо под *коутики* (если женщина была одета по-домашнему). Обычно надевали несколько утики одно на другое (см. также «Приложение», с. 151).
- ...похожей на участника торжественной церемонии...* — Во время церемониальных процессий чиновники обычно шли, держа обеими руками перед грудью сложенный веер или специальную табличку (*сяку*), их локти при этом были расставлены в стороны.

- С. 131 «Юным нечем прикрыть наготу...» — Гэндзи цитирует стихотворение Бо Цзюйи «Тяжелые подати»: «Окончится год — небеса и земля сомкнутся. / Холодный ветер гуляет по разоренной деревне. / Глубокой ночью ни огонька, ни дымка не увидишь. / Град ли, снег ли, белым летит-заметает. / Юным нечем прикрыть наготу. / Старцам негде согреть озябшее тело. / Тоскливые столы, холод ночной, соединяясь, / Пронизывают насквозь и горько на сердце...» (в последней фразе буквально «горько в носу», очевидно, поэтому Гэндзи и вспоминает именно это стихотворение).
- С. 132 Бумага «митиноку» — Толстая белая бумага, которая производилась в Митиноку (северо-восточное побережье о-ва Хонсю). Употреблялась чаще всего в официальной переписке.
- С. 133 ...*платье модной расцветки (имаёиро)* — скорее всего, темно-розовое. *Вряд ли цветом своим...* — В стихотворении Гэндзи говорится о цветке *суэцу-мухана* (буквально «цветок, у которого срывают кончик»), т. е. диком шафране. Ярко-алые рыльца этого цветка использовались для изготовления красной краски. В стихотворении Гэндзи — игра слов, основанная на совпадении звучания в японском языке слов «нос» (*хана*) и «цветок» (*хана*). *Столовый зал (дайбандокоро)* — просторное помещение с длинными столами (*дайбан*), на которые ставили посуду и различные яства, прежде чем подать их господину. Во дворце Столовый зал служил местом сбора придворных дам. В домах менее знатных людей это была просто кухня.
- С. 134 *Ах, и ту прекрасную деву забыв...* — Возможно, отрывок из народной песни «Гора Микаса» («Микаса-но яма»), хотя в дошедшем до нашего времени варианте песни таких слов нет. *...Деву с горы Микаса...* — в этих словах содержится очень тонкий намек на дочь принца Хитати. Существует древнее предание, согласно которому бог Касуга, выехав из Хитати верхом на олене, остановился на горе Микаса. Это оказывается достаточным основанием для того, чтобы связать два названия между собой. *Госпожа Сакон или Хиго-но унэбэ* — придворные дамы, скорее всего имевшие красные носы. Больше в «Повести о Гэндзи» не упоминаются. *Песенное шествие* — Устраивалось в начале года. Группа певцов и танцоров три раза обходила императорский дворец, после чего до поздней ночи ходила по улицам столицы с песнями и танцами (подробнее см. «Приложение», с. 119). *...на Седьмой день, как только закончились праздничные церемонии...* — На Седьмой день Первой луны во Дворце устраивали праздник Первых трав и праздник Белого коня. Оба имели магическое значение. Существовало поверье, что человек, отведавший в начале года каши из семи первых весенних трав и увидевший белого коня, на целый год застрахован от всяких болезней (подробнее см. «Приложение», с. 118).
- С. 135 ...*в мягком, без узоров платье хосонага цвета «вишня»*. — Хосонага — верхнее домашнее платье с прорезями, которое надевали поверх нескольких ути-ки. Цвет «вишня» — белый или желтоватый на светло-красной или сиреневой подкладке. Такой цвет носили весной. Платье было без узоров, потому что еще не кончился срок траура по старой монахине.
- С. 136 ...*не прибавляйте еще и туши, как Хэйтю*. — Хэйтю (Тайра Садафуми, ?–923) — герой повести «Хэйтю-моногатари» (первая половина Х в.), в одном из эпизодов которой рассказывается о том, как Хэйтю, желая убедить возлюбленную в своей чувствительности, незаметно смачивал глаза водой из тушечницы, делая вид, что плачет. Заметив эту уловку, женщина разоблачила его, добавив в воду немного туши.

ПРАЗДНИК АЛЫХ КЛЕНОВ (МОМИДЗИ-НО ГА)

- С. 137 ...велика была досада благородных дам... зрелищем. — Императрицам и придворным дамам не разрешалось участвовать в церемонии, которая проходила во дворце Судзаку.
- С. 138 «Волны на озере Цинхай» — один из танцев «гагаку». Здесь и далее описание танцев см. в «Приложении», с. 127–128.
Калавинка (яп. *карёбинга*) — мифическая сладкоголосая птица из буддийского рая. Лицо у нее женское, торс — птичий.
- С. 139 ...даже в этой области она осведомленнее многих... — Гэндзи восхищается тем, что Фуэциубо, как явствует из ее стихотворения, знает о китайском происхождении танца «Волны на озере Цинхай». *Времена чужеземных владык* — времена древних китайских императоров.
Музыканты круга — во время танца «Волны на озере Цинхай» музыканты образовывали круг, в центре которого располагались танцоры (подробнее см. «Приложение», с. 127).
«Левые» и «правые» музыканты. — Так назывались соответственно исполнители китайской и корейской музыки. Под китайской («левой») музыкой (*морокоси-но гаку*) подразумевалась музыка, заимствованная из Китая или Индии (а также сочиненная в Японии по ее образцам). В китайской музыке использовались: продольная флейта, флейта «хитирики», флейта «сё», кото «со», бива и разнообразные барабаны. Музыканты были одеты в алые платья. Корейская («правая») музыка (*комагаку*) была завезена в Японию с Корейского полуострова и из Маньчжурии. Она отличалась от китайской более высоким звучанием. В корейской музыке, как правило, не употреблялись струнные инструменты (исключением иногда бывали кото «со» и бива), оркестр состоял только из духовых и ударных инструментов. Музыканты были обычно в зеленых платьях. Названия «правая» и «левая» объясняется тем, что корейские музыканты чаще всего были чиновниками «правых» ведомств, а китайские — «левых».
- С. 140 *Домашняя управа (мадокоро)* — учреждение в доме знатного человека, ведающее всеми хозяйственными делами.
- С. 142 *Церемония Поздравления (тёхай).* — Существовал обычай, согласно которому в первый день года в стражу Дракона (около десяти часов утра) император появлялся во дворце Великого предела (Дайгокудэн, главное здание правительственного комплекса Тёдоин, в стенах которого проводились самые ответственные церемонии), где принимал новогодние поздравления от ста чиновников. Позже эта церемония была несколько упрощена — придворные всех рангов выстраивались перед дворцом Сэйрёдэн в полном придворном облачении и поздравляли императора (так называемое «малое поздравление»).
Сяку — мера длины, равная 30,3 см.
...надо изгонять злых духов — обряд изгнания злых духов (цуйна) совершался обычно в последний день года (см. «Приложение», с. 126).
...постарайтесь воздерживаться сегодня от недобрых слов и не плачьте. — Плакать и гневаться в первый день года считалось дурным предзнаменованием.
- С. 143 ...поднес ему великолепный фамильный пояс. — С парадным платьем надевался обычно так называемый «пояс с камнями» (сэкитай) — кожаный пояс, украшенный драгоценными камнями, пластинками из рога и металла.
Дворцовый пир (найэн) — торжественное собрание во дворце Нидзюдэн, которое проводилось в конце Первой луны. В этот день во Дворец приглашались ученые и литераторы, гости пили вино, слагали китайские стихи (см. «Приложение», с. 120).

- С. 143 *Ити-но ин* — предполагается, что это резиденция отца императора Кирицубо.
- С. 147 *...на кото «со»... последняя тонкая струна не отличается прочностью.* — Из 13 струн кото «со» три были тонкими. Гэндзи настраивает кото в тональности «хёдзё» (одна из основных шести тональностей, использовавшихся в музыке «гагаку»), при которой самая тонкая, последняя струна настраивается довольно низко.
«Хосорогусэри» — музыкальная пьеса корейского происхождения. В годы Тёхо (999–1004) стала частью танцевальной пьесы «Тёхораку».
- С. 148 *Унэбэ и нёкуродо* — женские придворные должности. Унэбэ прислуживали при императорской трапезе и на кухне. Нёкуродо выполняли различные мелкие поручения.
- С. 150 *...которые не прочь и «мокрое платье надеть»...* — «Надеть мокрое платье» значило дать повод к сплетням.
Дворец Теплого света, Уммэйдэн, служил местом сбора дворцовых прислужниц (*найси*).
Бива (кит. *пина*) — четырехструнный щипковый инструмент типа лютни, завезенный в Японию из Китая. При игре на бива используется медиатор.
«Выращивает тыквы...» — строка из народной песни «Ямасиро» (см. «Приложение», с. 139–140).
«Наверное, так же хорошо пела та особа с острова Попугаев» — имеется в виду героиня стихотворения Бо Цзюйи «Услышанный ночью голос»: «Как-то ночью причалил к острову Попугаев. / Над осенней рекой месяц светел и чист. / Слышу, кто-то поет в соседней лодке. / Нестерпимо печальная льется мелодия. / Оборвалась вдруг песня, послышался плач. / Плачу на смену пришли рыдания. / Озираюсь вокруг — кто же там плачет? / Вижу — женщина, снега белее лицо, / Одинокое стоит, прислонившись к мачте. / Изящна, прелезна, лет семнадцать на вид. / Слезы в ночи сверкают, как жемчуг, / Каплями падают лунные блики. / Узнать попытался — из какого та женщина дома, / Почему так тоскливы песни ее и плач? / Но на каждый вопрос мой — лишь новые слезы. / Опустила глаза, ничего не сказав».
«В беседке стою... Ты толкни и войди...» — см. народную песню «Беседка» («Приложение», с. 140).
- С. 153 *Потому этот синий пояс...* — образ из народной песни «Исикава» (см. «Приложение», с. 140), который находит дальнейшее развитие в ответе То-но тюдзё.
- С. 154 *...не полагалось ведать делами двора...* — Регентами, как правило, становились сановники, принадлежавшие к семейству Фудзивара, а не Минамото.
...скоро вы займете самое высокое положение в мире. — После того как нынешний наследный принц, сын Кокидэн, станет императором, она будет удостоена звания *котайго* (матери-императрицы).

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ (ХАНА-НО ЭН)

- С. 156 *...приступили к «выбору рифм»...* — Во время праздника цветов в Восточном саду дворца Чистоты и прохлады (Сэйрёдэн) устанавливался маленький столик, на нем раскладывались листки бумаги с написанными на них рифмами, используя которые, надо было сочинить стихотворение. Присутствующие по очереди подходили к столику и, не отходя от него, открывали листок, после чего, громко возгласив имя свое и звание, объявляли выпавшую им рифму.
- С. 159 *...имеют непосредственное отношение к дворцу Кокидэн.* — Сии-но сёсё и Утюбэн были братьями Кокидэн (нёго из дворца Щедрых наград).

- С. 159 *Трехчастный веер.* — Веер, сделанный из кипарисовых пластинок, соединенных по краям шелковой белой нитью (количество пластинок различалось в зависимости от звания владелицы). Каждая из трех частей такого веера состояла из пяти или восьми пластинок. При сложении три части накладывались одна на другую. Пластинки были обтянуты тонкой бумагой, разрисованной или позолоченной.
Ах, ни единой ночи... — слова из народной песни «Река Нуки» (см. «Приложение», с. 141).
- С. 160 *...даже старцы и те готовы были пуститься в пляс.* — В одной из исторических хроник Древней Японии, «Сёкунихонкоки» (869), рассказывается о том, как некий Овари-но Мурадзи-но Хамануси в Первую луну двенадцатого года Сёва (845 г.) танцевал перед императором Ниммё (810–850, правил в 833–850 гг.) в восточном саду дворца Сэйрёдэн танец «Трели весеннего соловья». Закончив танцевать, он сложил: «Старцам и тем / Предаваться не стоит печали. / Раз цветы и деревья / В этот блистательный век, / Ликуя, кружатся в танце». А было ему тогда 113 лет.
Церемония Надевания мо (моги) устраивалась, когда девочка достигала совершеннолетия (подробнее см. «Приложение», с. 115).
- С. 161 *Это роскошное облачение...* — Приходить в дом столь значительного лица, каким был Правый министр, в носы вместо парадного платья мог только принц крови. Гэндзи пользовался этим преимуществом, как любимый сын императора, хотя формально не имел на то права.
- С. 162 *«Веер отобрали у меня...»* — слова из народной песни «Исикава» (см. «Приложение», с. 140), только «пояс» Гэндзи заменил на «веер».
Что за кореец?.. — Намек на ту же песню.

МАЛЬВЫ (АОИ)

- С. 164 *После того как в мире произошли перемены...* — Император Кирицубо передал престол наследному принцу (император Судзаку), сыну Кокидэн. Новым наследным принцем был назначен малолетний сын Фудзицубо (будущий император Рэйдзэй). Гэндзи получил чин дайсё в Личной императорской охране.
Вот только тосковал он по маленькому принцу Весенних покоев. — Наследному принцу не полагалось покидать Дворец, куда отрекшийся от престола Государь уже не имел доступа.
...готовилась стать жрицей святилища Исэ. — Вступление на престол нового императора сопровождалось заменой жриц в синтоистских святилищах Камо и Исэ. Жрицей могла стать дочь, реже — внучка императора.
- С. 165 *...стыдись некоторого несоответствия в возрасте...* — Рокудзё-но миясудокоро была лет на восемь старше Гэндзи.
...подшло время и для смены жрицы святилища Камо... — см. коммент. к с. 172.
...сопровождавших ее в день Священного омовения... — Обряд Священного омовения жрицы совершался на реке Камо незадолго до празднества Камо. Обряд проводился дважды. После Первого омовения жрица Камо переселялась во Дворец, где жила в отведенных ей покоях до Второго омовения, после которого ее отправляли в обитель на равнине Мурасаки (к северо-востоку от столицы), где она жила в течение года, соблюдая строгое воздержание, после чего ее перевозили в святилище Камо, где она оставалась до тех пор, пока на престол не взойдет новый император (или пока не скончается кто-то из ее родственников, по которому она должна соблюдать траур). В данном случае речь идет о Втором омовении.

- С. 165 *Убранство смотровых помостов...* — Помимо карет, которые во время праздника стояли вдоль дороги, по обочинам сооружались временные помосты, с которых также любовались процессией.
- С. 167 *Цубосодзоку* — дорожная женская одежда. Волосы убраны, на голову наброшен подол платья, концы которого подобраны и заткнуты за пояс. Наряд дополняет большая шляпа с опущенными вниз полями (*итимэгаса*).
- С. 168 *...жилище, осененное ветками священного дерева сакаки, недоступно для посторонних...* — Жрица святилища Исэ по какой-то причине не была еще отправлена во Дворец и оставалась дома, а ее присутствие требовало соблюдения чистоты и неприкосновенности помещения. С четырех сторон у внутренних и внешних ворот ставились ветки священного дерева «сакаки» с повешенными на них полосками бумаги, испещренными священными письменами, — знак того, что в доме соблюдают строгое воздержание, и посторонним входить в дом запрещается. *Сакаки* — клейера японская, вечно-зеленое дерево, почитаемое последователями Синто как священное.
- ...день сегодня благоприятный...* — Волосы положено было подстригать лишь в определенные дни. Самыми благоприятными для стрижки считались дни Собаки, Петуха и Быка, менее благоприятными — Зайца и Змеи. Праздник Камо проводился обычно в день Петуха.
- Пусть растут до тысячи хиро* — обычная закликательная формула, которую принято было произносить во время стрижки волос. Хиро — мера длины (1,81 м).
- С. 169 *...в этих мальвах видя / Знак, данный богами...* — В стихотворении Гэн-найси-но сукэ (так же как и в ответе Гэндзи) обыгрываются омофоны: «афухи» (современное «аои») — «мальва» и «афу хи» — «день встреч».
- Вервие запрета (симэнава, симэ)* — ритуальная соломенная веревка с вплетенными в нее полосками бумаги. Вывешивается в синтоистских святилищах, означает, что проход закрыт. Гэн-найси-но сукэ намекает на то, что Гэндзи принадлежит другой и для нее недоступен.
- С. 170 *...связано с неким, не совсем обычным обстоятельством.* — Аои была беременна.
- ...появлялись разные духи, среди них души умерших и души живых...* — Древние японцы верили, что в любого человека мог вселиться дух другого человека, почему-либо затаившего на него злобу. Это могла быть душа умершего человека, по какой-то причине задержавшаяся в этом мире, душа живого человека, покинувшая его тело во время сна, оборотень и т. д. Человек, в которого вселялся злой дух, заболел и иногда даже умирал. Для того чтобы исцелить его от наваждения, вызывались монахи-заклинатели, которые посредством особых заклинаний и магических действий умирляли злых духов, заставляли их покинуть тело больного и, перейдя на посредника, обнаруживать свое истинное лицо и рассказать о причинах своей ненависти.
- С. 171 *...переселилась в другое место и прибегла к помощи молитв и заклинаний.* — В присутствии жрицы синтоистского святилища нельзя было совершать буддийские обряды, к которым обычно прибегали во время болезней.
- С. 172 *Жрица Исэ еще в прошедшем году должна была переехать во Дворец...* — Так же как и жрица святилища Камо, жрица Исэ после Первого омовения переселялась во Дворец (см. коммент. к с. 165), где ей выделяли специальное помещение влевой императорской охране, а через год, после Второго омовения, отправлялась в Священную обитель на равнине Сага, где проводила еще один год, прежде чем уехать в святилище Исэ.
- С. 173 *Белые одежды.* — Во время родов все в помещении, где находилась роженица, должно было быть белым — от ширм и занавесей до платья самой женщины и ее прислужниц.

- С. 173 ...*Свяжи сокрытую полу платье...* — В древности существовало поверье, что вернуть душу, покинувшую тело, можно, завязав узлом полу собственной одежды с внутренней стороны (мужчина — левую, женщина — правую) и трижды произнеся определенное пятистишие (см. «Приложение». Свод пятистиший..., 324). Пола оставалась связанной три дня.
- С. 175 В *положенные дни... приходили гонцы с... роскошными дарами...* — Дарами было принято отмечать Третий, Пятый и Седьмой дни со дня рождения ребенка. Дарили чаще всего лакомства и одежду.
...*одежды ее пропитаны запахом мака...* — при обрядах, связанных с изгнанием злых духов, полагалось жечь мак.
- С. 176 *День Осеннего назначения.* — Осенью проводилось распределение должностей в столичных ведомствах (*цукасамэси*). Назначение на столичные должности проводилось обычно на Четырнадцатый день Восьмой луны.
- С. 178 «О великий Фугэн, бодхисаттва Всепроникающей мудрости...» — Источник цитирования точно не установлен. Некоторые считают, что эти слова принадлежат основателю учения Тэндай — Дэнгё-дайси (иначе — Сайтё, 767–822).
- С. 180 ...*сменив серое платье на более светлое...* — Судя по всему, описываемый разговор происходил в дни Десятой луны. Сорок девятый день после смерти Аои приходился на Десятый день Десятой луны, после чего можно было сменить платье на более светлое. Траур по сестре и жене продолжался три месяца.
Дождь ли, облаком ли ныне стала она — не знаю... — В тексте цитируется стихотворение китайского поэта Лю Юйси (722–842) «Есть о чем вздохнуть»: «Когда впервые увидел ее в башне Тайных желаний, / На весенние ивы в Учане был похож ее гибкий стан. / Наши встречи, улыбки наши мимолетным сном промелькнули, / Дождь ли, облаком ныне стала она — не знаю».
Он в чуть более темном, чем у Самми-но тюдзё, летнем носи... — Скорее всего Гэндзи и после сорок девятого дня не сменил платье на более светлое.
- С. 184 *Неуютен расшитый широкий покров... как приникший к ним иней тяжел...* — цитаты из поэмы Бо Цзюйи «Вечная печаль»: «...Стынут в холоде звери двойных черепиц. / Как приникший к ним иней тяжел! / Неуютен расшитый широкий покров. / Кто с властителем делит его?»
- С. 185 *Смена одежд.* — Проводилась два раза в год: в начале лета (в Первый день Четвертой луны) и в начале зимы (в Первый день Десятой луны). Подробнее см. «Приложение», с. 121, 125.
- С. 186 «*Отгадывание ключа*» (*хэнцуки*). — Существует несколько мнений относительно того, как играли в эту игру. Некоторые комментаторы считают, что писалась часть иероглифа без ключевого знака (*цукури*) и к ней придумывались разные ключи (*хэн*). Проигравшим считался тот, кто не мог придумать ключа или не мог прочесть образовавшийся в результате иероглиф. Другие комментаторы полагают, что брался китайский текст (как правило, стихотворный) и в нем у некоторых иероглифов закрывались ключ или основная часть и надо было отгадать иероглиф. Скорее всего существовало несколько вариантов этой игры.
- С. 187 ...*лепешки-моти по случаю дня Свиньи* — особые лепешки (*инокомоти*), которые полагалось есть в первый день Свиньи Десятой луны. Существовало поверье, что они предохраняют от болезней и приносят процветание в потомстве. Такие лепешки делали обычно из нескольких видов муки: соевой, фасолевой, кунжутной с добавлением сушеной хурмы, каштана и сахара (см. также «Приложение», с. 125).
...*тут же догадался, в чем дело.* — На Третью ночь новобрачным полагалось вкушать ритуальные лепешки-моти (*микаё-но моти*), см. «Приложение», с. 116.

- С. 187 ...*в честь дня Крысы*. — За днем Свиньи следовал день Крысы (*нэ-но хи*). «Нэ» значит одновременно «крыса» и «спать». Этими словами Корэмицу хотел показать, что понял, о каких лепешках-моти идет речь.
...*одной трети*... — Возможно, число три содержит намек либо на третью брачную ночь, либо на три свадебные лепешки, которые полагалось съесть мужу.

СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО САКАКИ (САКАКИ)

- С. 192 *Приближался день отправления жрицы*... — Речь идет о переезде жрицы Исэ (дочери Рокудзэ-но миясудокоро) из Священной обители на равнине Сага, где она проходила очищение, в святилище Исэ.
- С. 193 *В хижине «хранителей огня»*... — Большинство японских комментаторов предполагает, что речь идет об особом строении неподалеку от храма, где молящиеся зажигали факелы и свечи, для чего специальные служители постоянно поддерживали там огонь.
- С. 194 *В предутренний час... осеннее небо*. — Реминисценция из стихотворения Бо Цзюйи «Вечером, стоя...»: «В сумерках стою один перед буддийским храмом. / Лежат на земле лепестки софоры, / В ветвях цикады звенят. / Печаль неизменно терзает меня. / В любое время года, / И все же особенно тяжко теперь, в эти осенние дни».
- С. 195 *Священное омовение на реке Кацура*. — Речь идет о Втором омовении (см. коммент. к с. 172), после которого жрицу перевозили в Исэ. Кацура — река к западу от столицы.
Провожжающие на Длинном пути (тёбусоси) — лица, сопровождавшие жрицу Исэ до самого святилища, как правило, сановники высших рангов. Жрица должна была оставаться в Исэ до тех пор, пока на престол не взойдет новый император, поэтому в названии «Длинный путь» отражено пожелание долгого правления.
Священные волокна (ю) — имеются в виду пучки древесных (в настоящее время конопляных) волокон, издавна широко использовавшихся в Японии во время синтоистских ритуалов. Их приносили в дар богам, прикрепляя к особому жезлу (*нуса*).
О, светлые боги... — Восемь островов — образное название Японии. Гэндзи обращается к жрице, а через нее к богам-хранителям страны.
- С. 196 ...*дабы посмотреть на церемонию Прощания*... — По обычаю, жрицу перед отправлением в Исэ привозили во Дворец, где она прощалась с императором. При прощании император украшал ее прическу так называемым «прощальным гребнем». Церемония Прощания проходила во дворце Великого предела (Дайгокудэн).
- С. 197 *Река Судзука*. — Берет начало в горах провинции Исэ, уезда Судзука, течет на восток и впадает в залив Исэ.
...*с другой стороны заставы*... — т. е. переехав из провинции Ямасиро в провинцию Оми и миновав воспетую в японской поэзии заставу на горе Встреч (Афусака [Оосака]-но сэки), через которую лежал путь на восток от столицы.
- С. 200 «...*все меньше людей у ворот*...» — цитата из поэмы Бо Цзюйи «Пипа»: «С врагом воевать отправился брат, а вскоре сестры не стало, / На смену ночам восходила заря, моя красота поблекла. / И меньше людей у моих ворот, и конь оседланный реже... / И я, постарев, согласилась пойти к торговому гостю в жены...» (пер. Л. З. Эйшлина).
- С. 202 ...*службы пяти богам-хранителям*... — т. е. пяти богам, разящим демонов зла: Фудо, Гундари, Оитоку, Конго, Годзандзэ. Во время служб ставились пять жертвенников, службы продолжались до семи дней. Очевидно, в данном случае службы были связаны с началом нового правления.

- С. 204 *Плоды, разложенные на крышках...* — в эпоху Хэйан вместо тарелок часто пользовались крышками (от шкатулок, тушечниц и т. п.).
- С. 205 *Хоть и не грозит мне участь супруги Ци...* — Имеется в виду наложница императора ханьской династии Гао-цзу (206–195 гг. до н. э.), которая пыталась поставить на престол своего сына, оттеснив законного наследника, сына императрицы Люй. Это ей не удалось, и после смерти императора Гао-цзу на престол вззошел Сяо Хуэй, сын Люй. Люй стала мстить Ци (см.: *Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 2. М., 1975. С. 200*).
- С. 206 *Ночные монахи* — монахи, которые призывались в дом, чтобы всю ночь читать молитвы в покоях.
Урингын (обитель Туч и Лесов) находилась к северо-востоку от столицы. Первоначально — летняя резиденция императора Дзюнна (786–840, был на престоле в 823–833 гг.), позже там жил сын императора Ниммё (810–850, был на престоле в 833–850 гг.) — принц Цунэканэ, после принятия им пострига дворец стал монастырем.
- С. 207 *Возносящих хвалу будде Амиде... не оставив...* — слова из сутры Каммурёдзюкё, одной из основных сутр Учения о Чистой земле (Дзёдо-кё).
- С. 208 *Шестидесятникнижие* — имеются в виду шестьдесят свитков, в которых были изложены основы учения Тэндай.
- С. 209 *Парчовый наряд в ночи* — аллегория напрасной, никем не оцененной красоты. Ср.: *Сыма Цянь. Исторические записки* (т. 2, с. 137): «Стать знатным и богатым и не вернуться в родные края — все равно что надеть узорчатые одежды и пойти в них гулять ночью — кто будет знать об этом?» (пер. Р. В. Вяткина).
...только музыки и недостает в такой вечер... — Еще не кончился срок траура по императору Кирицубо, поэтому музицировать было нельзя.
- С. 210 *Белая радуга пересекла солнце, и затрепетал принц...* — Намек на известный эпизод из «Исторических записок» Сыма Цяня. Наследник правителя княжества Янь, по имени Дань, послал к императору Цинь Ши-хуан-ди наемного убийцу Цзин Кэ, но намерение его раскрыли, и Цзин Кэ был четвертован. Дань же незадолго до этого увидел «белую радугу, которая пересекла солнце», и устрасился, поняв, что замысел его обречен на поражение. То-но бэн хочет этим сказать, что Гэндзи, очевидно, не по душе нынешнее правление и он хотел бы содействовать возведению на престол нового государя.
- С. 211 *Восьмичастные чтения.* — Речь идет о торжественном чтении восьми свитков сутры Лотоса. Чтение продолжалось утром и вечером, в течение четырех дней. Особенно большое значение придавали третьему дню, когда читался Пятый свиток, в котором говорится о том, как будда Шакья-Муни, прислуживая некоему отшельнику, рубил дрова, собирал хворост, приносил воду. В этот день участвовавшие в Восьмичастных чтениях монахи торжественно проходили со связками хвороста и ведрами воды, распевая стихотворение Гёки: «Лотос Закона, / Его удалось обрести мне, / Собирая дрова, / Собирая весенние травы, / Черпая воду, его удалось обрести» (так называемое «Шествие дровосеков»). В тот же день положено было подносить дары Будде, поэтому устраивалось еще и «Шествие с приношениями».
День Поминовения Покинувших Страну — день поминовения умерших императоров, в данном случае прежде всего императора Кирицубо. В этот день соблюдали строгий пост и молились.
- С. 212 *Приношения в честь предшествующего Государя* — т. е. в честь отца Фудзицубо, императора Сэндай.
«Шествие дровосеков» — см. коммент. к с. 211.
Ёкава — долина в северной части гор Хиэ, где находилась часть храмового комплекса Энрякудзи, центра учения Тэндай.

- С. 213 *Черные благовония (куробо)*. — Использовались в зимнее время, в их состав входило несколько компонентов: древесина аквиларии, гвоздика, сандал, мускус и пр.
- С. 216 *...помимо весенних и осенних Священных чтений...* — Речь идет о проводившихся два раза в год (на Вторую и Восьмую луну) чтениях сутры Совершенной мудрости Дайханнякё (Маха-Праджнапарамита-сутра). См. также «Приложение», с. 120.
- С. 217 *«Закрывание рифм» (инфутаги)* — игра, которая в эпоху Хэйан была распространена среди мужчин-аристократов. Заключалась она в том, что в каком-нибудь старинном китайском стихотворении закрывалась часть рифмообразующих иероглифических знаков и нужно было их отгадать. Проигравшие устраивали пир для победителей.
- Цвело лишь несколько одиноких «роз у лестницы»...* — образ из стихотворения Бо Цзюйи «Раскрываются цветы розы, и созревает весеннее вино, а по этому случаю приглашаю Лю Девятнадцатого, сановника Чжана и Цюя Двадцать Четвертого вместе испить...»: «В кувшине вино «бамбуковый лист» к концу весны созревает. / У лестницы розы свои лепестки раскрывают с приходом весны...»
- «Высокие дюны»* — народная песня (см. «Приложение», с. 141–142).
- С. 218 *«Я сын Вэнь-вана...»* — В «Исторических записках» говорится о том, как,ставляя сына своего Бо Ли, князь Чжоу-гун сказал: «Я — сын государя Вэнь-вана, брат государя У-вана и дядя государя Чэн-вана. Я — в Поднебесной. И не ничтожен». Под Вэнь-ваном Гэндзи подразумевает императора Кирицубо, под У-ваном — императора Судзакү, под Чэн-ваном — сына Фудзицубо. Чжоу-гун помог брату своему У-вану (1134–1115 гг. до н. э.) свергнуть династию Инь и установить династию Чжоу.

САД, ГДЕ ОПАДАЮТ ЦВЕТЫ (ХАНАТИРУСАТО)

- С. 222 *Ветер, прилетевший со стороны большого багряника... о празднестве Камо...* — Японский багряник (яп. *кацура*) — высокое дерево, цветущее осенью мелкими желтыми цветами (часто переводится как «иудино дерево» или «лунный лавр»). Листьями багряника (и мальвы) принято было украшать головные уборы и кареты во время празднества Камо.
- С. 223 *«...всех милее, пожалуй, Цукуси-но госэти...»* — О Цукуси-но госэти ранее в «Повести о Гэндзи» не упоминалось. Она возникает мельком в главе «Сума», но снова так, как будто читателю хорошо известна ее история.

СУМА

- С. 226 *Сума* — местность на побережье Внутреннего Японского моря в западной части о-ва Хонсю (провинция Сэтцу, недалеко от границы с провинцией Харима).
- ...служившее пристанищем для вполне достойных людей...* — Предание говорит о том, что в Сума когда-то жил в изгнании Аривару Юкихира (824–893), внук императора Хэйдзэй (774–824), старший брат известного поэта Аривару Нарихиры, один из поэтов «Кокинсю», занимавший высокий пост при дворе в начале эпохи Хэйан. Интересно, что об изгнании Юкихиры в Сума не сохранилось никаких литературных свидетельств. В «Исэ-моногатари» о нем говорится в 114-м дане, но никаких сведений об изгнании нет. Отголоски легенды об изгнании Юкихиры сохранились в сборнике новелл буддийского содержания «Сэнсюсё» (конец XII — начало XIV в.), где сказано: «В старину Юкихира совершил поступок неблагоприятный и сослан был в бухту Сума. Жил

там, бродил по берегу, наблюдая, как рыбаки выпаривают соль. Оттуда прислал он песню: “Здесь о пустынный берег / Бьют, набегая, белые волны, / Так, надежный приют / Не дано иметь рыбакам, / Век влачащим у самого моря”». Это же стихотворение есть в антологии «Сёкуокинсю» (1265), где к нему дается следующее пояснение: «Когда был в земле Цу, в месте, что зовется Сума, сложил...» Других свидетельств об этом изгнании не сохранилось.

С. 230 ...*простое, без узоров, как и подобает человеку без звания.* — Такое носили обычно старики. Гэндзи, попав в немилость, лишился права носить обычное для молодых аристократов носы из узорчатого шелка.

С. 232 ...*ларец с избранными произведениями китайского поэта...* — Имеется в виду собрание произведений Бо Цзюйи в 71-м томе («Хакусимондзю»), весьма популярное среди хэйанских аристократов времен Мурасаки.

С. 234 Бог Тадасу — божество синтоистского культа, по преданию обитавшее в роще Тадасу-но мори, возле Нижнего святилища Камо (недалеко от которого находилась могила имп. Кирицубо). «Тадасу» — значит «исправлять», «выпрямлять», поэтому именно к нему и обращается невинно осужденный Гэндзи.

С. 237 ...*садился он в лодку.* — Гэндзи ехал из столицы до бухты Нанива (совр. Осака), а оттуда морским путем до Сума. От столицы до Нанива добирались разными способами — и по суше, и речным путем. Скорее всего «садился в лодку» Гэндзи на реке Ёдо, по которой доплыл до Нанива, где пересел в другую лодку, доставившую его по морю в Сума. (Правда, некоторые комментаторы считают, что Гэндзи добирался до Нанива по суше и только в Нанива «сел в лодку».) ...*место, известное под названием Оэдоно...* — В устье реки Ёдо был расположен дворец Оэдоно (у залива Оэ, известного красотой своих сосен). Этот дворец служил пристанищем для жрицы Исэ, когда она проходила обряд Священного омовения перед возвращением в столицу. Очевидно, в Оэдоно Гэндзи отдыхал, дожидаясь, пока для него приготовят новую лодку, чтобы плыть по морю в Сума.

Осталось в веках / Славное имя скитальца / Из китайской земли. — Принято считать, что речь идет об известном китайском поэте Цюй Юане (ок. 340–278 гг. до н. э.), который был изгнан в Цзянцзэ чуским князем Хуайваном, хотя не менее известны были и другие поэты-изгнанники: Хань Юй (768–824), Бо Цзюйи, Су Ши (1037–1101).

...*словно они и вправду были уже «за три тысячи ли...»* — намек на стихотворение Бо Цзюйи «Зимой останавливаюсь на ночлег в Янмэйгуань»: «Одиннадцатой луны ночи бесконечно длинны. / Зброшен далеко путник — за три тысячи ли. / Как ночевать тоскливо в обители Янмэйгуань! Холодное изголовье, одинокое ложе, тело ноет-болит».

С. 242 ...*На морских качаться волнах...* — ср. с народной песней «Жители Исэ», «Приложение», с. 142.

С. 243 ...*«приподняв изголовье»...* — Ср. со стихотворением Бо Цзюйи «Повторная надпись»: «Солнце высоко, выпался я, и все же не хочется мне встать. / В тесной каморке, под двойным одеялом, холодно совсем не страшно. / Слушаю колокол храма Иай, изголовье чуть приподняв, / Смотрю на снег на вершине Сянлу, шторы откинув край. / Славилась в древности горы Лу, жил здесь в изгнание Куан. / Сыма — вполне подходящее звание, чтоб до старости с ним прожить. / Там, где мир на душе и тело спокойно, там и есть родная обитель. / А родина? Почему же должна ею быть одна лишь Чанъань?»

С. 244 ...*Тизда или Цунэнори...* — известные японские живописцы середины Х в. ...*начинаете... читать сутру, прежде назвавшись учеником будды Шакья-Муни...* — Чтение сутры положено было начинать следующей формулой: «Я, ученик будды Шакья-Муни, такой-то, говорю вам со слов Великого Будды...»

- С. 245 *«Сердце мое со старым другом»...* — Гэндзи цитирует стихотворение Бо Цзюйи «На Пятнадцатую ночь Восьмой луны остаюсь один в покоях императора и, глядя на луну, вспоминаю Юаня Девятого...»: «Серебряные башни, золотые ворота тают-тают в ночи. / Ночью один о тебе вспоминаю здесь в павильоне Ханьлинь. / В небо Пятнадцатой ночи выплыв, ярко сияет луна. / Сердце мое со старым другом — за две тысячи ли».
- С. 246 *«Государь мне пожаловал платье тогда»...* — цитируется написанное по-китайски стихотворение Сугавара Митидзанэ (845–903) «Десятый день Десятой луны»: «Год назад этой ночью прислуживал во дворце Чистоты и прохлады. / Осенние думы сплетаю в стихи, от тоски разрывается сердце. / Государь мне пожаловал платье тогда, оно и теперь со мной. / Поднимая, вдыхаю почтительно сохранившийся аромат». Интересно, что в тексте «Повести» (см. главу «Праздник алых листьев») ничего не говорится о том, что Государь подарил Гэндзи платье.
- С. 247 *...стихи, сложенные когда-то неким скитальцем...* — Имеется в виду эпизод, зафиксированный в исторической повести «Оокагами» (начало либо вторая половина XI в.). Следуя в изгнание на Цукуси (современный Кюсю), Сугавара Митидзанэ (845–903) «также изволил пожаловать в Харима, и когда остановился на ночлег в местечке по прозванию Акаси, то, увидев весьма унылый облик хозяина постоялого двора, сложил стихи, и были они весьма трогательны: “Не пугайся, хозяин, меняются времена. / Расцвет и паденье проходят чередой, совсем как весны и осени”».
- ...который назвал когда-то оленя конем.* — Намек на следующий эпизод из «Исторических записок» Сыма Цяня: «...Чжао Гао решил поднять мятеж, но опасался, что приближенные государя не поддержат его, и сначала устроил проверку. Он привел оленя и поднес его Эр-ши, сказав: “Вот лошадь”. Эр-ши рассмеялся и ответил: “Вы, первый советник, не ошиблись? Назвали оленя лошадей”. Когда Эр-ши стал спрашивать у приближенных, некоторые из них промолчали, некоторые, желая угодить Чжао Гао, ответили, что это лошадь, а некоторые сказали, что это олень...» (Сыма Цянь. Исторические записки. М., 1975. Т. 2. С. 94).
- С. 249 *...вспомнив женщину, некогда отданную гуннам...* — Речь идет о наложнице императора династии Хань Юань-ди (правил в 48–32 гг. до н. э.) — красавице Ван Чжаоцзюнь, которая отказалась дать взятку художнику, рисовавшему портреты императорских наложниц, и он в отместку изобразил ее безобразной, из-за чего император решил отдать ее правителю гуннов.
- «Прерывая сон ее зябкой ночью...»* — цитата из написанного по-китайски стихотворения Оэ Асацуна (886–957) «Ван Чжаоцзюнь» (см. предыдущий комментарий): «Черные брови, румяные щеки, вся в парче и шелках, / Устремляется, плача, к Заставе в песках, покидая родные края. / Ветер чужбины яростно рвет струны осеннего сердца, / Воды Луншуй прибывают, сливаясь с ночными потоками слез. / Гуннов рога трубят, прерывая сон ее зябкой ночью, / Ханьский дворец — за тысячи ли, на луну глядеть нестерпимо. / Да, подкупила б тогда, Чжаоцзюнь, живописца золотыми слитками, / До конца б своих дней оставалась прислуживать государю».
- ...можно было видеть синее небо.* — Цитируется стихотворение (на китайском языке) Миёси Киёцура (?–918) «В разрушенном доме»: «На рассвете у края штор капли белой росы. / Всю ночь до утра, не вставая с ложа, вижу синее небо».
- «Я просто все продвигаюсь на запад...»* — Гэндзи вспоминает написанное по-китайски стихотворение Сугавара Митидзанэ «Отвечаю, глядя на луну...»: «Раскрывается дерево «мин», благоухает багряник, половинки сходятся в круг. / Три тысячи разных миров небом объаты одним. / В движении небес

прозревается тайное, тучи рассеются вновь. / Я просто все продвигаюсь на запад, об опале и речи нет».

- С. 250 ...отправляя ее на поклонение в Сумиёси... — т. е. в храм, посвященный богу Сумиёси, расположенный в южной части провинции Сэтцу, на берегу нынешнего Осакаского залива. Бог Сумиёси изначально считался защитником жителей прибрежных областей, странников, путешествующих по морю. Позже стал почитаться также как бог-покровитель поэзии.

- С. 251 ...бамбуковый плетень, каменные ступени, сосновые столбы... — ср. со стихотворением Бо Цзюйи «Под вершиной Сянлу выбрал место для своего жилища и, как только готова была моя тростниковая хижина, написал на восточной стене...»: «Крытая соломой новая хижина на пяти столбах в три комнаты. / Каменные ступени, столбы из багряника, бамбуковый плетень. / С юга под стреху проникает солнце — тепло зимой, / С севера двери впускают ветер, — прохладно летом. / Брызжет на плиты летящий родник сверкающими каплями. / Стебли клоня, прижимаясь к окну, бамбук еще не стоит рядами. / К весне я восточную пристройку тоже крышей покрою. / Оклею бумагой и, шторы повесив, свою Мэн Гуан поселю».

Сугороку — старинная японская игра типа нардов.

Танги — завезенная в Японию из Китая игра типа «блошек», играли в нее на доске с приподнятой серединой, через которую «блошка» должна была перескочить (правила игры не сохранились).

«Колодцы Асука» — народная песня (см. «Приложение», с. 137).

- С. 252 «Опьянение печалит...» — цитата из стихотворения Бо Цзюйи «...послал Вэй Чжи стихи в форме “фу”»: «Прошлые видятся смутно дела, все похоже на сон. / Былые утехи поблекли, к истокам половина вернулась друзей. / Опьянение печалит, слезы льются в весенние чаши. / Песни горестны наши, сидим, приуныв, на рассвете при свете свечи. [...] Ты вернулся в циньские земли, из жарких пределов уехав. Я ж устремился к Чжунчжоу, в клубы жаркого дыма вступив. / Если жизнь продлится, с тобою опять непременно увидимся мы. / Вот только где и и в каком году — знаешь ли ты о том?»

...«подует северный ветер...» — намек на «Старые стихи» из «Вэньсюань» («Собрание китайских стихов и прозы», ок. 530 г.): «Иду, иду и снова иду. / Мы живыми с тобой разлучились. / И меж нами теперь десять тысяч ли. / Каждый из нас в своем краю Поднебесной. / Наши дороги опасны и длинны. / Когда же с тобою мы встретимся снова? Кони гуннов за северным ветром влекутся привычно, / А птицы из Юэ гнездятся на южных ветвях. / Так, далек тот день, когда разошлись мы, / И пояс на платье уже распустился...»

- С. 253 ...Третья луна начиналась со дня Змеи. — В первый день Змеи на Третью луну полагалось совершать обряд Очищения. В этот день выходили на берег и после ритуального омовения бросали в воду заранее подготовленных кукол (их делали из дерева или соломы, позже — из бумаги). Куклы символизировали то нечистое (болезни, пороки), что таится в человеке.

АКАСИ

- С. 256 Молебен об избавлении от бед и благоденствии (Нинноэ) — торжественное чтение во Дворце сутры Ниннокё, имеющее целью защитить страну от несчастий. Обычай этот восходит к середине VII в., а с начала VIII в. такие молебны стали служить обязательно один раз в правление, причем дополнительно проводились «чрезвычайные молебны» о благоденствии (весной и осенью, а в исключительных случаях и чаще). Сутра Ниннокё (Сутра о добродетельных государях) содержит проповедь Будды, обращенную к шестнадцати великим государям, открывающую им, каким образом следует защищать

страну и обеспечивать ее процветание. Считалось, что чтение этой сутры способно предотвращать грозящие стране несчастья.

- С. 259 *«Держась позади, избежишь наказания»*. — В некоторых древних японских комментариях «Повести о Гэндзи» эта фраза толкуется как искаженная цитата из Лаоцзы, хотя в текстах Лаоцзы, дошедших до наших дней, она отсутствует.
- С. 263 *«Большой курган» («Корё»)* — китайская пьеса для циня, до наших дней не дошла. Согласно преданию, была передана богами Цзи Кану (китайский литератор и музыкант, 224–263). Однажды вечером, когда Цзи Кан играл на цине, пришел гость, назвавшийся человеком древности, и стал беседовать с ним о ритмах. Потом он взял цинь и заиграл мелодию, которую называл «Большой курган» и повелел передать людям. Имени своего гость не назвал.
- Пастушок (куина)* — болотная птица с большим клювом, которым она издает громкие, похожие на стук звуки.
- С. 264 *Энги* — символ годов правления императора Дайго (885–930, правил в 897–930 гг.), выдающегося поэта и каллиграфа, покровителя искусств.
- Ведь прежде даже среди торговков...* — Намек на поэму Бо Цзюйи «Пипа», героиня которой была женой торговца (см. коммент. к с. 200).
- «У синего моря ракушек наберем...»* — см. народную песню «Море Исэ» (см. «Приложение, с. 142).
- С. 269 *...прежде чем прошли положенные три года?* — Лицам, высланным из столицы, разрешалось снова занимать государственные должности через шесть лет. Опальным же, таким, как Гэндзи, позволялось возвращаться на государственную службу через три года.
- С. 279 *...те три года, в какие бог-пьявка...* — Имеется в виду Эбису, бог богатства и торговли, сын Идзанами и Идзанаги, который, согласно легенде, в течение трех лет со дня рождения не вставал на ноги, поэтому его посадили в лодку и отправили скитаться по морю.
- Совершив оборот / Вкруг столба...* — намек на известный эпизод из древних японских мифов (зафиксированный, в частности, в «Нихонги» — «Анналы Японии», первая четверть VIII в.). Боги-прародители Идзанаги и Идзанами, совершив оборот вокруг столба в Небесном дворце, встретились и, сочетавшись, родили разных богов.

У БАКЕНОВ (МИОЦУКУСИ)

- С. 283 *...истинными мудрецами почитались те люди... возвращались в столицу...* — В «Исторических записках», к примеру, говорится о том, что сановники Дун Юаньгун, Чжоу Ли, Ци Лицзи, Ся Хуангун, когда в конце династии Цинь в стране начались смуты, удалились в горы Шаншань, но после прихода к власти первого императора династии Хань, Гао-цзу (206 г. до н. э.), вернулись и снова стали служить государю.
- ...прислуживал Государю и принцу Весенних покоев...* — Мальчиков из знатных семейств с малолетства водили во Дворец, чтобы они, выполняя мелкие поручения, привыкали к придворной службе.
- С. 285 *Сэндзи* — женская придворная должность. В обязанности сэндзи входила передача повелений государя кому-нибудь из куродо.
- С. 286 *Да будет твой век / Так же долог, как век утеса, / На который спускается дева...* — обычное пожелание долголетия. «Живите столько лет, сколько будет стоять утес, который задевает своим платьем из птичьих перьев Небесная дева, раз в три года спускаясь на землю» (см. «Приложение». Свод пятистиший..., 147). Одно из определений «кальпы» в буддизме: «Время, необходимое

для того, чтобы разрушился огромный монолит от прикосновения рукава Небесной девы, раз в три года спускающейся на землю».

- С. 288 *...должно исполниться пятьдесят дней...* — Пятидесятый день со дня рождения ребенка обычно пышно отмечался. Во время особого обряда в рот ребенка вкладывали кусочек специально для этого случая приготовленной лепешки-моти (см. «Приложение», с. 113–114).
- С. 291 *...Вступившей на Путь Государине...* — Приняв постриг, Фудзицубо не могла считаться «государыней-матерью».
- С. 292 *...заметила десятерых роскошно одетых танцоров...* — Имеются в виду танцоры, исполнявшие перед храмом ритуальные «пляски Адзума» («Адзума асоби»), а потом принимавшие участие в скачках.
- С. 293 *Министр из Кавара.* — Речь идет о Минамото Тоору (822–895), сыне императора Сага (786–842, на престоле в 809–823 гг.), который при императоре Уда стал Левым министром и построил себе великолепный дворец в Кавара, неподалеку от Шестой линии. Считается одним из прообразов Гэндзи. Очевидно, Мурасаки имеет в виду какой-то конкретный случай, когда в свиту Минамото Тоору были включены мальчики-телохранители, что считалось особой милостью, ибо обычно мальчики-телохранители сопровождали только самых высоких сановников. Впрочем, японские комментаторы указывают, что никаких документальных свидетельств этого факта нет.
- С. 294 *...очищение в семи протоках...* — Что в данном случае имеется в виду — не совсем понятно. Так называемое «очищение в семи протоках» (нанасэ-но хараэ) проводилось раз в месяц (в чрезвычайных обстоятельствах и чаще) в устье реки Кидзу, чуть южнее столицы. Семерых гонцов посылали в семь разных мест, чтобы они пустили по реке бумажных кукол, с которыми, по представлению древних японцев, уходило все нечистое, все напасти, грозящие императору. Хориэ — канал в Нанива (современный Осака), вырытый, по преданию, во времена императора Нинтоку (?–399).
Остров Тамино (о-в Плаща) — одно из мест, где, по всей видимости, проводились священные омовения. Точное местонахождение не установлено, предположительно где-то в районе Осака.
- С. 295 *...опасалась, что слишком тяжким бременем легли на ее душу годы, проведенные в заповедных пределах.* — Пребывание в синтоистском святилище исключало молитвы Будде и чтение сутр.
- С. 297 *...Где-то над домом / Витает душа ушедшей...* — Считалось, что после смерти человека душа его в течение сорока девяти дней находится рядом с домом, где он жил.

В ЗАРОСЛЯХ ПОЛЫНИ (ЁМОГИУ)

- С. 302 *...и днем, и ночью ухали совы...* — Возможно, реминисценция из стихотворения Бо Цзюйи «Несчастливые дома...» (см. коммент. к с. 76).
- С. 304 *«Карамори», «Хакоя-но тодзи», «Кагуя-химэ»* — древние японские повести. Первые две не сохранились и в настоящее время неизвестны, последняя известна под названием «Такэтори-моногатари» («Повесть о старике Такэтори» см. в пер. В. Н. Марковой, см.: Две старинные японские повести. М., 1976). *Бумага «канъя»* — высококачественная бумага, которую производили в мастерских на берегу реки Канъя, к северу от столицы. Так же, как и бумага «митиноку», использовалась в основном для официальных документов.
- С. 306 *Пять скверн.* — По буддийским представлениям, мир загрязнен пятью сквернами (годзёку, санскр. панкха-касайя): 1) скверна кальпы (*кальпа-касайя*), т. е. загрязненность времени всяческими стихийными и прочими бедствиями, влекущими за собой уменьшение сроков человеческой жизни (голод,

болезни, смерти); 2) скверна восприятия (*дрости-касайя*) — загрязненность восприятия, неизбежная по мере удаления от того времени, когда в мире жил будда Шакья-Муни, влекущая за собой невозможность воспринимать явления окружающего мира в их истинном значении и виде; 3) скверна страданий (*кlesa-касайя*) — загрязненность человеческих чувств страданиями; 4) скверна существования в человеческом обличье (*саттва-касайя*) — изначальная склонность человека к дурным поступкам и помышлениям; 5) скверна человеческой жизни (*айус-касайя*) — постепенное уменьшение сроков человеческой жизни.

- С. 307 «А где же три тропки?..» — Намек на стихотворение китайского поэта Тао Юаньмина (365–427) «Домой»: «...Три тропки в саду сплошь в бурьяне, но сосна с хризантемой еще живы...» (пер. В. М. Алексеева. — Китайская классическая проза. М., 1958). Предание говорит о том, что отшельник Цзян Сюй, живший в I в. до н. э., расчистил в своем саду три тропинки для приходивших к нему друзей и посадил у каждой сосну, хризантему и бамбук.
- С. 309 *Коси* — местность вдоль западного побережья о-ва Хонсю, включавшая в себя провинции Вакаса, Этидзэн, Кага, Ното, Этюю, Этиго и о-в Садо (позднее эта местность стала именоваться Хокурикудо). Очевидно, имеется в виду Белая гора (Сираяма) в провинции Этидзэн, известная красотой своей снежной вершины.
- С. 313 *...героиня древней повести, которая разрушила пагоду.* — О героине какой повести идет речь — неясно. До наших дней такой повести не дошло. Скорее всего Гэндзи приводит пример дочерней непочтительности.

У ЗАСТАВЫ (СЭКИЯ)

- С. 315 *...помощником правителя Хитати...* — Далее помощника правителя Хитати (Хитати-но сукэ) называют правителем Хитати (Хитати-но ками).
Цукуба — самая высокая гора в провинции Хитати.
Исияма — храм, принадлежавший последователям учения Сингон и посвященный бодхисатрве Каннон. Основан примерно в 762 г. Находился в местности Исияма провинции Оми, южнее озера Бива и восточнее заставы на горе Встреч. В эпоху Хэйан храма Исияма был одним из наиболее почитаемых храмов в аристократических кругах.

СОПОСТАВЛЕНИЕ КАРТИН (ЭАВАСЭ)

- С. 320 *...вместе с веточкой искусственных цветов...* — Шкатулку с подарком полагалось украшать либо лоскутом ткани с выложенным на ней из шнура или золотой или серебряной проволоки цветочным орнаментом, либо веточкой искусственных цветов, к которой прикреплялось письмо.
- С. 322 *...картин в жанре «луна за луной»...* — Имеются в виду картины с изображением праздников каждой луны.
- С. 323 «Вечная печаль» — поэма Бо Цзюйи (см. коммент. к с. 16).
«Ван Чжаоцзюнь» — написанная по-китайски поэма Оэ Асацуна (см. коммент. к с. 249).
- С. 324 «Повесть о старике Такэтори» («Такэтори-моноготари») — одна из первых японских повестей (середина IX в.), дошедших до нашего времени (переведена на русский язык В. Н. Марковой, см.: Две старинные японские повести. М., 1976).
«Повесть о дуле» («Уцубо-моноготари») — одна из сохранившихся повестей конца X в., авторство которой некоторыми исследователями приписывается Минамото Ситаго (911–989). В повести изображаются четыре поколения

одного семейства, связанного с историей появления в Японии цитры «кото». Тосикагэ — герой первой части повести.

- С. 324 *Кагуя-химэ* — лунная дева, героиня «Повести о старике Такэтори». *Абэ-но ооси потерял тысячи золотых слитков...* — В основе сюжета «Повести о старике Такэтори» лежит ситуация «выбора женихов». Многочисленным поклонникам, осаждавшим Кагуя-химэ (Абэ-но ооси и принцу Курамоти — в их числе), были даны задания, исполнив которые они могли взять ее в жены. Не умея выполнить эти непосильные для человека задания, женихи прибегли к разного рода уловкам и ухищрениям, но были разоблачены.
- С. 325 *Косэ-но Ооми* — известный живописец начала X в., сын Косэ Канаока, основавшего в IX в. школу Косэ в живописи. *Ужасная морская буря занесла Тосикагэ в неведомую страну...* — Тосикагэ был послан в Китай, но, потерпев кораблекрушение, долго скитался. В скитаниях он обрел чудесный дар игры на цитре и прославился в Китае и в Японии. *Цунэнори* (Асукабэ Цунэнори) — японский художник середины X в. *Митикадзэ* (Оно-но Митикадзэ, или Оно-но Тофу) — известный каллиграф начала и середины X в. *«Повесть из Исэ»* («Исэ-моноготари») — сборник новелл, в которых проза перемежается с пятистишиями (вака). Приписывается поэту Аривару Нарихира (825–880). «Повесть из Исэ» переведена на русский язык Н. И. Конрадом (см.: Исэ-моноготари. М., 1979). *«Дзёсамми»* — очевидно, одна из повестей, распространенных во времена Мурасаки. До нашего времени не дошла. *Хёэ-но оогими* — героиня повести «Дзёсамми». *Дзайго-но тюдзё* — одно из прозваний Аривару Нарихира.
- С. 326 *Энги* — см. коммент. к с. 264. *Киммоти* (Косэ-но Киммоти) — один из выдающихся художников X в., внук Косэ-но Канаока.
- С. 327 *Кадзами* — одеяние из шелка или тонкой парчи, которую девочки-подростки носили поверх верхнего платья. *Цвет «глициния»* — лицевая сторона сиреневая, подкладка зеленая. Платье цвета «глициния» носилось зимой и летом. *Цвет «ива»* — лицевая сторона белая или желтоватая, подкладка зеленая. Платье цвета «ива» носилось весной или летом. *Живопись на бумаге (камиэ)* — имеется в виду живопись на свитках и альбомных листах в отличие от живописи на ширмах и раздвижных перегородках.

ВЕТЕР В СОСНАХ (МАЦУКАДЗЭ)

- С. 332 *Ои* — река в провинции Ямасиро, к западу от столицы, верхнее течение р. Кацура.
- С. 333 *Дайкакудзи* — храм в провинции Ямасиро, в Сага, к западу от столицы. Один из основных храмов последователей учения Сингон. *Павильон у водопада* — одно из храмовых зданий, расположенное у подошвы водопада. Водопад близ храма Дайкакудзи воспет многими поэтами. Во времена Мурасаки он почти иссяк. В настоящее время на его месте стоит камень — знак того, что когда-то здесь был водопад.
- С. 334 *...драгоценный нефрит, излучавший сияние в ночи...* — скорее всего цитата, но источник не установлен.
- С. 335 *Люди, которым предстоит переродиться на небесах, должны на некоторое время вернуться на одну из трех дурных дорог.* — В некоторых буддийских

трактатах говорится о том, что люди, достаточно добродетельные для того, чтобы переродиться на небесах, прежде чем попасть туда, должны еще раз пройти по одной из трех дурных дорог (ад, мир голодных духов, мир животных). Японские комментаторы ссылаются обычно на «Одзёёсю» (сочинение монаха Гэнсина, повествующее о перерождениях и о том, как можно достичь перерождения в Чистой земле, 984 г.).

- С. 337 *Пожалуй, стоит запастись новым топорщиком...* — Мурасаки намекает на китайскую легенду: однажды некий дровосек зашел в пещеру в горах и увидел детей, играющих в «го». Он смотрел на них до тех пор, пока не обнаружил, что у его топора сгнило топорщице. Вернувшись домой, он не застал никого из своих близких — все давно умерли, ибо прошло уже много десятков лет.
- С. 341 *Ловцы с бакланами.* — В Японии издавна была распространена рыбная ловля с использованием специально обученных бакланов. Баклан ловил рыбу и приносил ее хозяину, сидевшему в лодке.
- С. 342 *В селенье далеком... / Мир и покой сулит...* — В стихотворении императора Рэйдзэй, равно как и в ответе Гэндзи, обыгрывается название места Кацура. Известное китайское предание говорит о том, что возле Лунного двора (обители бессмертных небожителей) растет лунный багряник (кацура), под которой заяц толчет в ступе снадобье бессмертия. Поэтому все стихотворение так или иначе связано с лунной.
- С. 343 *«Этот конь» («Сонокома»)* — народная песня (см. «Приложение», с. 142).
- С. 344 *Лет ей столько же, сколько было богу-пьявке...* — т. е. три года (см. коммент. к с. 279).
- ...предполагаю надеть на нее хакама...* — т. е. совершить обряд Надевания хакама (см. «Приложение», с. 114).
- ...лучше, чем встречаться на переправе...* — Намек на легенду о Ткачихе и Волопасе (Вега и Альтаир), встречающихся раз в году на мосту через Небесную реку (Млечный Путь).

ТАЮЩЕЕ ОБЛАКО (УСУГУМО)

- С. 349 *Сосны из Такэкума* — воспетые в японской поэзии сосны, растущие в местечке Такэкума (провинция Митиноку).
- ...взяв с собой охранительный меч и священных кукол...* — Охранительный меч — знак принадлежности ребенка к высочайшему семейству. Куклы «амагацу» имелись в любом доме, где были дети до трех лет. Их шили из шелка и набивали ватой. Считалось, что эти куклы принимают на себя все грозящие ребенку несчастья.
- С. 350 *...как только кончилась хлопотливая пора...* — Имеется в виду начало года, когда во Дворце проводилось множество праздничных церемоний.
- С. 351 *«Завтра утром к тебе я вернусь...»* — слова из народной песни «Дева из Сакура» («Сакурабито») (см. «Приложение», с. 143). С этой же песней связаны стихотворения Мурасаки и Гэндзи.
- С. 353 *В нынешнем году ей следовало вести себя особенно осторожно...* — В том году Фудзицубо испожнялось тридцать семь лет, возраст, считавшийся опасным для женщины. В древней Японии существовало поверье, что определенные годы в жизни человека являются особо опасными и грозят ему различными несчастьями. Для мужчины это двадцать пять лет, сорок два года и шестьдесят один год, для женщины — девятнадцать, тридцать три и тридцать семь.
- Кодзи* — небольшие плоды типа мандаринов.
- С. 356 *...оставив вас в неведении, я обременил бы себя еще более тяжким преступлением...* — Монах намекает на то, что по его вине Государь, не испол-

няя своего сыновнего долга, т. е. не воздавая должные почести отцу своему (Гэндзи), может навлечь на себя наказание.

- С. 356 *Сокровенные пути Истинного слова* — имеется в виду учение Сингон («Истинное слово»).
- С. 358 *...право въезда на территорию Дворца... в карете.* — Высшим сановникам разрешалось въезжать на территорию Дворца в карете и доезжать до ворот Кэнрэймон (ведущих в основную часть дворцового комплекса, где находились покои императора и его наложниц).

УТРЕННИЙ ЛИК (АСАГАО)

- С. 363 *Облачившись в одяние скорби...* — Скончался отец жрицы Камо, принц Сикибукё (Момодзоно), траур же был не совместим с пребыванием в синтоистском святилище.
- С. 365 *Бог Синадо* — в древней Японии бог ветра.
«Ближе к старости — больше обид». — Некоторые японские комментаторы отсылают читателей к Чжуанцзы (конец V–IV в. до н. э.), который говорил: «...от богатства много хлопот, а от старости — поношение» (см.: Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. М., 1967. С. 190).
- С. 368 *...прошло уже три года.* — Многие японские комментаторы считают, что здесь ошибка переписчика и на самом деле должно быть «десять лет» (т. е. время, прошедшее после кончины императора Кирицубо). Правда, есть списки с вариантом «тридцать лет», что может быть истолковано как возраст самого Гэндзи.
- С. 370 *...престарелая жеманница и зимняя ночь издавна причисляются...* — В древних комментариях к «Повести о Гэндзи» «Какайсё» говорится, что это цитата из «Записок у изголовья» Сэй Сёнагон (конец X в.), но в дошедших до наших дней списках «Записок» такого высказывания нет.
- С. 373 *Уточки-мандаринки (осидори)* — в китайской и японской поэзии образ вечной любви, верных супругов.
- С. 374 *Последняя река.* — Речь идет о реке Трех дорог (Сандзу-но кава), через которую переправляются умершие на пути своем в иной мир. На берегу реки сидят старуха, срывающая с умерших платье, и старик, который вешает это платье на дерево, и по тому, как свисает оно, определяет, какие прегрешения были совершены умершим в жизни, после чего направляет его на одну из трех переправ.

ЮНАЯ ДЕВА (ОТОМЭ)

- С. 376 *...прислушиваясь к шелесту листьев багряника в саду...* — Во время праздника Камо головные уборы принято было украшать листьями мальвы и багряника, поэтому шелест листьев багряника невольно напомнил дамам о том времени, когда их госпожа была жрицей святилища Камо.
Сложенный официально — т. е. письмо было сложено в узкую полоску, с загнутыми книзу концами (*татэбуми*), как полагалось в официальной переписке. В любовной переписке письмо свертывалось в маленький свиток и завязывалось узлом (*мусубибуми*).
- С. 377 *...возвратился к своим придворным обязанностям в зеленом платье.* — Зеленое платье полагалось носить лицам Шестого ранга.
- С. 378 *Церемония Наречения* — проводилась после того как юноши, желавшие посвятить себя наукам, сдавали экзамены в Палате наук и образования. Каждому давался псевдоним (обычай, заимствованный из Китая), состоявший из двух знаков: фамильного и какого-нибудь еще, подходящего по смыслу.

Церемония Наречения проводилась обычно в незнатных домах, в среде ученых-конфуцианцев. В аристократических кругах она была редкостью.

- С. 379 *«Сидящие у забора»...* — Так называли лиц, непосредственно не участвовавших в церемонии, а лишь созерцавших ее.

Саругаку — народные представления в древней Японии, носившие часто комический характер. Прообраз классического японского театра.

Люйши, цзюейзюй — две наиболее распространенные формы китайского классического стиха.

- С. 380 *...решил уподобиться тем, кто дружил со светлячками...* — Имеются в виду Чэ Инь и Сунь Кан — известные китайские ученые династии Цзинь (265–420). Первый, не имея денег, чтобы купить масло для светильника, занимался при свете светлячков, которых помещал в шелковый мешочек. Второй постигал науки при мерцании снега. Оба получили должности и выдвинулись.

«Вступительное подношение» (нюаку-но рэй) — нечто вроде платы за обучение. Обычно занятия в Палате наук и образования начинались на Восьмую луну, а на Седьмую луну следующего года устраивался экзамен, во время которого учащимся задавали три вопроса из «Исторических записок» и «Истории династии ранняя Хань» («Ханьшу», автор Бань Гу, 32–92). Ответивший на два вопроса из трех считался сдавшим экзамен и получал степень гомондзёсё (бакалавр словесности). Как правило, в списки учащихся зачисляли мальчиков от девяти до тринадцати лет. Принимались мальчики из домов чиновников не ниже Пятого (в исключительных случаях Шестого) ранга. Срок обучения — девять лет. (Югири приступил к занятиям на Четвертую луну и уже на Седьмую того же года подвергся экзамену.)

...на свитках не осталось следов от ногтей учителя. — Ногтем учитель отмечал не понятые учеником места.

- С. 383 *Может быть, и в самом деле не так уж приятно смотреть на женщину, играющую на бива...* — Подобное утверждение есть и в «Повести о дупле» («Уцубо-моноготари») в главе «Начало осени»: «Вызывает неприязнь, даже отвращение женщина, играющая на бива...»

- С. 384 *«Каки», «авасэ»* — приемы игры на кото. Прием «каки» (или «какитэ») заключается в том, что средним пальцем ударяют сразу по двум струнам в направлении от внешнего к внутреннему краю кото. При игре приемом «авасэ» средним и указательным пальцами приводят в звучание две струны одновременно.

...неожиданно уместно. — Неожиданно потому, что мелодии в ладу «рити» принято было исполнять осенью, а не зимой.

«Сила ветра может быть и ничтожной!» — цитируются строки из предисловия к стихотворению Лу Цзи (Шихэна, 261–303) «Ода выдающейся личности» из антологии «Вэньсюань»: «Осенние листья, чтобы осыпаться, ждут дунновения ветра, сила ветра может быть и ничтожной. Мэнчан, повстречав Юмэня, зарыдал, охваченный скорбью, а звучание цитры чувствам дало предельно раскрыться. Почему же так? Готовым осыпаться листьям не обязателен шквальный ветер, а готовым упасть слезам ни к чему обилие скорбных созвучий».

«Все в узорах из цветов хаги». — См. народную песню «Обменяемся платьем» («Коромогаэ»), «Приложение», с. 143. Министр намекает на то, что Югири следует сменить цвет своего платья, т. е. добиться повышения в ранге.

- С. 385 *Никто не знает детей лучше их родителей...* — Источник цитирования точно не установлен. Называют «Исторические записки» или «Нихонги».

- С. 393 *...одну из танцовщиц Госэти...* — В дни Одиннадцатой луны во Дворце проводился праздник Нового урожая (*оонамэмацури*, или *ниинамацури*), во

время которого пять девушек исполняли танец Госэти. Двух девушек обычно выбирали из знатных столичных семейств, а трех — из среды провинциальных чиновников (см. также «Приложение», с. 126).

- С. 393 *В прошлом году праздник Нового урожая... был отменен.* — Причиной отмены был траур по случаю кончины Фудзигубо.
- С. 394 *Дева небес* — имеется в виду богиня солнца Аматэрасу.
- С. 395 *...дочь правителя Оми отправилась на священное омовение...* — Обряд Священного омовения проводился до и после праздника Нового урожая, равно как до и после любого синтоистского празднества.
- С. 398 *Следуя примеру человека, известного в мире под именем министра Ёсифуса...* — Речь идет о Фудзивара Ёсифуса (804–872), виднейшем государственном деятеле начала эпохи Хэйан. Будучи простым подданным, он впервые в истории Японии получил место сначала Великого министра, а потом и регента. Основоположник могущества рода Фудзивара. Именно при Фудзивара Ёсифуса впервые стали проводить многие праздничные церемонии не только в императорском дворце, но и в доме регента.
- С. 399 *...посадили в лодки, и они поплыли по пруду — каждый к своему острову.* — Каждого юношу отправляли на остров, где в одиночестве он должен был сочинять стихи на заданную тему.
- ...неволью вспомнился тот давний праздник цветов...* — См. главу «Праздник цветов».
- С. 400 *«Благословенье» («Анатото»), «Дева из Сакура» («Сакурабито)* — народные песни, см. «Приложение», с. 143.
- ...стал называться синдзи.* — Человек, прошедший курс наук и сдавший экзамен в Церемониальном ведомстве (Сикибусё), получал звание *мондзёсё* (магистра словесности) и высшую чиновную степень *синдзи* (кит. *цзиньши*). Получение степени *синдзи* влекло за собой присвоение Пятого ранга.
- С. 401 *Тё* — мера площади, равная 0,9918 га.
- С. 402 *Унохана* — дейция городчатая, кустарник, цветущий летом белыми цветами, собранными в зонтиковидные соцветия.
- ...использовать... в дни Пятой луны...* — В дни Пятой луны положено было проводить соревнования по стрельбе из лука (подробнее см. «Приложение», с. 122–123).
- «Материнские» дубы (хахасо)* — дуб пальчатый, славится красотой осенней листвы.
- Переезд был приурочен к празднику Другого берега.* — «Другой берег» в буддизме — нирвана (в противоположность «этому берегу» — миру страданий). День Другого берега — буддийский праздник, проводившийся на Вторую и Восьмую луны (см. «Приложение», с. 120).
- С. 404 *Тацута-химэ* — богиня осени (обожествленная гора Тацута, славящаяся красотой осенней листвы), покровительница ткачества.

ДРАГОЦЕННАЯ НИТЬ (ТАМАКАДЗУРА)

- С. 407 *Осима* (буквально «большой остров») — остров у берегов провинции Тикудзэн (на северо-западном побережье о-ва Кюсю).
- Мыс Колокол (Канэ-но мисаки)* — мыс в северной части провинции Тикудзэн напротив о-ва Осима. Очевидно, семейство Дадзай-но сёни проплывало между мысом и островом по проливу, который считался в старину чрезвычайно опасным местом для мореплавателей.
- ...вышел срок пребывания...* — чиновники Дадзайфу назначались сроком на пять лет.

- С. 408 ...*усердно соблюдала большие посты...* — имеются в виду посты «нэсо», которые принято было соблюдать три раза в год (на Первую, Пятую и Девятую луны). Соблюдая строгое воздержание, молились о благополучном перерождении в будущем. (Некоторые комментаторы, отрицая буддийский характер постов «нэсо», считают, что они были связаны с поклонением звезде, под которой родился человек, и направлены на избавление от бедствий и несчастливых влияний.)
Хидзэн — провинция в западной части Цукуси (о-ва Кюсю).
Хиго — провинция в юго-западной части о-ва Кюсю.
- С. 409 *Буго* — провинция в северо-восточной части о-ва Кюсю.
- С. 410 ...*конец весны не самое благоприятное время...* — Заявление кормилицы о том, что конец весны не благоприятен для заключения браков, — чистейшая выдумка, которая тем не менее показалась Таю-но гэню достаточно убедительной.
Бог Зерцала — В уезде Мацура (буквально «залив сосен») провинции Хидзэн в селении Кагами («Зерцало») был в старину храм, посвященный богу этой местности Кагами-но мёдзин (богу Зерцала).
- С. 411 *Укисима* (буквально «плавающий остров»). — Точное местоположение этого острова не установлено. Есть о-в Укисима возле северо-западного побережья о-ва Хонсю (у берегов провинции Митиноку — нынешняя префектура Мияги, залив Мацусима). Название острова часто использовалось в японской поэзии в качестве постоянного эпитета к словам «печаль», «грусть» и т. д. (Укисима может значить не только «Плавающий остров», но и «Горестный остров»). Очевидно, и в этой песне мы имеем дело с чисто поэтическим образом, никак не связанным с островами, мимо которых проплывало семейство кормилицы. Однако некоторые комментаторы считают, что речь идет об острове во Внутреннем Японском море у берегов провинции Суо (нынешняя префектура Ямагути), мимо которого могли проплывать беглецы, если путь их лежал по Внутреннему морю вдоль побережья о-ва Хонсю.
Громозвучное море (Хибики-но нада). — Так называли в старину либо часть Внутреннего моря у берегов провинции Харима, или же восточную часть моря Гэнкай (ту часть, которая в наше время омывает префектуры Ямагути и Фукуока).
- С. 412 *Каратомари* — порт в провинции Бидзэн на побережье Внутреннего моря, в юго-восточной части о-ва Хонсю. От Каратомари до Кавадзири было три дня пути (по морю).
Кавадзири (буквально *Устье*) — так называлось место в устье реки Ёдо, где плывущие по морю путники непременно останавливались на ночлег.
«Напрасно было жену и детей...» — Буго-но сукэ вспоминает поэму Бо Цзюйи «Связанные варвары», в которой говорится о том, что, когда царство Хань было разбито гуннами, ханьские воины, попавшие в плен, осели в стране гуннов и обзавелись там семьями. Следующее нападение войск Хань на гуннов оказалось успешным, и многие пленники вернулись домой, бросив жен и детей. «Лянюань, родной деревни своей, не увидать мне никогда. / И напрасно было жену и детей бросать в тех далеких краях. / Став пленником Фань, неустанно я думал о родине милой Хань. / Но, в Хань вернувшись, был сразу же пойман, пленен как житель Фань».
- С. 413 ...*которому мы привыкли молиться еще там, в Мацура и Хакодзаки*. — В Мацура и Хакодзаки (провинция Тикудзэн) были храмы, посвященные богу Хатиману.
...отправил ее на поклонение в Хацусэ. — Речь идет о буддийском храме неподалеку от древней японской столицы Нара, в котором находилось изображение одиннадцатиликой Каннон, особенно чтимое паломниками.

- С. 413 *Слава о нем достигла даже китайской земли...* — В комментариях «Какайсё» говорится: «Во времена императора Сицзун (874–897) его супруга Ма-тоу, скорбя о своей безобразной наружности, прибегала к различным средствам, дабы исправить ее, но ничто не помогало. И вот как-то научил ее отшельник обернуться лицом к востоку и помолиться японскому храму Хацусэ. В ту же ночь приснился ей сон, в котором явился к ней некто в монашеском облачении, восседавший на пурпурном облаке, и окропил ее водой, после чего она стала замечательной красавицей».
- Цубаити* — городок в провинции Ямато на берегу р. Мива, неподалеку от Хацусэ. Через Цубаити проходили все паломники, идущие из столицы в Хацусэ. В настоящее время название Цубаити сохранилось в названии храма Цубаити (посвященного Каннон) в г. Мива.
- С. 416 *...из дома правителя окрестных земель...* — Храм Хацусэ находился в провинции Ямато.
- ...какая свита была у супруги Дайни, когда она выезжала в храм Симидзу...* — Дайни, или Дадзай-но дайни, — правитель Цукуси, где девушка жила с семейством кормилицы. Симидзу — очевидно, один из посвященных Каннон храмов в Тикудзэн.
- С. 417 *Рури* — детское имя дочери Югао.
- С. 421 *...у цветов микури...* — Микури — ежеголовка ветвистая, болотное растение с длинным (около метра) прямым стеблем, выбрасывающим летом небольшие шарообразные соцветия. Мисима — река в провинции Сэтцу. Скорее всего Гэндзи намекает этим стихотворением на связь, существующую между тремя (ми) лицами: Югао, им самим и Тамакадзура.
- С. 425 *«...драгоценную эту нить?»* — Драгоценная нить (тамакадзура) — здесь — головное украшение типа бус (драгоценные камни, нанизанные на нить).
- С. 427 *Позиция «передышки»* — третий стих танка.
- С. 428 *...болезни японских песен.* — Так в японских трактатах по стихосложению принято было называть разнообразные изъяны стиха, касающиеся его формы или содержания.
- ...платье выверну я...* — В древней Японии существовало поверье, что если лечь спать на вывернутом наизнанку платье, то приснится тот, кого любишь.

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ (ХАЦУНЭ)

- С. 430 *...угощались зеркальными моти...* — Круглые лепешки (*кагами-моти*) принято было вкушать в первые дни года. По поверью, это способствовало удлинению срока жизни (подробнее о ритуалах, связанных с началом года, см. «Приложение», с. 117). Вкушая «зеркальные» моти, произносили две песни благопожелательного содержания (см. «Приложение». Свод пятистиший..., 203, 204).
- Был день Крысы...* — В день Крысы было положено пересаживать молодые сосны, собирать первые травы, желая друг другу долголетия. Совпадение дня Крысы с первым днем года считалось счастливым предзнаменованием. В этот день положено было устраивать пиршество в саду под навесом.
- С. 431 *Бородатые корзинки (хигэко)* — плетенные из тростника круглые корзинки с торчащими вверх прутьями.
- С. 432 *«Дзидзю»... «эбико».* — Названия ароматов, распространенных в эпоху Хэйан. Аромат «дзидзю» содержал древесину аквиларии (алоинового дерева), гвоздику, ароматические смолы, мускус и пр. Использовался для окуривания помещений. Аромат «эбико» приготавливали из листьев и коры сандалового дерева (некоторые комментаторы называют более сложный состав) и использовали, как правило, для ароматизации одежды.

- С. 433 *Прием чрезвычайных гостей (риндзикаку).* — На Второй день Первой луны в доме Великого министра устраивалось обычно угощение для высшей знати. Гости собирались без приглашения.
- С. 434 *«Этот дворец...» («Конодоно»)* — народная песня (см. «Приложение», с. 144). Совершенно так же должен чувствовать себя человек, находящийся внутри нераскрывшегося цветка лотоса... — Люди, попавшие после смерти в низший из девяти разрядов буддийского рая, вынуждены сидеть внутри нераспустившихся цветов лотоса, что лишает их возможности видеть Будду и слышать его проповедь.
- С. 435 *Дайго-но адзари* — буквально «адзари из Дайгодзи» — монастыря в Фусими (местность к югу от столицы), принадлежавшего последователям учения Сингон. Одно из храмовых зданий, Сангёкуин, занимали приверженцы учения Сюэндо (монахи- заклинатели, см. также коммент. к с. 62). К ним-то скорее всего относился и брат Суэцумухана.
- С. 436 *...концы рукавов, казавшиеся необычно яркими.* — Очевидно, на Уцусэми было присланное Гэндзи желтое нижнее платье, резко контрастирующее со скромным убранством покоев.
- С. 437 *«Бамбуковая река» («Такэгава»)* — народная песня (см. «Приложение», с. 144).
- С. 438 *«Тысяча весен» («Бансураку»)* — восьмистишие благопожелательного содержания, в котором после каждой строки повторяется припев бансураку («тысяча весен»). Обычно исполнялось во время Песенного шествия. *«Малое пиршество»* — дополнительная праздничная церемония, которая проводилась во Дворце спустя некоторое время (обычно в дни Второй или Третьей луны) после основного Большого пиршества, которым обычно завершалось Песенное шествие.

БАБОЧКИ (КОТЁ)

- С. 439 *...о саде, тоскующем по далекой весне...* — см. главу «Юная дева», с. 404.
- С. 440 *Ладьи, имеющие вид драконов и сказочных птиц Фынхуан...* — В древней Японии (и в Китае) часто украшали лодки именно таким образом, ибо считалось, что дракон легко преодолевает водную стихию, а птице Фынхуан не страшен никакой ветер.
- На «узорчатом шелке» волн.* — Реминисценция из стихотворения Бо Цзюйи «Пруд к западу от дворца»: «Ветки бессильно поникших ив чутко трепещут. / Пруд украшен узором из волн, лед совсем уж сошел. / Не знал, с кем придется сегодня встретиться мне. / Но вот — ветер весенний, весенние воды разом нагрянули к нам».
- ...пока не сгниет топорище...* — см. коммент. к с. 337.
- Мыс Керрий (Ямабуки-но саки)* — находился в провинции Оми.
- Идэ* — местность в Ямасиро, известная красотой керрий.
- Черепашья гора* — речь идет о сказочной горе-острове Хорай (кит. Пынлай), обиталище бессмертных, расположенном, по преданию, на спине черепахи. В стихотворении содержится намек на поэму Бо Цзюйи «Море — огромно-огромно (предостережение тому, кто стремится стать небожителем...)», в которой говорится о том, как китайские императоры Цинь Шихуан-ди и Муди отправили гонцов на о-в Пынлай за снадобьем бессмертия. Среди прочего есть там и такие строки: «Море — огромно-огромно. Ветер — неистов-неистов. / Все просмотришь глаза, но острова Пынлай не увидишь. / Острова Пынлай не увидев, не посмеешь домой вернуться. / Отроки, отрокицы в лодках своих стареют. / Сюнь-фу и Вэнь-чэн просто всех обманули ловко. / К высшему Владыке напрасны были молитвы».

- С. 441 «Желтая кабарга» («Одзё») — мелодия и танец китайского происхождения, исполнялись в исключительно торжественных случаях (см. также «Приложение», с. 129).
Содзё — одна из шести основных тональностей музыки «гагаку».
«Радуюсь весне» («Кисюнраку») — музыкальная пьеса (и танец) китайского происхождения (см. «Приложение», с. 131).
«Зеленая ива» («Аоянаги») — народная песня (см. «Приложение», с. 144).
...и не подозревавший о том, что на самом деле... — На самом деле девушка была единокровной сестрой Утюдзё.
- С. 442 ...приступить к Чтению сутры... — Речь идет о весенних чтениях сутры Дайханьякё (см. «Приложение», с. 120).
- С. 443 ...Вот и ответ на «горстку багряных листьев»... — См. главу «Юная дева», с. 453.
«Танец птиц» («Тори-но май») — танец китайского происхождения, исполнявшийся девочками в птичьих шлямах (см. «Приложение», с. 133).
...легко вспархивают бабочки... в танце... — «Танец бабочек» («Котёраку») — танец корейского происхождения, исполнялся четырьмя девочками в костюмах бабочек (см. «Приложение», с. 133).
Цвет «глициния» — светло-лиловый с лица и светло-зеленый с изнанки.
- С. 445 Окрашенным так же, как цветы этого времени года. — Имеется в виду платье цвета «унохана» — белое с лица и светло-зеленое с изнанки.
- С. 448 ...«дни теплы и светлы...» — Цитируется стихотворение Бо Цзюйи «Двенадцать семисложных строк преподношу старшему брату У Ланчжуну Седьмому из ведомства Перевозок»: «В пору Четвертой луны дни теплы и светлы, / Незыблема тень зеленых софор, песчаная отмель ровна. / Одинокий всадник, жалея коня, удила, стремяна расслабил. / Впервые надетое тонкое платье легко облекает стан...»
- С. 450 На простой матовой белой бумаге... — утреннее любовное послание принято было писать на цветной бумаге.

СВЕТЛЯЧКИ (ХОТАРУ)

- С. 452 ...пожаловаться на дожди Пятой луны. — Пятая луна считалась неблагоприятной для заключения браков.
- С. 455 На Пятый день, направляясь к площадке для верховой езды... — На Пятый день Пятой луны принято было состязаться в стрельбе из лука и в искусстве верховой езды (см. «Приложение», с. 122–123).
Кусудамы — мешочек из парчи, наполненный ароматическими веществами (среди которых непременно корни аира и полынь) и украшенный пятицветными шнурами. На Пятый день Пятой луны такие мешочки вешали в покоях, чтобы оградить себя от несчастий и злых духов.
- С. 456 «...цвета «молодая листва гвоздики» — бордовое с лиловатым оттенком с лица и зеленое с изнанки.
«Игра в мяч» («Дагюраку») — танец китайского происхождения, исполнявшийся в дни Пятой луны (см. «Приложение», с. 129).
«На согнутых ногах» («Ракусон») — танец корейского происхождения, исполнялся двумя танцорами в масках (см. «Приложение», с. 131).
- С. 458 «Повести с картинками» (э-моногатари). — Одним из ранних примеров таких повестей может служить знаменитый «Свиток “Повести о Гэндзи”» («Гэндзи-моногатари-эмаки»), приписываемый кисти Фудзивара Такаёси (XII в.). Как правило, сначала писались картины, иллюстрирующие отдельные эпизоды повести, затем отдельно — соответствующие пояснительные тексты (*котоба-гаки*), после чего живопись и каллиграфия монтировались

на единой полосе в форме горизонтального свитка. Рассматривая картинки, девица из благородного семейства одновременно читала текст (либо поручала читать его кому-то из своих прислужниц).

- С. 458 *«Повесть о девушке из Сумиёси»* («Сумиёси-моногатари»). — В повести рассказывается о том, как героиня, потеряв мать, жила со злой мачехой, которая причинила ей немало неприятностей и в конце концов решила отдать в жены противному старику Кадзоэ-но kami. Девушке удалось убежать, и она поселилась в Сумиёси. В сохранившихся отрывках из этой повести эпизода с Кадзоэ-но kami нет. До настоящего времени дошел более поздний вариант, созданный в эпоху Камакура (1185–1333).
- С. 459 *«Нихонги»* (иначе «Нихонсёки») — японские исторические хроники в 30 свитках. Составлены в 720 г. Оно Ясумаро.
В сутрах Великой колесницы... — Имеются в виду популярные в Японии сутры буддизма Махаяны, и прежде всего сутра Лотоса.
- С. 460 *«Повесть Кумано»* (правильнее Комано) — упоминается и в «Записках у изголовья» Сэй Сёнагон. До настоящего времени не сохранилась.
- С. 462 *О его чувствах знала только сама девушка...* — Речь идет о дочери министра Двора (Кумои-но кари, см. главу «Юная дева»).
Он и теперь не забывал о маленькой гвоздичке... — Имеется в виду Тамакадзура, дочь министра Двора (То-но тюдзё) и Югао, воспитанница Гэндзи (см. главу «Дерево-метла», с. 39).

ВЕЧНОЕ ЛЕТО (ТОКОНАЦУ)

- С. 463 *Западная река* — так называли р. Кацура, протекавшую к западу от столицы (северо-западная часть ее называлась Ои). В древности в р. Кацура ловили форель для императорского стола, простолюдины не имели права ловить в ней рыбу.
Ближайшая река — возле дома на Шестой линии протекали две реки — Камо и Накагава.
- С. 466 *О благородный юноша...* — Народная песня «Наш дом» («Ваиэ»), см. «Приложение», с. 138.
Лад «рити» — один из двух основных ладов японской классической музыки «гагаку» (второй — «рё»). Примерно соответствует минорному ладу западноевропейской музыки.
«Перебирание осоки» — см. коммент. к с. 112.
- С. 467 *...на реке Нуки изголовье мягкое...* — строки из народной песни «Река Нуки» («Нукигава»), см. «Приложение», с. 141.
«Песня о любви к супругу» («Софурэн», кит. «Сянфулянь») — музыкальная пьеса китайского происхождения. Первоначально название пьесы писалось другими иероглифами («рэн», кит. «лянь», значит не только «любовь», но и «лотос») и содержанием ее была не любовь к супругу, а восхищение красотой лотосов.
Кто сумел уловить... / ...к старой ограде... — Гэндзи использует образы из стихотворения То-но тюдзё (см. главу «Дерево-метла», с. 38). Гвоздика-надэсико обозначает Тамакадзура, гвоздика-токонацу («вечное лето») — Югао.
- С. 471 *Сугороку* — одна из древнейших настольных игр, завезенных в Японию из Китая. На особой доске расставляются белые и черные шашки («камни»). Играющие выкидывают из бочонка кости и в соответствии с полученным числом переставляют шашки. Выигрывает тот, кто первым займет поле противника.
Поменьше, поменьше... — т. е. чтобы даме, играющей с ней, выпало меньшее число.

- С. 472 *Мёходзи* — монастырь в провинции Оми, посвященный бодхисаттве Каннон.
...немые и заики были некогда виновны и в поношении сутры Великой колесницы. — В сутре Лотоса (Притчи. 3) говорится, что люди, когда-либо поносившие эту сутру, даже возродившись в человеческом обличье, будут слепыми, глухими, немыми или заиками.
- С. 473 *...черпать воду для госпожи сестрицы...* — госпожа Оми намекает на то, что и будда Гаутама, живя у отшельника, носил ему дрова и воду.
- С. 474 *...привязала к цветку гвоздики...* — письмо должно было сочетаться по цвету с цветком или веткой, к которой привязывалось. Госпожа Оми пренебрегла этим правилом.

НОЧНЫЕ ОГНИ (КАГАРИБИ)

- С. 478 «*Бансики*» — одна из основных шести тональностей, использовавшихся в музыке «гагаку».

ПРОНИЗЫВАЮЩИЙ ПОЛЯ (НОВАКИ)

- С. 485 «*Китайские фонарики*» (*ходзуки*) — физалис, имеющий округлые ярко-красные плоды.
- С. 487 *Катано-но сёсё* — см. коммент. к с. 25.

ВЫСОЧАЙШИЙ ВЫЕЗД (МИЮКИ)

- С. 490 *Охарано* — равнина к западу от столицы. Некоторые японские комментаторы отмечают, что описание выезда императора Рэйдзэй совпадает с описанием выезда в Охарано императора Дайго в 928 г., на Пятый день Двенадцатой луны.
Плавучий мост. — Предполагается, что это мост из досок, положенных на лодки.
- С. 491 *Осио* — гора в западной части равнины Охара. В стихотворении содержится намек на выезд в 886 г. на берег реки Сэрикава императора Коко, которого сопровождал Великий министр (помимо Правого и Левого министров). «Глубокий снег» (*миюки*) совпадает по звучанию с «Высочайшим выездом».
- С. 492 *...боги Касуга сочтут себя обиженными.* — В местности Касуга (восточнее Нара) было святилище рода Фудзивара (к которому принадлежала и Тамакадзура, будучи дочерью министра Двора). Боги Касуга особо охраняли род Фудзивара, и все принадлежавшие к этому роду должны были время от времени посещать храмы Касуга и приносить дары богам.
- С. 493 *Согнувшись почтительно, в высочайшие входят ворота.* — Гэндзи цитирует стихотворение Бо Цзюйи «Не ухожу в отставку»: «Жалею о восьмидесяти-девяностолетних, / Зубы их выпали, и глаза потускнели. / Алчут славы, наживы при утренних росах, / На закате же дней за потомков в тревоге. / Шапку повесив, оглядываются на шнурки, / Карету оставив, о колесах жалеют, / Непосильно для них бремя почетных знаков. / Согнувшись почтительно, в высочайшие входят ворота. / Найдется ли тот, кто не любит богатство и знатность? / Найдется ли тот, кто не хочет государевых милостей?..» (начало этого стих. см. коммент. к с. 71).
- С. 500 *Она отправила... зеленовато-серое хосонага...* — Зеленовато-серый цвет — цвет траура, совершенно неподходящий для столь торжественного случая.

- С. 503 *...превратит несокрушимые скалы в снежную пыль...* — В «Кодзики» («Записки о делах древности», свод японских мифов, 712) рассказывается о том, как богиня солнца Аматэрасу, рассердившись на брата своего, бога Сусаноо, топтала скалы, отчего они превращались в снежную пыль.
...лучше было бы вовсе не покидать небесного грота... — также намек на миф об Аматэрасу, которая, разгневавшись, сокрылась в небесном гроте, лишив мир света.
- С. 504 *Ну, словно спала, прижимая руки к груди...* — В древней Японии существовало поверье, что если ляжешь спать, прижав руки к груди, то увидишь дурной сон. Скорее всего госпожа Оми таким дурным сном считает свое пробуждение — миг, когда она узнала, что мечте ее не суждено сбыться. Впрочем, существуют и иные толкования этого места.
Можете составить прошение... — Женщинам не полагалось составлять прошения, их писали только мужчины на китайском языке.

«ЛИЛОВЫЕ ШАРОВАРЫ» (ФУДЗИБАКАМА)

- С. 506 *...необычным светло-серым платьем...* — Тамакадзура была в трауре. Очевидно, за это время скончалась госпожа Оомия, приходившаяся ей бабкой по отцу.
Подобранные сверху ленты головного убора — знак траура.
- С. 507 *Кавара* — здесь долина р. Камо, где Тамакадзура должна была пройти обряд Священного омовения, необходимый после окончания срока траура.
«Лиловые шаровары» (фудзибакама) — посконник, одно из семи осенних растений. Цветет мелкими бледно-сиреневыми цветами.
эти цветы тоже имеют к вам отношение... — Югири имеет в виду во-первых то, что цветы лиловые, то есть того же цвета, что и цветы «мурасаки», намекая таким образом на свои чувства (см. «Приложение». Свод пятистиший..., 45), а во-вторых то, что и он, и Тамакадзура — в траурных платьях (фудзигоромо), которые скоро снимут (Там же, 245).
- С. 508 *Госпожа Найси-но ками...* — Очевидно, Тамакадзура к этому времени уже получила назначение на эту должность, хотя нигде об этом не говорится. Во всяком случае, здесь она названа так впервые.
- С. 509 *Женщина находится в подчинении у троих...* — т. е. в детстве подчиняется отцу, в зрелости — мужу, а в старости — сыну.
- С. 511 *Брат и Сестра* — горы Имояма и Сэяма, расположенные по обеим сторонам р. Ёсино (имо значит и «сестра» и «возлюбленная», сэ — «брат» и «возлюбленный»).
- С. 513 *Долгая луна вселяла в меня надежду...* — Долгая луна (Девятый месяц по лунному календарю) в древней Японии считалась неблагоприятной для заключения браков, поэтому Тамакадзура могла быть представлена ко двору только после ее окончания. На это же обстоятельство намекает и стихотворение.

КИПАРИСОВЫЙ СТОЛБ (МАКИБАСИРА)

- С. 518 *«К переправе тебя поведет...»* — т. е. к переправе на р. Трех дорог (Сандзунно кава) или Трех течений (Мицусэ-но кава), через которую переправляются души умерших. Женщину вел через переправу тот, кто был ее первым мужем.
- С. 530 *Этот лиловый цвет...* — Очевидно, Тамакадзура был присвоен Третий ранг. Лицам Третьего ранга полагалось носить лиловое платье.

- С. 533 «У жемчужных водорослей...» — строки из народной песни «Утки-мандаринки» («Оситакабэ»), см. «Приложение», с. 145.

ВЕТКА СЛИВЫ (МУМЭ-ГА Э)

- С. 537 ...*готовился к церемонии Надевания мо...* — Речь идет о церемонии совершеннолетия дочери Гэндзи и госпожи Акаси.
- С. 538 *Сёва* — символ годов правления императора Ниммё (810–850, правил в 833–850 гг.). Считается, что император Ниммё повелел передавать свои рецепты составления ароматов только по женской линии и скрывать от мужчин.
- Принц Сикибукё с Восьмой линии.* — Имеется в виду принц Мотоясу (?–910), сын имп. Ниммё, считавшийся большим мастером по составлению ароматов.
- С. 539 *Цвет «красная слива»* — алая лицевая сторона и коричневая изнанка. Платья такого цвета носили зимой и весной.
- С. 540 «*Черный*» *аромат (куробо)* — в его состав входили: древесина аквиларии, гвоздика, сандал, мускус и пр. Использовался в зимнее время.
- Аромат «дзидзю»* — изготовлялся из древесины аквиларии, гвоздики, душистых смол, мускуса.
- Аромат «цветок сливы» (байка)* — весенний, составлялся из шести ароматических веществ. Непременными компонентами «цветка сливы» были древесина аквиларии, сандал, мускус.
- Аромат «лист лотоса» (каё)* — состоял из душистых смол, оникса, мускуса, аквиларии, сандала. Им пользовались летом.
- ...*воспользовавшись предписанием государя Судзаку, усовершенствованным господином Кинтада...* — Минамото Кинтада (889–948) служил при императорах Дайго (885–930, правил в 897–930 гг.), Судзаку (923–952, правил в 930–946 гг.) и Мураками (926–967, правил в 946–967 гг.). Один из 36 великих поэтов древности. Славился умением составлять ароматы.
- Аромат «за сто шагов» (хякубу)* — состоял из одиннадцати компонентов: сандала, оникса, стиракса, мускуса, ладана, пачулей и пр.
- С. 541 «*Ветка сливы*» («Умэ-га э») — народная песня, см. «Приложение», с. 145.
- ...*как мальчиком он пел «Высокие дюны»...* — См. главу «Праздник цветов».
- С. 542 *Вернешься домой... / ...Из цветочной парчи...* — Ср. со следующим эпизодом из «Исторических записок» Сыма Цяня: «Стать знатым и богатым и не вернуться в родные края — все равно что надеть узорчатые одежды и пойти в них гулять ночью — кто будет знать об этом?» (Сыма Цянь. Исторические записки. М., 1975. Т. 2. С. 137).
- С. 543 *Слоговое письмо «кана».* — В Японии эпохи Хэйан мужчины, как правило, писали иероглифами — либо просто по-китайски, либо используя иероглифы как фонемы для записи японских слов (*маньёгана*). Почерки при этом могли быть разными — от различных видов скорописи до уставного письма. Отсюда возникло и название — «мужской стиль» (*отокодэ*) в каллиграфии. Женщины использовали изобретенные к тому времени в Японии слоговые азбуки, возникшие на основе либо скорописных, либо усеченных написаний иероглифов и объединенные общим названием «кана». Постепенно развивался и находил все большую сферу применения «женский стиль» в каллиграфии (*оннадэ*), связанный со расцветом поэзии «вака». Мужчины сначала пользовались им в любовной переписке, но постепенно области употребления «женского стиля» расширились.
- С. 544 «*Тростниковое письмо*» (*асидэ*) — стиль в каллиграфии, особенностью которого является сочетание живописного и каллиграфического начал. Текст писался на фоне пейзажа, изображавшего заросли тростника, водные потоки,

камни, причем знаки (как правило, скорописные) часто уподоблялись листьям, камням, водоплавающим птицам.

- С. 544 «*Рисунки к песням*» (*утаэ*) — сочетание живописного и поэтического (не говоря уже о каллиграфическом) начал в пределах одного произведения. Обычно стихотворение, послужившее основой для живописного изображения, писалось на особом прямоугольном листке бумаги (*сикиси*), который приклеивался к верхней части картины.
- С. 546 «*Собрание мириад листьев*» — поэтическая антология «Манъёсю» (VIII в.) Император Сага (786–842, правил в 809–823 гг.) — выдающийся литератор и каллиграф.
«*Собрание старинных и новых песен*» — известная поэтическая антология «Кокинвакасю» (начало X в.).
Энги — см. коммент. к с. 264.

СОДЕРЖАНИЕ

5	От переводчика
9	Павильон павлонии
25	Дерево-метла
53	Пустая скорлупка цикады
61	Вечерний лик
89	Юная Мурасаки
117	Шафран
137	Праздник алых кленов
155	Праздник цветов
163	Мальвы
191	Священное дерево сакаки
221	Сад, где опадают цветы
225	Сума
255	Акаси
281	У бакенов
301	В зарослях полыни
315	У заставы
319	Сопоставление картин
331	Ветер в соснах
345	Тающее облако
363	Утренний лик
375	Юная дева
405	Драгоценная нить
429	Первая песня
439	Бабочки
451	Светлячки
463	Вечное лето
476	Ночные огни
479	Пронизывающий поля
489	Высочайший выезд
505	«Лиловые шаровары»
515	Кипарисовый столб
537	Ветка сливы
549	Комментарии

Мурасаки Сикибу

ПОВЕСТЬ О ГЭНДЗИ

Том 1

Перевод с японского

Татьяны Львовны Соколовой-Делюсиной

Ответственный редактор *С. В. Смоляков*

Художник *П. П. Лосев*

Корректор *Е. А. Яркиева*

Оригинал-макет *А. Б. Левкина*

Издательство «Гиперион»,

199178 Санкт-Петербург, В. О., Большой пр., д. 55.

Тел. +7 (812) 315-4492, +7 (812) 591-2853

E-mail: hyp55@yandex.ru

www.hyperion.spb.ru

ISBN 978-5-89332-163-0



9 785893 321630

Сдано в набор 06.05.2009. Подписано в печать 10.01.2010.

Формат 60×100¹/₁₆. Усл. печ. л. 41,1. Печать офсетная. Тираж 5000 экз.

Заказ № 3378.

Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие
«Искусство России»,

192007, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2.

«Повесть о Гэндзи» — признанный мировой шедевр, один из самых ранних образцов психологической прозы. Тысячу лет назад японская придворная дама Мурасаки Сикибу взяла в руки кисть, решив передать потомкам свои мысли о мире, ее окружавшем, поведать о жизни своих современников, об их радостях и печалях.

Читая «Повесть о Гэндзи», вы словно слышите живой голос автора, он увлекает вас в древнюю японскую столицу, знакомит с живущими там людьми, и они открывают вам свои мысли и чувства.

«Повесть о Гэндзи» вобрала в себя все достижения предшествующей японской литературы и определила ее дальнейшее развитие. Не зря Кавабата Ясунари, знаменитый японский писатель XX века, нобелевский лауреат, называл ее вершиной японской прозы всех времен.

